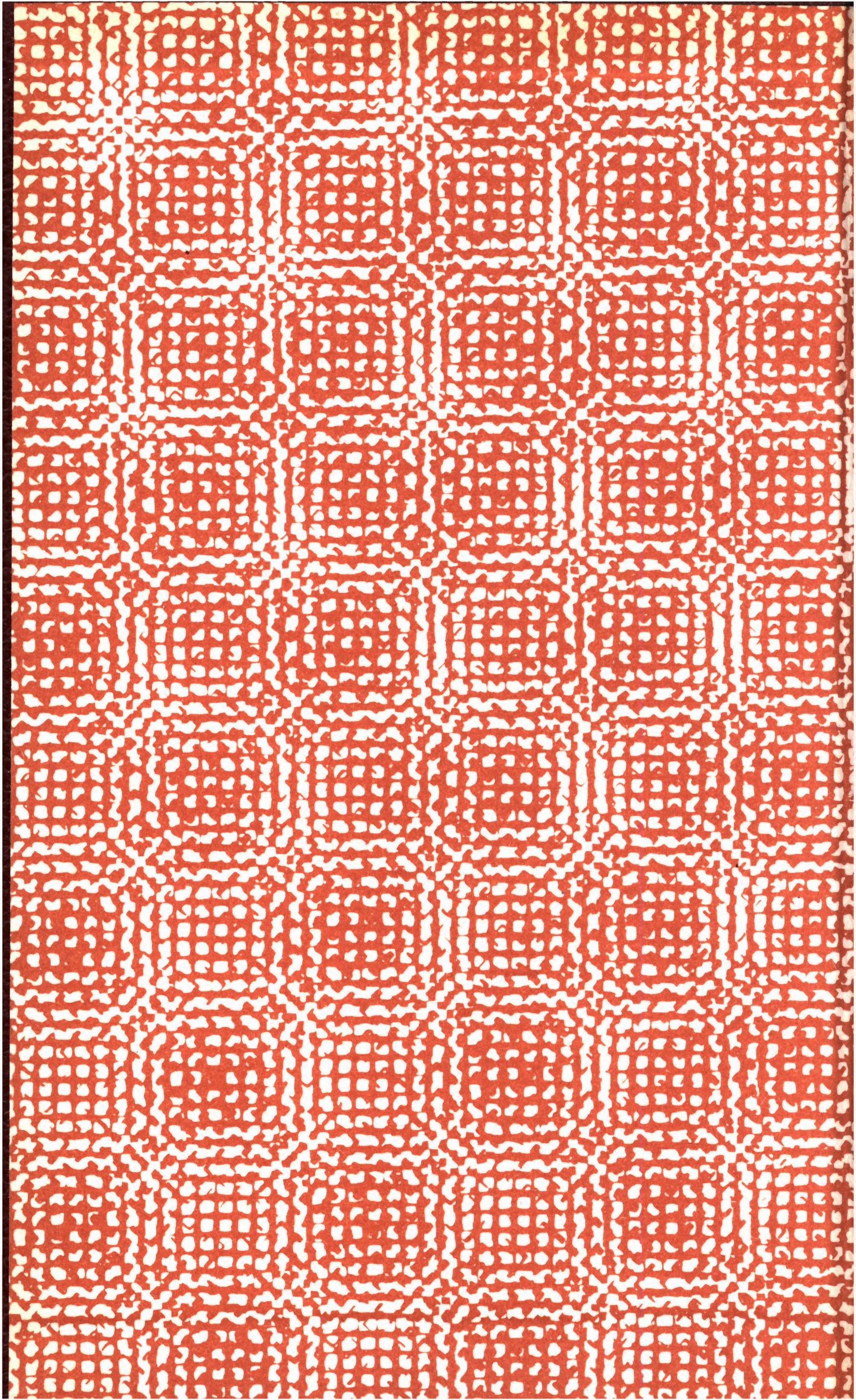
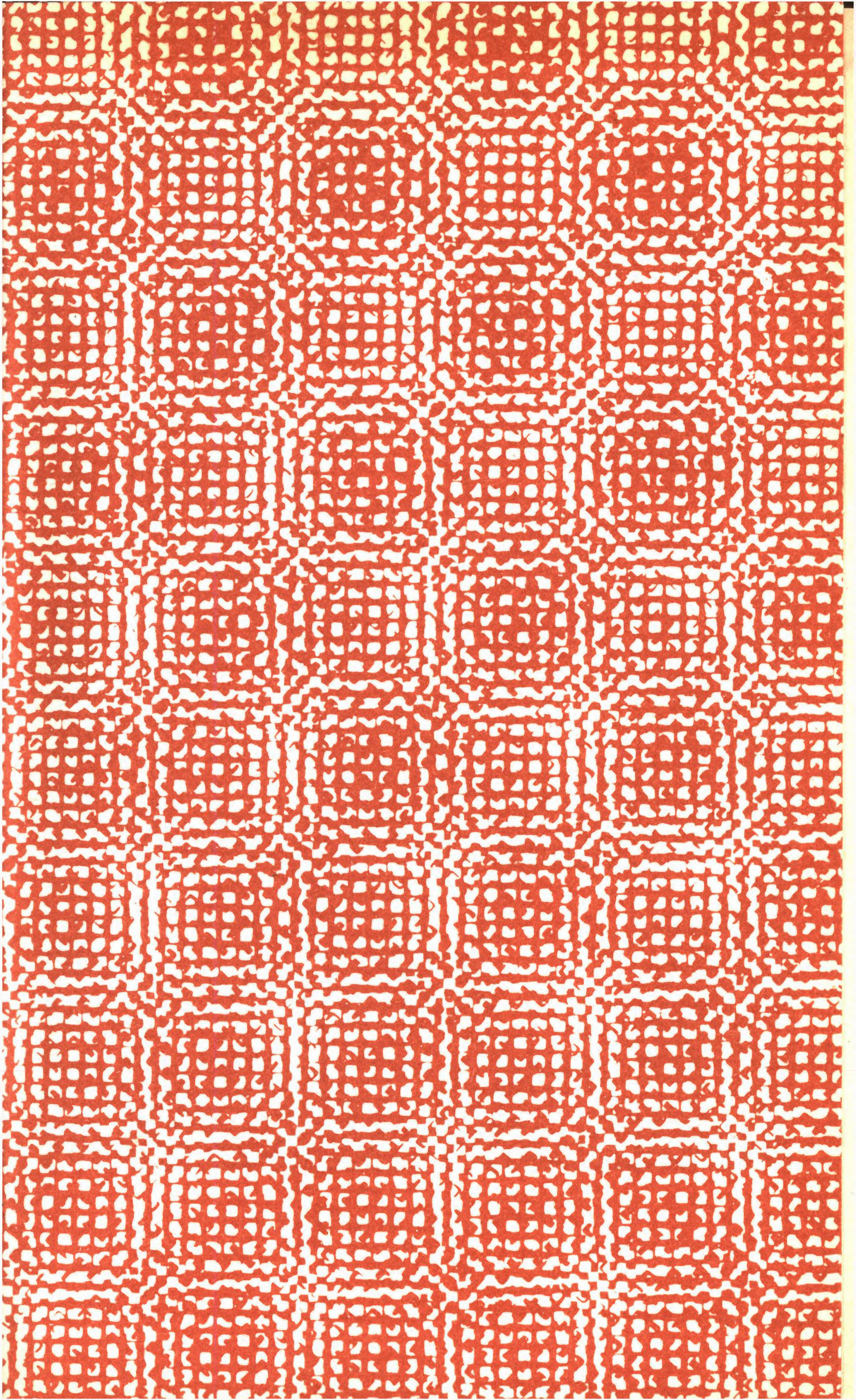
# Соломон Смоляницкий

## Избранное







# СОЛОМОН СМОЛЯНИЦКИЙ

# ИЗБРАННОЕ

РОМАН
•
ПОВЕСТИ
•
РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

ББК 84Р7
С 51

*Художник*

*ДАВИД ШИМИЛИС*

**Смоляницкий С. В.**

С 51 Избранное.— М.: Советский писатель, 1988.— 672 с.

ISBN 5—265—00469—6

Роман, повести, рассказы Соломона Смоляницкого, включенные в том избранной прозы, обращены к Великой Отечественной войне, к послевоенным десятилетиям. Автор показывает своих героев в разных драматических ситуациях, когда они должны принимать важные жизненные решения.

В романе «Какая на земле погода...» война и современность связаны в единый сюжетный узел: судьба молодого человека начала восьмидесятых как бы переплетается с судьбой его сверстника сорок первого года, погибшего под Москвой,— в цепочке времени раскрывается духовная связь поколений...

С $\frac{4702010201—087}{083(02)—88}$ 129—88 **ББК 84Р7**

ISBN 5—265—00469—6

## ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Тридцать лет назад увидела свет первая книга Соломона Смоляницкого, родом из Смоленска и московского старожила. Между нею и нынешней, которую открывает читатель, еще десяток романов, рассказов, очерков и годы напряженной, берущей человека всего, без остатка авторской и журналистской работы в «Литературной газете», «Вечерней Москве», «Знамени»... Казалось бы, обыкновенная жизнь советского литератора.

Обыкновенная, да не совсем. Потому что до этой зрелой литературной биографии была другая. Мне не доподлинно известно, как и чем жил Смоляницкий-подросток и Смоляницкий-юноша. Впрочем, кое-что о его давней, довоенной жизни узнаёшь из его же книг: как и всякий настоящий писатель он опирается прежде всего на свой, личный, а не чужой или вычитанный или выдуманный опыт. Есть, однако, один непреложный факт в биографии С. Смоляницкого: в июле 1941 года он был ранен под Белой Церковью. Первые бои, первое ранение и последующие фронтовые дороги, которые в конце концов привели его в Берлин,— они-то и определили его облик писателя, гражданина, человека.

Все мы, люди среднего и старшего поколения, знаем, какая она была, Великая Отечественная. И все-таки есть разница между теми, кто, так же, как Смоляницкий, уже проходивший срочную службу в Красной Армии, поднимался по тревоге по погранзаставам и подразделениям на западной границе ночью 22 июня 1941 года, теми, кто, как Борис Волынин из его повести «Майские ветры» (1975), уходил, считай, прямо с выпускного бала после десятилетки на фронт, или теми, кого позже война оторвала от станка, трактора, от чертежной доски или от счетов, словом, теми, кто был т а м,— и всеми остальными. Они, бывшие фронтовики, уцелевшие,— люди особые просто потому, что не раз и не два смотрели в лицо смерти и до сегодняшнего дня несут память о войне.

И не только память.

В рассказе «Песня вещей птицы», самом раннем из тех книг Смоляницкого, которые у меня под рукой (он помечен 1962 годом), есть такой человек, бывший солдат. Валентин Николаевич идет Чистыми прудами со службы домой, вокруг бушует весна и веет обновлением, а у него внезапно возникло застарелое —«странно заколотилось сердце, и перед глазами поплыли зеленые круги». Ему сделалось страшно — вдруг не дойдет? Он присел, понемногу пришел в себя, через силу встал и подумал: дойдет.

Дойдет, потому что он любит жизнь и потому что так надо. Надо дожить отпущенный срок сполна и до конца, надо доделать дело, надо «дойти до горизонта»— так называется одна из повестей Смоляницкого. Жизнелюбие и чувство долга — пожалуй, главные качества его героев, тех, кого в старину называли людьми положительными.

Зарубежные коллеги, особенно с Запада, не перестают удивляться приверженности советской литературы теме войны, иные ставят нам это в упрек и даже в вину. Американским писателям в таких случаях полемически возражаешь: позвольте, разве вы, в Штатах, перестали писать о своей Гражданской войне, хотя она была не тридцать и не сорок пять лет назад, а целых сто двадцать пять? Не перестали, потому что это была самая затяжная, самая жестокая и кровопролитная, какую вы знали, и потеряли вы в ней больше народу, чем за всю вторую мировую...

Полемика полемикой, но истинные-то причины гораздо глубже. Прошлое вообще цепко держит настоящее, и мертвые не отпускают живых. А такое прошлое, какими были те немыслимые четыре года,— и подавно. Память о войне, которая водит пером С. Смоляницкого,— не только его и наша дань погибшим, и наши поступки — не только постоянное искупление вины перед ними, не дожившими до Победы.

Эта память — прямая необходимость. Сколько выпадало в послевоенные десятилетия моментов, когда высшим, если не единственным нравственным критерием становились правила поведения в бою и когда человека приходилось мерить мерками фронтового товарищества: выстоит? не подведет? не предаст?

И еще одна мысль укрепляется в нашем коллективном сознании: да, воевали мы мужественно, героически, но и — неумело, совершая порой непоправимые, трагические ошибки. Советская военная проза сейчас извлекает из этих ошибок и из этой неумелости уроки, которые, как воздух, нужны в пору революционного обновления общества.

— Расскажи мне об отце,— просит свою мать молодая героиня повести «Дойти до горизонта» (1971). Профессиональный летчик-штурмовик в годы войны, он погиб через пятнадцать лет после нее во

время неудачного испытательного полета, когда дочери было двенадцать лет. Теперь Майе за двадцать, она знает об отце все или почти все. Но мы не удивляемся ее просьбе. Желание услышать от матери еще что-нибудь, случайно упущенное или недосказанное, то, что может, однако, оказаться самым важным и нужным сейчас, приходит к ней в трудную минуту, когда сплелись в запутанный клубок обстоятельства ее личной жизни и поставили ее перед решающим, очевидно, выбором. Ей необходимо проверить себя, свои чувства, убедиться, что она поступает честно по отношению к другим и самой себе. Отсюда и —«расскажи мне об отце»...

Точно так же Юра, в которого она беспамятно влюбляется и тем самым, как ей кажется, предает давнюю дружбу со Всеволодом, попавшим к тому же в беду в дальней экспедиции по Саянам,— точно так же и Юра вспоминает о своем отце, тихом бухгалтере и книгочее, который, однако, и «языка» на фронте привел, и вернулся домой, в Пензу, с медалью «За отвагу». Сын думал: победитель получает все, но у отца после войны ничего не изменилось. Он снова сел за свои счеты и за «Житие» Сергия Радонежского. Он был обыкновенным порядочным человеком. Он просто делал свое дело — и на войне, и после нее. «Хотел бы я вот так, как отец...» — вырывается у Юры, когда он со стыдом думает о том, как ради газетного подвала, украшенного его именем, он, не проверив факты, из-за самоуверенности и трусости одновременно опозорил имя другого человека.

Люди разных профессий и социального положения, разных возрастов и характеров проходят по страницам книг С. Смоляницкого. И все же думается, что больше всего, в сущности, его привлекает герой, так сказать, не героический — такой, как вот этот проходной вроде бы персонаж, директор провинциального театра, которого ненароком опорочил Юра. Иван Павлович говорит: «Что же вы сделали?.. Я — обыкновенный человек... есть люди с талантом, есть удачливые, деятельные, а у меня было только одно — честное имя».

Писать выдающихся личностей — проще и, прямо сказать, выгодней во всех отношениях. Зато негаснущий интерес к судьбе «маленького» человека — исконное свойство российской словесности, особенно такого, когда ему мало что остается, кроме как сохранять честное имя.

«С отцом ушло что-то важное»,— думает Евгений Сухарев в романе «Какая на земле погода...» (1983). Бывший воздушный стрелок, потом классный станочник, он умер от разрыва сердца прямо на улице. Какие только перегрузки не случались и во время воздушных боев, и в трудные послевоенные годы, но сердце не выдержало другого — обиды, нанесенной бывшему фронтовику, и натиска людей, равнодушных к чужой боли и прошлому, зато научившихся, как гово-

рится, жить,— такие «сами добивались интересной работы, зарплаты, должностей, положения...»

Ища верные жизненные пути, вырабатывая в себе цельность натуры, сохраняя свое лицо и имя, молодые герои С. Смоляницкого действуют с оглядкой на отцов.

Никто в отдельности и никакое поколение не обладает монополией на нравственность. Как и в жизни — в книгах писателя далеко не каждый находит правильное, моральное решение на очередном крутом повороте событий, а то и вовсе не научается жить достойно.

...Молодому сотруднику, но уже преуспевшему и прочно сидящему в «своей» лаборатории нужно дать отзыв о сочинении некоего провинциала. Привычное дело становится тем не менее тяжким испытанием для Павла Скачкова. Автор статьи — его старый друг, а она сама — их первая и дерзкая, внеплановая научная работа, идеи которой плохо согласовывались с теорией их институтского шефа. Милейший и умнейший Алексей Алексеевич похвалил их за смелость, пригласил отметить застольем возможные в будущем открытия и... предложил молодым ученым другую, более надежную тему с близкими, более осязаемыми перспективами. Упрямый Женька отказался, укатил на периферию, а Павел попал в комфортную карьерную зону, охраняемую докторской степенью.

«С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться...» Или «трудно согласиться»— почти то же самое, только без одного слова. Если написать «не»— значит, неблагодарность по отношению к человеку, который так много сделал для тебя, непредсказуемые перемены, может быть, неприятности. Если без нее, этой простенькой односложной отрицательной частицы, которая вдруг стала положительной мерой совестливости, то все, абсолютно все останется по-прежнему — если, конечно, не считать «малости»: будет попрана правда и предан друг.

Впрочем, дилеммы «да» или «нет» во всей ее беспощадной неотвратимости повествование, пожалуй, и не развертывает, как не обнажает внутреннего борения Павла. Скачков не то чтобы слабодушен, нет — скорее, наоборот. Со студенческих лет проявились в нем эгоистические наклонности, «торжественно-величественное отношение к себе», которое в повседневном бытии парадоксальным образом непременно оборачивается иждивенчеством и приспособленчеством. Так и сейчас он предпочитает ни «да», ни «нет». Но жизнь — не теорема. Он не понимает, что чаще всего третьего в ней — не дано, что ничейная земля — самая непрочная, а межеумочность безнравственна — если не хуже.

Действительность всегда и везде — сложна, противоречива, переменчива, неопределенна, чревата опасностями, но и богата воз-

можностями и вероятиями. У отдельной личности свобода выбора сильно ограничена обстоятельствами. И все-таки — как же много зависит от одного-единственного слова, одного-единственного поступка!

Если в этом состоял замысел автора, то он исполнился.

Павел не торопился с ответом, зато у его высокочтимого учителя нашлись силы новыми глазами посмотреть на работу Е. Корнеева. Автор дает понять, какую роль в этом решении сыграло воспоминание старого ученого о сыне, погибшем за четыре дня до Победы,— его фотография висит как раз перед столом Алексея Алексеевича.

Нерасторжимая связь «отцов» и «детей», нравственная и идейная преемственность поколений, их перекличка, их диалог, символизирующие — несмотря на ошибки, поражения, трагедии — цельность недавней отечественной истории и — шире — неразрывность времен и всеобщего порядка вещей,— может быть, доминанта творчества С. Смоляницкого, и глубже, сильней всего ею отмечен роман «Какая на земле погода...».

В нем перемежаются, пополняют друг друга, как бы даже переходят один в другой два пласта повествования. Первый — передвижение и боевые действия подразделения московских ополченцев в июле — октябре сорок первого, второй — московская жизнь в конце семидесятых. Тридцать пять долгих и нелегких лет разделяют эти две параллельно разворачивающиеся картины, однако чем дальше и больше углубляешься в роман, тем отчетливее видишь, что многие события, считай, сегодняшнего дня берут начало в тех трех критических месяцах треть века назад, как отзывается с е й ч а с то, что происходило т о г д а.

В романе два главных героя. Один до войны — молодой историк Яков, а с июля 41-го — рядовой Симовский, чей батальон брошен в брешь, образовавшуюся в результате прорыва немецких частей, лавиной надвигающихся на столицу, принимает бои, уходит от преследования, попадает в кольцо, теряет бойцов, тает, пробивается с другими нашими группами к своим и, наконец, выходит из окружения. То есть из окружения выходят лишь единицы, те, кто уцелел. Симовского среди них не было.

Другой герой — наш современник, журналист Евгений Сухарев, которому тоже приходится перебарывать собственные слабости и заблуждения и вести настоящую борьбу против подлецов, прохиндеев и выжиг, гребущих, как говорят в народе, «под себя», отстаивать свою честь и свою любовь, делая то, что он считает правильным.

Симовский и Сухарев — люди разных эпох, но автор намеренно сближает их возрастом, профессиями, даже характерами: оба натуры цельные и обязательные.

Несмотря на то, что Симовский принадлежит к тому поколению, которое почти все полегло, защищая страну и ее общественный строй, и его давно нет в живых, а Сухарев стал, может быть, одним из тех славных и смелых публицистов, кто разгребает сейчас грязь, накопившуюся за последние полтора-два десятка лет в экономической сфере нашей жизни и экологической, промышленной и политической, научной и нравственной,— несмотря на все это, оба они — люди одного непрекращающегося дела — работы ради Родины.

Их связывает гораздо большее, глубокое и прочное, нежели обнаруженная Сухаревым в университетской библиотеке папка с новаторской диссертацией Симовского, исследовавшего герценовские выпуски «Голоса из России».

Добившись опубликования работы во имя «исторической справедливости», Евгений наталкивается на агрессивное мещанство в лице доцента Бляхина, которому наплевать на прошлое России да и, судя по всему, на ее настоящее тоже, попадает в неприятности, изгоняется из журнала, но и сходится с хорошими, порядочными людьми — Татьяной Алексеевной Новосельцевой, а прежде — просто Таней, которой Яков писал проникновенные, радостные и тревожные письма, так и не дошедшие до нее, ее дочерью — замечательной зеленоглазой Яной, в которую немедленно влюбляется наш герой, и фронтовым другом Симовского Александром Козыревым, ныне заместителем министра, поспевающим ему на помощь в самую трудную минуту —«прямо как в романе», лукаво комментирует автор устами одного персонажа.

Впрочем, пересказывать сюжет, умело выстроенный, туго стянутый фабульными узлами и насыщенный переживаниями и происшествиями, страстями и совпадениями,— занятие несправедливое по отношению к автору, неблагодарное для критика и ненужное читателю. Так и хочется сказать: «Какая на земле погода...» — хорошая беллетристика, если б не подзабыли мы истинного значения этого старого и доброго русского слова, идущего от французского belles-lettres —«изящная словесность».

Специалисты по русской классике лучше меня установили бы, кого С. Смоляницкий взял в учителя. В их ряду, конечно же, Л. Н. Толстой — в батальных картинах и особенно в сценах ранения и смерти Якова: «Внезапно муки его кончились, он почувствовал необычайную воздушную легкость, свободу и увидел внизу под собой прекрасный, залитый солнцем зеленый луг с красными цветами...» Конечно, Герцен — гражданский герценовский голос эхом отдается по страницам книги — то в приподнятом, местами даже романтическом фрагменте, то в язвительно-гневном пассаже, то в едва уловимой иронии («прямо как в романе»!). Думаю, что не обошлось без влияния Тургенева и Бунина, у которых С. Смоляницкий учится чи-

стоте речи, здоровой, «естественной» психологичности, неброской пейзажности.

Вообще проза Смоляницкого скорее традиционна, «классична», нежели современна, если под «современным» понимать обязательную изобретательность и формотворчество. Хотя писатель и использует композиционные приемы новейшего романа, все же слог его нетороплив, прост, предметен и плавен, если угодно — старомоден. Чего стоит, например, редкое по нынешним понятиям вторжение автора в текст: «В тот полный неожиданностей день... мы оставили его, как помнит читатель, в подъезде университетской библиотеки...». Или: «Заметим попутно, что...»

Но, может быть, именно благодаря этой «старомодности» то, о чем пишет С. Смоляницкий, удивительно узнаваемо.

Узнается такая малая примета довоенного московского быта, как бесхитростная изабеллаюрьевская песенка: «Саша, ты помнишь наши встречи...» Узнаются леса под Можайском, хотя ты не был там в октябре сорок первого. Щемяще знакома чистенькая церковь у входа в Сокольники — там, где жила Таня Новосельцева, и совсем неподалеку — ты сам. Церковка и сейчас стоит на своем месте, не смущаясь соседством с новыми, иных архитектурных форм зданиями и не мешая им. Точно и наблюдательно выписана обстановка и атмосфера Дубового зала в Центральном Доме литераторов, где происходит действие одной из самых напряженных психологических сцен. Знавали мы и таких руководителей толстых журналов, как Виктор Павлович Ожогин — посредственный писатель, сноб, приспособленец и трус,— когда-то он, работая во фронтовой газете, ухитрился не попасть на передовую, а сейчас лихорадочно «вычисляет», почему на присланном ему пригласительном билете не стоит штампик «Президиум».

Узнаваемость рождает доверие к писателю: он знает, о чем пишет,— будь то тяжелейшие бои под Москвой или нравы и повадки «интеллектуальной» — окололитературной или околонаучной — публики.

Эта публика — Ожогин, Бляхин и прочие, такие же, как они, воинствующие мещане, карьеристы, бюрократы, торгаши, долгое время пытались сбить нас с пути, обступали нас со всех сторон, хотели взять нас в кольцо, навязать чужие чувства, чуждые вкусы и противную нашему обществу мораль, а мы держали оборону.

У Козырева сохранилась записная книжка Симовского, и в ней последние слова: «13 октября... Надо прорываться. Сейчас или никогда».

Настало время, и мы тоже поняли: надо прорываться. Партия и народ сделали этот рывок. Сейчас мы чистим и обновляем наш общий социалистический дом.

Роман «Какая на земле погода...» появился в канун того широкого общественного движения, которое получило лаконичное и емкое название — перестройка, и всем своим содержанием готовил — пусть скромно — долгожданные перемены в ряду других честных, правдивых книг, созданных советскими литераторами.

Работа предстоит архитрудная, но их будет еще больше, таких книг, и они будут еще лучше и правдивее, потому что на дворе — хорошая погода.

*Г. Злобин*

# КАКАЯ НА ЗЕМЛЕ ПОГОДА...

РОМАН

Есть что-то таинственное в феномене преемственности, где субъективная воля настолько сливается с велением обстоятельств, что нельзя различить, кто, собственно, подражает и добивается повторения пережитого — человек или судьба.

*Томас Манн*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Человек, с которым нос к носу столкнулся Женя Сухарев, был невелик, рыжеват, с заостренным, как бы птичьим, но гладким лицом, небольшими светлыми усами и цепкими глазами неопределенного колера. Возник он неожиданно — выскочил, как черт из коробочки, из-за поворота коридора и, не сбавляя хода, двинулся прямо на Женю, видимо для скорости подавшись вперед и помахивая в такт своим шагам правой рукой, в левой руке слегка на отлете он держал дымящуюся трубку. Едва не задев Женю плечом и обдав его облаком табака неведомого запаха, он столь же неожиданно исчез, как и появился,— наверно, скрылся там, куда царь пешком ходит.

Несколько секунд Женя ошеломленно смотрел ему вслед, словно пытаясь увидеть хвост умчавшейся кометы. А когда опомнился, сообразил, что это был сам заместитель главного редактора сего толстого журнала, куда он принес свой очерк, а по существу полный хозяин здешних мест, писатель Виктор Павлович Ожогин.

Неизвестно почему, встреча эта повергла Женю в уныние. Собственно говоря, настроение его начало портиться еще раньше, когда Женя, коротко бросив: «Разрешите?»— переступил порог отдела очерка и публицистики, а человек, сидевший за письменным столом, склонившись над рукописью, не пожелал его заметить. Он был немногим старше Жени, но уже, как видно,

преуспевший, крупный, гладкий, голубоглазый, в замшевой куртке и клетчатой рубахе с расстегнутым воротом, вошедший в силу своих восьмидесяти килограммов. Женя кашлянул. Человек поднял голову и объяснил, что надо подняться на второй этаж и там, у секретаря, седой дамы в очках, оставить свой очерк. Что же касается ответа, то Женя может зайти или, лучше, позвонить недельки через три-четыре. Сказав все это, молодой сотрудник снова уткнулся в рукопись.

Поднявшись на второй этаж и проделав эту операцию, Женя понял, что очерк его попал в нескончаемый поток, именуемый самотеком, идущий на редакционный конвейер, где все сортируется, мнется и в конце концов сводится к вежливому отказу в обтекаемых выражениях. А так как он обладал живым воображением, то сразу представил себе эту картину: некая труба, зияющая черной пустотой, похожая на разверстую пасть, куда медленно вползает лента конвейера со стопками тонких и толстых рукописей. Одна за другой эти стопки исчезают в черной пустоте, а лента все движется и движется, доставляя все новые рукописи...

Картина была впечатляющей, но Женя решил не поддаваться унынию. В конце концов, порядок есть порядок, успокоил он себя, иначе не справиться: захлестнут графоманы. А это народ серьезный, их и пушками не прошибешь. Так что, увы, заслон нужен, и чтобы никаких лазеек — графоманы в любую щель просочатся. И никаких исключений, со вздохом добавил он мысленно, даже для вас, Евгений Владимирович. На том Женя и порешил, и мысль его приняла более приятный оборот. А вдруг очерк покажут рецензенту — хорошему, объективному человеку, и этот рецензент — хороший человек, оценит очерк, как он того заслуживает, и будет рекомендовать его к печати?

Рассуждение это, не лишенное оснований, несколько подбодрило Женю, но тут-то как раз, как мы помним, и вылетел из-за угла коридора зам главного редактора, заставивший Женю поспешно посторониться. Стремительный и загадочный проход зама главного редактора, сметающего всех и вся со своего пути, снова вывел Женю из равновесия. Странно устроен человек! Ну, промчался, проскочил, ну, чуть не толкнул его,— что же тут особенного? Так нет же — именно после этого Женя окончательно решил, что дело его швах. А ведь в очерке есть над чем поразмыслить. Геологи находят руду. На-

ходят — и вот тут-то начинается... Неужели рецензент не поймет, что проблема серьезная и писать о ней надо? Должен понять! А ребята? Что они скажут? А наверно, любопытно прочитать о себе, о своей жизни, которая оказывается вдруг совсем не такой, какой она тебе видится каждый день?

При мысли о ребятах, с которыми он сроднился, пока вместе вкалывали в тайге, сердце у Жени дрогнуло: как будто он прощался с ними навсегда. Он ушел, а ребята остались, и больше им не встретиться. Женя ощутил пустоту, какая бывает, когда все, что тебя мучило, перешло в слово, на бумагу. В груди ныло, будто он и вправду уходил от ребят, и расстояние между ними все увеличивалось. Потом в какой-то момент что-то его толкнуло, он оглянулся — а ребят не видно, и стало совсем нехорошо... Он отдал очерк, а вместе с ним и все, что туда вложил, о чем думал, руки его стали свободны, а сам он пуст. Как будто, написав о ребятах, он оторвал их от себя.

На улице Женя остановился, вздохнул, пошел переулочком, который вывел его на Сретенку. На углу свернул направо и не спеша двинулся вниз по бульварам. Трубная площадь. Петровка. Страстной бульвар.

Место это было удивительное — чисто московское — Пушкинская площадь возникла на перекрестке улицы Горького и Бульварного кольца, дома свободно и легко замыкали это пространство, пропуская улицы, дороги, людей, а над всем, видный отовсюду, стоял, опустив голову и задумавшись, Александр Сергеевич. Общение с ним было открытым, многолюдным, на виду у всех. Возможно, оно имеет преимущества перед общением другого рода — более интимным, без аккомпанемента грохочущих машин. Это дело вкуса. Но многие старые москвичи предпочитают последнее и потому никак не могут привыкнуть к новому местонахождению великого поэта.

Дойдя до Пушкинской площади, Женя почувствовал, что настроение его поднимается, чему немало способствовал прекрасный августовский денек с высоким голубым небом, легким ветерком и великим множеством девушек, одна другой лучше, неведомо откуда, как грибы, высыпавших на московские улицы.

Ах, август, август, любимый месяц матери Жени, теплый, розовато-золотистый, с неожиданной тишиной в уголках бульваров, с красными помидорами и вся-

ческой зеленью на каждом углу, синеватый по вечерам, щедрый, открытый и чуть грустный, ибо уже близка разлука с теплом, дождями, зеленой листвой и надвигается ветер, снег, холод. Август мы бы сравнили с той порой жизни, когда вы уже едете с ярмарки под уклон и хочется остановиться, а это не в вашей власти,— и каждый выпавший вам денек, как бы тающий в солнечной синеве, так прекрасен, что, когда он кончается, что-то с болью отрывается и от вас, ибо кто знает, сколько вам отпущено подобных дней... Ну а Женя ехал на ярмарку, и впереди у него было бесконечно много всего, так что никакой грусти он не испытывал. Напротив! Крутя головой туда и сюда, он не спеша шел по улице Горького вниз, к Моховой. Острое чувство пустоты и одиночества, которое он пережил в редакции, ушло, спряталось, а шумная, пестрая улица с ее разноликой толпой захватила, несла с собой, что-то обещала...

Торопиться Жене было некуда. В университетской библиотеке, где он подрядился перетаскивать книги — некоторые фонды библиотеки переходили в другое помещение,— ему надо было быть через час, а ходьбы отсюда было минут пятнадцать — двадцать от силы. Он вполне мог еще пошляться или посидеть в Александровском саду, поглядывая на прохожих и отгадывая, кто есть кто,— довольно любопытное занятие, которому, бывало, они предавались, когда сбегали с лекций, в то время как другие бедолаги парились в аудиториях.

Невозвратимое, золотое время! Впрочем, с другой стороны, когда лекции, экзамены, курсовые и прочее позади — это тоже неплохо. Свобода, свобода! И диплом, как говорится, в кармане. И суетиться насчет светлого будущего не надо: редактор московской газеты, где он проходил практику, послал на него запрос, его туда, естественно, распределили — и вот через месяц, после законного отпуска, вы, Евгений Владимирович, сможете приступить к работе. Ну, это еще через месяц, а пока... честно говоря, он сам не очень хорошо знал, чего хотел. Его тянуло к ребятам, в экспедицию, но об этом нельзя было и заикаться: мать еще не пришла в себя после его побега с третьего курса. Вспомнив сейчас о перипетиях того года, Женя внутренне поежился. Он знал свой дурацкий характер: когда так надоедало, что становилось невмоготу, он все бросал, чего бы это ни стоило. Впервые это произошло в девятом классе — он тогда перестал ходить в школу и начал

готовиться в электромеханический техникум на второй курс. В тот раз не вышло — мать вовремя спохватилась. А в университете — вышло. И, признаться, Женя нисколько не жалел об этом. Он поступил правильно, что удрал с третьего курса, теперь это ясно: какая там, к черту, журналистика в аудиториях? Вот только три месяца в экспедиции обернулись годом, а год еще двумя — из университета его, голубчика, разумеется, отчислили и сразу взяли в армию. И все равно жалеть ни о чем не приходилось. Эти три года прошли не напрасно, кое-чему они его научили.

Мысли его скользили легко, не задерживаясь, о том, о сем... Как и лица во встречном потоке, возникают, пропадают. Иногда чей-то взгляд заденет, только Женя встрепенется, а человека нет, ну и бог с ним! Идем дальше. Пережитое полчаса назад ощущение пустоты оборачивалось легкостью, будто пустота эта наполнялась моторной энергией, и он готов был взлететь, стоило лишь хорошенько разбежаться. Да, что и говорить, быстро развеялась у Жени печаль расставания с прошлым, но это не от бессердечия, право же, нет! Просто в молодости легко теряется и отдается, ибо кажется, что все главные обретения впереди...

Университетский двор был полон абитуриентов — уже вовсю шли вступительные экзамены. Тощие парни с длинными волосами, большинство в фирменных джинсах, делали восьмерки вокруг девушек разного фасона, лихорадочно листавших тетрадки и учебники. Парням тоже было не по себе, и у них тоже екало под ложечкой, но они продолжали острить напропалую, будто им все нипочем. Среди лиц, мелькавших там и сям, попадались и такие, на которых проскальзывало отчужденное, несколько даже высокомерное выражение: дескать, вы тут суетитесь, поджимаете хвосты, а нам это ни к чему. У нас-то все в порядке...

— Наконец-то, голубчик!— обрадовалась заведующая хранением Мария Семеновна, увидев Женю. Неизвестно, по каким причинам она питала к нему слабость. Впрочем, Мария Семеновна была бесконечно добра ко всем и готова была поставить на ноги все и вся, чтобы достать нужную читателю книгу, зато и превращалась в фурию, если кто-нибудь вздумал нарушать правила.

— А мы уже с девушками начали работу,— сказала она, улыбнувшись ему и чуть-чуть откинув седую голову (ясно, она и сама включилась, несмотря на свои

шестьдесят лет — ее синий халат был весь в книжной пыли),— а вам, милый Женя, мы решили поручить диссертации...

— Чего, чего?— не понял Сухарев.

— У нас есть архив, где хранятся кандидатские и докторские диссертации, защищенные в университете до войны, так вот эти диссертации мы решили перенести вниз, в другое место. Пойдемте, Женя, я покажу вам...

Мария Семеновна стремительно вышла в коридор, вымощенный желтым и красным кафелем (Женя с трудом поспевал за ней), свернула налево и потом по небольшой железной винтовой лестнице спустилась в подвал. Пройдя несколько шагов по коридору с низкими сводчатыми потолками, Мария Семеновна повернула направо, и они с Женей очутились в книгохранилище. Это было большое помещение, освещенное лампами дневного света, сплошь уставленное стеллажами, набитыми книгами до самого потолка. Они пробрались по узкому проходу до противоположной стены и открыли низенькую полукруглую дверь. Там оказалась довольно большая комната с пустыми стеллажами.

— Здесь,— сказала Мария Семеновна.

— Понятно...— протянул Женя без особого энтузиазма.

— Ваша задача перенести, а уж потом мы расставим.— В голосе Марии Семеновны появилось нечто такое, что означало: это не так уж трудно, тем более расставлять не нужно.— Папки мы вам связали,— продолжала она,— вполне можно переносить две связки за один раз. Ну, милый Женя, за дело! За дело, друг мой!— провозгласила Мария Семеновна и, вскинув голову, стремительно пошла обратно. Так в критическую минуту генералы, выхватив шпагу — за мной, ребята! Не робей, вперед!— ведут своих солдат на приступ.

Поднявшись на этаж, Женя вслед за Марией Семеновной вошел в помещение, где увидел гору перевязанных папок — это и были диссертации.

...Много, много раз Женя спускался со связками, а поднимался с пустыми руками. Гора связок с папками в помещении на этаже уменьшалась, а комната в подвале постепенно заполнялась. Женя работал без перекуров, туда — обратно, туда — обратно, работал на совесть, по-другому он не умел.

---

Поставив последнюю пачку на пол, Женя выпрямился. Кажись, все! Можно перевести дух и шагать за мздой. Он присел на стул, достал сигарету, закурил. Затянувшись, обвел глазами помещение, сплошь заваленное папками с диссертациями. Ну и ну — целое кладбище! А ведь писали, старались... Женя нагнулся и взял первую попавшуюся папку. Нуте-с, нуте-с, посмотрим, посмотрим, что вы там написали, пробормотал он, входя в роль.

Папка была увесистая и пыльная, с выцветшей серобурой обложкой, в центре которой на пожелтевшем, некогда белом квадратике было что-то написано бледными чернилами. Смахнув пыль, Женя прочитал: «М. Сокольники, Песочный пер., перед церковью налево, д. 7, кв. 12, Тане Новосельцевой в собственные руки». Почувствовав непонятно отчего какой-то холодок в груди, он развязал тесемки и открыл папку. Прямо на первой странице рукописи лежал вдвое сложенный тетрадный листок в клетку с двумя словами, выведенными крупно, чтобы бросалось в глаза: «Тане Новосельцевой». Женя развернул листок — это было письмо. Теперь он заметил, что бумага чуть пожелтела и как бы истончилась.

Это было письмо, написанное теми же чернилами мелким торопливым почерком, сначала через две клетки, а потом подряд, все теснее буквы и слова, чтобы уместиться на одном листке. Видно, тот, кто писал, очень спешил, хотел что-то сказать, а больше бумаги под рукой не было. Женя опустил листок. Вправе ли он прочитать это письмо? Разумеется, вправе — письмо, возможно, чисто деловое, да к тому же папка архивная, с довоенных времен. И все-таки он не мог набраться духу. Странное чувство охватило его: что-то начинается. Помедлив, Женя приблизил письмо к глазам и стал читать, с трудом разбирая выцветшие буквы, тесно прижатые друг к другу, скорее, догадываясь о значении слов, но еще не ухватывая суть письма, его тайную пружину. И лишь дойдя до конца, до даты — 6 июля 1941 года,— он понял, какое письмо держал в руках. Женя перечитал снова и потом еще раз, пока не разобрал каждое словечко:

«Таня, Таня! Тебя все нет, а через десять минут построение. Не могу представить себе, что могло тебя задержать, очень волнуюсь, не случилось ли чего? Очень, очень мне нужно увидеть тебя перед уходом, посмотреть

тебе в глаза. Я пишу в библиотечном кабинете на втором этаже, пристроившись на подоконнике, чтобы посматривать в окно и не пропустить тебя. Кругом шум, предотъездная лихорадка, а здесь на удивление тихо, будто нарочно для того, чтобы без помех я мог тебе сказать, что у меня на сердце, что я хочу и должен тебе сказать.

Началась смертельная схватка с фашизмом. Мы знали — этот час придет, хотя думали — позже, не так скоро, и были готовы занять свое место на линии огня. И вот он наступил, но все оказалось страшнее, чем мы предполагали. Теперь ясно, что будет очень трудная война, которая заденет всех и каждого. Она никому никогда не простит ни малодушия, ни даже минутной слабости. Я счастлив, что добился, чтобы меня взяли в ополчение,— ты знаешь, меня, с моим зрением, не хотели брать, но я доказал, что в очках стреляю не хуже других. Я ухожу сейчас, без промедления, потому что в этот трудный момент дорог каждый боец и еще потому, что люблю тебя. Очень люблю и всегда буду любить и хочу быть чистым перед тобой, как перед своей совестью. Ну, вот, видишь, я все-таки решился тебе сказать. Смешно, понадобилась война, чтобы я это сказал! Оставляю тебе мою диссертацию — в залог, вместо себя. Ты знаешь — это не только труд трех аспирантских лет (на самом деле гораздо больше), это — я. И я хочу, чтобы именно ты сохранила ее до моего возвращения, коли вернусь. Это мой последний экземпляр — остальные находятся на чтении у ученых мужей, которые, конечно, их потеряют,— война. А ты сохрани, хотя война будет очень долгая и очень трудная. Она потребует от каждого всех сил без остатка. Наберись, Танюша, мужества и терпения. Всем будет очень трудно, а все равно мы победим. Не бойся, ты все выдержишь, ты сильная, и я верю: мы еще встретимся и сможем открыто и честно посмотреть друг другу в глаза. А если я не вернусь, знай, что погибну, как подобает воину. Я готов к этому. А ты будь счастлива. Будь счастлива, моя любимая. Наши уже строятся. Я ухожу. Прощай.

P. S. Эту папку тебе передаст Валя. Ты ее видела, она работает в библиотеке и учится у нас, на вечернем отделении. Еще раз — прощай. Нет, до свидания. До встречи. Как бы долго ни пришлось ждать — до встречи».

Далее была неразборчивая подпись и дата — 6 июля 1941 года.

Вот оно что, письмо было написано за несколько минут до ухода на фронт. Но почему вместе с диссертацией оно не попало к Тане? Неужели эта Валя не сдержала своего слова и не отнесла ей папку — вот, оказывается, для чего написан адрес на обложке. И почему не пришла Таня в тот июльский день 41-го года? Женя посмотрел на заглавном листе диссертации фамилию автора — Я. Симовский, а потом еще раз вниз, на подпись. Теперь он ясно разобрал три начальные буквы: большое «С» и две маленькие «им», которые переходили в короткий росчерк вправо и вверх. Я. Симовский, Симовский. Вероятно, Яков, а может, Ярослав. А вдруг он не погиб — вернулся после войны, и Таня его дождалась, и все у них получилось счастливо и хорошо, так хорошо, что лучше не бывает? А диссертация — что ж, диссертация затерялась, а теперь вот нашлась. Конечно, адрес, скорее всего, переменился, но он их найдет. Найдет и вручит диссертацию с письмом.

Так думал Женя, вернее, так хотелось ему думать, но в глубине души он прекрасно понимал, что на самом деле все, по-видимому, обстоит по-другому. Симовский, скорее всего, погиб, иначе, вернувшись, он разыскал бы свою диссертацию. Но дело даже не в этом. В конце концов, папка могла завалиться куда-нибудь. Дело не в этом — само письмо... Оно словно источало горький запах печали. «Я ухожу. Прощай». Он будто знал, что его ждет. Надеялся, что вернется: «Нет, до свидания. До встречи». А в глубине души — знал. И сам листок — тонкий, пожелтевший, с выцветшими чернилами, как эхо из прошлого, того, что было — и прошло, умерло... «Листок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я... И жив ли тот и та жива ли...» А Таня, что стало с ней? И почему она не пришла тогда?

Женя закрыл папку, аккуратно завязал тесемки. Как бы там ни было, а папку надо доставить по адресу — Тане Новосельцевой: она принадлежит ей, и никому больше. Женя зажал папку под мышкой, вышел в коридор, медленно поднялся по винтовой лестнице на этаж. На лестничной площадке остановился. Шагать за мздой к Марии Семеновне не хотелось — как-то стало вдруг неудобно, да еще с папкой в руках. Лучше уж домой или прямо сейчас отнести папку — Сокольники не за горами, десять минут на метро. Работу он выпол-

нил — Мария Семеновна сама увидит. Вполне можно слинять. А насчет этой папки он потом все объяснит, если, конечно, ее хватятся. Так Женя и решил и, перепрыгивая через две ступеньки, взбежал на второй этаж,— чтобы выйти из библиотеки, надо было подняться на второй этаж, пройти по коридору мимо читального зала, а затем спуститься по широкой белой каменной лестнице в вестибюль, где был гардероб и где на проходе за столиком с телефоном сидела Фаина Яковлевна, аккуратная старушка с седыми буклями.

Проходя мимо читального зала, Женя замедлил шаги. В письме было сказано: в библиотечном кабинете на втором этаже... Где-то здесь, в какой-то комнате, он писал, примостившись на подоконнике и поглядывая в окно,— а она все не шла... Женю потянуло вперед, он прошел длинную лестничную площадку, огороженную перилами, и ноги его сами остановились перед дверью с правой стороны короткого коридора. Поколебавшись, Женя открыл дверь. Свет ударил ему в глаза — большое, настежь открытое окно находилось как раз против двери. Оттуда приглушенно доносились голоса со двора. За письменным столом, стоящим перпендикулярно к окну, но в глубине комнаты, так, что пространство перед окном было свободно, сидела седая женщина с худым изжелта-смуглым лицом и блестевшими черными глазами. Одной рукой она прижимала к уху телефонную трубку, в другой, слегка на отлете, держала двумя пальцами сигарету, от которой вился легкий дымок. Женщина слушала, что ей говорили в трубку, и невидящими глазами смотрела прямо перед собой. Женю она не заметила.

Комната была небольшая, заставленная вдоль стен библиотечными шкафами со множеством ящиков для каталога. У противоположной от стола стенки, ближней к окну, шкаф не доходил до самого угла, и в образовавшемся закутке стоял стул. Его можно было чуть-чуть придвинуть к окну и устроиться писать на подоконнике.

Женя увидел все это сразу, в одно мгновение. Он так и замер на пороге. Вся комната была полна радужным переливающимся светом. Опомнившись, Женя вежливо кивнул разговаривающей по телефону женщине — она не обратила на него внимания. Теперь лицо ее показалось странно знакомым. Где он мог ее видеть?

Не получив ответа, Женя тихо вошел в комнату — его неудержимо тянуло к окну.

Подойдя к окну, он увидел двор, залитый солнцем, кучки абитуриентов, мужчину с огромным желтым портфелем и женщину в цветном платье, разговаривающих возле памятника Ломоносову (знакомые студентки уже исчезли), седого человека в сером костюме, появившегося из-за ограды. Он услышал глухой вибрирующий гул улицы, и вдруг ему почудилось, что все это остановилось и замерло, как в стоп-кадре, а потом лента пошла обратно, и во дворе появились другие люди, по-другому одетые, в белых и темных рубашках, в тапочках и парусиновых туфлях, с серьезными сосредоточенными лицами, с вещмешками за спиной, и ожили другие голоса... Но видение так же мгновенно исчезло, как и возникло, и Женя уже не мог сказать, было оно или нет. Тут опять Жене представилось, как, тяжело дыша, вбежала во двор девушка невыразимой красоты, а двор был пуст, ни одной души, а она, увидев, что опоздала, замерла и поникла.

Нет, этого не было, скорее всего, она просто не пришла. Не пришла, а он ждал до последнего, а потом здесь, на подоконнике, сел писать свое прощальное письмо. Писал и поглядывал в окно.

Не поворачивая головы, Женя чуть скосил глаза: седая женщина кончила говорить по телефону и молча курила, откинувшись на спинку стула. Глаза ее были прикрыты. Какое знакомое лицо, где же он все-таки встречал ее? Тихонько взяв стул, Женя придвинул его к подоконнику, сел, глянул в окно — вся часть двора от памятника Ломоносову и до ограды была как на ладони. Женя достал блокнот, ручку — и тут что-то на него нашло: пересохло во рту, по спине пробежал озноб. Справившись с собой, Женя открыл блокнот и прыгающим почерком нацарапал: «Обязательно разыскать Таню Новосельцеву». Взглянул в окно и написал следующую фразу: «Передать папку Тане Новосельцевой». В этот момент во двор вошли трое парней. Женя повернул голову к письменному столу — седой смуглой женщины с дымящейся папиросой в руке не было. Но над столом еще вился голубоватый дымок. Женя опять почувствовал легкий озноб, приписал: «Обязательно разыскать Таню Новосельцеву».

Он не мог объяснить, какая сила заставила его войти в эту комнату, вот так сесть у окна, накарябать не-

сколько фраз. Но он был уверен — именно здесь, на этом месте, примостившись на краешке подоконника, писал свое прощальное письмо Симовский. Где-то рядом слышались шаги, гудели голоса, а здесь было на удивление тихо, и он торопился скорее дописать, успеть, пока не прозвучала команда строиться...

...Он торопился скорее дописать, успеть, пока не было команды строиться. Рука еле поспевала за мыслью, он писал и видел Таню, ее лицо, как будто говорил ей все это, и она слушала, как всегда, чуть склонив голову и подняв глаза, вся внимание, но иногда взгляд ее уходил в себя, словно в этот миг она услышала и что-то свое. Симовский писал быстро, не задумываясь, слова приходили сами, именно те, что были нужны. Он не удивлялся этому: с той минуты, как его взяли в ополчение, все получалось легко, будто делалось само собой. Лихорадка последних двух недель с начала войны, когда нужно было действовать немедленно, а дни проходили, сменилась спокойствием. Он добился своего, и это было самое главное.

Симовский был спокоен и в это утро, когда наступила пора выходить из дому, только с каждым движением что-то как бы отрывалось от него. Завязывая вещмешок, остановился, взял с полки томик Лермонтова. Пригодится. Мать суетилась вокруг него, отец молча, опустив голову, сидел за столом. «Что ты, мама, что ты, вы же со мной идете, там и простимся». Ему трудно было смотреть ей в глаза — боялся, разрыдается, вцепится в него. У матери было больное сердце, когда переволнуется, ей становилось совсем плохо. «Ну, сядь же, мама, сядь, присядем перед дорогой».—«Как? Разве уже пора?»—«Пора. Ну, сядь, успокойся». Она села рядом, взяв обеими руками его руку. Яша почувствовал, как входит в него ее тепло. «Ты береги себя, мама, береги». Мать постаралась улыбнуться: «Боже мой, о чем ты говоришь? Я же остаюсь, а ты...»— она замолчала. На ее полном, сразу постаревшем лице, со скорбной морщиной на лбу, было такое отчаяние, что у него сжалось сердце. Вот что такое война, может, это и есть самое страшное. Он высвободил свою руку, положил ее сверху на сплетенные пальцы матери и тихонько сжал их. Она тотчас откликнулась, благодарно подняв на него глаза, и ее взгляд вызвал в памяти дру-

гой ее образ, наверно, из детства — улыбающуюся, с открытым, красивым лицом, теплыми карими глазами, вот так повернувшую к нему голову. Блики солнечного света в комнате, он в кровати, вероятно, был болен, но болезнь прошла, ему легко, хорошо, и мать, иногда посматривая на него, играет на пианино...

Неожиданно Яша подумал о том, как редко в последние годы мать садилась за пианино, а уж петь и совсем перестала. А ведь она училась в консерватории, готовилась стать оперной певицей. Все романсы Чайковского, Рахманинова, Грига он знает с ее голоса. Почему же она не стала певицей? Яша однажды спросил ее об этом. Мать ответила не сразу: «Вышла замуж, потом ты родился, пришлось оставить консерваторию, сначала на время, потом...— Вздохнула, прибавила:— А знаешь, у меня был большой голос, мне прочили блестящую карьеру. Сам профессор Сикорский предлагал...— Замолчала, задумчиво произнесла:— Только для этого надо было все бросить, все, и вас. А я не смогла. Так уж, наверно, устроено: любое призвание эгоистично, требует всю душу, всю жизнь, ничего не оставляет. А я не смогла».

Теперь, вспомнив этот давний разговор, Яша понял: оперная сцена, концерты в консерватории — несбывшееся в ее жизни. Та самая мечта, которая делает человека счастливым, если она сбывается, а нет — жизнь кажется неудавшейся. У мамы не сбылось: она любила его, отца больше себя, больше своей мечты — странно, что только сейчас он понял это. «Ни слова, о друг мой, ни вздоха...» «Ну, что ж,— поднялся Симовский,— тронулись, что ли? Труба зовет»,— чуть усмехнулся (сказал по привычке, а ведь верно — звала труба!), шагнул к двери. Ноги сами остановились. Глотнул, заставил себя сделать еще шаг и еще. Вот уж не думал, что эти три шага такие трудные. У порога окинул последним взглядом комнату — фамильное мамино пианино (еще от деда) с двумя бронзовыми подсвечниками; на крышке две зеленые с позолотой вазы античной формы с изображением буколических сцен, рядом высокую из черного дерева резную подставку, на которой стопкой лежали ноты; угол, где спал, стул с пепельницей, тахту со смятой подушкой, старую этажерку с книгами; маленький письменный стол на толстых резных ножках, книги с закладками, деревянный стакан

с ручками и карандашами; в другом углу — отгороженная шкафом кровать...

Он не мог оторвать этот последний взгляд, повернуться и уйти. Вдруг все уплыло, задернулось пеленой, а оттуда, из мутной тьмы, надвинулось что-то черное. На секунду он закрыл глаза, а когда снова открыл, пелена рассеялась, стол и тахта стояли на месте. «Ну, вот,— сказал Симовский, ощутив мгновенный озноб,— это оттуда».—«Откуда, Ялик, что ты сказал?»— испуганно спросила мать, ловившая каждое его слово. «Я сказал, меня ждут, пора»,— он открыл дверь и вышел в коридор.

На улице, отойдя на несколько шагов, оглянулся — его дом на углу Кировского проезда, рядом с метро «Красные ворота», возвышался, как крепость. «Это который на углу Кировской, у Красных ворот,— спрашивали новые друзья,— где аптека?» — «Во-во, внизу аптека, он самый». Москвичи знали его дом. Проезжая по Садовому кольцу, видели на огромном торце, возвышавшемся над низеньким зданием метро, рекламные щиты, призывавшие страховать свою жизнь и подписываться на «Пионерскую правду». Сейчас ему показалось, что он тоже отдалялся, уходил, как большой корабль.

Они шли вниз по Кировской. Мать держала его под руку, отец хмуро шагал чуть впереди. Молчали. О чем говорить? О том, что их ждет,— бессмысленно. А для прощания еще не настало время. Так, в молчанье, прошли Большой Козловский переулок (там была его школа, Симовский невольно замедлил шаг), Малый Харитоньевский переулок, а вот, почти на углу, и дом сорок два, особняк казаковской постройки, где у своего друга Бегичева живал, наезжая в Москву, Грибоедов, где он писал «Горе от ума» и где бывали Чаадаев, Одоевский, Кюхельбекер, Верстовский, Денис Давыдов... Тысячу раз ходил он этой дорогой, по которой хаживали и они,— Москва как бы спрессовала прошлые эпохи и перемешала их с настоящим. Сейчас с необыкновенной остротой он ощутил ее многомерность, глубину в сегодняшнем военном утре. Поглядывал по сторонам, иногда задерживал взгляд, словно стараясь запомнить: кусок улицы, дом, проходящие люди...

Москва затаилась, стала молчаливей, сосредоточенней, жестче. Не было привычной уличной суеты. Шаг у людей стал тверже, подобранней. И лица дру-

гие — замкнутые, углубленные в себя. Навстречу по мостовой прошла рота автоматчиков в касках, с противогазами через плечо. У Комсомольского переулка тягачи протащили зенитные орудия с длинными зачехленными стволами.

Москва становилась фронтовым городом. «Военный год стучится в двери моей страны. Он входит в дверь. Какие беды и потери несет в зубах косматый зверь? Какие люди возметутся из поражений и побед? Второй любовью революции какой подымется поэт?» Симовскому вдруг вспомнились эти стихи. Беды и потери. Поражения и победы. Сейчас никто не знает какие. Никто. Доживем — увидим. И опять, в который раз, он спросил себя: готов ли?

Они вышли на Театральную площадь. Здесь дома как бы расступились, чтобы не загораживать Большого театра, его бело-матовые колонны, фронтон над ними, бронзовую квадригу — взвивающихся в небо горячих коней, с которыми мог справиться лишь один Аполлон. Здесь открывалось голубое июльское небо с легкими рассеивающимися облачками, солнечное, тихое, будто и не было войны.

«Посидим немного, время есть»,— сказал Симовский, кивнув на сквер перед Большим театром.

Они нашли свободную скамью, сели — Симовский посредине, слева мать, справа отец. Шелестела под теплым ветерком зеленая листва деревьев, окружавших сквер, слышались негромкие голоса людей, пришедших сюда, чуть смягченно докатывался уличный гул. Симовский положил на землю вещмешок, мать передвинула его поближе к себе. Они сели лицом к Малому театру, и Симовский хорошо видел его желтый вытянутый фасад и перед ним массивную фигуру сидящего в кресле Островского.

В этом сквере большинство было таких, как он. Говорили вполголоса, как говорят перед дорогой. Запыхавшись, вбежала девушка со свертком в руках, огляделась; навстречу ей поднялся командир в новеньком обмундировании, перетянутый блестевшими ремнями, румяный, голубоглазый, сам весь новенький, как игрушечный. Взявшись за руки, они ушли. Ворковали голуби, беззаботно чирикали неунывающие московские воробьи. Шелестела листва. Сквозь деревья просвечивала чистая солнечная голубизна. Еще один командир-артиллерист поднялся и ушел, обняв за плечи седую жен-

щину в темном платье. Люди приходили и уходили. Шаги их быстро пропадали в уличном шуме — вернутся ли они сюда когда-нибудь? Ему хотелось верить, что все вернутся, и он вернется, и тот голубоглазый младший лейтенантик, и командир-артиллерист. Очень хотелось верить в это, но он и вообразить себе не мог, что пройдут годы, и этот сквер станет в красный весенний день 9 мая ежегодным местом встреч ветеранов войны. Так со временем будут называть тех, кто останется в живых. И повсюду будет греметь музыка, и звучать неведомые ему фронтовые песни, которые еще напишут, и седые люди будут искать друг друга и, встретившись, стоять и плакать. А другие, совсем молодые, в джинсах и модных рубашках, которые пришли сюда, болтая и смеясь, вдруг притихнут. И будет бить фонтан, высоко извиваясь и сверкая на солнце, а на кустах зацветающей сирени и ветках молодых, начинающих зеленеть липок будут висеть бумажки и дощечки с крупными надписями: «3-й отдельный противотанковый дивизион четвертой армии, второй Белорусский фронт — в 5 ч. у метро «Площадь Революции»...», «Седьмая десантная непромокаемая...», «658-й штурмовой авиационный полк...» И с такими же дощечками на груди будут ходить по скверу молчаливые люди, ища однополчан. И тот, кто в шуме праздника, в блеске орденов и парадных мундиров вглядится в них,— поймет, что поразному сложилась жизнь у фронтовиков, вернувшихся с войны. И может случиться, что и однополчанин, встретив лысеющего человека с изборожденным резкими морщинами лицом и угрюмо опущенными уголками рта, одетого в мятые брюки и темную клетчатую рубашку, с надписью на груди: «Разведка Северного фронта», не узнает в нем того лихого бесстрашного кудрявого разведчика с дерзкими веселыми глазами, чье имя гремело на весь фронт. Не узнает — и пройдет мимо, а человек этот с надписью на груди: «Разведка Северного фронта» — все будет ходить, искать свою молодость...

Но все это будет впереди, в невероятной дали, о которой Симовский не мог и помыслить. А пока время, отпущенное ему, истекало. «Пора,— сказал отец,— надо идти». Он встал, худой, большеглазый, с провалившимися щеками, с седеющим ежиком темных волос. Туберкулез уже много лет съедал его, но все равно он казался Симовскому сильным, непогрешимым. С детства

Яша побаивался отца, его молчаливости, вспышек гнева, когда, бывало, допекал отца своим упрямством. А теперь он подумал: какое же мужество нужно, чтобы вот так жить и, несмотря на болезнь, казаться сильным и оставаться верным, надежным человеком, внушающим уважение, и со спокойным достоинством, без суеты исполнять свою небольшую должность заведующего сберкассой. «Да, пора,— ответил Симовский, взглянув на отца,— пора». Только сейчас он увидел, какие у отца удивительные глаза — темно-карие, глубокие, мягкие, печальные. «Подожди, Ялик, куда торопиться, еще успеешь»,— сказала мать. Но они с отцом уже стояли, готовые тронуться дальше, и ей тоже пришлось подняться. Пожилая женщина, одиноко сидящая на противоположной скамейке, тихо покачивая головой и думая, вероятно, о своем, смотрела на них...

Во дворе университета толпилось уже много народу. Симовский огляделся — Тани не было. Он усадил отца и мать на низенькое каменное основание ограды (скамейки были заняты) и решил сначала зайти на факультет, в штаб, узнать, что и как. Исторический факультет находился в здании, которое стояло чуть на отшибе, на улице Герцена, но к нему можно было пройти внутренним двором и выйти сразу на угол Грановского и улицы Герцена, а там до факультета два шага. В штабе было тесно, не протолкнуться, все говорили сразу, но ему удалось выяснить, что построение через полчаса и что сначала они отправятся в школы на Пресне, где доукомплектуются, а уж потом на фронт. Ну, что ж, еще день-два в Москве. И Таня, если сейчас опоздает, найдет его на Пресне. Мать с отцом скажут, где он. Таня, Таня. Неужели что-то случилось? Он отгонял эту мысль — ерунда, немного задержалась, время еще есть. Надо поскорее забежать в библиотеку к Вале и взять папку с диссертацией. Последний оставшийся экземпляр, его собственный, над которым он продолжал потихоньку работать в свободные часы. С грустью Симовский подумал о том, что остальные экземпляры, находящиеся у оппонентов и рецензентов, вряд ли уж теперь уцелеют,— война... И защита, намеченная на сентябрь, откладывается (скажем так) на такой далекий срок, который, может быть, отпущен на всю жизнь... Он вздохнул. Будем считать, что откладывается. И пусть эту диссертацию сохранит Таня. Пусть она. Черт его знает, наверно, это глупо, но ему кажется, если Таня сбережет

диссертацию, он вернется. Так он и скажет Тане, когда передаст папку. Таня уточнит: «Та самая?»—«Да, да, та самая, о Герцене, Огареве, об их сборниках «Голоса из России», выходивших в Лондоне. Герцен в предисловии «От издателя» сам писал, что публикуемые в «Голосах из России» статьи особенно важны потому, что это первые опыты русской речи о русском общественном деле после тридцатилетнего молчания. А между тем это пласт русской общественной мысли, и какой богатый!»

Тут Симовский оборвал себя, обнаружив, что произносит внутренний монолог. Он усмехнулся. Ничего этого он, пожалуй, говорить не будет. Но все-таки, вручив папку, заметит, что писал эту диссертацию, как книгу: она разворачивалась сама собой, и просто удивительно, как неожиданно и естественно по ходу работы связались некоторые имена и факты, которые считались неразгаданными! В последний год, скажет он, ты будто стояла за моей спиной, когда я заканчивал эту работу. Я все время чувствовал, что ты рядом, мне вообще казалось, что пишу ее для тебя. Ну, вот — опять целый монолог. Надо коротко, всего три слова: сохрани, это — я. Если сохранишь...

Договаривать Симовский не стал, он оказался уже на университетском дворе. Народу заметно прибавилось, и ему пришлось подняться на ступеньки памятника Ломоносову, чтобы через головы обозреть двор. Тани не было. Отсюда, со своего возвышения, он увидел отца и мать, искавших его глазами, и пошел к ним. «Таня не приходила?»— спросил он у матери на всякий случай. «Нет, не приходила. Куда же ты, Ялик? Посиди с нами».—«Сейчас приду, мама. Вот только возьму в библиотеке свою диссертацию и мигом обратно».— «Разве дома у тебя нет экземпляра?»— удивился отец. «Нет. Я здесь работал, а остальные на руках».—«Тогда непременно возьми,— сказал отец.— А мы сохраним до твоего прихода. Приедешь — она тебе понадобится».— «Ну да, вот я и хочу... Я мигом,— повторил Симовский,— если Таня придет...»—«Да, да, конечно, мы ей все скажем,— перебил отец.— Иди скорее».

Симовский вошел в вестибюль, махнув рукой, промчался мимо Фаины Яковлевны, сидевшей на проходе за своим столом, одним духом взлетел на второй этаж, повернул направо, прошел лестничную площадку с перилами и с правой стороны коридора открыл дверь

в небольшую комнату, где обычно Валя возилась с каталогом и где в шкафу она хранила его диссертацию.

Валя была способной студенткой (помимо своей постоянной работы в библиотеке она училась на третьем курсе вечернего отделения, где он вел герценовский семинар), и почти каждая их встреча превращалась в своеобразную консультацию — у нее всегда находились вопросы, Симовский подумал, что он готов был бы и сейчас, как всегда, дать консультацию, да вот незадача — война... На мгновение он остановился на пороге. Солнечный свет из распахнутого окна, находившегося как раз против двери, ударил в глаза. В перекрестьях оранжевых лучей плавали пылинки. Яркие солнечные пятна светились на полу в открытом пространстве между окном и дверью. Валя сидела за письменным столом, стоящим в глубине комнаты, и как бы была отгорожена от Симовского сплетениями солнечных лучей. Руки ее недвижно лежали на подлокотниках кресла, глаза были устремлены в пространство. Увидев Симовского, она побледнела, но, быстро справившись с собой, поднялась навстречу.

— А я уже волноваться начала. Хотела сама выйти, да боялась разминуться.— Валя взяла со стола объемистую темно-красную папку:— Вот. Замечательная работа!

— Чего же раньше не сказала?— пробурчал Симовский, беря папку.— Как-никак коллеги! Нехорошо! Нехорошо! — Он делал вид, что рассержен, а Валя, встретив его взгляд, опустила глаза.

Симовский, все замечавший в эти дни, задержал ее руку и, будто ничего особенного не происходило, спросил:

— Есть вопросы?

Валя молчала, и он, как это обычно делал при встречах, произнес нараспев: «В конце письма поставить «Vale»... (А Валя, подражая Татьяне, напевала в ответ: «Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была...» Она вполне могла позволить себе эту вольность, ибо находилась в расцвете своей юности и никогда не была так хороша, как в эти свои двадцать два года.) Но сейчас она не пропела этой фразы, и лишь улыбнулась краешком губ, отчего на ее милом лице с чуть вздернутым носиком, нежным румянцем и большими голубыми глазами (увы, она была не Татьяной, а Ольгой) открылась такая печаль, что шутливые, не-

значащие слова, которые Симовский собирался произнести, застряли у него на языке, и он только тихонько пожал ее руку.

— Я давно, очень давно...— начала она.

— Не надо, Валя. Не надо,— перебил ее Симовский.— Ты же знаешь, что я...

— Знаю,— поспешно сказала Валя,— знаю. А все равно я буду всегда...— горло ее дернулось, но она справилась с собой.— Не бойтесь, я хотела сказать, да, да, я хотела сказать — берегите себя!

— Ну, конечно, обязательно.— Симовский усмехнулся:— Представь себе, что было бы, если бы солдаты выполняли это обещание на войне? Спасибо тебе за все,— без всякого перехода сказал он.— Я буду знать, что у меня есть настоящий друг. А это немало. Поверь — немало! Я напишу тебе. Обязательно напишу.

Валя как бы улыбнулась краешком губ и тихо вздохнула, совсем тихо, чтобы Симовский не услышал:

— И я вам буду писать...

Боковым зрением Симовский увидел, как в комнату вошла седая женщина, села за письменный стол (Валя поспешно встала, уступая ей место) и начала звонить по телефону. Симовский повернулся к двери и теперь уже хорошо разглядел седую женщину с худым изжелта-смуглым лицом и черными блестевшими глазами. Лицо этой женщины показалось ему знакомым. Где-то он безусловно ее видел. Да бог с ней!

Симовский снова повернулся к окну. На дворе было все то же: сидели, стояли, говорили, входили и выходили люди. А Тани не было. «Да, она не придет,— прорвалась вдруг мысль, которая, как оса, крутилась и жужжала где-то рядом, а он отгонял ее,— не придет, понимаешь?»—«Что-то случилось?»— спросил Симовский. «Нет, нет,— оса жужжала все ближе,— если бы что-то страшное, ты почувствовал бы, верно? Просто не придет — и все. Возможно, помешали какие-то обстоятельства — мало ли что бывает?» Оса таки вонзила свое ядовитое жало, но Симовский быстро справился с ним. «Ерунда,— ответил он,— ерунда. Не какие-то обстоятельства помешали Тане, а серьезные, важные. Иначе не может быть». Ему стало стыдно, что он мог хоть на мгновение усомниться в Тане.

Краешком глаза Симовский увидел, как женщина, говорившая по телефону, положила трубку, достала из сумочки пачку папирос, спички, попробовала закурить,

но спички ломались. Пальцы ее дрожали. Как только закурит, сказал себе Симовский, тут-то и появится Таня. Спичка загорелась, женщина глубоко затянулась. Симовский выглянул в окно. Тани не было. Оставалось тринадцать минут.

В конце концов, Таня может прибежать и в самую последнюю минуту. А нет — он отдаст папку матери и отцу, они сберегут. «При чем тут папка?— взъерепенился Симовский.— Черт с ней, с диссертацией, лишь бы с Таней ничего не случилось!» Женщина за столом курила, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Дымящуюся папиросу она держала в левой руке слегка на отлете. Теплый, оранжевый свет заливал комнату. Волны его, накатываясь и отступая, все время что-то непостижимо изменяли. И вдруг все вокруг стало нереальным, зыбким, непонятным, как во сне. И как во сне, он ощутил приближение несчастья, непоправимой беды. Но это ощущение длилось какое-то мгновение. Стоило ему шевельнуться, как все стало на свои места.

Симовский взглянул на часы: до построения десять минут. Таня не придет. Он уже почти не сомневался в этом: она опаздывала на сорок минут. «Письмо?»— вспыхнула мысль. Ведь можно еще успеть написать. А с письмом можно передать папку, и Таня прочтет письмо, и диссертация останется у нее, как он хотел, и Таня сохранит ее. Симовский положил папку на подоконник и придвинул стоящий у стенки стул. Где взять бумагу? Ему не хотелось вырывать листок из записной книжки — он собирался писать не записку — письмо. Симовский обежал глазами стол, шкафы. На одном из шкафов, на самом верху, заметил уголок серой тетрадной обложки. Встав на цыпочки, вытащил школьную тетрадку. В ее пыльной мятой обложке оказался один листок в клетку. Один-единственный. Симовский сел на стул, положил листок с тетрадкой на подоконник и начал писать. Он очень торопился и не заметил, как исчезла женщина с худым изжелта-смуглым лицом и Валя осталась одна. Симовский не слышал голосов, доносившихся со двора, стука двери, топанья ног в коридоре,— он писал и видел Таню, ее лицо, глаза, устремленные на него, словно он говорил ей все это, а она слушала его, и ничто не сдерживало его, он говорил на удивление легко и свободно, и слова приходили сами, именно те, что были нужны, а когда он закончил, сложил листок вдвое и, оторвавшись от письма, поднял голо-

ву — он увидел Валю. Не Таню, а Валю, которая сидела за столом и смотрела на него. «У вас было такое лицо...— сказала Валя.— Простите».—«О чем ты?»— «Так, ничего... Вам надо идти,— тихо добавила она.— Пора...»

Валя произнесла это слово спокойно, примиряясь с необходимостью, но голос ее дрогнул. Симовский сказал:

— Ничего, Валя-Валентина, живы будем, не помрем,— он встал.— Да, пора! У меня к тебе просьба (только сейчас ему пришла в голову эта мысль), выполнишь?

Вопрос был риторический, и Симовский, не дожидаясь ответа, сказал, что папку с письмом надо отнести Тане, сегодня или завтра. Валя кивнула, и Симовский, пробормотав: «Ну, вот и отлично!»— вложил свой исписанный листок в папку и крепко завязал тесемки. Потом на белом квадратике в середине обложки быстро написал адрес и, встав, протянул папку:

— Смотри же, не забудь...

— Не беспокойтесь, Яша, передам в собственные руки. Не беспокойтесь,— повторила Валя, прижав папку к груди.

— Спасибо. Будь счастлива!— Симовский взял ее за плечи, притянул к себе, поцеловал и быстро вышел из комнаты.

Валя опустилась на стул, закрыла глаза рукой, потом вскочила, метнулась к окну. Сверху Валя видела в резком солнечном освещении как бы чуть уменьшенными Яшу, его мать и отца, понимала, что они говорят вслух, что шепчут про себя,— все понимала, и ей казалось, что это уже когда-то было, и она знает, что будет дальше. Все знает, что было, что будет, чем сердце успокоится... Ах, ничем оно не успокоится! Ничем. Темное, смутное предчувствие сдавило ей грудь, но она оттолкнула его, надо заставить себя не думать об этом. Не думать, чтобы не передать ему свою печаль.

Валя смотрела на Яшу, стоявшего лицом к ограде и боком к ней, смотрела, ждала, когда он повернется, чтобы увидеть его лицо. Яша не поворачивался, и тут она услышала коротко и хлестко брошенное слово команды, сразу погасившее все другие звуки. Яша судорожно прижал к себе мать, потом отца. Кругом началось движение, взметнулся всплеск голосов — это были слова, которые приберегались на самый конец, слова,

сами вырвавшиеся из сердца. Всплеск опал, и с трех сторон вокруг памятника Ломоносову, лицом к нему, неловко толкая друг друга, начали строиться ополченцы. Симовский оказался в первом ряду, спиной к ограде, и теперь Валя из окна хорошо видела его лицо. Командир, грузный, немолодой человек в видавшей виды форме, с потертой сумкой через плечо, молча ждал, когда утихнет суета. Яша оказался пятым справа, потом шестым. Линия строя все ломалась и шевелилась, и тогда неожиданно, видно, потеряв терпение, командир громко скомандовал:

— Равняйсь! Смирно!

Два слова команды, сначала одно, растянутое на гласных, за ним после короткой паузы другое, которое командир, задержавшись на первом слоге, как бы дав разбег, сильно толкнул вперед, резко оборвав окончание, прокатились над двором и, усиленные эхом, вернулись обратно. Оказывается, они обладали магической силой. Строй замер. В наступившей тишине стали слышны гудки автомобилей, отдаленные шумы и звуки улицы. Командир развернул листок и зычным голосом по алфавиту начал выкликать фамилии. Многие фамилии были Вале знакомы, но она ждала одну, Яшину...

— Я...

— Здесь...

— Здесь...

Каждый раз, услышав ответ, командир останавливался, вскидывал глаза и продолжал читать дальше, постепенно приближаясь к Яшиной фамилии. Ближе, еще ближе, ну, вот сейчас... Но находилась еще одна фамилия на букву С и еще одна. Теперь через одну, загадала Валя, но тут как раз командир выкрикнул Симовского. Валя вздрогнула от неожиданности, сердце ее упало.

— Здесь...

Голос утонул в шуме проехавших грузовиков. Больше она не вслушивалась в голос командира. Она смотрела на Яшу, а он, оглядывая стоящих вокруг людей, иногда вытягивал шею и приподнимался на цыпочки, искал взглядом Таню. Валя не могла различить на таком расстоянии выражения его лица, но она безошибочно угадывала, куда он смотрит, и точно следовала за его взглядом. Отсюда, сверху, ей были видны и те, кто находился в поле его зрения, и другие, составлявшие как бы третий и четвертый ряды, вплоть до самой

ограды. Тех, кто только что появился и стал сзади строя возле ограды, Яша увидеть не мог. Может быть, у него оставалась надежда, что Таня пришла и он увидит ее, когда они будут выходить? Напрасно Валя всматривалась (словно выполняя просьбу Яши) в толпу людей, сгрудившихся вдоль ограды,— Тани нигде не было. Зря Яша высматривает, зря. А все надеется, боится ее пропустить. «А я?— спросила себя Валя.— Яша, наверно, уже забыл обо мне. Ну, вспомни про меня!— взмолилась она.— Подумай обо мне. Догадайся, что я здесь. Посмотри на окно. Посмотри. Ну хотя бы подними голову. Только подними голову, я сразу пойму». Но Симовский не услышал ее. Он думал о Тане и невидящими глазами смотрел прямо перед собой, где, стоя рядом с командиром, секретарь факультетского комитета комсомола произносил речь. Валя и не заметила, как командир закончил перекличку и как, шагнув вперед, неожиданно звонким от волнения голосом начал говорить секретарь парткома. Валя плохо слышала, что он говорил,— слова его проваливались, не дойдя до нее. Валя обращалась к Симовскому. Она просила, убеждала, хотя и знала: не услышит, не откликнется, и все-таки мучительно ожидая этого. Случается же такое, думала Валя. Однажды это произошло с мамой, когда она вдруг что-то почувствовала и, бросив все дела, прервала командировку и вернулась из другого города в Москву, а папа как раз заболел и лежал один, ему было очень плохо, и он в бреду обращался к маме и звал ее. Мама услышала — за сотни километров, неужели Яша не услышит ее, находясь в нескольких метрах? Мама любила, ответила себе Валя. А меня никто не любит. Никто. Ей стало так горько, так жалко себя, что горло ее сжалось, но тут же она устыдилась своей слабости. Яша идет на фронт, на смерть, а она плачется своими обидами. «Но ведь и я готова жизнь отдать — пусть только скажет,— мысль ее опять вернулась к тому же.— Разве я не могу даже пожелать, чтобы он вспомнил и догадался, где я, и посмотрел в окно?»

Солнце поднялось уже высоко, и его жаркие лучи падали прямо на лица ребят. На прощание московское солнце не жалело для них ни тепла, ни света. Валя смотрела на Яшу, иногда рассеянным взглядом окидывая весь двор — строй в четыре шеренги, с трех сторон буквой П окруживший памятник, командира перед строем и рядом с ним секретаря парткома, еще не-

скольких человек сзади них, а чуть поодаль людей, которые теснились к застывшим в строю ополченцам. Она все это видела, и ей казалось, время остановилось. Все застыли на своих местах. Лишь иногда у кого-то на одежде вспыхивало яркое радужное пятно, а то вдруг, матово серебрясь, словно от нездешнего ветерка, вздрагивала густая зеленая листва молодых липок у ограды...

Но вот что-то изменилось. Валя опять услышала раскатистый голос командира, ребята в строю повернулись боком и спиной к ней, и Яша повернулся вместе со всеми, и опять прокатился и оборвался, словно обрубленный, голос командира, и тотчас же все дружно ударили шаг, и строй, колыхнувшись, двинулся к выходу. Вот и все. Отбивая шаг, строй приближался к ограде. Ну, оглянись, посмотри на окно. Я здесь. Посмотри. Между выходом и идущими впереди оставалось еще несколько метров. Оглянись. Я здесь. Но Яша и сейчас, в эту последнюю минуту не услышал ее. Теперь Валя видела только его голову. В конце письма поставить «Vale». Привет, Валя-Валентина. Спасибо, Валя, будь счастлива. Самые первые вплотную подошли к выходу, еще шаг — и они исчезли. Вот скрылась из глаз и Яшина голова...

Некоторое время, будто в оцепенении, Валя еще смотрела, как весь строй, ряд за рядом, исчезал за оградой, а потом сорвалась с места и побежала вниз по лестнице, вдогонку за ними.

...«Передать папку Тане Новосельцевой. Обязательно разыскать Таню Новосельцеву»,— когда, исписав этими фразами три страницы блокнота, Женя поднял голову, седой женщины с худым изжелта-смуглым, странно знакомым лицом уже не было. Женя и не заметил, как она ушла. Он почувствовал себя неловко в чужой комнате, поспешно поднялся, но что-то держало его здесь. Что? Женя еще раз внимательно оглядел комнату: стол, стоящий в глубине, перпендикулярно к окну, по стенам шкафы для каталога со множеством ящичков, свободное пространство между дверью и распахнутым окном в перекрестье солнечных лучей, закуток между шкафом и оконной стенкой, где стоял стул (Женя снова поставил его на место), стены грязновато-кофейного цвета...

Вот так, вот так все и было тогда! Точно так! Собственно говоря, у него не было особых оснований считать, что комната та самая, но что-то она таила в себе. Объяснить, в чем тут дело, Женя не мог, но именно эта комната с распахнутым окном, откуда со двора и с улицы доносился слабый гул, с пыльным, стоящим в закутке стулом, который можно одним движением пододвинуть к окну,— именно она как бы вплотную приблизила его к тому дню 6 июля 1941 года, когда, примостившись на подоконнике, Симовский торопясь писал свое прощальное письмо.

А может быть, все это его фантазия? Нет, не фантазия! Симовский сам обмолвился в своем письме, что пишет его в библиотечном кабинете. Другое дело — почему Валя не выполнила его просьбу? Что ей помешало? И самое главное — почему все-таки не пришла Таня?

Женя еще раз оглядел комнату и двинулся к двери. У порога остановился. Никак, никак не мог он уйти! Теплый оранжевый свет заливал комнату. В волнах его что-то непостижимо менялось, и Жене показалось, что и вся комната колеблется, тихо покачивается, словно куда-то плывет. И тут вдруг, как во сне, погас солнечный свет, будто выключили волшебный фонарь. В комнате потемнело и пахнуло электрической предгрозовой свежестью. А еще через секунду с треском захлопнулось окно. Женя бросился обратно и попытался снова открыть его, но ветер не давал ему это сделать. Наконец Жене удалось распахнуть окно. Тугой влажный ветер сильно ударил в лицо. Женя почувствовал на губах вкус дождя, высунул голову, посмотрел вверх. Огромная темно-фиолетовая туча закрыла все небо. Становилось все темнее, и казалось, туча медленно опускается, все ниже и ниже, собираясь придавить дома и людей. Воздух стал густым, вязким. Ветер бесновался, рвал его на куски. Дышать стало труднее, а гроза все медлила разразиться. Туча продолжала опускаться. Мертвенно-серый свет с трудом пробивался сквозь темную громаду, нависшую над Москвой.

Двор опустел. Ветер с шумом гнал и крутил сбитые с деревьев листья. Улица затаилась, гудки машин в свисте ветра казались сигналами тревоги. Снова резкий порыв ветра ударил в окно, но на этот раз с такой силой, что задребезжали стекла, и сразу же, почти од-

новременно, огненный зигзаг с треском расколол черное небо и хлынул ливень.

Женя невольно отпрянул от окна, ощутив дыхание грозового электричества. Вот так убегают от огня, подумалось ему, кланяются пулям. Ну, уж нет! Ни бегать, ни кланяться. Он снова высунулся из окна, готовый лицом к лицу встретить молнию. Холодные брызги обдали его, он крутил головой, губами ловил струи воды. Дождь хлестал во всю ивановскую, клокотал в водосточных трубах, с неистовой силой ударялся об асфальт. Кругом звенело, шумело, бурлило. На дворе образовались лужи, запенились ручьи. «Ну, давай, давай!— подзадоривал Женя.— Не стесняйся, жарь во все лопатки!» И шум низвергающихся потоков усиливался. «Вот так, хорошо!— радовался он.— А теперь садани, чтобы жарко стало!» И послушно сверкнула молния, на этот раз чуть подальше (ага, отступаем!). «Замечательно!— крикнул Женя.— А ну-ка еще разок, да покрепче!»— приказал он, не сомневаясь, что приказание будет исполнено. И опять сверкнуло и грохнуло, но еще дальше — гроза явно уходила, зато дождь не унимался.

Стало светать. Туча медленно расползалась, теряя свой зловещий черно-фиолетовый цвет, оставляя рваные дымящиеся куски первозданного хаоса. В просветах появилась мглистая синева — на глазах она очищалась, наполнялась светом, и было ясно, что гроза сдала свои позиции. Вдали перекатывался гром, но это уже было похоже на ворчание генерала, которому пришлось вывести из сражения свои войска. А вот дождь не намерен был отступать — он то ослабевал, то, наверстывая упущенное, припускался с новой силой. Теперь, при свете, шум его был не устрашающим, а веселым, легким. Под таким дождем хорошо плясать босиком и орать во все горло. Женя хоть сейчас готов был сбежать вниз и попробовать, но с ним была папка, которую он не мог выпустить из рук.

Женя спустился по лестнице. В вестибюле собралось довольно много народу. Действуя весьма энергично, Женя пробрался в первый ряд, стоящий в дверях, и оказался рядом с девушкой, которую он, возможно, и не заметил бы в тесноте, если бы случайно не наступил на ногу, отчего она вскрикнула. Вот тут-то, пробормотав извинение, он взглянул на нее. Взглянул — и уже отчетливо и громко, даже, пожалуй, с излишней аф-

фектацией, повторил свое извинение. Ее голова с прилипшими мокрыми волосами лишь на мгновение повернулась к нему, но Женя успел увидеть нежный овал лица с огромными глазами — ему показалось, светло-зелеными, как молодая трава. По тому, как она отвернулась от него, и ежу было бы ясно, что извинение не принято.

— Нет мне прощения, нет!— сказал Женя.— Придется наложить на себя суровую епитимью.

Девушка не шелохнулась — смотрела в просвет двери на дождь. Мокрое цветастое платье с короткими рукавами прилипло к телу, обрисовывая ее высокую стройную фигуру, из-за этого она, по-видимому, чувствовала себя неловко и была не склонна ни к каким разговорам. Женю, однако, это не остановило, и он предпринял еще одну попытку. Он верил в удачу — такой уж был день.

— Мне сегодня везет,— доверительно произнес Женя, повернувшись к ней. Девушка не прореагировала, и, пробормотав:— Вот всегда так, когда приходит радость, не с кем поделиться,— Женя обиженно замолчал. Девушка чуть-чуть, еле заметно повернула голову. Движение это не ускользнуло от него. Наверное, ее тронуло бесхитростное сердечное признание —«когда приходит радость».

Солнце просвечивало сквозь пелену дождя, который слегка умерил свой пыл. Его струи красиво, как напоказ, взрывая фонтанчики, ударяли по лужам с мягким шлепающим звуком.

— Нет, не перевелись люди, способные сочувствовать и сострадать,— проговорил Женя (надо было ковать, пока горячо),— я верю в человечество. Несмотря ни на что, я оптимист.

Девушка продолжала индифферентно молчать, и Женя, слегка понизив голос, наклонился к ней:

— А вы?

— Что я?— переспросила она, не поворачивая головы (значит, все-таки слушала, что он тут болтал).

— Я хотел узнать, не разделяете ли вы мои воззрения на человечество,— пояснил Женя,— иначе говоря, вы оптимистка или пессимистка?

— А вы мастер своего дела,— сказала она, чуть скосив глаза на Женю.

— Опыт...— вздохнул он,— опыт, годы... И вера в людей. Вот и весь мой секрет.

Девушка хмыкнула, и Женя, ободренный первым проблеском успеха, продолжал:

— К сожалению, огромная занятость оставляет мне мало времени для личной жизни. Одиночество — вот мой удел.

— А как же оптимизм?— спросила она.

— Только им и спасаюсь. Нахожу отраду в учениках. Вот, например, завтра в Академии наук мой аспирант защищает докторскую диссертацию,— для вящей убедительности Женя похлопал по папке. Склонив голову, представился:— Евгений Сухарев, член-корреспондент.

Кто-то из стоящих рядом фыркнул.

— Ничего смешного,— сказал Женя с обидой в голосе.

— Да никто и не смеется,— поддержала его девушка.— Наоборот, достойно восхищения: такой молодой — и уже член-корреспондент. Яна,— заключила она свою реплику в его защиту.

— Не просто Яна, а дождевая русалка по прозванию Яна.

Как раз именно в этот момент сноп золотистых лучей, пробившихся сквозь завесу дождя, косо упал на Яну, как бы специально для того, чтобы заиграли краски на ее лице с большими, невероятно зелеными глазами — в этом уже не было сомнения — и чтобы окрасить золотом ее чуть вскинутую голову с тяжелыми, потемневшими от воды волосами, а заодно высветлить вытянутую линию русалочьей шеи, о которой иначе и не скажешь. Из дождя вышла, в дождь и уйдет, подумал Женя. Вслух он прибавил:

— Да, так оно и есть! А ведь до сих пор подвид дождевых русалок науке был неизвестен. Мне принадлежит честь открытия.

Яна не ответила. Солнечные лучи передвинулись, оставив на плече Яны только один радужный кружок. Дождь стал редеть, но его капли с прежней силой шлепали по лужам, вызывая тут же лопавшиеся пузыри. Стало пригревать, и над лужами начал подниматься парок. Солнце рассеивалось, пропадало и неожиданно вспыхивало в другом месте, сверкая и переливаясь в каплях дождя. Несомненно, между Яной и этим солнечным дождем существовала таинственная связь.

Женя вдруг испугался: а ну как она, не сказав ни единого слова, возьмет да исчезнет? Шагнет — и поми-

най как звали. А как ее найдешь? Ведь никто не знает, где обретаются русалки. Он с опаской взглянул на Яну. А она, похоже, забыла о его существовании — прищурясь, смотрела, как пузырятся под дождем лужи, как, клубясь, поднимается и исчезает в воздухе теплый парок. Что ж, конечно, это интересней, чем его болтовня, которая исчерпала себя после первых же слов. Поделом же ему — с русалками так не разговаривают. А как? Этого Женя не знал: он впервые встретился с живой русалкой. Вот если бы он мог рассказать, что произошло полчаса назад, когда он сидел, примостившись у подоконника, в той самой комнате, в которой на этом же месте писал свое письмо Симовский и ждал Таню, а она так и не пришла,— вот если бы он мог рассказать Яне об этом! Может быть, тогда в ее глазах он не показался бы таким пошлым болтуном. Впрочем, дело не в этом. Ему просто очень хотелось рассказать об этом Яне — именно ей. Удивительно, но именно ей, неведомо откуда возникшей здесь перед ним.

Женя искоса взглянул на Яну и перехватил ее взгляд. Не то чтобы Яна смутилась, но она как-то уж слишком быстро отвела глаза, впрочем, она тут же нашлась:

— У вас был такой вид... Наверно, вам в голову пришла великая идея?

— Угадали,— согласился Женя.

— От скромности вы не умрете,— улыбнулась Яна.

— От нее еще никто не умирал.

— Смотрите-ка, дождь кончается!— Яна шагнула вперед и протянула руку:— Я побежала. До свидания, товарищ член-корреспондент! — И она ринулась в дождь, который как бы расступился перед ней и, пропустив ее, снова сомкнулся.

— Куда же вы, погодите!— крикнул Женя, готовый сорваться вслед за ней, но тут, как назло, дождь припустил сильнее, а с Женей была папка, которую ему нечем было прикрыть.

Солнце продолжало светить, дождь все сыпался на радость грибникам, золотой парной дождичек, поглотивший Яну. Воистину: из дождя вышла, в дождь и ушла. Жене взгрустнулось, но не очень. Такой уж был день, что ему казалось — все сбудется. И Таню Новосельцеву разыщет, и узнает про судьбу Симовского, и очерк напечатают, и Яну найдет, даже если она действительно дождевая русалка.

## ГЛАВА ВТОРАЯ
**Постановление Военного совета Московского военного округа о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения**

**2 июля 1941 г.**

1. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по Москве 200 тысяч человек и по Московской области — 70 тысяч человек.

В Москве мобилизацию начать 3.7 и закончить 5.7, по Московской области мобилизацию начать 3.7 и закончить 6.7.

Руководство мобилизацией и формированием возложить на командующего войсками МВО генерал-лейтенанта Артемьева.

В помощь командованию МВО для проведения мобилизации создать чрезвычайную семерку под председательством генерал-лейтенанта Артемьева в составе: секретаря МГК ВКП(б) Соколова, секретаря МК ВКП(б) Яковлева, секретаря МК и МГК ВЛКСМ Пегова, начальника Управления продовольственных товаров горторготдела Филиппова, комбрига Онуприенко и подполковника Простова.

2. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и формирование 25 дивизий произвести по районному принципу.

Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, например: 1-я Сокольнического района дивизия.

Районы Московской области формируют отдельные подразделения и части и вливают их по указанию штаба МВО в дивизии Москвы.

3. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район создает запасной полк, из состава которого идет пополнение убыли.

4. Для руководства работой по мобилизации трудящихся дивизии народного ополчения и их материального обеспечения в каждом районе создается чрезвычайная тройка во главе с первым секретарем РК ВКП(б) в составе членов: райвоенкома и начальника райотдела НКВД.

Чрезвычайная тройка проводит мобилизацию под руководством штаба МВО с последующим оформлением мобилизации через райвоенкоматы.

5. Формирование дивизий производится за счет мобилизации трудящихся от 17 до 55 лет. От мобилизации освобождаются военнообязанные первой категории призываемых возрастов, имеющие на руках мобилизационные предписания, а также рабочие, служащие заводов Наркомавиапрома, Наркомата вооружения, Наркомата боеприпасов, станкостроительных заводов и рабочие некоторых, по усмотрению районной тройки, предприятий, выполняющих особо важные оборонные заказы...

6. Во все время нахождения мобилизованного в частях народного ополчения за ним сохраняется содержание по занимаемой им последней должности.

В случаях инвалидности и смерти мобилизованного, мобилизованный и его семья пользуются правом получения пенсии наравне с начальствующим составом Красной Армии.

Председатель Военного совета МВО, командующий войсками МВО генерал-лейтенант *Артемьев*. Член Военного совета МВО *Щербаков*.

14 июля 1941 г. Лес...

Таня, Таня! Никогда еще так сильно я не хотел увидеть тебя. Но я от тебя далеко. По довоенным понятиям рукой подать, каких-нибудь два часа езды, а по нынешним — очень, очень далеко. Особенно когда идешь на своих двоих. Очень мне нужно, чтобы это письмо дошло до тебя — попробую как можно подробнее рассказать, что произошло со мной за эту неделю. Одна неделя, а кажется — прошла целая жизнь. Но о себе — потом. Как ты? Что случилось? Почему ты не пришла? Кому-нибудь срочно понадобилась твоя помощь? Я уж перебрал тысячи вариантов. В пользу предположения, что ты уехала (надеюсь, ненадолго, на несколько дней), говорит то, что в течение четырех дней, пока мы были в Москве и находились в школе, ты меня не разыскала, а я не мог до тебя дозвониться — никто не брал трубку.

Но все по порядку. Ты уже, вероятно, знаешь, что из университета после короткого митинга мы ушли строем на сборный пункт нашей дивизии к Краснопресненскому райкому партии, там были произнесены последние напутственные слова, и потом нас распределили по подразделениям и развели по школам. Из школы

и ближайшего автомата я тебе звонил много раз, а вырваться к тебе не смог — мы были на казарменном положении, в любой момент нас могли отправить на фронт. Надеюсь, верю, что ничего страшного с тобой не произошло и сейчас ты в Москве.

Так хочется, чтобы ты получила это письмо, о стольком мне нужно тебе рассказать! Но я обещал по порядку. Итак, после четырехдневного пребывания в школе, 10 июля, под вечер, мы тронулись в путь. Провожала нас вся Красная Пресня: мы шли через сплошной живой коридор. Вышли буквально все — дети, женщины, подростки, старики. Говорили напутственные слова, многие плакали. Жара уже спала, но зной держался, очень хотелось пить, и люди вынесли ведра с водой, протягивали нам полные кружки.

Не могу передать тебе, что все мы испытывали, у меня все время стоял комок в горле. И сквозь все: боль, горечь, тревогу, нетерпение — ощущалось главное — великое чувство единения со всеми, единственное желание — умереть, но защитить этих людей, всех вас, тебя, мою мать, отца, нашу Родину. И это чувство, которое с такой силой нас охватило, я знаю, поможет каждому из нас вынести все, что выпадет на нашу солдатскую долю. И я счастлив, что это понимаю, что в такое решающее время, когда вершится история, я не в стороне. Мы долго, очень долго шли по Ленинградскому шоссе, уже кончились большие дома, а в горле все еще стоял комок... А когда открылись поля, мы увидели впереди, чуть левее нас кроваво-красное солнце, как будто и оно обагрилось кровью солдат, ведущих бой там, на западе... Вскоре мы свернули с шоссе на проселочную дорогу и взяли курс прямо на это заходящее солнце. И хотя мы уже изрядно устали с непривычки, а многие стерли ноги, мне показалось даже, что мы прибавили шаг, потому что действительно воочию убедились, что идем именно туда, где бой, и, значит, надо спешить. Короткий привал мы сделали уже в темноте, а затем снова в путь. На рассвете в лесу мы разбили наш первый лагерь. Когда взошло солнце, нас выстроили на поляне и выдали обмундирование. Ушли мы с этой поляны солдатами, с одной судьбой. На поляне остались мешки с нашей одеждой, которая внешне различала нас, мы оставили все, что мешает нам стать настоящими солдатами: городские привычки, мягкотелость, самолюбие, неуверенность в себе. И вот мы снова

шагаем — уже армией. С нами командир роты старший лейтенант Потапов, худощавый, подобранный, немногословный, и мы идем за ним, вверившись ему, не зная маршрута, идем, куда он ведет. Мы спешим, а дорогам нет конца. Они тонут в полях, взбираются на косогоры, втягиваются в леса, обтекают овраги, спускаются в лощинки и снова прорезают поля... Удивительно, никогда раньше я так остро не ощущал безбрежность этих просторов и какую-то силу, скрытую в них. А мы все идем, и вот уже каждый шаг дается все труднее, и кажется, что заплечный мешок набит камнями, лямки врезаются в плечи, занемела спина, шея. Мы идем, беспощадно жжет солнце, пот заливает глаза, в горле горячо, першит от пыли, густыми клубами висящей над нами, внутри все горит, и постепенно мы теряем счет времени и счет километрам... И у нас одно желание: только бы глоток воды, только бы услышать команду на привал...

Как видишь, этот переход врезался мне в память — ведь это было первое по-настоящему трудное для всех нас испытание — за три дня мы прошагали 150 километров. И сполна узнали цену каждому километру, даже метру. Первое испытание — и первые уроки. Главный из них — нельзя отставать. Чем больше отстанешь, тем труднее догонять. Второй, такой же главный,— не оставляй без помощи товарища, как бы ты ни устал, как бы тебе ни было трудно. Поможешь — сила прибавится (на себе испытал), будешь сам по себе — пропадешь. И еще я понял: не тот сильный, кто самый сильный, а кто духом крепче. Знаю, что это давно известно и до меня, но вся штука в том, что солдатскую науку не получишь из чужих рук, ее надо пройти самому — всю, от начала до конца. Пока я не хуже других и не скрою — доволен собой. Не сомневайся — так будет и впредь, пощады я себе не дам. Здесь наш лесной лагерь только начинается, но зато мы с ходу начали строить укрепления. Не беспокойся — фашист не пройдет!

Обнимаю тебя, родная, целую твои глаза (видишь, какой я стал на войне смелый!), жду от тебя писем, моим передай, что я жив, здоров, что все хорошо.

Твой Я. С.

Пиши по адресу: полевая почта № 437, п/я 28, литер 7.

---

17 июля 1941 г.

Танюша, родная! Сейчас я дневальный в нашем шалаше и, пока все спят, попробую написать тебе хотя бы коротенькое письмецо. Вообще буду стараться писать тебе как можно чаще — какое-нибудь письмо да дойдет. Прежде всего у нас большая радость — нам выдали оружие! Теперь мы настоящие солдаты, и должен тебе сказать, что с оружием в руках я чувствую себя уверенно. Жизнь у нас нелегкая, но никакой другой теперь и не может быть. С раннего утра до темноты мы спешно роем окопы, эскарпы, сооружаем дзоты, занимаемся боевой и строевой подготовкой, овладеваем военными специальностями, так что на сон остается четыре-пять часов в сутки. На руках у меня мозоли — работаю, как заправский землекоп. Ты бы, наверное, похвалила меня. Вчера меня назначили командиром отделения. Вообще я чувствую, что сильно изменился — стал тверже, собраннее и с людьми схожусь легче, быстрее. Народ в нашем взводе подобрался дружный, хотя и разный. С некоторыми я был знаком раньше, но по-настоящему узнал только теперь. Тут быстро раскрываются люди, да и самого себя узнаешь заново. Подружился я с одним замечательным пареньком, Колей Родимовым. Представь себе московского школьника с Красной Пресни (а он и впрямь школьник, успел перейти в десятый класс, и всего-то годков ему — 16), худощавого, сноровистого, не мастера отвечать учителю, но наделенного безошибочным чутьем к справедливости. Жил он вдвоем с матерью, Пелагеей Васильевной Родимовой, работавшей медсестрой в Боткинской больнице. В те же дни, что и я, Пелагея Васильевна записалась в народное ополчение и привела с собой на сборный пункт Колю. Но, как она ни упрашивала взять их обоих, Колю не взяли. А на пути к фронту, почти у самого пункта назначения, Коля объявился на одном из грузовиков с имуществом части. Что было делать? Поворчали, поворчали да зачислили его к нам в полк, где в медчасти работает его мать. А теперь командование на него не нарадуется: Коля оказался на редкость способным, трудолюбивым, любознательным пареньком и успешно осваивает одновременно две специальности — бронебойщика и пулеметчика. Вот такая, Танюша, история. Так мы живем.

Увидеть бы тебя хоть на минуточку. Хочу, чтобы ты мной гордилась. Очень, очень тебя люблю.

Твой Я. С.

Передай моим, что у меня все хорошо. Пока адрес прежний, пиши скорее, очень жду. Полевая почта № 437, п/я 28, литер 7.

24 июля 41 г. Лес...

Танюша, родная! Так и не получил от тебя ни одного письма, доходят ли мои? Здорова ли ты? Как мама? Очень тревожат сводки с фронта, но будь уверена — фашиста мы уничтожим. Пока же наберись мужества и терпения — война предстоит отчаянно трудная, а все равно наша возьмет! Сейчас всем надо сделать все, что в силах, ради уничтожения фашистов.

Чувствую себя крепко и бодро. Теперь мое оружие — пулемет.

Я подал заявление в партию, наши университетские дали мне необходимые рекомендации, да и здесь, на месте, и товарищи, и командование поддерживают. Хочу в бой вступить коммунистом. Наш новый адрес пока неизвестен, сразу напишу, как только узнаю. Будь здорова, спокойна, уверенна.

Целую тебя. Твой Я. С. Обними моих.

В тот полный неожиданностей день, когда Женя Сухарев обнаружил старую папку с письмом, адресованным некоей Тане Новосельцевой, мы оставили его, как помнит читатель, в подъезде университетской библиотеки, ошеломленно смотрящим вслед исчезнувшей в дождевом тумане девушке по имени Яна. Женя мог поклясться, что он с ней разговаривал и даже, приложив невероятные усилия, познакомился, то есть что она была объективной реальностью, а не возникла в его больном воображении, и все-таки до конца он не мог поверить в ее существование. Такие девушки не водятся на грешной земле. Разве что она прилетела с другой планеты на тарелочке? Если так, тогда объяснимо и ее исчезновение.

Эх, дурень, дурень! Ему бы кинуться за ней — а папка? Дождь еще шел, и рисковать папкой, на которой и так еле-еле прочитывался адрес, он не мог. Но мало этого. С той минуты как в его руках оказалась эта папка с письмом, на него словно напал стих рассуди-

тельности. Он, например, удержался также от немедленной поездки в Сокольники к Тане Новосельцевой. Надо сначала привести себя в порядок, размышлял Женя, да и не мешало бы сесть и спокойно продумать, как говорить, как действовать в случае чего. И Женя решил махнуть домой, а папку отнести на следующий день прямо с утра, благо будет суббота и кого-нибудь он обязательно застанет дома. Дождавшись, когда дождь кончился, Женя вышел на улицу и через несколько минут нырнул в метро на углу Моховой и Калининского проспекта. Отсюда до его станции «Молодежная» было двадцать пять минут езды.

Женя был жителем нового, красивого зеленого района, примыкавшего к Рублевскому шоссе, который начал бурно застраиваться в начале шестидесятых годов, тогда же отец Жени Владимир Анатольевич Сухарев, старший мастер механического цеха одного московского завода, получил там, на Ярцевской улице, в пятиэтажном доме двухкомнатную квартиру, куда они переехали из одной комнаты с улицы Кирова.

Женя смутно помнил старую их комнату, где прошли первые шесть лет его жизни. И люди, много людей, населявших эту квартиру, почти исчезли из памяти — осталось ощущение от прикосновения большой шершавой руки: когда, тяжко шагая, большой человек (звали его дядя Петя) проходил мимо, непременно его рука касалась Жениных волос и лба. Стук в дверь, голос: «Галина Васильевна, к телефону!» Стук в дверь, голос: «Галина Васильевна, у вас чайник вскипел, я погасила». Эти голоса тоже стерлись, почти забылись, лишь иногда, если у них с матерью заходил разговор о тех временах, вдруг донесется смутно, откуда-то издалека: «Женечка, а я тебе конфетку принесла...», «Ну, заходи, парень, заходи. Садись. Вот так. Чаю хочешь?»

Пока эти туманные обрывки воспоминаний мало значили для него. Кировская — это был мир отца, его довоенного детства и юности. Из этой квартиры — улица Кирова, 38, квартира 4 — он уходил на войну, и здесь еще оставались люди, которые провожали его. Отец очень радовался новой квартире, но забыть свою Кировскую не мог. Не раз, бывало, и в последние годы своей жизни все чаще, он вдруг говорил матери: «А не съездить ли нам с тобой? (Куда — было ясно без слов.) В гости зайдем, посидим, поговорим...» Мать слегка улыбалась, пожимала плечами — чего не сделаешь ра-

ди любимого мужа... Как-то в воскресенье, незадолго до смерти, Жене тогда было четырнадцать лет, отец предложил ему поехать на Кировскую в магазин «Свет» и купить карманный фонарь новейшей конструкции, в виде круглой трубки с сильным концентрированным лучом. Он Жене был нужен позарез, и они отправились. Фонаря в магазине не оказалось, зато они обошли все места отцовского детства и школьных лет, все переулки, дворы, школу, покатались на Чистых прудах на лодке — отец вспоминал, рассказывал, то улыбался чему-то, то вздыхал, замолкал... Вся эта прогулка до мельчайших подробностей врезалась Жене в память — что-то тогда ему передалось, хотя только много позже он понял, что это было прощание отца с родными местами. Отец умер через год — упал на улице по дороге на работу. Когда подошли к нему, он уже был мертв: разрыв сердечной мышцы. Последние годы перед смертью отец часто недомогал, подолгу болел, а на сердце не жаловался.

При жизни отца Женя не задумывался, какой он, его отец. Он просто был. И когда его не стало, образовалась пустота, которая ничем и никогда не могла заполниться, наоборот, со временем все больше и больше углублялась. С отцом ушло что-то очень важное, какие-то вещи в жизни Женя перестал ощущать, замечать, потому что многое видел глазами отца, чувствовал его сердцем. Он это понял, став взрослее. И, вспоминая отца, пытался угадать тайну его жизни. А тайна существовала, Женя это чувствовал, она была в ранней смерти отца (он умер в сорок восемь лет), в тех редких минутах, когда отец ни с того ни с сего мрачнел, замыкался в себе.

В рассказах матери отец всегда был молодым, сильным, удачливым. Таким он, воздушный стрелок штурмового полка, предстал перед ней, связисткой взвода управления зенитной батареи, прикрывавшей осенью сорок четвертого базовый аэродром в Польше. Вот на этот аэродром сели однажды «илы» и целых две недели летали с него на боевые задания. Эти две недели решили судьбу младшего сержанта Гали Непрошевой, добровольно ушедшей на фронт вместе со всем классом после окончания десятилетки в сорок втором году, и судьбу лихого парня, воздушного стрелка Володи Сухарева, к тому времени, то есть к осени сорок четвертого года, совершившего шестьдесят три боевых вылета,

прыгавшего из горящего самолета и чудом оставшегося в живых, когда его подбитый «ил», неизвестно каким образом дотянувший до своего аэродрома, плюхнулся в середине поля и на глазах у всех развалился на куски.

К тому времени, когда теплым сентябрьским вечером на танцах под аккордеон предстал перед Галей Непрошевой лихой москвич Володя Сухарев, на его груди сверкали серебром и золотом медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны, I и II степени, и за ним шла слава смелого парня, приносящего удачу. Галя Непрошева этого не знала, и ордена ей были не в диковинку, но сердце ее угадало в этом парне своего суженого.

И сердце ее не ошиблось. После войны, в сорок шестом году (а победу, как и положено удачливым людям, старшина Сухарев встретил в Берлине), он собственной персоной, в орденах, к которым прибавился орден Красного Знамени и польский Бронзовый крест, приехал в Смоленск за Галей Непрошевой и увез ее в Москву. И стали они жить на Кирова, в доме 38, в четвертой квартире, в большой комнате вместе с родителями Володи.

Поселившись с Галей на своей родной Кировской, где его встретили как героя, Володя долго не мог решить, что ему делать. В нем жило странное убеждение, что теперь, когда победили фашистов, все образуется само собой, не нужно ни о чем думать, чего-то добиваться — все придет в свой срок. Галя поступила в педагогический институт на литфак, а Володя все чего-то ждал, словно и в самом деле в один распрекрасный день придет к нему Некто в форме полковника или генерала и скажет: «Дорогой товарищ Сухарев, вот дошла очередь до тебя. Ты воевал как положено, жизни не жалел для нашей победы, а теперь Родина тебе поможет. Скажи, что ты хочешь делать в мирной жизни? Где хочешь работать, в учреждении или на заводе? А может, пойдешь учиться? Выбирай. Перед тобой все двери открыты».

Перед ним действительно все двери были открыты, но только войти в какую-нибудь из них надо было самому, и начать надо было с малого, с первой ступеньки, будто и не было этих четырех лет войны. Будто вчера, а не шесть лет назад он получил аттестат зрелости из рук директора 309-й школы, которая помещалась рядом с его домом (даже зимой он, бывало, бегал на уроки без

пальто), и теперь с этим аттестатом в кармане он мог начинать самостоятельную жизнь — творить, выдумывать, пробовать. (Слова́ директора школы Сергея Никитича Чугунова, процитировавшего Маяковского при вручении аттестата.) Но с тех пор, уважаемый Сергей Никитич, много воды утекло. Как вы знаете, прошла война. И он, ваш ученик Владимир Сухарев, и творил, и выдумывал, и пробовал, и — дерзал, уж поверьте! Он творил и дерзал, когда прямо на него, сверкая огнем из всех стволов, пикировал «мессер», а ваш ученик отбивался из пулемета, и вокруг все грохотало, и свистел воздух, а черный дым слепил глаза, и, если бы он дрогнул хоть на секунду, никогда бы ему уж больше не творить и не дерзать. Он творил и дерзал, когда, встав в кабине во весь рост, давал прицельные очереди по вспышкам на земле, стараясь подавить зенитки, а самолет шнырял в разрывах, и острый сладковатый дымок закручивался вокруг него... Он пробовал, каково это — прыгать из горящего самолета, когда прижимает к полу кабины, и швыряет в разные стороны, и отчаянно трудно вылезти, и уже ничего не видно от дыма, только слышен гул, треск огня, полыхающего сзади, вой, свист ветра, и в тебе одна бешеная мысль — успеть! Пока самолет не взорвался в воздухе, пока не врезались — успеть! Он попробовал, дорогой Сергей Никитич, каково это. И выходит, что за четыре года войны он получил еще один аттестат зрелости. Да только, видно, аттестат этот в расчет не берется...

Примерно так рассуждал, или, лучше сказать, чувствовал, Володя Сухарев в те минуты, когда оставался наедине с собой, но никаких решений не принимал. А время шло, ни полковники, ни генералы на Кировскую к нему не приходили, и в душе Володи стала расти и копиться обида. Чутким своим сердцем Галя понимала, что происходит с ее мужем, но как помочь ему — не знала. Она пробовала уговаривать его начать готовиться к поступлению в институт, Володя обещал, да как-то все у него не получалось — то одно мешало, то другое. Сама мысль снова засесть за школьные учебники была унизительной, и он никак не мог преодолеть себя, да и трудно было решить, куда поступать.

А Галя между тем все больше втягивалась в новую жизнь — полдня пропадала в институте на лекциях, потом — читалка, вечера, собрания. Она с увлечением рассказывала о преподавателях, о новых друзьях и —

больше всего — о фронтовиках, которые учились в их группе и успевали не хуже мальчиков и девочек, кончивших школу после войны. Галя хотела подбодрить Володю, подтолкнуть (мол, видишь, другие могут — разве ты хуже?), а получалось, что только сыпала соль на его раны. И те ребята, пришедшие с войны, что, не стесняясь, вроде рядовых необученных, сели за одну парту с сосунками, у которых молоко на губах не обсохло, казались ему чуть ли не отступниками, забывшими о фронтовом братстве. Вспоминая с однополчанами погибших товарищей, он снова испытывал эхо того удивительного чувства ожидания счастья, которым все они жили в последний год войны. Там, в мирной жизни, после победы, считали они, не будет никаких проблем. Что разрушено — отстроят, восстановят, наладят. Разве есть такое, что им не под силу? Фашизм свалили, а у себя дома не совладают с трудностями? Впрочем, они весьма туманно себе представляли, каковы эти трудности на самом деле.

Приехав в Москву, Володя Сухарев своими глазами увидел, как трудно жили люди. Действительность оказалась совсем не такой, какой представлялась им там, на фронте. И проблем, самых животрепещущих, было хоть отбавляй, и решение каждой из них требовало усилий, терпения, выдержки.

Во хмелю встреч, узнаваний, застолий, новых знакомств он не заметил, как подошло лето сорок седьмого года. Он все надеялся, чего-то ждал. Это ощущение помогало ему отделываться от неприятных мыслей, время от времени смущавших его. На вопрос, который прочитывался в глазах Гали и отца,— что он собирается делать дальше?— когда-нибудь да надо было ответить, и Володя решил (пока, временно, чтобы помочь дому, а там видно будет) пойти на завод, где всю жизнь проработал отец. Володя Сухарев был человеком с самолюбием и, если уж за что брался, старался не отставать от других. А руки у него были золотые. И очень скоро, пройдя за три месяца период ученичества, он стал прилично зарабатывать. С каждым днем Сухарев набирался опыта, неуклонно повышал свою квалификацию. Товарищи его полюбили (да и как можно было его не полюбить? Бессребреник, душа нараспашку, дело само ладилось в его руках), отец не мог нарадоваться, глядя на своего сына...

Так прошел год и еще один. Сухарев стал расточником высшего разряда, фотография его красовалась на Доске почета на заводском дворе. Все было хорошо, но тут он вдруг заскучал. Какой-то червячок закопошился где-то там, в глубине, и начал точить, и не давал покоя. Ну, зарабатывает он не хуже инженеров, а дальше-то что? И ведь никто никуда его не позвал, и теперь стало ясно: не позовет. Работать и учиться заочно? Сухарев попробовал. С грехом пополам сдал вступительные экзамены и стал студентом-заочником первого курса машиностроительного института. За два года кончил первый курс, убедился, что, если поднатужится, институт одолеет лет через пять-шесть, и бросил. Почувствовал — не то. О другом, о другом мечталось ему там, в Берлине... Нет, не честолюбие грызло Владимира Сухарева, не жажда высокого положения. Он просто хотел ощутить себя таким же необходимым, как на фронте, чтобы его заметили, чтобы та самая ниточка, что крепче стали, которая связывала его с товарищами на фронте, не обрывалась и здесь, в мирной жизни. Но как, как протянуть эту ниточку из тех сороковых годов в пятидесятые, Володя не знал, да и, как мы видели, не пытался узнать, все ждал, пока за него это сделают другие.

Так наступил 1952 год. Галя окончила институт и начала работать в школе, окончили институты послевоенные птенцы, оперились и пришли на заводы, стройки, учреждения. У них за плечами не было войны, и они не ждали, пока их заметят и все сделается для них само собой. Они сами добивались интересной работы, зарплаты, должностей, положения, сами думали о перспективах на будущее. И если, пробиваясь вперед, кого-то толкали ненароком, то частенько даже не замечали этого. Некогда было. Так это произошло и с Володей Сухаревым.

В том же 1952 году на завод, где он работал, пришло несколько человек из тех самых оперившихся послевоенных птенцов, которые так активно утверждали себя и свой стиль работы. Один из них очень скоро стал начальником цеха. По возрасту он был моложе Володи на четыре-пять лет — как раз на годы войны. Два месяца спустя после того как появился новый начальник цеха, у Сухарева умер отец, проработавший на этом заводе сорок пять лет. Анатолия Демьяновича Сухарева хоронил весь завод. Директор произнес над могилой

речь. Он хорошо знал и любил старых рабочих, с которыми начинал. На похоронах он подошел к Володе и его матери и просил обращаться к нему в случае нужды. Потом, взяв Володю за плечи, заглянул в глаза: «Вижу — не придешь. Больно ты гордый — в отца. А жизнь, она, знаешь... Всякое случается,— вздохнул и, легонько стукнув Володю в грудь, закончил:— Смотри же, приходи!»

А ведь как в воду смотрел старый директор завода: очень, очень скоро появилась у Сухарева такая нужда, да прав оказался директор — не пришел к нему Сухарев. И напрасно! Тогда бы, может, все повернулось по-другому. А приключилось вот что. На кладбище (дело было в начале марта, дул ледяной пронизывающий ветер) Володя простудился и на следующий день слег с высокой температурой. Простуда обернулась двусторонним воспалением легких. И кто знает, чем бы это кончилось, если бы не мать и не Галя, вытащившие его, как выразился врач, с того света. Болезнь затянулась, Володя выкарабкивался медленно, с трудом, похудел, ослаб, и пришлось ему, провалявшись месяц, отправиться в санаторий в Симеиз — на этом настоял врач, а за путевкой дело не стало.

На Южном берегу Крыма светило яркое горячее солнышко, все цвело, под окнами шумело море, компания подобралась подходящая, скучать не приходилось, и Володя не заметил, как пролетел месяц. Вернулся он окрепшим, загорелым — апрельский Крым ему явно пошел на пользу. Предвкушая радость от встреч с товарищами, отправился на завод — тут-то его ждала первая неожиданность.

Дело в том, что Владимир Сухарев работал на уникальном станке высокого класса точности, каких в цехе было всего два, поэтому и задания ему давались особые, почти каждый раз новые. Чтобы работать на таком станке, надо уметь мозгами раскидывать, но именно это-то и нравилось Сухареву. Во время его двухмесячного отсутствия на станке начал работать никому не известный паренек, которого с другого завода переманил новый начальник цеха. Паренек этот (звали его тоже Володя, по фамилии Белобородов) действительно оказался первоклассным расточником, и начальник цеха говорил, что за ним он как за каменной стеной и что никакого другого расточника ему не нужно. Ребята, конечно, в один голос утверждали, что Сухарев работает

лучше, но, возможно, они были необъективны, а начальству, как известно, виднее.

Дело, однако, не в том, кто лучше, кто хуже, а в том, что Сухарев четыре года работал на этом станке и был передовиком, и заказы выполнял по высшему классу, и портрет его висел на заводском дворе. Все эти мысли пришли ему в голову потом. А в первый момент, увидя за своим станком неизвестного паренька, Сухарев удивился: он точно рассчитал дни и часы работы и пришел к началу своей смены. Впрочем, чудеса начались еще раньше: его всегдашний сменщик Вася Кулагин, встретившийся ему по дороге в цех, помахав рукой, поспешил скрыться, а ведь он должен был передать станок. Новый же, неизвестный паренек у сухаревского станка распоряжался как хозяин. Сухарев нашел мастера, Михалыча, дружившего еще с его отцом, и, даже не поздоровавшись, улыбаясь побелевшими губами, спросил: «Как все это надо понимать?» Михалыч отвел глаза и начал бормотать какую-то чепуху: «Мы тут как могли... Да он, знаешь, мужик такой... Как упрется... Ему хоть кто... Хоть мать родная...— потом, неожиданно разозлившись, махнул рукой:— Вот что, Володя, дуй-ка ты к самому, к Александру Алексеевичу (это и был новый начальник цеха), он тебе все разобъяснит, да не сдавайся, стой на своем...»

Когда Сухарев вошел к начальнику цеха, тот говорил по телефону. Прижимая плечом трубку к уху, он что-то быстро записывал в блокноте. Показав Сухареву кивком головы на стул, он продолжал слушать, записывать, время от времени коротко бросая: «Нет... Я же сказал, что нет... Пожалуйста, жалуйтесь кому угодно, хоть господу богу, а график срывать я не могу. Понимаете, не могу!.. Но это ваше дело... Как знаете. Всего хорошего». Положив трубку, он молча взглянул на Сухарева, ожидая, что тот начнет разговор. Но Сухарев молчал. Все его фразы с восклицательными знаками под этим холодным спокойным взглядом начальника цеха, не боявшегося самого господа бога, вылетели из головы. Александр Алексеевич, догадавшись наконец, кто перед ним, нетерпеливо произнес:

— Я вас слушаю...

От этой наглости в груди Сухарева снова закипела горячая волна возмущения и обиды.

— Да вот, хочу узнать,— он судорожно глотнул, ему вдруг стало трудно говорить,— может, меня уволили?

— Никто вас, товарищ Сухарев, не увольнял.

— А как же тогда получается: прихожу, а за моим станком — другой?

— Ну, во-первых, станок этот не ваш, а государственный. А во-вторых, Белобородова мы пригласили потому, что ждать вас не могли: был срочный очень сложный заказ. А он мастер высшей квалификации,— начальник цеха помолчал.— И я считаю, что для дела будет лучше, если мы оставим его на этом станке, иначе он уйдет, а такие специалисты, сами знаете, не валяются,— он вздохнул, как бы закончив самое главное, и уже другим, дружески-простецким тоном добавил:— Ну а вас, товарищ Сухарев, мы решили перевести в инструментальный, они там давно на вас зарятся. Зарабатывать будете больше, а остальное, как говорится, все при вас останется. И почет, и уважение. Так что можете прямо сейчас приступать. С кадрами я договорился,— сказав это, начальник цеха потянулся к телефонной трубке, но что-то заставило его снова взглянуть на Сухарева.

Сухарев молчал, только краска спала с его лица, и оно сделалось мертвенно-серым. Он смотрел прямо на Александра Алексеевича, и в глазах его была не просьба, а ядовитая насмешка и еще нечто такое, отчего Александр Алексеевич внутренне поежился и, сам не зная, как это у него получилось, поспешил добавить:

— Я понимаю... Получилось не совсем хорошо... Но у нас не было выхода. Дело есть дело. Сами знаете. Мы производство, а не контора (это уже в чей-то другой адрес), тут свои законы, их нельзя нарушать...— ссылка на законы производства, которые нельзя нарушать, придала ему твердости (ох, законы, законы, чего только не сваливают на вас, чего только не оправдывают вашим именем!),— так что поймите меня правильно, товарищ Сухарев. На моем месте, я полагаю, вы поступили бы точно так же...

Сухарев усмехнулся. А ведь нет, подумалось Александру Алексеевичу, он бы так не поступил. Нет, ни при каких обстоятельствах не поступил! Продолжая усмехаться, Сухарев чуть поднял голову и подался вперед. Глаза его, нацеливаясь, сощурились, и Александр Алексеевич почувствовал, что весь, совершенно откры-

тый, он оказался в его поле зрения, но это странное ощущение тотчас же прошло. Полоснув его взглядом, Сухарев поднялся и, ни слова не говоря, вышел из кабинета... Александр Алексеевич, неожиданно для себя, вздохнул с облегчением. Сердце его учащенно билось...

Вот когда бы Сухареву пойти к старому директору завода — уж тот сумел бы поставить на место молодого, да раннего начальника цеха! Но не пошел к нему Сухарев, и в партком не пошел, и в завком, а взял да и в тот же день подал заявление об уходе. Товарищи Сухарева зашумели, пошли разговоры, цеховое начальство обеспокоилось, бросилось Сухарева уговаривать, сулили то да се, подъезжали со всех сторон, но добиться ничего не могли: он стоял на своем и ни в какие объяснения не входил. Так вот и получилось, что Сухарев, передовик производства, герой войны, ушел с завода, и никто не сумел удержать его, никто не захотел конфликтовать с начальником цеха, который забрал такую силу, что и в заводоуправлении его побаивались. И немудрено: он вытащил цех из прорыва, покончил с браком, организовал техническую учебу для молодежи. А главное, чувствовалось: это только начало...

Ушел Сухарев с глубокой обидой в душе. Он, конечно, не пропал, такие специалисты, как он, всюду требовались — только выбирай, но что-то в нем надломилось. Он поступил на другой завод, зарабатывал по-прежнему хорошо, но не было прежней радости от работы, от своего умения, от товарищей, от гула в цехе, где все крепко связаны одним делом, не было легкости и, главное, надежды, чувства ожидания, жизнь уже не манила неизведанным, казалось, все прошло и больше уже ничего не будет, ничего...

Однажды Сухарев проснулся от щемящего, томительно горького чувства. Было ли это продолжение сна или просто вдруг что-то нашло на него? Он лежал, не шевелясь, прислушиваясь к себе. Сквозь шторы просачивался бледный свет, и чудилось, в полусумраке комнаты возникает легкое голубоватое облако. Стояла глубокая тишина. И вдруг он понял: это уходит молодость, подарив короткие, до боли грустные минуты прощания. Уходит невозвратно... Сердце его сжалось. Неужто правда? Неужто больше ничего его не ждет?

В то время Сухареву было тридцать и, несмотря на усталость и разочарование, он еще не прожил свое.

Его ждали и радости. Через полтора года, когда они с Галей почти потеряли надежду, родился сын Евгений. Он родился крепким, голубоглазым, горластым. И когда новоявленный Сухарев Евгений Владимирович тянулся к отцу и, пуская слюни, улыбался беззубым ртом, отец, то есть Сухарев-старший, забывал свои обиды. Ради этого живого человечка с нежной кожей и пухлыми ручками и ножками, такого невероятно маленького и беззащитного, такого бесконечно дорогого — стоило жить! И пока он не вырастет, не окрепнет, не станет на собственные ноги — нельзя поддаваться ни хандре, ни хворостям.

Нельзя! Молодость ушла, зато появился сын, парень хоть куда, продолжатель фамилии. У него у самого многое в жизни не сбылось, не получилось, пусть теперь у Женьки, у Евгения Владимировича Сухарева, получится. И Сухарев-старший не поддавался ни болезням, ни дурным мыслям. В нем снова появилась энергия, воля к жизни. Он снова стал похож на себя. Так бы все и шло своим чередом, но угораздило Владимира Сухарева однажды заблудиться вместе с Женькой в лесу, когда они катались на лыжах. Проплутали до вечера, продрогли, а тут еще, переходя через ручей, Сухарев-старший промочил ноги. Другому бы сошло, а он со своим застарелым плевритом угодил в больницу. С тех пор и началось: все его скрытые болячки точно только и ждали этого момента, чтобы вцепиться в него. Тогда Сухареву было сорок пять. Кое-как он выбрался из больницы, но окончательно избавиться от своих болезней ему уже не удалось. И все же он не сдавался: работал, превозмогал себя, бегал от врачей. Спустя три года по дороге на завод Сухарев упал на улице. Женьке в то время было шестнадцать... Когда Женька пришел в себя, притупилась боль, он стал думать об отце, вспоминать, расспрашивать мать и начал как бы заново узнавать его. На долю отца выпало самое главное дело поколения. Как Женька завидовал ему!

Но, как известно, история сама определяет каждому поколению свое дело, да и жизнь не спрашивает, что тебе по душе, поступает по-своему. Впрочем, и от характера кое-что зависит, и немало! Одни ищут себя в том месте, где спокойно, благополучно и не так уж сложно, соблюдая правила осторожности, подниматься со ступеньки на ступеньку; другие — там, где ты крепко

связан с товарищами, где опасно и трудно, зато себя можно испытать; третьи — в третьем месте...

Женю бросало и в тайгу, к геологам, но к тому моменту, о котором идет речь, он твердо решил малость поостепениться, спокойно поработать в молодежной газете и не оставлять больше мать одну. Надолго ли его хватит — кто знает, благими намерениями... Во всяком случае, сидя в вагоне метро, Женя мечтал лишь поскорее добраться до дому, выпить горячего чаю, забраться в свою комнатушку, открыть папку. Он надеялся: прочтя эту диссертацию, что-то узнает об ее авторе, о чем-то догадается. Недаром же Я. Симовский писал в письме к Тане, что оставляет диссертацию в залог вместо себя. Странное дело: история с этим парнем, который ждал перед уходом на фронт свою девушку, но так и не дождался, его торопливое горячее письмо всколыхнуло мысли об отце...

Наверно, они были разными людьми, да и Симовский года на четыре старше. Отца призвали в армию в 1939 году после десятилетки, к тому времени Симовский, наверно, был уже в аспирантуре. Вот и получилось, что отец к началу войны, отслужив в армии, собирался домой, да не вышло, а Симовский успел закончить аспирантуру. А все же поколение одно и судьба одна: фронт с первых дней. И если бы отец не служил в армии, он, как Симовский, когда началась война, пошел бы добровольцем и не успокоился бы, пока не добился своего, и, уходя на фронт, мог бы написать такое же письмо своей девушке.

Подумав об этом, Женя почувствовал, как заколотилось его сердце,— будто он остановился перед порогом незнакомой комнаты, а за дверью его ждало что-то неизведанное, разгадка тайны. У этой комнаты не было стен — просто там, за дверью, начинался другой мир, где в дыму, в грохоте бежали и падали люди, и самолет нырял в разрывах, сужающих вокруг него свое тесное смертельное кольцо, и среди этих людей были отец и Симовский. Они не знали друг друга, но судьба связала их вместе...

Женя ощутил под пальцами мягкий, податливый картон папки. Она была необычно легкая — время высушило, истончило бумагу. Вагон слегка покачивало. Напротив него сидела девушка с книгой на коленях. Неожиданно он поймал на себе ее любопытный взгляд. Женя вздохнул. Механически отметил про себя: «Ниче-

го, кадр подходящий» — и тут же забыл о ней. Поезд остановился, вагон чуть встряхнуло. Неторопливо раскрылись двери. Хорошо, если сегодня никто к нему не придет и они с матерью проведут вечер вдвоем. Напьются чаю, а потом он возьмется за чтение Я. Симовского. Теперь, когда этот момент был близок, ему не терпелось, но он мысленно отдалял его, готовился, настраивался.

Мягкое постукивание колес. Легкий толчок. Остановка.

— Станция «Молодежная»...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— А у нас гость,— сказала мать, открыв Жене дверь.— Мы тебя давно ждем.

— Страшно рад,— вздохнул Женя (прощай, тишина, покой, уединение), любопытно, кого черти принесли?

Он вошел в узенькую прихожую, оттуда сразу в большую комнату и увидел сидящего за столом гостя. Надо сказать откровенно, что какие бы индивидуальные планы Женя ни строил на этот вечер, а Юрке Иванову, с которым они не виделись черт знает сколько времени, он был по-настоящему рад.

Женя и Юра учились в одной школе и подружились еще с тех времен. Ссорились, мирились, ревновали друг друга к товарищам, к девчонкам, злились, дулись, а все равно один без другого обойтись не могли. Только однажды, в десятом классе, Женя крепко обиделся на Юру — причину он уже забыл и не хотел вспоминать, а горький осадок от обиды остался. После школы их обоих захватили новые товарищи, новая жизнь, они долго не встречались и вдруг — удивительное дело!— почти одновременно вспомнили друг о друге. Началось со дня рождения у Юры, где он познакомил Женю со своими друзьями и втянул в свою компанию. Это была бурная, хотя и довольно краткая эра прилива дружбы, которая прервалась побегом Жени из университета к геологам. Пути их снова надолго разошлись. Пока Женя работал в экспедиции на обском Севере, потом два года служил в армии, Юра окончил Плехановский институт и сумел попасть в головной научно-исследовательский институт Академии наук, в лабораторию, за-

нимающуюся разработкой методики применения кибернетики в планировании народного хозяйства. За то время, что Женя, вернувшись из армии, закончил университет, Юра успел защитить у себя в институте кандидатскую диссертацию.

В глазах Галины Васильевны Юра всегда был живым, неувядаемым примером для Жени. Как шутливо выразился однажды сам Женя, «наглядным пособием, как надо жить». И все-таки не раз с пристрастием она допрашивала себя: каким она хочет видеть сына — благополучным, умненьким и благоразумненьким или нашедшим иное, трудное счастье? Ах, если бы можно было совместить и то и другое! Но она знала — это невозможно, и середины, увы, не бывает. Так уж устроена жизнь: третьего не дано. Иногда, правда, ей казалось — именно Юра совершил это невозможное: он и хорошего положения добился, и с людьми умеет ладить, и старых друзей не забывает, и женился на очень хорошей девушке по любви, а не из соображений карьеры. Словом, при всех своих успехах Юра, как говорится, оставался человеком, хотя в его поведении далеко не все ей нравилось. Но так или иначе, а именно он стоял сейчас перед Женей, удачливый, умный, владеющий секретами успеха, воплощение добродетелей, украшающих гражданина и человека, а главное, его настоящий друг.

— Ну, старче, где пропадал? Отчитывайся!— Женя слегка, так что Юра покачнулся, толкнул его в грудь.

— Фу-ты, черт!— поморщился Юра.— Я, знаешь ли, отвык от такого варварского обращения. Я все-таки подающий надежды ученый, вращаюсь среди академиков, людей почтенных. У нас на первом месте интеллект, а не грубая физическая сила.

Тут Женя получил ответный удар, от которого отлетел к двери своей комнаты. Ударившись спиной о притолоку, Женя пробормотал:

— Узнаю... Хвалю, хвалю,— и собрался было нанести ответный удар, но Галина Васильевна, опасавшаяся за целостность сервиза, стоявшего в серванте, схватила Женю за руку.

— Благодарю вас, Галина Васильевна,— сказал Юра,— а то бы мне пришлось туго.

Он вольготно раскинулся на диване:

— Ну а ты-то как? Обо мне потом. Не волнуйся, отчитаюсь. Диплом вы получили — слыхал. А дальше-то что?

— Поработаю малость в газете...

— В молодежной?

Женя кивнул.

— Литсотрудник? Сто двадцать рэ и кое-какие гонорары для некурящих?

— Имеете предложить нечто лучшее?

— Имею.

Женя взглянул на своего друга. Юра полез за сигаретами. Вид у него был индифферентный. Похоже, что-то у него в запасе есть.

— Выкладывай.

— Так уж сразу?— Юра откинулся на спинку дивана.— Вы разрешите, Галина Васильевна?

— Курите, курите, Юра,— поспешно ответила она, с интересом взглянув на гостя.

Ну, вот, теперь Юра выложит свое предложение. Момент самый подходящий — он в центре внимания. Максимальный эффект обеспечен. И как у него это получается — вроде само собой. Умеет же, черт, умеет! Женя подумал об этом с восхищением. В ожидании дальнейшего он уставился на Юру. Конечно, любопытно, что он там придумал, но не менее любопытно наблюдать, как будет разворачиваться спектакль.

Теперь, приглядевшись к Юре внимательно, Женя заметил в нем какую-то перемену. Что-то с ним, безусловно, произошло. Юра похудел, лицо заострилось. В белоснежном фирменном батничке и американских джинсах (откуда дровишки?) он выглядел весьма эффектно: русые волосы по моде — на пробор, резкие черты лица, волевой подбородок, легкая ироническая усмешка. А в то же время в глазах, в самой глубине, что-то затаилось — не то испуг, не то тревога. Но, может, показалось? Нет, не показалось. Что-то есть. Определенно есть.

— Выкладывай,— повторил Женя,— публика в нетерпении.

— Да так,— небрежно сказал Юра и пустил голубоватое облачко дыма,— ничего особенного. В журнале (он назвал толстый журнал, куда Женя отнес свой очерк) есть место в отделе публицистики. Старший редактор называется. Двести сорок рэ. Работа с двенадцати до шести. Не бей лежачего. Ну, конечно, кроме

субботы и воскресенья творческий день...— Юра снова выдохнул тоненькую струйку дыма и скосил глаза на Женю.

Не говоря ни слова, Женя с застывшим лицом ждал продолжения.

— Не слышу криков восторга.— Юра небрежно стряхнул пепел.— Или это нам не подходит?

Женя продолжал молчать, и Юра как мог равнодушнее прибавил:

— Разумеется, командировки во все концы нашей необъятной Родины (тут в лице Жени что-то дрогнуло: об этом он мог только мечтать), а также иной раз и за рубеж. Но, пожалуй, важнее всего другое...— Юра остановился, Галина Васильевна подняла на него глаза, Женя слегка вытянул шею. (Ага, проняло все-таки!) — Да,— продолжал Юра, наслаждаясь эффектом, который производила его речь,— самое главное — это связи. Во-первых, шеф. Известный писатель. Могущественный человек. Уж поверь мне, знаю, что говорю. Если сумеешь к нему подойти, твое дело в шляпе. А во-вторых, авторы — да какие! Ну а в-третьих, инстанции... Очерк да публицистика, сам понимаешь, всех ведомств касается... Такие, братец, дела...

— Лихо...— выдавил из себя Женя, когда обрел дар речи (ох, Юрка и лицедей, ох и мастер!), вздохнув, он поинтересовался:— И когда можно приступать? Завтра? Послезавтра?

— Не верит,— засмеялся Юра и повернулся к Галине Васильевне, как бы приглашая ее вместе с ним посетовать на этот счет.— Застарелый пессимизм. Опасная штука. Как хронический радикулит — не дает человеку выпрямиться, с улыбкой взглянуть жизни в глаза.

Женя насторожился. Апелляция к матери была бы лишней, если бы Юрка разыгрывал спектакль. Да и что-то уж больно натурально он врал, со знанием дела.

— Ну, если уж ты очень настаиваешь,— пожал плечами Юра,— задним числом тебя могут оформить и с завтрашнего дня.

— Лучше с послезавтрашнего,— сказал Женя.— Завтра у меня дела.

— Пусть так. Значит, могу сообщить о вашем согласии, сэр?

— Ну, конечно, Юрочка, какой разговор,— вмешалась Галина Васильевна, сразу же поверившая в реальность этой затеи.— Но дело не в Жене, он направлен в газету по распределению и должен отработать какой-то срок. И потом, мне кажется, это не совсем этично... В газете на него рассчитывают...

— Во-первых, уважаемая Галина Васильевна, никому Женя ничего не должен. А должен только себе. Если он встанет на путь обязательств и долгов, то и шагу не сделает вперед. Пойми ты это, наконец, раз и навсегда,— повернулся Юра к Жене,— пора уже хоть немножко поумнеть... И потом,— тут Юра сделал неуловимое движение, и стало ясно, что он уже обращается также и к Галине Васильевне,— какая разница для государства, в конце концов, где ты работаешь, в том или другом месте? Все учреждения в равной мере принадлежат государству. Я даже скажу больше — государству выгоднее, чтобы ты работал там, где тебе интереснее, потому что в этом случае ты больше приносишь пользы. Ну а за его газету, Галина Васильевна, не беспокойтесь. Внакладе она не останется. Стоит только свистнуть...

— Не знаю, возможно, вы и правы, Юра, спорить не стану,— сказала Галина Васильевна,— хотя... В вашем рассуждении есть изъяны. Есть,— улыбнулась она.— Вот если Женя сумеет договориться со своим редактором в газете по-хорошему...

— Сумеет,— усмехнулся Юра.— Эх, Галина Васильевна, неужели не знаете, как дела делаются? Кому полагается скажет этому редактору, ну, попросит его — и дело с концом. А ты чего молчишь?— неожиданно вскинулся Юра.— Скажи что-нибудь. Подай голос.

— Думаю...— Женя потянулся.— Оно, конечно... С одной стороны... Но если взять, к примеру...

Тут удивляться настало время Юре. Он, разумеется, понимал, что Женька дурит, но мог бы, свинтус, прореагировать и по-другому. Как-никак, а для него старались, лоб расшибали (лба, правда, не расшибали). Прищурившись, Юра взглянул на своего друга. Черт его знает, что ему еще может взбрендить. От этого типа всего можно ждать.

— Значит, заметано,— поспешил заключить разговор Юра.— Жди сигнала. Завтра-послезавтра позвонят. Пароль — георгин, отзыв — гвоздика...— Но шутка явно не прозвучала. Никто не улыбнулся.

Женя поежился:

— Послушай, старче... Может, не надо, а? Как-то это...

— Болван!— взорвался Юра.— Видели кретина, а? Ему на блюдечке с голубой каемочкой преподносят его собственное счастье: нате, кушайте, просим вас, пожалуйста, пользуйтесь... А он нос воротит! Да где это слыхано? Кому сказать — не поверят!

— Не поверят,— охотно согласился Женя. Он и сам не знал, что мешало с легкой душой сказать «да». О таком месте он и мечтать не смел! А ведь действительно Юрка договорился. Ну и гигант! Все может! И редактор газеты отпустит. Парень он, кажется, неплохой, поймет. Так какого же черта? Ну, что, в самом деле, плохого в том, если его товарищ поможет ему? Ничего, ответил себе Женя, ровным счетом ничего. Без этого не проживешь. Так что же?

— Женя,— строго сказала Галина Васильевна, хорошо знавшая своего сына,— скажи прямо, что тебя смущает. Юра тебя рекомендовал, старался, взял на себя ответственность. Все это непросто. Уж изволь ответить прямо и честно. Если хочешь знать мое мнение — соглашайся. У меня, правда, есть сомнения: устроит ли журнал твоя кандидатура. Но это уже другой вопрос.

Юра с серьезным видом кивал, пока говорила Галина Васильевна, а про себя думал: «Эх, милые вы мои, милые! Кабы вы знали, как это делается! Да если бы я не дружил с Андреем, сыном заместителя главного редактора журнала, Виктора Палыча Ожогина, который там командует парадом, не видать бы Женьке этого места как ушей своих еще двадцать лет. Случай помог вам, господин случай. А случаем надо пользоваться — вот и все».

Юра вспомнил, как не далее чем неделю назад за рюмкой чая в кабаке Дома журналистов он спросил Андрея, не сможет ли он подсобить устроить хорошего человека, журналиста, на хорошее место.

«Очень нужно?»— спросил Андрей. «Очень. Славный парень, большой мой друг»,— ответил Юра. «Понятно...— протянул Андрей.— А какие у него данные, фамилия, образование и прочее?» — «Данные в порядке, не сомневайся,— заверил Юра,— молодой специалист, диплом МГУ в кармане, жизнь нюхал, в армии отслужил, чего-то там в газетах печатал, дело знает.

Чего еще надо?»—«Ничего. Подходит,— сказал Андрей.— Ты мне фамилию, телефон и все такое начертай на бумажке, а я тебе на днях звякну». На том про Женьку разговор закончился. Они с Андреем чокнулись и поехали дальше. А вчера Андрей позвонил и сказал, что относительно Сухарева Е. В., хорошего человека, он в принципе с отцом договорился. Как раз в журнале, в отделе публицистики, есть место, и они, то есть журнал, хотели бы взять молодого, знающего журналиста, умеющего писать и жаждущего работать. Твой друг им подходит по всем статьям, заключил свое сообщение Андрей, с него (ха-ха-ха) причитается...

Размышляя таким образом, Юра с полным сочувствием продолжал кивать и поддакивать Галине Васильевне. Когда она закончила, он повернулся к Жене:

— Хоть мать послушай, ирод. Хоть ради нее постарайся. Или тебе зарплата не нужна?

— Ох, милый Юра,— засмеялась Галина Васильевна,— еще как нужна!

— Да я пожалуйста!— сказал Женя.— Какой разговор! — Он помялся.— Получается, без меня меня женили. Понимаешь, как-то это...

— Ах, вот оно что!— взъерепенился Юра.— Его, видите ли, не спросили! Скажите какой принц Орлеанский нашелся! Так тебя сейчас спрашивают!

— Ладно, ладно, только отстаньте,— сдался Женя.— Черт с тобой, пойду поговорю. Или лучше пусть машину за мной пришлют.

— Пришлют, пришлют «черный ворон», доиграешься!

— Господь с вами, Юра!— постучала по дереву Галина Васильевна.— Не надо так шутить.

— Да просто зло берет, Галина Васильевна,— ответил Юра,— ему счастье привалило. Такое раз в жизни бывает, а он упирается, как баран.

Без меня меня женили — вот в чем штука, подумал Женя. Вот откуда это неудобство, словно он надел ботинок на номер меньше. Меня даже не спросили, облагодетельствовали — и все тут. А я, может, не хочу никаких благодеяний. Хочу оставаться темным. Бедным и гордым. Так нет же — надо пластаться и благодарить: премного вам благодарны! По гроб жизни не забудем! Но это уж ты слишком, оборвал себя Женя. Юрка-то здесь при чем? Он постарался, большое дело сделал, а что изображает халифа — можно и простить.

К Жене у Юры было особое отношение. Он неизменно тянулся к нему — Женькин магнит был так силен, что Юра терпеливо сносил горячность и строптивость своего друга и всегда готов был помочь, где надо поговорить, дать дельный совет, даже деньжонок одолжить (хотя был весьма скуповат). Но вот ведь что — всегда от этих дружеских услуг у Жени оставалась какая-то неловкость, внутреннее неудобство. Чувство это было неуловимо, из чего оно складывалось, Женя разобраться не мог, но без него не обходилось. Сейчас он испытывал это знакомое раздражающее и двойственное чувство: подумать только, такой журнал, такое место, а лучше бы этого не было... И, как всегда, на одной чаше весов была реальная польза (да какая!), а на другой — туманные ощущения. О том, что перевесило, говорить не приходится. Ладно, черт с ними (теми, которые в редакции, попивая кофеек, между делом определили его судьбу), приду, поговорю, а там видно будет, решил Женя. Вслух он произнес:

— Так уж и быть, согласен.

— Спасибо, милый. Спасибо, родной. Одолжил,— отозвался Юра.— Ну а теперь надо это событие в некотором роде отметить.— Юра пошел в прихожую, где оставил свой портфель, и вернулся с бутылкой коньяка.

Пока Галина Васильевна уходила на кухню за снедью и посудой, Юра успел шепнуть: «Тяпнем по одной, я-то больше для виду, за рулем,— и ко мне. Разговор есть. Заметано?» Женя пожал плечами, и Юра прибавил: «Очень нужно, понимаешь... Я подам сигнал, а ты за мной без разговоров... Есть?»

Когда стол был накрыт и Галина Васильевна присела на свое обычное место с краю, чтобы удобнее было бегать на кухню, Юра разлил коньяк и поднял свою рюмку:

— За успех предприятия пить не полагается раньше времени, не будем, а за ваше здоровье, Галина Васильевна, я предлагаю выпить стоя. Дай вам бог здоровья, добра, удачи! И еще хочу пожелать, чтобы ваш непутевый сын и мой бедный друг поменьше приносил вам огорчений. Салют!— слегка притронувшись губами к рюмке, Юра сел. Говорил он, безусловно, искренне, даже голос слегка дрогнул: два этих человека, которым, скажем прямо, не очень-то легко жилось, были ему по-настоящему дороги. Что уж тут сделаешь: из своих

двадцати шести, по крайней мере, пятнадцать он был рядом с ними (Юра еще дружил и с Женькиным отцом). Бывало, они подолгу не встречались, но Юра знал: и Галина Васильевна и Женька существуют такими, какие есть... И пока они не изменились, мир будет стоять и держаться, что бы там ни говорили насчет падения нравов. И если, случалось, Юра колебался, как ему поступить, он ставил на свое место Галину Васильевну или Женьку, смотря по ситуации, и поступал по возможности так, как бы сделали они. Правда, по возможности. Но, по крайней мере, он знал, как надо. С помощью Сухаревых Юра создал целую шкалу отсчета, и она помогала ему жить и контролировать себя. И если частенько он не дотягивал до отметок, которые ставил, все-таки тянулся к ним!

Галина Васильевна поблагодарила за тост, вздохнула, подумала: да, не мешало бы немножечко удачи Жене, да и здоровья мне — тоже... Она и сейчас, сидя за столом, чувствовала глухую ноющую боль в ногах, которая в любой момент могла стать резкой и острой. Давно прошло то время, когда она могла провести целый урок стоя.

Женя, заметив Юркино дрожание голоса, нахмурился. В отличие от своего друга, он терпеть не мог сантиментов. Проглотив коньяк, Женя сказал:

— Послушай, старче, что-то в тебе появилось... Что-то эдакое... Вроде как побывал на приеме английской королевы...

— Смотри какой прыткий!— удивился Юра.— Нет, брат, поднимай повыше. Старушка подождет. Приглашение я получил, не скрою, но решил повременить. Лондонские туманы, сырой ветер, то, се... А я недавно перенес грипп. Боюсь, как бы не простудиться. Но в общем — тепло...

— Не томи.

— Хорошо, не буду. Уполномочен вам лично и персонально передать привет от Марианны.

— Кого-кого?

— Марианны, которая, между прочим, символизирует Францию.

— Париж?

— Вот именно — Париж! И представляешь, старичок, совсем не плохая деревня.

— Ты был в Париже?— воскликнула Галина Ва-

сильевна.— Вот чему я завидую! — Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза.— Париж! Париж! Да, видно, это не про нас...

— Только умоляю, мама,— врезался Женька,— не надо про букинистов на набережной Сены, про собор Парижской богоматери, художников Монмартра, Латинский квартал, Лувр, Булонский лес, Елисейские поля...

— Замолкни!— оборвал его Юра.— Скажите, какой оригинал! Когда увидишь своими глазами Нотр-Дам, тогда и поговорим.

Это был запрещенный прием, тем более что они вместе (было это в восьмом классе) путешествовали по Парижу по старому плану, добытому Юрой. Путешествовали после того, как залпом прочли «Отверженных», «Собор...», «Девяносто третий год» (Галина Васильевна собирала французскую литературу, а у них дома стояло пятнадцатитомное собрание Гюго). Увлечение Гюго и Парижем прошло, но таинственный мерцающий след в памяти остался, и Юра с необычным, непонятным ему самому волнением готовился к поездке в Париж.

Теперь он сказал Нотр-Дам — и в памяти возникла каменная громада (та самая, но и другая!), вырастающая из земли и как бы невесомая, уходящая в темнеющее небо в красном отблеске заката, а чуть в стороне — кровавый шар солнца, погружающийся в Сену, и подернутые зыбью красно-розовые блики на воде... Была минута, он вдруг ощутил, что все рассказанное Гюго — правда и было вчера или еще будет, время смешалось, текло, но не исчезало...

— «Пойду к «Максиму» я, там ждут меня друзья...» — пропел Женя.— Париж, Париж! Весна, фиалки, и девушку зовут Мадлен.

— Давай, давай,— подстегнул его Юра,— у тебя здорово получается! — Он чувствовал себя виноватым, что так грубо оборвал Женьку, и не хотел с ним препираться. Когда-нибудь он расскажет об этой минуте, и Женька его поймет. Когда-нибудь — не сейчас.

— Не обращайте на него внимания, Юра,— сказала Галина Васильевна.— Видите, он взъерошился и никак не придет в себя.— Она положила руку на руку сына:— У нас в школе была одна туристская путевка во Францию, и мне ее предложили, но стоит она недешево, а тут — лето, пришлось отказаться...

— На будущий год поедете,— утешил Юра,— сынок заработает.

— А у вас поездка тоже, как обычно, десять дней?— спросила Галина Васильевна.

— Да нет. Мы ездили по другой статье. Научный обмен. Три недели. Представляете: две недели Париж, конференция, встречи с коллегами, беседы и прочее. И неделя — поездка по стране...

Юра замолчал. Снова возникло в нем гулкое ощущение Парижа, ощущение шума, света, воды, камня,— Парижа давно знакомого, но неожиданно открывающего себя по-новому. Легкая утренняя дымка над крышами Монмартра, сквозь которую просвечивало розоватое солнце, зацветающие деревья, каменные лестницы с улицы на улицу, кажется, что стоит тишина, приглушенный гул города слышен, если закрыть глаза... Изгиб улочки, маленькая площадь. На углу, на тротуаре, мольберты художников, и вокруг никого, сквозь листву деревьев пробиваются солнечные лучи, дрожит на земле узорчатая тень, поблескивает сероватый камень мостовой, а за углом этой улочки, будто совсем близко, рукой подать, на фоне голубого неба — белый, словно омытый солнцем купол Сакре-Кер...

Париж так закружил Юру, что он чуть было не забыл про магазины. Но в последний день, слава богу, спохватился: приехать из Франции без барахлишка и сувениров было просто невозможно. Он купил все, что хотел,— Наташке, шефу, себе, Инне. (И чуть было не засыпался: при разборе подарков, увидев сверток, оставленный в портфеле, Наташка спросила — а это что? Собрав все самообладание, Юра небрежным тоном ответил, что не знает, один из их делегации просил сунуть до Москвы в чемодан, так как в его собственный не влезало, Наташка, кажется, поверила.) Юра никого не забыл, ни секретаршу шефа, с которой он, естественно, дружил, ни своих коллег. По собственному опыту он знал: забывчивость может дорого обойтись. Забудешь — обидишь. Париж Парижем, а голову терять ни к чему.

— Что ж,— сказал Юра, прерывая затянувшееся молчание,— поскольку маэстро не в духе (быстрый, предупредительный взгляд на Женю), рассказ о Париже отложим до другого раза. Но чтобы уж покончить сегодня с этой темой, разрешите вас покинуть на минуту,— Юра встал и удалился в переднюю, по-видимому,

все к тому же портфелю. Вернулся, держа роскошный альбом, на суперобложке которого виднелся силуэт Эйфелевой башни и короткое слово «Париж». Альбом исторгнул возглас восхищения у Галины Васильевны. Даже Женя с удивлением хмыкнул.

— Это вашему дому, Галина Васильевна,— Юра протянул альбом на двух руках, точно вручал за храбрость саблю, отделанную золотом.— Листайте на досуге. А ты,— он повернулся к Жене,— вспомни наши путешествия...

— Мерси, мерси,— сказал Женя,— поистине щедрый дар...— тут он остановился, так как принял посланный ему взгляд Юры, означавший — пора...

Юра снова наполнил рюмки:

— Еще по одной на прощанье, если вы, Галина Васильевна, не против.

— Я не против, но почему на прощанье?— всполошилась Галина Васильевна.— По-моему, мы только начинаем. Гулять так гулять.

— Не могу, Галина Васильевна, очень важное дело. Рад бы, сами знаете, но не могу. В другой раз. Вы уж не сердитесь — и сына вашего прихвачу. Мир дому сему,— Юра опять прикоснулся губами к рюмке и поставил ее нетронутою на стол. Отвечая на удивленный взгляд Галины Васильевны, пожал плечами:— За рулем, нельзя.

Жене очень не хотелось уходить из дому, да еще неведомо куда, но он обещал и сигнал принял. Кто знает, может, и вправду Юрке очень нужно.

— Я ненадолго, мама, если что — позвоню,— вслед за Юрой Женя встал из-за стола.

— Договорились, успели,— вздохнула Галина Васильевна,— оставляете одну? А я тут к чаю испекла...

Жене стало жалко мать, и он вопросительно взглянул на Юру.

— Поторопись, неподкупный,— подстегнул Юра,— опаздываем...

Так бывало всегда: если Юрке приспичило — подавай ему немедленно, тут уж он никаких резонов не признавал.

— Не скучай!— крикнул с лестницы Женя.— Я недолго...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

28 июля 1941 г.

Таня, родная, получила ли ты хоть одно мое письмо? Сегодня проснулся до подъема и стал думать о тебе — так стало грустно, так хочется увидеть тебя, пусть одним глазком... Все ли у тебя в порядке? Откликнись, откликнись! Знаешь, довоенная жизнь представляется мне теперь сплошным радужным пятном: встречи с тобой, книги, работа и друзья, отчий дом — да было ли все это? Было, а вот ценили мы все не так, как должно, нам казалось, что иначе и быть не может. И война, хотя мы готовились к ней, существовала где-то там, за горами, за морями. А теперь, когда она грянула, все видишь в ее резком, жестком свете — и прошлое, и настоящее. Сколько надо пройти, какие неслыханные жертвы принести, чтобы вернуть мирное время! И мы это сделаем! И как хочется, пройдя эту войну, вновь зажить мирной жизнью, как и раньше, но еще лучше, интересней, горячей, с сознанием того, что произошло. И чтобы все, что зреет во мне, что я могу сделать, написать (чувствую, бесконечно много), я сделал бы рядом с тобой.

Еще раз, на всякий случай, сообщаю тебе мой адрес: полевая почта 581, п/я 34, литер 9. Жду от тебя весточки, постоянно думаю о тебе, люблю тебя еще больше.

Твой Я. Симовский

5 августа 1941 г.

Таня! Таня! Помнишь, я писал о Коле Родимове, с которым мы подружились? Его убило на глазах у всех. Только мы заняли новые позиции и начали окапываться — а тут из-за леса «юнкерсы». Налетели как стервятники. Сбросили бомбы, окатили из пулеметов — и скрылись. Гады проклятые! Коля был впереди с бронебойщиками. Одна из бомб упала рядом. Страшно сказать, что с ним стало. Пелагея Васильевна, его мать, была в это время в медчасти — в трех километрах. К вечеру мы поехали к ней с командиром роты. Ей уже рассказали раненые. Я не узнал ее — вся почернела, глаза смотрят в одну точку... Посидели мы рядом с ней, помолчали. Потом пришла доктор, увела ее — требовалась помощь Пелагеи Васильевны. Уходя, доктор шепнула нам: «Надо, чтобы она больше работала и не оставалась одна...» Я обратил внимание на руки Пела-

геи Васильевны, когда мы сидели рядом с ней. Они лежали на коленях и медленно шевелились, вздрагивали, будто что-то вспоминали, а лицо было застывшее, как маска. Страшно! Представляешь, что творится у нее в душе: единственный сын, больше на всем свете никого, и она сама помогла ему, несмотря на запрещение, вместе с ней пробраться на фронт...

Смерть Коли — не первая в нашем батальоне, но ударила она больнее всего... Прости, моя дорогая, больше писать не могу. Почему-то сейчас мне стало очень страшно за тебя. Где ты? Откликнись! Неужели до тебя не дошло ни одно мое письмо? Береги, береги себя. Твой Я. С. Пиши. Адрес тот же.

Остановившись у сверкающего лаком красного «жигуленка», купленного три месяца назад отчасти в долг, отчасти на свои кровные, заработанные и отложенные, Юра поставил на асфальт портфель и с озабоченным лицом достал ключи. Именно этот момент, когда, подойдя к машине, он не спеша доставал ключи и так же не спеша открывал дверцу, обычно вызывал у него наибольший прилив положительных эмоций, как первый миг свиданий с возлюбленной. На этот раз, однако, этого не случилось. Быстро открыв дверцу в кабину, Юра уселся, щелкнул замком с внутренней стороны и бросил на сиденье портфель.

Включив мотор и тронувшись с места, он некоторое время молчал. Молчал, сидя рядом, и Женя. Вечерело.

— Эй, Онегин, проснись!— толкнул его Юра, когда они уже въезжали на Ломоносовский проспект.— Тут, понимаешь, вот какая штука...— Юра вздохнул.— Наташка меня засекла. Ну, с Инной... В Домжуре. Так хорошо сидели, а тут откуда ни возьмись Наташка. Представляешь, кто-то привез ее поглазеть. Вот до чего дошла людская подлость!

— И она приехала?— удивился Женя.— Чтобы Наташка унизилась до такого? Не поверю! Тут что-то не так.

Лицо у Юры было растерянное, хотя он попытался усмехнуться.

— Понимаешь, как раз за неделю до этого все и началось. Доброжелатели позвонили. И кто, ты думаешь? Инкина ближайшая подруга. Стерва! А ведь как мела хвостом! Позвонила Наташке и все выложила,

прямо по дням, все наши встречи, да с подробностями, чтобы уж сомнений не было. И про Ленинград прошлогодний тоже... Наташка раньше, знаешь... а тут взбеленилась: разойдемся — и все! Я туда, сюда — клялся, божился, каялся... Ничего не помогает. Губы сжала, не смотрит, сразу как чужая стала. На следующий день — не разговаривает. Я за ней на работу. Села в машину, молчит. Так прошло два дня. Потом смотрю — чуть отходить начинает. Ну, думаю, пронесло! И верно: разговаривать начали, утром завтракаем, вечером чай пьем... Я, как бобик, с работы домой. Вроде стало помаленьку налаживаться... Только, знаешь... Сижу что-нибудь делаю, чувствую — Наташкин взгляд. Поднимаю глаза — отворачивается. А один раз не успела. И как думаешь, что я заметил? Презрение или там обиду? Нет. Любопытство. Холодное любопытство! Она изучала, рассматривала меня, как будто заново узнавала. У меня аж мороз по коже...

Жене стало страшно за Юрку. Если Наташка разочаруется в нем, что-то там поймет для себя — тогда все. Никакими силами ее не удержать. А куда Юрке без Наташки? Если он стал таким вальяжным джентльменом и не растратился в загулах — это дело рук Наташки. Она его грела, отхаживала, приучала к дому, к уюту, пылинки сдувала... Кандидатскую он и сам бы защитил, без помощи Наташки — но чего бы это ему стоило! А сейчас Юрка добивается всего с лету — будто заранее для него все приготовлено, а ему остается только прийти и взять. Но главное — другое: когда с ним Наташка, Юрка и сам становится лучше...

Наверно, однажды это понял и Юрка. И вдруг испугался, что может потерять Наташку. Испуг налетел на него, как шквал, полгода назад. То ли он что-то приметил, какую-то перемену в Наташке, то ли заглянул в себя, но только он резко переменился к ней. Они расписались, сняли квартиру. Произошло то, о чем Наташка мечтала три года, пока они встречались и жили вместе только в отпуске, на курортах. Эти три года были нелегкими для Наташки: Юра не считал себя чем-либо связанным, погуливал, не чурался при случае новых приключений. Наташка все терпела и про Юркины похождения знать ничего не хотела. Она просто любила его, и любви ее хватило бы надолго, на целую жизнь, но Юрка сам ускользал от нее и, вероятно, понял это, когда тепло, которое излучала Наташка, начало осла-

бевать. Юрка как бы начал просыпаться от холодного ветерка, повеявшего оттуда, откуда всегда шло тепло. А проснувшись — испугался.

Вскоре Юра с помощью друзей влез в почти готовый кооперативный дом в Черемушках. Денег у него не было, но вместе с Наташкой они сумели раздобыть необходимую сумму для первого взноса. Долг образовался порядочный, но Юру это не волновало, Наташка была с ним, а это было главное. Правда, незаметно роли их стали меняться: Наташа стала ровней, спокойней в отношении к Юре, а он, наоборот, сильнее потянулся к ней. В его чувстве появилась острота, тревога. Но привычки его менялись медленно. И хотя Юру теперь вечерами тянуло домой, инерция прежних увеселений давала себя знать: он и к приятелям в холостяцкие компании захаживал, и с Инной окончательно порвать не сумел, а точнее — не захотел.

Дело в том, что Инна была свободна (недавно разошлась с ревнивцем мужем и блаженствовала в одиночестве), жила в отдельной однокомнатной квартире, ничего от него не требовала и всегда была ему рада. Работа — редактором в каком-то издательстве — не слишком ее отягощала. С ней было легко, просто, безмятежно, всяческие заботы и проблемы отходили на задний план — таким золотым характером наградил ее господь бог. К тому же всем прочим, что полагается по штату молодой приятной женщине, она тоже не была обижена...

— Ну, ладно,— сказал Женя,— что было, то прошло. Сейчас-то у вас налаживается. Ну, изучит она тебя, определит, кто ты такой есть, поводок укоротит — тебе только на пользу.

— Болван!— выругался Юра.— Надо же быть таким кретином! О чем я тебе целый час толкую? Донос на меня и все прочее произошло за неделю до того, как Наташка меня застукала с Инной в Домжуре,— понял? Только у нас стало что-то налаживаться, только Наташка начала со мной разговаривать — и вот на тебе!

— И у тебя хватило совести Наташку уговаривать, а самому в это время...

— Сам не знаю, как получилось... Да я не хотел. Инку жалко стало. Понимаешь, как раз в это время позвонила мне Инка на работу — дескать, что с тобой, почему не показываешься, ну и все такое в этом роде, а мне, мол, грустно, хочется куда-нибудь пойти, разве-

яться... Ладно, говорю, махнем в Домжур, завьем горе веревочкой. Ну, дальше — знаешь. Только мы с Инкой сели, выпили по одной, по второй, а тут в дверях Наташка. Кто-то ей, значит, стукнул. Все та же подруженька, змея подколодная! Тут уж Наташка воочию убедилась... Досидел я кое-как, проводил Инку, заявляюсь домой, а на столе записка: не жди, не ищи. Гляжу — и чемоданчика нет. Значит, всерьез. Ну, думаю, все.

— А еще друг называется,— проговорил Женя,— не мог позвонить? Придумали бы что-нибудь.

— Эх, Онегин,— вздохнул Юра,— ты не представляешь, какое у меня было состояние! Будто из меня вся кровь вышла, и нет сил шевельнуться, только сердце болит, болит... И ничего я не хотел, и никакой помощи не хотел, и жить не хотел...

Жене стало не по себе. Вот она, тревога, боль, которые он углядел глубоко в Юркиных глазах! А Юрка еще шутил, вспоминал про Париж. Да еще устроил его на работу в журнал! Но, конечно, Париж и все Юркины хлопоты насчет работы были до этой истории. Пусть так. Но ведь сейчас не забыл же он об этом! А может, немного успокоился, может, у него появилась надежда?

— Ну а дальше что было,— прервал Женя молчание,— потом?

— Потом вдруг наступил момент, когда я провалился в черную яму. Последнее, что помню, репродукция «Монны Лизы» Леонардо, которую я купил в Лувре прямо уже в рамке и повесил у нас на стенке в большой комнате. Наташка все ходила, поглядывала на нее и как-то сказала: «А я бы вот так не могла...» «Как?»— спрашиваю. «А так... Быть красивой, доброй и одновременно таинственной... Если я люблю, не стану скрывать... А она... Ее не поймешь...»—«Это ты про улыбку?»—«И про улыбку тоже...»—«Чепуха,— сказал я,— мистика... Когда-то кому-то почудилось — и вот уже четыре с половиною века идет эта болтовня насчет таинственной, непостижимой, ускользающей улыбки Монны Лизы». Наташка промолчала, я глянул на портрет и — обмер... Монна Лиза, как живая, в упор смотрела на меня. И улыбка... Да, она вроде подсмеивалась надо мной.

Женя взглянул на Юру: как будто в своем уме, смотрит на дорогу, останавливается перед красным светом, где надо дает газ, переключает скорости, и лицо

у него, как того и требует обстановка, сосредоточенное, нормальное лицо...

— Ты это всерьез?— спросил Женя.

Юра усмехнулся:

— Не беспокойся, я не тронулся...— Помолчал, вздохнул и прежним, как бы небрежным тоном, каким вел свой рассказ, бросил:— Да, так на чем я остановился?

— На «Монне Лизе»...

— Вот, вот... Я сидел в большой комнате, пил, а боль не проходила. Я выпил почти всю бутылку и, когда случайно поднял голову, увидел на стене «Монну Лизу». Она смотрела на меня живыми глазами и усмехалась: ну что, доигрался? Меня будто кто обухом по голове...

Пришел я в себя утром. Продрал глаза: лежу одетый на полу около стола. И как вспомнил, что было, вставать не захотелось. Все же встал. Наверное, теплилась маленькая надежда. Для начала решил выяснить, куда Наташка делась. Позвонил к ее матери и сразу понял — там. Ну а уж потом началось... Я Наташку провожаю на работу, жду у дома, провожаю с работы — и ни слова. Смотрит сквозь меня, как будто меня нет, не существует в природе. И так целую неделю. Один раз у работы понапрасну прождал ее два часа. Оказалось, ушла раньше... Ты спросишь, что дальше?— Юра повернул голову. На его лице словно застыло выражение равнодушия, только усмешка чуть скривила губы.— А ничего. Все так и продолжается. Я ее встречаю после работы, молча идем до ее дома, расходимся... Вчера мне показалось, что она искоса взглянула на меня...

Женя молчал, и Юра все тем же безразлично-равнодушным тоном сказал:

— Вот я и подумал... Наташка всегда к тебе прислушивалась. Поговори с ней. Может, до нее дойдет, что без нее мне не жить. Поговори — вдруг получится?

Женя продолжал молчать. Юра, все так же усмехаясь, одними губами, медленно, будто с трудом, выталкивал слова:

— Знаю, что ты подумал... К чему разговоры, если у нее все перегорело? Так? Что ж, хоть правду узнаю... Тебе она скажет. Не могу я больше так, понимаешь — не могу!

— Поговорю!— вдруг твердо сказал Женя.— Не сомневайся! Прямо сейчас. Приедем — и позвоню!

Юра кивнул. Больше он не произнес ни слова. В молчании они доехали до дома. Во дворе Юра автоматически поставил «жигуленка» на привычное место — как раз против подъезда. Выйдя из машины, небрежно хлопнул дверцей. Пошел к дому не оглядываясь, а ведь существовал целый ритуал расставания со своим милым «жигуленком»! Походка у Юры была какая-то странная, словно ему приходилось обходить кочки, неожиданно вырастающие на его пути. В присутствии Галины Васильевны он держался лихо, еще и спектакль устроил в своем стиле, а тут, дома, видно, завод сразу кончился.

Едва успев войти в квартиру, Женя подошел к телефону. Юра, прислонившись к стенке, медленно проговорил Наташин номер. Потом повторил еще раз — не то для Жени, не то для себя. Он стоял с закрытыми глазами. Женя присел на диван. Взялся за трубку, и вдруг ему стало страшно: а что, если... Юра, заметив, что он медлит, вышел из комнаты. Только сейчас Женя по-настоящему почувствовал, в каком состоянии находится Юрка. На грани. У самой последней черты. Трубка в его руке продолжала гудеть. Надо решиться. На кухне что-то звякнуло. Наверно, Юрка ставил чайник. Женя напрягся, словно собирался нырять в холодную воду, начал набирать номер. Длинные гудки. Один, второй, третий...

— Да,— сказал Наташкин голос.

— Это я.

— Здравствуй, Женя.

(Она назвала его имя просто, легко, как в былые времена, до этого потопа. «Она хочет сказать, что ко мне вся эта история не имеет отношения. Но это не так: раз все мы связаны, значит то, что происходит с ними, касается и меня. Но она не хочет, чтобы я чувствовал вину, чтобы я делил вину с Юркой».)

— Что ты молчишь? Я тебя слушаю.

— Мне надо с тобой встретиться, Наташка.

(Ну вот, от ее ответа все зависит. Если скажет, не надо, ни к чему — тогда все. Конец. Значит, она решила. Но она молчит. Это хорошо, что она думает, колеблется, не знает, что ответить.)

— Ты, конечно, говоришь по поручению твоего друга?

(Ладно. Думай, Наташка, думай — только не ошибись. Смотри не ошибись.)

— Не в этом дело. А поговорить нам с тобой надо. Очень надо. Тебе нельзя отказываться.

— Хорошо... Давай поговорим.

— Можешь сейчас?

— Через полчаса могу выйти из дома.

— Идет. Давай через час в центре. Метро «Проспект Маркса», выход к гостинице «Москва». Жду тебя на улице. До встречи.

Положив трубку, Женя увидел Юрку, сидящего напротив за столом.

— Это... Ты с ней так?— спросил Юра. Он уже и представить себе не мог, чтобы можно было так легко назначить Наташке свидание.

— Ну, я пойду...— Женя встал, он старался не смотреть на Юру.— Как поговорим, сразу позвоню.

— Нет, нет,— поспешно перебил его Юра,— не звони, а приезжай. Буду ждать. Хоть до утра. Только обязательно приезжай.

— Жди,— Женя открыл дверь, шагнул за порог.

Говорят, ждать и догонять — самое последнее дело, а Юра, слонявшийся по всей квартире, как бы совершал и то и другое одновременно.

Пробило двенадцать. Юра не знал, что и думать. Наконец, обессиленный, он не заметил, как отдался бессвязному потоку рваных картин. Ему чудилось, что его куда-то несет, а куда — он не знает. Вокруг мелькают лица, какие-то тени, деревья, машины, он чувствует, что непременно разобьется, а остановиться не может. И вдруг — резкая остановка. «Выходи!— свирепо кричит кондуктор трамвая и дает звонок.— Выходи!» Юра поднимает голову: он сидит за столом. Монна Лиза, насмешливо и загадочно улыбаясь, смотрит на него со стены, и надрывается звонок. Не сразу он догадывается — звонят у двери, срывается с места. Трясущимися, непослушными руками отодвигает защелку замка. Дверь сама открывается, и в проеме рядом с Женькой он видит Наташу.

Юра видит ее и не верит, что это она. Ни слова не говоря, Наташа проходит в большую комнату (лицо ее замкнуто), и по тому, как она вошла, Юра понимает: насовсем! Он стоит, прислонившись к стенке, не в силах шевельнуться. Женька толкает его в бок: «Принимай гостей». Юра продолжал стоять (на него нашла такая

робость, что не мог пересилить себя), и Женька повторил: «Иди, столбняк, что ли, нашел? А я у тебя в кабинете прилягу. Устал я чтой-то, братец». Юра, набрав воздуха, как перед прыжком в воду, нетвердыми шагами отправился в большую комнату, к Наташке. Первый раз в жизни он не знал, что сделает, что скажет через несколько секунд...

А Женя свою миссию выполнил, с этим сознанием он вольготно растянулся на диване в кабинете кандидата экономических наук Юрия Сергеевича Иванова. Женя действительно устал. День был трудный, ночной разговор с Наташей на улицах Москвы еще труднее. И все-таки он сумел убедить ее. Она поняла, что без нее Юрке не жить, поняла и пожалела. А там уж как бог даст! Женя потянулся, аж хрустнули косточки, закрыл глаза. Он ощутил, как теплота медленно растекается по телу. Комната мягко качнулась. Наверно, это хорошо, что сегодня он не отнес папку Тане Новосельцевой. Тут надо собраться с мыслями, а уж потом идти в Песочный переулок — от метро поворот налево перед церковью... Будто из тумана возникло Наташкино лицо, за ним — Юркино. Наташка наклонилась, и Женя почувствовал, что она его чем-то накрыла. Комната поплыла, а вместе с ней и Женя, который все никак не мог решить, что бы он делал, если бы папка была не Я. Симовского, а его отца В. Сухарева. А может быть, так и есть? Мысли спутались, и Женя провалился в сон.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

12 августа 1941 г.

Таня, родная! Вот мы и окончательно стали регулярными частями Красной Армии — вчера перед строем сводных подразделений нашей дивизии нам было вручено Боевое Знамя МГК представителями коммунистов Москвы, и под этим знаменем мы приняли присягу. У меня сжималось горло, когда все мы вслед за командиром повторяли слова присяги: «Я, сын трудового народа и гражданин Союза Советских Социалистических Республик...»— как много стоит за этими словами, вся наша история, вся наша жизнь! Ветер относил наши голоса, они отдавались эхом и тонули в лесах — как будто вся земля принимала нашу клятву. И, может быть, все это — наши голоса, лица товари-

щей, знамя, которое морщит и шевелит ветер,— вспомнится кому-то из нас, когда будет очень трудно, и поможет не дрогнуть.

Таня, Таня! Я очень торопился рассказать тебе о вчерашнем дне, чтобы ты узнала, что мы пережили. Но где же ты? Пишу, пишу, а от тебя — ни звука. А мне очень важно, очень нужно знать, что ты есть, что ты хотя бы можешь услышать меня. Я часто думаю, а что бы ты сказала, глядя на меня, и с уверенностью могу ответить себе — ты была бы довольна мною. Сейчас такое время — часы, минуты (иногда история измеряет время мгновениями), что спуску себе давать нельзя и на секунду. Но зато какую гордость испытываешь от сознания, что можешь победить в себе унизительное чувство самосохранения и что все силы твоей души направлены на одно — драться с немцами до последней капли крови. На этом кончаю. Целую тебя, родная. Обними моих. Пиши. Пока адрес прежний — полевая почта 581, п/я 34, литер 9. Твой Я. Симовский.

17 сентября 1941 г.

Дорогая моя Таня! Как бы там ни было — я знаю, что ты есть. Недавно на полянке, когда мы занимали новый рубеж, я наткнулся на целые кипы разбросанных писем. Сначала я подумал, что это листовки, которыми беспрерывно осыпают нас немцы, но, подойдя ближе, увидел — письма наших солдат. Вероятно, разбомбили почтовую машину, а может быть, диверсанты... Мне стало так больно, будто письма были живыми, а их уничтожили. А ведь так и есть: сколько надежд, ожиданий, признаний похоронено вместе с этими письмами! Вот так могло произойти и с моими и с твоими письмами. А все равно надо писать и писать. Мы снова совершили трудный марш и 3 сентября заняли оборону на восточном берегу Днепра. И снова, как всегда, начали вгрызаться в землю, строить укрепления, работая по 12—14 часов. Это и есть наша жизнь — в работе и от сводки к сводке. А над нами разыгрываются воздушные бои, висят разведчики, и, если что обнаружат, тут же прилетают «юнкерсы». Близко, близко! И я рад, что пойду в бой коммунистом,— поздравь, меня приняли в кандидаты партии. До свидания, моя любимая. Сердце болит за тебя, за моих. Если бы хоть словечко. Вот мой новый адрес: полевая почта 602, п/я 11. Очень, очень жду. Твой Я. С.

5 октября 1941 г.

Родная Таня! Пришел и наш час — сегодня с рассвета целый день отчаянного боя. Фашисты лезут как очумелые. Рассказать об этом нельзя, даже если б захотел — не смог. Мы держимся и будем держаться до последнего. Самое страшное — смерть товарищей. Если убьют — знай, погибну, как солдат. А тебя очень, очень люблю. Кончаю, уезжает последняя машина с ранеными. И. К. из нашего взвода в госпитале, наверно, в Москве, опустит это письмо. Опять летят — эх, рассчитаться бы с ними в воздухе! И все-таки — жди! Твой Я. С.

Выйдя из метро «Сокольники», Женя свернул налево и перешел узенькую улочку, окаймлявшую с одной стороны небольшой бульвар, задуманный в виде широкой аллеи, ведущей прямо к центральному входу в парк. Миновав на углу трехэтажный кирпичный дом в купеческом духе с приметной башенкой, в котором помещалась булочная, он оказался на углу перед красивой церковью. Здесь, конечно, и начинался Песочный переулок, где жила Таня Новосельцева. Удивительное дело: Женя не помнил, когда приезжал в Сокольники, но все казалось знакомым — церковь, огороженная тонкой железной решеткой, булочная и автобусная остановка, на которой толпились люди; синеющее небо с белыми кучевыми облаками; белобрысый мальчик в клетчатой рубашке, откусывающий мороженое,— все это он словно уже видел. Его охватило странное ощущение, будто он возвращается и отмечает про себя, что осталось неизменным с тех пор, а что появилось новое. Напротив церкви, на той стороне, где он стоял, сразу за угловым домом, еще оставалась высокая старая стена из красного кирпича, слегка обвалившаяся сверху и поросшая мхом у подножия — в случае пожара она не давала перекинуться пламени от одного дома к другому. Женя даже вспомнил название таких стен — брандмауэры.

Он пошел вниз по переулку. Всюду высились каменные громады, приблизившиеся вплотную к редким двух-трехэтажным домам, некогда крепко и затейливо сработанным, а ныне, увы, основательно поизносившимся и угрюмо взирающим на сородичей-великанов прищуром узких окон. Что поделаешь — они свое отжили.

Естественно, что Сокольники бурно перестраивались в последнее десятилетие — места было много, центр рядышком. Песочный же переулок остался, по-видимому, каким был с довоенной поры, когда были построены два каменных дома почти напротив друг друга. Дома прижились, будто находились здесь всегда. И по-прежнему ветер сыпал песком, и шелестели тополя...

Песочный, Песочный — даром что переулок, всего-то каких-нибудь метров сто, а сберегся, сохранился! Там, чуть дальше, шумела Маленковская улица, как бы замыкавшая переулок с другой стороны, за ней высились новые дома. Женя дошел до конца переулка и увидел на тротуаре, в двух шагах от угла пересечения с Маленковской, большой старый тополь, раскинувший свои ветви где-то там в вышине. Вряд ли три человека, взявшись за руки, смогли бы обхватить его сучковатый ствол, который выбросил на тонких коричневых прутиках молодые зеленые побеги. Тополь стоял как раз напротив одного из этих довоенных домов, вероятно позже надстроенного на два этажа.

Женя остановился возле дерева, и вдруг что-то неуловимо изменилось. Солнце чуть умерило яркость, воздух сгустился, замер ветер, исчез шум улицы. Женя прислонился к стволу, и взгляд его потянулся к окнам третьего этажа справа, оказавшихся почти напротив. И сразу же там, в первом распахнутом настежь окне, появилась девушка с прекрасным лицом. Она была хорошо видна в раме окна, солнечные лучи радужно вспыхивали в ее волосах. Это уже когда-то было, было — Женя ее видел и не удивился ее появлению. Сейчас ничто не могло его удивить. Он махнул ей рукой. Девушка улыбнулась, махнула в ответ и скрылась. Женя перешел через улицу и увидел номер дома — семь. И опять он не удивился, что это тот самый дом, который был ему нужен. Он уже не сомневался, что и два окна на третьем этаже, первое и второе справа, принадлежат той же указанной в адресе квартире — двенадцатой. Он вошел в подъезд, поднялся на третий этаж и остановился на лестничной площадке перед дверью с левой стороны — несомненно, она вела в квартиру, окна которой выходили на тополь. Так и есть — квартира номер двенадцать. Женя позвонил. Послышались шаги, щелканье замка, и дверь открылась. На пороге стояла пожилая женщина с круглым миловидным лицом, темными глазами. Она была в ситцевом халате и белой ко-

сынке — очевидно, занималась домашними делами, никого не ждала. В это мгновение вся его затея показалась безумной — разве можно кого-то найти на прежнем месте через тридцать три года после войны?

— Вам кого? — спросила она, вероятно почувствовав его напряженность, и еще шире открыла дверь. По этому движению и по звуку голоса, в котором прозвучало участие, Женя угадал привычный рефлекс сердца — идти навстречу. У него перехватило дыхание.

— Могу я видеть Татьяну Алексеевну Новосельцеву?

— Это я,— просто ответила она и сделала шаг в сторону, пропуская его:— Проходите...

— Извините...— пробормотал Женя.— У меня к вам особое дело...

— Ну, что же, проходите,— сказала Татьяна Алексеевна и пошла влево по коридору.— Проходите,— повторила она, открывая дверь в комнату.— Присаживайтесь. Я сейчас...

Она вышла в смежную комнату, и Женя остался один. Он сел на диван. Спокойно, сказал он себе, спокойно. Все идет как надо. Бывают в жизни и удачи. В жизни все бывает. Главное, что Татьяна Алексеевна существует. Ошибки быть не может — это она. И в комнате, наверное, все осталось, как было: и темно-коричневый кожаный диван, и черный буфет с резными дверцами, и допотопный шкаф, и этажерка с книгами, и круглый стол в центре под зеленым стеклянным абажуром. Интересно, вдруг подумал Женя, что это за девушка, которая показалась в окне, и где я ее встречал раньше? Или она мне померещилась — хотел увидеть прежнюю Таню и, пожалуйста, увидел. Игра воображения? Ну, уж нет — девушка была! И Таня существует, и я сижу в ее комнате. А с чего начать? — внезапно испугался он. Ну, во-первых, передать папку и письмо. Оно ей все объяснит. А во-вторых... Женя не успел придумать, что во-вторых, как вошла Татьяна Алексеевна. Она переоделась и была в коричневом платье и туфлях на каблуках, русые волосы с проседью стянуты на затылке.

— Я вас слушаю.— Она села, положила руку на скатерть, выжидающе взглянула на него.

— Татьяна Алексеевна,— проговорил Женя,— вот какое дело... Вы знали Симовского?

Она слегка побледнела.

— Повторите, пожалуйста,— голос ее чуть дрогнул,— вы сказали... Симовского? Я не ослышалась?

— Нет, не ослышались. Я. Симовский, который из Московского университета ушел в ополчение.

— Вы... Вы что-нибудь знаете о нем? — Она потянулась к нему. Взгляд ее стал острым, Жене показалось — колючим.

— Я ничего не знаю о нем. Недавно в университетской библиотеке, перебирая довоенные диссертации, случайно наткнулся на эту папку. Я обратил внимание на адрес и, сам не знаю почему, открыл ее. А там письмо...

Женя протянул Татьяне Алексеевне папку, она осторожно, и веря, и не веря, что это та самая папка, взяла ее, положила на стол, прикрыла глаза рукой, пальцы другой руки, лежавшей на обложке папки, дрожали. Потребовалось несколько минут, чтобы она справилась с собой. Жене неловко было смотреть на нее — он нахмурился, взял пустой портфель, открыл, заглянул в него. Наконец Татьяна Алексеевна подняла голову, отняла руку от лица, взглянула на Женю: все ли он сказал, не нужно ли ему что-нибудь добавить? Взгляд ее, как показалось Жене, означал еще и другое — если он сказал все, то ему надо уйти. Она хотела остаться одна, открыть папку в одиночестве, побыть наедине с памятью... Что ж, естественно, понятное желание, и ему действительно больше нечего было ей сказать. Но уйти он не мог. Все только началось. И не он, а Таня, Татьяна Алексеевна, должна была рассказать о Симовском. Женя не представлял себе, как развернутся события дальше, что предстоит ему сделать, но твердо знал — не отступится, не свернет с полдороги. Да теперь уж и не смог бы, если бы и захотел, какая-то сила внутри него двигала им, за Симовским стояли отец, мать и все они, так просто и спокойно ушедшие на войну. Они даже не напоминали о себе — только иногда, невзначай, как Симовский, чтобы их не забыли совсем. Не откликнуться, не пойти на зов было бы предательством. У отца было острое чувство вины перед погибшими: «Мы-то живем, а они... А мы не лучше их, нет... Они сделали больше...» В последние годы он все чаще, настойчивее думал, говорил об этом. Война, отдаляясь от него во времени, возвращалась как бы с другой стороны, в другом обличье. Женя всегда чутко

улавливал, что творилось в душе отца, и, может, отец сумел передать ему это свое чувство?

— Там, в папке, письмо Симовского к вам,— сказал он.

— Да, вы говорили...— Татьяна Алексеевна развязала тесемки, открыла папку, возможно и не предполагая немедленно прочитать письмо, скорее, хотела убедиться, что оно там, еще раз сказать «спасибо» молодому человеку. Но стоило ей взять в руки сложенный вдвое ветхий тетрадный лист в клетку, на котором выцветшими чернилами рукою Яши было написано «Тане Новосельцевой», как сердце ее бешено заколотилось, будто опять она стала той двадцатилетней девочкой, которой писалось это письмо, и, уже забыв о присутствии чужого человека, забыв обо всем, она развернула листок и стала читать. Она сразу, с первых слов, услышала живой голос Яши и внутренним зрением увидела его, спешащего навстречу, она увидела, как озарилось его лицо, когда она обернулась на его взгляд, просто обернулась на взгляд и увидела его улыбку, сияющие глаза, и был какой-то удивительный синевато-золотистый свет, и пахло липами после дождя, и под ногами скрипел мокрый песок, и она знала, что эта минута пройдет, и предчувствие разлуки стеснило сердце... Письмо вернуло ее к тому времени, к Яше, к тем молодым тревогам и надеждам. Это было прикосновение к тому, что, казалось, ушло навеки. Татьяна Алексеевна не замечала своих слез,— в который раз перечитывая письмо, находила в каждом слове потаенный смысл...

Она отложила письмо, когда зарябило в глазах. Вздохнула, увидела, что молодой человек все еще сидит на диване, делая вид, что занят своими мыслями, а на самом деле, вероятно, исподтишка наблюдая за ней,— ей показалось, что, когда она оторвалась от письма, он поспешно отвел взгляд. Татьяне Алексеевне стало неловко, проговорила:

— Извините, заставила вас ждать...

— Ничего, ничего,— поспешил ответить Женя,— у меня много времени... А какой он был?— неожиданно спросил он.— Я бы хотел узнать о нем. Понимаете, раз уж я нашел эту папку, мне кажется, я должен сделать что-то еще... Собрать какие-то сведения, разыскать однополчан, научного руководителя...

Женя замолчал. И молчание это означало вопрос: как она к этому относится?

— Я помогу вам, чем смогу,— тихо сказала Татьяна Алексеевна.

Помедлив, Женя спросил:

— Татьяна Алексеевна, можете вы мне ответить на один вопрос?— Он остановился, подождал, пока она кивнула.— Почему вы не пришли в то утро, шестого июля, в университет попрощаться?

Татьяна Алексеевна пристально посмотрела на Женю. Он спокойно выдержал ее острый, опять ставший колючим взгляд, и она почувствовала, что должна рассказать. Это был очень важный вопрос для него — от того, какая причина помешала ей прийти, зависело его отношение к ней. Впрочем, какое ей дело до его отношения? И все же она должна рассказать — он принес эту папку, письмо и вправе знать, как было. А напрягать память ей не надо — все, что происходило в эти пять дней, с 6 по 10 июля, все, до мелочей,— тысячу раз, час за часом, минута за минутой развертывалось перед ее глазами, когда она с пристрастием допрашивала себя: все ли сделала, что было в силах, чтобы разыскать Яшу? Что ж, пусть теперь скажет этот молодой человек, ведь он и есть — время...

— Вот как это было...— проговорила Татьяна Алексеевна,— ей трудно было произнести первую фразу, которая вертелась на языке: «Накануне мы с Яшей...»— Вот как это было,— повторила она.— Накануне мы с Яшей долго гуляли, это был последний наш вечер, подходили к моему дому и снова куда-то шли... Простились поздно, около часу ночи, и договорились, что на следующее утро встретимся в университете на полчаса раньше сбора. Когда я пришла домой, мама ждала меня, одетая в дорогу, а на столе лежала телеграмма из Калуги: «Выезжайте немедленно...» Мамин брат сообщал, что бабушка при смерти. До отхода поезда оставалось двадцать пять минут — мы еще могли успеть. Я начала звонить Яше, но он еще не дошел до дому, и никого из Симовских не было. Соседка спросонья не стала меня слушать, бросила трубку. Что было делать? Мы с мамой выбежали на улицу, а тут как раз и автобус. На поезд мы вскочили чуть ли не на ходу, проводница уже стояла с флажком на ступеньке вагона... Бабушку мы застали в живых. Она была в сознании и все благодарила бога, что перед смертью смогла проститься с мамой и со мной. Бабушка умерла через

два дня — 8 июля. Девятого мы ее похоронили, десятого вечером вернулись в Москву...

Хлопнула входная дверь, послышались шаги по коридору, кто-то заглянул в комнату, но тотчас же скрылся, и шаги проследовали дальше, затем в смежной комнате загремел стул.

— Да, так вот...— сказала Татьяна Алексеевна.— Мы вернулись в Москву десятого вечером, и я сразу позвонила Яше домой. Его мама сказала мне, что утром их отправили на фронт. Я опоздала на один день. И все-таки на следующее утро я побежала в университет — надеялась что-то узнать. Мне рассказали, что в тот день, 6 июля, из университета они ушли на общий сборный пункт, где их развели по школам. Яша, вероятно, звонил домой и ко мне, но так и не смог узнать, почему я не пришла: его родителям я не успела сообщить, а наша соседка работала на оборонном заводе и пропадала там целыми сутками.

— А письма?— спросил Женя.— Письма вы получали от него?

— Только одно. Он передал свою записку с раненым, чтобы он вложил в конверт и опустил в Москве. Вот эту записку я и получила... Яша писал ее 5 октября, когда шел бой...

— И это все?

— Нет, не все...— Татьяна Алексеевна не могла сразу сказать о той, второй записке Яши, переданной Козыревым. Эта записка означала Яшину смерть. Много раз представляла она себе, какая мука сжимала его сердце, когда рука писала предсмертные слова,— и мука эта отдавалась неутихающей болью, словно вместе с ним она переживала его последние минуты.— Есть еще, еще одна его записка...— Татьяна Алексеевна опять остановилась и вдруг сказала:— Простите, мне очень трудно... Может быть, на сегодня довольно?

— Конечно, мама. Ты устала. Давайте пить чай.

Женя поднял голову: у стола стояла та самая золотоволосая девушка, которую он видел в окне, но теперь-то он узнал ее — да, это была она, дождевая русалка! У него пересохло во рту.

— Так это вы?— пролепетал Женя.— Вы существуете?

Она засмеялась:

— А я вас сразу узнала, товарищ член-корреспондент!— Уже без улыбки взглянув на него, прибавила:—

А вы человек не простой. Мама никому не рассказывала об этом — только мне.

— Слава аллаху!— с чувством произнес Женя, обретший дар речи.— Это судьба! Вы знаете, Яна, ведь я увидел вас в тот день, когда нашел эту папку. Нет! Это не случайное совпадение!

— Так вы знакомы?— удивилась Татьяна Алексеевна.

— Видишь ли, мама, действительно странное совпадение... Несколько дней назад мы оказались в подъезде университетской библиотеки на Моховой, пережидали ливень. И вот...

— Евгений Сухарев,— наклонил голову Женя.— В мою честь была названа Сухаревская башня в Москве, которую снесли по недосмотру.

— Ну что ж, тогда давайте чай пить,— Татьяна Алексеевна поднялась,— садитесь к столу, Евгений...

— Можно просто Женя...

— По-моему, товарищ член-корреспондент, вы вполне освоились,— миролюбиво сказала Яна, помогая матери поставить на стол чашки.

В голосе ее проскользнула теплая нотка, и Татьяна Алексеевна, хорошо знавшая колючий характер своей дочери, удивленно подняла на нее глаза. Яна не заметила ее взгляда — была занята тем, что накладывала гостю в блюдечко варенье. Тонкая-претонкая иголочка, как бы предупреждая, кольнула Татьяну Алексеевну. И верно, странное совпадение, подумала она. Странность, однако, не в том, что этот молодой человек неожиданно встретил здесь Яну, а в том, что он ее встретил, придя с письмом от Яши. Круг замкнулся. Холодок пробежал по ее спине. «Что за фантазия?— возразила она себе.— Все это не имеет отношения к тому, что случайно в библиотеке он наткнулся на Яшину папку и принес ее сюда. Яна тут ни при чем. Разумеется. Но папку мог найти кто-то другой и не обратить на нее внимания. И я бы никогда не узнала о Яшином письме. И тот другой, естественно, не встретил бы Яну. А сейчас получилось, как в сказке, нашел тот, кому предназначено. Бредни,— опять повторила она.— В конце концов дело не в этом, можно считать, что счастливая случайность — пусть так. Главное — это произошло, и со мной теперь Яшино письмо...»

Татьяна Алексеевна все еще не могла привыкнуть к мысли, что она может взять в руки, перечитать это

письмо. Даль, даль — немыслимая, невероятная! Довоенная Москва — совсем другая, мягче, понятней, скромнее, без толчеи, без безумной спешки, без толп приезжих. Москва со староарбатскими переулками, звоном трамваев, с деревянными, заросшими сиренью домами и голубятнями на крышах сараев в Сокольниках, с пением петухов в палисадничках и блестками голубей в небе. Москва с шумными первомайскими демонстрациями, с ночными очередями за билетами во МХАТ, с Тургеневской читальней на Кировской, с осенними карнавалами в парке Горького... Даль, даль — непостижимая, невероятная! Они встречали на улицах экипажи Чкалова после перелета в Америку, челюскинцев, папанинцев, спорили о «Пигмалионе» в Малом театре, а к ним подкрадывалась война. Они с огорчением думали, что все самое главное, трудное сделано до них, а на одной парте с ними сидели герои будущей войны, павшие в первых боях...

— Яша был историк,— неожиданно сказала Татьяна Алексеевна,— рассказывал много интересного, увлекался, я слушала его, удивлялась: он говорил так, будто сам жил в те далекие времена... История еще со школы казалась мне таинственным миром, в котором вновь оживает прошедшая жизнь. А теперь я вижу, как историей становятся те, кого мы знали, любили... Однажды Яша заметил, что когда-нибудь люди узнают тайны исчезнувших цивилизаций. Помнится, я возразила: «Как же узнают, если еще не узнали, а цивилизации исчезли?» Он засмеялся: «А как же Шлиман, который в конце девятнадцатого века открыл существовавшую в древности Трою? Сколько веков люди читали Гомера, написали об «Илиаде» и «Одиссее» тысячи книг, а не заметили, что там подлинные исторические свидетельства? А Шлиман заметил и пошел по их следам...» Яша говорил на ходу, мы гуляли, неожиданно он остановился, сказал: «Понимаешь, надо уметь смотреть на давно известные вещи другими глазами, с другой, необычной точки зрения — тогда обязательно увидишь что-то новое. И не проходить мимо живых свидетельств, которые с первого взгляда кажутся незначительными. Иногда они много, очень много могут рассказать. Надо только уметь слушать. И уметь видеть». Очень хорошо помню этот вечер в Сокольниках, была осень, накрапывал дождь, в парке было пустынно, шуршали под ногами листья, пахло прелью, я продрогла, а уходить до-

мой не хотелось. Яша что-то еще говорил, но я не слушала — думала об этих его словах. Что они значили для меня, для моей жизни? Как это — смотреть на известное другими глазами? Как найти другую, необычную точку зрения? Я училась на первом курсе медицинского института, мечтала о науке, об открытиях... Вам, разумеется, странно это слышать, но тогда меня поразила сама мысль...

— Неужели ты все это помнишь, мама?— спросила Яна со страхом в голосе.

— Я многое помню. И не хочу забывать. Наверно, не смогла бы жить, если бы забыла...

— Забыть человека — это как убить его второй раз,— сказал Женя, повернулся к Яне:— Не моя мысль. Но сказано верно.

— Мама, помнишь, ты рассказывала про Козырева, друга Симовского, который принес от него последнее письмо?— спросила Яна.

Уж не ради ли Жени Яна задала этот вопрос? Ну и что же? Что в этом плохого? Яна права — Женя должен все знать.

— Он приходил в декабре сорок первого и разговаривал с моей мамой,— сказала Татьяна Алексеевна,— я была на фронте. Он оставил последнее Яшино письмо, на отдельном листке нацарапал несколько слов, поставил дату, подпись — Александр Козырев. Все это он вложил в конверт, на нем крупно вывел: «Тане Новосельцевой, когда вернется с войны, или родителям Я. Симовского». Вручая конверт маме, повторил то же самое и все сокрушался, что не может передать письмо кому следует лично, как он обещал Симовскому. Он очень спешил, его часть, которая находилась на переформировании под Москвой, отправлялась на фронт...

— И больше вы его не видели?— вырвалось у Жени.

— Как же не видела! Он появился после войны — капитан, в орденах, на фронте командовал разведротой, закончил войну в Германии, в Кенигсберге. Было это в сорок шестом. Я демобилизовалась как студентка и снова поступила на первый курс медицинского. Пришлось прирабатывать в ночных сменах в больнице, мама болела, и я разрывалась между институтом и домом. И Саша Козырев («Яшка называл меня так. Зови и ты») нам всячески помогал, хотя в ту пору ему самому было нелегко. Он тоже демобилизовался, работал на

стройке, экстерном сдавал за десятилетку, а нас с мамой не забывал. Удивительный он человек: резкий, прямой, чувствовалась в нем какая-то злая сила, я ее всегда побаивалась, а друг — верный, до конца. Я не хотела брать у него денег, пока однажды не состоялся разговор, после которого я поняла, что не имею права отказываться. Это был завет Яши, не выполнить его Саша не мог. Он много рассказывал, как они с Яшей выходили из окружения, как Яша погиб,— рассказывал и плакал...

В сорок восьмом году болезнь мамы обострилась, она уже не вставала с постели, пришлось мне взять академический отпуск... Весной мама умерла, а потом я и сама заболела... Когда пришла в себя, огляделась, увидела, что осталась одна. На всем свете одна. У меня было нервное истощение, депрессия — учиться я не могла, жить не хотела... Не знаю, что бы со мной было, если бы не Саша. Однажды он принес мне путевку в санаторий, в Крым, в Мисхор. Я не сопротивлялась — мне было безразлично, ехать или оставаться, единственно, что я хотела, чтобы меня оставили в покое. Но я знала — Саша не отступится.

Было это в сентябре. На улице слякотно, беспросветно. Саша заставил меня собраться, сунул в сумочку деньги на дорогу и посадил на поезд. А через сутки я, к своему изумлению, очутилась в другом мире...— Татьяна Алексеевна замолчала.

Память ее вернула к тем дням в Крыму, когда она уходила подальше на пустынный берег пляжа, ложилась на теплый камень, дремала, смотрела на воду, на рыбок, стайками снующих возле камней, и на старика с маленькой девочкой-дюймовочкой, облюбовавших себе то же место пляжа, где больше никого, кроме них троих, не было. Таня наблюдала, как Дюймовочка в красных трусиках и белой панаме с широкими полями, похожая на маленький диковинный грибок, собирала на берегу ракушки и камушки и всякий раз, когда находила что-то понравившееся ей, подбегала к старику показывать. Он с неподдельным интересом рассматривал находку, кивал головой, складывал около себя. Но интереснее всего было смотреть, как, держа девочку на согнутой руке, старик медленно входил в воду, окунался вместе с ней, а Дюймовочка, обхватив его шею, пищала от страха и восторга, и так повторялось несколько раз, пока она не осваивалась, а потом он учил

ее плавать — она барахталась, визжала, цеплялась за него... На берегу он вытирал ее широким полотенцем, после этого обычно она садилась рядом с ним, пила воду из бутылки (у них под «навесом» было целое хозяйство), ела яблоко, персик или виноград, просила его почитать...

Пройдут годы, думала Таня, девочка вырастет, а старик умрет. И вероятно, взрослея, она будет забывать его и постепенно забудет совсем. Неужели ничего не останется в ее памяти, в ее сердце? Нет, наверно, будет жить в ней смутное ощущение от его рук, голоса, взгляда, и когда она задумается сама не зная о чем, на миг он возникнет перед ней, как туманное видение детства, и когда ни с того ни с сего у нее вдруг сожмется сердце — это оно вспомнит о нем... И от этого, наверно, хоть чуточку она станет добрее. Ничто не проходит бесследно — уж это Таня знала!

Таня проникалась к старику все большим сочувствием. Порой ей даже казалось, что она знает про него что-то очень важное, определившее его судьбу. Наблюдая за ним, она пыталась разгадать его жизнь. Кто он? От всей его фигуры веяло достоинством, скрытой силой — лев на покое. Военачальник? Директор завода? Конструктор? Во всяком случае, смелый человек, связанный с большим делом. Но это — в прошлом. Что-то в его жизни произошло. Что же? Истории, одна невероятнее другой, возникали в воображении Тани — катастрофа, унесшая родителей Дюймовочки, гибель ее отца на фронте в последние дни войны. Или другое: трагедия в жизни самого старика, после которой он стал никому не нужен... А может быть, все проще: он на пенсии, о нем, как водится, забыли, у родителей Дюймовочки своя жизнь, им не до него, и только маленькой хрупкой девочке с голубыми глазами, его внучке, он по-настоящему нужен, только в ней одной теперь вся его жизнь. Не будь Дюймовочки, неизвестно еще, сумел ли бы он жить. Да, подумала Таня, ухватив эту мысль, надо суметь жить. Когда человеку очень плохо и жить не хочется, надо суметь, как этот старик. Но для этого нужна цель, смысл существования, тогда появятся и силы. А у нее нет ни цели, ни смысла. У старика есть Дюймовочка, а у нее нет никого. Впервые за последние месяцы после смерти мамы Таня пожалела себя. В своем горе она постоянно думала о других — о Яше,

о маме, а сейчас подумала о себе: ведь у нее-то нет никого, как же ей-то жить?

Ах, Дюймовочка, Дюймовочка! Какая радость была смотреть, как она прыгает на одной ножке, убегает от волны, собирает камушки, идет рядом с дедом! «И у меня могла бы быть дочка,— вдруг подумала Таня,— такая же маленькая, и мы с ней играли бы, читали книжки и купались бы вместе, и она всегда бы была со мной — всегда. Но ведь и сейчас не поздно. Никогда не поздно»,— простая мысль эта поразила ее. Никогда не поздно. С неожиданным волнением Таня прислушалась к этой мысли — и не почувствовала в ней измены Яше: ведь она думала о дочке, о своей Дюймовочке, а не об ее отце. Отца Дюймовочки не было в мыслях Тани. Его как бы и не должно было быть. У Тани отлегло от сердца — будто нежданно-негаданно пришло к ней решение мучившего ее вопроса. «Дочку я назову Яной, в честь Яши,— сказала себе Таня,— и мы всегда будем вдвоем, и нам будет хорошо». Таня так разволновалась, что не могла больше лежать на своем камне. Она бросилась в воду, поплыла, с наслаждением ощущая всей кожей прохладу и ласкающую мягкость воды, жизнь все-таки была хороша, она могла дарить такие безбрежные сверкающие голубизной дни, такие удивительные минуты! Давно, давно Таня не испытывала такой легкости, такого прилива сил.

Ветер ударил в окно, звякнуло стекло, пахнуло влажной свежестью.

— Будет дождь,— сказала Татьяна Алексеевна, подходя к окну.

Женя тотчас поднялся вслед за ней (это было не совсем удобно — разгуливать по чужой квартире, но он не успел подумать об этом), встал за спиной Татьяны Алексеевны и сразу увидел тот огромный тополь на противоположной стороне переулка, почти на углу. Потемнело. Солнце слабо, рассеянным синевато-свинцовым светом пробивалось сквозь темные тучи.

Незаметно Женя взглянул на Яну — лицо ее приняло отрешенное выражение, взгляд ушел в себя. О чем она думает? О человеке, чьим именем назвала ее мать? А может быть, о своем отце? Неожиданная эта догадка поразила своей простотой: ведь у Яны был отец. Не тот любимый матери, погибший на войне, а настоящий.

Женя оказался недалек от истины. В этот момент Яна действительно подумала о своем отце. Бедный, бедный отец! Он умер два года назад после долгой, тяжелой болезни, превратившей его в живые мощи. Ухаживая за ним, двигаясь по комнате, Яна постоянно ощущала на себе его взгляд, печальный, с горечью, нежностью. А прежде бывало не так — то целые месяцы любви, внимания, теплоты, то полоса холодности, равнодушия, небрежения... Яна чувствовала, что и преувеличенная любовь, равно как и ледяное равнодушие,— результат борьбы, происходившей в его душе. В чем причины этой борьбы? Яна так и не могла найти ответа на этот вопрос. Одно время ей даже не давала покоя мысль, что она неродная дочь. В конце концов Яна собралась с духом и прямо спросила об этом у матери. Татьяна Алексеевна посадила Яну рядом, обняла, сказала:

«Нет, Яни, ты родная дочь своего отца, и он очень любит тебя, только у него трудный характер, потому что он много тяжелого пережил в жизни... Ты уже большая (Яна была в восьмом классе), должна знать все,— голос матери стал тихим.— У твоего отца была семья — жена, дочь. Они погибли во время войны... Их эшелон разбомбили, когда они эвакуировались из Киева. Отец в то время был уже на фронте, работал в полевом госпитале. Он узнал об этом, вернувшись в Киев после войны, от людей, ехавших в том же эшелоне и чудом уцелевших. Он бросил все — квартиру, дом, друзей — приехал в Москву, жил где придется, мыкался по углам. Мы с ним познакомились, когда он пришел в нашу Остроумовскую больницу. Его сторонились, а я видела, как он одинок».

«И ты его пожалела?»— спросила Яна.

«Не знаю... В то время мне казалось, что я испытывала к нему не только сострадание и глубокое уважение — что-то большее».

«И все-таки главное была жалость?»— настаивала Яна.

«Не знаю, может быть... И еще я очень хотела, чтобы у меня была ты».

С той поры и начались их новые отношения, постепенно перешедшие в близкую дружбу. Они полюбили неспешные беседы вдвоем за чаем по вечерам. Иногда разговор уводил их далеко в сторону, и Татьяна Алексеевна рассказывала о себе, вспоминала... Вот тогда-то,

во время этих вечерних чаепитий, затягивавшихся иной раз далеко за полночь, Яна и узнала о Яше Симовском, чье имя она носила. Может быть, это и вставало между ней и отцом? Может быть, отец ревновал маму к той далекой ее любви, к тому, чему не суждено было свершиться? Яне до боли было жаль отца. Он, наверно, все эти годы боролся с ощущением, что «лишний». Но разве он был «лишним»? Разве мама не любила его? Не мне об этом судить, в который раз сказала себе Яна, не мне...

Снова налетел ветер, обдал лицо влагой — и хлынул дождь. С шумом, весело, энергично! Сразу же образовались лужи, потекли ручейки. Люди припустились кто куда — в подъезды, подворотни. И сразу же после первого ушата выглянуло солнце; дождь был теплый, щедрый, летний. Кругом на все голоса звенело, тарабанило, постукивало...

Яна, сидевшая молча, подняла голову:

— Какой славный дождь! А мне что-то не очень весело...

Женя почувствовал: начатый разговор оборвался из-за него и поспешил перевести стрелку:

— Извините, Татьяна Алексеевна... А Козырев? Неужели вы перестали встречаться?— Женя не сомневался, что-то еще связано с этим именем. Не мог Козырев так просто с течением времени исчезнуть из жизни Тани!

— Саша Козырев,— повторила Татьяна Алексеевна,— Саша Козырев. Настоящий друг. А вот ушел. Совсем.

— Он жив?— спросил Женя.

— Жив, и, надеюсь, все у него хорошо. Поздравления с праздником присылает. Сначала я отвечала, звонила, а потом махнула рукой. Как стена: общие слова — и все. Теперь понимаю: его открытки — это напоминание, что он есть. На крайний случай, если потребуется его помощь. И — только...

— Не так уж мало...— задумчиво произнесла Яна.

Мысли Татьяны Алексеевны продолжали течь по тому же руслу — Саша Козырев, верный друг, а предпочел остаться там, вдалеке, в прошлом, и только оттуда он разговаривал с ней. Телефонный провод раз или два в год (и обязательно в День Победы) соединял на несколько минут то прошлое с сегодняшним днем. Са-

шин голос был всегда наигранно бодрым: «Ну, как ты — выкладывай. Не надо ли чего...» Провод существовал лишь для того, чтобы передать в случае нужды сигнал бедствия SOS — ничего другого Саша знать не хотел. «Я ведь существовала для него не сама по себе, а как та довоенная Таня, которую любил Яша Симовский. И как только вышла замуж и как бы перестала принадлежать Яше, Козырев решил, что теперь он должен отойти в сторону, чтобы не мешать «моему счастью», а на самом деле в глубине души он не мог мне этого простить. До конца, наверно, Саша и сам не отдавал себе в этом отчета, много раз говорил, что мне надо устраивать свою жизнь, и даже был свидетелем в загсе, а после этого пропал. Надолго пропал. Да, он не мог простить мне замужества». Рассуждение это было не ново, когда-то на все лады Татьяна Алексеевна повторяла его, и теперь она с неожиданной силой спросила себя: «Только ли это? Может быть, все сложнее, запутанней?» В свое время она ушла, отмахнулась от этого вопроса, а сейчас он снова всплыл. Странный, поистине странный день...

— А я бы не смог так... Столько лет! Обязательно его разыщу,— решительно произнес Женя.

— Да. Козырев много может рассказать о Яше. Они были на фронте вместе с первого дня. У Козырева хранится записная книжка, которую перед смертью Яша оставил ему на память. Когда мог, Яша всегда записывал, что видел, что с ним происходило... У него еще до войны была такая привычка...

— Ох, товарищ член-корреспондент,— вдруг сказала Яна.— И вам не страшно? Вы так много узнали, что уже нельзя это бросить. Как же вы теперь-то?

— Эх, быть бы тогда с ними на фронте — вот что!— Женя оборвал себя, словно невзначай сказал лишнее. Намеренно деловым тоном прибавил:— А вообще не стоит преувеличивать трудности. Адрес Козырева имеется. Если переменился — легко найти. Он наверняка знает еще кого-нибудь. Ниточка потянется. И научного руководителя Симовского найти нетрудно. На заглавном листе его работы написано: «Научный руководитель профессор В. А. Астахова». Есть академик Астахова, историк. Наверно, она. Я пойду к ней, передам экземпляр этой работы. Если она человек — то напечатает. Обязательно напечатает.

Дождь незаметно перестал. Солнце щедро осветило

комнату. Пахнуло свежестью, липами, тополями, влажной землей. Внизу, на улице, послышались голоса, прохожие со смехом зашлепали по лужам. Дождь освежил город и людей, смыл вместе с пылью, копотью усталость, тревоги, заботы...

Мир заново во всей своей привлекательности открывался для живых. А впереди у меня миллион таких дней, подумал Женя, целая жизнь! Долгая, долгая, в которой они вместе с Яной останутся всегда молодыми. Он впервые подумал так: вместе с Яной — целая жизнь. Открыв глаза, перехватил ее взгляд. Неужели угадала, о чем он думал? Яна поспешно отвернулась, но Женя успел заметить живой огонек. Лучик быстро скользнул в сторону, как зверек, который вышел из норки навстречу, а потом вдруг испугался и юркнул обратно.

Жене показалось, это уже было: так же он поймал взгляд Яны, и она сделала вид, что не смотрела на него. Ясно, тот маленький пугливый зверек, сидевший в Яне, заинтересовался им, присматривается, изучает — что ж, смелей, смелей выходи, не обижу! Дай хоть себя погладить. Только погладить. Женя попытался встретиться глазами с Яной — в том приподнятом состоянии, в котором он находился, ему казалось все доступным, но Яна неожиданно подошла к матери, встала за ее спиной, обняла за плечи да так и застыла...

Обе они видели омытое дождем небо, сиявшее хрустальным светом. Безбрежная солнечная синева манила, притягивала к себе. А ведь впереди — долгая счастливая жизнь!— вдруг, как и Женя, подумала Яна. Но мысль сразу ушла, как бы растворилась в охватившем ее с необыкновенной остротой чувстве, может быть, предчувствии — томительном, будоражащем... И Татьяна Алексеевна ощутила прелесть вновь рожденного мира с его таинством надежд и обещаний, но она-то знала, как бывает, и к ее чувству примешались печаль и горечь несбывшегося. Женя и Яна как бы вглядывались в будущее, представшее перед ними в образе бесконечного, омытого дождем неба, а Татьяна Алексеевна чувством и мыслью обращалась к прошлому, к своим молодым надеждам...

Она подняла голову, снова взглянула в окно — и холодок пробежал по ее спине: солнце исчезло. Мгла свинцовой тучей закрыла небо, и стало темно, как перед грозою...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Темнота сомкнулась над ними, и лес сразу захлестнул их, забормотал на разные голоса, шорохи многократно усилились. Симовский остановился, стал вслушиваться. Поскрипывали деревья, что-то потрескивало, хрустело. Немного привыкнув к этим шумам в темноте, Симовский двинулся дальше. Пройдя несколько шагов, услышал впереди негромкий свист, похожий на голос ночной птицы. Раз, другой — Корякин проверял, все ли в порядке. Симовский также тихо свистнул в ответ.

Вторые сутки лесами, маскируясь от авиации, под дождем, по раскисшим дорогам батальон форсированным маршем шел на юго-запад, к передовой. Застревая в грязи, вытягивая из себя все жилы, они все же не сбавляли хода, словно какая-то сила помимо приказа гнала их вперед. Толком никто ничего не знал, лишь крутился солдатский слушок: немцы прорвались, и они должны заткнуть брешь. Верно это или нет, но было ясно — вокруг что-то происходило. Утром далекий гул канонады слышался впереди и справа, с запада, потом переместился на северо-восток, к ним в тыл, туда же, волна за волной с ровными интервалами шли «юнкерсы». Такого количества немецкой авиации они еще не видели, а своих самолетов не было, и тревога росла и не отпускала даже на привалах, когда они валились с ног и забывались коротким беспокойным сном.

Неопределенность была хуже всего, и каждый солдат, помогая из последних сил выбраться засевшей в грязи машине, по колено в воде вытаскивая пушку, мечтал только об одном — скорее дойти до места, стать фронтом к немцам, окопаться, знать, что справа и слева свои, и бить фашистов — пусть лезут. Но сколько еще идти — никто, кроме командира да начштаба и замполита, не знал. Дороге не было конца, как не было конца этой густой, непроглядной тьме, всей своей свинцовой тяжестью навалившейся на пятерых разведчиков во главе со старшиной Корякиным, шедших в головном дозоре вдоль лесной проселочной дороги, по двое справа и слева от нее, метрах в десяти впереди — старшина.

Из-за туч показывается мутный рог луны. Вблизи темнота чуть рассеивается. В тусклом сумеречном свете, падающем на дорогу, шевелятся тени. Еще несколько шагов, и Симовский видит Корякина. Прислонившись к дереву, старшина ждет остальных разведчиков.

Симовский останавливается рядом с ним. Впереди уходит в темноту открытое желтовато-блеклое пространство в темных пятнах. Присмотревшись, Симовский догадывается, что они стоят на опушке, поросшей кустами, дальше начинается поле — виден лишь его ближний край, освещенный слабым струящимся светом луны. А две темные полосы, круто расходящиеся впереди, одна вправо, другая влево,— две дороги.

Корякин снова тихонько свистит, ему отвечают почти одновременно два голоса, и две тени возникают у дерева.

— Ружевич,— негромко позвал Корякин.

— Здесь.

— Козырев.

— Тут.

— Синица.

Молчание.

— Синица,— повторил Корякин.

— Здесь. Мне звук послышался подозрительный,— сказал Петя,— я и стоял слушал. Вроде как моторы... А потом звук пропал.

— Сигнал должен был подать,— бросил Корякин и, обращаясь ко всем:— Пойдем через поле. Слушать и смотреть в четыре глаза. И чтобы тихо — проскользнем, и нет нас. Порядок движения: я — первый, за мной — Синица, потом Ружевич, Симовский, замыкающий Козырев. Дистанция десять метров. Все ясно?

— Ясно,— отвечает Петя.

— Тогда пошли,— говорит Корякин и застывает на месте.

Похоже, издалека доносится глухой шум. Почудилось? Нет, уже ясно: шум идет со стороны поля. Он быстро нарастает, и вот уже впереди, в темноте появляются одна за другой две пары мутных помигивающих глаз, перемещающихся под острым углом к развилке дорог. Два танка. Наши? А вдруг — немцы?

— Если свернут к нам на дорогу, остановим,— сказал Корякин,— определим, кто. Немцев не пропустим.

— Немцы это!— обронил Козырев и зябко передернул плечами.— Разведка. Нашим тут ночью делать нечего.

— Ночью в лес по нашей дороге они не пройдут,— сказал Корякин,— а двигаться будут по полю, вдоль опушки, и могут нарваться на тылы батальона.— Он

рассуждал так, будто не сомневался, что танки немецкие, и все же медлил, решения не принимал.

Танки, мигая огнями, с нарастающим ревом шли все в том же направлении, на них, к развилке.

— Приготовиться к бою,— тихо скомандовал Корякин.— Я с Ружевичем выдвигаюсь вперед, к развилке. Если танки наши — даю зеленую ракету. В случае, если ракеты не будет, а мы их не уничтожим, приказываю тебе (кивок в сторону Симовского) с Козыревым уничтожить их. Боевую позицию занять в поле, метров пятьдесят отсюда. Подпускать близко, бросать наверняка. Хошь гранатами, хошь зубами, а чтоб не прошли.— Корякин помолчал.— А ты, Петя, давай со всех ног обратно, доложишь командиру обстановку.

— Для чего бегать, если ракеты есть, товарищ старшина?— возразил Петя.— А гранаты я не хуже других бросаю.

— Нет, товарищ Синица,— спокойно ответил Корякин.— Ракеты дадим. А для верности посылаю тебя. Беги, сынок. Времени у нас в обрез.

Петя почувствовал на своем плече руку Корякина, тяжелую сильную руку, тихонько сжавшую его плечо. И он не смог противостоять твердой воле командира, его настойчивости, его просьбе и этому впервые произнесенному слову «сынок»...

— Я быстро,— сказал Петя, судорожно глотнув.— Я мигом туда и обратно.

— Ну, вот и хорошо,— рука Корякина мягко, как бы нехотя отпустила его и чуть-чуть подтолкнула:— Беги, сынок, беги...

Петя скрылся в темноте, Корякин дал красную ракету — предупреждение об опасности.

Две пары танцующих оранжевых глаз все приближались к развилке — свернут на их дорогу или перейдут на другую? Глухое рычание моторов нарастало теперь с каждой секундой.

— Ну, ребята,— проговорил Корякин.— Действуйте. Чтобы не прошли,— повторил он и добавил:— Нам сподручней, мы его видим, а он нас — нет. Не боись, ребята. Главное, поближе, чтобы наверняка. Бросать связку — три гранаты. Если что со мной, старший Симовский. Все ясно?

— Ясно,— ответил Симовский.

— Добро. Ружевич за мной,— Корякин, за ним Ружевич скользнули в темноту.

Луна, спрятавшаяся было за тучи, снова показалась в клубящейся дымке, и блекло-желтоватые полосы легли на дорогу. Теперь можно было хоть не вслепую выбрать позицию. Пробежав несколько шагов, Симовский заметил впереди, как раз у дороги, черное пятно, оказавшееся воронкой. Это была удача. Симовский прыгнул на дно. Хлюпнула вода, поползли мокрые комья земли.

— Давай сюда, Саша,— негромко позвал Симовский.

Козырев прыгнул, матюкнулся, задев спиной о край, выпрямился и сразу оценил выгоды позиции: воронка находилась метрах в пяти от дороги и чуть выше, на небольшом бугорке.

— Порядок,— коротко бросил он. Воронка заметно улучшила его настроение.

Не сговариваясь, они заняли каждый свою сторону — Симовский ту, что была обращена в поле, к двигающимся огням, часть дороги у него оказывалась справа, а Козырев — ту, что смотрела прямо на дорогу. Рев моторов заполнил окружающее пространство. Танки подходили к развилке — повернут или не повернут? Еще несколько секунд — и огни их оказались прямо напротив: глаза в глаза.

— Повернули, гады, мать их...— прошептал Козырев.

Симовский не слышал его — он безотрывно смотрел вперед, на танки. А вдруг — наши? Но какого черта их понесет ночью в свой тыл? Да и не в этом дело — все может быть. Просто он чувствовал — немцы. И прут прямо на них. И пропускать их нельзя. Где-то в глубине сознания помимо его воли гнездилась мысль, что Корякин с Ружевичем уничтожат эти танки — и все обойдется без них с Козыревым, но Симовский загнал эту мысль поглубже и приготовился к схватке. Надо быть готовым к худшему.

Он приладился еще раз и на всякий случай наметил ориентир — темный куст на той стороне дороги, метрах в десяти впереди. Если Корякин пропустит... Как только танк поравняется с этим кустом — можно бросать. Продолжая все так же безотрывно смотреть на приближающиеся огни, нащупал гранаты, снял ремень, крепко связал связку. Танки быстро приближались — уже можно было различить черные контуры с кружками

фар, впереди которых дрожали и прыгали на дороге слабые пятна света.

— Немцы,— шепнул Козырев.— Точно, немцы.

Симовский кивнул — наверно, он и не слышал Козырева, сам мысленно сказал это. Теперь и контуры танков в желтом лунном мерцании определились четче — длинные, приземистые, черные чудища.

Почему молчит Корякин? Громыхая, рыча, ощупывая дорогу тусклыми фарами, танки шли прямо на них. Почему молчит Корякин? Что-то случилось?— тревожная мысль эта метнулась и не успела еще остановиться, как вспыхнуло пламя и раздался взрыв. Танк, идущий впереди, крутанулся и замер. Черные клубы дыма, из которых вырвались языки пламени, охватили его. Затрещали автоматные очереди. Огонь разгорался, освещая дорогу, поле, кусты.

Второй танк, рыча и поливая впереди себя веером трассирующих пуль, пошел на засаду.

— Ну,— вскрикнул Симовский.— Давай! Бросай!

И, словно по его команде, раздался взрыв, но танк уже успел повернуться, и связка попала, видимо, в лобовую броню. Танк рванулся в сторону и снова двинулся туда же, откуда летели в него гранаты.

— Хана!— вскрикнул Козырев, в бессильном отчаянии ударив кулаком по земле.

Было невыносимо смотреть, как танк, отплевываясь струями огня, лязгая, грохоча, крутился, метался то вправо, то влево, стремясь в слепой ярости раздавить, уничтожить людей, притаившихся в складках земли у дороги.

— Гады! Сволочи! Гады!— вскрикивал Козырев, вцепившись ногтями в землю.— Гады! Мать вашу!..

Корякин и Ружевич молчали — гранат у них больше не было. Они молчали, а танк все вертелся, рычал, плевался огнем — в кровавых отблесках пламени он был хорошо виден со своими черными крестами и низким, косо срезанным рылом.

— Ну, теперь к нам, к нам, давай же к нам,— шептал Симовский, как в ознобе,— ну, давай, давай,— холодная ненависть переполняла его. Страха не было — только ненависть, он и вправду готов был зубами рвать этот проклятый танк.

Казалось, конца не будет дьявольскому кружению разъяренной машины, но внезапно танк развернулся и направился к ним. Симовский и Козырев замерли

в ожидании. Но уже через несколько секунд стало ясно: танк забирает вправо, в поле. Так. Больше рисковать фашист не хочет, пойдет подальше от дороги.

— Что, гад, сдрейфил...— прохрипел Козырев и, не успев договорить, оборвал себя, сообразив, что́ это означало для них.

Танк, покачиваясь, медленно шел параллельно дороге, метрах в тридцати от нее. Отсюда, из воронки, даже когда танк окажется точно справа, то есть на самом близком от них расстоянии, гранат им не добросить. И думать нечего.

— Что делать будем, землячок?— не отрывая глаз от танка, спросил Козырев. Эх, до чего же удобной и надежной защитой казалась сейчас ему их воронка!

— Давай, Саша, быстрее туда, занимай позицию,— Симовский махнул рукой назад, в поле,— а я перехвачу поближе!— Он стоял во весь рост, подавшись вперед, напряженно всматриваясь в поле перед танком, озаряемое мерцающими отблесками пламени, выбирал направление для броска. И Козырев понял — в душе его товарища нет страха, только ненависть и расчет.

Симовский, наметив себе бугорок как ближайший ориентир, сильно оттолкнулся и, оказавшись наверху, побежал в поле, наперерез танку. Здорово у него получилось, молодец, оценил Козырев. Он стал лихорадочно рассовывать гранаты, подстегивая себя и все более накаляясь, взял поудобнее автомат, замер на мгновение и резким движением выбросил тело наверх. Быстро оглядевшись, побежал что есть силы, падая, скользя, по полю назад. Надо было подальше убежать, чтобы было время выбрать позицию. Комья грязи цеплялись к подошвам, сапоги вязли, сердце стучало молотом, а он все бежал, оглядываясь на танк, чтобы не потерять направление. Ему казалось, что грохот и скрежет сзади нарастают с каждой секундой, будто танк гонится за ним. Еще немного. Теперь наперерез ему. Ну, еще...

Козырев бежал, пока не упал. Отдышавшись, поднял голову: танк шел в том же направлении — расстояние между ними заметно уменьшилось. Чтобы стать на пути немца, надо взять еще немного вправо, в поле. Заставив себя подняться, Козырев побежал из последних сил — его хватило еще метров на двадцать. Плюхнувшись в самую грязь, огляделся: танк был почти точно в створе. Порядок. Здесь. Точно. Сколько же времени он бежал? Минуты три — не больше, а показалось,

будто марафон преодолел. Все. Точка. Козырев снял автомат и выложил перед собой гранаты.

Подбитый танк у дороги догорал. Ветер сшибал пламя, оно моталось, слабело, черный дым почти сплошь затянул его. Неровный круг света от пламени потускнел, сузился, Симовский оказался за его чертой, и темнота укрыла его. Он лежал за маленьким бугорком, танк надвигался справа, чуть наискосок, и Симовский хорошо видел прыгающие пятна света на земле от фар. Место он выбрал правильно — если танк не изменит направления, он должен пройти метрах в пяти — десяти от него. Симовский не чувствовал страха — ненависть была сильнее, на него шел танк-убийца, только что зверски искромсавший двух товарищей. Корякин. Ружевич. Два этих имени, которые он мысленно повторял, заставляли бешено колотиться сердце, а голова была ясная, холодная. Уже хорошо видна черная уродливая громада в кровавых отблесках пламени. Танк двигается в освещенном огнем пространстве, но еще десяток метров — и он выйдет за границу мерцающего алого круга. Надвигается грохот, лязг, рычание мотора. Снова в темноте вспыхивают два его мутных глаза и смазываются очертания. Ближе. Еще ближе. Приготовиться. Не сорваться, не бросить раньше времени. Выждать.

Лязг становится нестерпимым. Симовского обдает волной сгоревшего масла, дыма, отработанных газов. Рано. Еще немного. Вот он, оказывается, самый трудный миг. Танк-убийца, на нем кровь товарищей. Корякин. Ружевич. Ну, теперь... Симовский приподнялся и метнул связку. Грохот. Дым. Танк взревел, рванулся и — остановился. Потянулся белый едкий дымок. Так, хорошо. А вот еще, получай! В танк летит вторая связка из двух последних гранат. Оглушительный взрыв сотрясает воздух. Вздрогнула, покачнулась земля, Симовского подбросило, горячая жесткая волна пронеслась над ним. Больно ударяя, посыпались на него тяжелые комья земли. «Попал!— пронеслось в сознании.— Попал!» Какая-то тяжесть, мешая дышать, надавила на него, сжала грудь, он стал куда-то проваливаться, но, падая, чувствовал — это не смерть. Потом как бы издалека услышал еще взрыв и грохот и понял, что в танке рвутся снаряды. Это была последняя отчетливая мысль, он продолжал падать, кругом была тьма, не хватало воздуха, он стал задыхаться, от-

чаянно пытаясь подняться на поверхность, а его тащило вниз — и вдруг он остановился в своем падении, но вырваться туда, наверх, не мог, и это было самое страшное, он собрал последние силы, рванулся, острая боль резанула его, и все исчезло...

Открыв глаза, Симовский увидел расплывающееся бледное пятно, а за ним далеко-далеко две светящиеся точки. Потом пятно стало проясняться, обретать черты знакомого лица и светящихся точек стало больше. Симовский пошевелился и услышал радостный возглас: «Жив!» По голосу он узнал Козырева и догадался, что знакомое лицо, склонившееся над ним, и есть Козырев. Он пришел в себя и уже отчетливо увидел и Козырева, стоящего на коленях около него, и темное небо над ним в редких звездах (они-то и были светящимися точками), вспомнил все, что произошло, и понял, что он лежит на спине, раненный или контуженный. Он попробовал пошевелиться, но руки и ноги не слушались.

— Жив, землячок!— повторил Козырев.— Жив! А я-то уж думал — тебе хана. Думал — совсем один остался. Совсем один,— он замолчал и опять быстро заговорил, чтобы скорее растопить комок, стоящий в горле:— А здорово ты его — как жахнуло! Пламя аж до неба. Ну, думаю, хана тебе. Хана. А танк горит, снаряды рвутся, как подойдешь? Все же подполз, а найти тебя не могу. Смотрю туда, сюда — нет нигде. Потом вижу — вроде каска твоя блестит. Хорошо — от огня светло. Подбегаю — точно! Голова твоя видна, а тело завалило землей. Откопал, вытащил, перевернул на спину — вроде целый: голова, руки, ноги на месте и крови нет. А живой ты или нет — не пойму. Я тебя и так и сяк — гляжу, глаза открыл. Жив, значит, землячок! В рубашке ты родился, вот что!

Симовский хотел что-то ответить, но язык его плохо слушался. Впрочем, Козырев его все равно бы не услышал, сыпал словами, помогая ему приподняться. Это оказалось не так-то просто: руки, ноги, спина были как деревянные. Наконец, поддерживаемый Козыревым, Симовский сел, опершись руками о землю. Голова кружилась, в ушах стоял звон. Он еще раз ощупал себя. Похоже, его даже не царапнуло — действительно чудеса! Понемногу начал чувствовать свое тело: заболела спина, плечи, заныли ноги.

Сидя на земле, огляделся. Метрах в тридцати горел танк. Его танк. А вокруг в темноте плясали, множились

отблески огня. А что стало с танкистами? Удрали? Сгорели в танке? И каким образом он оказался так далеко от танка? Значит, Саша оттащил его. Но когда же он успел? «Успел,— подумал Симовский.— А я был без сознания, если бы не успел, может, я не пришел бы в себя. Да, если бы не Саша...»

Ему все не верилось, что он жив и даже не ранен, всего лишь контужен, и что недалеко горел его танк, и все это было.

— Помоги, Саша, встать,— сказал Симовский.

Козырев торопливо подхватил его. Симовский с трудом удержался на ногах, но все-таки удержался, сделал несколько шагов.

— Порядок,— подбодрил его Козырев.— В обоз сгодишься...

Симовский не успел ответить, как оба они услышали шаги и увидели скользящие тени со стороны дороги.

Козырев вскинул автомат, но тут же, разглядев кого-то своими зоркими глазами, крикнул:

— Наши!

В ответ они услышали возбужденный голос Пети:

— Говорил я, что живые, говорил!

Петя не знал, что через полчаса они будут хоронить останки Корякина и Ружевича в общей могиле, по его настоянию, в поле, в десяти метрах от развилки, и что, сглатывая слезы, он положит на холмик каску и присыплет землей, чтобы сохранилась и чтобы он, если будет жив, смог найти могилу, как только прогонят немцев. Прощаясь с этой могилой, Петя не знал, что останется жив, и закончит войну в Берлине в должности командира батальона, и что много в его жизни случится всякого и много воды утечет (пройдет целых тридцать пять лет после войны!), прежде чем он, полковник в отставке, незадолго до своей смерти вернется сюда, и найдет это место, и общими стараниями с сельсоветом и пионерами поставит здесь серый цементный обелиск с красной железной звездой, и напишет на нем имена двух своих товарищей. Но все это произойдет потом, много лет спустя...

Остаток ночи Симовский проехал на машине, где были погружены боеприпасы и кое-какое имущество первой роты. Идти он еще не мог. Полулежа в кузове на брезенте, стиснутый цинковыми ящиками с патронами, он подремывал, понемногу засыпал, несколько раз вскрикивал во сне и снова просыпался. Открыв глаза,

долго смотрел на бледные звезды, неподвижно стоявшие где-то там, бесконечно далеко, но усталость брала свое...

Так завершалась эта долгая ночь. А на рассвете, достигнув наконец высоты 20, западнее деревни Сергеево, батальон занял свои позиции и начал спешно окапываться. Связь со штабом полка еще не успели протянуть, и в донесении, которое комбат послал командиру полка, он между прочим указал, что, находясь в головном дозоре, четыре бойца во главе со старшиной Корякиным уничтожили два танка противника у развилки дороги, в пяти километрах юго-западнее деревни Крыловки. При этом геройской смертью погибли старшина Корякин и рядовой Ружевич.

Получив донесение, командир полка прежде всего с облегчением отметил, что хоть первый батальон до начала немецких атак успеет закрепиться. Что касается двух танков противника, оказавшихся в тылу, то это подтверждало его самые худшие опасения. Конечно, танки, ведущие разведку, могли заблудиться, но и это значит, что уже не существует сплошной линии фронта. Однако он даже не мог представить себе всю серьезность положения, не мог предположить, что не отдельные разведывательные танки, а танковые корпуса и мотомеханизированные части, прорвав в нескольких местах фронт на северо-западе и на юге, уже рвались к Вязьме, стремясь сомкнуть свои гигантские клещи.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Заместитель главного редактора толстого журнала писатель Виктор Палыч Ожогин, с которым нос к носу в начале нашего повествования столкнулся в коридоре редакции Женя Сухарев, фактически уже несколько лет самолично управлял журналом. Главный, известный писатель старшего поколения, постоянно прибаливал и с каждым годом все меньше и меньше входил в дела журнала. Мечты о редакторском кресле тревожили душу Виктора Палыча, но в данном случае ему ничего другого не оставалось, как терпеливо ждать, что при его деятельном характере требовало напряжения. Этим отчасти, возможно, объяснялась его склонность к раздражительности. При этом от неудач, даже наималейших, он приходил в дурное расположение духа, что,

в особенности для домашних, было сущим бедствием. Дело в том, что каждую неудачу Виктор Палыч объяснял не случайностью, не роковым стечением разного рода обстоятельств, а собственными промахами, ошибками и просчетами, ибо полагал, что ничего не поддающегося анализу и расчету на свете не существует. К этому следует добавить, что Виктор Палыч обладал редким искусством, как говорится, выходить сухим из воды, даже использовать с выгодой для себя и неблагоприятную ситуацию. Неудивительно, что приведение задуманного в исполнение поднимало его настроение, повышало жизненный тонус, можно сказать, окрыляло, так как укрепляло веру в свои силы.

Именно в таком благодушно-приподнятом, радужном состоянии и находился Ожогин, сидя в машине, которая с положенной скоростью (он не любил быстрой езды) катилась по улице Горького. Удобно откинувшись на заднем сиденье, он с наслаждением предавался будоражащему ощущению удачи, и хотя Виктор Палыч был человеком сугубо рационалистическим, трезво смотрящим на жизнь, еще смолоду избавившимся от всяческих романтических иллюзий, тем не менее душа его не потеряла способности отзываться на прекрасное, и он умел переживать свои успехи, мы бы даже сказали, эстетически. Другое дело, что подобное состояние чистого восторга, или, как выражались древние греки, эйфории, которое можно было бы представить себе в виде качания на теплых, мягко вздымающихся розовых волнах, долго продолжаться у Ожогина не могло. Деятельная натура его брала свое, и постепенно мысли Виктора Палыча, в первый момент усыпленные розовыми теплыми волнами, начали понемногу шевелиться. Помимо его желания в памяти стали всплывать отдельные моменты только что свершившегося — той самой беседы с человеком значительным, которая обернулась в конечном счете несомненной удачей и привела Виктора Палыча в состояние чистого восторга (эйфории).

Кусочки этой беседы вспоминались несвязно и пока лишь эмоционально, пластически. Улыбка, дружеский жест, согласный наклон головы собеседника, интерес, вспыхнувший в его глазах, крепкое прощальное рукопожатие... Пока лишь только так, но, как известно, тон делает музыку, и брошенный взгляд, движение, интонация, говорящие о взаимном понимании, значат порой

больше, чем произнесенные слова. Ожогин это отлично понимал и, купаясь в теплых розовых волнах, не спешил с ними расставаться и не торопился анализировать. Потом, потом он шаг за шагом восстановит весь разговор со всеми его паузами и замедлениями, вдумается в каждое слово своего собеседника, попытается понять внутренний ход его мысли, все взвесит и сделает надлежащие выводы. Много, очень много может почерпнуть для себя из такой беседы умный человек!

Да, все прошло хорошо, очень хорошо, как нельзя лучше. Успех был несомненен. Особенно порадовал Виктора Палыча один маленький штришок в конце разговора. Собственно говоря, ничего особенного, всего лишь пустяковый вопрос, заданный невзначай собеседником: «Скажите, Виктор Палыч, Андрей Викторович Ожогин, работающий в системе Внешторга, случайно не сынок?» Получив утвердительный ответ, собеседник заметил: «Товарищи отзываются как о способном молодом специалисте. Рекомендуют для работы за границей. Передайте: пусть готовится». Виктор Палыч несколько смущенно поблагодарил, и беседа потекла дальше...

Теперь, вспомнив этот момент, Ожогин невольно улыбнулся. Сообщение о готовящемся назначении, которого Андрей ждал, было приятно само по себе, но в контексте беседы приобретало значение особое... Виктор Палыч представил себе, как он скажет об этом Андрею, Клаве, и потянулся за папиросой. Тут он вспомнил, что дома у него иссяк запас «Беломора» (в портсигаре осталось две папиросы), и попросил шофера, Ивана Степановича, солидного положительного человека, работавшего в редакции много лет, заехать по дороге домой на старый Арбат в табачный магазин, где по давнишней привычке он покупал свой неизменный «Беломор», а иногда — трубочный табак «Золотое руно», когда ему хотелось почувствовать себя чуточку другим — в мягкой домашней куртке и домашних туфлях, с длинной дымящейся трубкой в руке. Были и другие отличья с трубкой — в темной рубашке с расстегнутым воротом или в свитере и кожаной куртке на молнии...

Заметим попутно, что потертая кожаная куртка на молнии, видавший виды кожаный реглан, грубый свитер, словом, рабочая одежда мужественных людей — летчиков, полярников, геологов — была тайной слабо-

стью, а в молодости и тайным вожделением Ожогина. Дело в том, что природа не наградила его ни могучим телосложением, ни большой силой — напротив, на этот счет природа поскупилась, и даже весьма поскупилась: смолоду Витюша был росту невеликого, худенький, даже хлипкий, что называется, соплей перешибешь. Помня, однако, мичуринское изречение, гласившее, что не надо ждать милостей от природы, а надо самим их брать, бывшее в годы его юности в большом ходу, Ожогин различными упражнениями и тренировками пытался возместить то, что ему недодала природа, не уповая на ее милости, все взять самому. Из этого, к сожалению, ничего не вышло, как он ни старался, и Ожогину на собственном горьком опыте пришлось признать справедливость известной истины: чего не дано, того не дано. Сила, ловкость, смелость — не про него это сказано, увы, не про него! Его стезя другая. Голова-то ему все-таки дана — и неплохая голова. А это тоже кое-чего стоит, да еще как стоит! Конечно, хорошо бы при этом фактуру, плечи, рост, ощущение легкой ироничности ко всему сущему, некоего превосходства над прочими, которое дает настоящая физическая сила, но тут уж ничего не попишешь, приходится смириться и принять себя таким, каков есть.

Так рассуждал Ожогин, когда убедился во всемогуществе природы, и умно рассуждал, прибавим мы от себя, ибо, если бы еще в юности он не осознал, что он может, а о чем и мечтать нечего, и не выбрал бы правильно свою дорогу в жизни,— не стать бы ему писателем, инженером человеческих душ! Ну а мечта о силе, мужестве спряталась подальше, в подсознание (над которым, как известно, никто не волен) и лишь порой самым неожиданным образом выказывала себя — то приснится что-нибудь эдакое, то вдруг одолеет Ожогина жгучее любопытство к появившемуся на его горизонте человеку этой породы, а иной раз не только любопытство, но и, страшно сказать, самая черная зависть. Слабость Виктора Палыча к одежде летчиков да полярников проистекает, полагаем мы, из того же источника: тут как бы воплощается несбывшееся...

Да, мечта так и осталась мечтой, но ради полнейшей точности следует все-таки добавить, что, усиленно работая над собой, Ожогин все же кое-чего добился. Нет, как мы уже говорили, он не изменил своей фигуры, не расширил плеч, не округлил бицепсами руки, и ноги его

по-прежнему оставались тонкими, белыми, а вот голос — голос ему удалось понизить, с годами он окреп, перестал дрожать, срываться на фальцет и превратился в баритон, могущий в случае нужды прозвучать жестко, резко. Вообще надо сказать, что с годами, подобно всем и всему, Ожогин основательно переменился, и эти перемены пошли ему на пользу: он несколько увеличился в объеме, обрел внушительность и как бы заматерел. То, чего не смогли сделать упражнения, сделало время.

Да, великое дело время! Глядя на сидящего в машине не то чтобы уж очень симпатичного, но вполне, вполне приличного вида мужчину, спокойного, уверенного в себе, с пристальным хладнокровным взглядом голубовато-серых, несколько выцветших глаз, с небольшими рыжевато-блеклыми усами и начинающими редеть аккуратно зачесанными на пробор такими же рыжеватыми, но с проседью волосами, словом, мужчину, вошедшего в тот неопределенный возраст от пятидесяти до шестидесяти с хвостиком, когда все самое важное в жизни определилось и устоялось, когда позади уже немало всего, но и впереди еще кое-что есть,— короче, глядя на Виктора Палыча Ожогина, невозможно было представить себе тощего молодого человека с бегающими глазами, с голосом, срывающимся на фальцет, с цепкими и скользкими руками. А ведь есть, есть еще люди, помнящие его именно таким! Так что умерим жалобы на быстротечное время, которое безвозвратно уносит частицы бытия: уносит-то оно уносит, но ведь и прибавляет кое-что, как видим, тоже!

«Волга» с Виктором Палычем мягко подкатила к табачному магазину, что на старом Арбате, и Ожогин, секунду помедлив, неторопливо вышел из машины. Собственно говоря, можно было бы попросить купить «Беломор» Ивана Степановича, но Ожогину самому захотелось войти в магазин, увидеть людей, ощутить сложный устойчивый запах табака разных сортов, а главное, перекинуться двумя-тремя фразами со своей знакомой продавщицей — очень милой, когда-то, вероятно, красивой женщиной с пепельно-седыми волосами и прекрасными усталыми глазами, работавшей здесь тысячу лет. Обычно он осведомлялся о здоровье, она отвечала грустной улыбкой, коротким вздохом и в свою очередь спрашивала о том же, произнося его имя как-то очень приятно, по-домашнему, в мягкой старомосковской манере. Виктор Палыч понимал, что обращение

в такой интонации можно заслужить лишь ничем не омраченным многолетним знакомством, и весьма дорожил этим ритуалом короткого обмена фразами, взглядами, улыбкой. И так уж повелось: она знала его имя и отчество, а он — нет, теперь же, по прошествии стольких лет, спрашивать было неудобно. Впрочем, он все равно бы не запомнил (ведь наверняка когда-то знал, да забыл). Ожогин вообще очень плохо запоминал имена людей, путал их, за исключением, разумеется, некоторых имен, забыть которые с его стороны было бы непростительно.

Итак, в самом лучшем расположении духа он вошел в магазин и сразу же пожалел об этом. Народу было полно — не протолкаться. Пожалуй, самое лучшее сейчас было бы повернуться и уйти (черт с ним, с ритуалом!) и купить папиросы в любом табачном ларьке, но это уже походило бы на отступление, а отступать Ожогин не привык. В таких случаях он себе поблажки не давал: задумал — доведи до конца. А то там уступишь, здесь не сделаешь, там себя пожалеешь, глядишь — и в большом деле проиграешь. Оглядевшись и решив, как действовать, Ожогин достал из бумажника десятирублевую бумажку и протиснулся к прилавку. Слегка внутренне напрягшись (вот когда пригодились бы имя, отчество продавщицы!), он протянул из-за плеча толстенького небритого человека руку, держа двумя пальцами десятку. Тактическая ошибка Виктора Палыча состояла в том, что он сделал это, когда продавщица (пусть читатель знает, что зовут ее Ольга Александровна) не видела его — в этот момент она доставала очередной блок сигарет. Ожогин чуть-чуть занервничал и потому поспешил. Да к тому же он полагал, что в конце концов имеет право и люди это поймут, раз он так уверенно действует.

. Эх, Виктор Палыч, Виктор Палыч! Умный, умный, а не учел того, что народ стал нервный, и нахальства терпеть не желает, и никакого такого права за тобой не признает, видал он тебя с твоим правом в гробу, в белых тапочках! Ты попроси его по-человечески: мол, уважьте, ребята, на электричку опаздываю, или там баба ждет не дождется,— тебя всегда уважат. Кто поворчит, кто хмыкнет (давай, давай, друг, беги к своей бабе, пока не увели), а пропустят. Ты по-хорошему, и к тебе по-хорошему, а если уж нахальничать да права качать — извини-подвинься!

Да, не учел этого Ожогин, да оно, может, и так прошло бы, если бы Ольга Александровна сразу его увидела и быстренько все сделала, но угораздило же ее в эту минуту отвернуться и замешкаться, так что протянутая рука Виктора Палыча с десяткой, небрежно зажатой двумя пальцами, повисла в воздухе и волей-неволей обратила на себя внимание.

— Эй, куда лезешь!— рявкнул на Виктора Палыча высокий угрюмый гражданин в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, видно, не любящий шуток.

— Некогда ему, не успеет,— ядовито ввернул толстенький небритый человек, стоявший у прилавка первым.

— Ему время нету,— поспешно врезался в назревающий скандальчик чернявый в белой шелковой рубашке с короткими рукавами, называемой в обиходе бобочкой,— а другим есть. Другие, выходит, не люди!

Против такой логики не попрешь, и Виктор Палыч только молча сглотнул слюну.

— Безобразие! Хамство!— нервно выкрикнул тонкий голос из гущи очереди.— Не давать ему! Не давать!

— А еще в шляпе! Интеллигенция!— явно потешаясь (Ожогин был без шляпы), заметил молодой человек, кому-то подмигнув, но шутки его никто не понял, и получилось, что он лишь подлил масла в огонь.

— Да чего с ним! В шею его! Учить таких надо!— накалясь, заверещал чернявый в бобочке.

— А что... Проучить, что ли, наглеца?— медленно, вопрошая, произнес высокий угрюмый гражданин в клетчатой рубашке.

Вот тут протянутая рука Виктора Палыча с десяткой, зажатой двумя пальцами, дрогнула. Дело принимало явно нехороший оборот. Кто мог знать, что так глупо, так дико все обернется! Мало того что он молча терпел, как над ним издевались, но сейчас грозило и кое-что похуже, сейчас все могло произойти! Холодок, препротивный, скользкий, как змея, вдруг обнаружился у Виктора Палыча в животе и медленно пополз вверх. Что было делать? Ретироваться? В данном случае это означало бы бегство, да еще под хохот и улюлюканье очереди. Огрызнуться? Остаться, но убрать руку? Мысли эти вихрем в доли секунды пронеслись в голове Виктора Палыча, но он продолжал по-прежнему молча стоять с протянутой рукой — предательский холодок, поднявшийся уже высоко, под самое сердце, словно па-

рализовал его волю. Единственное, на что у него хватило сил, это повернуть голову в сторону высокого угрюмого гражданина, выразившего готовность «проучить наглеца», то есть его, Ожогина. Угрюмый гражданин как-то непостижимо быстро оказался почти рядом, сразу за толстеньким небритым человечком. Виктор Палыч прямо в упор встретил тяжелый, как бы надвигающийся взгляд его темных с тусклым желтым отливом немигающих глаз, в которых вдруг вспыхнуло и заплескалось злорадное торжество: ну, писатель, теперь я с тобой посчитаюсь, теперь-то уж мне никто не помешает, что хочу, то и сделаю — ну, что, затрухал, пи-са-тель... Бог знает что еще прочитал в этом взгляде Виктор Палыч — многое, полагаем мы, многое прочитал! — ибо ноги его ослабли, а сердце оторвалось и покатилось вниз... И быть бы беде, большой беде, если бы не Ольга Александровна, да, та самая, давно знакомая Ожогину продавщица. Повернувшись к прилавку и услышав известные нам непарламентские реплики, она подняла голову, увидела протянутую руку Виктора Палыча с зажатой между двумя пальцами чуть дрожавшей десяткой, его посеревшее застывшее лицо, усмешку и неподвижный, ничего хорошего не предвещающий взгляд мрачного гражданина в клетчатой рубашке — и сразу все поняла.

— Да, да, «Беломор» я вам, Виктор Палыч, приготовила,— сказала она, улыбнувшись и беря десятку,— а вы, товарищи, не напирайте (это к мрачному гражданину), отодвиньтесь, пожалуйста, трудно работать...

И пока сей гражданин, несколько опешив, попытался сообразить, что произошло, Ольга Александровна успела все сделать и протянула Ожогину аккуратно упакованный сверток с папиросами и сдачу.

— Почему без очереди отпускаете!— снова выкрикнул тонкий голос, но настроение публики уже переменилось. Стрелка была переведена.

— Так он, видишь, раньше стоял...— миролюбиво заметил кто-то из теснившихся возле прилавка.

— Мало ли что раньше!— не успокаивался нервный мужчина с тонким голосом, но его никто не слушал. Только чернявый в бобочке, жалея о несостоявшемся скандальчике, проворчал:

— Вот у них всегда так... Находятся, которые защищают... А приведись нашему брату сделать что не по закону — куды там! Сразу за шкирку — и никаких.

У кого это «у них», произнесенных с нажимом, и кто это «наш брат»— осталось неясным, и, правду сказать, ни у кого в очереди выяснять этот вопрос охоты не было. И выступление его, как говорится, осталось втуне. Даже высокий гражданин в клетчатой рубашке, который едва не поставил последнюю точку в конфликте, и тот никак не прореагировал на этот крик души чернявого. Лицо высокого гражданина приняло прежнее безучастно угрюмое выражение, злорадный огонек в глазах потух, и если он и пожалел об упущенном моменте, то, по крайней мере, заметить этого было нельзя.

Ну а Виктор Палыч в это время уже выходил из магазина. Сердце его колотилось и ухало, внутри все дрожало, и ему стоило немалых усилий взять себя в руки и не спеша дойти до машины. Сев, как обычно, на заднее сиденье, он коротко бросил: «Домой!»— откинулся на спинку и прикрыл глаза. Прошло несколько минут, прежде чем он, немного успокоившись, в состоянии был сказать себе: этого следовало ожидать. Поделом же тебе, дурачина, поделом! Кто заставлял тебя заходить в магазин, да еще врезаться в очередь? Урок на будущее, хороший урок! На другом, особом языке ощущений, инстинкта, интуиции,— языке, не терпящем лукавства и недомолвок,— все вышесказанное прозвучало бы совсем иначе. Там, в магазине, смешавшись с толпой, он поставил себя на одну доску со всеми, стал таким же уязвимым, как и все прочие, ничем не защищенным от них, вот в чем штука! А этого он боялся больше всего на свете — боялся панически, безотчетно, как боятся мышей или темноты. Так, вероятно, все это прозвучало бы на том, другом, особом языке, если бы его можно было услышать. Но Виктор Палыч как бы его не слышал и предпочитал не сознаваться в своих страхах даже самому себе. Тем не менее это было так, и по мере того как в своей карьере он поднимался со ступеньки на ступеньку, чувство это росло и обострялось.

Годы, годы! Недаром говорят, что нервные клетки не восстановимы. Конечно, опыт и выдержка с годами прибавляются, количество же нервных клеток уменьшается. Сколько их погибло за эти несколько минут в табачном магазине? А жизнь у человека одна, другой не будет. Прекрасно сознавая это, Виктор Палыч научился ценить каждую минуту и не мог допустить, ни в коем случае не мог, чтобы состояние, как принято это

сейчас называть, внутреннего дискомфорта, в котором он пребывал, продолжалось долго.

Откинувшись на сиденье и прикрыв глаза, он пытался успокоиться с помощью испытанного способа — следовало с неопровержимой логикой доказать самому себе, что, собственно говоря, ничего страшного не случилось. В конце концов, хулиганы есть хулиганы, и от подобных происшествий никто не застрахован. Стоило ли из-за этого расстраиваться? Ну а то, что он порядком струхнул,— что ж, с кем не бывает: он был один, а их много...

Мы не осуждаем Ожогина за подобные мысли. Вреда от них нет, а себе одна польза. А вот за Ольгу Александровну, о которой он и думать забыл, нам, не скроем, обидно. Эх, Виктор Палыч, Виктор Палыч! Вам бы в ножки поклониться этой милой и скромной, усталой женщине, бросившейся вам на выручку в трудную минуту, проявившей находчивость и, прямо скажем, смелость, а вы... Да куда там! Но оставим эти бесполезные упреки, тем более что машина уже подкатила к дому на Ломоносовском проспекте, где жил Ожогин.

Небо уже совсем очистилось, дождик перестал, но солнца не было видно. Начинался хмурый, тревожный день 5 октября.

Батальон спешно окапывался. В предутренней тишине слышен был звон лопат, попадавших на камни и сучки, шмяканье земли, шуршание песка. Переговаривались коротко, вполголоса. Тянули связь, оборудовались ротные командные пункты и КП комбата. Пулеметчики устанавливали и маскировали огневые точки, намечали ориентиры, прилаживались. Подоспели кухни и стали в лесочке, начинавшемся за высотой, на которой расположился батальон. Люди валились с ног, но тревога, гнавшая их вперед на марше, и теперь не давала передышки: скорее окопаться! Будто кто-то отсчитывал секунды и каждая следующая могла означать последний глоток кипятку, последнюю затяжку, последний бросок лопаты земли... И все же грохочущий шквал обрушился неожиданно. Земля содрогнулась от взрывов. Вверх взметнулись черные фонтаны земли, камней, щепы.

Сколько это длилось — час, минуту, сутки? Когда все смолкло, так же неожиданно, как и началось, люди,

не веря тишине, подняли голову: впереди закручивались клубы дыма, тянуло гарью, пронзительным, едким, сладковатым запахом смерти. Но тишина уже разливалась, доходила до каждого, возвращая зрение, слух, способность к действию. Стали слышны стоны раненых, шаги, голоса...

Симовский, стоя в траншее рядом с Петей и Козыревым, молча смотрел, как солнце постепенно съедает дым и в нем образуются и ширятся рваные голубеющие просветы. Немцы уже пошли, а из-за дыма ничего не видно. Молчали Козырев и Петя, так же, как и он, напряженно вглядываясь в рассеивающуюся дымную завесу. Симовский не услышал команды, прокатившейся по цепи (контузия давала себя знать), но он понял ее по тому, как завозились, устраиваясь и примериваясь с автоматами, Козырев и Петя. Над траншеями нависла тишина. Каждый теперь старался что-то разглядеть впереди, что-то определить на слух.

Тянутся секунды, минуты. Все явственнее доносится какой-то шум, сначала непонятный, а потом вполне определенный — топот сотен ног. Редеют полосы дыма, но еще ничего не видно. Самое страшное, что ничего не видно. А топот приближается, нарастает. Поднимается ветер — наконец-то! Он рвет клочья дыма, разбрасывает их, очищает пространство, и только тогда становятся видны вдалеке серо-зеленые цепи солдат.

Симовский ждал, что увидит их, и все-таки это было неожиданно и в первый момент не страшно: маленькие безликие фигурки. Но они приближались, вырастали, надвигались. И нарастал, множился топот ног, перекличка, выкрики хриплых голосов. И уже нельзя было оторвать от них глаз, и надо было делать усилие, чтобы не стрелять, а ждать, когда они подойдут поближе, еще ближе, и еще. В горле пересохло, по спине прокатывается холодная колючая дрожь. Внутри все напряжено, как натянутая струна...

Вал за валом надвигается мутно-серая лавина. Теперь они заполняют все поле, только остается чистым пространство, отделяющее их от траншей. Опять прокатилась команда (Симовский понял — без команды не стрелять), а немцы вдруг пропали из глаз — наверно, спустились в лощину.

Поле теперь все очистилось от дыма, небо поголубело, и стерня вспыхнула золотыми искрами. Немцев не было, и Симовскому на мгновение показалось, что они

ему привиделись в кошмарном сне, что на самом деле всегда существовало и существует лишь ясное голубое небо да залитое солнцем поле. Но руки его сжимали автомат, и он успел подумать про себя: как раз наоборот, немцы — реальность, а сон — это чистое утреннее поле в солнечных лучах. Он только успел подумать об этом, как показались они, неожиданно близко, метрах в шестистах. Шли во весь рост, выставив автоматы, горланили, подбадривая друг друга.

Надо стрелять, пока не поздно, стрелять, стрелять — и опять не услышал, а почувствовал Симовский эту команду, прорвавшую тишину, и не заметил, как он сам начал строчить из автомата, что-то крича в лихорадке, охватившей его. В горячке он видел, как смешались ряды фашистов, как они падали, нелепо взмахивая руками, как другие тут же появлялись за ними и уже не шли, а бежали и тоже падали, и опять появлялись другие и все приближались, и надо было стрелять, без передышки стрелять, чтобы их остановить, пока они не добежали до траншей...

Был момент, когда ему показалось, что они прорвутся. Секунды решали все, но тут начал бить миномет из-за леска, и немцы залегли. Через несколько минут какая-то сила снова бросила их вперед, но огонь, встретивший их, стал гуще, прицельней, Симовский почувствовал, что и он бьет точнее, и хотя немцы продвинулись еще метров на сто, но было ясно, теперь они не прорвутся. Первая волна откатилась, оставляя на поле неподвижные фигуры солдат. Некоторые из них пытались отползти назад, но сильный огонь намертво прижимал их к земле.

— Жив, землячок?— когда все стихло, подал голос Козырев.— А ты, Синичка, как — дышишь? Ну, раз так, закурим на радостях. А здорово мы их, гадов! Сегодня я им счет открыл — за Сеньку да за старшину. Большой это будет счет, длинный...— говорил Козырев, дрожащими, непослушными пальцами сворачивая цигарку.

Петя молча улыбался в ответ, но улыбка была какая-то странная, больше похожая на гримасу: он все никак не мог прийти в себя. Симовский молчал, в горле было сухо, губы запеклись. Плечи, руки, пальцы задеревенели от стрельбы. А в душе — радость первой победы. Теперь не так страшно, думал он, теперь мы знаем, как это бывает. Да нет, страшно, а драться можно.

И не отступать — можно. Он снял каску, привалился спиной к окопу, запрокинул голову. Огромное голубое небо захлестнуло его. Закрыл глаза — заколыхались оранжевые волны, заплясали золотые искры...

— На, землячок, курни,— голос Козырева будто донесся издалека. Вспыхнуло в памяти давнее, из самого детства: солнечный день, он лежит на спине на берегу реки, пальцы перебирают песок, сквозь закрытые глаза пробивается солнце и множится в оранжевых волнах, а там, на реке,— далекие голоса, и не хочется шевелиться, и тело становится все легче, невесомей... Когда это было? Где?

— Давай курни, полегчает,— тормошит его Козырев.

Обжигая пальцы, Симовский берет цигарку, от которой осталось всего ничего, делает затяжку — одну, другую. Минута там, на берегу реки, освежила его, восстановила силы.

— У меня патронов одна обойма осталась,— вздохнул Петя.

— А ты его зубами,— усмехнулся Козырев.— Хошь гранатой, хошь зубами, а чтоб не прошел,— неожиданно для себя повторил он последний наказ Корякина и, вздохнув, добавил:— Запомни, Синичка, правильные слова.

Нарастающий свист оборвал разговор. И опять вздрагивала, раскалывалась земля, и ничего не было, кроме свиста, воя, грохота, и опять все тело сжималось и вдавливалось в землю, и опять остановилось время, и едкий, горький дым закрутился вокруг горла...

Неожиданно огонь передвинулся вглубь, и они услышали лязг, скрежет, потом из-за дыма, стлавшегося по земле, показались танки. За ними, не отрываясь, шла пехота. Над полем с воем и свистом летели снаряды, взрываясь за траншеями. В этом грохоте уже не разобрать голос того миномета, бившего из-за леска, но он делал свое дело: то тут, то там возле танков поднимались окутанные дымом фонтаны земли.

Поле опять почти сплошь заволокло дымом, но солнечные лучи пробили окна, в которых появлялись, исчезали и снова появлялись танки и идущие за ними серо-зеленые солдаты в касках. Высоко в голубых разводах неба висела треклятая «рама»— корректировщик.

Симовский заметил танк, шедший на их окоп, когда он уже был метрах в двухстах. Пулемету, бившему

справа, удалось отсечь пехоту, она залегла, а танк вырвался вперед один. Казалось, он хорошо видит всех троих и его задача — раздавить именно их. Так, наверно, это и бывает, промелькнуло у Симовского, ты остаешься один на один со смертью, когда приходит твой час. Его обдало холодом. Держись, сказал он себе, очень страшно, все равно — держись. Он продолжал стрелять по пехоте, по серо-зеленым фигурам, возникающим из дыма, и в то же время особым боковым зрением видел этот вырвавшийся вперед танк.

В грохоте, гуле, свисте уже выделялся, нарастал его скрежет и рев. На ходу он беспрерывно стрелял из пулемета — пули взрывали фонтанчиком землю перед самыми траншеями, не давали поднять голову. Как изловчиться и бросить бутылку с горючей смесью, чтобы не скосило пулеметом? Надо изловчиться, а там — как будет, так будет. Танк, не меняя направления, шел прямо на них. Неужели ничего не изменится за эту минуту, ничего не произойдет? Танк приближался. Сто метров. Пятьдесят. И вдруг — рядом с ним взрыв, столб земли, дым. Танк рванулся в сторону — и снова близко взрыв. Танк взяли «в вилку». Вот «оно самое»— произошло! На танки обрушился массированный огонь — стрелял наш артдивизион, который все так ждали и вот дождались!

Артиллеристы били прямой наводкой. Тот танк, который пер на них, все-таки сумел уйти из-под разрывов, резко свернул в сторону, но на поле уже пылали три костра. Четыре, пять... Снова все заволокло дымом. Раздался лязг — и прямо перед окопом появился другой танк. Еще мгновение — и всей своей грохочущей массой танк надвинулся на Симовского. Пропустить. Ударить сзади. Дымная, лязгающая, рычащая броня, обдавая горячим масляным перегаром, прошла в одном метре. Втянув голову, Симовский сжался на дне окопа. Танк крутанулся в сторону от него — раз, другой, он утюжил ходы сообщения, там никого не было, Петя и Козырев находились с другой стороны. Почувствовав, что танк отрывается, Симовский приподнялся. Танк уходил под углом, подставив бок. Самый раз. До него метров пять-шесть. Только бы успеть. Симовский прикинул — одно мгновение — и бросил бутылку с небольшим опережением. Вокруг грохотало, но *его* танк молчал — это Симовский почувствовал сразу. Он выглянул. Танк стоял на месте, люк был открыт, из щелей

шел густой дым. Автоматные очереди шлепали по броне, взрывали фонтанчиками землю у танка. Пулемет справа бил безостановочно, немцы падали, но за ними появлялись другие. Симовский понял, что он тоже стрелял все это время, пока не кончились патроны в диске. Лихорадочно сменил диск и продолжал стрелять.

Бой не утихал, и все же что-то в его ходе неуловимо изменилось. Но ни Симовский, ни Козырев, ни Петя, раненный осколком мины в плечо и наскоро перевязанный Козыревым, этого не заметили. Заметил это комбат, увидевший со своего НП, как часть танков повернула назад, а другие, маневрируя, прикрывали отход пехоты. Артдивизион сделал свое дело. Комбат не сомневался, что на своем исходном рубеже, на лесных опушках, примыкающих к западной части поля, немцы перегруппируются, пополнятся свежими силами и снова ринутся в атаку — день только едва перевалил через зенит. Эх, сейчас бы в контратаку, поддержанную танками! Но об этом нечего было и мечтать — танков у него не было, батальон понес большие потери, боеприпасы на исходе.

Канонада стала стихать. Два танка, прорвавшиеся в самом центре на участке первой роты, стояли, объятые пламенем. Только два танка, а сколько их шло? Замысел немцев был прост — массированным танковым ударом прорвать оборону в центре, а затем изолировать, окружить и уничтожить фланги. Чем мог, он усилил первую роту, расположенную в центре, придав ей взвод сорокапяток и еще один взвод бронебойщиков, но все равно этого было мало, крайне мало, и все-таки рота выстояла! Выстояла благодаря своему командиру, лейтенанту Ульяшову, почти мальчику, который в самые критические минуты проявил мужество, хладнокровие и военную выучку, под стать закаленным, опытным командирам. А ведь это был его первый бой! Да, самое трудное, первый бой, позади. До следующей атаки надо было эвакуировать раненых, перегруппироваться, восстановить связь, подправить траншеи, пополнить боеприпасы и — стоять. Стоять, сколько хватит сил и еще сверх того.

Отдав необходимые распоряжения заместителю, комбат приказал телефонисту соединить его с командиром первой роты. «Астра» ответила сразу. Выслушав доклад Ульяшова, сказал: «Молодцы, стойко держа-

лись. Воюйте так и дальше,— помолчал, слова, которые он еще хотел сказать Ульяшову, словно застряли в горле.— Принятые меры одобряю. Только поторопитесь — времени нам отпущено мало, очень мало. Желаю успеха». Положив трубку, он вышел с КП и увидел спешащего к нему из штаба полка старшего лейтенанта Суконцева, которого он хорошо знал. Суконцев с бледным исцарапанным лицом, в туго подпоясанной шинели, обсыпанной песком и землей, козырнул и молча протянул пакет. В его глазах плескалось нетерпение. Тем не менее он подождал, пока комбат вскрыл пакет, прочитал то, что было написано на сложенном вдвое листке, и попросил расписаться в книжке. Пряча ее в командирскую сумку, коротко бросил:

— Много немца?

— Не меньше пехотного и артиллерийского полков, танки, минометы... Прет как оголтелый...

— Да, понимаю, туго пришлось... Всюду так... Мой совет, майор, поторопись.— Старший лейтенант козырнул и скорым шагом пошел к стоявшей поодаль лошади.

Комбат положил сложенный вдвое листок в карман гимнастерки. Это был письменный приказ командира полка об отходе. Батальону вменялось в кратчайший срок подготовиться к отходу и скрытно оторваться от противника, оставив прикрытие до взвода на участке роты, с задачей продержаться до 19.00, а затем следовать за батальоном. Сборным пунктом называлась деревня Угарово в десяти километрах на юго-восток от высоты 20, куда батальон вместе с приданным ему артдивизионом должен прибыть в 18.00. Особое внимание командир полка обращал на организованность, тщательную маскировку на марше и своевременный вывод подразделений.

Комбат взглянул на часы: на сборы и организацию прикрытия времени почти не оставалось.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

За время пути от табачного магазина Виктор Палыч сумел овладеть собой, хотя, естественно, настроение его было основательно подпорчено. Остановившись перед дверью своей квартиры, Виктор Палыч вдруг поймал себя на мысли, что самое лучшее сейчас никого не ви-

деть и послать всех к черту. Но мысль была дикая, и Ожогин отбросил ее. Ерунда. Нервы. Ничего страшного не случилось. Наоборот, все идет прекрасно. А от хулиганов никто не застрахован. Урок на будущее, повторил он себе, хороший урок. С тем Ожогин и позвонил. Бросив открывшей ему дверь жене: «Привет. Как дела?»— Виктор Палыч сразу направился в свой кабинет, который находился в другом конце квартиры. Виски со льдом — вот что ему было сейчас нужнее всего. Он это почувствовал, как только переступил порог своего дома. Два-три глотка — и все станет на свое место. Средство проверенное.

Остается неизвестным, каким образом Виктор Палыч пристрастился к этому заморскому зелью — в России предпочитают нечто другое, и сам Ожогин, бывая в компаниях и на банкетах, пил, как и все прочие, водку, разумеется чистую пшеничную, из бутылки с отвинчивающейся головкой, но дома, наедине с собой, чтобы успокоиться, «снять напряжение», Виктор Палыч предпочитал несколько медленных глотков виски. Облачившись в домашний костюм, он открывал свой бар, доставал виски, лед из холодильника, иногда добавлял немного тоника и со стаканом в руке садился в кресло у торшера. Выпивал глоток, другой, третий — и становилось легче, по телу постепенно разливалась приятная расслабляющая теплота, уходило, рассасывалось напряжение, и ночь проходила спокойнее, а на следующий день Виктор Палыч снова с трезвой головой был готов к делам, работе, встречам... Он поспешно хлебнул изрядный глоток желтоватого зелья и плюхнулся в кресло в чем был. Почувствовав, что в груди потеплело, хлебнул еще раз, а уж потом переоделся в любимый красный халат и теперь уже, расслабившись, уселся в кресло. Взгляд его привычно скользнул по стенам кабинета. Еще глоток. Стены глубокого темно-зеленого тона как бы отдалились, линии их слегка стерлись. По жилам медленно растекалась теплота.

Что ни говори, а «мой дом — моя крепость» неглупо сказано, подумал Виктор Палыч, нет, совсем неглупо. Англичане не дураки. Человеку нужна раковина, чтобы в случае нужды спрятаться, отдышаться, зализать царапины. Без этого нельзя. «Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, женское...»— стихи вспоминались как бы в подтверждение мыслей, так уж мудро устроена была голова Виктора Палыча, недаром он слыл блестя-

щим полемистом, находчивым, ловким, остроумным. Ожогин допил стакан, поднялся. Ему уже совсем полегчало — вот что значит дом, раковина, крепость! Виктор Палыч прошел в ванную, ополоснулся холодной водой, заглянул в зеркало. Следов растерянности на своем лице он не заметил. Лицо как лицо. Начинающие наливаться жирком гладко выбритые щеки. Верхнюю губу прикрывают рыжеватые усы. Наметившийся второй подбородок. Небольшой, как бы суживающийся впереди, лоб с залысинами. Глаза... Они сидят глубоко и смотрят, как из амбразуры: пристально, но тускло. Лицо не понравилось Ожогину: ни ума, ни энергии — одна усталость стареющего мужчины. Благополучного, но незначительного, неинтересного. Не дьявол, а средний человечек, в суетливых заботах доживающий свой век. Конечно, дома не то что на людях, но все-таки распускаться не следует. Где-то в глубине шевельнулась мысль: а если он такой и есть, и на людях такой? И ощущение своего обаяния, внутренней силы, которое исходит от его облика, лишь самообольщение, самообман? Виктора Палыча обдало холодом, но он тут же успокоил себя: ерунда, быть того не может, он видывал себя именно таким — сильным, внушающим уважение! Не только в зеркале, он прочитывал это в глазах людей. Красавцем его не назовешь, нет! Но нечто, вызывающее интерес, соответствующее его положению, внутренним возможностям в его лице, во всей фигуре, есть! И обязан он этому только себе — не господу богу, а себе! Он сам создал себя таким, каков есть, преодолевая адское сопротивление материала — и своей физической природы, и обстоятельств. Он нашел свой стиль, манеру поведения, выражение лица.

Ожогин продолжал смотреть в зеркало, но теперь уже по-другому: пристально, сосредоточенно, контролируя движение каждого мускула. И произошло чудо — лицо его подобралось, легкий жирок как бы рассосался, резче обозначились линии щек, носа: брови чуть под углом сошлись к переносице, а в глазах появился холодноватый со стальным отливом блеск. Никакой усталости, суетливости, испуга, сытого благополучия! Воля, решимость, сила — вот что выражало это лицо! Виктор Палыч удовлетворенно вздохнул. Стареющий мужчина, незаметный, сытый, благополучный? Ну, уж нет, извините-подвиньтесь! Он усмехнулся —

губы его чуть тронулись в изломе, глаза прищурились, полыхнули ядовитым огоньком.

Очень не любили его подчиненные, или, скажем так, коллеги, товарищи по работе, этой усмешки, означавшей увертюру к весьма неприятному разговору, точнее, монологу шефа. За ней следовало обычно несколько иронических вопросов, поставленных так, что отвечать было нечего, уже сами вопросы содержали нужные Ожогину самоочевидные ответы,— и позиция подчиненного (коллеги, товарища по работе) оказывалась столь глупой, бессмысленной, что невольно закрадывалась мысль: каким образом этот, мягко говоря, недалекий и абсолютно некомпетентный человек, который и слова не в состоянии вымолвить в свою защиту, мог до сих пор работать в солидном писательском журнале?

Да, великий специалист был Виктор Палыч в случае нужды делать людей дураками! Впрочем, дальше иронических вопросов не шло, оргвыводы его не интересовали. В редких, редчайших случаях он прибегал к ним, причем только под давлением обстоятельств. Короче говоря, по общему мнению редакции, работать с Ожогиным хоть и не ахти как приятно, а можно: он точно знал, чего хочет, и не требовал большего, его оценки отличались ясностью и определенностью, мелочная опека ему претила; с ним можно было спорить, доказывать свою правоту и даже иной раз в чем-то переубеждать. Правда, старожилы говорили, что Виктор Палыч стал не тот — теперь и в журнале бывает реже, и попадешь к нему не сразу, и с людьми разговаривает подругому, резче, небрежнее, и на собраниях коллектива с речами-обращениями с призывом к критике, с речами-консультациями и советами уже не выступает, не утверждает себя (а ведь, бывало, выступал — да как задушевно, как откровенно! И в кабинеты к сотрудникам захаживал перекинуться о том о сем) — да, заключали старожилы, не тот, не тот стал Виктор Палыч! Что же, вероятно, старожилы не сочиняли и если приукрашивали, то самую малость. Но то время кануло, прошло, разлетелось, а мы говорим о настоящем, и новые люди, пришедшие в редакцию со своими современными мерками, считали, что шеф — мужик стоящий, информированный, дело понимает, не мелочный, не злой — чего еще нужно? Тепла и дружбы эти люди на работе не искали.

Из ванной Виктор Палыч вышел в обычном, даже слегка повышенном настроении: давно известно, что победы над собою — самые важные и самые приятные. Мимоходом через открытые двери в столовую увидел празднично накрытый стол. Накрахмаленные салфетки, парадная посуда, хрустальные рюмки и бокалы. Что бы это значило? Виктор Палыч повернул на кухню. Там полным ходом шло приготовление к приему. Клава в фартуке с засученными рукавами нарезала семгу. На плите что-то жарилось и урчало, судя по запаху — цыплята-табака.

Виктор Палыч спросил:

— Как это понимать?

Клава удивленно взглянула на него:

— Ты что, забыл? Ну, конечно, забыл! Это на тебя похоже.— И она снова склонилась над своей рыбой.

— Ничего я не забыл!— раздражаясь, ответил Ожогин.— Могла бы еще раз напомнить. Знаешь ведь, как я закручен!

— Мы ждем Яну и Татьяну Алексеевну. (Ах, вот оно что! Действительно забыл.) Андрей прямо с работы заедет за ними. Скоро они придут, а у меня не все готово. Еще переодеться надо успеть.— Клава явно нервничала.— И прошу тебя, Витя, оденься по-праздничному. Поверь, это очень важно. (Ожогин усмехнулся.) Понимаешь, они люди другого положения... Самолюбие обострено — вдруг подумают, что их не уважают? Ну, сделай это для меня...

— Хорошо, хорошо. Форма одежды — парадная, летняя. Да вот беда: куда запропастился мой фрак?

Клава никак не отозвалась на его попытку свести дело к шутке, и Виктор Палыч пошел к себе.

В кабинете он уселся в кресло, хлебнул еще глоток. Последний. Пожалуй, достаточно. Жара как будто спадала. Из открытого окна пахнуло прохладным ветерком. Виктор Палыч поднялся, но тут вошла Клава. Села. Ожогин молча взглянул на нее. Он никогда не начинал разговора первым, если в этом не было крайней необходимости. Никогда не помогал человеку, пришедшему к нему с трудным делом, подбадриваниями вроде: «Ну, что там у вас? Выкладывайте, не стесняйтесь» и т. п.— наоборот, с каменным лицом он смотрел, как человек барахтается, тонет, пытаясь преодолеть неловкость, чтобы перейти к сути, к своей нужде. В конце концов, нахлебавшись унижения, человек, пло-

хо помня себя от волнения, выпаливает то, что хотел сказать, а случалось, на это не хватало пороха и он уходил ни с чем. А последнее слово оставалось за Ожогиным.

Сейчас, сидя на диване против мужа, Клавдия Ивановна думала, что Витя, конечно, сделает так, как она сочтет нужным, но ей хотелось другого, не просьбы с ее стороны, а откровенного душевного разговора. Ей хотелось обсудить с ним все по-семейному, что-то решить. Ну, во-первых, где жить молодым. Хорошо, пока будем снимать квартиру, но оставит ли Яна свою мать одну? Хорошо, потом, когда они построят свою квартиру, мать будет с ними. Но когда это произойдет? А пока? Жить у Татьяны Алексеевны, втроем, в общей квартире? Андрей не сумеет. Еще одно: Андрей собирается за границу, для него это очень важно, а как Яна? Она кончает университет, ее оставляют в аспирантуре — что ей делать за границей? Ох, Яна, Яна... Замочек с секретом. Любит ли она Андрея? Ну, конечно, ей кажется, что любит. Да знает ли она сама, чего хочет? А кто в двадцать два года знает? Витя, наверное, знал. Он, когда родился, уже все знал.

Клава молчала, и Виктор Палыч поглядывал на нее, терпеливо ждал. Лицо ее было озабочено. Когда-то красивое, открытое, веселое, с бровями вразлет, карими глазами, полными сочными губами, слегка скуластое, улыбающееся — теперь оно отяжелело, увяло, проступили морщинки. Сердце у Виктора Палыча слегка дрогнуло. Ведь он ее любил. Ближе у него никого не было. Не было — и нет. Все она отдала ему — целую жизнь. Эх, Клава, что с тобой стало! Виктор Палыч впервые увидел ее такой — вот что значит дела. Дела, дела! Он писал свои книги в Домах творчества, потом у себя на даче, ездил, хлопотал об изданиях, добивался постов, нервничал, бывал нетерпим, изменял, а она была с ним, была рядом, легкая, верная, безотказная, не знающая устали. Она спорила с ним, доказывала свое, что-то делала для других помимо него, работала и тащила дом, Андрея. Потом ушла с работы — и уже меньше спорила, стала рассуждать, как он. Ну, не совсем так, а близко... А вот тепло, исходящее от нее, как бы умерилось. Однажды он это почувствовал. Его кольнуло, но быстро прошло. И забылось. С годами многое уходит. Убывает, вероятно, и энергия души.

Теперь Виктор Палыч с пристрастием всматривался в лицо Клавы, пытаясь разглядеть нечто скрытое. Оно еще было по-своему красиво — крупное, большеглазое, ухоженное. Лицо матроны. И густые темные волосы с медным отливом, тонкие седые пряди. Красивые руки, высокая грудь, стать. Его взгляд снова обратился к ее лицу. Где же открытость, ясность? Сейчас и не угадать, как оно могло меняться, освещаться добротой, темнеть от гнева, трепетать. Все погребено — годы, как пепел, засыпают, сравнивают, нивелируют. И накладывают свое. Уносятся, оставляя осадок. И вот: вместо открытости — замкнутость, вместо доброты — сухость.

Нарушив свое правило не начинать разговора первым, Виктор Палыч, спросил: «Чем ты озабочена? Ну, что, говори...»

Голос его прозвучал непривычно мягко или это ей почудилось? Клава подняла глаза: да и лицо у Вити было не таким, как всегда. Что-то прежнее, очень давнишнее ответно шевельнулось в ее душе — будто стал оживать, отогреваться заледеневший комочек. Она потянулась к нему: «Понимаешь, Витя, я очень боюсь за Андрея... Ты его знаешь... Надо сделать так, чтобы все было хорошо с самого начала, все было правильно. Яна... (Ох, Яна, Яна — замочек с секретом ) Она... не простит ошибки...»—«Какой ошибки? О чем ты?»— то выражение, заставившее вздрогнуть ее сердце, уходило, сползало с его лица, и Клава заторопилась поскорее сказать все: «Я думаю, где им жить. Подожди, подожди... Яна не оставит больную мать, она этого никогда не сделает, и мы должны понять...»—«Ну, что же, пусть живут вместе, когда построят кооператив»,— перебил ее Ожогин. Он положительно не понимал, в чем здесь сложность. «Ах, кооператив! Когда-то это будет! А сейчас, сейчас-то как?»—«Сейчас они уедут за границу, в Швейцарию. Андрея посылают на три года».—«А ты уверен, что Яна поедет? Ее оставляют в аспирантуре. И потом — мать...»—«Уж не поручишь ли ты мне открыть аспирантуру Московского университета в Женеве, а здесь ухаживать за ее матерью, когда она сляжет?»— он стал раздражаться. «Пойми,— тихо сказала Клава,— Андрей любит Яну, очень любит...»—«Спасибо за новость».—«Ах, Витя, Витя, это все сложнее, гораздо сложнее, чем тебе кажется...»—«Возможно. Но в конце концов Андрей взрослый человек. И Яна тоже. Вот пусть и решают сами. Наше дело им помочь!»

Клава ничего не ответила, глаз не подняла. Она вдруг почувствовала такую горечь, аж стало тошно.

Они вошли не сразу. У порога произошла заминка. Андрей пропустил вперед Татьяну Алексеевну, а она замешкалась, видно, не хотела входить первой, но Яна со смехом ее слегка подтолкнула: «Не бойся, мама, не бойся, не съедят». В просторном, ярко освещенном холле, где они оказались, их встретил и сам хозяин. «Как доехали?»— радушно осведомился он, ни к кому в отдельности не обращаясь. «Нормально,— ответил за всех Андрей.— Разве я что позволю себе в такой день? Положенная скорость. Строгое соблюдение правил движения автотранспорта. Обаятельная улыбка гаишникам»,— он посмеивался, хотел казаться развязным, но внутренне был напряжен, Клавдия Ивановна это сразу почувствовала. Задержав руку Татьяны Алексеевны, Ожогин сказал: «Очень, очень рад с вами познакомиться, давно бы надо». Татьяна Алексеевна молча улыбнулась. «Что же мы стоим?— засуетилась хозяйка, почувствовав легкое замешательство.— Прошу, прошу!»— она провела их в столовую. Яна села в кресло и утонула в нем.

Только теперь Ожогин как следует рассмотрел ее. У Андрея, оказывается, губа не дура! Яна была на редкость хороша: стройная, высокая, зеленоглазая, золотоволосая: прямо ботичеллиевская весна! Черты лица у нее скорее неправильные, и рот, пожалуй, слишком велик по сравнению с ботичеллиевской героиней, но это-то, может быть, и придает ее лицу какое-то особое выражение открытости, что ли. А в глазах, в настойчиво вопрошающем взгляде — сосредоточенность и, пожалуй, готовая вспыхнуть в любой момент дерзость. А ведь верно сказала Клава: замочек с секретом. Эта ее майка с короткими рукавами и старые джинсы — безусловно, вызов. Вот только чему? Могла бы в такой день одеться и поприличней. Хорошо хоть мать другая: в красивом светлом платье, села на краешек дивана, рассматривает картины. Наверняка из-за этих джинсов да майки был у них спор. А все-таки Яна (кстати, откуда такое имя?) настояла на своем.

Проследив за взглядом Татьяны Алексеевны, Виктор Палыч сказал:

— Это Рылов, один из его эскизов... Вижу, вам понравилось, я тоже очень люблю эту вещь. Как написа-

но! Кажется, ощущаешь северный ветер, слышишь, как скрипят деревья. А свет? Вглядитесь, какой удивительный свет...— он продолжал говорить, искоса рассматривая Татьяну Алексеевну. Полная, видная. Далеко за пятьдесят. Светло-каштановые волосы, седина. Лицо приятное, хотя слегка расплылось, и, только взглянув на Яну (отдаленное, но поразительное сходство), можно представить себе, каким красивым, живым было когда-то это лицо. Во всем ее облике, в глазах, в улыбке, как бы печальной и снисходительной одновременно, чувствовалась многолетняя непроходящая усталость. Да, никого не щадит время! Сегодня как-то неожиданно, словно после многолетней разлуки, он увидел лицо Клавы — и ужаснулся! А ведь Татьяне Алексеевне, наверное, досталось в жизни покруче, чем его Клаве. Андрей говорил, что она врач, работает в больнице, а это далеко не сахар, да и платят жидковато... Живут вдвоем с дочкой...

— К столу,— провозгласила Клавдия Ивановна,— прошу, прошу...

Виктор Палыч усадил Татьяну Алексеевну справа от себя, Андрей и Яна устроились слева, Клавдия Ивановна, как всегда,— с другого конца стола, ближе к двери.

Разлив коньяк (Андрей покачал головой: за рулем), Виктор Палыч поднял свою рюмку:

— Я человек прямой. Надеюсь, скоро мы все станем одна семья. Вот за это разрешите, как говорится, и выпить,— он хлопнул рюмку и стал закусывать.

Андрей что-то шепнул Яне на ухо, она улыбнулась. Он подмигнул матери: мол, все хорошо, все очень хорошо. Виктор Палыч выпил вторую рюмку и заставил Татьяну Алексеевну допить свою. Наконец, решив, что наступил подходящий момент, Клавдия Ивановна обратилась к Яне и Андрею:

— Ну, хорошо, а как практически вы представляете себе свою жизнь?

— Мать у нас великий практик,— усмехнулся Андрей.

— Я тоже так думаю,— поддержала ее Татьяна Алексеевна,— надо что-то решить. Андрей, я слышала, собирается за границу. Яну пригласили в аспирантуру. Это счастье, о котором мы могли только мечтать... Знаете, ее дипломную работу приняли к изданию в академическом журнале!

— Мама!— поморщилась Яна.

— Вот уж не представляю себе нашу Яну в образе ученой женщины,— сказал Ожогин, многозначительно улыбнувшись.

— Отстал ты от жизни, отец,— возразил Андрей.— Нынче такие ученые женщины и бывают: с фигурой и с характером.

Яна взглянула на Андрея, Виктор Палыч поспешно ответил:

— В таком случае, сожалею, что не пошел в науку!

Он был очень мил, подливал вино, шутил, улыбался, соображение Клавдии Ивановны не стоило принимать всерьез: какая там аспирантура — их ждала Швейцария! Швейцария, Европа! Поездят, повидают белый свет, станут на ноги и вернутся в готовую кооперативную квартиру. А там можно и в аспирантуру пойти, коли не пропадет охота. Аспирантура не убежит. А вот Швейцария убежит. Второго такого случая может и не быть.

Ожогин, однако, не спешил все это высказывать вслух. Пусть поговорят в свое удовольствие, даже поспорят, если им нравится. Свое сообщение относительно Швейцарии, а заодно и кооператива работников эстрады, куда, как он выяснил, можно вступить, он прибережет для подходящего момента. Посмотрим тогда, как вы заговорите!

— Эх, к черту все!— махнул рукой Андрей.— Давайте выпьем за любовь,— он налил себе и Яне и разом, одним духом, выпил.

Улыбнувшись, Яна тоже впервые выпила свою рюмку до дна. У Клавдии Ивановны потеплело на сердце. «Дай-то бог,— про себя вздохнула она,— дай-то бог!» Виктор Палыч повернулся к Андрею:

— Между прочим, чтобы не забыть. Твой протеже произвел на меня довольно хорошее впечатление. Помоему, он парень порядочный и толковый. Да и по всем остальным статьям подходит. Так что можешь его поздравить: вчера я подписал приказ о его зачислении в отдел публицистики.

— Ты о чем, отец?— спросил Андрей.— Какой протеже?

— Вот это мило!— рассмеялся Ожогин.— Вы только подумайте,— обратился он ко всем,— сей юноша рекомендует к нам в журнал молодого талантливого журналиста, своего большого друга, окончившего в этом

году университет, и, когда я сообщаю ему, не другу, а вот этому юноше (жест в сторону Андрея), что его протеже принят на работу, он даже не догадывается, о ком идет речь! Каково, а?

— Правда, отец,— спросил Андрей,— на кого ты намекал-то?

— Намекал? О боже! — Ожогин театрально взмахнул руками.— Запомни: твоего большого друга, за которого ты так рьяно хлопотал, зовут Евгений Сухарев.

Все засмеялись. Яна насторожилась: не тот ли это член-корреспондент, пришедший к ним с папкой Симовского?

— Ах, ну да — Женька! Ну, конечно!— воскликнул Андрей. Только сейчас он сообразил: Юркин парень, кто же еще? Так, так, с Юрки причитается.— Поздравляю, отец!— Андрей поднял свою рюмку.— Вы приобрели работника что надо! За двоих потянет. Предлагаю выпить за его успехи!

И опять что-то царапнуло Яну. Но она не стала спрашивать Андрея о его большом друге Женьке Сухареве. Если Сухарев и существует, то для нее отдельно от Андрея.

Клавдия Ивановна повернулась к Татьяне Алексеевне:

— Мы с вами беспокоимся, как все у них сложится, думаем, как сделать лучше, а им, я смотрю, и горюшка мало. Эх, молодо-зелено!

— Когда-то мне тоже казалось, что все сделается само собой.

— Так ведь не сделается!

— Что ж,— вздохнула Татьяна Алексеевна,— видно, еще не пришло время им беспокоиться...

Ожогин почувствовал: вот сейчас самое время сообщить. Он слегка надулся, как бы увеличился в размерах, сделался внушительней.

— Ну, вот что, друзья мои,— произнес Ожогин,— как мне стало известно...— Он усмехнулся, шутливо прибавил:— По секрету, конечно. Так вот... На днях Андрей получает назначение в Швейцарию на три года. Заметьте: на днях. Так что вопрос, где вам жить, отпадает.— Он улыбнулся:— Жить будете в Женеве... А когда вернетесь, у вас будет своя кооперативная квартира. Строительство дома уже началось. Я имею в виду кооператив работников эстрады.— По всем правилам риторики Ожогин выдержал паузу и повернулся

к Яне: — Понимаю вас, Яночка,— аспирантура... А я вот о чем подумал: существует план культурного обмена с западными странами, предусматривающий в том числе обмен студентами. Что, если, в порядке обмена, вы прошли бы аспирантуру в Женевском университете?

Глаза у Яны расширились, но не от восторга, как решил Ожогин, а от удивления, как понял Андрей. «Ничего, Яни,— шепнул он ей на ухо,— отец слегка распустил хвост, но это ради тебя. Простим старику».— «Не в этом дело,— тихо ответила ему Яна,— но ведь мы с тобой тоже люди. Может, он договорится, чтобы меня приняли в аспирантуру без экзаменов?» — «Ну ее к черту, Швейцарию, Женеву, а также Сан-Франциско и острова Фиджи. Я люблю тебя, и мне нужна только ты. Ты одна». Яна улыбнулась. Андрей налил рюмку водки и залпом выпил: у него пересохло во рту.

— Что вы там шепчетесь,— сказала Клавдия Ивановна,— давайте вслух. Мы для того и собрались, чтобы вместе все обсудить.

— Мы что, мы — ничего...— пробормотал Андрей.— Наше дело маленькое. Начальству оно виднее. Оно радио слушает...

— Не ерничай! — бросил Ожогин, закипая.

— Но разве это так просто, Виктор Палыч,— спросила Татьяна Алексеевна,— Женевский университет... Все прямо как в сказке...

— А у меня отец работает волшебником,— вступился Андрей,— учтите на будущее.

— А я и не говорю, что просто,— как можно спокойнее ответил Ожогин, пропустив мимо ушей замечание Андрея.— Речь идет не о том, просто или трудно (в голосе его появились прохладные, отдающие металлом нотки — он ожидал другой, совсем другой реакции на свое сообщение), а о том, что существует такая возможность. В подобных ситуациях, когда муж получает назначение, естественно, стараются подыскать соответствующую работу и жене. Почему бы в данном случае руководству не пойти нам навстречу относительно аспирантского обмена? Это было бы разумно. Вот, собственно, и все. Как видите, дело может вполне обойтись без вмешательства сверхъестественных сил.

— Ну, что же вы молчите?— обратилась Клавдия Ивановна к Яне и Андрею.— Ведь это так интересно! Женевский университет...

— А можно, Виктор Палыч, подумать?— сказала Яна.— Надо все взвесить, посоветоваться с моим научным руководителем...

— Разумеется,— кивнул головой Ожогин,— думать никогда не мешает...

Виктор Палыч откинулся на спинку стула. Теперь уже он не сомневался, что Яна скажет «нет». Андрей же поступит, как захочет она. Еще, чего доброго, откажется от Швейцарии. Ожогин не узнавал Андрея — таким жалким он его еще не видел. Поддакивает, боится сказать что-нибудь не то, заглядывает в глаза, счастлив, когда она улыбнется ему. Вот что значит любовь! А она? Она-то его любит? Во всяком случае, свою независимость любит больше. Бедный Андрюха! Кажется, он крепко влип. Виктор Палыч искоса взглянул на сына. Несколько рюмок водки вперемежку с коньяком сделали свое дело: лицо Андрея порозовело, в глазах маслянистый блеск. Яна же, наоборот, стала как бы суше, замкнулась. Она, видимо, чувствовала себя неловко и старалась не показать этого. Ожогин ощутил, как подул колючий ветерок, даже в горле запершило. Очень, очень уж захотелось ему посадить на место эту красавицу! Но он сдержался, вздохнул, как можно мягче сказал:

— Вы правы, милая Яна, надо все хорошенько обдумать и взвесить. Я всегда за это.

— Спасибо, отец,— голос Андрея прозвучал неожиданно трезво и спокойно,— мы все обдумаем и сделаем так, как лучше для Яны, а следовательно, для нас обоих.— Он встал, улыбнулся:— Суд удаляется на совещание. Не возражаете? Мы с Яной пойдем ко мне послушаем музыку.

Андрей вышел из-за стола. Яна, неловко улыбаясь, тотчас же присоединилась к нему. «Еще полчасика,— бросила она матери,— хорошо?» Взявшись за руки, они медленно удалились, но это было похоже на бегство.

Все трое, несколько озадаченные неожиданной выходкой Андрея, молчали. Первой опомнилась Клавдия Ивановна.

— Ну, а мы,— сказала она,— будем пить чай. Нам-то спешить некуда...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Комбат пришел, чтобы объяснить задачу добровольцам — продержаться до двадцати ноль-ноль, пока батальон не оторвется, а потом, после двадцати ноль-ноль, отходить вслед за ними: «Будет очень трудно, фашисты будут беспрерывно атаковать, а задержать их надо. Надо,— повторил он. Помолчав, спросил:— Может, кто передумал? Пусть выйдет из строя — батальон выступает через десять минут». Никто даже не шелохнулся. В прожженных шинелях, с обострившимися, почерневшими лицами, крепко сжимая винтовки, ополченцы молча стояли, упрямо и твердо глядя ему в глаза. Комбат, нахмурясь, приложил руку к козырьку, пошел вдоль строя.

За ним, на полшага сзади, как и полагалось по уставу, двинулся командир отряда добровольцев лейтенант Ульяшов, тот самый, что принял со своей ротой и приданным ему взводом сорокапяток мощнейший танковый удар, которым немцы, вознамерившись прорвать позиции батальона в центре и таким образом изолировать фланги, сразу хотели решить все дело. А Ульяшов выстоял, уничтожив двенадцать танков, а затем еще трижды отбивал атаки пехоты, поддержанные сильным минометным и артиллерийским огнем. Понятно, что из всех командиров, вызвавшихся возглавить отряд, именно на нем остановил свой выбор комбат — это было самое большее, что он мог сделать для людей, оставшихся прикрывать отход батальона.

И вот батальон ушел, и они остались одни. Впереди были немцы, а сзади — пустота, бездушное пространство, отъединявшее отряд от своих. Стало темнеть. Со всех сторон, гася краски, смазывая очертания, наплывали сумерки. Серая мгла окутала горизонт, стерла облака, неподвижно стоявшие над полоской леса, затопила поля, вплотную подобралась к ним. Нависла тревожная тишина. Острое чувство заброшенности охватило людей, притаившихся в полупустых, полуразрушенных окопах и траншеях.

Стараясь заглушить тоску, Козырев шепотом рассказывал Симовскому про свое довоенное житье-бытье. Он старался вспомнить самое приятное — как ухитрялся работать электромонтером в разных местах (попробуй сумей!) и какие были заработки — дай бог всякому!

— Если, к примеру, костюм надо было справить или еще что,— говорил Саша с жаром,— пожалуйста, только захоти. Покрутишься малость по воскресеньям — и дело в шляпе. И девочки были фартовые,— продолжал он, усмехаясь и вздыхая,— каких хотел, такие и были! Пойдешь в субботу на танцы в Сад имени Баумана, возьмешь, какая понравится, ну, потанцуешь там, разговоры, то-се... Первый раз действуешь так, по обстановке, а уж потом... Эх, была у меня одна, Зойкой звали, глазищи, как у кошки, зеленые, на фабрике «Буревестник» работала, как прижмется да поцелует, аж сердце заходится! Я уж и жениться надумал: присох к ней — и все тут! А тут армия, срок мой пришел. Так и не сладилось у нас — не успели. Всех баб забыл, а ее помню... Вернусь живой — женюсь на Зойке, вот те крест!

— А у меня, Саша, знаешь, такого ничего не было,— неожиданно сказал Симовский.

— Как не было?— изумился Козырев.— Это как же, выходит, ты и бабу не трогал?

— Есть у меня девушка,— сказал Симовский,— я ее люблю... Один раз поцеловал... Если бы не война, мы бы поженились.

«А если бы у нас с Таней все началось снова — день за днем, все сначала, и я бы знал, что будет война?— вдруг спросил себя Симовский.— Ну и что же,— ответил он себе.— Все было бы так же». Нет, он еще бережнее любил бы ее. «Удивительно,— продолжал думать он,— здесь, на войне, другой опыт, а мне кажется, что за эти месяцы, даже за последние дни я понял очень много о жизни вообще, о нас с Таней, о себе. Мы не торопились, потому что не могли иначе, боялись что-то спугнуть, иногда нас, то меня, то Таню, охватывала непонятная тревога. Каждая минута, когда мы были вместе, казалась нам очень большой, наполненной до краев, и все равно ощущение полноты жизни росло, а впереди было бесконечно много таких минут, а там, дальше, было что-то — где-то там, когда мы будем вместе. Значит, меня не убьют, не должны убить,— неожиданно утешил себя Симовский.— Ведь у нас с Таней самое главное впереди. И хватит об этом, а то еще накликаешь».

— Да, житуха была лучше не надо,— неожиданно заключил Козырев,— только не понимали мы этого — вот что! Эх, Яшка, друг, нам бы с тобой...— он оборвал

себя: суеверный страх заставил его замолчать, тут, на войне, не загадывают, а мысль после войны заявиться домой с Симовским показалась ему такой несбыточной, что Козыреву стало не по себе. Он гнал от себя мысль о смерти — надеялся, пронесет. Ну а если... Теперь-то он знал: чтобы не струсить, надо быть готовым и к смерти. Тут уж так: хочешь по совести, сумей устоять, когда придет твой час. У него сжималось сердце, когда помимо своей воли он все-таки думал об этом, как будто уже прощался с жизнью... Но нет, не может он, не должен погибнуть: есть у него один должок, самый главный, неоплаченный должок. Сейчас ему стало ясно — не Яшке рассказывал он свои байки, а себе, чтобы не думать об этом, главном, совесть заглушить. Вранье все это, что он тут наболтал про свое житье-бытье. Хоть оно и было, и девчонки, и заработки, а самого главного не сказал — выходит, вранье. Не сказал, как жили они с матерью, она надрывалась, а он прогуливал свои денежки, и жалко было иной раз мать, да жалость быстро проходила — разве мог он тогда что-нибудь понимать? Дружки да девочки — больше и знать ничего не хотел...

Козырев закрыл глаза, и ему представилась их комната на Малой Грузинской в трехэтажном домике-развалюхе, где они жили с матерью на втором этаже: стол посередине, накрытый клеенкой, под лампой с абажуром-самоделкой из ватмана, большой темный комод в углу, и на нем — старинные часы с маятником, кровать матери с высокой металлической спинкой и шишечками по бокам, застеленная белым одеялом с разводами, и его матрац на ножках под коричневым покрывалом, головой к окну, рядом этажерка, где не было книг, кроме учебника по электротехнике для техникумов и «Таинственного острова» Жюля Верна, а были его инструменты, паяльник, тисочки, напильники, нож для зачистки концов, мотки медной проволоки и всякое другое, что могло понадобиться для работы. И свет был какой-то чудной — не то день, не то вечер. И окно открыто, и оттуда с улицы ветерок, и ветки старой раскидистой липы, которая росла у самой стены, доставали до оконной рамы и заглядывали в окно. Он увидел эти ветки, от которых на полу дрожали легкие тени, так, будто только вошел в комнату, как всегда, первым делом взглянув на окно.

В разное время года и в разные дни он посматривал на это дерево, на эти ветки, и когда входил в комнату,

и когда утром просыпался, и когда просто так что-нибудь мастерил. От весны к лету листва на этих ветках чуть темнела, наливалась соками, с радостью отзываясь на каждый ветерок, входила в силу, пока в июле не достигала зенита своей жизни. В эту пору она уже ничего больше не хотела и шелестела неторопливо, с ленцой — спешить ей было некуда. Все уже было позади — и рождение, и рост, и красота. Ближе к осени листва начинала усыхать, желтеть, облетать. Она уже очень боялась ветра, встречала его мелкой дрожью, предчувствуя свои последние денечки. Глубокой осенью ветви были пустые, черные, скользкие. Ранним утром, в заморозки, они покрывались блестящей коркой изморози, с той поры Козырев начинал с нетерпением ждать, когда крупными хлопьями повалит первый настоящий снег и неузнаваемо преобразит все вокруг — улицу, дома, прохожих, покроет белым-белым пушистым слоем и само дерево, все его ветви.

Весной, когда распускались почки, особенно после первых дождей, вся комната наполнялась свежим горьковатым запахом, куда входил и запах влажной земли, когда только-только стаивает снег, и запах ветра над рекой. Это был запах воли, который вызывал какие-то неясные желания, и тянуло Саню в дальнюю дорогу, в неведомые края.

А какие края? Какие желания? Если бы он сам знал, чего хотел! Может, поэтому и шел к дружкам — по крайней мере, хоть душу отводили... Учиться было скучно, да и не получалось, семь классов, правда, окончил кое-как и еще курсы электромонтеров. Специальность была — а что еще надо? Выходит, что-то еще было надо. Вот только он не знал что... А сейчас, представив комнату, где они жили с матерью, сколько он себя помнил (отец умер, когда Саше не было года, мать говорила, от сердца), Козырев подумал: теперь-то он знает, что еще надо было! Да, знает! По совести жить надо было — вот что! Эх, если бы вернуть то время! Да ведь не вернешь, не поправишь...

Ему вдруг вспомнилось, как однажды он пришел домой пьяный, дело было зимой, он так и ввалился в комнату, весь в снегу. Мать, что-то приговаривая, бросилась к нему, он оттолкнул ее, сквозь пьяный туман он видел, как она крутилась вокруг него, пытаясь усадить, раздеть, а он не давался, куражился, его бросало из стороны в сторону, и ему нравилось это, нечаянно он

смахнул чашки со стола, повалил стул, а потом и сам так сильно покачнулся, что не удержался и плюхнулся на пол, разбив себе руку. Боль немного отрезвила его, но он все еще пытался продолжить игру, лег на живот и стал изображать пловца. Отфыркиваясь, он как бы плыл, но что-то уже мешало ему продолжать игру, и хотя пол слегка покачивался, но это был пол, а не вода, и состояние было противное, как всегда бывает, когда начинает проходить хмель, и что-то явно мешало ему. Он приподнялся на локте и увидел, сначала смутно, как через стекло, по которому текут струи дождя, а потом все яснее и яснее мать, сидящую за столом. Его удивило, что она там, за столом, а не около него,— была все время рядом, хватала, поддерживала, приговаривала, а тут, на тебе, сидит как ни в чем не бывало! Козырев встряхнул головой и попробовал получше всмотреться. Стекло, по которому бежал дождь, исчезло, и он теперь хорошо видел мать. Она сидела за столом, положив перед собой руки. Лицо ее было неподвижно — будто окаменело. Под светом висящей лампы отчетливо видны были глубокие морщины на лбу, вдоль щек, у рта. Глаза, ничего не видя, глядели в пространство, а по щекам текли слезы. Хмель соскочил с Козырева. Он с трудом поднялся, снял с себя пальто, пошатываясь, повесил его на гвоздь, сел на свою постель. «Мама...— позвал он тихонько и робко взглянул на нее.— Мама...» Она не отвечала и все так же невидящими глазами смотрела куда-то в одну точку, и все так же слезы безостановочно текли по ее морщинистым щекам...

Козырев так и не услышал ее голоса в этот вечер и сам не смог ничего сказать ей, не нашлось слов.

Он крепился, не пил, всю получку отдавал матери. Хватило его на месяц...

— Эх, Яшка...— вздохнул Козырев.— Не верь, что я наболтал. Дешевка это. Было, не было — все одно... Мать бы увидеть, прощения попросить, а там, раз судьба, и помирать можно.

— А ты письмо напиши,— сказал Симовский, сжав его руку.— Вот выйдем из боя — и напиши,— каким-то чутьем он угадал, что творилось в душе Козырева.— Мать... она всегда простит...

— Верно, Яшка, напишу,— обрадовался Саша и осекся.— Ну а если...— он положил руку на плечо Симовскому,— если со мной что... А ты жив будешь,

расскажешь матери, все как оно было, и еще скажешь — мол, сокрушался, что не жалел вас, Евдокия Федоровна, и последние, мол, мысли были про вас. Понял?

— Понял. Да ты и сам к ней придешь. Сам все и скажешь.

— Не крути. Говори — сделаешь?

— Обещаю, Саша. И помогать буду, пока буду жив.

— Ладно. Запомни адрес: Малая Грузинская, дом 23, квартира 11,— голос его дрогнул. Справившись с собой, Козырев спросил:— Повторить можешь?

Симовский повторил и, чуть помедлив, передал Козыреву листок, вырванный из записной книжки, которая всегда была при нем:

— Ну а если со мной... Здесь два адреса: один мой, где мать и отец, а другой Танин. Зайди туда и туда — не пожалеешь. Таню увидишь... А мама тебя таким чаем угостит, ахнешь...

— Ладно,— оборвал его Козырев, расстегивая шинель и пряча листок в карман гимнастерки.— Точка. Поговорили, и хватит.

Ему полегчало. Как будто выдернул больной зуб, который не давал покоя. А теперь оставалось одно: держаться, когда попрут немцы. Держаться до последнего.

Голос Козырева не мешал Симовскому думать о своем. Как много он не успел, не узнал, а ведь мог — жизнь была открыта, а в сутках целых двадцать четыре часа. Да, он жил хотя и жадно, но слишком беспечно, не считая минут, часов, дней, как будто им никогда не будет конца. Симовский ощутил эту нотку и у Козырева, когда он рассказывал свои байки, и Сашу мучило, что он жил не так, как надо.

Густой туман медленно наползал из низинки, со стороны поля, оттуда, где немцы. В сумерках было хорошо видно, как клубились и двигались белые волны тумана. Сырость пробирала до костей. Он почувствовал такую усталость, что не смог шевельнуть рукой. Привалился спиной к окопу, прикрыл глаза. Сейчас пойдут. А мы — встретим. Как будет — так будет. А славный парень Саша. Настоящий друг. Саша-сорванец, веселый, милый удалец... Саша, ты помнишь наши встречи, в приморском парке, на берегу... Это из песенки, голос Изабеллы Юрьевой. В воскресенье по Песочному переулку он несется из каждого окна... Симовский с усилием

заставляет себя открыть глаза. Какие-то мгновения он еще находится между забытьем и явью, но теперь уже тишина, глубокая настороженная тишина заставляет его окончательно прийти в себя. В матовых сумерках темнеет кусок поля, видно еще черное пятно сгоревшего танка, а дальше — сплошная вязкая мгла.

— Ну, сейчас они начнут,— голос у Козырева натянутый, вот-вот оборвется,— сейчас... Гутен морген, вот-так-так,— протянул он и усмехнулся:— У нас, знаешь, во дворе, у пацанов, дразнилка такая была... Вот тебе и гутен морген, здрасте, фашисты, мать вашу...

И вот тут-то обрушился грохочущий огненный шквал, качнулась, поехала земля, нестерпимый грохот залепил уши; закрутился едкий, дерущий горло дым, засвистел, опаляя лицо, каленый ветер — они оказались в самом пекле, на донышке, на пятачке, на кончике иголки, а кругом и над ними бушевал смерч, рвал, терзал землю, уничтожая все, что на ней.

Симовский почувствовал, что огонь перенесен в глубину, по слабеющим толчкам земли и, похоже, удаляющимся взрывам. Оглушенный, не ощущая своего тела, он попробовал приподняться. Спина не разгибалась, руки занемели, ноги не слушались, как чужие. Сейчас они пойдут, надо приготовиться. Кажется, он цел. А Саша? Как он? «Саша!— беззвучно позвал Симовский. Губы его не слушались.— Саша!»— крикнул он, но опять не услышал своего голоса. Выпрямиться, оглядеться.

— Саша!— крикнул Симовский, ему удалось наконец подняться, и он стоял, цепляясь за бруствер.— Ты как, жив?

— Живой, Яшка, друг, живой,— услышал Симовский хриплый, срывающийся голос Козырева, за эти долгие минуты артналета (может, пять, десять, а может, полчаса) горло высохло и язык занемел.

Грохот стих. В тишине стал слышен свист ветра. Посветлело. Вероятно, ветер отнес в сторону пыль и дым, а заодно разбросал туман. Сумерки, все те же сумерки, наглухо укутали их плотной серой ватой. Сколько же длился артналет? Симовский достал карманные часы-«луковку», приблизив к глазам, всмотрелся: без двадцати семь. Ровно пятнадцать минут. Ну, вот. Без двадцати семь. А до двадцати ноль-ноль, когда они могут уходить, целый час и еще целых двадцать минут.

— Эй, Яшка!— позвал Козырев.— Давай закурим, у меня тут заначка осталась.

Они шагнули друг к другу по узкому траншейному ходу, и Козырев протянул кисет и кусочек газеты для закрутки. Касаясь плечами, сели на корточки. Симовский осторожно взял кисет, ощущая мягкую шелковистую ткань. Его пальцы коснулись вышивки, какое-нибудь доброе пожелание — кисет был из тех, что присылали москвичи на фронт. Чаще всего на них было вышито: «Защитнику Москвы от Тани». Или Наташи. Но все равно от Тани. Она за всех напоминала им каждую минуту об их долге защищать Москву. Симовский свернул тонкую цигарку. Наклонившись, зажег спичку в ладонях, прикурил. Закрыв глаза и сделав три глубоких затяжки, отдал цигарку Козыреву. Затягиваясь, они оба инстинктивно прислушивались. Тишина. Но нет — оттуда, со стороны поля, доносится слабый гул. Поднялся ветер. Кругом сгущается темнота. Глухой провал обрывается в нескольких шагах.

С шипением прорезая вязкую мглу, в сторону немцев проносится белая ракета. В ее коротком мертвенно-томительном свете обнажается пустое пространство, взрытая земля, скорчившаяся фигура убитого немца. Опять белая ракета в другом конце (лейтенант Ульяшов знает свое дело!), и опять пусто, никого. В бледном гаснущем свете — черные пятна воронок, полоска чудом оставшейся нетронутой стерни и — никого. Еще ракета в самом центре — и вот они, под белым мертвенным светом, черные фигуры, на самой границе темноты и освещенного круга. А за ними — тени, колеблются, перекрещиваются.

Томительные секунды. Медленно догорает ракета. Идут, надвигаются, как во сне, черные фигуры. Один ряд, за ним второй, третий... Там, во тьме, где они возникают, их много. Тускнеет, съеживается и пропадает в темноте мерцающий белый круг. Как будто его и не было, и не было черных фигур, но сразу же острый огонек красной ракеты прорезает тьму и, ярко вспыхнув, повисает над полем, освещая идущие в кровавых отблесках цепи. Это не сон. Приготовиться. Они идут, приближаются, и надо стрелять, пока не занемели пальцы. Остается метров семьсот, а может, шестьсот. Фигуры приближаются, вырастают. Ну, лейтенант! Симовский, примериваясь, повел автоматом. Красная ракета не успела погаснуть, как еще одна ярко осветила

оказавшиеся неожиданно близко цепи немцев, и тут заработал пулемет в центре, там, где Ульяшов, и сразу же еще два на флангах, справа и слева.

Именно этот миг, когда прорвалось напряжение, остался в памяти у Симовского, потом все смешалось — вспышки ракет, фигуры в мерцающих отблесках, темнота (он лихорадочно меняет диск), горячий перестук пулеметов, какая-то частичка слуха ухватывает их торопливую перекличку в общем гуле (только бы не замолчали!), свист пуль, взрывы гранат, топот (опять пустой диск!), немцы залегли, пулеметы не дают им подняться. Стихает стрельба. Крик: беречь патроны! И опять все сначала — идут, падают, идут. Залегли. Это уже было — и не кончается...

Он бросает последнюю гранату. Автоматная очередь над головой. Перед ним в красном отблеске вырастает немец. Чуть дернулся автомат в руках, немец приседает и валится набок. Темнота. Они с Козыревым, сжимая автоматы, стоят, прижавшись спинами к стенке траншеи. Патронов больше нет. Стрельба перекатывается по цепи — в одном месте, в другом. Пулемет бьет только справа. Вспышка ракеты. Впереди — скрюченная фигура немца. За ним — никого. Сзади подряд две короткие автоматные очереди. Обошли? Они бегут по траншее туда, где трещит пулемет...

Потом — провал. Что-то мелькает. Темные пятна, просвет, темные пятна. Длинная автоматная очередь, свист пуль. Воздух все горячей, и молот стучит, стучит, что-то тащит их вниз, вскрик Козырева. Держась друг за друга, они взбираются наверх, под ногами с шумом осыпается земля, падают, поднимаются. И молот стучит, громче, громче, заполняет все вокруг, сейчас сердце разорвется, и воздуха уже нет, они падают лицом вниз — и опять провал...

Овражек оказался неглубоким и узким. Поминутно останавливаясь и вслушиваясь, они сделали несколько шагов и почувствовали, что тропинка полого поднимается вверх. Тишина. Шорохи. Тропинка кончилась, под ногами зашуршали листья, ворохи листьев. Привыкнув к полутьме, они установили, что находятся на поляне, впереди, в нескольких метрах — деревья, сзади, чуть ниже, овраг, из которого они выбрались, полукруг темной полосы за ним — дорога, дальше — поле. Бой был там, в той стороне, где горит сено. Как же все кончилось?

— Опять мы одни...— Голос у Козырева сорвался, отвечая каким-то своим мыслям, проговорил:— Ничего... Одолеем... А здорово ты его...

И Симовский вдруг вспомнил: они не успели добежать до пулемета, как навстречу посыпалась длинная автоматная очередь, они присели, и тут, стреляя на ходу, немец в двух шагах от них влетел в траншею — пули просвистели над ними,— пустив веером еще очередь, немец замер, прислушиваясь. Он стоял так близко, что слышалось его хриплое дыхание. Потом шагнул к ним, все решала секунда, Симовский снизу с маху ударил прикладом, попал в горло или челюсть, солдат покачнулся, Козырев прыгнул на него, они упали, сверху Козырев, а потом снова мелькания, свист пуль... Они бежали к пулемету, там, где он должен был бы быть, и попадали под перекрестный огонь, бросались на землю, снова бежали...

Симовский не мог вспомнить, как они попали в овраг. И вот они одни. А Ульяшов? А другие? Неужели погибли все?

— Надо в лес,— сказал Козырев.— Ничего. Проберемся...

Симовский промолчал, а Козырев неожиданно прибавил:

— Двадцать пятьдесят. Считай, девять. А приказ — держаться до восьми. Выходит, задачу мы выполнили. Понял — выполнили...

Домашний телефон академика Валентины Александровны Астаховой Женя в одну минуту нашел в академическом справочнике. Но беда в том, что телефон не отвечал. На кафедре истории в университете ему сказали, что Валентина Александровна лекций давно не читает (как-никак ей далеко за семьдесят), а лишь иногда, да и то редко, выступает оппонентом на защите докторских диссертаций. Так что лучше всего зайти в академический Институт истории СССР — там-то уж наверняка знают. Но и в институте Женя не добился бы толку (по-видимому, Астахова просила не сообщать, как ее найти), если бы над ним не сжалилась случайно оказавшаяся рядом милая старушка божий одуванчик, работавшая много лет вместе с Астаховой и, как выяснилось, ее близкая приятельница. Вот она-то, дотошно расспросив Женю, какое у него к Валентине Александ-

ровне дело, сообщила, что Астахова на несколько месяцев уехала в Новосибирск, а точнее, в Академгородок под Новосибирском. «Видите ли, молодой человек,— прибавила старушка — божий одуванчик,— Валя, то есть Валентина Александровна, хотела я сказать, не только выдающийся ученый, чьи работы признаны во всем мире, но и бабка... Да, да, не удивляйтесь,— с энтузиазмом продолжала она,— Валя стала бабкой! Поздновато, конечно, она уже много лет мечтала о внуке, да что поделаешь? Так уж получилось... Но стоит ли понапрасну огорчаться из-за этого, не лучше ли радоваться свершившемуся?»— обратилась старушка к Жене, который немедленно подтвердил, что безусловно разумнее радоваться свершившемуся. Тут старушка — божий одуванчик вдруг хитровато взглянула на Женю: «А вы, молодой человек, небось подумали — к чему это она, то есть я, плетет про бабку да внука, уж не выжила ли из ума старушенция? Признайтесь, подумали?»— Женя бурно запротестовал, но она прервала его: «Полно, полно... По глазам вижу, что подумали! А я и не сержусь на вас за это. Так вот знайте: Валентина Александровна уехала к дочери в Новосибирск нянчить внука!» Сделав это сенсационное сообщение, старушка — божий одуванчик умолкла, как бы давая возможность осмыслить сей невероятный для общественности факт: академик, ученый с мировым именем, уехала за тысячи километров нянчить внука! Женя с удовольствием ей подыграл, изобразив на своем лице немое потрясение. Насладившись произведенным эффектом, она сказала: «Суть, однако, в том, милый Евгений Владимирович (смотри-ка, с одного разу запомнила его имя-отчество, которое он пробурчал в начале разговора, и заменила им «молодого человека», признала, что ли?), что полностью посвятить себя внуку ей не удастся. Готова держать пари — не удастся. В Академгородке есть университет, и ее уговорят — вы уж не сомневайтесь, уговорят — то ли курс лекций прочитать, то ли семинар для преподавателей провести. А у нее — сердце. Ей нельзя... А собственно, зачем я вам все это говорю?— оборвала она себя.— Ах да, вот что: сдается мне, вы ей понравитесь, дело ваше, Евгений Владимирович, благое... Работа ее ученика, погибшего на войне, не может оставить Валю равнодушной». Старушка замолчала, и Женя спросил: «Значит, она меня не прогонит?»— «Поезжайте, голубчик, поезжайте... Или лучше — сна-

чала напишите письмо. Только, знаете, подробное, ясное, и постарайтесь, голубчик, без ошибок...» Передав Жене адрес, старушка сказала: «Да, вот еще что...— Она замялась.— Валина дочь, Ксения, геолог, работает в Институте геологии Академгородка, Ксаночка человек хороший, вы вполне можете на нее положиться. А вот ее муж, зять Вали... Он, знаете ли, историк, вернее, таковым себя считает,— доцент, кандидат исторических наук, преподает в тамошнем университете. Говорят, человек энергичный, способный — так вы уж лучше без него... Прямо с Валентиной Александровной. Ну...— старушка протянула Жене сухую маленькую ручку и снова хитровато взглянула на него снизу вверх своими выцветшими, когда-то, вероятно, синими глазами,— желаю успеха, и можете, молодой человек, забыть все, что я вам наговорила...»— С тем она и ушла, оставив Женю одного в институтском коридоре.

Странная старушка, похоже, она его и прощупывала и слегка поддразнивала, а впрочем, весьма симпатичная, если ради него нарушила запрет, дала адрес своей Вали, да еще сообщила, чего, может, и не следовало сообщать,— значит, она его одобрила, и все будет в порядке. Надо только все в точности исполнить, как она советует: написать письмо (без ошибок), а приехав туда, явиться к Валентине Александровне.

В тот же вечер Женя отправил письмо в Новосибирск, в Академгородок. В ожидании ответа, который он рассчитывал получить недельки через две, Женя решил прозондировать в журнале возможность командировки в Новосибирск. Он был даже несколько обескуражен, когда все устроилось буквально в пять минут. «Академгородок?— спросил Михаил Петрович, ответсекретарь, полный мужчина в возрасте, с румяным лицом, живыми голубыми глазами и седой головой.— Правильно. Давно пора туда съездить. Вот где для нас масса интересного! А в вашем отделе сиднем сидят — не раскачаешь. Сколько раз я говорил: поезжайте, прикоснетесь к большим делам, хлебнете свежего воздуха — куда там! Закажут одну статью — на том все и кончается. А между тем Сибирское отделение Академии наук СССР — явление уникальное, своего рода феномен: в Сибири, где разворачивается гигантское строительство, где ведутся крупнейшие в мире разработки энергетических ресурсов,— влияние науки, ее достижений на развитие производительных сил самое

прямое и непосредственное.— Ответсекретарь распалялся все больше и больше.— Вы мне скажете: обо всем этом писалось, и не раз. И чего старик ломится в открытую дверь? (Женя помотал головой: дескать, нет, не скажу.) Скажете!— с торжеством провозгласил ответсекретарь.— А я вам отвечу: писали, да не так — поверхностно, репортажно. А надо изучить, исследовать, осмыслить...— он остановился, как бы взвешивая пришедшую в голову мысль.— Послушайте, Евгений Владимирович, а что, если организовать в Академгородке «круглый стол» на тему о взаимовлиянии науки и производства с участием ученых, производственников и работников Госплана, а?— Женя не успел и рта раскрыть, как ответсекретарь тут же оценил свою идею:— По-моему, неплохая мысль! Здесь еще (он постучал пальцами по седой голове) кое-что есть. Я не говорю, что это просто: поехали и сделали. Отнюдь нет! Надо найти новый поворот темы, точно ее сформулировать, тщательно продумать аспект разговора... А главное, правильно выбрать интересных людей... Как видите, работы хватит. Но ей-богу, дело того стоит! Если шеф даст «добро» — запустим. Может получиться интересный разговор.— Энтузиазм ответсекретаря стал несколько иссякать, вероятно, представил себе реальные сложности этого предприятия. Тем не менее сдавать позиции он не собирался.— Итак, дней десять вам хватит, чтобы произвести соответствующую разведку?— осведомился он.— Ну и прекрасно. (Женя опять не успел ответить.) Словом, в путь. Перед отъездом зайдите, кое-что уточним».

Самое удивительное, что для обоснования своего предложения Женя так и не успел выговорить ни единого слова. Ответсекретарь в этом не нуждался. Все, что мог сказать Женя, он знал заранее. Потрясающих идей у него и самого было предостаточно — вот только реализовывать их было некому. Он слыл мудрецом, знающим свое дело журналистом, хотя злые языки говорили, что он сроду заметки не написал. Впрочем, на его посту это было и не нужно, даже, пожалуй, вредно: мешало бы основной работе. (Заметим от себя, что собственные писания всегда и везде мешают основной работе.) Во всяком случае, Виктор Палыч Ожогин, стоявший у кормила журнала, весьма ценил своего ответсекретаря. А уж он-то хорошо знал, кто есть кто, зачем и для чего в редакционном коллективе. Широкий

жест ответсекретаря Женю и восхитил и озадачил: целых десять дней командировки в Сибирь только на одну разведку темы! Так можно жить и работать! Надо сказать, что в журнале Женю никто не торопил, не дергал: мол, вживайся, осваивайся, учись работать вдумчиво, основательно, смотреть вперед. Единственное, что ему поручили на первых порах, это заказать очерк, который планировался через три номера. Тема его была обговорена, список возможных авторов намечен. Оставалось звонить, договариваться, упрашивать. Список начинался с самых именитых писателей, потом шли рангом пониже, потом еще пониже, а дальше уж те, кто обычно охотно откликался на просьбу редакции. С телефонных разговоров Женя и начинал свой рабочий день. В перерывах между звонками читал адресованную ему заведующим отделом редакционную почту, писал ответы... Нет-нет, а мысль, что он работает в этом журнале, заставляла его выпрямляться над столом и оглядываться: не сон ли? О своем очерке, который проходил уготованный ему путь на редакционном конвейере, Женя пока помалкивал — хотел испытать судьбу. Между прочим, очерк, вероятно, лежит себе среди других папок и рукописей на письменном столе рецензента, ждет, пока рецензент не соизволит прочитать... Впрочем, Женя подумал об этом однажды, лишь мимоходом. Другое, совсем другое занимало его последние две недели, и в том, что он так рьяно взялся за работу, было не только желание не оскандалиться на новом месте, но еще и отвлечься от точивших его душу мыслей. Иногда у Жени возникало ощущение, что он ходит, разговаривает, играя какую-то роль, на самом же деле живет совсем другой жизнью, где нет никакого журнала, а есть он и Яна, и самое главное — разобраться, понять, что происходит с Яной.

Читатель, конечно, догадался, что Женя полюбил со всей силой своего молодого сердца, полюбил навек (несмотря на утверждения скептиков, будто нет ничего вечного под луной), что жизнь для него без Яны не жизнь и что Яна, увы, не отвечает ему тем же. Но это бы еще полбеды: не отвечает, так, по крайней мере, оставалась надежда, что когда-нибудь да ответит — ждать Женя был готов хоть сто лет (сто лет одиночества), но Яна лишила его и этой надежды. Две недели назад сама позвонила, предложила встретиться. Голос у нее был сухой, и у Жени заранее екнуло сердце.

Они встретились у ее дома и отправились в парк. Было пустынно, тихо. По знакомым дорожкам, засыпанным потемневшими бурыми листьями, пошли через лесок к пруду. Пахло прелью. Накрапывал дождь — не тот солнечный летний, безоглядный, обещавший все, который пролился, когда Женя впервые заявился в Песочный,— а нудный, серенький, бездушный. Над прудом открылось небо, сплошь затянутое неподвижными тучами. Яна была не то что чужая, а какая-то тихая, пришибленная. Может, и ночь не спала, бледная, под глазами синяки. Женя взял ее под руку, она вздрогнула, чуть отстранилась, глядя в землю, проговорила: «Ты догадался, что я хочу тебе сказать?» Женя молча пожал плечами. «Ну, хорошо, конечно, я сама должна...— Она помедлила.— Мы с тобой больше не должны встречаться. Я выхожу замуж». У Жени все похолодело внутри. Смысл слов доходил до него медленно, будто пробиваясь сквозь плотный туман. Он продолжал молчать, и Яна, все так же не поднимая глаз, прибавила: «Да, я понимаю, ты вправе спросить, почему я раньше не сказала. Прости... Мне казалось, Женя, что наши отношения с тобой чисто дружеские. А потом, когда поняла, что ты... Словом, когда поняла, долго не могла тебе сказать, не получалось». Она поежилась, словно ей стало холодно, еще ниже опустила голову. «Замуж,— повторил про себя Женя,— вот оно, значит, что. Замуж». Словечко это, как стержень с бритвенно-острыми гранями, поворачивалось и так и сяк — и каждый раз без пощады полосовало по живому.

Видно, и Яне было несладко, крепилась, как могла, но решила все сказать. С паузами, остановками продолжала: «Тебе больно, ну, прости меня. И мне нелегко, поверь... Я скоро уеду, далеко уеду, и ты меня забудешь. Все забывается, все...» Яна еще что-то говорила, Женя плохо слышал. В какой-то момент она подняла на него глаза, испугалась: «Женя, Женя, очнись. Бедный ты мой, бедный! Да мне-то что делать?»—«Когда?— без голоса, одними губами, спросил Женя.— Когда ты выходишь...» — «Не знаю. Скоро. Очень скоро.— Яна потащила его обратно.— Скоро. Очень скоро...»— бормотала она на ходу. «Прощай,— это Яна сказала, когда он уже садился в вагон метро.— Прощай!»

Весь следующий день Женя просидел за своим столом в редакции, уставившись в одну точку. Потом, не-

много придя в себя, стал вспоминать этот разговор. Возникали отдельные слова, но Женя как бы не слышал их, они не имели никакого значения по сравнению с одним — замуж...

Тяжко, тяжко пришлось Жене, многие невыносимо горькие часы пережил он! И все же он не сдавался: что-то побуждало его, теперь уже взвешивая каждое словечко, вспоминать все, что Яна сказала ему в парке. Одна за другой в памяти всплывали незамеченные раньше подробности — безнадежность в голосе, с какой Яна произнесла «я выхожу замуж», ее отчаяние, когда она воскликнула: «Да мне-то что делать?» И печаль, да, печаль, в словах: «Ты меня забудешь...» И чем напряженнее Женя чутким внутренним слухом вслушивался в интонацию Яны, в ее голос, тем очевиднее становилось ее душевная смятенность и тем отчетливее проявлялось невысказанное, стоявшее за словами... И росла уверенность: он обязательно должен еще раз ее увидеть, заглянуть в глаза, спросить...

Да, это была надежда, она засветилась не сразу, как слабый маленький огонек, готовый вот-вот погаснуть, но Женя сберег его, и огонек разгорался. Редакционный стол, за которым сидел Женя, стоял у окна. Не сходя с места, Женя видел серое пасмурное небо, а если встать и подойти к окну, открывался чудом сохранившийся в центре Москвы узенький переулок, обсаженный облетевшими липами, с ворохами листьев, которые гнал ветер по мостовой, с нахохлившимися прохожими, шагающими по мокрому тротуару, с автомашинами, заехавшими сюда как бы по недоразумению... Да ведь вот как бывает: именно в один из таких моментов, когда Женя безучастно созерцал неведомо куда и откуда бредущих людей под дождем, голые деревья, мокрые листья на мостовой, его как током ударило — надо действовать! И начать с того, что еще раз объясниться. Нет, он не обманывает себя: Яне нелегко дался этот разговор с ним, это ясно. Может быть, она была вынуждена так поступить? Мало ли что бывает на свете? Но ему ничего не страшно — что бы ни произошло, какие бы обстоятельства ни давили на Яну, он не отступится. Неужели два современных, свободных от предрассудков человека не могут честно и прямо выяснить отношения? Безошибочный этот аргумент был так очевиден, что Женя удивился, как раньше он не приходил ему в голову. Но как это сделать? Позвонить? Яна мо-

жет повесить трубку, да и вообще по телефону легко отказать. Подстеречь на улице? Разыскать в университете? Пожалуй, так лучше всего. Не захочет разговаривать — настоять, упросить. Не получится — попытаться снова, до тех пор, пока она не сдастся.

В этот момент раздался телефонный звонок. «Салют, Неподкупный. Это я. Ну, как ты там трепыхаешься? Нормально? Прекрасно!— Юра (это был он) благодушно посмеивался.— Ты у нас теперь, можно сказать, в самой гуще, как советская литература — на подъеме? Замечательно! А что-то голос у тебя не того... Показалось? Ну-ну. Смотри, тореадорские замашки свои брось. Учти, ты мой ставленник».—«Пошел ты знаешь куда!— рявкнул Женя.— Тоже мне кардинал Ришелье объявился».—«Ладно, ладно, больно ты стал нервный, шуток не понимаешь». А что, если посоветоваться с Юркой, подумал Женя, только с Яной знакомить нельзя — отпугнет... Вслух Женя сказал: «Ну а ты-то как — шуруешь?»—«Есть немного. Кстати, как у тебя с «Рукописью, найденной под книжной полкой»?»—«Двигается помаленьку. Нашел главное лицо — ту самую Таню сорок первого года».—«Представляю»,— хмыкнул Юра. «Ничего ты не представляешь, мой маленький капрал. Давай уж лучше про другое».—«Извини. А все-таки, Неподкупный, ты молоток. Разыскал. А дальше-то что?»—«А дальше махну в Новосибирск к академику Астаховой, как только получу от нее ответ на свое письмо».—«Это другой разговор. Это уровень,— ответил Юра.— Одобряю. Держи меня в курсе, в случае чего. Однако я заболтался. Я ведь звоню по делу».—«Да, ну,— протянул Женя,— как интересно! Мы тебя слушаем». «Так вот, завтра — запомни, завтра, одиннадцатого октября...— Юра сделал паузу.— Что нас с тобой ждет одиннадцатого октября? Молчишь? Память у тебя, братишка, подгуляла. Нехорошо-с. Ладно, скажу. Нас с тобой ждет скромный банкет по поводу Наташкиного тезоименитства, или, скажем проще, дня рождения».—«Вот те на...— протянул Женя.— Уж не круглая ли дата?»—«Именно. Четвертак разменивает. Стареем, брат, стареем»,— вздохнул Юра. «Почту за честь,— сказал Женя.— Передайте, мой милый, Натали, что буду. Непременно буду».—«Заметано.— Юра перешел на привычный деловой тон:— Завтра, часиков этак в половине седьмого, мы с Наташкой заедем за тобой в контору. Кстати, уви-

дишь своего благодетеля, некоего влиятельного молодого человека, способствовавшего твоему возвышению»,— и, чтобы не слышать крепких Женькиных выражений, Юра повесил трубку.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Трогай, братец!— пробормотал Женя, усевшись на заднее сиденье.

— С вас зелененькая, барин,— подыграл Юра,— овес нынче дорог.

Он дал газ, и машина плавно покатилась по переулку. Наташка, сидевшая рядом с Юрой, обернулась:

— Ну, здравствуй, чижик! Давно я тебя не видела, с тех самых пор. Как ты?

— Трепыхаюсь помаленьку,— пожал плечами Женя,— а ты?

— Как видишь, старею.

— Тогда прими, сестренка, от чистого сердца — и дай тебе бог!— Женя сдернул бумагу и протянул букет алых роз. Это было так неожиданно, что Юра аж крякнул. Машина дернулась и остановилась перед светофором, как раз при въезде на Трубную площадь.

— Спасибо, милый. Какие розы!— Наташка наклонилась и взъерошила Жене волосы.— Ах ты, чижик! Вот уж обрадовал...

— Но, но...— бросил Юра через плечо.— Не прикасайся к одинокому интересному мужчине.

— Я не мужчина,— вздохнул Женя,— я влюбленный в штанах.

— Влюбленный?— изумилась Наташка.— А глаза грустные. Смотри-ка, Юр, а ведь он и вправду влюбился!

— И тайком от коллектива,— немедленно включился Юра,— тихой сапой. Не выйдет, товарищ Сухарев, не выйдет!

Пусть себе позубоскалит, подумал Женя. Все-таки ему стало легче, когда он сказал. Яну их болтовня не коснется. Она существовала как бы в другом мире, в другом измерении.

— Поздравляю,— сказала Наташа.— Твоей избраннице можно позавидовать.— Она наклонилась над розами, вдыхая их запах.

— Ох, Наташка!— как бы подхватывая шутку насчет зависти, откликнулся Женя.— Твоими устами да мед пить! Ты моей избраннице завидуешь, а она себе — нет! И на этом, господа, поставим точку.

— Ну уж нет! Никаких точек. Расколем,— пообещал Юра.

— Чем кивать на других, лучше пусть товарищ расскажет о себе,— произнес Женя тоном, каким бросают реплики на собрании из задних рядов.

— Где уж нам, дуракам, чай пить...

— Не прибедняйся, мой мальчик, иногда у тебя получается.

— Тьфу, тьфу, не сглазить...— Юра поплевал через левое плечо и сбавил скорость.— Ну вот, мы и подъезжаем. Учти, Евгений, торжество состоится в клубном ресторане творческого союза, так что веди себя прилично, ноги на стол не клади, нож держи в правой, вилку в левой...— он хмыкнул.— На первый раз, пожалуй, этого хватит.

Машина впритирку подошла к тротуару и остановилась.

— Приехали!— провозгласил Юра.

— Ух ты!— восхитился Женя, увидев красивый старинный особняк, который он хорошо знал.

Юра, кажется, клюнул:

— Ты что — впервой?— И, не получив ответа, заметил:— Ничего себе домик. Жили же люди. Говорят, здесь некогда собирались масоны. Впрочем, сие не так важно. Главное, что прилично кормят.

Они вошли в ярко освещенный вестибюль (Юра дружески кивнул сидящей у входа за столиком почтенной даме, она улыбнулась в ответ) и направились к гардеробу.

Вестибюль был отделан в современном стиле, без затей, и мысли о таинственных собраниях масонов, которые лет сто пятьдесят назад проходили в этом доме, как-то невольно исчезали, тем более что кругом толпились люди века нынешнего, конца семидесятых, нарядные полные женщины в золотых кольцах, некурящие мужчины, никогда не забывающие об утренней зарядке, пьющие тоненькие девушки, сидящие на диете, и молодые герои с длинными волосами а ля Шиллер, в джинсах, кожаных пиджаках, свитерах, а некоторые даже в обычных, распространенных у большей части населе-

ния костюмах, при галстуках, что выдавало их некоторую отсталость.

Сдав свои плащи вежливому гардеробщику с красным лицом и седой головой, Женя и Наташа вслед за Юрой проследовали через просторный холл прямехонько в ресторан и остановились на пороге, где подошла к ним, радушно улыбаясь, дородная женщина в возрасте, но не так, чтобы уж очень в возрасте, и Юра весьма галантно приложился к ее полной ручке. Дородная женщина оказалась метром и лично привела всю компанию к столу, красиво сервированному на пять персон, стоящему в уголке под цветным фонарем. Пожелав приятного вечера, дородная женщина-метр удалилась. Не успели они усесться — Наташа во главе стола, Юра — справа от нее, Женя — слева, как к ним подошла симпатичная официантка, поздоровалась и осведомилась у Юры, все ли в порядке и не нужно ли чего. Наташа спросила, нельзя ли поставить розы в воду. Конечно, можно, ответила официантка, какие замечательные розы, а как пахнут! Лично она тоже больше всех других цветов обожает розы — красивее их нет ничего на свете! С этими словами официантка ушла и очень скоро вернулась, держа в руках вазу, наполненную водой.

— Ну-с,— сказал Юра, окидывая довольным взглядом уставленный закусками стол и в то же время сохраняя на лице индифферентное выражение,— не поднять ли нам за нашу дорогую и обожаемую Наталию Вячеславну?

— Поднять, поднять,— сказала Наташа.

Юра повернулся к Наташе и с рюмкой в руке, глядя в глаза, произнес:

— Будь! Будешь ты,— голос его чуть съехал,— буду и я.

— Ух ты!— проговорила Наташа. Она пригубила рюмку, наклонилась, поцеловала Юру в висок, добавила:— Тогда я буду. Обещаю,— достала из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой, закурила.

Сквозь дымок Женя поглядывал на Наташу. Во всей ее осанке, в легких линиях шеи, спины, даже в том, как она курила,— медленным движением поднося сигарету ко рту, затем откидывая голову и не спеша выпуская дым,— было что-то основательное, надежное и одновременно изящное, бесконечно женственное. Самостоятельная женщина. Стройная и смелая. С тонки-

ми руками и твердым характером. Пока она будет, Юрка не пропадет, и в болото не скатится со своими административно-завхозовскими замашками.

— О чем задумался?— повернулась к нему Наташа, и ее темные глаза с золотистой глубиной в самых зрачках пристально взглянули на него.

— Твоя взяла,— сказал Женя.

— Предатель,— заметил Юра, тотчас догадавшийся, о чем речь.— И запомни: у нас нет побежденных. У нас мир да любовь!— Он взглянул на часы.— Однако, пора бы уж им... Терпеть не могу, когда опаздывают.

Женя откинулся на стуле и внимательно оглядел зал. Что ж, когда-то, лет сто пятьдесят назад, здесь вполне можно было провести ритуал приема в масоны — место подходящее. Сквозь праздничный блеск люстры, ярко освещающей центр зала, уставленного столиками, за которыми сидели разгоряченные вином и вкусной едой люди, сквозь легкий гул голосов, звяканье ножей и вилок, шарканье шагов снующих официанток все же проступала исконная сосредоточенная мрачность зала, созданного для тишины и негромких собраний при свечах. Стены его снизу до высоты человеческого роста были отделаны черным резным дубом, а выше до самого потолка шло холодное белое пространство, ничто, из которого как бы появлялось несколько темных пятен — это были картины в тяжелых рамах, изображавшие пейзажи и сцены охоты с собаками и всадниками. На противоположной от Жени стене, высоко над полом архитектор расположил близко друг к другу два узких вытянутых окна с арочными закруглениями и цветными витражами. А с другой стороны витая лестница с перилами из того же черного дуба вела на хоры — под ними в самом центре возвышался необыкновенно красивый камин, облицованный черным мрамором. Стол, за которым они сидели, находился как раз под хорами, в уголке, и камин оказался чуть сзади и слева от них. Нетрудно вообразить, как в нем пылал огонь и в пустом полутемном зале мерцали и шевелились на стенах отблески пламени. По витой лестнице медленно спускались члены ложи, предшествуемые самым юным из них, державшим свечу, а спустя некоторое время из высокой двери, что на левой стороне, вводили человека с завязанными глазами и оставляли одного в середине зала... У Толстого со всеми подроб-

ностями описано, кажется, по-другому, подумал Женя (он лишь смутно помнил, что Пьера куда-то вели с завязанными глазами, потом он отвечал на вопросы, смело шагнул вперед, грудью на острия шпаг, а шпаги отодвинулись), да у Толстого не совсем так, как он сейчас представил себе, но не в том суть — важно, что в этом зале такое могло быть.

Взяв сигарету, Женя закурил и уже другим, то есть самым обыкновенным взглядом, не без любопытства, но уж, во всяком случае, начисто лишенным какого-либо мистического прозрения, скользнул по лицам сидящих в ресторане людей.

Что же увидел Женя? За одним столом, составленным из двух, заседала довольно шумная разнокалиберная компания: молодой человек со своей девушкой, дама неопределенного возраста с бесцветным лицом, держащая в руке дымящуюся сигарету, и четверо мужчин, далеко не молодых, один из которых, со спутанной седой шевелюрой, глухим голосом читал стихи. Он был пьян больше всех и уже, вероятно, не замечал никого и ничего, но стихи требовали выхода. Молодой человек делал вид, что слушает стихи, шумно восторгался, а сам переглядывался с девушкой: ну, как? То-то же. Знай, мол, наших... Во время пауз он разливал водку, поднимал рюмку, требуя слова,— похоже, он-то и был хозяином стола и угощал живым, настоящим поэтом свою девушку. Недалеко от них сидели люди совсем другого разбора, солидные, уверенные в себе, чуть-чуть навеселе, но разговор у них шел, по-видимому, серьезный, хоть и со смешками, и чокались они без излишней ажитации, слегка небрежно. За ними в уголке ворковали двое голубков...

Жене вдруг стало скучно. С ним такое случалось, когда то, что происходило на его глазах, неожиданно теряло для него всякий интерес, как бы изживало себя. Особенно часто бывало это в шумных компаниях. В разгар веселья, когда уже изрядно выпито и жизнь представляется проще, ежели не мудрствовать лукаво, ему вдруг начинало казаться, что все играют дурной спектакль, изо всех сил стараясь показать, как им хорошо («хорошо сидим!») да интересно, хотя на самом деле все известно наперед, самообман улетучивается после первых же минут общего гама, и каждый на свой лад стремится заглушить в себе желание послать всех к черту, но смеется еще громче и требует немедля сооб-

ща «дерябнуть», «шарахнуть», «вздрогнуть» и т. д. Нечто подобное этому ощущению испытал Женя, трезвым (или, скажем, почти трезвым) взглядом окидывая ресторан. Но тут Юра, сидевший вполоборота к двери, дабы не пропустить своих гостей, приподнялся и махнул кому-то рукой, при этом физиономия его расплылась в довольной улыбке: «Наконец-то!» Повернулся к двери и Женя и — увидел идущую к ним Яну.

Да, к их столику, улыбаясь, шла Яна, не привидение, не мираж, а она сама, собственной персоной, в легком светлом платье без рукавов, тонкая, высокая, зеленоглазая. Сердце у Жени стукнуло, все смешалось и поплыло перед глазами. Длилось это, вероятно, один миг. И в тот самый момент, когда из мешанины огней, лиц и голосов как бы выплыла Яна, Женя встретил ее взгляд. Смятение, радость, страх словно бы одновременно промелькнули в ее глазах. Она продолжала улыбаться, но улыбка ее застыла, и лицо стало белым, без кровинки. Женя ощутил всей кожей, как сжалось ее сердце и каких усилий стоит ей эта улыбка. Он поднялся ей навстречу, чтобы помочь, поддержать, и только сейчас увидел высокого парня, идущего чуть сзади и так же улыбавшегося Юрке. Парень был видный, в джинсах, модном синем батнике, кожаном пиджаке, светловолосый и быстроглазый, парень не промах, ну и черт с ним! Женя видел, как с застывшей улыбкой подходила Яна, а парень появился, и тотчас его как бы не стало, хотя Женя ощущал его присутствие: он что-то говорил Юрке, Наташе.

Яна расцеловалась с Наташей, протянула руку Юрке, а затем ему: «Здравствуй, Женя. Вот нечаянная встреча». «Вы знакомы?»— удивилась Наташа. «Знакомы, знакомы, как же!»— проговорила Яна с таким видом, будто и не могло быть иначе. Женя понял: Яне легче, естественней представить Женю как старого знакомого, допустим, друга детства. «Тысячу лет,— пробормотал он,— в детский садик вместе ходили». Он слегка сжал ее холодную безжизненную руку, но рука эта не ответила ему. Яна поспешила сесть на стул, пододвинутый ее спутником, тем самым, за которого она собиралась выйти замуж. «Да неужели?— подумала Наташа.— Неужели Яна? Вот, значит, в кого он влюбился! Бедный чижик!» Она перевела взгляд на Яну. Улыбаясь, Яна что-то говорила Юре. Наташе почудилась напряженность в ее лице. Но скорее всего — почу-

дилась. С Яной такое случалось: лицо ее неожиданно замыкалось, взгляд уходил в себя. При этом она могла механически слушать, кивать головой, даже произносить какие-то слова.

— Андрей,— назвался спутник Яны, пожимая руку Жене.— А я вас знаю. Если не ошибаюсь, вы и есть тот самый хороший человек, которого рекомендовал в журнал наш друг Юрий Сергеевич?

— Он самый,— отозвался Юра,— с него причитается.

— Да уж придется!— со смешком подхватил, усаживаясь, Андрей.— Между прочим, по первым разведданным, все у вас идет хорошо. Начальство довольно.

— Фирма гарантирует качество!— сказал Юра.— Можете обращаться и впредь!— он вздохнул.— Итак, есть предложение продолжить. Прошу наполнить бокалы. Давайте стоя за здоровье нашей боярыни-государыни! Будь, старушка, будь!

— Будь здорова, Наташа! Желаю тебе сама знаешь чего!— Яна произнесла это весело, с искрой в глазах. («Как играет, как играет! А может, вовсе и не играет? Может, она и не бледнела, и сердце у нее не застучало, и ноги не подкашивались, когда она увидела меня»,— подумал Женя.)

— Цвети, Натали! Оставайся всегда такой красивой, ибо красивей быть невозможно! И береги мужа, надежду и гордость советской науки!— Андрей потянулся к Наташе, чокнулся как бы с особым чувством, выпил. (Скажите пожалуйста, промычал какую-то чепуховину и доволен! А еще туда же — в мужья набивается!)

— Эхма, хорошо пошла!— проговорил Юра.— Дернем-ка еще по одной. Тут главное — темп...

— Не гони картину,— отозвался Андрей.— Дай закусить. Ого, аж глаза разбегаются. Дирекция, я смотрю, не останавливается ни перед какими затратами.

— Гулять так гулять!— хмыкнул Юра, окидывая довольным взглядом уставленный закусками стол.

И надо признать, что похвала Андрея была заслуженна, ибо дирекция в лице Юры действительно потрудилась на славу.

— Расстарался ради женушки,— сказала Яна.

— Он у меня паинька-мальчик,— ответствовала Наташа, погладив Юру по головке.

Юра несколько театрально нахмурился, как властелин, которому докучают ласки приближенных, в том числе и любимой жены, но в глазах его переливалось довольство и благорасположение. Пригубил рюмку, отломил от калача, подцепил кусочек семги, масла и приступил, по ходу дела доставая то одно, то другое: то листик салата, то редиску, то помидорчик... Все остальные столь же энергично, каждый в соответствии со своим вкусом, последовали его примеру, отпуская словечки и междометия, касающиеся вопросов второстепенных, ибо главным вопросом, занимавшим всю компанию в эти минуты, был вопрос гастрономический, иначе говоря, утоление первого, самого острого приступа аппетита, подстегнутого хорошей рюмкой водки и коньяка. Известно, пока не пронесется этот первый гастрономический порыв, уничтожающий, подобно цунами, все на своем пути, настоящего разговора не будет. Женя, вторично наполнивший свою рюмку и потребовавший внимания, как бы первый возвестил, что ураган умчался, иссяк.

— Хочу сказать,— заявил он, поднявшись,— несколько слов.

— Валяй!— подбодрил его Юра.

— Я хочу сказать, что женщина должна быть сильной. Во имя любви она должна стать выше обстоятельств, преодолеть все трудности, все преграды, все соблазны. Да — и соблазны!— Он остановился и повернулся к имениннице:— За тебя, Наташка! За настоящую женщину!— Женя чокнулся с Наташей и одним духом выпил свою рюмку. Он не пьянел, но почувствовал себя свободней, раскованней, чем обычно. Голова была ясная, ощущения остры, а смелости прибавилось. Сев на место, Женя взглянул на Яну. Если бы сейчас она сказала: «Да!»— он взял бы ее за руку и увел! Но она избегала его взгляда и нарочно повернулась к Наташе: «Я тоже... Все правильно, все правильно, присоединяюсь к каждому слову... Ты — настоящая женщина! Это верно...» Ага, значит, правильно! А если правильно — сама будь такой. Плюнь на все — и уйдем. Посмотри на меня — я все пойму. Но Яна продолжала говорить с Наташей, а в этот момент Андрей довольно развязно наклонился к ней и что-то шепнул в самое ухо. Яна улыбнулась, кивнула головой. Эта улыбка уязвила Женю в самое сердце. Вот это и есть ее ответ, подумал он. Тогда какого черта я сижу! Может, уйти? Подожди,

сказал он себе, не будь мальчишкой. Это надо обдумать.

А между тем застолье продолжало развиваться по своим внутренним законам. Теперь, только теперь, когда умчался прошумевший над столом гастрономический ураган, наступил час разговора. Но пока не того главного разговора, когда хочется раскрыть душу, поплакаться, себя заклеймить (такое происходит, но позже, позже), а того разговора, когда хочется покрасоваться, выказать себя. А почему бы и не выказать? После вкусной еды, под легким хмелем, несколько разгорячившим кровь, настроение у молодых людей (о Жене пока умолчим) поднялось, и молодые люди почувствовали, что жизнь хороша и жить хорошо! И если уж по правде — то и они кое-что в этой жизни успели и кое-что значат, черт возьми!

— Душно...— неожиданно пожаловалась Яна,— сейчас бы на воздух, к морю... Ничего не хочу,— сказала она невесело,— хочу к морю.

Это прозвучало не совсем в лад настроению молодых людей, но Юра уцепился за короткое легкое словечко «море», означающее для всех присутствовавших беззаботные солнечные дни, веселые приключения, теплые лунные ночи, и мечтательно проговорил:

— Эх, море, море... А помнишь, Наташа, Гагру... Нашу с тобой Гагру, вот было времечко! Махнем туда по старой памяти, а?

— Посмотрим, как с отпуском,— ответила Наташа, но глаза ее потеплели,— я ведь не то что ты, я человек подневольный...

— Я тоже полюбила Гагру, хотя была там один раз.— Яна вздохнула.— Свет там особенный, синий. И горы кажутся синими. И море необыкновенное...

— Будет тебе и море, Яна,— пообещал Андрей.— Все будет! Ну, если не Черное, то Лазурный берег. Устраивает?

Яна не ответила, и Юра заметил:

— Кстати, о птичках.— Он обратился к Наташе:— Знаешь, кого я недавно встретил? Нипочем не отгадаешь — Виталия!

— Кого?— переспросила Наташа.

— Ну, Виталия,— Юра произнес фамилию известного кинорежиссера,— помнишь, в Гагре, у «Ручейка», шумели? Приглашал на премьеру новой картины. Говорят, он там напозволял себе.

— Вряд ли,— вмешался Андрей,— не такой это человек. Шум вокруг него идет, а если всерьез — ничего особенного в его фильмах нет... Вот недавно мы с Яной на одном просмотре видели американский секс-фильм, все на подсознании, на фрейдистских комплексах. Посмотришь — и страшновато становится. Можно такое направление отвергать, пожалуйста, я не против. Действительно, если всем показать, кое-кто послабее и свихнуться может. Но уж в стремлении обнажить человеческую природу до конца, без дураков, этому фильму не откажешь...

Сейчас Юрка ввернет про Париж, подумал Женя, краешком уха слышавший разговор. Вы нас Фрейдом, а мы вас Парижем. Но Юра не забывал, что он хозяин, и предложил выпить, дабы не гас священный огонь. Он поднял рюмку с коньяком, приглашая «шарахнуть», и тут же взялся за стакан с боржоми.

— Не пойдет,— остановил его Андрей,— мы, значит, пей, а сам в кусты?

— Ты не знаешь, старичок,— ответил Юра,— завязал. И кабриолет стоит у подъезда. Я же кучер.

— Ничего. А ты водку пей. Водка — она для здоровья полезней.

— Вы что, сговорились? Рассуждаешь, как мой шеф,— Юра небрежно, как бы мимоходом, назвал фамилию известного академика.— Тут, значится, принимали мы как-то французов, ну, шеф речь толкнул, провозглашает тост, все пьют, а я ни гугу. Он ко мне оборачивается: «Ты что,— говорит,— против содружества науки в мирных целях?»—«Что вы, Георгий Всеволодович,— отвечаю,— как можно, я за контакты, сами знаете».—«А почему не пьешь?»—«Завязал»,— говорю. «Что-что, завязал?»—«Ну да, бросил пить. В рот ее, проклятую, не беру».— «Водка проклятая? Ха-ха! Нет, Юрочка, ошибаешься. Водка способствует развитию контактов, выходит — и прогрессу. А уж здоровью не вредит, поверь».

— Правильный у тебя шеф,— отозвался Андрей.

— Не жалуюсь, старик подходящий.

— А у меня шеф — сухарь. Не дай бог проштрафиться, ни на кого не посмотрит! Большая сила за ним. Правда, ко мне,— тут Андрей постучал пальцами по столу,— неизвестно почему благоволит...

— Не скромничайте, сэр, все про вас знаем,— хитро улыбнулся Юра и кинул взгляд на Женю:— А ты что молчишь? Сказал бы что-нибудь. Тост, например.

— Он у нас влюблен,— вступилась Наташа,— не приставайте к нему.— Она все еще не могла поверить в правильность своей догадки. Может, Женька дурачится? На него это похоже.

— Пардон, пардон,— подхватил Юра,— я и забыл. Больше не буду. С влюбленными шутки плохи. По себе знаю.

Действительно странно, подумал Женя. Сижу, как воды в рот набрал. А что говорить? Вспомнить, как мы с Яной, держась за ручки, в первый класс пошли? Все-таки друг детства. Да с чего ты взял, возразил он себе, что Яне хочется, чтобы мы были друзьями детства? Женя бросил на Яну осторожный взгляд. Она внимательно слушала, что говорил ей Андрей. Вся внимание. Как будто Жени и не было на белом свете и против нее сидел не он, а незнакомый тип, которого Яна в упор не видела. Ничего она не хочет, и ничего ей не надо, подумал Женя. Все я придумал: и про то, как она побледнела, и про друга детства. У него вдруг похолодело внутри. Неужели он пришел сюда, чтобы убедиться, что все кончено?

— Ты что, чижик?— Наташа наклонилась к нему.— Тебе нехорошо?

— С чего ты взяла?— чужим голосом тихо ответил Женя.

— Неужели она?— еще тише спросила Наташа.

— Не понимаю, о чем ты. Давай лучше выпьем.— Женя наполнил свою рюмку.— За тех, кто в море!— провозгласил он.— За дальнюю дорогу!— голос его неожиданно дрогнул.— За расставанье без печали!

— Что за тост!— изумился Юра.— Мы не хотим расставаться. Мы хотим быть вместе! Пардон, пардон, уж не намылились ли вы, сеньор, в дальнюю дорогу?

— Возможно. Все в этом мире возможно,— Женя залпом выпил свою рюмку. Ему стало чуть полегче. Комок, застрявший в горле, понемногу таял. Но холод, холод внутри не проходил.

— Ты собрался уезжать?— спросила Яна, оказывается не пропустившая ни одного его слова.— Куда, если не секрет?

Вопрос ее, заданный как бы мимоходом, небрежным тоном, промелькнул в общем разговоре, не обратив на

себя внимания. Но Женя уловил в нем нечто. На этот раз, однако, он решил — почудилось.

— А ты, Яна?— на правах друга детства поинтересовался он.— Дошел до меня слух насчет твоего отъезда. Вранье?— Голос у Жени был равнодушный, будто спросил он так, без всякого интереса, и лишь Яна ощутила в нем незаметное для других напряжение.

— Да нет, не вранье,— вмешался Андрей.— Дорога нам с Яной предстоит,— он сделал небольшую паузу, чтобы овладеть вниманием.— Вопрос в общем решен. Остались кое-какие формальности. Так что можно и объявить...

— Давай, давай,— подстегнул его Юра.

— Дело в том, что Яну в порядке обмена аспирантами посылают учиться в Женевский университет. Ну а меня, грешного, туда же — есть там у нас торгпредство...

— Везет же людям!— вскричал Юра.— Рад за вас! Швейцария — это совсем, совсем неплохо! Предлагаю за это немедленно выпить!

— Так вот оно что...— сказал Женя.

— Не понял?— повернулся к нему Андрей.

— Вот оно, говорю, что,— раздельно выговаривая каждое слово, повторил Женя, впервые за весь вечер взглянув Андрею в глаза.

— Ну, ребята, ну, рванули, ну, молодцы! За такое дело...— приговаривал Юра, разливая коньяк.

Женя медленно отставил свою рюмку в сторону. Юра не изученным наукой не то шестым, не то седьмым чувством понял, что заострять на этом моменте внимание не стоит и, ни слова не говоря, обошел своего друга, от которого всего можно было ожидать. Обошел — и, добавим мы, хорошо сделал, ибо некая взрывоопасная смесь, могущая толкнуть Женю на необдуманный поступок, начинала закипать в нем. Вот оно, значит, что — Швейцария! Всего-то и делов! Роскошной жизни, видите ли, захотелось! И из-за этого — выходить замуж! Да не может быть! Женя откровенно, с вызовом и с вопросом посмотрел на Яну — язвившая его обида (на себя, на Яну, на Юру, хоть он был и ни при чем) придавала ему смелости. Яна молчала, опустив глаза в тарелку. Никаких рекламаций от нее не поступило. Спокойнее, сказал себе Женя. Без глупостей. Надо выяснить. Надо объясниться. Она сама, сама должна сказать, если так.

Наташа снова потянулась к сигарете. Андрей молча держал на весу свою рюмку, и получилось, что шумел и суетился один Юра.

— Рад за тебя, старичок,— проговорил он, чокаясь с Андреем.— Поехали, друзья, поехали! — Юра отпил глоток боржоми и потянулся за кусочком лимона.

— А ты,— обратился Андрей к Яне,— разве не хочешь выпить за отъезд? Ну, хоть символически, полглоточка...

— Ты знаешь, я больше одной рюмки не пью. И потом... Не будем сейчас об этом...— Она повернулась к Наташе:— Передай мне, пожалуйста, апельсин. Спасибо.

Ядовитое жальце кольнуло Андрея. Пытаясь ликвидировать мимолетную неловкость, он заставил себя улыбнуться и с рюмкой наклонился к Яне:

— Ну, хорошо, не пей. Но чокнуться-то можно?

Яна не ответила, только взглянула на Андрея, и Женя сказал:

— А если человек не хочет? Если ему эта буржуйская Швейцария до лампочки?

Андрею бы принять это за шутку и самому отшутиться, но яд от иголочки расходился по всем жилам, да и сидящий напротив наглец, оказавшийся старым знакомым Яны, которого он устроил в журнал (делай после этого людям добро! Отец прав: с умом надо, с умом!), вызывал в нем неодолимое раздражение. Побледнев, Андрей ответил:

— А вы, молодой человек, откуда взялись? По-моему, вашего совета здесь никто не спрашивает.

— Ого!— незамедлительно отреагировал Женя.— Вы только посмотрите на этого гражданина! Мало того, что он отвечает за других, он еще и хамит! А ведь я этого не люблю!— Женя начал было приподниматься с тем, чтобы от слов перейти к делу, но Наташкина прохладная рука легла сверху на его руку.

— Не надо,— сказала она тихо,— ради меня, моего дня, не надо... Прошу тебя...

— Эй, эй!— торопливо вмешался Юра.— Вы что, господа, с ума сошли! Сиди!— положил он руку на плечо Жене.— И вы, сэр, как вам не стыдно! Немедленно оставьте ваши реприманды!— он входил в роль герцога, который останавливает разгорячившихся Монтекки и Капулетти, делал большие глаза,

обращался то к одному, то к другому, и — напряжение разрядилось.

Да и в самом деле, не рвать же молодым интеллигентным людям друг на друге рубашки на глазах у почтеннейшей публики! Все-таки не то время, не тот век! Вечер, однако, был явно испорчен. Пожалуй, самым разумным было свертывать удочки, хотя время отнюдь не торопило их, а всеобщее ресторанное сидение только набирало силу: нарастал стихийно-бесшабашный гул голосов, всплески смеха и выкрики, горячей становились глаза, розовей, красней, малиновей лица — словом, далеко, далеко было до апогея, оставался еще непочатый край человеческих резервов для веселья и питья!

Но, увы, увы, к нашей компании сие не относилось. Когда иссяк Юрин импровизационный порыв, за столом воцарилась довольно натянутая атмосфера. Помалкивала Яна, вдруг ушедшая в себя. На замечания Наташи, которая пыталась завязать общий разговор, Яна отвечала односложно, невпопад. Это выглядело странно, более чем странно, Андрей не знал, что и думать. Догадка, возникшая, когда этот тип нахально влез в разговор, а Яна не осадила его, даже как бы поддержала своим молчанием, укреплялась с каждой минутой, и яд от иголочки, кольнувшей его, действовал все сильнее, хотя Андрей и понимал, какие мучительные сомнения одолевали Яну при мысли об отъезде: ей и мать трудно было оставить одну, и аспирантура в университете ломалась... Все понятно (а с другой стороны, Европа, Женевский университет — такое на дороге не валяется), ну, ладно, допустим, допустим, но чокнуться-то можно? Эх, да не в этом дело! Не в этом. Если бы она не раздумывала! Если бы все бросила и пошла за ним без оглядки — хоть в Швейцарию, хоть на край света! Но для этого надо любить. Без оглядки, без размышлений. Любить. А Яна? Андрей все время чувствовал какую-то преграду между собой и Яной, стоило ему сделать неверный шаг, как эта невидимая преграда вырастала. С Яной надо держаться всегда настороже, в напряжении, чтобы быть выше, лучше себя... Редко-редко у них возникали минуты душевной близости, понимания, так редко, что порой он сомневался, были ли они в действительности, не придумывал ли он их сам, когда мечтал о Яне, вспоминал ее глаза, голос, руки? А теперь — этот наглец, Евгений Сухарев. Удивитель-

но, как изменилась при нем Яна! Друг детства. Тыщу лет. Старый знакомый... Ну уж нет! Друзья детства такими телячьими глазами на своих подруг не смотрят, из-за одного слова в драку не лезут!

Нехорошо стало у Андрея на душе, совсем нехорошо. Благо расторопная официантка принесла горячее: кому осетрину на вертеле, кому — пышущий роскошеством отделки шницель по-министерски; кому — изящно приправленный зеленью и еще чем-то весьма пикантным, содержащимся в корзиночке из теста, эскалоп с грибами, а кому — не нуждающийся ни в каких оправах и приправах, с пером простого зеленого лука на тарелке, шашлык по-карски. Все это выглядело так завлекательно, аппетитно, что вся компания, не исключая Яны, дружно принялась за дело. Так, по крайней мере, казалось со стороны. Что же, в жизни все перемешано — и тонкие чувства, и мощные страсти, и высокая поэзия, и низкая проза. Как известно, и безнадежно влюбленные едят и пьют — да еще с удовольствием! Во всяком случае, мы не знаем таких фактов, чтобы влюбленные по причине своей влюбленности умирали от голода.

Да, со стороны казалось, что, отдавая должное клубной кухне, четверо молодых, красивых, не обремененных заботами людей получают естественное удовольствие и ничто не омрачает их безмятежного настроения. Однако те, которые так подумали бы, грубо ошиблись, ибо, неожиданно отставив в сторону тарелку с несравненной осетриной на вертеле, Яна сказала:

— Наташа, ты уж меня извини... Отчаянно болит голова. Еле сижу. Я пойду, а? Все равно от меня толку никакого — только настроение всем испорчу.

И так она это жалобно произнесла, что Наташа и возражать не стала, пожала плечами:

— Ну, конечно, Яна. Со мной тоже бывает: сожмет, как обручем,— от боли места себе не нахожу.

— Вот-вот... Спасибо за все. До свидания, Юра.— Яна поднялась (тотчас же поднялся и Андрей).— Стол был чудесный, и все остальное — на высшем уровне! — Она попробовала пошутить:—«Каким вином нас угощали, уж я пила, пила, пила...»

Глаза у Яны были отчаянно грустные, затравленные, и Женя, пожимая ее руку, сказал:

— Не журись. Помнишь, еще, кажется, в восьмом или нет — в девятом классе (Юра удивленно вскинул-

ся, но промолчал) мы с тобой гуляли в «Сокольниках», и ты мне молола всякую чепуху про себя, про отъезд, я было поверил, мне аж страшно стало, а ведь ничего такого не случилось, прошло. И теперь пройдет.

Яна нахмурилась, потом чуть усмехнулась:

— Думаешь, пройдет?

— Конечно! Все устроится как надо!

Яна вздохнула, пошла к выходу. Андрей, холодно кивнув Жене (все-таки он был человеком цивилизованным), двинулся за ней.

— Старче, Наташка!— Женя в волнении опустился на стул, насмешливость, ироничность как водой смыло.— Мы еще повоюем, черт возьми! Давайте за это — по полной, по полной!— он хлопнул рюмку коньяку.— Эх, Наташка, сестренка, до чего ж я тебя люблю, да не будь твоего дня рождения — я бы погиб в безвестности, в муках, пропал бы, как пить дать пропал!

Юра ошеломленно молчал. В качестве великого артиста своего друга он видел впервые. Старый знакомый, тысяча лет. Детский садик. Каков! Пират, настоящий пират! А еще дурачком прикидывается! Ну, это ладно, бог с ним, сами не святые, но ведь Андрей свой парень, в журнал его устроил, и на тебе — с первой встречи на абордаж! А Яна, Яна какова! Он-то думал...

— Нехорошо, братец,— сказал Юра.— Ты не в джунглях. Между порядочными людьми так не водится.

— А по-моему, хорошо!— Наташа подняла свою рюмку.— Пью за твою удачу, чижик. Пусть хоть раз, хоть раз в тысячу лет победит любовь!— она пригубила, поставила рюмку на стол.— Только помни: самое трудное впереди. Ох и трудно же тебе придется, ты даже не представляешь, как трудно!

— О чем ты?— пожал плечами Юра.— Какая любовь, какие трудности? Фантазерка ты, чистая фантазерка! Пойми, не о том речь, не о том!

Так высказался Юра, улыбнувшись наивности своей жены. Ну а мы не спешим присоединиться ни к той, ни к другой стороне. Время покажет, кто прав, Юра или Наташа. Время все расставит по своим местам, сдернет все покровы, раскроет подлинную суть всего: бездарность окажется бездарностью, как бы она ни тщилась выдать себя за талант, низкопоклонство не обернется достоинством, мужество предстанет мужеством, пошлость — пошлостью, а любовь — любовью.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Они пробирались лесом на восток в направлении, по которому ушел батальон. Серебряный свет луны, смешиваясь с желтоватым отблеском звезд, дождем лился в просветы между деревьями, падал на землю, вырывая из темноты лужи бликов. Кругом множились тени. Иногда деревья смыкались, наступала полная тьма, ночные звуки и шорохи сжимали их, и они шли на лунный свет, стараясь выбраться из чащи, чтобы окончательно не потерять этот просвет вверху, обозначавший близость к опушке.

Порой Козырев и Симовский переставали ощущать себя — им казалось, что они были здесь всегда, как эти деревья; идут уже давно, очень давно, и этому пути не будет конца. Они шли, чувствуя один другого, пока окончательно не выбились из сил и не повалились где-то в кустах...

Симовский проснулся, когда рассвело. Между деревьями висели клочья поднимающегося тумана. Еще выше, в просветах, бледно голубело небо. А впереди, как раз в той стороне, куда они шли, на верхушки деревьев одним краем легла нежно-розовая полоса. Стояла глубокая тишина. Редко пересвистывались птицы — их первые голоса чисто и звонко раздавались вокруг. Симовский сел. Козырев пошевелился, но не проснулся. Он лежал на боку, вытянувшись, положив под голову ладонь. Во сне стонал, скрежетал зубами. Как они очутились в этом лесу? Куда-то они шли. Нет, сначала бежали, потом шли. Ночной лес, лунный свет, тени. А раньше? Симовский попытался вспомнить все с самого начала, когда при свете белой ракеты они увидели цепи немцев, но в памяти всплывали какие-то несвязные куски: немец, выросший перед ним в отблесках красного света и потом медленно падающий набок, темные фигуры на поле — неожиданно близко,— и он ждет вспышки ракеты, чтобы бросить гранату... А потом, когда дошло до рукопашной? Они бежали к пулемету — больше ничего не оставалось, патронов у них не было. А пулемет замолчал, и они попали под перекрестный огонь и метнулись в сторону, по ним стреляли, и они, падая и поднимаясь, куда-то бежали, кругом свистели пули, что-то мелькало, сердце стучало молотом, готовое разорваться, они скатились в овраг. А по-

том — лес, тени, лунные блики, чернота, они шли, пока не свалились.

Они спаслись. А остальные? Ульяшов? Сигнал отхода — зеленая ракета. Ее не было. Они ждали ее и когда немцы залегли первый раз под их огнем и потом еще дважды — он точно помнит эти короткие паузы,— а зеленой ракеты все не было, значит, тогда еще не наступило время, двадцать ноль-ноль, не дошла стрелка, не хватило нескольких минут или одной — не важно, не хватило, и все. Ульяшов человек точный. А уж когда до рукопашной дошло — какой там отход?

Симовский почувствовал холод, поежился, встал, огляделся. В лесу посветлело. Туман рассеивался, растекался между деревьями; розовая полоса справа расширилась и спустилась чуть ниже, захватив близлежащие деревья. Птицы уже пели вовсю. Они и не подозревали, что идет война, которая не пощадит даже их: сколько выжженных мертвых лесов оставит она после себя! Птицы как люди — их неодолимо тянет на старые места. И, спеша домой после долгой зимы из других краев, преодолевая ветры и грозы, набираясь сил в тугой солнечной синеве, они будут копить в себе песню, чтобы там, на родине, спеть ее во славу весны и своих собратьев. А когда первая из них прилетит — первая из всех, она не узнает своего дома и не поверит себе и долго будет кружиться над черным, покрытым золой лесом, острыми пиками обугленных деревьев — и не песня, а жалобный стон вырвется из ее сердца. А та песня, что она берегла и растила в своем долгом нетерпеливом полете, умрет. И кто знает, сможет ли родиться новая?

Симовский поднял Козырева. Утренняя сырость пробирала до костей, они прибавили шагу. Держась на восток, прошли еще около часа и вдруг услыхали неясный гул. Он нарастал, и через несколько секунд можно было различить в нем рокот моторов. Свои или немцы? Определив, что гул катится справа и сзади них, Симовский и Козырев побежали вперед вправо, наперерез. У опушки леса, на вершине оврага, остановились и ползком подобрались к самому краю. По дороге двигалась на машинах немецкая мотопехота. Грохот, скрежет, голоса: немцы и не думали маскироваться. Оба они впервые видели немецкие войска на марше и так близко, можно было рассмотреть даже лица солдат.

Странное чувство, как в дурном фантастическом сне, охватило Козырева и Симовского.

Неторопливо, одна за другой, проходят машины. Мелькают поющие, гогочущие лица. Голоса, смех, выкрики. Вот они какие, когда одни, сами с собой! Мелькают лица, сливаются в одно, изрыгающее рев,— наглое, с ухмылкой, беспощадное.

— Расселись, гады, как дома,— Козырев сжал автомат.— Эх, сейчас бы по ним из пулемета!

Симовский, не отрывая взгляда от колонны, проговорил:

— Они идут туда же, куда и мы. На восток. Фронт теперь там. А здесь у них — тыл.

— Ничего, пробьемся!

И вся эта сила на Москву, подумал Симовский, фронт теперь там. Где же? У Вязьмы? Или еще ближе? Идут, как по своей земле. Сколько же их! Где же, где же их остановят наши части? Наши танки, самолеты, тяжелая артиллерия? И когда же это произойдет? Когда? Эх, ударить бы сейчас, сейчас! Заметались бы, как тараканы.

И столько ненависти вложил Симовский в свой призыв, что он был услышан: раздался оглушительный орудийный выстрел совсем рядом — и снаряд (с первого раза!) разорвался в центре колонны. Пламя взметнулось над дорогой. Повалил черный дым, раздались вопли, крики, гортанные команды. Немцы заметались. Задние машины, не успев затормозить, врезались в идущие впереди. Солдаты, отталкивая друг друга, посыпались с бортов (а как они нагло гоготали еще минуту назад!), но, не дав им опомниться, снова грянул выстрел — и опять точное попадание: какие-то куски дерева и металла взлетают на воздух, вихрь огня, крики, стоны.

Эх, патронов бы! Немцы были внизу, в каких-нибудь пятидесяти метрах, на открытом месте как на ладони, и никуда им не деться, что-то крича, они метались, падали. Еще один взрыв в гуще колонны, вырвавший столб огня и дыма. Молодцы, ребята, бьют прямой наводкой — да как точно! Так им, гадам, давайте еще! Но немцы уже залегли и открыли густой ответный огонь. Тем временем начали смолить их минометы — вой летящих мин слился с грохотом разрывов. Немцы били по площадям, и разрывы все приближались. А орудие замолчало. Неужели у ребят было три, только три снаря-

да? Теперь бы залп, ну хоть выстрел, еще выстрел! Но грозная пушка, заставившая эту железную махину остановиться, рассыпаться, сбившая спесь с наглых краснорожих солдат, заметавшихся в страхе на дороге,— эта одна-единственная пушка молчала. А цепочка фашистов, стреляя на ходу, поднималась на склон. Пока не поздно, надо было уходить. А те ребята-артиллеристы — как они? Зеленые фигуры в касках, с засученными рукавами, строча из автоматов, приближались. Передняя цепь неожиданно оказалась совсем близко. Пули просвистели над головой. Рядом взметнулись фонтанчики земли. «Давай, Саша»,— качнул головой Симовский. Пригибаясь, они бросились в лес. Вслед им неслись очереди. Пули свистели со всех сторон. Оторвавшись порядочно от опушки, остановились, ноги сами подогнулись, и они повалились на землю. Отдышавшись, прислушались: треск автоматов отдалился. Молча поднялись, двинулись дальше. Солнце уже поднялось довольно высоко.

Через несколько шагов они услышали окрик:

— Кто идет?

— Свои,— ответил Симовский.

— Сколько вас?

— Двое.

— Ждите.

Из-за деревьев вышли двое бойцов с винтовками — худые, угрюмые. Один из них, постарше, коротко бросил: «За мной».

Пройдя минут пять, оказались на лужайке, где сидело и лежало довольно много вооруженных бойцов. В центре этой лужайки стояли двое — старший политрук с молодым озабоченным лицом и седой майор с перебинтованной головой. Старший политрук, видимо закончив говорить, представил майора Мчелидзе как командира «нашего сводного отряда» и дал ему слово.

— Бойцы Красной Армии,— сказал майор, обведя всех своими блестящими черными глазами,— мы находимся в окружении,— он остановился словно для того, чтобы дать понять, что не боится этого слова.— Да, в окружении. Но мы — армия, а не толпа паникеров, и наш долг до последней капли крови драться с врагами. Наша задача — пробиться к своим, а по пути уничтожать фашистов. И мы прорвемся, но я требую от вас беспрекословного выполнения приказов, организованности, выдержки,— он говорил спокойно и ровно, с еле

заметным грузинским акцентом, не заботясь о впечатлении, которое производил, но в его словах чувствовалась внутренняя сила. Он погибнет или выведет людей — это было ясно всем. На него смотрели с надеждой, и только те, для которых слово «окружение» означало конец всему, опускали глаза. Эти еще шли рядом с товарищами, стреляли, когда стреляли все, но душа их была сломлена, вместо души в них вселился страх — отныне только он один властвовал над ними. Они опускали глаза, потому что не могли встретить острый взгляд майора Мчелидзе.— К Воскресенскому пройдем лесами,— заключил он свою речь.— Дальше будем искать маршрут и действовать по обстановке. В случае бомбежек рассредоточивайтесь, но помните места сборов. Предупреждаю — за нарушение приказа, трусость, панику именем Родины буду карать своей рукой.

Козырев повернулся к Симовскому:

— С таким командиром и в атаку пойдешь, не страшно. Только вот ты мне скажи, как он без солдат остался? Где его часть?

— Ты чего пристал,— вскипел Симовский,— что я тебе, командующий фронтом?

— А что? Я бы у командующего спросил: как получается, что мы по лесам бегаем, а немец прет...— Козырев замолчал.— Нет, пока своих не увижу, армию нашу, чтобы порядок был, дисциплина и вооружение не хуже, чем у немцев, пуля меня не возьмет! Верно говорю,— убежденно продолжал Козырев.— Одна цыганка нагадала перед самой войной: долго жить буду. Чего только, старая, не наплела: и маету, и казенный дом, и дальнюю дорогу, а жить, говорит, хороший, золотой, долго будешь. Я и поверил, и, видишь, сходится... Так что я еще увижу наших, подойду к командиру: «Разрешите встать в строй для дальнейшего прохождения службы?»—«Становитесь, боец Козырев».—«Есть встать в строй». Все чин по чину. Так-то, Яшка. А раньше, когда я был на срочной, мне вся эта службистика как кость в горле. А теперь вижу: без этого в армии нельзя. Приказано, все. Умри, а выполни. У тебя страх — задницу не поднять с земли, а ты бросайся вперед, раз приказ. А то знаешь, чтобы драпануть, всегда оправдание найдется: нас, мол, мало, а их много, у нас винтовки, а у них — танки, артиллерия, самолеты. Все равно, мол, не устоять. А ты — стой, раз приказ. Стой — и все. Иной и сдрейфит, а драпануть не осмелится — дисцип-

лина,— Козырев ожесточился, начал спокойно, а теперь его словно прорвало. Отчаяние боя, гибель товарищей, бегство — все сплелось за последние двое суток. И клубок все накручивался. Отступление захватило уже тысячи людей — это было ясно. Мысль Козырева лихорадочно искала причину — и не могла найти. Ведь уже три месяца идет война, и Москва от линии фронта не за горами — где же наши свежие части, которые остановят немцев?

Козырев с надеждой смотрел на майора с перебинтованной головой — его отчаянная решимость и твердость внушали доверие.

— Майор спуску не даст. Не выполнил приказ — получай.

— Кто спорит,— отозвался Симовский,— но не в одних приказах дело.

— А в чем?

— Сам знаешь в чем. Кто приказывал Корякину уничтожить танк? А какой приказ может заставить действовать, как Ульяшов? Есть сила, Саша, поглавнее приказов,— Симовский остановился, что-то вроде усмешки мелькнуло на его лице.— Еще Кант сказал, есть две поражающие воображение вещи: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас... Понимаешь, необъятность, мощь бесконечных звездных миров сопоставима с той силой внутри человека, которая побуждает его жертвовать собой ради других людей, идти на костер ради своих идей, ради истины...

— Подходяще сказано,— заключил Козырев, подумав.— Только есть одна поправочка: не про всех это насчет закона внутри нас. Ладно, слышишь, команда строиться.

...Шли молча, берегли силы. Отряд вел решительный командир, у него была карта, он знал, что делать. А что еще нужно солдату? За сутки, а то и двое блужданий в одиночку они сполна испытали ужас бессилия человека перед железной машиной войны, а теперь каждый из них снова почувствовал себя частицей целого, обладающего силой и волей, способностью к действию во имя их спасения.

Когда прошагали несколько километров, Козырев неожиданно спросил:

— А кто этот... как его... Ну, вроде Пушкина?

— Кант?— догадался Симовский.

— Во-во. Откуда он взялся?

— Был такой немецкий философ. Жил полтораста лет назад.

— Немецкий, значит?

Симовский кивнул.

— Тогда объясни, если все они такие умные, у них и Маркс, и Энгельс, и Тельман, и Кант этот, какого черта поперли на нас?

— Не по адресу. Спроси у Гитлера.

— С Гитлером вопрос ясный. Фашист он и есть фашист. Они свое получат. А вот как немецкий рабочий класс допустил до этого безобразия — вот что ты мне ответь!

Задавая себе этот же вопрос, который в те дни был на устах у всех,— как могли фашисты повести за собой немецкий народ,— Симовский считал, что на него ответит будущее. История, как всегда, все выяснит, все поставит на свои места. Но он, как и миллионы людей во всем мире, не мог знать тогда, что сначала не историки, а юристы, обвинители от имени всех народов будут судить фашизм за его преступления против человечества. И будут тома стенограмм Нюрнбергского процесса, будут показания сотен свидетелей и пострадавших, неопровержимые документы, фотографии и кадры кинохроники, которые обойдут весь мир, а люди с ужасом и трепетом еще настойчивей будут задавать себе все тот же вопрос: как могло это произойти?

Познав бездны, которые раскроет фашизм, человечество содрогнется и уже не сможет жить, как прежде,— черные тени всегда будут стоять за его спиной, тени воспоминаний о злодеяниях фашизма и страданиях миллионов, и эти воспоминания будут передаваться из рода в род, от поколения к поколению. И если где-то, глядя на солнце, на зеленую траву, вдруг заплачет ребенок — это отдастся в нем боль и ужас того мальчика с огромными глазами, с тонкими, как спички, ножками, который, держась за руку матери, шел вслед за ней в душегубку. И если у девушки с ясным лицом в ту минуту, когда она ждет любимого, в смертельной тоске сожмется сердце — это до нее дойдет голос мольбы и отчаяния той далекой, похожей на нее девушки из Равенсбрука.

А когда где-то тупая страшная сила раздавит человека и даже не услышит его стона, человечество будет знать — это шевельнется та стоящая за его спиной тень; когда кто-то начнет преследовать и унижать дру-

гих, потому что они — другие, когда кто-то будет призывать, чтобы человеческая жизнь и человеческая судьба были принесены в жертву фетишу, человечество будет знать: это оживают и шевелятся те стоящие за его спиной тени...

Высказавшись, Козырев замолчал. Чутким ухом Симовский уловил в его словах предчувствие будущего возмездия. Он и сам даже в эти черные дни и минуты не сомневался, что оно наступит.

Они шли, не заботясь о предосторожностях,— на то были командир, разведка, охранение. Напряжение сменилось притуплением ощущений. Мысли блуждали где-то далеко, в памяти всплывали и уходили неясные образы. Они не могли бы сказать, сколько времени это продолжалось и в какой момент они услышали характерный ноющий, волнообразный гул моторов, сначала издалека, а потом все ближе, ближе, и команду «Воздух!», повторенную несколькими голосами. Вслед за другими, ломая кусты и сучья, Симовский и Козырев бросились в сторону. Оглушительный взрыв сотряс все вокруг. Треск деревьев, комья земли, дым. Снова вой — и снова взрыв...

Вдруг стихло. Еще не веря себе, подняли голову — гул моторов удалялся, все вокруг заволокло густым острым дымом. Молча встали, огляделись. Кашляя от дыма, пошли в ту сторону, где был чище просвет между деревьями. И опять услышали приближающийся рев моторов. Теперь самолеты шли низко, над самыми деревьями, яростно строча из пулеметов. Симовский с Козыревым мгновенно сообразили, что бежать нужно им навстречу, чтобы оказаться в мертвом пространстве. Сделав два захода, самолеты ушли. Они вздохнули: пока все. Надолго ли? Последние дни научили не задавать этого вопроса. Оглядевшись, пошли назад. Направление указывал серый дым, медленно расползающийся среди деревьев. Оглушенный лес молчал. Будто страшная, неслыханной силы буря пронеслась над ним: поваленные, надломленные деревья, обожженные стволы, срезанные ветви, вырванные спаленные кусты...

Кто-то негромко окликнул:

— Эй, давай сюда!

Перешагивая через деревья, пошли на голос. На маленькой полянке уже собралось человек двадцать — тридцать. Здесь распоряжался младший лейтенант-артиллерист. Это он разослал своих бойцов собирать лю-

дей. Недалеко от него, прислонившись спиной к дереву, сидел солдат без пилотки, в накинутой шинели, из-за которой виднелась густо перебинтованная рука. Он тихо стонал. «А раненые?— подумал Симовский.— Как быть с ними?» Только теперь он начал понимать всю тяжесть их положения: как быть с ранеными? Где взять продовольствие, боеприпасы? И сколько им еще идти?

Собрав людей, майор Мчелидзе снова выстроил колонну в походном боевом порядке. Но теперь это были уже не три роты в неполном составе — колонна выросла едва ли не вдвое. В этом лесу небольшими группами и в одиночку пробивались на восток сотни людей, их становилось все больше, и все они стремились влиться в какую-нибудь часть, где есть командир, который знает, что делать. Майор Мчелидзе оказался именно таким командиром. Он организовал штаб, санчасть, продчасть, назначил командиров рот и взводов, поставил перед ними задачу.

Вскоре отряд тронулся. Во время движения по колонне прокатился слух, что отряд будет прорываться ночью. План состоит в том, чтобы скрытно подобраться к противнику и неожиданным броском с боем вырваться из кольца. Каким образом этот план стал известен — неведомо, но солдаты одобрили его как самый правильный.

В сумерках первая рота под командованием младшего лейтенанта-артиллериста Петрова, в которой оказались Симовский и Козырев, подошла к окраине леса. Здесь был объявлен привал. Собрав людей, Петров объяснил задачу: с наступлением темноты скрытно пересечь шоссе, опоясывающее юго-восточную окраину этого леса, пройти поле и обойти деревню Воскресенское с тем, чтобы углубиться в лес, который начинается сразу за противоположной окраиной деревни и тянется на восток.

— Мы будем обходить деревню слева, с запада,— пояснил Петров,— а майор Мчелидзе со своей группой — справа. Встреча за деревней, на опушке леса. Предупреждаю: в Воскресенском наверняка расположена какая-нибудь немецкая часть, а то и крупный штаб, могут быть патрули, усиленная охрана, поэтому успех операции (Петров так и сказал — операции) зависит от четкости взаимодействия и дисциплины. Один неосторожный шаг кого-либо из вас может погубить все. В случае обнаружения противником действовать

смело, стремительно — не ввязываясь в затяжной бой, прорываться к лесу. Вопросы?— коротко бросил Петров, закончив свою речь и обводя лица бойцов испытующим взглядом, точно так же, как майор. Он выдержал паузу, словно только что изложил на военном совете свой план стратегической операции и теперь спрашивал мнения генералов.— Все ясно? — повторил он свой вопрос.

— Чисто наш Ульяшов,— тихо сказал Козырев и протянул флягу:— Это тебе на первое, на второе и на третье.

В легких синеватых сумерках, погасивших краски, но еще не смазавших линии, было хорошо видно лицо Петрова с его юношеской округлостью, чистым выпуклым лбом, красиво вырезанным носом, по-детски припухлыми губами. Он говорил спокойно и твердо, но, при всем желании придать своему лицу выражение суровости, у него это не получалось. Лицо его казалось скорей задумчивым. В нем еще чувствовался тот Костя Петров, который всего несколько месяцев назад грезил, сидя на задней парте, когда весеннее солнышко стучалось в окна класса. А потом — прощание, школа младших лейтенантов, неожиданный ускоренный выпуск, фронт. Он мечтал о дальних дорогах, о горьких и сладостных минутах перед разлукой, а получилось все подругому — даже не успел с Ней проститься, только мать, каким-то чудом разузнав, что их отправляют на фронт, прибежала в последнюю минуту обнять его. Как она ни старалась держаться, ее душили слезы — и только тогда, глядя на мать, он понял, что ему предстоит. Впервые твердо и спокойно взглянул матери в глаза, сказал: «Я вернусь. Не надо, мама, я вернусь». Она не предполагала, что ее сын может так взглянуть и так сказать, впервые почувствовала себя слабее его и поверила ему.

Теперь бойцы видели перед собой того Костю Петрова, который сумел тогда на вокзале преодолеть отчаянную жалость к матери и своей твердостью успокоить ее. За месяц боев он научился подавлять страх, не думать о смерти, выполнять приказы и приказывать. И только Симовский из всех слушавших младшего лейтенанта бойцов угадал в нем прежнего Костю Петрова, неизвестно о чем думавшего, когда целые уроки напролет он смотрел в окно, готового для товарищей пожертвовать всем, но при этом хотевшего непременно казать-

ся немножко Печориным. Он собирался поступать в энергетический, а в последний момент передумал — решил попробовать в ИФЛИ. Институт философии, литературы, истории манил своей загадочностью...

Симовский сидел на земле, прислонившись спиной к дереву. Петров объявил отдых, а сам с двумя командирами ушел расставлять часовых. ...Военный год стучится в двери моей страны. Он входит в дверь. Какие беды и потери несет в зубах косматый зверь? Какие люди возметутся из поражений и побед? Второй любовью революции какой подымется поэт?.. Козырев снова протянул Симовскому флягу: «Пей же». Не успел Симовский глотнуть, раздалась команда строиться. Кругом темнота, глухо шумит лес. Холодный сырой ветер бьет в лицо. Небо заволокло тучами — ни луны, ни звезд.

— По шоссе движутся танки,— предупредил Петров,— идти тихо, ни разговоров, ни звука, ни огня.

В молчании тронулись друг за другом по направлению к шоссе. Вскоре услышали рев моторов, скрежет гусениц. Еще немного прошли, рев и скрежет усилились. Остановились. Танки двигались по шоссе, которое проходило чуть ниже, метрах в двадцати. Сквозь деревья были видны их черные силуэты. Когда танки прошли, спустились к шоссе, и тут дозор обнаружил у самой обочины несколько крытых машин, охраняемых часовыми. Пришлось повернуть обратно в лес. Наконец снова спустились к шоссе. Как будто все было спокойно. Петров отсчитывает первых пять человек. Их задача быстро и бесшумно пересечь шоссе и, пробежав по полю метров пять — десять, ждать остальных. «Давай!»— шепотом командует Петров и машет рукой. Первая группа скрывается в темноте. Минута, две, три. Все тихо. Снова команда — и снова ночная тьма поглощает следующую группу. Все тихо. «Давай!»— бросает Петров. Козырев с Симовским бегут через шоссе, попадают на поле, проваливаются в мягкой земле, тяжело дыша, бегут изо всех сил и валятся на землю...

Петров проскочил шоссе с последней группой. Ушло еще не меньше часа, пока ему удалось с помощью связных собрать людей и двинуться через поле к западной окраине деревни. Здесь, на поле, свистел и бесновался ветер, бил в лицо острыми холодными каплями дождя, но он же был и союзником — в его шуме не услышать шагов, а часовые наверняка жмутся к навесам.

По расчетам Петрова, они уже должны были бы подойти к деревне, но никаких признаков близкого жилья — ни огонька, ни лая собак. Прошли еще немного, и тут неожиданно из-за облаков выплыла луна и осветила широкое чистое поле и их самих, открытых со всех сторон — хоть бери голыми руками. «Ложись!»— скомандовал Петров. Сам он остался стоять, прислушиваясь и поочередно всматриваясь в разные стороны. Справа он разглядел какие-то темные очертания, возможно, избы — тогда они слишком отклонились влево. Отрядив двух разведчиков проверить, что там чернеет, Петров взглянул на часы. Пять минут второго. Ориентировочное время, назначенное майором для обхода деревни,— два часа ночи. Через некоторое время с той стороны, куда ушли разведчики, послышался лай собак. Вскоре собаки замолчали. Прошло еще томительных двадцать минут. Тревога Петрова все нарастала, но тут из темноты вынырнули разведчики. Как и предполагал Мчелидзе, в деревне расположилась крупная немецкая часть. Дорога, проходящая через деревню с запада на восток (она же, по-видимому, главная улица), усиленно патрулируется. В двух местах обнаружилось скопление машин, охраняемых часовыми. Сами они едва не нарвались на патруль.

Петров посмотрел на луну — она и не думала скрываться, светила так ярко, будто специально по заказу немцев. Хоть бы какое облачко нашло. Но на это не было никакой надежды — небо расчищалось, показались звезды, а вокруг луны образовался довольно широкий желтоватый светящийся нимб. «Выставилась, как на показ для влюбленных,— проворчал Петров.— Передать по цепи,— приказал он.— Ни звука, двигаться будем по-пластунски, прижимаясь к земле.— Он подождал, чтобы дошла команда и махнул рукой:— Вперед!»

Ветер, разогнав тучи, утих, и скоро всем стало жарко: Петров торопил, не давал ни минуты передышки. Деревня оказалась теперь точно справа, в каких-нибудь ста — ста пятидесяти метрах. Еще один рывок — и она останется сзади, а там рядом лес.

Луна, казалось, плыла точно над ними, не отставая ни на шаг — яркая, круглая. «Плотнее к земле,— передал Петров,— не отставать». Проползли еще двадцать метров. Еще тридцать. Потоки лунного света изливались на них со всех сторон, будто они в перекрестье

прожекторов. «Быстрее! Быстрее!»— подгонял Петров. Лес уже был совсем рядом — он начинался сразу за проселочной дорогой, белевшей за деревней. Хорошо были видны деревья, стоявшие на опушке.

Оставалось метров пятьдесят, не больше, и вдруг раздался треск автоматной очереди, очень близко, сзади и справа, там, где деревня. В ответ посыпалась другая, взрыв гранаты, вслед за ним еще один, поднялась беспорядочная стрельба, воздух прорезали красные огоньки трассирующих пуль, взрыв сотряс все вокруг — взметнулось пламя и осветило, как на картинке, дом, горящую машину, бегущие фигуры. Ясно, отряд майора нарвался на патрули, прорывается с боем. А лес — вот он, рукой подать, метров пятьдесят, не больше. Рвануть до него — и привет вашей маме. Но Козырев, как все остальные, только успел подумать об этом, услышал крик Петрова: «За мной!»— и увидел его бегущего с автоматом в руках назад, к деревне. Козырев рванулся за ним. Петров оглянулся, задержавшись на мгновение, махнул рукой: «За мной!» — и снова побежал, рядом с ним появился Симовский, что-то крича, с автоматом наперевес, Петров опять оглянулся — вся цепь, широко растянувшись по полю ломаной линией, бежала за ним — и снова махнул рукой: «Скорей!» Несколько человек обогнало его, Симовский пропал из виду, навстречу неслись крики, грохот, стрельба.

Над домом в глубине деревни, разбрасывая искры, полыхало пламя. В его свете были хорошо видны фигуры метавшихся немцев. Ливень трассирующих пуль обрушился на них — немцы стреляли из-за домов, деревня была уже близко. «Где Яшка?»— мелькнуло у Козырева. Красная накаленная нить трассирующих пуль закружилась вокруг, сузилась, засвистела тонко-тонко, вот-вот захлестнет. Не останавливаясь, Козырев оглянулся: справа взгляд выхватил Петрова — крича, как и все, он бежал вперед. Впереди Козырева кто-то упал, и еще кто-то справа, цепь редела, раскаленная паутина захлестывала, сжимала туже, туже, но освещенные пламенем дома, из-за которых беспрерывно несся поток очередей, неожиданно оказались прямо перед ним. Как из-под земли вырос угол сруба, фонтан трассирующих пуль бил из-за этого угла. Козырев с ходу швырнул туда гранату, вокруг все грохотало, разрыв гранаты потонул в этом грохоте. Козырев проскочил полосу дыма и слева от себя увидел немца, прижимавшегося плечом

к стене и яростно строчившего из автомата туда, в поле. Козырев мгновенно повел автоматом — немец осел, Козырев побежал дальше и оказался на широкой улице. Было светло, деревня горела в нескольких местах. По дороге, стреляя, крича, бежали свои, они появлялись из-за домов с другой стороны улицы (это прорвались ребята майора), немцы скапливались на восточной окраине, огонь оттуда усилился. Близко от себя Козырев опять увидел Петрова: остановившись на углу переулочка, он что-то беззвучно кричал («Сюда,— понял Козырев,— сюда!») и показывал рукой в переулок. Козырев вслед за другими побежал в переулок, свернул направо на улицу, вероятно, параллельную главной,— они уже были близко к восточной окраине, а там — лес. Но здесь улица была перегорожена двумя машинами, из-за них строчил пулемет. Козырев бросился влево, в обход, автоматная очередь из-за угла другого дома заставила его прижаться к стене, но в этот же миг взрыв гранаты накрыл немецкого автоматчика, Козырев бросился вперед и увидел справа, в просвете между домами, неожиданно близко, лежавших за машинами немцев с пулеметом. Он метнул туда гранату, раздался взрыв, тонко свистнул осколок, сквозь дым Козырев рванулся снова вперед, рядом промелькнула тень, и тут оглушительно грохнуло прямо перед ним.

Со свистом, опалив лицо, пронеслась горячая волна, завихрилось облако дыма, разъедая глаза, и сразу потянуло сладковатым острым запахом. Граната взорвалась так близко, что непонятно, как он остался жив. Козырев метнулся в сторону и вдруг услышал стон: «Мама... мама...» Его ноги сами остановились, чтобы найти и вынести товарища, кругом все было затянуто дымом, ему показалось, что стон был слева и что это был голос Петрова. В воображении мгновенно возникла ужасная картина растерзанного командира, страх перед развороченным кровавым телом подкатился к сердцу, сковал его движения, и в этот миг новый взрыв обрушил на него волну тугого горячего воздуха и дыма; этот взрыв все решил, какая-то сила вне его воли толкнула Козырева прочь, он рванулся вперед, под свист пуль, и не заметил, как вместе с другими оказался на окраине деревни, перемахнул через дорогу, ломая кусты, задыхаясь, пробежал опушку и уже в спасительной темноте леса бросился на землю...

Он прорвался. Сумели прорваться и многие другие, но отряд перестал существовать. Большинство бойцов разбрелось по лесу, и уже не было командира, который мог бы своей волей и энергией снова собрать их: погиб в ночном бою майор Мчелидзе, погиб и младший лейтенант Петров.

Всего-то на одни сутки свела война Мчелидзе и Петрова с солдатами, которых гнала на восток лихорадка отступления, и немногое могли бы сказать о них эти солдаты, да и что скажешь?— но в памяти своей они навсегда сохранят и седого майора с перевязанной головой и горячим, проникающим в душу взглядом, и совсем юного младшего лейтенанта-артиллериста Петрова, с его чистым выпуклым лбом и по-детски припухлыми губами, спокойного и бесстрашного.

На дорогах отступления, в лесах, под бомбами, в сжимающемся вражеском кольце эти безвестные командиры и комиссары сорок первого года не только собирали бойцов, смелых и трусливых, старых и молодых, умелых и тех, кто впервые взял в руки винтовку,— собирали, объединяли, вели в бой, выводили из окружения, но сделали и нечто большее. В самую страшную минуту, когда почва уходила из-под ног, они именем Родины заставили людей, испытавших страшную силу удара гитлеровской военной машины, остановиться, опомниться, снова почувствовать себя солдатами, осознающими свой долг сражаться до конца...

Однако пора возвращаться к нашему рассказу. Мы оставили Козырева на опушке леса, в изнеможении бросившегося на землю. Там, в деревне, еще раздавались выстрелы, но было ясно, что они вырвались. Теперь надо было пробираться дальше на восток, за ночь как можно дальше оторваться от этой деревни и к утру выйти к своим. Пробираться маленькими группами, по двое, по трое — ждать, пока все соберутся (да и где? И кто — все?), было бессмысленно. Но Козырев оставался на месте. Он знал, что Симовский не уйдет без него и будет так же, как и он, искать и ждать. Прячась за деревьями он бродил по опушке, напряженно всматриваясь в неверные, колеблющиеся в лунном свете тени и очертания деревьев, вслушиваясь в шорохи.

А Симовского в горячке боя отнесло в сторону от Козырева, на центральную улицу деревни, где в здании школы разместился штаб части. В короткой ожесточенной схватке они уничтожили охрану, забросали штаб

гранатами и уже на восточной окраине, когда до леса оставалось всего ничего, натолкнулись на сильный огневой заслон: немцы загородили улицу броневиком, беспрерывно строчившим из пулемета. Симовский и другие бойцы, бежавшие вместе с ним, метнулись в сторону, за дома, но и там их встретили автоматными очередями, бойцов становилось все меньше, но все же, отстреливаясь, перебегая от дома к дому, петляя, они продвигались к окраине. Миновав еще один дом — самый последний!— они наконец увидели грунтовую дорогу, окаймлявшую восточную окраину деревни.

Они помчались вперед, к лесу, и бежать-то было метров пятьдесят, не больше, но как раз на середине этой полосы их застиг пулемет. Он ударил с крыши овина, бил густо, прицельно, начисто перекрывая узкое пространство, и они залегли. Прячась в ямках, за бугорками, открыли ответный огонь. Но пулемет бил сверху и с близкого расстояния, а они были как на ладони. Секунды решали все. «Давайте к лесу, прикрою!»— крикнул Симовский и дал длинную очередь по крыше овина. В ответ захлестал пулемет, веер пуль взрыхлил землю вокруг него, но остальные уже бежали к лесу. Почувствовав, что веер пуль чуть сдвинулся, Симовский рванулся вслед за остальными. Засвистели пули, горячий ветер ударил в лицо, кто-то мелькнул рядом, все слилось в один гул, на который накатывались, нарастая, удары сердца. Вот уже ветви деревьев больно стегают по лицу, под ногами хрустит сушняк, Симовский из последних сил делает еще несколько шагов и падает на землю...

Он прорвался, а остальные? Где Козырев? Отдышавшись, Симовский встает, вслушивается в лесные шорохи (стрельба стихла), осторожно пробирается от дерева к дереву, пытаясь сориентироваться, и видит где-то впереди отблески пламени. Еще несколько шагов, и он различает языки огня, дым над домами. Теперь ясно, как выйти на опушку, к дороге. Искать Козырева надо там. Другие, наверно, углубились в лес.

Остаток ночи и Козырев и Симовский, ища друг друга, пробродили по опушке. Луна продолжала ярко светить, и они не теряли надежды. Когда уже начало светлеть, отчаявшись, Козырев, сам не зная, как это у него получилось, вдруг крикнул: «Яшка, я здесь!»— вспугнув раннюю птаху, усевшуюся на ветке над головой Козырева и приготовившуюся пустить свою первую

трель. Всякое случается на войне. В ответ Козырев мог получить автоматную очередь, но все было тихо, а через минуту он услышал шум раздвигаемых веток и увидел бегущего к нему Симовского...

Так встретили они серый рассвет 7 октября 1941 года. Снова Симовский и Козырев оказались вдвоем. Но они верили — пробьются. Самое трудное, думалось им, позади, из кольца вырвались. Теперь, после ночного боя в деревне, когда они видели, как немцы без штанов выскакивали из окон, метались, бежали, фашисты не казались им такими неуязвимыми.

Ни Симовский, ни Козырев не вспоминали о прошедшей ночи. Все их силы слились в одном стремлении идти дальше на восток, добраться до своих. Что бы там ни было, а добраться. И Козырев забыл о той минуте в ночном бою, когда он услышал стон в дыму и ему показалось, что там был голос Петрова, а он пробежал дальше. Хотел остановиться и не смог, какая-то сила толкнула его вперед... Козырев забыл об этой минуте. Казалось, забыл навсегда. Он пройдет всю войну, летом сорок четвертого будет ранен под Гомелем, после госпиталя догонит свою часть в Познани, получит орден Славы III степени, два ордена Отечественной войны, орден Красного Знамени и встретит победу в Кенигсберге. И ни разу за всю войну не вспомнит об этом. А потом, после войны, пройдет еще тридцать лет, и война станет его молодостью и уйдет в далекое прошлое, такое бесконечно далекое, будто это было в другой жизни.

Время от времени, с каждым годом все реже, он будет встречаться с фронтовыми товарищами, но в эти минуты все они и Козырев почувствуют себя как бы прежними. И ни разу за все эти годы — ни разу — не вспомнит он об этом стоне в дыму. Но однажды, на следующий день после празднования тридцатилетия Победы, то есть 10 мая 1975 года, Козырев придет вечером домой, в свою московскую квартиру, измученный волнениями встреч, объятий, с тем томящим сердце чувством печали и приподнятости, которое всегда охватывало его в этот праздник, и приляжет на диван. Он закроет глаза — и вдруг неведомо из каких глубин поднимется и всплывет в памяти тот миг ночного боя, когда, убегая от взрыва, сквозь дым он рванулся вперед и услышал стон: «Мама, мама...»— и узнал голос Петрова. И Козырев вздрогнет, а потом попытается отмах-

нуться: померещилось... Но видение это, сначала как в тумане, возникшее в его памяти, уже не исчезнет, не отвяжется, а только с каждым разом будет представляться все отчетливей... А может, всего этого со мной не было, попытается успокоить себя Козырев, просто так привиделось? Но тотчас же внутреннее чувство безошибочно ответит ему: нет, было! И тогда Козырев с ужасом спросит себя, почему же он не вынес Петрова, оставил командира умирать, а сам побежал дальше? Как это могло произойти, неужели он был в полном беспамятстве? Что толкнуло его — страх, с которым он не смог, не успел совладать?

Как же все это было?

И он начнет восстанавливать, собирать в памяти по крупицам всю картину, чтобы ответить на главный вопрос, от которого отныне зависела его совесть,— мог или не мог он в те считанные доли секунды вынести командира? И он будет восстанавливать эти мгновения, каждое из которых запечатлелось в сознании своим цветом, запахом, ощущением. Он будет восстанавливать эти доли секунды в их жесткой последовательности, как это было, точно как это было,— по резкому сладковатому запаху дыма и горячей волне, ударившей в лицо в момент взрыва гранаты, по розовым отблескам пламени в дыму и промелькнувшей тени и затем по ощущению ужаса, охватившего его, когда, убегая, в дыму он услышал стон...

И без конца он будет спрашивать себя, мог ли поступить по-другому? Мог ли переждать второй взрыв гранаты, остановиться, а не бежать не помня себя? Переждать — но как, где? Кругом был дым, он услышал стон на бегу, ноги остановились, но он как бы еще бежал. Все равно — переждать, отвечал он себе, все равно. Но в силах ли это человеческих?

Он не сумеет найти исчерпывающего ответа, и тяжесть на сердце останется. Она будет исчезать и снова возвращаться. А потом вдруг он опять спросит себя: да было ли это, может, все это он сочинил, придумал или где-то слышал? Разве можно что-то не помнить почти тридцать пять лет и ни с того ни с сего вспомнить? Значит, можно, ответит он себе, раз вспомнил, значит, можно. Потом он убедит себя, что теперь, опираясь на память тридцатипятилетней давности, судить себя совсем другого, молодого, трудно, почти невозможно,—

и это успокоит его, а тяжесть на сердце, то почти незаметная, то ощутимая, будет оставаться...

Но все это произойдет с Козыревым тридцать пять лет спустя, так далеко от того ночного боя 1941 года и следующего за ним дня, когда вдвоем с Симовским они выходили из окружения, что, если бы тогда спросить его, каким он представляет себя в 1975 году, он бы только рассмеялся в ответ: 1975 год! Да ему будет пятьдесят пять! Это же глубокая старость! А какие бывают старики? Пробираясь в то раннее утро 8 октября 1941 года сквозь густую чащу старого ельника навстречу первым слабым лучам восходящего солнца, они радовались, что вырвались, что нашли друг друга, и не задумывались особенно о том, что ждет их даже завтра.

Лес казался пустынным, птицы беззаботно пересвистывались, и похоже было на то, что никто не помешает им добраться до своих.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Многоуважаемый Евгений В.! (Простите, не знаю отчества, на конверте «В.», Владимирович? Угадала?) Не могу и сказать, как обрадовало меня Ваше прекрасное письмо. Я историк, знаю цену находкам, случались они и в моей жизни, и каждый раз для меня это большое событие, независимо от масштаба находок, ибо подтверждает мою любимую мысль: ничто не пропадает, не исчезает бесследно. А что такое история? Не бессмертие ли человечества? С этой точки зрения каждое, пусть самое маленькое историческое открытие, находка — это движение к бессмертию или, если хотите, погружение в бессмертие.

Вот и Вы обнаружили работу, которая считалась утерянной, следовательно, Вы сделали этот шаг — вернули исторической науке то, что существует, но было от нее скрыто, и, таким образом, восполнили образовавшийся пробел. Вместе с тем, открыв для науки имя автора, Вы как бы вновь возродили и его самого к новой жизни в памяти людей и в сфере культуры. Фигурально выражаясь, Время (наше Настоящее) Вашими руками совершило акт исторической справедливости. Гордитесь! Впрочем, для Вашего уха это звучит, конечно, высокопарно, не стану спорить, но зато верно.

Должна Вам сказать, что война застала меня в Иркутске, где я работала в тамошнем архиве. Выехать сразу я не смогла и добралась до Москвы лишь к середине июля. Увы, многих моих учеников, друзей и коллег я уже не застала: все они ушли в народное ополчение, в их числе Я. Симовский. В те дни, как Вы понимаете, мы думали о людях, о наших товарищах, а не о книгах и рукописях. И все же накануне эвакуации университета из Москвы я вспомнила о работе Симовского — эта была готовая к защите блестящая диссертация, получившая уже по первому чтению восторженные отзывы, но найти ее нам не удалось. Один из оппонентов в первые дни ушел на фронт и погиб в сорок втором году, судьба второго мне неизвестна.

Дело в том, что работа Симовского, посвященная герценовским сборникам «Голоса из России», до сих пор остается единственным в своем роде исследованием этого интересного источника для изучения эпохи. Исследователи Герцена и его эпохи обращались, главным образом, к «Колоколу» и «Полярной звезде», а «Голоса из России» оставались в тени, хотя эти сборники могут чрезвычайно много дать в смысле понимания различных течений и эволюции русской общественной мысли того времени. Их изучение вообще может быть исключительно богато по своей проблематике. Об этом свидетельствуют и научные отклики на факсимильное издание «Голосов из России», осуществленное сравнительно недавно издательством «Наука».

Все это я говорю Вам для того, чтобы подчеркнуть научную ценность Вашей находки. Но, повторяю, дело не только в этом. Ваше понимание нравственной значимости самого факта включения в круг современной науки и культуры работы, автор которой погиб, сражаясь с фашизмом, доставило мне огромную радость. Теперь Вы и сами стали каким-то звеном в этой вечно живой цепи. А лично мне Вы напомнили еще раз о моем ученике (читая Ваше письмо, я его очень ясно представляла), которого я высоко ценила как замечательного человека и как подающего большие надежды талантливого молодого исследователя. Необыкновенно трудолюбивый и образованный для своих лет, Яша Симовский обладал пытливым и смелым умом и, что особенно важно для историка, безошибочным чутьем к источникам, умением сопоставлять, связывать самые разнородные факты и находить в них общую нить, истори-

ческую тенденцию. Скромный до застенчивости, он был бесстрашным в отыскивании научной истины. При этом я не видела человека более наивного в житейских делах. Он, между прочим, ничего для себя не добивался, никогда не думал о карьере, а муза истории улыбалась ему. Со своими студентами (я поручила ему вести герценовский семинар) он мог заниматься целыми часами, со временем своим не считался. Да и, вероятно, вообще никому не мог отказать в какой-либо помощи. Таков был этот человек, в первые же минуты опасности ушедший защищать Родину. Признаюсь, я не думала, что ему с его зрением удастся попасть в ополчение. А вот сумел... Кончаю и без того затянувшееся письмо. И горько и как-то хорошо, когда о нем думаешь...

Как я поняла, Вы готовы привезти рукопись. Приезжайте, обсудим, как нам действовать. Диссертацию, несомненно, необходимо опубликовать. Подумаем, как к этому подступиться. Да и, не скрою, хотелось бы познакомиться с Вами лично. Правда, домашние меня ограждают от новых встреч и дел, записали в пенсионерки (подумаешь — сердце! А у кого оно не болит? На то оно и существует, чтобы болеть, не так ли?), но мы с Вами моих церберов перехитрим. Если же почему-либо Вы не сумеете приехать, рукопись высылайте.

Всего доброго. Ваша В. Астахова».

Женя столько раз перечитывал это долгожданное письмо, что запомнил его наизусть. Как это часто бывает, сначала он ухватил его общий самый главный смысл, который заключается в том, что он правильно расценил значение своей находки. Академик Астахова утверждала, что рукопись важна для науки, для людей, для жизни, и рассказать о ней, о Симовском — его долг. В сущности, Валентина Александровна выразила то, что он чувствовал. Правда, уж высказалась она больно красиво: «Акт исторической справедливости...» Но это другой разговор. Главное, он оказался прав, чутье его не обмануло, когда он, прочитав письмо Симовского, уже не смог оставить эту папку и забыть о ней...

А потом, вспоминая отдельные словечки, обороты из письма Астаховой, как бы сами собой всплывающие перед глазами, Женя постепенно начал ощущать за ними и личность этой старой женщины, словно услышал ее живой голос. Она говорила откровенно и просто, как равная с равным, не боясь ни уронить свое достоинство,

ни показаться слишком высокопарной. Она оставалась сама собой, какой, вероятно, была всегда: искренней, открытой, памятливой. Было что-то необыкновенно привлекательное в живой интонации ее голоса, во всем тоне ее письма. И эта откровенность и простота, за которыми стоял весь опыт ее жизни, тоже были уроком.

Надо ли говорить, что письмо подняло настроение Жени, прибавило ему силы, уверенности. Да и что может быть важнее вовремя сказанного слова поддержки в трудном деле? Женя особенно нуждался в таком слове. С некоторых пор Симовский, Яна, Татьяна Алексеевна связались в его сознании воедино. Женя отчетливо ощущал эту связь, которую, вероятно, он не смог бы объяснить. Однако он верил: каждый шаг вперед в деле Симовского приближал его и к Яне. С того вечера в ресторане Женя не видел Яну и не решался ей позвонить — будто ждал этого письма. Теперь же был прекрасный повод, что там повод! Он просто не мог, не имел права не рассказать ей об этом письме! Перед отъездом вечером Женя снял телефонную трубку и непослушными пальцами набрал номер.

Длинный гудок. Один, второй, третий... Ну, берите же кто-нибудь трубку! Еще один гудок, еще... И вдруг голос Яны: «Я слушаю...»—«Здравствуй,— сказал Женя,— это я...»—«Здравствуй, я знала, что это ты звонишь».—«Откуда?»—«Неважно. Знала».—«Я улетаю завтра».—«Куда?»— голос Яны сорвался.—«В Новосибирск. Понимаешь, я получил письмо от академика Астаховой, она оказалась там, нянчит внука. Хочешь, прочту?»—«Прочти».

Женя закрыл глаза. Он начал читать письмо с тем выражением, с каким, как ему казалось, читала бы его сама Астахова. В двух-трех местах Женя прерывал себя: «Ну, это она хватила... Простим старушке...»— и продолжал дальше. Яна молчала. Она ни разу, ни единым словом не перебила Женю. А когда он кончил, сказала: «Вот ты какой, Женя. Я знала, что ты такой».—«Не в этом дело,— ответил он,— ты понимаешь, что значит это письмо?»—«Понимаю». Помедлив, тихо, так тихо, что он плохо слышал себя, Женя спросил: «Яна... Что ты мне скажешь?» Она тоже ответила не сразу и тоже тихо: «Скажу... Когда приедешь, скажу...» Он ждал, ждал, трубка в его руке была теплая и влажная, ему почудилось — он слышит ее дыхание... «Где ты?»— неожиданно спросила Яна. «Здесь я, здесь...»—

«Ну, до свидания, Женя. Счастливого тебе пути». Яна замолчала (сейчас она произнесет самые важные слова: «Буду ждать». Скажи мне это, скажи!), пауза затягивалась, и она проговорила: «Какое замечательное письмо! И как ты прочитал, будто стоял за ее спиной, пока она писала его...»—«Я известный колдун,— Женя овладел собой, и голос его звучал ровно.— Вот сейчас, например, я вижу тебя. Хочешь, скажу, о чем ты думаешь?»—«Не надо, Женя,— испугалась Яна,— лучше не надо. Потом, потом поговорим. До свидания,— опять повторила она,— счастливого пути».—«До свидания, до встречи»,— ответил Женя, и Яна сразу повесила трубку, будто ждала этих слов.

В самолете Женя мысленно на все лады повторял этот разговор, как бы снова и снова вслушиваясь в ее голос, пытаясь разгадать невысказанное. Занятие это оказалось довольно утомительным, и в какой-то момент незаметно для себя он задремал. Сознание продолжало работать, но мысли стали рваными, путаными. Яна куда-то пропадала, а на ее месте, хитро улыбаясь, появлялась старушка из Института истории. Когда Женя очнулся, самолет шел на посадку.

...Войдя в вестибюль гостиницы Академгородка, отделанной в современном интуристском стиле, под дерево, Женя почувствовал, что он в некотором роде персона, журналист из Москвы, представитель серьезного столичного журнала. Гостиница была рассчитана на ученых гостей Сибирского отделения Академии наук СССР, в том числе зарубежных, собирающихся сюда время от времени на различные симпозиумы и конференции. Тут все было устроено как в лучших домах: мягкие кресла, низенькие столики, цветы в горшках, затейливые растения в кадках и вежливые женщины неопределенного возраста, с чувством юмора в роли администраторов. А ведь еще совсем недавно Женя с вещмешком за спиной пер в общежитие геологов или, в другом случае, мечтал о свободной койке в задрипанной районной гостинице, мало чем отличающейся от общежития.

Через открытое окно тянуло прохладным ветерком с водохранилища. Чуть подрагивала еще не опавшая багряная листва на верхушках берез и лип, стоящих перед гостиницей. Голубело чистое небо. Неяркое осен-

нее солнце как раз перевалило зенит. Женя растянулся на кровати, ощущая, как уходит усталость. Он закрыл глаза, отдавшись бессвязному течению мыслей и образов... Внезапно Женя услышал (нет, нет, боже упаси, никаких слуховых галлюцинаций, просто вспомнил, но все равно как услышал) голос Яны: «Скажу... Когда приедешь, скажу...» — и сердце его вздрогнуло в радостном предчувствии: «Ведь это значит — да!» Ударил ветер, остро пахнуло водой. Женя вздохнул полной грудью, сел на кровати, достал с тумбочки часы: четверть второго. Провалялся не больше получаса, а чувствовал себя отдохнувшим. Пора собираться.

На улице остановился и полной грудью вдохнул чистый, вольный воздух осенних просторов, в которых тонул не то что крохотный Академгородок, но и близлежащий миллионный Новосибирск со всеми его гигантскими заводами и прилегающими райцентрами. Эх, Сибирь, Сибирь! Кто, подобно Жене, ходил по ее дорогам, знает, какое удивительное чувство охватывает человека, когда он ступает на эту землю, у которой нет конца и края, зато есть свой характер...

Да, день был прекрасный, какие часто выпадают поздней осенью в Сибири. После дождливой холодной Москвы мягкое нежаркое солнце, глубокие синепрозрачные дали с черными деревьями в золотых и пурпурных пятнах — вся эта чуть грустная, тихая краса казалась нежданным подарком. Солнечные лучи, как бы вырываясь из переполненной светом синевы, внезапно вспыхивали золотыми блестками на листве, на стеклах домов. Журналисты, не однажды рассыпавшие цветы красноречия по поводу особой планировки Академгородка, не фантазировали: он действительно раскинулся в лесу. Улицы с грохочущими автомашинами как бы проходили по краю опушек и рощ, а то наподобие просек скрывались в глубине леса за деревьями. Дома стояли просторно, обдуваемые обским ветерком, то и дело открывались просветы, рощицы, полянки; уличный шум мешался с лесным бормотанием — скрипом деревьев, шорохом листвы, голосами птиц... Иногда ветер доносил крик чаек с водохранилища, которое сибиряки, со свойственным им размахом, окрестили Обским морем.

Женя неторопливо шагал по тротуару, усыпанному красными и желтыми листьями, посматривая на людей, на дома, на деревья, которые обтекала сахарная синева, и ему чудилось, он слышит отдаленный бездонный

гул этого тихого солнечного дня... Улица Академика Мальцева, 5, квартира 29. Волнение не проходило, но теперь оно как бы кристаллизовалось — подстегивало, слегка будоражило. Вскоре он оказался на искомой улице, больше похожей на сосновую рощу, где свободно, с широкими промежутками стояли добротные четырех- и пятиэтажные дома. Он быстро нашел дом 5 и, поглядывая на номера квартир, стал медленно подниматься по лестнице. На четвертом этаже перед дверью с металлической дощечкой «Доцент М. П. Station Бляхин» Женя остановился. Квартира 29. Она самая. А доцент Бляхин, естественно, муж дочери Астаховой — историк, о котором поведала старушка «божий одуванчик». Ну, вот мы и пришли. Женя почувствовал легкий озноб. Постояв немного, нажал кнопку звонка. Раздался мелодичный, переливчатый звук из двух нот. Послышались шаги, и женский голос спросил: «Кто там?»—«Я,— ответил Женя,— Сухарев.— И поспешно добавил:— Мне нужно видеть Валентину Александровну». Щелкнул замок, дверь открылась, и Женя увидел на пороге высокую худощавую женщину с копной седеющих волос. Она была скорее некрасива: впалые щеки, крупный нос, большой рот, но глубокие темные глаза освещали ее лицо каким-то мягким светом, и некрасивость ее не замечалась. С минуту она молчала, смотрела на Женю, потом сказала: «Я не ослышалась, вы спрашивали Валентину Александровну?» Женя кивнул. Она снова пытливо взглянула на него и медленно произнесла: «Валентина Александровна умерла».— «Как! Не может быть...» — пролепетал Женя. Женщина на мгновение прикрыла глаза. «Мама умерла...— повторила она очень тихо.— Вчера похоронили». Справившись с голосом, проговорила: «Заходите». Через переднюю, где горел свет, она провела Женю в большую комнату, жестом пригласила сесть у длинного стола, накрытого темно-зеленой скатертью.

Женщина молчала, понимая, что Жене нужно прийти в себя. Молчал и Женя. Известие о смерти Валентины Александровны потрясло его. Чувство было такое, словно ушел близкий человек. Неважно, что он никогда не видел ее, письмо от нее как бы заменило долгие годы общения.

— Как это произошло?— не поднимая глаз, спросил Женя.

— Вечером мама села за письменный стол, хотела что-то написать, взяла ручку и — скончалась. Сердце...

Больше он ни о чем не спрашивал — не решался. И сказать, зачем пришел, не мог. Надо было что-то делать, а он не двигался, сидел, молчал.

— Вы, вероятно, ее ученик? — Голос женщины донесся как бы издалека.

— Не совсем... Как бы вам сказать...— Женя растерянно пожал плечами.— Да, вот письмо,— нашелся он,— прочтите.— Торопясь, Женя открыл портфель, достал конверт.

Ксения (имя дочери Астаховой Женя запомнил, а отчество та институтская старушка, видимо, забыла назвать) взяла письмо и сразу, еще по адресу на конверте, узнала почерк матери. Дрожащими пальцами достала сложенный вдвое листок, развернула его. Увидев написанные рукою матери ровные бегущие строчки, слова с легким наклоном вправо, характерные, с острыми углами, почти без закруглений буквы, Ксения опустила письмо и прикрыла ладонью глаза. Женя рассматривал узор на скатерти, но и не поднимая головы, он словно видел, что происходит с Ксенией. Хрустнула бумага, она справилась с волнением, начала читать...

Сколько прошло времени? Жене показалось — очень много. Он бросил осторожный взгляд на Ксению — невидящими глазами она смотрела в пространство, по щекам ее текли слезы. Письмо лежало на столе под ее рукой. Она услышала живой голос матери — живой, живой! Как мама радовалась, когда получила письмо от неизвестного ей молодого человека, нашедшего рукопись ее ученика Яши Симовского, погибшего на войне. «Главное, что он понял!— говорила она, помахивая письмом.— Понял, что нельзя пройти мимо, оставить эту рукопись погребенной под ворохом других — нельзя! Это было бы нравственным преступлением... Вот видишь, вот видишь,— торжествовала она,— молодой современный человек и не историк, я уверена — не историк, а знает, что есть живая нить времен, и, когда в одном месте она порывается, каждый, кто это заметит, должен ее связать. Он знает это! Нить будет рваться, а ее снова свяжут — и так без конца! Смотри, Ксана, сколько лет прошло, а я еще жива, современница Яши и этого молодого человека, и жива, наверно, девушка Яши, помню, помню, у него была девушка... А знаешь, Ксана, этот Сухарев из того же теста, что

и Яша, хотя между ними — целая историческая эпоха. Вот видишь, не гаснет огонек, нет, не гаснет!»

В этот день она была оживлена, вспоминала забавные случаи, интересно рассказывала о Симовском, о других старых учениках — письмо Сухарева стало для нее сущим подарком! Ксения вспомнила, как в день смерти она не хотела отпускать маму гулять с Ванечкой — ей не нравился мамин вид, осунувшееся за ночь лицо, коричневые круги под глазами, проступавшие явственней, чем обычно. Но мама настояла — ежедневное гуляние с Ванечкой она считала своей святой обязанностью. Она очень любила неторопливо катить коляску около дома по дорожке, усыпанной желтыми сосновыми иголками, или сидеть на скамеечке рядом, читать, смотреть на деревья, на небо... Пришла с гуляния она, как обычно, посвежевшей и, посмеиваясь, передала свой разговор с мальчишками, которые обещали ее взять с собой на рыбалку. Не успели... Вечером мама села за письменный стол, взяла ручку... И — ни стона, ни звука. Когда она вошла в комнату, мама сидела в кресле, откинувшись на спинку, лицо ее было спокойно, глаза закрыты, одна рука лежала на столе, другая — на подлокотнике кресла. Наверно, левой рукой она схватилась за сердце, а потом эта рука опустилась на подлокотник...

Ксения вздохнула, машинально вытерла глаза, щеки, взглянула на Женю. Какие-то мгновения в глазах ее еще блуждали воспоминания.

— Мама ждала вас,— произнесла Ксения как-то странно, будто долго молчала до этого и разучилась говорить.— Очень ждала. И не дождалась... А теперь... Кто же без нее... Я — геолог. Я мало что смогу сделать. Но все равно. Надо пытаться. Ведь мама очень хотела заняться рукописью, опубликовать ее, прокомментировать... Мы должны попытаться.— Слова давались Ксении трудно. Женя молчал, и Ксения, вздохнув, сказала:— Обратимся к мужу. Максим Платонович — историк, знает все дорожки в этом мире. Правда, он специалист по древностям и не любит отвлекаться от своих тем, но теперь весь архив мамы в его распоряжении, а значит, и ее незавершенные дела... Я с ним поговорю. Сейчас он в университете на лекциях, а вечером будет дома. Приходите часов в восемь.— Она поднялась, Женя поднялся вслед за ней. Он почувствовал: ей необходимо остаться одной, и как можно скорее. Каж-

дый вопрос причинил бы ей боль, и так уж этот разговор с ним стоил ей больших усилий.

...Ровно в восемь Женя стоял у двери с табличкой: «Доцент М. П. Бляхин». Тот самый, с кем ему предстояло разговаривать, человек, знающий все дорожки в историческом мире.

Бог с ним — не в нем дело! Женя шел в дом, где было большое горе, и это горе касалось и его. Людей много — миллионы, но каждая смерть единственна, и что-то она меняет в мире. Когда человек уходит, образуется пустота, которая не замещается ничем. А вот архив Валентины Александровны остался и перешел в ведение доцента М. П. Бляхина, и архив, и ее незавершенные дела... Стоя перед дверью, Женя с болью ощущал эту пустоту, хотя никогда не видел Валентину Александровну. Оборвалась живая нить, уже было связалась и опять оборвалась. Женя не мог представить себе, что будет говорить с кем-то, а не с Валентиной Александровной, будто ее смерть стала между ним и тем, кто сейчас вместо нее. Разве это справедливо, разве может кто-то заменить Валентину Александровну? Заменить — нет, а продолжать ее жизнь, дела кто-то должен...

Женя позвонил. Раздался уже знакомый мелодичный перезвон, потом щелкнул замок, и дверь открыла Ксения. В глазах ее стояло то же выражение боли, что и при расставании с ним, будто боль эта застыла навсегда. Ксения кивнула Жене и молча пропустила его вперед. «Максим Платонович вас ждет»,— сказала Ксения. Она пошла не в большую комнату, а направо, где, видимо, находился кабинет Бляхина. Постучав, сразу открыла дверь и жестом пригласила войти Сухарева. «Вот, Максим, Сухарев Евгений...»— Она замялась. «Владимирович»,— подсказал Женя, стоящий за ее спиной. «Евгений Владимирович,— повторила Ксения,— о котором я тебе говорила...» Ксения посторонилась, и Женя увидел поднявшегося к нему навстречу из-за письменного стола дородного человека лет сорока пяти, весьма благообразного на вид, в очках в тонкой золотой оправе.

— Очень приятно. Максим Платонович,— слегка улыбаясь, ровно настолько, насколько требовала вежливость, представился он, пожимая Жене руку.

— Евгений Владимирович,— ответствовал Женя.

— Ну вот,— сказала Ксения,— к сожалению, я должна вас оставить: что-то закапризничал Ванечка. Но я еще загляну,— улыбнувшись Жене, желая тем самым подбодрить его (а улыбка вышла печальная, хоть плачь), Ксения вышла из комнаты.

— Что ж,— вздохнул Бляхин, слегка разведя руками, как бы покорствуя судьбе (Женя не понял, к чему относился этот сожалеющий жест: к уходу Ксении или к необходимости с ним разговаривать),— что ж, прошу садиться,— он показал на кресло возле столика, на котором стояла хрустальная ваза и хрустальная пепельница.

Чуть отодвинув кресло, Женя сел, поставив портфель с папкой Симовского на пол у своих ног, Максим Платонович опустился в кресло напротив, закинул ногу на ногу и выжидающе взглянул на Женю. Он был очень похож на либерального профессора-экзаменатора, который хоть и заранее уверен, что студент, что называется, ни бум-бум, тем не менее готов доброжелательно его выслушать и даже, как говорится, не глядя поставить ему троечку. Вблизи в благообразной «профессорской» внешности Бляхина были заметны и некоторые изъяны. Нос, например, на его гладком молодом мясистом лице был, пожалуй, несколько широковат, а глаза за очками, холодно-голубоватые, казались, напротив, меньше, чем им полагалось бы быть. Рассыпающиеся русые волосы открывали высокий лоб, но с намечающимися залысинами...

Молчание затягивалось, и Максим Платонович в легком нетерпении стал чуть слышно барабанить пальцами по полированной поверхности столика. Как видно, все, что он делал (даже когда выказывал нетерпение), было в пределах правил вежливости. Наконец, собравшись с духом и не глядя на Бляхина, Женя сказал:

— Вы знаете, в чем суть дела?..

— В общих чертах,— наклонил голову Бляхин.

— В университетской библиотеке я случайно обнаружил диссертацию аспиранта Симовского, научным руководителем которого была Валентина Александровна. Симовский не успел защитить диссертацию — началась война, он вступил в народное ополчение и погиб под Москвой...— Женя остановился, Максим Платонович, с любопытством глядя на него, ждал.— Ну, я и подумал: пусть хоть с опозданием почти на сорок лет, но

все же будет сделано то, чему помешала война. Ведь мы победили, и Симовский отдал за победу жизнь...

При словах «мы победили» Бляхин кивнул головой — он был согласен: да, победили. И затем снова принял доброжелательно-невозмутимый вид. О письме Симовского к Тане Женя, естественно, не обмолвился, это к делу не относилось... А Валентине Александровне он бы обязательно рассказал — ведь с этого письма все началось...

Собственно говоря, все, что нужно было знать Бляхину, Женя уже сказал. Осталось добавить, что он разыскал адрес Валентины Александровны и написал ей о найденной рукописи. В ответном письме Валентина Александровна просила его приехать — и вот он здесь. Женя достал письмо и протянул Бляхину. Теперь должно было говорить оно. Там было сказано в тысячу раз больше, чем мог сообщить Женя. Там было все сказано.

Максим Платонович не без интереса взял письмо и сразу же принялся за чтение. Женя смотрел на его лицо — оно оставалось невозмутимым, лишь в двух-трех местах губы его дернулись в усмешке, и он слегка покачивал головой, как бы что-то узнавая и подсмеиваясь одновременно. Впрочем, письмо, по-видимому, доставило ему удовольствие. Возвращая его Жене, произнес:

— Прекрасное письмецо! Валентина Александровна вся как на ладони. Для ее биографа бесценный материал.

— Как видите, Валентина Александровна предполагала опубликовать рукопись...— сказал Женя.— Вот, я ее привез...— он нагнулся к портфелю, но Бляхин остановил его жестом:

— Все это прекрасно... Я охотно верю, что мы имеем дело с диссертацией, которая вполне могла быть в свое время защищена как кандидатская. Но публикация — совсем другое дело. Ежегодно по стране защищается множество кандидатских диссертаций, а сколько из них публикуется? Может быть, одна из тысячи, да и то вряд ли... А тут еще прошло столько лет, наука шагнула вперед, появились новые данные, даже, возможно, и открытия, новая литература... Работа, в свое время представлявшая интерес, допускаю, что так, сегодня по логике вещей, по всей вероятности, безнадежно устарела. Кто же примет — да и с какой целью?— ее к публикации?

— Простите,— вклинился Женя, как только Бляхин сделал необходимую паузу перед тем, как начать новый период (он уже входил во вкус, речь лилась свободно, аргументация разворачивалась безупречно, по всем правилам, и ему доставляло удовольствие слушать себя, жаль, что прерывали, но ничего — пусть, пусть...).— Простите,— повторил Женя твердо,— как это устарела? Но ведь Валентина Александровна пишет, что до сих пор на эту тему нет серьезного исследования и что эта работа и в настоящее время представляет большой научный интерес. Разве мнение академика Астаховой по этому вопросу недостаточно авторитетно?

— Авторитетно, дорогой Евгений Владимирович, весьма авторитетно,— с готовностью откликнулся Бляхин, и на лице его отразилась почтительность.— Я вам больше скажу: крупнее авторитета по данному вопросу просто не существует! Девятнадцатый век — это специальность Валентины Александровны, ее стихия, но, дорогой Евгений Владимирович, несколько фраз в частном письме — это еще не мнение! Никто же не станет их рассматривать как официальный отзыв. Да это было бы и неверно. Одно дело, что пишет человек в частном письме под влиянием минутного настроения, вызванного, скажем, воспоминаниями молодости, и совсем другое — когда он высказывает свое мнение официально, для научных инстанций, взвешивая каждое слово, учитывая все необходимые в таких случаях аспекты вопроса,— тут иной раз приходится и преодолевать собственные эмоции и настроения... Я думаю, вы это понимаете и не будете использовать личное письмо к вам как официальный документ. Это было бы неправомерно, неэтично, если хотите, вы ведь не знаете, как написала бы Валентина Александровна об этой работе в официальном порядке, скажем, по просьбе издательства или журнала...

— Знаю,— перебил Бляхина Женя,— точно так же, как и в письме. Валентина Александровна не стала бы для одних писать одно, а для других — другое. Я не сомневаюсь в этом.

— Ах, вот оно что!— с огорчением покачал головой Бляхин.— Значит, вы не хотите понять... Очень жаль... А позвольте спросить, давно ли вы были знакомы с Валентиной Александровной?

— По-моёму, это ясно из ее письма. Мы не были знакомы.

— Ну вот видите... Что же вы беретесь утверждать, как поступила бы Валентина Александровна в том или ином случае? Не слишком ли это, простите, самонадеянно?

— Не слишком.— Женя впервые взглянул Бляхину в глаза, и тот отвел взгляд.— Что же, Максим Платонович, считать старого, всеми уважаемого человека, написавшего, как вы сами сказали, искреннее письмо, считать такого человека,— повторил Женя,— честным, а не двуличным, это, по-вашему, самонадеянно?

— Ну знаете ли,— возмутился Бляхин,— не передергивайте! Я же не о том... Вот вы умный человек, а не хотите меня понять. Право же, странно...

— Я вас прекрасно понимаю, Максим Платонович,— ответил Женя.— Все понимаю, все.

Молчать, приказал себе Женя, никаких резкостей. Черт с ним! Я ведь говорю не от себя: от Симовского, от Валентины Александровны. Хотя не мешало бы врезать ему пару ласковых... Толку от него все равно не добьешься — это ясно. Но какой тип! Сказал бы «нет»— и баста. А то крутит, метет хвостом, речи произносит. Для чего это ему нужно? Неужели всерьез надеялся меня убедить бросить это дело? После письма Валентины Александровны! Да нет, не такой уж он дурак. В чем же дело?

Наступила пауза, заминка. Бляхин, со своей стороны обидевшись, что его неправильно поняли, замолчал. Искоса поглядывая на Женю, он пожалел, что понапрасну тратил свое красноречие — этого молодого нахала он не переубедил, а на грубость нарвался. Что ж, по крайней мере, перед Ксенией он чист: как и обещал ей, попытался найти с ним общий язык, и если до обсуждения конкретных действий дело не дошло, то это не его, Бляхина, вина. Правда, все равно такое обсуждение было бы чистейшей фикцией: бессмысленно добиваться публикации какой-то допотопной, никому не нужной аспирантской работы только потому, что автор — ученик уважаемой Валентины Александровны. О живых надо думать, о живых! Живым не пробиться в печать, где уж тут заботиться о несуществующих аспирантах! Ксения не хочет этого понимать, хорошо, у нее свои мотивы: письмо матери к Сухареву она считает выражением воли покойной, ее последним желанием, которое мы

обязаны выполнить,— пусть так, но этому-то пройдохе что нужно? Ради чего он так старается?

— Ну, хорошо, хорошо...— пробормотал наконец Бляхин, снова начав слегка барабанить по столу (он опять стал похож на профессора-экзаменатора, но теперь уже не доброжелательного, а, напротив, рассерженного неудовлетворительными ответами студента).— Хорошо, хорошо... Кстати, вы сами по профессии ведь не историк?

— Я журналист.

— И где же вы работаете, уважаемый Евгений Владимирович? Если не секрет, конечно,— продолжал Бляхин свои расспросы.

Женя назвал журнал. Бляхин покивал головой, словно именно этого ответа он и ждал. У него была такая привычка, выслушивая собеседника, время от времени кивать головой, как бы соглашаясь и одновременно давая понять, что все сказанное ему уже известно. Тем не менее Бляхин почувствовал облегчение (все-таки не корреспондент центральных газет и не сотрудник исторических изданий), хотя главный вопрос, ради чего Сухареву необходимо опубликовать извлеченную из небытия работу никому не ведомого аспиранта, оставался непроясненным. И это рождало неприятное ощущение неопределенности, даже смутной не то чтобы тревоги, а скорей неловкости, что ли... Невольно закрадывалось сомнение: а нет ли здесь каких-либо особых обстоятельств, о которых Сухарев умалчивает? Не делает ли он ошибки, так сразу отказываясь от участия в этом деле?

— Ну, хорошо, Евгений Владимирович,— Бляхин улыбнулся, откинулся на спинку кресла и снова стал похож на добренького экзаменатора, всей душой сочувствующего братьям студентам,— разговор у нас с вами мужской, смею думать, дружеский, я вам прямо, без экивоков, без дипломатии высказал все свои сомнения. Теперь очередь за вами. Откровенность за откровенность. Согласны?

— Конечно,— пожал плечами Женя.— А как же иначе? Мне скрывать нечего.

— Тогда честно, положа руку на сердце.— Бляхин наклонился вперед и, смотря Жене в глаза, улыбаясь, заговорщическим тоном спросил:— Зачем вам все это нужно?

— Что?— не понял Женя.

— Ну, публикация хотя бы. Предположим, вы напечатали эту работу. А дальше что?

— Ничего. Работа будет напечатана.— Женя вспомнил фразу из письма Валентины Александровны:— Будет восстановлена историческая справедливость.

— Что-что? — теперь уже не понимал Бляхин.— Как вы сказали? Историческая справедливость? И вы это серьезно?

Он пристально взглянул в глаза Жене: не шутит ли? И вдруг понял — не шутит! Этот молокосос добивался исторической справедливости — никак не меньше! Да к тому же он, кажется, искренне считает, что, опубликовав эту школярскую работу какого-то аспиранта, осуществит историческую справедливость! Да откуда он взялся? С луны свалился, что ли? Что это — идеализм или чистая глупость? Бред какой-то! А еще журналист. А может, хитрит? Прикидывается?

— Вы не шутите?— переспросил Бляхин и неожиданно начал смеяться (А ведь — серьезно! Ох, болван! Ох, кретин!), смеяться громко, не стесняясь, вознаграждая себя за напряжение в продолжение всего разговора.— Ну, герой, ну, уморил!— приговаривал Бляхин, отдуваясь от смеха.

Сначала Женя подумал, что Максима Платоновича рассмешила несколько высокопарная (кто спорит?) формулировка —«историческая справедливость», взятая из письма Валентины Александровны, но потом понял: дело не в формулировке, не во фразе...

Женя ощутил в груди холод. Ах, подлец! Ему смешно. А ведь, наверно, изображал из себя друга Валентины Александровны, ее духовного наследника. А теперь изгаляется! Холодная злость, слегка кружившая голову, поднималась в Жене, загоняя куда-то вглубь осторожность и рассудительность, и было легко и славно отдаваться этой злости и поступать, как она велит, потому что всегда легче следовать своему чувству, нежели подавлять его. «Ах ты гад! — мысленно приговаривал Женя.— Ты еще смеяться! А если я тебе сейчас по твоей толстой роже...» Но тут Бляхин, отсмеявшись, снял очки и стал неторопливо протирать их чистым носовым платком. Внезапно он поднял голову:

— Простите, Евгений Владимирович, не принимайте на свой счет... Кстати, как фамилия автора работы? Симовский? Так, так...— он надел очки и сразу обрел

свой исконный либерально-профессорский вид.— Все-таки, хоть убейте, Евгений Владимирович, не пойму, зачем вам, Сухареву, хлопотать о публикации работы этого... Якова Симовского? Добро бы еще...— но тут он встретился взглядом с Женей, и слова, едва не сорвавшиеся с кончика языка, были им как бы проглочены, ибо Бляхин сделал судорожное глотательное движение и несколько втянул голову в плечи, так как в это самое время Женя поднялся с кресла и, замахнувшись левой, стал прямо над ним.

— Ах ты гад, шкура! — медленно, с расстановочкой произнес Женя.— Ты еще издеваться? Да ты у меня пикнуть не успеешь!

Глаза у Бляхина округлились, лицо сделалось белым как мел, губы непроизвольно шевелились, но вымолвить ничего не могли. Глядя снизу на Женю, он подвинулся к краю кресла, имея намерение выскользнуть в щель, образовавшуюся между подлокотником кресла и телом Жени, но бандитский голос рявкнул над самым ухом: «Сидеть!» Бляхин вздрогнул и замер: бандитская рука все еще была отведена в замахе, и страх, подлый, липкий страх, затопивший его нутро, сковал, заморозил все тело, лишил воли к сопротивлению.

Как могло случиться, что крупный, дородный сорокапятилетний мужчина в своем собственном доме оцепенел от страха под взглядом и поднятым кулаком молодого человека, пребывающего куда в более низкой весовой категории, мы не знаем и, признаться, сами удивляемся, но факт остается фактом: в первый момент (возможно, тут сыграл свою роль фактор внезапности) Бляхин не мог даже шевельнуться. По-видимому, он впал в шоковое состояние, что, говорят, может произойти с каждым... Но так или иначе, именно это состояние кролика перед удавом спасло его от верной оплеухи. Контраст между смеющимся, уверенным в себе солидным профессором и спустя мгновение — оцепеневшим, с круглыми белыми глазами от страха человеком был так разителен, что Женя опешил. А потом овладел собой, и благоразумие взяло верх. Момент был упущен. Страшно подумать, что было бы, если бы дело дошло до рукоприкладства (какой позор!), да еще, чего доброго, Бляхин получил бы телесные повреждения! Но, слава создателю, этого не произошло.

Рявкнув «Сидеть!», Женя еще кое-что пробормотал сквозь зубы и нехотя опустил руку, а затем отступил на

шаг. Это движение вернуло Бляхина к жизни. Всей кожей, всем нутром он ощутил: пронесло! Мысль эта, утвердившись, потянула за собой другую: как выйти из затруднительного положения, что предпринять? Милиция? Но пока суд да дело... Бляхин встал и, все еще бледный, с трясущимися губами, прошипел (хотел крикнуть, но голос изменил ему):

— Вон!

— Это ты — мне?— усмехнулся Женя.— Ничтожество! Да я выброшу тебя из окна!— Он шагнул к Бляхину, но тот, успевший занять позицию за креслом, на этот раз проявил мужество: не двигаясь, он настороженно следил за действиями противника, готовый увернуться от удара или (в чем мы все же сомневаемся) нанести ответный. Правда, левая щека у него дернулась. Как видно, ему потребовалось адское усилие воли, чтобы прямо смотреть в лицо опасности.

— Ладно. Бегать я за тобой не буду,— проговорил Женя.— Твое счастье, что рядом — твоя жена, хороший человек, а то отделал бы я тебя, доцент, как бог черепаху. Свободен. Да не забудь сменить кальсоны.

— Хулиган. Уголовник,— опять прошипел Бляхин.— Это тебе так не пройдет!

— Что, милицию позовешь? Зови! Я подожду. Ведь не позовешь — струсишь. Скандал тебе ни к чему. Сиди и помалкивай в тряпочку, пока студенты твои не узнали, какой ты трус и дерьмо.

Женя взял портфель и медленно пошел из комнаты. Бляхин, продолжая неподвижно стоять, ловил звук удаляющихся шагов. Вот он в коридоре. Остановился. Щелканье открывающегося замка. Хлопнула входная дверь. И тут только Бляхин повалился в кресло, откинул назад голову, закрыл глаза и застонал.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

День у Виктора Палыча Ожогина прошел как обычно — не было ни особых раздражителей, ни огорчений или неприятностей, а сон привиделся дурной. Он на передовой, один в окопе, и знает, что сейчас на него пойдут танки. Смертная тоска охватывает его. Он хочет двинуться — и не может, ужас сковывает все тело. Холод разливается в груди, подступая к сердцу, еще немного — и сердце заледенеет, остановится, и тогда —

конец. Он делает отчаянное усилие, чтобы шевельнуться, вздохнуть, что-то рвется в нем — и Виктор Палыч открывает глаза...

Какие-то мгновения он лежит, глядя открытыми глазами в темноту, внутри у него все дрожит, сердце колотится, но он уже понимает, что это был сон, что он проснулся и лежит на собственной постели у себя в кабинете. Взглянул на бесшумно идущий будильник: два часа, впереди целая ночь, надо попытаться заснуть. Привычным движением Ожогин взял с тумбочки таблетку, проглотил ее и запил водой. Теперь несколько минут следовало полежать спокойно, ни о чем не думая, расслабиться, закрыть глаза. Но это было уже бесполезно: он знал, что тревожило, не давало погрузиться в забытье. Он боялся повторения этого сна, сердце его заранее сжималось от страха, парализующего все тело.

К своему благу, Виктор Палыч не помнил снов, но этот — как он один оказывается в окопе на передовой и, не в силах шевельнуться от леденящего ужаса, ждет, когда на него пойдут танки,— этот сон Виктор Палыч помнил, потому что он постоянно повторялся, словно сидел в нем, как заноза, как воспоминание, от которого невозможно избавиться. Надо сказать, что ничего подобного на самом деле с Виктором Палычем не происходило: не было такого, чтобы остался он один в окопе на передовой и ждал танковой атаки, не было! Да зато в мыслях было. Он так смертельно, до колик в животе боялся этого, так живо представлял себе идущие на него танки, что, случалось, неожиданно для окружающих покрывался холодным потом...

Однако пронесло, война закончилась, не подвергнув Виктора Палыча Ожогина, писателя фронтовой армейской газеты, этому тяжелому испытанию. Он благополучно вернулся в Москву, с головой ушел в новую жизнь — другие заботы, страхи совсем другого сорта завладели им. Но вот однажды, много лет спустя после войны, Виктору Палычу приснился этот сон. Наутро он, по своему обыкновению, забыл его, но сон стал повторяться, и по ощущению, с которым Виктор Палыч просыпался, он тотчас же вспоминал его.

Непостижима человеческая психика: никакой видимой причины, могущей объяснить неожиданное появление сего сна, Виктор Палыч не обнаружил. Ничего, ровным счетом ничего не нашел за последнее время такого, что могло бы, пусть не прямо, косвенно, ассоциа-

тивно, вызвать старый сон. Да, по-видимому, скрывался в потаенных уголках его сознания давнишний фронтовой страх и вдруг выказал себя в сне, а как это произошло, по какой причине — мы, право же, не ведаем. Впрочем, оно, может, и к лучшему. Жутко подумать, что было бы, если бы наука, овладев механизмом памяти, вручала ключ от него встречному и поперечному. Представляете: совершил нечто — и если неприятно вспоминать, забыл об этом. Захотел — вспомнил, а не захотел — забыл до конца дней своих... Никаких сожалений, никакого раскаяния, никаких угрызений совести. Не существует духовного опыта — сомнений, ошибок, горьких потерь, трудных обретений. Он забыт. А над всем господствует минутное желание, не знающее преград и моральных запретов... Да, дорого бы дал Виктор Палыч Ожогин, чтобы иметь такой ключ, но мудрая природа не спешит открывать некоторые свои секреты, и, как видим, правильно делает!

Но мы отвлеклись, оставив Виктора Палыча лежать в темноте. Сон, проклятый этот сон, на целый день выбивал его из колеи. Неприятно было признаваться себе в том, что на фронте он жил под вечным страхом оказаться на передовой. Неприятно было думать об этом, он и не думал и не признавался, но иногда, вот в такие ночи, как бы само собой всплывало давнишнее воспоминание. Было это на Калининском фронте в начале января сорок третьего, их армия нацелилась на Великие Луки и вела трудные бои. Редактор газеты приказал ему вместе с Борисом, таким же сотрудником, как и он, отправиться на передовую в полк, который вклинился в оборону противника. Нужна была срочная корреспонденция из роты, взвода о солдатах и командирах, проявляющих смелость и находчивость в трудных наступательных боях. Как только Борис ушел в политотдел выклянчивать машину (своя, редакционная, была в разъезде), Ожогин направился к замредактора с развернутым планом следующего номера, посвященного теме: «Солдат в наступлении». Тема была своевременная, тщательно продумана, и замредактора загорелся. Они обсудили план, и Ожогин получил задание прямо сейчас провентилировать кое-какие моменты в политотделе — у него там были свои каналы. О задании редактора срочно вместе с Борисом выехать на передовую Ожогин, понятно, ничего не сказал и тут же отправился в политотдел. Когда он вернулся в редакцию, Борис

уже уехал. Ожогину передали, что Борис его искал, но не нашел (ему и в голову не пришло, что Ожогин мог уйти в политотдел). Борис покрутился и уехал: время подгоняло, и так он замешкался, раздобывая машину.

С этого задания Борис не вернулся. По дороге на передовую машина попала под минометный обстрел, шофера тяжело ранило, а Борис был убит осколком в грудь навылет. Его любили в редакции, он был смелым парнем, безотказным в работе, писал странные стихи, мечтал о литературе... Ожогин привязался к нему, они вместе жили, вели общее хозяйство, спорили, вспоминали Москву... Для Ожогина это была первая личная тяжелая потеря на войне. Долго-долго он не мог забыть Бориса и все обстоятельства того злополучного дня... Ведь он сам должен был погибнуть вместе с Борисом, но вот не поехал, отвертелся — и остался цел. Ожогина мучило воспоминание, как он пришел из политотдела, а ему сказали: «Где ты шляешься, Борис тебя обыскался!»—«Вот я. Где Борис?»—«Уехал».—«Уехал? И меня не дождался?»— он сказал это и почувствовал такое облегчение, что с трудом скрыл его, а вслед за тем сама собой явилась гнусная мыслишка: если Борис не вернется, то он в случае нужды может сказать в свое оправдание все, что угодно,— опровергнуть будет некому... Ожогин прогнал эту мыслишку, а когда вскоре стало известно, что Борис погиб, она напомнила о себе: «Вот видишь, вот видишь, теперь тебе бояться нечего, что не поехал, отбрешешься...»

Отбрехиваться не пришлось. Редактор, как и все, тяжело переживал смерть Бориса и не стал устраивать дознания. Он удовлетворился объяснением Ожогина: разминулись. Договорились к такому-то часу быть у редакции, он, Ожогин, пришел, может, запоздал на несколько минут (задержали в политотделе), а Борис уже уехал...

За прошедшие годы Ожогин сумел снять остроту этого воспоминания — в гибели Бориса вины его не было, а в мыслях мы не вольны, повторял он чье-то верное изречение; ту подлую мыслишку он гнал от себя и сейчас был бы готов получить любое взыскание за невыполнение приказа редактора — лишь бы Борис остался жив.

Да, не такой уж он, Виктор Палыч, плохой человек. Не лез на рожон? Зато дело свое делал. Конечно, несколько раз, ну хотя бы один-единственный, надо было

бы рискнуть — побывать в бою, пострелять, испытать, каково это на вкус... Надо бы, но тут он ничего не мог с собой поделать — как только вблизи раздавались выстрелы или падали бомбы, он терял всякий контроль над собой. Он не виноват: таким создала его мать-природа. Сколько он себя помнил, страх всегда был его постоянным спутником. Один бог знает, каких усилий стоило ему держать себя в руках при появлении малейшей опасности. Так уж он устроен — вины его тут нет...

За завтраком, когда Ожогин отхлебнул горячего кофе, Клавдия Ивановна проговорила:

— Ты знаешь, Андрей пришел под утро. Вернее, не пришел — его привели. Он был пьян до такой степени, что еле ворочал языком. Говорить не мог — только мычал. Растерзанный, грязный. В таком состоянии и в таком виде я видела его впервые. С ним что-то случилось. Что-то очень серьезное.

— Ерунда. Выпил лишнее, потерял контроль, а там — пошло. Вот и все. С кем не бывает. Проспится.

— Нет, нет, тут совсем другое... Что-то с ним произошло, я в этом уверена.

— С чего ты взяла? — Убежденность, с какой говорила жена, встревожила Ожогина. Клава — человек естественный, природный, беду, приближающуюся к дому, чует за версту. Тем не менее, не желая поддаваться ее опасениям, Виктор Палыч небрежно заметил:— Не надо драматизировать. Уверен, ты преувеличиваешь. Проспится — и все станет на свои места.

— «Проспится, проспится»...— повторила Клавдия Ивановна.— Как будто в этом дело! С Андреем случилось несчастье — можешь ты это понять?

— Если тебе что-то известно, говори прямо,— раздражаясь, ответил Ожогин. Очень, очень не хотелось ему выслушивать всяческие неприятные вещи!

— Мне неизвестно, но я чувствую. В последнее время Андрей сам не свой. Он страдает, мучается. Ты знаешь, со мной он делится, а тут — ни слова...

«Натворил что-нибудь?— подумал Ожогин.— Если так, надо выяснить, чтобы принять меры. Но что он мог натворить? Андрей — парень разумный. Неприятности на службе?»

— Я думаю,— продолжала Клавдия Ивановна,— что-то у них произошло с Яной. Она перестала звонить,

приходить, и Андрей даже не вспоминает о ней. Словно Яны никогда и не было.

— Вот оно что...— Ожогин вздохнул с некоторым облегчением, про себя подумал: «Могло быть хуже... Мало ли что могло быть? В компаниях всякие люди бывают — подвести человека недолго. А это дело поправимое». Вслух он сказал: — Ну-ну, ужо поговорю с твоим сыночком...

— Поговори, Витя, поговори... Только очень тебя прошу, спокойно, мягко, без резкостей...— предупредила, как всегда, Клавдия Ивановна.— А то он замкнется и словечка не добьешься...

— Не беспокойся — и перину пуховую подстелю...— Ожогин повернулся, пошел к себе.

В своей комнате он сел за письменный стол, откинулся на спинку кресла, несколько раз глубоко вздохнул. Нет, работать дома невозможно, положительно невозможно! А ему надо торопиться с книгой. Торопиться, торопиться! Вот уже три года он не издавал ничего нового — целых три года молчания! Так, пожалуй, и забудут, что он писатель. А забывать об этом не должны. С новой книгой, над которой он работал, Виктор Палыч связывал немало надежд и планов — пора, пора сделать рывок! Только бы поскорей ее написать! Книга должна появиться вовремя — в этом весь ее смысл. «В надлежащее время и в надлежащем месте»— великое правило. Эх, взять бы творческий отпуск на пару месяцев, да нельзя — журнал! Он ведь не редактор, он пока зам. Ему и тянуть. Никуда не денешься. Виктор Палыч вздохнул и взял сверху из стопки бумаги, лежащей с краю стола, три листа, отпечатанных вчера. Но сейчас он был слишком расстроен, чтобы сразу приступить к работе, и был рад, когда в комнату заглянул Андрей:

— Ты хотел меня видеть?

— Ничего особенного. Хотел расспросить тебя кое о чем... Присядь, если не торопишься...

Андрей молча сел на диван, распластав руки на спинке и откинув голову. Он прикрыл глаза, даже и не пытаясь скрыть своего полного безразличия к предстоящему разговору. Ожогин готов был отпустить язвительное замечание, но слова умерли, не родившись, он только издал горлом какой-то странный звук и тотчас же попытался замаскировать его покашливанием. Вид сына поразил его. Бледное испитое лицо осунулось, уг-

лы рта опустились, прикрытые веки подрагивали, а брови, словно неутихающей болью, были сведены к переносице... Как видно, стоило ему только закрыть глаза, как он целиком оказывался во власти своего страдания...

Забыв про всякую дипломатию, Ожогин тихо проговорил:

— Что случилось? Скажи ради бога, что, что стряслось?

Андрей медленно открыл глаза, как бы возвращаясь откуда-то издалека, увидел отца и, вероятно, догадался, о чем он его спросил. Сам вопрос он не услышал — только звук голоса дошел до сознания. Губы его скривились в усмешке:

— Ты спрашиваешь, что произошло?

Ожогин кивнул.

— Да ничего особенного. Самая обыкновенная история...— горло Андрея дернулось.— Мы разошлись, как в море корабли, и свадьбе не бывать. Вот и все. Есть еще вопросы? — Он чуть наклонился вперед, готовый встать и уйти. Ему было слишком тяжко продолжать этот разговор.

— Подожди, Андрей, прошу тебя,— поспешно сказал Ожогин, чуть подняв руку, как бы останавливая его. Он не мог в таком состоянии отпустить Андрея, так и не узнав толком, в чем дело.

Слова отца прозвучали необычно мягко, и Андрей, расслабившись, снова откинулся на спинку дивана, да он и почувствовал, что у него нет сил подняться. Самое лучшее было бы так сидеть, молчать, ничего не слышать, ни о чем не думать.

— Подожди,— опять повторил Ожогин, он уцепился за это слово, будто в нем было спасение,— не отчаивайся. Так бывает: что-то накатывает, и люди не ведают, что творят, а потом локти кусают... Тут нужна выдержка. Запомни, Андрей: выигрывает тот, у кого больше выдержки, больше терпения — и больше ума, да, да, больше ума.

Андрей попытался усмехнуться, а получилась жалкая гримаса.

— Ты мудрый человек, отец. Я это всегда знал. Только мне твой совет не поможет.— Андрей снова закрыл глаза. Разве он не был бесконечно терпелив? Он зажал себя в кулак и ждал, и готов был ждать сколько надо, хоть всю жизнь, лишь бы Яна оставляла надежду.

И вот почти дождался: она согласилась уехать с ним. Он чувствовал, ее «да» непрочно, висит на волоске, торопил хотя бы расписаться, а Яна все тянула — что-то ей мешало. Теперь-то он понял окончательно: Яна не любила его! Да, по-своему она привязана к нему, относилась тепло, даже с нежностью, но не любила, только уговаривала себя, что любит. В глубине души она знала, что обманывает себя, но жалела его, потому что видела, как он мучается. Да, он держался ее жалостью, одной жалостью! Пока никого не было — ее хватало. А когда появился этот... «Неужели все кончено? Совсем, навсегда — все?» — опять, в который раз, спросил себя Андрей.

Он молчал, глаза его были закрыты, брови сведены к переносице. Ожогин глухо проговорил:

— Прости меня. Я понимаю, тебе тяжело говорить... Но все-таки в чем причина? Может быть, все поправимо?

— Ты хочешь знать причину?— неожиданно вскинулся Андрей.— Очень хочешь знать? Пожалуйста! Она меня не любит. И представь себе — не любила! Тебе этого достаточно? Молчишь? Ну, разумеется, нет!— Андрей не заметил, как, распаляясь все больше, перешел на крик.— Для тебя это не причина! Это слишком расплывчато, неопределенно, верно? Ты вообще полагаешь, что таковой проблемы не существует в природе. Любить — не любить... Все это выдумки дураков, поэтов, романтиков, не знаю, еще кого там, не так ли?— Его голос сорвался на фальцет, и Андрей замолчал, тяжело дыша. Опомнившись, медленно произнес:— Прости... Я не хотел... Ты тут ни при чем... А сделать ничего нельзя. Слышишь — нельзя! Это не в твоей власти. Представь себе!

«Нет, он не в меня,— подумал Ожогин,— он в мать. Такой же — без царя в голове. Что бы они делали без меня?»

— Давай поговорим спокойно,— сказал он,— обсудим... Надо же как-то выходить из положения... И потом ведь уже есть решение об отъезде...

— Плевать я хотел на ваше решение. О чем ты?— Андрей тяжело вздохнул.— Давай лучше прекратим этот бессмысленный разговор. Все равно мы не поймем друг друга.

— Ну, хорошо. Не будем об этом... Но по крайней мере скажи, к чему же вы все-таки пришли?

— Разве я неясно выразился? Повторить? По новой? Нам надо расстаться.— Андрей выговорил эти три слова с трудом, как бы насильно выталкивая их.— Расстаться. Навсегда. И еще она сказала: «Прости меня, но я не виновата. Я не знала, что такое любовь. Это не от нас зависит. Это — судьба». И она права, понимаешь! Тысячу раз права — по себе знаю.

Вот оно что, подумал Ожогин, добрались-таки до сути. Это уже легче. Какой-нибудь тип вскружил Яне голову — вот и показалось ей небо в алмазах. Ничего, пройдет. И похмелье наступит. Вспомнит тогда Андрея. Кто ее будет так любить? Еще приползет к нему, каяться будет, умолять. Ну, положим, ползти не будет, умолять и каяться тоже, поправил себя Ожогин, не такой Яна человек, а вернется с радостью, стоит лишь Андрею свистнуть. Вот тогда бы и проявить ему характер! Да куда там — не из того он теста, пожалеет бедную, несчастную и о своих муках забудет.

Вслух Ожогин спросил:

— И тебе известно, кто он?

— Какое это имеет значение? Он — не я...

— Ну, все-таки...

— Неважно. Оставим его, отец.

«Ах, чудак!— вздохнул про себя Ожогин.— Важно, даже очень важно. Настолько важно, что от этого зависит, быть тебе с Яной или нет».

— Если не секрет — скажи,— продолжал он настаивать.

— Какой там секрет!— Андрей достал сигарету, пальцы его дрожали, он щелкнул зажигалкой, жадно затянулся, выпустил дым.— Да ты его знаешь... Тот самый парень, которого я к тебе устроил в журнал.

— Евгений Сухарев?

Андрей кивнул.

— Евгений Сухарев?— все еще не веря, переспросил Ожогин. Он не мог прийти в себя от изумления.— В самом деле, тот самый Сухарев, которого ты аттестовал как твоего лучшего друга? Ну, знаешь ли, ну, знаешь ли! Ты не шутишь? И этот хлюст... Да, да, не кривись, я знаю, что говорю: хлюст, хлюст!

Неожиданно для Андрея Ожогин пришел в ярость. В его голове не укладывалось: Яна предпочла Андрею, его Андрею, образованному, блестящему, порядочному, которого ждет такая карьера, этого полуграмотного, ничтожного авантюриста? Как она могла? Где ее гла-

за? Где ее разум? Разумеется, это к лучшему: очень скоро Яна его раскусит, и все станет на свои места. Но как, как могла она бросить все, пожертвовать всем ради этого ничтожества? Что произошло? Ослепление? Амок? Ну и Андрей хорош — нашел с кем дружить, за кого хлопотать! Вот делай после этого людям добро! Это ему хороший урок — на всю жизнь. Наперед будет знать, с кем дружить! Но Яна, Яна какова!— снова вернулся Ожогин к этой мысли, больно язвившей его самолюбие, словно не Андрею, а ему самому предпочла она этого проходимца.

Андрей и не подозревал, какая буря бушевала в груди отца. Одна и та же мысль неотступно кружилась в его голове: «Неужели все кончено? Совсем, навсегда кончено?» Андрей отвечал и «да» и «нет»— глубинное, темное чувство, которому нельзя было не верить, говорило: «Да, кончено, навсегда», а все его существо, его любовь не хотели расставаться с надеждой и кричали: «Нет, не кончено! Все в жизни бывает, надо только не сдаваться, и ты еще дождешься своего часа! Дождешься!» Андрей терзался, эти чувства раздирали его: когда пересиливала надежда, он оживал, а когда стучало в висках: «Кончено. Не обманывай себя. Ты же знаешь — кончено навсегда»,— его охватывало такое отчаяние, что он готов был умереть.

— Не падай духом,— сказал Ожогин, несколько успокоившись,— это ненадолго. Яна очень скоро поймет, что за фрукт этот Сухарев. Очень и очень скоро... А сейчас надо подумать, как выходить из положения относительно отъезда — бесконечно откладывать его нельзя, отказываться — глупо, да и неприлично. Как прикажешь там объяснять вашу ситуацию, что говорить? Стыдно. Очень стыдно! Между прочим, твой друг Сухарев (он не мог удержаться от этого укола), мягко выражаясь, порядочный наглец и подонок. Прости меня, но, увы, это так. Он был в командировке от журнала в Академгородке и такое там учинил, что прямо хоть сейчас увольняй его с работы и отдавай под суд.

Андрей молча посмотрел на отца, и Ожогин пояснил:

— Пользуясь положением корреспондента нашего журнала, Сухарев вломился в квартиру ученого-историка и потребовал от него, чтобы тот в «Ученых записках» Сибирского отделения, где он состоит членом редколлегии, опубликовал какую-то рукопись, в кото-

рой Сухарев был лично заинтересован. А когда ученый резонно ответил, что рукопись надо прежде прочитать и обсудить, Сухарев начал ему угрожать, шантажировать, кричать, что он его разоблачит, выведет на чистую воду, пропишет в журнале и тому подобное. Кончилось дело тем, что Сухарев бросился на ученого с кулаками и начал его бить, человека намного старше себя. Все это настолько отвратительно, что трудно об этом говорить. Но ты должен знать, кто твой счастливый соперник.

— Вранье,— сказал Андрей.— И ты веришь этой брехне? Просто смешно!

— Нет, не смешно, а печально, потому что это правда. Мы получили письмо от самого пострадавшего. Это Бляхин Максим Платонович, историк, доцент, читающий лекции в университете. Мы навели справки. В университете и всюду, где он сотрудничает, о нем самого лучшего мнения: скромный, глубоко порядочный, прекрасный специалист, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов. Короче говоря, репутация безупречная. Да, да, не усмехайся, все это так. Мы посылали туда на место опытного журналиста разобраться в этом деле. Он беседовал со многими людьми и с самим Бляхиным — мнение единодушно: Бляхин не тот человек, чтобы заниматься клеветой, инсинуациями и тому подобными вещами. Это совершенно исключается. Да и посуди сам — какой в этом для него резон? С Сухаревым прежде они знакомы не были, ничто их не связывало, а само его письмо в журнал, как ты понимаешь, ничего, кроме неприятностей, разбирательств и прочего в этом духе, автору принести не может — так ради чего писать? И если он, несмотря ни на что, решился написать,— значит, допекло, значит, все, о чем он пишет, правда. Его чувство негодования и обиды оказалось сильнее всяческих соображений, которые могли бы удержать его от письма...

— Ловко вы повернули, не подкопаешься. И проверяльщик твой сработал как надо. Знает, как угодить шефу. А я тебе еще раз говорю — вранье! Разговор, может, был, да не такой, как описывает твой Бляхин.

Андрей курил, пепел сыпался на ковер. Ожогин принес ему пепельницу, снова сел за свой стол.

— Ловко,— устало повторил Андрей.— Вот только не пойму, к чему вам все это? Держать Сухарева на крючке? Слишком он мелкая сошка... А этот ваш Бля-

хин, к твоему сведению, самый обыкновенный склочник и подлец — уверен!

— Не тебе судить,— отрезал Ожогин.— Уж помолчал бы! Насчет Сухарева ты свое, кажется, уже сказал.

— Мне — что. Не я начинал этот разговор. Я могу и уйти.

— Подожди,— голос Ожогина снова помягчел.— Послушай меня. Все не так страшно, ей-богу! Наберись терпения. Рано или поздно Яна поймет, кто такой Сухарев, и вернется к тебе. Но и ты не должен сидеть сложа руки — напоминай о себе, не прерывай отношений. Дверь для нее должна быть всегда открыта, и она войдет в нее, вот увидишь, а я со своей стороны...

— Что ты со своей стороны?

— Я постараюсь, чтобы это произошло как можно скорее.

— Интересно, что ты собираешься делать?— Андрей с любопытством посмотрел на отца. Мысль о его вмешательстве в их отношения с Яной показалась ему настолько дикой, что не вызвала ничего, кроме иронического любопытства.— Уж не собираешься ли ты учинять расправу над Сухаревым? — Взгляд его стал настороженным.— Чтобы Яна...

— Зачем же так — расправу... Но и оставлять без внимания его художества, позорящие журнал, само звание советского журналиста, мы не имеем права. Покрывать эти безобразия нам никто не позволит.

Андрей резко повернулся к отцу:

— Ты этого не сделаешь, слышишь, не сделаешь!

— Почему бы и нет? Подлецов надо наказывать. Это всем на пользу. Да и потом, такие вещи не я один решаю. Ты прекрасно это знаешь. Есть редакционный коллектив, который в курсе дела, есть парторганизация.

— Ты этого не сделаешь!— повторил Андрей.— Если хочешь сохранить со мной отношения. А нет — я уйду из дому. И запомни — я не шучу!

— Как ты со мной разговариваешь, Андрей...— Неожиданно голос Ожогина дрогнул.— Ведь я же не для себя. Тебе жить, а я свое сказал...— В эту минуту он больше всего на свете пожалел самого себя: он на все готов ради благополучия семьи, а что получает в ответ? Уж его-то никто не пожалеет, ему никто не посочувствует! Но минута эта прошла, жалостные слова, обращенные к Андрею, были произнесены, и Ожогин устыдился своей слабости. Не пристало ему в своем

собственном доме петь Лазаря. Его дело решать, указывать, а не жаловаться. Он покашлял, как бы очищая себя от скверны слабодушия, и уже другим тоном произнес:— Смотри, Андрей... Не ошибись... Ну а замять это дело мне все равно не удастся, даже если бы я очень хотел. Тебе же советую как следует подумать обо всем этом. Разумеется, на свежую голову...

— Послушай, отец.— Андрей неожиданно встал, подошел к столу, наклонился близко к Ожогину.— А ведь Яна права: все мы дерьмо, и я в том числе. Она поняла это — и отвернулась! Дерьмо, дерьмо!— с ожесточением выговорил он.

— Успокойся, Андрей, успокойся,— прошептал Ожогин, отшатнувшись.— Прошу тебя, успокойся.

Андрей выпрямился и, не оглянувшись, вышел из комнаты.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

8 октября 1941 года к исходу дня Симовский и Козырев, пробираясь лесом на восток, услышали отдаленный гул канонады, который раздавался с той стороны, куда они шли. Обрадовавшись, они ускорили шаг. Одна мысль, что там идет бой и что, следовательно, скоро они будут у своих, придала им силы. Гул, однако, неожиданно ослабел и совсем пропал. Они продолжали идти в том же направлении, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, но все было тихо.

— Пошли,— коротко бросил Козырев,— ну, чего стоишь, столбняк нашел? — Он хотел прибавить еще кое-что покрепче и вдруг оборвал себя: на дороге, с той, обратной стороны, куда все бежали, показалась легковая машина защитного цвета, вроде «эмки». И ехала она, значит, в сторону фронта. А за ней, за этой машиной, шла полуторка с бойцами. Не доехав до поворота, уходившего в лес, метров двести, то есть почти напротив склона, где стояли Симовский с Козыревым, машина остановилась. Полуторка, державшая уставную дистанцию, также остановилась метрах в двадцати от нее. Из легковушки вышел один командир, потом еще двое. Все в новеньких фуражках, синих галифе, начищенных сапогах, в блестящих ремнях со звездой.

— Высшее командование,— объявил Козырев,— точно говорю. Сейчас дадут шороху.

Было бы кому давать, подумал Симовский, любопытно, что будет дальше. Ему, как и Козыреву, нравились эти командиры, вероятно, высокого ранга, двигавшиеся не от фронта, а к фронту и спокойно остановившиеся здесь, где только что, смешавшись, торопясь, наседая друг на друга, прошли, отступая, разрозненные части.

Между тем один из командиров что-то приказал, видно, старшему на полуторке, тот, козырнув, бегом отправился к машине, сел рядом с шофером, полуторка покатила вперед, к фронту, и скрылась за поворотом.

Чудеса, да и только! А командиры как ни в чем не бывало, словно они находились на учениях, расстелили карту на капоте машины и склонились над ней.

— Есть предложение,— сказал Симовский.

— Валяй!

— Мы спускаемся к ним,— Симовский кивнул на командиров, продолжавших рассматривать карту,— и докладываем — так, мол, и так, поступаем в ваше распоряжение.

— Это зачем?— насторожившись, спросил Козырев, еще на действительной службе твердо усвоивший, что в любом случае лучше держаться подальше от начальства, а тем более большого.

— А затем,— зло ответил Симовский,— что надоело бегать. Понял?

— А ты придави минуток шестьсот, глядишь, и полегчает,— огрызнулся Козырев. По поводу того, как им поступить, он терялся в сомнениях. Командиры в новеньком, небось только со склада, обмундировании, вызывали уважение. Может, они и вправду знают чего-то такое, неведомое всем прочим, если так спокойно стоят там, где только что все бежали? Да и неопределенность, томившая их с Яшкой, кончится: прикажут командиры — они тоже станут на этом месте, прикажут — пойдут дальше. А то, глядишь, и задание особое дадут. Как-никак, а они с Яшкой разведчики. Правда, догнать батальон и встать в строй — вместе со всеми — тоже не худо. Где-нибудь там, подальше от немцев, батальон очухается, займет прочную оборону, получит пополнение, артиллерию, танки, тогда можно и с фашистом схлестнуться. «Ну, это когда-то будет,— возразил сам себе Козырев,— большое начальство вон сейчас стоит, ему хоть бы что, а я солдат, мне сам бог велел не бегать, а стрелять в фашистов. В случае чего извернуться

от немцев я всегда успею. Видал я их. Ладно,— решил он,— будь что будет. Даже интересно, что они скажут, все-таки высшее командование». Вслух Козырев сказал:— Черт с тобой, пойдем. Только, чур, докладывать и все такое прочее будешь ты. Ты старший по званию, тебе положено. А я вопрос задам.

— Насчет планов контрнаступления?— поинтересовался Симовский.

— Это уж мое дело. Какой надо, такой и задам.

Скользя по глинистой почве, цепляясь за кусты, они начали спускаться со склона и увидели трех человек, неожиданно близко вынырнувших из-за леса на повороте дороги. Скорым шагом трое шли на восток, в тыл, и приближались таким образом к командирам, стоящим у машины. Один из командиров оторвался от карты, поднял голову, оглядевшись, заметил идущих и поманил их к себе. Так и получилось, пока Симовский с Козыревым спускались и подходили к машине, чуть раньше около них очутились эти трое.

Командир, поманивший их, оказался полковником с худым свежевыбритым лицом. В первый момент лицо его показалось каким-то странным. Присмотревшись, Симовский понял, что впечатление необычности возникает от явного несоответствия обтянутой на скулах, блестевшей после бритья наодеколоненной кожи и коричневыми набрякшими мешками под воспаленными глазами неопределенного, как бы размытого цвета — будто на праздник собрался человек, которому впору ложиться в больницу.

Бросив хмурый взгляд на Симовского и Козырева, остановившихся на два шага сзади тех троих, полковник, ни к кому в отдельности не обращаясь, спросил:

— Куда идете? Кто такие?

— Из 119-го отдельного зенитного дивизиона. Догоняем своих,— отрапортовал высокий чернявый с сержантскими треугольниками в петлицах, становясь по команде «смирно».

— Догоняете?— едко переспросил командир.— Все догоняете, а догнать не можете, так?

— Так точно, товарищ полковник, догоняем своих,— ответил чернявый, пропустив последние слова командира, спокойно и твердо выдержав его взгляд. Помедлив, он добавил:— Нашу колонну все время бомбили, ну и...

— Кто старший?— нетерпеливо перебил его полковник.

Наступила пауза, скорее похожая на легкое замешательство. Полковник, прищурившись, оглядел всех троих.

Пауза затянулась, и чернявый несколько неуверенно проговорил:

— Сержант Стыров.

— Вот как! Интересно. А вот вы,— полковник дернул головой в сторону крепыша в грязных хромовых сапогах, новом, хотя запыленном, командирском обмундировании с кантами на галифе и со срезанными с гимнастерки петлицами (на воротнике выделялись две свежие светлые полосы на месте петлиц), с пистолетом на широком командирском ремне и в солдатской пилотке. Он стоял вроде бы и рядом с сержантом, но все же немного, на полшага, сзади, за его спиной.— Да, да, вы,— повторил полковник, буравя его взглядом,— ваше звание?

— Лейтенант, товарищ полковник,— пробормотал крепыш. Кровь отлила от его лица, обросшего рыжеватой щетиной, голос осел, сорвался на хрип.

— Так, так,— вкрадчиво пробормотал полковник, и желваки обозначились на его изможденном лице.— А где же, товарищ лейтенант, ваши знаки различия?

Тут и два других командира, продолжавших во время всего разговора рассматривать карту, подняли головы. Один из них выпрямился (Козырев мгновенно углядел ромб на его петлицах) и, обежав всю группу быстрым взглядом, остановился на несчастном лейтенанте, стоящем с белым как снег лицом и холодной испариной на лбу.

— Кажется, я вас спрашиваю, товарищ лейтенант,— иронически нажимая на «товарищ лейтенант», повторил свой вопрос полковник.

Лейтенант молчал. Губы его беззвучно шевелились, но было видно, что он не в силах произнести ни одного слова.

— Молчишь? Ах ты, негодяй!— вдруг взорвался полковник, и на лбу у него набухла синяя жила.— Трус! Паникер! Да что с тобой говорить! — Рука полковника выхватила пистолет.

— Я не виноват!— тонко вскрикнул лейтенант, отчаянным усилием заставив себя говорить.— Был такой

приказ. Приказ!— повторил он, цепляясь за это слово.— Приказ! А я его выполнил.

— Приказ? Чей приказ? — Рука полковника, сжимавшая пистолет, опустилась.

— Командира части майора Корешкова,— быстро, глотая слюну, ответил лейтенант, скосив расширенные глаза на пистолет в руке полковника.

— Врешь, подлец! Клевещешь на командира!

— Не вру, был приказ! Я не виноват...— забормотал лейтенант. Теперь, когда он почувствовал, что пронесло, он с трудом удерживался, чтобы не разрыдаться.

— Ну смотри, если врешь! На дне морском разыщу — и под трибунал, понял? И уже ничто тебя, паникера, не спасет.

— Так точно, понял,— скороговоркой произнес лейтенант.— Я не вру, был приказ, я кровью...— лицо его стало приобретать осмысленное выражение и свой естественный цвет,— я готов...

Полковник, тяжело дыша (голубая жила все пульсировала, как бы продолжала вздрагивать на лбу), нарочно медленно, стараясь успокоиться, вложил пистолет в кобуру и вопросительно взглянул на комбрига.

— В распоряжение Васильева,— сказал комбриг, отворачиваясь.— Раз уж он сам себя разжаловал (комбриг произнес «он», как будто лейтенанта здесь и не было), пусть отправляется под командованием сержанта.

— Слушаюсь,— ответил полковник и обратился к Стырову:— Пройдите по дороге вперед метров двести, увидите людей, найдете капитана Васильева и доложите, что поступаете в его распоряжение. Ясно?

— Ясно,— ответил сержант.

— И вы с ними,— сказал полковник, повернувшись к Симовскому с Козыревым.

— Есть,— в один голос ответили они.

— Разрешите идти?— обратился к комбригу сержант.

— Идите.

— За мной,— скомандовал сержант и, повернувшись по всем правилам, пошел по дороге вперед, к лесу, к фронту.

Капитан Васильев оказался тем самым офицером, приехавшим с бойцами на полуторке, которого Симовский и Козырев уже видели, когда он получал приказ от полковника. Приказ этот, по-видимому, состоял в том,

чтобы собирать одиночек и небольшие группы солдат, отставших от своих частей, и организовать здесь, на месте, оборону.

Обрадовавшись пополнению (все-таки пять человек), капитан Васильев, подозрительно покосившись на лейтенанта без знаков различия, показал место, где рыть окопы, и отрядил двух человек за шанцевым инструментом к машине, стоящей под деревьями у леса.

Местность для обороны была здесь подходящая, как по заказу. Они стояли на плоской вершине невысокой, но довольно длинной гряды, почти под прямым углом пересекавшей дорогу (или, если сказать по-другому, дорога, незаметно поднимаясь, пересекала эту гряду), слева лес резко уходил назад, раскрывая обзор до самого горизонта, в центре и справа тоже было открытое пространство: поле, чуть в стороне, на песчаном косогоре, деревня. Линия окопов тянулась вдоль гряды, пересекая дорогу,— метров на пятьдесят вправо и до оконечности леса влево. Вероятно, гряда эта была помечена на карте, которую рассматривали командиры, как высота с какой-то там отметкой, и капитан Васильев получил приказ занять именно ее, подумал Симовский. Он насчитал двадцать человек, торопливо рывших окопы. Да их пять, да капитан. Не густо. Но все же на флангах возились бойцы с установкой пулеметов, впереди, в центре, прилаживались бронебойщики. Как видно, капитан намеревался здесь закрепиться всерьез. А людей он еще подсоберет.

— Опять снова здорово,— проворчал Козырев, окидывая цепким взглядом позицию,— кто на формирование да пополнение, а мы тут стой, с пулеметами против танков.

— Так ты ж сам захотел,— усмехнулся Симовский,— еще вопрос грозился задать. Раздумал, что ли?

— Начальство жидковато, потому и не задал. Мне бы кого повыше,— отпарировал Козырев.

— То-то ты язык проглотил, когда ромб увидел.

— Да просто в разговор не захотел встревать,— Козырев скосил глаза на лейтенанта без знаков различия, сидевшего неподалеку на земле,— понял? Когда такое начинается — не лезь. Знаем что к чему. Не лаптем щи хлебали.

Тем временем подоспели лопаты. Сняв ремни и всю прочую амуницию, бойцы начали копать. Ветер разогнал тучи, небо очистилось, и впереди, клонясь к запа-

ду, показался бледно-золотистый круг солнца. Они не успели отрыть свой окоп и по колено, как вдали на дороге показались машины. Капитан Васильев, вскинув бинокль, передал по цепи:

— Идут наши войска. Продолжать работу.

Быстро надвигался глухой знакомый гул, и уже через несколько минут первые машины с бойцами, натужно завывая, взбирались на пологий подъем, ведущий на вершину гряды, за ними, рыча, лязгая, тягачи тащили тяжелые пушки, затем торопливо шли запыленные солдаты, несколько всадников возле своих подразделений ехало справа и слева по обочинам дороги...

Симовский заставил себя не смотреть на проходящие мимо войска и продолжал копать, с остервенением выбрасывая землю. И он вырыл бы окоп до конца и вместе с Козыревым дождался бы фашистов, но на войне все может измениться в одну минуту. В многослойном шуме, стоящем над дорогой, Симовский не услышал характерного гула приближающихся «юнкерсов». Он услышал секундой позже многократно повторенные на разные голоса крики: «Воздух! Воздух! Воздух!»— и увидел, как рассыпается колонна, как пустеет дорога, как быстро разливается человеческая масса, затопляя пространство по обе стороны дороги; как, опережая ее, вырываются вперед и в разные стороны множество тонких струй, от которых отделяются фигурки солдат, то падающих на землю, то бегущих дальше; как потащила лошадь накренившуюся на одно колесо повозку, как на самой дороге, уставленной брошенными грузовиками, пушками, мечущимися лошадьми в упряжках, суетятся бойцы в касках, отцепляя от машин и устанавливая зенитные пушечки,— все это и высоко растянувшийся круг самолетов увидел он одновременно. В следующее мгновение Симовский увидел, как самолет с нарастающим воем, перекрывающим все другие звуки, полого пикирует на дорогу. Несколько черных капель, одна за другой, отрываются от него. Самолет зашел слева под небольшим углом к дороге — бомбы должны пересечь ее и упасть где-то справа от него, лихорадочно отмечает Симовский, надо бежать влево и назад, в лес,— спасение там. Козырев, в ту же секунду оценивший ситуацию, рвет его за рукав: «Давай! К лесу!»

Страшный грохот сотрясает все вокруг. Они падают, вжимаются в землю. Снова грохот, еще большей силы. Опять все громче рвущий душу вой. Симовский поднимает голову — в пикировании второй самолет, ближе к ним, черные капли вываливаются из его брюха, третий самолет вслед за вторым соскальзывает вниз. Серые облачка разрывов вспухают вокруг него — это зенитчики. Молодцы ребята! Оглянувшись, Симовский видит, как из трех задранных вверх стволов вылетает огонь.

Свист падающих бомб, взрывы, сливающиеся в один сплошной грохот. Фонтаны земли, клубы пыли, черный дым. Короткая секундная пауза. К лесу! К лесу! Они вскакивают, бегут, свист падающих бомб, бросаются на землю. Взрыв, уходит земля, их подбрасывает взрывной волной. К лесу — скорей, скорей! Козырев помогает подняться Симовскому. В пламени, с черным шлейфом дыма за хвостом с воем несется к земле самолет (молодцы зенитчики!), с ревом, поливая их из пулемета, проносится бреющим другой.

Бомбы падают и в лес. В дыму мелькают люди — все бегут... Отовсюду стоны, крики, много раненых. То тут, то там повозки (а где лошади?), разбитый грузовик, надломленная сосна, разбросанные ветки, чернильные пятна земли на темно-зеленом мху, кровь, взрытый песок...

Полусумрак. Сверху полосы бледного света. Все разбросано, перемешано, непонятно. Повозка, боком прижатая к дереву. Симовский подходит — комья земли, разорванный тюк с гимнастерками, рулон вафельной материи для полотенец (зачем тут гимнастерки, полотенца?), рядом на земле набитый чем-то мешок. Где-то близко с треском падает дерево. И — тишина.

А где же Сашка? Симовский останавливается. Только что он был здесь. Вместе лежали, пережидали взрыв, потом бежали — нет, бежали до этого, падали, бежали... А потом? Сколько же времени прошло после бомбежки? Час, два, три... «Сашка!»— негромко позвал Симовский. «Да здесь я,— раздраженно отозвался Козырев,— чего орешь?» Он сидит, прислонившись спиной к дереву. Симовский опускается рядом и сразу ощущает свинцовую тяжесть во всем теле. Надо куда-то идти, что-то делать. Эта была последняя более-менее отчетливая мысль, потом Симовский почувствовал, как слипаются глаза, и успокоил себя: сейчас, главное, не дви-

гаться — переждать взрыв. Но взрыва не последовало, и он начал проваливаться куда-то...

Они проспали всю ночь, проснулись, когда взошло солнце. Открыв глаза, увидели освещенные розовым светом верхушки деревьев и прямые тонкие нити лучей, полого падающие на землю. А может, это был еще сон — последнее видение из другой жизни? Но стоило им подняться, как страшная картина изувеченного леса открылась перед ними: обугленные, расщепленные деревья, воронки, пятна крови, срезанные ветви, взрытая земля.

Они пошли искать пищу и лишь к вечеру набрели на перерезанный осколком мешок муки, лежащий на земле рядом со сгоревшим грузовиком. Замешав муку в круглом котелке, развели костерок и попробовали сварить что-то вроде похлебки. Густое мучнистое варево их подкрепило, и они набрали муки про запас целый котелок с крышкой, который вскоре где-то потеряли...

Пока ели похлебку, перевязывали веревкой для верности крышку котелка, были одни. Скрипели деревья, посвистывал ветер. На земле лежали золотистые полосы. Солнце садилось. Они были одни, и непонятно, когда, каким образом, в какой момент они очутились среди бегущих людей и на них обрушился вой пикирующих самолетов, свист падающих бомб, взрывы. Чутье толкнуло их вправо, они пробежали поляну и снова очутились в лесу, ветки хлестали по лицу, бомбы рвались теперь слева и сзади. Над деревьями с ревом проносились самолеты, поливая бегущих людей пулеметными очередями. Стоял сплошной грохот...

Когда это началось и когда кончилось, они не смогли бы сказать. Последующие часы, минуты, ночи и дни смешались, спутались, и если бы они попытались восстановить в памяти события последующих четырех суток с девятого по тринадцатое октября, то перед каждым из них возникли бы обрывки не связанных друг с другом фантастических картин, вспышки света, мелькания, пляшущие языки пламени, неожиданно появлявшиеся и так же неожиданно исчезавшие лица, странные, непонятные образы.

...Дорога, дорога. Серый свет. Как из тумана, выплывают и снова скрываются безжизненные, застывшие лица. Перевернутый набок грузовик. Удаляющийся рев самолетов. Черные мокрые стволы деревьев. Между ними кое-где поднимаются струи дыма. Ворохи тускло-

красных и желтых листьев на земле. В кустах воет санитарная машина, шофера нет...

Поляна, склон. Дальше, в поле, горит деревня. Повозка, на ней ничком лежит возница со свесившейся рукой. По склону вниз, в поле, бежит лошадь.

На опушке леса батальонный комиссар назначает командиров: кого ротным, кого взводным. Симовский, как сержант, получает взвод.

— Где мой взвод?

Широкое лицо батальонного комиссара. Рыжеватая щетина. Прищуренные глаза. Подобие усмешки кривит тонкие губы. Под кожей перекатываются желваки.

— На плацу дожидаются.— Выкрик:— С луны свалился?!— Чуть спокойнее:— Полон лес людей.— И совсем спокойно, жестко:— Соберешь взвод и следуй по дороге налево. Увидишь старшего лейтенанта Ковалева — поступишь в его распоряжение. Все, действуй!

И опять идут, поднимаются в гору, спускаются, валятся на пожухлые, остро пахнувшие гнилью листья, снова идут — и непонятно, когда начинается и когда кончается день...

Козырев открывает глаза: кругом все бело... Неужели снег? Веки снова слипаются, а снег все идет, и чудится ему, что стоит он в своей комнате, у окна, и смотрит, как беспрерывно валит снег, сначала крупными хлопьями, а потом как бы льется дождем снежинок, и ему очень хочется узнать, кто их высыпает с самого неба? Он придвигает к окну стул, взбирается на него — и застывает: все, все небо было в снежинках, а внизу улица — совсем белая! Саня удивился: откуда набралось столько снега? Он подумал о снежинках, которые крутились в воздухе, но они были такие маленькие, разве можно ими засыпать все улицы и дома? Саня хотел обернуться, спросить об этом мать, но потом забыл, завороженно глядя, как падает, падает снег... И все время ему кажется, что рядом, за ним, мать... На миг она касается пальцами его волос — оттого так печально и сладко сжимается сердце...

В этом состоянии я и хочу оставить его — пусть еще немного поиграет в прятки со своим детством, тем более что этот сон ему уже больше не приснится...

Собрав свой взвод и выставив часовых, примостился рядом с ним и Симовский. Остановившимся взглядом, ничего не видя, он смотрел в пространство, а стоило закрыть глаза, как железная рука сжимала сердце...

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Он ощущал свою невесомость, растворение в блаженной истоме и тепле и не хотел шевелиться, чтобы случайно не прервать этого состояния. Время, соединяя мгновения, журчало, как ручей вдалеке. Оно было нескончаемо и безгранично. Яна тоже не помнила, когда просыпалась и засыпала, она чувствовала себя маленькой, легкой и теплой, и ей казалось, что он несет ее на больших сильных руках, ступая по влажному желтому песку у самой воды, и волны, накатываясь, обдают их сверкающими брызгами.

Морская вода становилась все холоднее. Женя поежился, заворочался и открыл глаза. Некоторое время он лежал недвижно, медленно освобождаясь ото сна, в который погрузился перед рассветом. В воздухе плавал синевато-серый сумрак, скапливаясь в углах, как туман в ущельях. Постепенно сквозь него стала проступать и сама комната: белеющий потолок, в середине висящая люстра с пятью расходящимися в разные стороны рожками на тонких гнутых прутиках, похожих на паучьи ножки; шкаф, стена, стол, стулья, кресло — предметы как бы медленно выплывали из тьмы. Чуть повернув голову, Женя обнаружил, что свет сочился слева из щелей между шторами...

Комната была чужая, но странно знакомая, где-то виденная. И только окончательно проснувшись, Женя понял, где он, и глубоко вздохнул, но сразу задержал дыхание, испугавшись, что разбудит Яну. Она лежала, прижавшись к нему, полураскрытая, и Женя, приподнявшись на локте, другой рукой поправил одеяло, заодно чуть-чуть прикрыв и себя.

Они вдвоем с Яной, и это — их комната! Пусть ненадолго, на три месяца, пока не приехали хозяева, но они здесь вдвоем, никого больше, только вдвоем, целых три месяца! А там видно будет, что-нибудь они придумают. Женя не мог удержаться и тихонько поцеловал Яну в висок, она повернула голову навстречу ему, заворочалась, обвила его шею руками, ответила на его поцелуй — и проснулась.

Женя почувствовал, что Яна проснулась, но она тотчас закрыла глаза, и дыхание ее снова стало ровным, как во сне, она не хотела просыпаться. Но сон уже отлетел от нее.

— Здравствуй,— сказала Яна,— здравствуй...— Она засмеялась: назвать Женю по имени было слишком мало, а по-другому, иными словами, которыми она одаривала его ночью, постеснялась.— Ты здесь, со мной, и это мне не снится?

Женя приподнялся, заглянул Яне в глаза.

— Я тоже не верю. Ты со мной — и не исчезнешь через секунду,— он положил руку на ее плечо, чтобы удержать, если она начнет уплывать.

— Не исчезну, нет, нет!— Яна вздохнула.— Знаешь, я подумала: а вдруг все это не мне — другой? А мне досталось по ошибке? Просто там,— Яна показала глазами наверх,— перепутали?

— Так должно было случиться,— сказал Женя,— ведь я тебя увидел в тот день, когда нашел папку...— Он заложил руки за голову.— Удивительно! И ты оказалась дочкой той самой Тани сорок первого года. Скажешь — совпадение? Нет, таких совпадений не бывает.

— Вот-вот... И мама тоже...— Яна приподнялась, чтобы видеть лицо Жени.— Ты знаешь, что она сказала?— Яна остановилась, припоминая точные слова.— «Я не дождалась, Яша погиб. А теперь время будто описало круг — и все вернулось. Только происходит с тобой. Это потому, что я сохранила его любовь».

— Так и сказала?— переспросил Женя.— Про время и про круг?

Ему вдруг захотелось рассказать, как, случайно открыв папку и прочитав письмо раз и другой, он почувствовал какое-то беспокойство, и ноги сами понесли его на второй этаж, но не в читальный зал, а направо, где помещались служебные комнаты, и как он, сам не зная почему, остановился перед одной дверью, вошел и сразу понял, что это та самая комната, в которой у окна, сидя между шкафом и стеной, посматривая во двор, все еще надеясь увидеть бегущую Таню, писал свое прощальное письмо Симовский. И как, войдя в комнату, он прошел к окну и сел на это место и увидел во дворе тех ребят из университетского ополчения с сосредоточенными, суровыми лицами...

— Ты что?— спросила Яна, почувствовав его состояние.

— Ничего, ничего... Знаешь, пока мы с тобой, нам сам черт не страшен. Верно? Судьба, сестренка, судьба! — В голосе Жени появилась ирония, которой, как заметила Яна, он отпугивал злых духов.— От судьбы

никуда не денешься, так что как бы там ни было, а плыви со мной до конца дней своих. Усекла?

— Усекла!— засмеялась Яна.— А другого мне и не надо.

Чутким своим ухом она уловила встревоженность Жени. Сначала попыталась отогнать ее, инстинктивно оберегая свое состояние душевной разнеженности, однако, как глубоко засевшая заноза, эта его встревоженность не давала покоя. Яна спросила:

— У тебя что-то случилось?

— С чего ты взяла?— удивился Женя.

Удивление было настолько фальшивым, что Яна рассмеялась:

— Актера из тебя не получится, несмотря на всю твою страсть к лицедейству.— Став серьезной, сказала:— Говори, я слушаю.

— Даже не знаю...— тянул Женя, раздумывая, как бы поэлегантней Яне преподнести, что песенка его в журнале спета, но и это, по-видимому, цветочки, а ягодки впереди...— Видишь ли, тут вот какая петрушка...— начал Женя.— Поехал это я в командировку, в Академгородок. К Астаховой Валентине Александровне. Приехал, а ее уже нет на свете...

— Ты говорил...

— А что было дальше, не говорил. Зять есть у нее прохвост — доцент Бляхин, историк. Он теперь хозяин ее архива. Ну и дочь Астаховой свела меня с этим Бляхиным, своим мужем, значится. Чтобы он исполнил волю ее покойной матери — сделал все, что надо, для публикации Симовского... Ну, вот, мы с ним и встретились. Поговорили по душам...— Женя судорожно глотнул. При мысли о Бляхине у него зашлось сердце, словно опять он увидел перед собой его гладкую рожу.— Я этому гаду чуть голову не оторвал. Мало того что он комедию ломал, даже и не собирался палец о палец ударить, он еще, сволочь, изгаляться вздумал над памятью погибших солдат. Я как подумал об отце...

— Как изгаляться?

— Да так. Самым обыкновенным образом! Ему что, он ведь не воевал: годами не вышел. А если бы и вышел — отсиделся бы где-нибудь. Знаю я таких. А раз не воевал,— значит, все, кто там был, дураки. Прямо он так, конечно, не скажет, ну уж при случае...

— И ты избил его?— прошептала Яна.

— Попугал только. Рук марать не хотелось. Да и жену его, Ксению, хорошего человека, жалко было — все-таки в ее доме... А зря. Все же проучить прохвоста следовало бы. Все равно выходит, что я его ударил. Он, подлец, на меня такую телегу прислал в редакцию, прямо хоть сейчас меня в каталажку. Я и хулиган, и в квартиру без приглашения ворвался, и вымогатель, и шантажист, и по роже ему съездил ни за что ни про что, и погром учинил в его кабинете... Мне в редакции дали почитать, когда потребовали объяснений. Написано так складно, что я сам поверил: вроде все так и было, потому что иначе быть не могло. А начнешь опровергать — все равно не поверят. Сразу видно — мастер. Пойди-ка теперь докажи, что ты не верблюд! Это дело, сама знаешь, гиблое. Ну, в редакции всполошились, что, мол, за личность такая Бляхин, красиво пишет, устроили проверочку, даже человека на место послали. И что же ты думаешь? Оказалось, доцент Бляхин — самый что ни на есть распрекрасный человек, с какой стороны на него ни посмотри: он и общественник, он и научную работу ведет, он и отец родной студентам, он и в быту как стеклышко, и морально устойчив... А ведь наверняка гад, и налево, котяра, ходит, по физиономии видно — только в глубокой тайне держит; и студентов околпачивает, зубы заговаривает, а чуть что, первый же и продаст — видали мы таких; и научной работе его грош цена, потому что ни одной своей мысли у него не было, нет и быть не может. А каким соловьем разливается! Послушать — так он, мол, только и знает, что печется о благе общества... У-у, гад двуличный! Иуда! Зря я ему все-таки не дал по роже!

— Да, что и говорить,— передернула плечами Яна,— упаси боже, такого встретить, да ведь не о нем речь, Женя, о тебе! С тобой-то как? Ну, чего молчишь?

— Да чего отвечать! Письмо гада доцента признано в основных чертах соответствующим действительности, хотя, ты понимаешь, прямых доказательств, что я его саданул, нет, поэтому оно будет разбираться не в суде, а на редколлегии, но прежде у меня была беседа с самим Ожогиным Виктором Палычем...

Яна тихонько ойкнула, понимая, что это идолище пострашнее Бляхина. Дело-то, может быть, вовсе и не в Бляхине. Лучшего повода дать по рукам Жене и наказать ее за строптивость для Ожогина и не придумаешь! А своего Виктор Палыч уж не упустит!

— Послушай, Женя,— уже совсем другим тоном, без тени игры, сказала Яна,— ты мне должен все рассказать о вашем разговоре.— Все до мельчайших подробностей. Постарайся ничего не забыть. И пойми — это очень важно. Я подозревала, что Ожогин — страшный человек, а теперь почти не сомневаюсь в этом. Он способен на все. Тебя он считает врагом Андрея, значит, и своим. Меня он всегда не любил, а теперь ненавидит. Если я буду знать, что он хочет сделать, что-нибудь придумаем... Рассказывай, Женя, прошу тебя.

— С самого начала?

— Не смейся, да, да, с самого начала.

Немного времени понадобилось Виктору Палычу Ожогину, чтобы убедиться, что парень, сидящий напротив него за столиком, перпендикулярно приставленным к его письменному столу, не совершал и половины тех хулиганских выходок, о которых так достоверно и впечатляюще написал Бляхин, по-видимому, закоренелый склочник. Во-первых, Сухарев не занимался рукоприкладством. Из того, как он рассказывал, что произошло, это было очевидно. Во-вторых, шантаж Сухареву бы и в голову не пришел, да и зачем? В-третьих, редакционным удостоверением он не мог размахивать и «упеку!» не мог кричать: это и глупо, и уж совсем на него не похоже. Что же остается? Живописные подробности, явно сочиненные Бляхиным, задача которых уверить в подлинности происшедшего?

Впрочем, дело это было неподсудное, так как прямых доказательств ни рукоприкладства, ни шантажа не существовало. Из письма Бляхина явствовало, что он это прекрасно понимает. Что же касается Сухарева, то этот фрукт, разумеется, рассчитывает на справедливость и объективность общественности, равно как и администрации. Ну что ж, пусть рассчитывает. А любопытно, подумал Ожогин, свяжет ли он, допустим, решение о его увольнении с тем, что он разрушил карьеру Андрея, принес несчастье в наш дом? Будет ли он бороться, писать, ходить в инстанции? В этом случае ситуация с Андреем и Яной может раскрыться, и тогда сам он, Ожогин, будет выглядеть весьма неприглядно...

Ожогин пристально взглянул в лицо Жени своими колючими, обжигающими холодными глазами, и Жене показалось, что он стоит голый по пояс под лучами

рентгена и его поворачивают и так и сяк, заставляют задерживать дыхание, глубже дышать, а затем небрежно говорят: «Одевайтесь». Именно в этот момент, когда было брошено «одевайтесь», Ожогин отпустил Женю своим взглядом.

— Нравится вам работа в журнале?— спросил он, постукивая пальцами по столу, совсем как Бляхин.

— Пока нравится,— ответил Женя.

— Вот как,— усмехнулся Ожогин,— значит, пока (он произнес это слово с нажимом) у вас претензий к редакции и личной творческой неудовлетворенности нет?

— Нет.

— Мне это приятно слышать. И все же вам, вероятно, хочется больше писать, ездить...

— Не без этого...

— Понимаю. Я в ваши годы за материалом уезжал и далеко и надолго.

Тут Женя, как ни был прост, а навострил уши. Уж не хочет ли шеф предложить длительную командировку? Или эдак годика на три отправить собкором какой-нибудь газеты подальше от Яны? Он вздохнул:

— Я в свои годы тоже уезжал...

Брови Ожогина слегка поднялись. Такой наглости он не ожидал. Этот молокосос, которому сейчас следовало бы лепетать оправдания и обещать в будущем учесть свои ошибки, еще сравнивал себя с ним! В глазах Виктора Палыча вспыхнул голубоватый огонек — таким цветом горит хорошо очищенная чача.

— Вернемся, однако, к делу,— голосом, не предвещавшим ничего хорошего, сказал он.— Бляхин, как вы, вероятно, догадываетесь, прислал свое письмо не только к нам, но в копиях и в другие места. Ваше дело получило огласку. Нас просят разобраться, принять меры. Случай действительно из ряда вон выходящий. За мою тридцатилетнюю практику с таким я сталкиваюсь впервые.

— Простите, Виктор Палыч,— вскинулся Женя,— о каком случае вы говорите?

— О вашем, товарищ Сухарев, о каком же еще?— тихо, с придыханием, но внятно, каждое словечко раздельно, чтобы оно дошло, произнес Ожогин. Голубоватые искорки бесились, плясали в его глазах.

«Неужели он верит этому кляузнику?— подумал Женя.— Верит или притворяется? Но для чего? Пере-

страховка? А как смотрит — прямо сожрать готов!» Сердце у Жени заколотилось, внутри стало горячо — встать бы сейчас да хлопнуть дверью, а там — пусть принимают меры! Но он сдержал себя. Подняв голову, сказал:

— Соображаю, что вы имеете в виду эту историю. Но, может, вы говорите о Бляхине?

Ожогин рассыпал короткий скрипучий смешок:

— Вы что, Евгений Владимирович, в самом деле морочить меня вздумали? Неужто я поверю, что вы не понимаете, о чем идет речь? Оставьте свои мистификации для более подходящего случая. Все куда серьезней, чем вам кажется. Советую вам лучше подумать о своем добром имени журналиста...

— Спасибо за совет.

— Вообще-то в этой, как вы выразились, истории, все более-менее ясно. Если позволите, еще один вопрос.

Женя с каменным лицом наклонил голову в знак того, что позволяет.

— Что это за рукопись, которую вы возили в Новосибирск?

— Работа молодого ученого-историка, погибшего в Московском ополчении в октябре сорок первого. Я ее обнаружил в университетской библиотеке среди довоенных диссертаций.

— И вы стремитесь ее опубликовать?

— Да.

— И вы уверены в ее научной ценности?

— Академик Астахова считала, что это выдающаяся работа. Автор — ее ученик.

— Почему же вы не передали рукопись ей?

— Не успел. Для этого я и вез рукопись к ней в Академгородок, а она за несколько дней до этого умерла. Вот и пришлось мне разговаривать с ее зятем Бляхиным.

— Что в этом плане вы теперь намерены делать?

— Есть кое-какие идеи.

— Намерены, следовательно, продолжать свои попытки ее опубликовать. Признаюсь, не понимаю... Ваше ли это дело?

— Бляхин уже задавал мне этот вопрос.

Тут Ожогину стало не по себе. Так отвратительно нагло может вести себя либо расчетливый авантюрист, либо полный идиот. Ни на того, ни на другого Сухарев не был похож. Есть, правда, и третий вариант — кто-то

за ним стоит, кто-то его направляет. Чувство беспокойства, неудобства, промелькнувшее, когда Ожогин услышал ответ Сухарева, овладело им. Ощущение было такое, словно он сидит в тесных туфлях, которые никак не снимешь. Ожогин пошевелил пальцами ног и скосил глаза вниз, на нем были мягкие, свободно облегающие туфли, никогда не доставлявшие ему никаких хлопот. Неловкость и теснота в ногах от этого шевеления прошли, но смутное беспокойство усилилось. Если Сухарев лишь прикидывается простачком — тем более, тем скорее надо от него избавляться. Правда, сделать это следует аккуратно, чтобы комар носу не подточил.

Приняв такое решение, Ожогин несколько успокоился. Он терпеть не мог всяческие неясности, а уж относительно людей, работающих в его редакции, и подавно. По собственному опыту он знал, какие сюрпризы может преподнести неясность. Все варианты, все, так сказать, модели поведения Сухарева перебрал в уме прозорливый Ожогин, а самое простое, самое естественное, увы, не пришло ему в голову. А что, если Сухарев не авантюрист, что, если за ним никто не стоит, и при этом он не полный идиот, а просто человек, привыкший говорить правду и сохранивший чувство собственного достоинства?

Давно Виктор Палыч мерил людей по себе, самыми простыми мерками: тщеславие, корысть, страсть к самоутверждению... Словом, все, что принято издавна считать отрицательными качествами характера и что, по его глубокому убеждению, было сутью человеческой природы. Он признавал, конечно, что люди бывают и добрые и бывают самоотверженные, но, полагал он, до известных пределов. А там, за этими пределами, тьма, ничего не видно, и надо разобраться, что выйдет наружу, когда как следует припрет.

Впрочем, в своих книгах он отступал от подобных взглядов, придерживаясь общепринятых представлений. Да вот беда, как он ни старался, а люди у него не получались. Мы уж не говорим о положительном герое, который в его произведениях был так чист, так хорош, что едва не возносился на небо. Но и со всеми прочими, в меру греховными, тоже не ладилось! Он уж и так их крутил, и эдак, наделял в различных соотношениях и хорошими, и плохими чертами одновременно, по примеру великих писателей, а они не оживали! И поступки, и чувства его героев, несмотря на все творческие уси-

лия, оставались вымученными, искусственными, заданными. Даже критика, благосклонная к его произведениям, не могла удержаться от упреков в схематизме, эмоциональной сухости, что приводило к «некоторым художественным просчетам». В последнее время, однако, исчезли и эти замечания. То ли критике надоело повторять одно и то же, то ли она смирилась, решив, что писателей надо принимать такими, какие они есть, то ли еще что...

Ну а в жизни, как мы говорили, Виктор Палыч неукоснительно придерживался своей истинной точки зрения на людей. И в тех случаях, когда его ясная, логическая схема ничего не могла объяснить, он начинал нервничать. Вот и сейчас Ожогин, хоть убей, не мог понять сидящего напротив него в вольной позе молодого человека, видно, неглупого, вполне современного. Что-то было в этом парне непонятное, чужое, враждебное ему. Что же? А впрочем, стоит ли ему ломать голову? Решение принято: уволить, и баста! Да, теперь самое время было напомнить Сухареву, что поступок его крайне серьезен и наказание его ждет самое строгое. Нужна была последняя фраза, сдержанная, но таящая в себе скрытую угрозу. Фраза эта, как назло, не приходила в голову, и он, выдержав паузу, тяжело бросил: «Ну, что ж, идите... Сейчас, к сожалению, у меня больше нет времени. Мы еще продолжим наш разговор».

Женя молча склонил голову и пошел к двери. Его легкий поклон можно было понять так: «В любое время к вашим услугам».

Время дуэлей, однако, когда вопросы чести решались кровью, давным-давно миновало.

— Да, плохи твои дела, Онегин,— сказала Яна,— судя по всему, он решил тебя схрумкать. А мне преподать урок. Ну, ничего, что-нибудь придумаем,— она вздохнула, накинула халат, встала.— В крайнем случае, проживем на мою стипендию. Ты со мной не шути, она теперь аспирантская. Проживем?

— Проживем,— бодро ответил Женя,— мне не впервой. Я могу и грузчиком.

Яна подошла к окну, отдернула штору — и в комнату хлынул свет, мгновенно затопивший ее.

— Женя, скорей сюда, скорей!— вскричала она.— Смотри, снег!

Женя подбежал к Яне и, обхватив ее за плечи, замкнув руки на ее груди, зарывшись лицом в ее волосы, замер. Голова его пошла кругом от запаха ее волос, от того, что под руками он чувствовал ее кожу и ее тело за махровой тканью халата.

— Какой снег,— пробормотал он, ничего не видя, разрывая губами ее волосы,— удивительный, невероятный снег...

— Ну, подожди,— прошептала Яна, ощущая стук своего сердца и чуть отстраняясь.— Прошу тебя, посмотри...

Она очень хотела, чтобы он посмотрел именно сейчас, в эту минуту, когда они стоят рядом, и Женя поднял голову. В первый момент он ничего не разобрал — чувства его были с Яной и не способны к иному восприятию, лишь в глаза ударил белый свет. Но уже в следующее мгновение он увидел, как волшебно преобразилась улица. Дома, машины, люди — все было покрыто белым, пушистым, легким снегом, совсем белым, словно источавшим сияние белизны. Небо тоже казалось белым с бледным, чуть голубоватым оттенком — свет ходил, переливался между высью и снегом, свободно, щедро и слегка небрежно запеленавшим в свои одежды весь город.

— Это для нас с тобой,— сказала Яна,— в наш первый день. Запомнишь?

— Запомню...

Отсюда, с десятого этажа башни на проспекте Мира, где подруга Яны, а вернее, Наташи, оставила им на три месяца однокомнатную квартиру, открывалась широкая панорама громоздящихся друг на друга домов с обтекавшими их улицами и переулками, пятачков дворов, скверов, сейчас слившихся под единым белым покрывалом. Громадная снежная река проспекта Мира с противоположными потоками транспорта, как бы медленно плывущими по ней, слегка изгибаясь, текла прямо под ними. Она была далеко видна — слева впереди, перед вонзающейся в небо стрелой, увенчанной ракетой, разветвляясь на несколько рукавов, а справа, взобравшись на мост над железнодорожными путями и пройдя перекресток напротив Рижского вокзала, устремлялась почти по прямой к Колхозной площади.

— Запомню,— повторил Женя.— Сейчас я подумал, что сумею сделать в жизни что-то стоящее, если ты будешь со мной.

— Буду. Всегда буду.

— Давай поклянемся!— с легким наигрышем сказал Женя.

— Давай!— тотчас откликнулась Яна также полушутливо, но сердце ее вздрогнуло.

— Герцен и Огарев клялись на Воробьевых горах в виду Москвы в дружбе, а мы поклянемся в любви.— Женя нарочито театральным жестом, как водится при клятвах, чуть поднял руку, Яна сделала то же самое.— До последнего дыхания,— громко начал Женя,— до гробовой доски клянусь любить, беречь и защищать Яну Кривич, по матери Новосельцеву, мою возлюбленную жену, что бы ни произошло со мной или с ней,— громко, с пафосом закончил Женя.— Да будет так!— Тут голос его неожиданно сел, и он тихо, как бы только для себя, проговорил:— Да будет так...

Яна почти слово в слово повторила эту клятву, заменив «жену» на «мужа». Начав говорить, она вдруг испытала непонятное волнение. Игра, похожая на кружение вокруг живого огня, отблески которого падали на их лица, когда они, дурачась, совсем близко, так что можно обжечься, подошли к нему, как бы отступила, и остался простой, ясный смысл произнесенных ими слов. А он вмещал в себя целую жизнь! «Так у нас и будет,— сказала себе Яна.— Счастливая и долгая жизнь. Долгая-долгая». Яна опустила руку, и они обнялись. Тут Женя стал переминаться с ноги на ногу, словно на морозе. Яна тоже почувствовала, что от окна тянет холодным воздухом. Они снова побежали к кровати, сели рядом, набросили на плечи одеяло, и Женя налил по полстакана вина (больше не хватило) из бутылки, стоящей на ночном столике.

— За это!— поднял он стакан.

— За это!— как эхо, откликнулась Яна.

Глотнув вина, сказала:

— Пойду готовить завтрак, а ты можешь еще поваляться.

— Что за жизнь!— ответил Женя, потягиваясь.

Но очень скоро ему стало скучно без Яны, и, ополоснув лицо в ванной, он заявился на кухню, где уже было все готово и горячий кофейник, испуская последние вздохи в виде тонких растекающихся по воздуху струек пара, стоял на столе, где в тарелочках с голубыми цветочками лежали кусочки аккуратно нарезанного

сыра и колбасы, а яичница, наша всенепременнейшая яичница-глазунья, шипела и урчала на плите...

Уничтожая яичницу, попутно перебрасываясь словечками, они в какой-то миг вдруг как бы опомнились: мы вдвоем, и в квартире больше никого нет? И нам не надо расставаться? И завтра так будет? И всегда? И это не во сне? Женя, поймав себя на этой мысли раз, другой, поспешил перевести все это в игру. Неожиданно он замирал, начинал щипать себя, оглядываться с изумлением, словно впервые видит эту кухню, вставал, дотрагивался до предметов, пожимал плечами... Яна весело смеялась. Женя весьма натурально разыгрывал человека, проснувшегося, скажем, на Марсе...

Убирая со стола и отсмеявшись, Яна ни с того ни с сего сказала:

— Не нравится мне твой разговор с писателем Ожогиным...

— Ну его...— махнул рукой Женя, попыхивая сигаретой.

— Ах, Онегин, ты мой, Онегин! С Ожогиным тебе не совладать.

— Ничего, не пропаду. Не путай меня кое с кем. Я не сынок. Я сам по себе.

— Спасибо,— сказала Яна,— значит, помнишь, не забываешь.

— Ну прости, прости,— спохватился Женя.— Вырвалось. Ну, хочешь, на колени стану?

— Не смешно,— сухо отрезала Яна.

Ей стало страшно. Мысли об Андрее, жалость к нему постоянно точили ее. До нее дошли слухи через Наташку с Юрой, что Андрей пьет, никуда не уехал — все из-за нее... Она, она разбила ему жизнь, и никуда от этого не уйдешь. Она счастлива, а Андрей мучается, спивается. Что-то говорило ей — добром это не кончится.

Женя, угадав, что происходит с Яной, взял ее руку.

— Не мучайся. На мне грех,— сказал Женя,— мне и отвечать.

Яна усмехнулась:

— Разве у тебя своих мало?

— Хватит и своих. Я не святой. Но твои мне не в тягость — давай, накладывай, все понесу.

Яна взъерошила ему волосы. Ей стало легче, будто Женя и в самом деле переложил ее грехи на свои плечи.

Придвинулась к нему, полуобняла за шею, глядя в пространство, заговорила:

— А мама? Сколько себя помню, всегда мечтала маму сделать счастливой... Как ты думаешь, что она сейчас делает?

— Дежурит в больнице.

— Нет, сегодня у нее свободный день...

— Ну, вот что,— заявил Женя,— поживем здесь немного одни, как ты сама хотела, а потом перейдем к тебе. Заметано?

— Когда умер отец, я училась в школе. Мама долго болела, никак не могла оправиться. Нам было плохо... Как я ненавидела свои пятнадцать лет, свое бессилие! Я мечтала о чуде. Вдруг за одну ночь я становлюсь взрослой, сильной! У меня неограниченные возможности, я покупаю маме шубу, заваливаю ее фруктами и шоколадными конфетами, отправляю на курорт...

— Прекрасно!— сказал Женя.— Вполне реалистическая программа.

— Ты угадал. Самое удивительное, что она осуществилась!

— Ты за одну ночь стала большой и богатой?

— Нет, просто именно в этот момент мы получили перевод на значительную, для нас прямо-таки неслыханную сумму.

— Козырев?

— И мы так решили. Больше не от кого. Но разыскать его мама не смогла, он был в отъезде, и сказали, что не скоро вернется...

— Знакомая картина,— проговорил Женя,— я за ним два месяца гоняюсь. Только вчера в Москве объявился.

— Что же ты молчал?— обрадовалась Яна.— И ты с ним договорился встретиться?

— Договорился. Молчу, чтобы он опять не уехал. Но я перебил тебя. Что же дальше было?

— Мама долго колебалась, брать ли ей деньги. Но в конце концов взяла. Положение у нас было безвыходное. Она сказала, что берет в долг и будет понемногу откладывать, чтобы со временем расплатиться...— Яна помолчала.— Вот только отдавать его было некому: Козырев не сознался, как мама его ни просила.

— Так и не раскололся?— переспросил Женя.— Видно, мужик крепкий.

Яна кивнула. Ей вдруг стало не по себе: для чего все это она рассказала? Передернула плечами:

— Что-то в квартире холодно...

Женя прикоснулся к батарее — горячая. Обнял Яну:

— Видишь, все сбылось. Ты стала большой и красивой. А маму на курорт еще раз отправим, и новую шубу ей купим, и пир устроим. Дай только срок...— он вдруг оборвал себя.— По глазам вижу, о чем подумала...

— О чем?— спросила Яна.

— Не беспокойся, без работы не останусь. И Ожогина твоего не боюсь. Ничего он мне не сделает.

Рука Яны скользнула по его волосам:

— Ах ты, храбрый есаул... Ожогин — человек хитрый, уж он сумеет все повернуть, как ему выгодно. Не тебе с ним тягаться.— Она вздохнула.— Не хочу, чтобы тебя унижали, выспрашивали, не верили, с жалостью смотрели, как ты барахтаешься и доказываешь, что не верблюд...

— Представь, я тоже. Очень даже не хочу.

— Надо что-то придумать!— решительно проговорила Яна.— Для начала хотя бы посоветоваться со знающим человеком.— Она замолчала на минуту и вдруг вскрикнула:— Козырев! Ну да, как мне сразу в голову не пришло! Он нам поможет, я знаю! Мама говорила, он большим человеком стал.

— Что верно, то верно,— с видимым удовлетворением согласился Женя,— очень даже большим! Могу выразиться и точнее. Александр Акимович Козырев — заместитель министра, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС.— Выдержав паузу, Женя, откинувшись на спинку стула, небрежно бросил:— Вот так-то... Между прочим, как строителя, я его давно знаю. Он построил Крутоярскую ГЭС, одну из крупнейших в мире. Чудогорск, город в тайге вокруг другой мощнейшей ГЭС, было дело, я уж и лыжи туда чуть не навострил, да геологи соблазнили...

— Вот видишь!— обрадовалась Яна.— Это судьба! В трудную минуту появляется он. Прямо как в романе. Я верю, верю, он нам поможет!

Женя чуть улыбнулся. Впрочем, частичка наивного энтузиазма Яны передалась и ему: а вдруг? Почему бы, черт возьми, и нет? Может, и вправду — судьба?

— Когда вы встречаетесь?— не унималась Яна.

— В воскресенье, у него дома, за чашкой чая.

— Сегодня четверг. Остается один рабочий день — пятница. Если редколлегия не назначена, то на этой неделе ее не будет?

— Само собой.

— Прекрасно!— Яна взъерошила Жене волосы. Она уже окончательно уверовала, что выход найден, оставалось только все хорошенько Жене растолковать.— Ты ведь будешь рассказывать Козыреву обо всем, что успел сделать, правда? Ну, вот,— быстро продолжала Яна, не дав ему ответить,— когда речь зайдет о Бляхине, тут-то ты и скажешь о его клеветническом письме в редакцию, из-за которого тебя увольняют. Ты просто не имеешь права умолчать ради полноты картины. Козырев возмутится, уж поверь! Тебе и просить-то ни о чем не придется. Он сам вмешается и найдет, что надо сделать. А уж Ожогин перед ним не устоит, нет, не устоит!

— Оно конечно...— пробормотал Женя; теперь, когда он представил себе разговор с Козыревым, та маленькая частичка энтузиазма, которую ему передала Яна, неожиданно испарилась.— Оно конечно...— повторил он.— А если не будет удобного момента сказать про этого Бляхина, как тогда? Понимаешь, получается, что я именем Симовского...

— Ничего не получается!— вскипела Яна.— Тебе и просить ни о чем не придется. Только рассказать, как было. Только рассказать, понимаешь? Больше ничего и не требуется.

Женя молча кивнул головой, и Яна вдруг сникла: нет, не станет Женя говорить Козыреву о письме, сочтет, что не представилось подходящего момента. И так будет всегда. Он будет идти к тому, что его влечет, напролом, не разбирая дороги, а когда возникнет случай подумать о себе, что-то обязательно помешает ему. Да нет, не что-то — он сам!

— Я постараюсь,— сказал Женя, глядя на погасшее лицо Яны,— найду такой момент. Знаю: надо!

Яна сидела, поникнув, ощущая пустоту внутри, словно вместе с надеждой ее оставили и силы. Но голос Жени, его чувство, его теплота постепенно пробились сквозь эту пустоту и будто зарядили ее новой энергией. Она подняла голову, увидела его глаза и, сама не сознавая этого, слабо улыбнулась:

— Как ты сделаешь, так и будет правильно. Послушай,— сказала она через минуту,— а не зайти ли нам к Юре с Наташкой? Юра — дока, все знает, да и Наташка — человек мудрый. Она как раз просила зайти именно сегодня. А я ее тысячу лет не видела, соскучилась. Нагрянем?

— Ну что ж, это можно,— согласился Женя,— не для того, чтобы... А так, потрепаться — пообщаться... Мне Большой звонил, все грозился обмыть свое назначение, вот пусть и разоряется.

— Какое назначение?— удивилась Яна.— Я ничего не знаю.

— Разве Наташка тебе не говорила?

— Нет.

— Ясно. Она была решительно против, потому и молчала. У них там такие баталии разыгрывались — аж перья летели.

— Да из-за чего баталии?— удивилась Яна.— Разве Юра может поперек слово молвить?

— Если надо, сможет. Он, понимаешь, начальством заделался — ученым секретарем большого-пребольшого института Академии наук, а Наташка не хотела. Она желала, чтобы Юрка чистой наукой занимался. А ему это ни к чему. Он от рождения наладился в начальники.

— И кто же победил?

— Выходит, наша взяла,— усмехнулся Женя,— если Юрка сейчас ученый секретарь. Ты с ним не шути — скоро академиком будет.

— Ай-да Юрочка! Если уж он Наташку переломил — значит, он все сумеет. Сегодня же к ним поедем. Он тебе поможет, чует мое сердце!

— Ну что ж, я не против. Я эту нахальную рожу давно не видел. Пора поглядеть на него, как он там управляется. Заметано. Идем.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Войдя в Юркину квартиру, Женя почувствовал — что-то в прихожей изменилось, то ли свет другой, то ли что? Юра, довольный, посмеиваясь, помогал Яне снять пальто. Из кухни шли аппетитные запахи, там что-то жарилось-парилось. «Я сейчас,— донесся голос Наташи,— только переверну...» Она появилась в переднике со взмокшими волосами, раскрасневшаяся, наскоро

расцеловалась с Яной и Женей и снова нырнула на кухню. Там, видно, готовилось нечто грандиозное.

— Старается,— подмигнул Юра.— Я ведь строг, если что не так, разнесу!

— Ой, как страшно!— передернула плечами Яна, поправляя перед зеркалом волосы. Оглядевшись, заметила:— С обновкой, уж не «Людвиг» ли?

— Он самый,— кивнул Юра,— четыре куска. Пришлось поднатужиться. Зато полное решение проблемы: гостиная, кабинет, прихожая, спальня... Правда, спальню отдали — не помещается, габариты не те...

— Это что еще за «Людвиг»,— спросил Женя,— который Ван Бетховен? Девятая симфония? «Эгмонт», «Фиделио»? А также «Налей, выпьем, ей-богу, еще...»?

— Выпьем, выпьем,— пообещал Юра.— Ах ты серость! Девятая симфония... Гарнитур такой есть, «Людвиг» называется. Люди за год записываются.

— Это я усек, что гарнитур,— ответил Женя,— но, может, он специально под Бетховена? Так сказать, ретро в духе первой четверти девятнадцатого века, а?

— Гениальная догадка!— восхитился Юра.— Вот что значит писатель!

— Хотя с другой стороны,— продолжал Женя,— сам Людвиг жил более чем скромно: кровать, стол, стул, фортепьяно, нотная бумага... Вот не помню, был ли у него шкаф...

— Был шкаф, был,— подтвердил Юра,— он и послужил моделью...

— Возможно,— согласился Женя.— А нотная бумага к гарнитуру прилагается?

— Не додумались, дураки,— огорчился Юра.

— А ты подай фирме такую идею,— посоветовал Женя,— ухватятся! Еще кругленькую сумму отвалят в западногерманских марках.

Вместе с Яной (Юра как сопровождающий держался на шаг сзади) они прошли в большую комнату, где был накрыт роскошный стол с хрусталем и свечами. Диван, кресла, журнальный столик, стулья с высокими спинками, украшенными затейливой резьбой,— все, сверкающее новенькой отделкой и все под старину, было сработано на совесть, изящно, красиво, удобно. Яна в восторге заохала, Женя тоже одобрил.

И в самом деле, трудно было не восхититься. Художникам и конструкторам мебели, входящей в гарнитур «Людвиг», удалось невозможное, то самое, о чем

безуспешно мечтали многие выдающиеся умы,— совместить два века, девятнадцатый и двадцатый. Особенно наглядно это проявилось на конструкции шкафа (век девятнадцатый), то бишь стенки (век двадцатый, семидесятые годы), то бишь серванта... Это красивое сооружение, занявшее почти всю стену, в гармоническом сочетании вобрало и то, и другое, и третье и являло собой некий синтетический образ старины, отмеченной красивой добротностью, и современности с ее изящно выраженной целесообразностью и заостренной функциональностью.

Опустившись в кресло, Женя сказал:

— Молодцы, ребята, расстарались. Хвалю,— оглядев стены, носящие вещные приметы вылазок за рубеж в виде тарелок с видами Парижа и Рима, репродукций на холсте великих мастеров, прибавил:— А где Мона Лиза? Ее знаменитая копия, написанная самим Леонардо, которая висела вот в том месте,— Женя протянул руку, показав место на стене,— где она? Как ты знаешь,— повернулся он к Яне,— одно полотно «Моны Лизы» хранится в Лувре, а второе, авторская копия, принадлежит Ивановым. Не веришь? Посмотри в любом альбоме Леонардо, в любом каталоге...

— Ты хочешь сказать, принадлежала?— горестно сказал Юра.

— Что это значит?— воскликнул Женя.— Украли? Не может быть!

— Подарил Эрмитажу,— с печалью, но твердо сказал Юра, чтобы не подумали, что он раскаивается.

— Неплохо! Очень даже натурально!— не удержалась Яна, еще не привыкшая к подобным импровизациям.— Вам бы, мальчики, в актеры податься.

Юра снисходительно улыбнулся, похвала его раззадорила. Подойдя к Жене, наклонился, проговорил вполголоса, по секрету:

— Ну ее к бису! Я эту Лизку в гробу видел, в белых тапочках. С той ночи еще невзлюбил, помнишь? Все смотрит, улыбается своей ехидной улыбочкой — вроде и то ей не так, и то не эдак... Куда ни пойдешь, а она за тобой своим пристальным глазом, как теща. До того дело дошло, что я в этой комнате есть не мог, поверишь — кусок в горле застревал... Ну, думаю, нет, чтобы я из-за какой-то бабы, да еще иностранного происхождения, в собственном доме куском давился? Не выйдет! Снял ее, родимую, со стены и поехал в Ленин-

град. Все-таки, думаю, великое произведение искусства. Что там поднялось! Все сотрудники сбежались, а директор, академик, тот прямо прослезился, обнял и говорит: «Ваше имя навеки останется в анналах истории искусства».

— Где останется?— спросил Женя.

— В анналах, где же еще?!

— Понятно... Значит, не совладал с Лизкой?

— Не совладал.

— Вот оно как бывает,— глубокомысленно заключил Женя.

Он вспомнил другой рассказ своего друга о той страшной ночи, когда ушла Наташа, а Юрка, выпив бутылку коньяку, потерял память и оказался на полу. И как, очнувшись, он увидел глаза Моны Лизы, смотревшие на него в упор, и ее язвительную улыбку.

— Жаль,— сказал Женя,— лишний глаз за тобой не помешает.

— Обижаешь,— протянул Юра.— Сам знаешь, завязал.

— Не помешает,— повторил Женя. В ответ на любопытный взгляд Яны пробормотал:— Тут старая история... Долго рассказывать, так, с ходу ты не поймешь.

— Забавляемся,— подсказал Юра,— это у нас такая игра...

Яна кивнула. Только сейчас она начала понимать глубину их отношений. Нет, не так все просто, как она себе представляла. Совсем не так. Ее внимание привлекли красивые бокалы необычной формы из тонкого стекла в золотых узорах, стоящие на видном месте в шкафу-стенке.

Юра, проследивший за ее взглядом, небрежно обронил:

— Венеция... Там у нас была трехдневная конференция социологов. Что за город! Невероятно, непостижимо, как его могли построить. Вода, воздух, камень...

Тут появилась Наташа в красивом темно-зеленом платье, но в переднике, который означал, что с кухней еще не покончено, и предложила сесть за стол. Юра начал откупоривать бутылки. Когда все уселись, Наташа, обращаясь к Жене и Яне, сказала:

— Случилось то, что должно было случиться — вы вместе. Я поняла, что это обязательно произойдет, еще тогда, в ресторане. Будьте счастливы — и никогда не расставайтесь! — Она пригубила рюмку и не поставила

ее, пока все, в том числе Юра (немного ему было разрешено), не выпили до дна.

— Спасибо,— ответила Яна,— и больше об этом не надо, ладно?

— Ладно, ладно...— пообещал Юра.— Однако теперь, Большой, тебе придется поворачиваться. Маленькая, но семья!

— Он уж и так поворачивается,— усмехнулась Яна.

С горечью она подумала, что живут они в чужой квартире, и то временно, срок им отпущен всего в три месяца, и что Жене грозит увольнение. А что будет дальше? Судя по всему, Женю это не очень беспокоит, он привык к тому, что все устраивается само собой. Но так не всегда бывает. Далеко не всегда. Да и чего можно добиться, если плыть по течению? Юра прав: нужно поворачиваться. Она прикрыла глаза. Ей вдруг смертельно захотелось оказаться в своей квартире, где будет так же тепло и красиво, и при этом знать, что впереди все хорошо. Никаких забот.

Наташа, словно угадав ее мысли, накрыла своей ладонью ее руку:

— Ничего... Все устроится...

Яна повернулась к Наташе, чтобы отшутиться, сказать что-то незначащее, и мельком увидела лицо Жени, несчастное, озабоченное. Значит, и он все понял. Яна устыдилась своей слабости. «Разве ты не счастлива?»— спросила она себя.—«Счастлива. Очень счастлива».— «Так что же? Ты ведь сама выбрала любовь, а об остальном не думала».—«Да — и не жалею. Ни капельки не жалею».— «Ой ли? Загляни в себя поглубже».—«Нет. Я все сделала правильно. Даже смешно говорить об этом. Я счастлива, счастлива!» Она подняла голову и улыбнулась Жене, так улыбнулась, что озабоченность мигом слетела с его лица.

— Я буду стараться,— проговорил Женя, как бы отвечая Юре на его «поворачиваться», но адресуя это Яне,— я не такой легкомысленный, как вы думаете.

— А мы так и не думаем,— заметила Наташа.— Мы в тебя верим.

— Кстати, Юра,— сказала Яна (сердце ее сжалось, но лучше уж сразу!),— ты теперь, говорят, большим человеком стал и молчишь.

— Я скромен,— ответствовал Юра,— и не такой уж это высокий пост, ученый секретарь,— произнес он с легким нажимом и не без удовольствия,— правда,

кое-что могу, кое-какие кнопки-рычаги в моих руках имеются.

— Вот-вот,— обрадовалась Яна,— а мы к тебе за советом.

— Давай,— кивнул Юра,— выкладывай. Пользуйся случаем.

Яна, торопясь, рассказала историю с письмом Беляхина и как могла подробней передала разговор Жени с Ожогиным. Юра даже присвистнул, когда она замолчала.

— Плохо твое дело, Большой,— он покачал головой.— Шеф решил тебя убрать. Это ясно.

Наташа поморщилась:

— Убрать... А других слов не существует?

— Не в словах суть. Ожогин — железный парень. Уберет, как пить дать. Сама понимаешь, он только и ждал такого случая.

— Кто ищет, тот всегда найдет,— пропел Женя на мотив известной песенки, но никто даже не улыбнулся.

— Пой, ласточка, пой,— сказал Юра. Помолчав, спросил:— Ваша контора в каком районе?

Женя ответил.

— Не подходит. Там у меня никого нет. Попробую, конечно, у себя кое с кем перекинуться — вдруг найдется ход. Какого черта ты связался с этим доцентом!— неожиданно накинулся он на Женю.— Не знаешь, что ли, какие бывают склочники?

— А какого черта я должен бояться, если ни в чем не виноват!

— Так ведь твоему доценту верят. Он — фигура. На месте все за него. А ты, между прочим, был в командировке, при исполнении служебных обязанностей! Ну, ладно. Другому, может, и сошло бы. Тут, в общем, темна вода. Но ведь у тебя-то испытательный срок не кончился! Тебя, голубчика, уволить — раз плюнуть. Понимаешь ты это? Всегда можно сказать: надеялись, что потянет, но ошиблись. Бывает. А в доказательство своей правоты найдут еще кое-чего, кроме этого доцента. Не беспокойся, по сусекам поскребут, а найдут, если захотят.

— Найдут,— согласился Женя.— Кто ищет, тот всегда найдет...— снова беззаботно пропел он.

Женя не хотел поддаваться панике, но тем не менее вспомнил, что не далее как вчера ни с того ни с сего ответсекретарь, розовощекий седой мудрец Михал Пет-

рович, тот самый, что послал его в командировку, довольно сухо потребовал у него все читательские письма. Женя отдал их с неохотой: на большинство из них он не успел ответить, хотя сроки прошли. Кроме того, секретарь-машинистка Тоня, очень милая девушка, симпатизировавшая ему, сообщила по секрету, что все тот же Михал Петрович распорядился, чтобы для него собрали копии всех ответов Сухарева авторам самотека. Эти ответы, без сомнения, давали в руки противников Жени богатый материал: некоторые из них были весьма ядовиты, а так отвечать трудящимся (графоманы тоже считались трудящимися) запрещалось в любом случае. Женя, конечно, это хорошо знал. Однако, прочитав бездарную графоманскую рукопись, обычно сопровождаемую нагловатым письмом ее автора, убежденного в своей гениальности, Женя приходил в ярость. Он отвечал не сразу, дабы немного поостыть, но все же не мог отказать себе в некоторой язвительности тона, а то, случалось, его ответы довольно удачно пародировали стиль самих писем. При желании Женю легко было обвинить в намеренном издевательстве над доверчивым читателем, с открытым сердцем обратившимся в редакцию. А это уже, как известно, весьма серьезный криминал. Что еще? Женя перебирал в памяти все, что произошло за короткий срок его деятельности в отделе публицистики, прикидывая, можно ли тот или иной его шаг отнести к прегрешениям? Кое-что набиралось. С натяжкой, а набиралось. Он работал с увлечением, старательно, времени не жалел. Но как бы там ни было, а и того, что набиралось, если, конечно, повернуть да перевернуть, вкупе с доцентом вполне могло хватить для оргвыводов. Испытательный срок — будь он неладен — вот в чем штука! Женя откинулся на спинку стула, как мог веселее проговорил:

— Поступило предложение сменить пластинку. Тем более что в нашей жизни имеют место и свои удачи, скажу больше, успехи. Дело в том,— неторопливо продолжал он, овладев всеобщим вниманием,— что я наконец-то настиг Козырева Александра Акимовича в его собственной резиденции, пока лишь по телефону, но через два дня — заметьте, в воскресенье,— я иду к нему.

— Ну и что?— спросил Юра.

— Как «ну и что»?— вскинулся Женя.— Да знаешь ли ты, что этот человек, который выходил с Симовским из окружения, что он был с ним рядом в последнем бою

и похоронил его, что у него осталась записная книжка Симовского? Представляешь, что он может рассказать?

— Представляю,— несколько индифферентно ответил Юра,— весьма любопытно, что он тебе наговорит. Постой, постой...— поднял он голову, словно что-то вспоминая.— Как ты говоришь, Козырев А. А.? Уж не тот ли это знаменитый строитель, который построил Крутоярскую ГЭС?

— И это все, что ты о нем слышал?— вскричал Женя.— Серость ты, серость! А Чудогорск, целый город в тайге вокруг гидростанции, кто построил?

— Остановись, Большой,— поднял руку Юра.— Теперь я спрошу. Известно ли тебе, что твой друг Козырев Александр Акимович — Герой Социалистического Труда, Депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС? Ну-ка, отвечай!

— Ты забыл еще, между прочим, что вот уже два года, как Александр Акимович — заместитель министра, и, надо полагать, в его ведении находятся все стройки министерства. Могу тебя заверить, что я за них абсолютно спокоен.

— И после этого ты не знаешь, что тебе, бедному, делать?— Юра развел руками.— Видал кретинов, но таких! Да стоит только Александру Акимовичу по телефону сказать три слова Ожогину, да просто поинтересоваться: как, мол, там у вас некий Сухарев трепыхается, он вроде малый способный — и все твои неприятности кончатся тут же, в одну минуту! Ну, подумай сам, сможет ли Ожогин в таком пустяке отказать Козыреву? Что ему стоит выкинуть письмо доцента в корзинку? Я тебе больше скажу: все это твое дело, ежели на него взглянуть с другой стороны, весьма и весьма попахивает травлей молодого специалиста. Если Ожогин учует, что кто-то там,— Юра поднял палец и возвел глаза к потолку,— о нем может узнать, то тут же даст обратный ход. На сто восемьдесят градусов перевернется. Придешь на работу, а шеф к тебе с улыбочкой: «Здрасьте, Евгений свет Владимирович! Как изволили почивать? Вижу, вы чем-то огорчены? Пустяки. Идите в свой кабинетик, спокойно работайте и ни о чем плохом не думайте. С этим прохвостом доцентом ошибочка вышла. Вы уж не обессудьте...»

— На первый раз прощаю,— милостиво произнес Женя.— Свободен. Но уж наперед смотри у меня!

Я ведь не посмотрю, что писатель, я ведь и ушибить могу. Лют я во гневе, страшен, жесток!

— Вот, вот. Прекрасно. Так и держись,— похвалил Юра.— Пущай подумает,— он помедлил.— Так когда ты идешь к Алексан Акимовичу?

— В воскресенье.

— Но без обсуждения твоего проступка в коллективе Ожогин тебя не уволит, верно?

— Еще бы!— Женя поежился.— Он сам сказал, что будет редколлегия. Парень он ушлый. Ему надо решением редколлегии прикрыться.

— Замечательно! Сегодня четверг. Остается один день, пятница. Если редколлегия не назначена, значит, на этой неделе ее не будет.

— Не будет.

— Превосходно! — Юра взял сигарету, зажег, пустил дым.— Далее события разворачиваются следующим образом. В воскресенье ты идешь к Алексан Акимычу, беседуешь с ним и, попивая чаек, между делом, рассказываешь о своей встрече с доцентом. Все как было. Весь разговор — что он тебе, что ты ему. Ну, Алексан Акимыч, понятно, кипит, жалеет, что ты не удушил этого гада доцента, тут-то ты и говоришь про письмо. Мол, так и так, мало того, сукин сын доцентик прислал в редакцию клеветническое письмо, и меня из-за него увольняют... «Как увольняют! — возмущается Алексан Акимыч.— Да не может быть! Кто у вас там редактор?» — «Да вот, есть такой Ожогин В. П., заместитель».—«Ожогин? Хорошо. Попросим, попросим вашего Ожогина как следует разобраться. Очень попросим». Ну, а что потом произойдет,— заключил Юра,— я уже тебе сказал.

Невольно Яна подумала об Андрее. С ним было удобно, просто, будто катишься по ровной гладкой дороге, на которой заранее знаешь, какие станции тебя ждут. Ни усилий, ни сомнений, ни забот — автомобиль сам привезет, куда надо. Удивительно, но прежде, когда Яна пыталась представить себе свое будущее с Андреем, в ее сознании возникал матово-белый «жигуленок», с которым сросся Андрей, бегущая навстречу лента шоссе, пятна света на дороге, вместе с тугим свежим ветерком она словно ощущала струящиеся из-под колес запахи бензина, нагретого асфальта, слышала ровное урчание мотора, шуршание шин... Случалось, Яна ловила себя на дикой мысли: а что, если Андрей бросит

руль? Ведь машина должна по-прежнему идти как ни в чем не бывало. Она с трудом удерживалась, чтобы не попросить об этом Андрея. Яну охватывал страх: уж не сходит ли она с ума? Впрочем, наваждение быстро проходило, забывалось. И Яна не задумывалась, откуда берутся эти странные фантазии. Теперь она поняла откуда: все, чем владел Андрей, было как бы ненастоящим, чужим, искусственным. И сам Андрей с его удачливостью, беззаботностью был порождением этой искусственности. В нем не ощущалось тяжести жизни. Все, что в нем есть,— на поверхности. У него словно не было корней, сообщающихся там, глубоко под верхними слоями, с самой сердцевиной жизни, с ее соками, кровью... Настоящим в нем было одно — его любовь к ней. Если Андрей избавится от этой любви, он опять станет прежним, легким и равнодушным, не знающим цены жизни. А если нет, тогда ему с собой не справиться...

Ну, вот опять, опять ее терзает жалость. Ей вдруг смертельно захотелось прислониться к Жене, зарядиться его энергией, почувствовать себя сильнее. Юра смотрит на нее, требует, чтобы она повлияла на Женю. Ах, чудак! Разве он не знает — все равно Женя сделает так, как подскажет ему шестое чувство. Да-да, то самое — шестое. А по-другому он не сумеет...

Яна встала, обошла стол (Женя сидел напротив, вид у него был невеселый, одна мысль о необходимости какой-либо просьбы портила ему настроение) и сзади, из-за спины, обняла Женю за шею, прижалась щекой к его волосам, сказала:

— Он постарается.

— А теперь прошу минуточку внимания,— произнесла Наташа и с тем вышла.

Юра зажег две свечи, погасил люстру (между прочим, французскую, фарфоровую, в цветочках), и тут вошла Наташа, держа двумя руками огромное блюдо, на котором красовался, испуская пьянящие запахи, золотисто-румяный гусь. Яна бросилась освобождать жизненное пространство на столе, дабы установить блюдо. Юра, наслаждаясь эффектом, стал помогать ей. Когда гусь занял в центре стола подобающее ему место, Юра наполнил рюмки и попросил внимания. По его торжественному виду было ясно, что он произнесет тост, посвященный Наташе. Без такого тоста не обходилось ни одно застолье с его участием. Причем момент

для этого он всегда выбирал безошибочно точно — не рано, не поздно, а как раз когда следует, на самом пике застолья: люди уже достаточно размягчены выпитым и съеденным, благодушно настроены, все любят всех, но еще не потеряно чувство реальности и способность к восприятию всего сущего.

— Тот, кто думает, что я буду произносить похвальное слово кулинарному искусству моей супруги,— начал он,— тот глубоко ошибается,— как опытный оратор Юра сделал паузу и не без удовольствия про себя отметил, что все трое, потихоньку орудовавшие ножом и вилкой, разом повернули к нему головы.— Конечно, этот гусь, по всем правилам начиненный яблоками и сдобренный специями,— явление незаурядное, конечно, золотые руки Натали способны совершать чудеса, слава им, слава! Но не об этом речь... Да, вы угадали, друзья мои, речь пойдет о ее золотом сердце, которое согревает всех, переступающих порог этого дома... Но оно не только излучает тепло и доброту,— продолжал Юра, усиливая пафос,— оно обладает еще одним чудесным свойством — даром предвидения. Подобно компасу, оно указывает путь, по которому надо идти, определяет линию жизни. Что бы со мной стало, если бы я не слушался голоса ее сердца, не соразмерял бы с ним свою жизнь? Вот я и предлагаю выпить за здоровье моей любимой, за то, чтобы до последнего своего часа я слышал этот голос, чувствовал его силу и тепло.— Юра с заблестевшими глазами опрокинул рюмку и сел на место.

Он был сентиментален и на последних словах разволновался не на шутку. Собственно говоря, его тост был ответом на споры, которые месяц назад они вели с Наташей, соглашаться или не соглашаться ему на предложение стать ученым секретарем. Мудрая Наташа была решительно против. «Науку ты забросишь,— говорила она,— погрязнешь в суете, в собраниях-заседаниях, в административных делах и как миленький будешь исполнять различного рода просьбы да указания, притом далеко не всегда приятные. Того и гляди последних друзей растеряешь».—«Науку я не заброшу,— отвечал Юра.— Наоборот, буду в курсе всех новейших достижений. Ты даже не представляешь, какие возможности информации открываются, какие перспективы поездок, общений, встреч — и на каком уровне! Сейчас я сижу над своей темкой, и точка: ни шага

в сторону, да еще работаю на дядю, а тут передо мной будет вся тематика института. Взгляд с высоты, понимаешь? И любая тема доступна, бери, подключайся... (А кнопки-рычаги? Ученый секретарь — это фигура, он-то и сидит за пультом. Если с умом...— но этот аргумент Юра не высказывал, держал про себя.) Дела?— продолжал он.— Что ж, от них никуда не денешься. Они всегда есть и будут»,— Юра делал вид, что убеждает ее и себя, но сам-то давно уже сказал «да» кому полагается и с нетерпением ждал, когда появится приказ о назначении.

И вот месяц, только один месяц он крутится в этом колесе, пишет служебные письма, докладывает, говорит по телефону, координирует, убеждает, уговаривает, молчит, когда следовало бы вступиться, отшучивается в ответ на вопросы друзей и сотрудников и, приходя домой, валится без ног на диван, но и здесь не может отключиться, в голове проворачиваются разговоры, звонки, загадочные фразы шефа...

Он стал плохо спать. Его постоянно что-то грызло, появилось такое чувство, будто что-то недоделал, гдето допустил ошибку, оплошал, что-то сказал не так... Оказалось, между прочим, что ученый секретарь хоть и организатор-администратор, а проблематику институтскую должен знать назубок, кругозор иметь широкий, многие вещи понимать с полуслова... А Юра — откуда ему? И опыт не тот, да и знаний не мешало бы побольше. Вот он и помалкивал, и соглашался, когда обсуждались некоторые проблемы, а потом ночью ворочался с боку на бок. Своя тема? Наука? Какая уж там наука! «Может, это сначала так?— спрашивал себя Юра.— А потом втянусь, и ничего, пойдет... Все-таки положение, кнопки-рычаги...»

Увы, ответ могло дать только время. Юра стал раздражителен, спал с лица. Совсем бы ему пришлось кисло, кабы не Наташа. Видя, как Юра мыкается, она не только не упрекнула его ни единым словом (а ведь могла бы!) — наоборот, всячески поддерживала, подбадривала его, укрепляла веру в свои силы. Она окружила его заботой и вниманием и понемногу стала поверенным в его делах. Наташа безошибочно могла угадать, как отзовется тот или иной административный шаг ее энергичного Юры, что может обидеть человека, какие ошибки прощаются, а какие нет. Юра очень скоро оценил ее здравый смысл, чуткость и спешил поделиться

с ней всем, что его волновало и тревожило. Да вот беда — последнее время он начал кое-что недоговаривать. Как будто ничего особенного, мимолетный разговор или, напротив, его молчание, когда следовало бы выступить... О таких пустяках он мог бы и забыть, рассказывая Наташе о прошедшем дне. Но вся штука в том, что он не забывал...

По работе он имел касательство (а в некоторых случаях — прямое) к разного рода делам, связанным с людьми. Защита ученых степеней, утверждение плана лаборатории, поездки, назначения... Тут многое переплеталось — люди есть люди. К нему обращались с просьбой, ему указывали, советовали, от него ждали, на него надеялись... Вот и приходилось вертеться, изворачиваться. Кнопки-рычаги оборачивались другой стороной. Похоже, предсказание Наташи, что последних друзей растеряет, начинало сбываться...

— Спасибо, мой дорогой,— сказала Наташа, когда Юра на столь чувствительной струне (до последнего своего часа...) закончил свой тост и единым духом опрокинул рюмку.

Он был искренен, и Наташа растрогалась. Но чутким своим слухом она уловила и новые нотки в его голосе. Как будто он извинялся, что не послушал ее, как будто признавался, что совершил ошибку, приняв предложение занять эту хлопотную должность. Уж не случилось ли что у него на работе?

Взгляд ее был достаточно красноречив, и Юра, раздражаясь, в несколько повышенном тоне ответил:

— Ну, чего ты? Все нормально. Нормально, не беспокойся. Просто надоело. Надоело — и все.— Он слегка опьянел. Последняя рюмка сделала свое дело, кровь отлила от лица, глаза чуть сузились.— Да, надоело!— повторил Юра с ожесточением.— Уйду к чертовой матери в монастырь, в чистую науку! А вы уж сами тут хлебайте, а про меня забудьте!

Жене стало не по себе. Его друг не шутил. В голосе Юры прорвалась настоящая злоба. Это с ним случалось чрезвычайно редко. Женя не мог припомнить, когда еще Юрка был в таком состоянии. Значит, крепко допекло.

— Ну, чего у тебя там?— как бы небрежно проговорил Женя.— Поделись с народом. Авось подмогнем.

— Ничего!— отчеканил Юра.— Можете вы это понять? Объелся сладкого, хочу кисленького — куда про-

ще? В докторантуру поступлю, ясно? Темой своей займусь. И баста! А вы играйте в свои игры, только без меня. Буду сидеть, думать, перышком по бумаге водить — чем не жизнь? Будем с Наташкой за город ездить. Природой любоваться. Грибы собирать. Карасей ловить...

— Карась нынче не тот пошел,— заметил Женя,— да и как его возьмешь? Ежели только на мотыля...

— Не смешно,— сказал Юра, понемногу успокаиваясь,— а насчет того, что карась нынче не тот пошел,— это точно. Читал сказочку Салтыкова-Щедрина про карася-идеалиста? Так вот — устарела сказочка, вывелся такой карась. Все. Амба. Может, ты один и остался.

— Кто, я?— спросил Женя.

— А кто же? Я, что ль?

— Он не карась,— вступилась Яна,— он — дельфин.

— Пущай себе...— махнул рукой Юра.— Давайте, граждане, за этого дельфино-карася выпьем. Нехай плавает...

Ему было неловко за свою выходку. Что на него нашло? Даже и не заметил, как вышел из берегов. Вот Яна, бедняжка, не знает, что и подумать, хлопает своими русалочьими глазами. А Наташка все поняла. Учуяла, что к чему, будет разговор. А что он ей скажет? Что?

— Музыки хочу,— пробормотал Юра,— забвения...

Но Наташа еще раньше встала из-за стола и поставила свою любимую пластинку, а сама села в уголок на диван, поманила к себе Яну и приготовилась слушать, вернее, вести с подругой тихую беседу, говорить о своем, а голос, от которого размягчается душа, будет сам по себе входить в тебя... Он поведает о печалях и тревогах сердца, и все в тебе отзовется на его искренность и теплоту.

«Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечества не выбирает — просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба — то гульба, то пальба... Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба...»

Яна и Наташа шептались в уголке. Скрипка Моцарта пела для них. «В конце концов все устроится,— говорила Наташа.— Я думаю, Женя скажет Козыреву,

и все обойдется...»—«Нет, не скажет».—«Тогда Юра сам пойдет к Козыреву».—«Не хочу больше об этом. «Просто играет всю жизнь напролет» — это про Женю».—«Любишь?»—«Очень... Знаешь, Женя сам мне предложил жить у мамы, а больше мне ничего не надо».—«Ничего?»—«Ну конечно... Буду работать над диссертацией — тема очень интересная. Вот только шуба моя от чистки совсем села. Стыдно надеть. Как школьница».—«Послушай, у меня на работе одна женщина продает французскую шубу, почти новую и недорого. Приезжай посмотреть. Если понравится, деньги мы тебе одолжим».—«Хорошо. Приеду».—«Ты счастлива? Я вижу, вижу».—«Да, очень».—«А я боюсь за Юру. С ним что-то происходит. Не по силам ему эта должность. И вообще — ему очень трудно».—«Юра?— удивилась Яна.— Что ты! У него всегда будет все хорошо. Просто выпил немного лишнего — вот и все».— «Как ты можешь так говорить! Ведь ты его не знаешь. И никто его не знает, никто! Вы думаете, у него нет сердца? А он очень добрый. Добрее многих и многих».—«Ты обиделась? Ну, прости, прости. Я очень хорошо отношусь к Юре».—«Не обращай внимания. Просто у меня в последнее время глаза на мокром месте. Ты тут ни при чем. Сдают нервы. Сама не знаю, что со мной происходит...» («Коротки наши лета молодые: миг — и развеются, как на кострах, красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах».) Как быстро все проходит — все-все... Мне иногда кажется, что я очень долго живу — и все уже было, все...» — «Да что ты, Наташа, что ты! Как ты можешь, посмотри на себя: умница, красивая».— «Я о другом... («Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба — то гульба, то пальба... Не обращайте вниманья, маэстро, не убирайте ладони со лба».) Знаешь что, Яна, давай вдвоем выпьем. За тебя, за твою любовь...» — «Спасибо, Наташа! Но почему только за меня? За нас двоих».— «Нет, за тебя одну. Ну, давай же!» Они чокнулись, пригубили, а скрипка Моцарта все пела — для них, для них...

Играйте, играйте, маэстро! Пока вы играете — жизнь идет, кружится. Как бы там ни было, а идет, и право же, не стоит вешать носа! «Надейся, надейся, голубка, свои паруса пораскинь, ты хрупкая, словно скорлупка, по этим морям городским...» Может, в этой

хрупкости и твоя сила — смелее, черт возьми, смелее распускай паруса!

В то время как женщины шептались, Юра и Женя больше помалкивали, лишь время от времени перебрасываясь односложными словами. Жене лезли в голову мысли о своих невеселых делах и в связи с этим (а также не без влияния энного количества рюмок) о тщете всего земного... А Юра чувствовал такую ужасную усталость, словно на нем воду возили,— болели руки, плечи, спина. А голова-головушка бедная гудела, как чугунная. Единственно, о чем он мечтал,— это остаться одному, броситься на постель и провалиться к черту, к дьяволу, в небытие. Тем не менее Юра не забывал, что он хозяин, пытался взбодриться, наливал, требовал еще по одной, предпоследней, ибо последней вообще не должно существовать в природе. «Давай, Большой,— не очень твердо выговаривал он.— Мы с тобой. Ты да я — и ну их всех!» До него не доходила мелодия, плывущая к ним на теплых волнах.

Женя, хотя и думал о своем, невольно прислушивался к знакомому голосу, обладавшему странным свойством возвращать человека к самому себе, к своей сути, к своим печалям и грехам, которые скрываются от других, а то и от самого себя. Тот, кто пел и сочинял эти песни, пришел оттуда, из того времени, и никогда не забывал об этом: «Я выжил. Я из пекла вышел. Там не оставил ничего. Теперь живу посередине, между войной и тишиной, грехи приписываю богу, а доблести — лишь Ей одной». Однажды прочитав эти строки в книжке поэта, которую он раздобыл с превеликим трудом, Женя ощутил в них знакомую нотку — так написать мог бы, наверно, отец...

Листая раз и другой эту тоненькую книжечку с рисунком наполовину черной, наполовину белой гитары на обложке, Женя ловил себя на том, что угадывает за строчками пережитое поэтом мгновение, навсегда запавшее в память. Одно слово, одна строчка — и он будто своими глазами видел: бугристое, изрытое снарядами поле, расползающийся дым, кустик высохшей травы до самого неба, впереди полосы света от заходящего солнца... И — тишина. Дикая, невероятная тишина. «Живые, вставай-поднимайся, будь счастлив, кто снова живой, на первый-второй рассчитайся, ряды поредевшие сдвой...» Снова, снова живой! Жене становилось жутковато — уж не он ли сам заново родился,

когда остался живой? А вдруг и в самом деле что-то передается, хотя бы через кровь, от одного к другому, к третьему? Ведь как неожиданно война открывает себя! А то ворочается в глубине, невидимой, или промелькнет, как тень большой черной птицы. «Счастливые былые люди мне чудятся издалека...»

Те, что представились ему в тот августовский день во дворе университета, когда он нашел папку Симовского. Сейчас Женя думал о них — об отце, о Козыреве, о Симовском... Но он не видел лиц — все было как в тумане...

Уходит взвод в туман, в туман, в туман,
а прошлое ясней, ясней, ясней...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Вернувшись в Москву из длительной командировки, где он возглавлял правительственную комиссию, принимавшую строительный объект государственной важности, Александр Акимович Козырев почувствовал себя плохо — кружилась голова, временами все начинало плыть перед глазами. Все это было знакомо: не однажды за последние два года резко подскакивало давление, и он знал, что помимо лекарств ему необходимо отдышаться. Времени, однако, на это не было: через три дня назначено заседание Совета Министров СССР, где в ряду других вопросов стояло его сообщение. Вот эти три дня, не спеша готовясь к своему короткому сообщению (по существу, готовому, оставалось втиснуть самое важное в отпущенные десять минут), Козырев решил провести дома, надеясь в то же время хоть немного прийти в себя. Тут-то и застиг его звонок Жени Сухарева.

Жене повезло: трубку снял сам хозяин. Поразительно, но Козырев сразу, с первых слов догадался, о чем идет речь. И все же он переспросил: «Итак, вы нашли рукопись Якова Симовского и его письмо к Тане Новосельцевой?»—«Да»,— ответил Женя. «А Таню вы разыскали и письмо ей передали?»— голос Козырева звучал по-деловому сухо. «Да».—«А что вы намерены делать с рукописью?»—«Опубликовать. Но мне одному трудно».—«Понятно»,— Козырев замолчал, прикидывая, как ему быть.

Сдерживая дыхание, Женя ждал. Ну, теперь-то он его не упустит. Он уже приготовил железные аргумен-

ты, после которых станет очевидно, что откладывать встречу немыслимо, но неожиданно Козырев самым что ни на есть будничным тоном проговорил: «А не могли бы вы приехать в воскресенье, скажем, часам к десяти?»—«Могу»,— севшим голосом ответил Женя.

Через два дня, в воскресенье, рано проснувшись, Козырев пошел в свою комнату. Было без пяти восемь. Козырев сел за стол, раскрыл папку, попробовал углубиться в бумаги, но из этого ничего не вышло. Он почувствовал нетерпение, похожее на то слегка возбужденное состояние, которое обычно овладевало им перед дальней дорогой. Он встал, начал расхаживать по комнате. Что-то поднималось в нем, и сам он будто менялся, становился другим, и все вокруг как бы менялось: свет, воздух, стены... Козырев сел в кресло, откинувшись на спинку, закрыл глаза...

И сразу потянуло влажным холодящим ветерком с запахом талого снега и воли, а из окна (его с матерью комнаты на Грузинах?) открылось бледное размытое небо в клочках облачков — оно медленно очищалось, обнажая чистую голубизну (а может, это на фронте, в лесу, и голубизна сверкает над головой через сплетение тонких мокрых ветвей?), и опять, опять у Козырева сладко заныло сердце, как всегда ранней весной: и до войны, и на фронте, и в те мартовские дни сорок седьмого, когда он демобилизовался и вернулся в Москву, к матери, на Грузины... А там все осталось по-прежнему: окно, дерево, комод, даже абажур из бумаги над столом, и мать, мать была жива — дождалась!

В те же весенние дни он впервые пришел в Сокольники к Тане Новосельцевой. В первый вечер он немного рассказал о Яшке — что-то ему мешало, наверно, сама Таня, ее замкнутость, необычная привлекательность ее темных печальных глаз, неотрывно, с какой-то тайной надеждой, словно он сейчас скажет, что Симовский жив, смотревших на него. Скоро, однако, скованность Козырева прошла; Таня, свыкнувшись с его манерой говорить — жестковато, неожиданно взрываясь, начала понимать его совсем по-другому, как бы изнутри, и все ее защитные преграды, которые она сначала выстроила, рухнули. А Козырев, начав свой рассказ, почувствовал, что почти за четыре года фронта, прошедшие со дня гибели Яшки, он ничего не забыл из той самой трудной в его жизни поры, когда они вдвоем выбирались из окружения. Он вдруг понял, что это жило

в нем всю войну и помогало преодолевать страх и вести за собой других.

Встречи с Таней были выполнением завета Симовского и разбередили душу Козырева,— рассказывая, он словно опять проживал вместе с Яшкой те дни первых боев. Ему вспомнилось, как однажды, когда их разбомбили в лесу и они опять остались вдвоем, Яшка сказал: «Ну, чего нос повесил? Все равно будем драться и выходить. Запомни, если сейчас не сделаешь того, что должен,— не будет тебе места в жизни».—«Да ты сначала доживи, а уж потом рассуждай. Снявши голову, по волосам не плачут».—«Потом будет поздно. Сейчас от тебя зависит, каким ты будешь потом, сможешь в глаза людям смотреть или нет. Война закончится Великой Победой, миллионы людей погибнут ради нее, а кто останется, будет знать — есть в ней и его доля, его кирпичик...»—«Это ты верно...»— согласился Козырев. «Знаешь, тут уж так,— глядя куда-то вперед, в густеющие сумерки, сказал Симовский,— война: кому что придется... Но если помирать, так как солдату, по-человечески». Козырев не ответил. Его поразила сама мысль: как жить потом, после войны? С чем ты придешь к победе? Разговор забылся, но вспомнился чуть ли не через год, летом сорок второго. Тогда их группа поиска, благополучно пройдя первую линию немецких траншей, неожиданно напоролась на охранение. Отстреливаясь, они стали отходить и уже было ускользнули — до опушки леса оставалось метров сто, но тут ранило товарища, который полз рядом. Козырев услышал стон. «Вперед, перебежкой!»— в то же мгновение скомандовал старший группы, который находился справа от него. Козырев рванулся вслед за ним, но стон повторился, а может, не повторился — стоял у него в ушах. Козырев бросился на землю и пополз назад. Несколько метров он все-таки успел пробежать и теперь ориентировался по вспышкам огня и трассирующим пулям, летящим навстречу.

Взвилась первая ракета, осветив нестерпимо белым светом изрытое поле, линию немецких траншей впереди, метрах в трехстах, и слева бугорок дзота, откуда садил пулемет. Раненый — это был Николаев, совсем мальчишка, пошедший с ними в свой первый поиск, лежал в стороне. Засвистели пули, взвились фонтанчики земли у самой головы. Его заметили — дело дрянь. Теперь уж не отпустят. Козырев вжался в траву. Скорее бы гасла

проклятая ракета! Ее свет тускнел, таял, темнота съедала его, но так медленно, будто он целую вечность лежит на виду у немцев. Когда ракета наконец погасла, Козырев вскочил и в три прыжка очутился рядом с Николаевым. Скорее, скорее отсюда, подальше от этого места! Козырев взвалил Николаева на спину и пополз — хорошо еще у мальчишки хватило сил держаться за него. Через полминуты снова ракета. Козырев успел стащить со спины Николаева и замереть рядом. На этот раз их вроде не обнаружили. Пунктирные нити красных огоньков трассирующих пуль, перекрещиваясь над ними, падали впереди, у леса.

К своей радости, Козырев заметил, что по огневым точкам немцев бьют из леса — свои прикрывали его и вызывали огонь на себя. Сил у него прибавилось — он был не один! Глядишь, и выберется. Так, останавливаясь, вжимаясь в землю, когда взвивалась ракета, и снова продолжая ползти в темноте, он добрался до опушки, где его ждали ребята... Потом, рассказывая комбату, как все происходило, и отвечая на его вопросы, Козырев неожиданно для себя обмолвился: «Да, если б я его не вытащил, как бы я жил?»—«Когда жил?»— не понял комбат. «Ну, потом, после войны...»—«Вот ты какой!— удивился комбат.— Далеко смотришь. Молодец». Поиск окончился неудачно, но Козырев, единственный из группы, получил за него орден Славы III степени. Первый свой орден.

Теперь, тридцать пять лет спустя, одно имя Симовского, произнесенное по телефону, всколыхнуло в памяти этот случай. Со всей силой прорвавшись сквозь годы, долгие-долгие годы, на него нахлынуло прежнее... Не сбылись их мечты вместе приехать в Москву, но Яшка был как бы с ним в ту хмельную весну сорок седьмого — не только в Сокольниках, на Песочном, не только у Красных ворот, с матерью Яшки, но и на Грузинах, на Бронной, на Староконюшенном, на Якиманке — всюду, куда заносило Козырева. А Москва кружила его, открываясь то милой сердцу давней простотой двора, комнаты, то шумом и звоном в угаре дружеских встреч, а он все никак не мог насмотреться, надышаться ею. И Козырев чувствовал — что-то в нем бродит, растет, поднимается. Он жил как бы в преддверии больших счастливых событий в своей жизни, а сил в себе чувствовал столько, что, казалось, все по плечу...

Сидя сейчас в кресле в своем кабинете, за окном которого высились шестнадцатиэтажные башни и шумела зимняя Москва семидесятых годов, Козырев неожиданно ощутил то самое состояние — на короткие, считанные минуты он как бы снова стал молодым, сильным, вернувшимся оттуда, из пекла, и помнившим, что в Великой Победе есть его доля, его кирпичик. И еще крепко помнил Козырев о своих долгах. Запал ему в душу тот разговор с Симовским, когда батальон ушел, а они остались в отряде прикрытия. Из того окопа совсем подругому представилась им прежняя жизнь, хорошее и плохое, да и себя увидели другими глазами. Симовский без утайки рассказал о Тане, о своей робости, а Козырев казнил себя за мать, за ее слезы, которые рвали ему сердце. Вспомнил он и о Зойке...

Ах, Зойка-Зойка, с красно-рыжей косой, с зелеными глазищами, горячая, безоглядная, открытая, не давала ему она покоя, всю войну не мог он ее забыть! А приехал в Москву — не застал: вышла замуж за офицера-моряка да и уехала с ним на Дальний Восток. Мать она забрала с собой, насовсем или временно, никто не знал, за квартиру вперед заплатила, адреса не оставила. Ищи ветра в поле! А мать — его боль, его вина, его нежность, как бы он сам во все дни своей жизни, маленький и большой, веселый и печальный, здоровый и больной, с удачей и с проигрышем, он сам, только лучше себя, без накипи и без грязи,— его мать была жива!

Это ее любовь, сделавшая его человеком, помогла дожить ей до светлого часа. Теперь его черед отплатить ей тем же, чтобы хоть в старости душа ее была спокойна.

Козырев поступил на курсы монтажников-высотников. Специальность ему нравилась, дело было рисковое, там, на высоте, гулял вольный ветер, ребята требовались смелые, и платили хорошо. А Москва начинала расправлять плечи, строиться, примериваться к «высоткам»— через несколько лет, в пятидесятые, уходящие ввысь башни, венчавшие высотные здания, которые поднялись на площадях Москвы, совершенно изменили ее облик. В те годы строители были нарасхват, а Козырев, закончив курсы, очень скоро стал в своей бригаде ценным специалистом, которому доверялась самая опасная и трудная работа. Руки у него были крепкие, ловкие, глаза острые, и смелости не занимать. Первым в своей бригаде он пошел в вечернюю школу.

Вечерами мать, сидя за вязанием и шитьем, из-под очков поглядывала на сына, склонившегося над учебниками. Он сидел у окна за своим старым столом, за которым до войны паял, мастерил, когда на него находил такой стих, и настольная лампа с полукруглым стеклянным абажуром бросала зеленоватый отблеск на его сосредоточенное лицо. Оно казалось ей прекрасным, чистым и строгим, и она боялась вздохнуть, чтобы не помешать ему.

В душе ее царил праздник, мир и покой. С той поры как пришел с войны Саня, вся жизнь ее стала другой, и сама она будто заново родилась. Он принес с собой не только достаток, но и постоянную, непреходящую радость. Лишь иногда, в глубине души, на самом донышке, шевелился страх: неужто все это ей! За что? А ну как в одночасье все кончится? Случалось, ночью она просыпалась в ужасе — что-то неотвратимо страшное мерещилось ей во сне. Уж не грозит ли им с Саней несчастье? И горячая молитва сама рождалась в ее сердце: «Отврати, господи, отврати... Коли на то воля твоя, накажи меня... Любые муки приму, лишь бы обошло Саню, сыночка единственного, горе-горькое... Молодой он, ему жить да радоваться, а я уж свое отжила, готова и смерть принять...» Утреннее солнышко разгоняло ее страхи. Она встречала Санин взгляд, слышала его голос, подавала ему чистую рубашку — и душа ее успокаивалась, тихая радость снова охватывала ее...

А у Козырева нежданно-негаданно обнаружились математические способности, он с охотой решал головоломные задачи, доказывал теоремы, забегал вперед программы. Курс восьмого и десятого классов он прошел за один год. К тому времени он уже стал бригадиром. Заочный строительный институт, о котором он подумывал с опаской — вытянет ли? — становился реальностью, и не такой уж далекой: получайте аттестат зрелости, Александр Акимыч, и будьте любезны, шагайте на экзамены.

Не надо думать, однако, что у Козырева выросли белоснежные крылышки ангельской конструкции. Парень он был крутой, и кое-кто испытал на своей шкуре его характер. Однажды и разговор был у него с начальством по этому поводу: мол, как же это вы, товарищ Козырев, говорило начальство, из бригады самочинно человека выгоняете? Да еще за шкирку и коленом под зад. Кто вам давал такое право? Лодырь не

лодырь, подлипала не подлипала, как вы говорите,— вопрос другой. На то есть отдел кадров, общественные организации. Вы бы лучше воспитательную работу провели, в крайнем случае, вынесли вопрос на комитет комсомола, а то и на собрание, продраили бы лодыря по-товарищески, хорошенько, с песочком — он бы исправился. Козырев со всем согласился, но лодырь и подлипала все же из бригады был изгнан.

Да, ангельские крылышки у Козырева не выросли, но в институт он поступил, учился исправно, все ему было интересно: высшая математика, механика, сопромат... А на стройке его поднимало, вело само дело — очень скоро его назначили прорабом стройучастка, портрет его висел на Доске передовых людей СМУ. В ту пору как раз наступила эпоха сибирских строек — на восток двинулись геологи, целинники, строители. Назначенный главным инженером будущего строительства крупнейшей сибирской гидростанции видный московский строитель, хорошо знавший Козырева, предложил ему ехать с ним. Давно-давно манили Козырева вольные сибирские просторы, на которых разворачивались невиданные по своим масштабам дела, да все не мог решиться уехать — стройка держала, институт, товарищи, но главное — боялся оставлять мать. А тут дрогнул — уж больно заманчиво расписал главный инженер предстоящую работу на строительстве, размах, возможности, оснащение. Институт? Конечно, жаль было воскресных лекций для заочников-москвичей, но можно обойтись и без них, для того и даны учебники, а на сессию его отпустят.

Нелегко было Козыреву сказать матери о своем решении, но тут же он прибавил, что возьмет ее к себе, как только устроится. Мать приняла новость покорно. Подняв на него глаза, вздохнула: «Поезжай, сынок, если тебе надо...» Предотъездные дни прошли в суете, голова его была забита срочными делами, и все же въедливый червячок точил Козырева: остановись, одумайся, пока не поздно. Случись что с матерью, не простишь себе. Он отмахнулся: жила же мать всю войну одна, а тут три-четыре месяца. Так он и сказал матери: «Три-четыре месяца от силы, ты уж, мама, потерпи, зато приедешь на готовенькое, домик для тебя построим». Мать соглашалась: «Потерплю, сынок, потерплю...»

Козырев уехал с первой партией. Тут-то и хлебнул лиха. Место было дикое, кругом на десятки, сотни ки-

лометров — тайга. Они начали, как говорится, с колышка — валили деревья, корчевали, проводили дороги, рыли котлованы, строили времянки. Их заедал гнус, одолевали постоянные нехватки — продовольствия, материалов, техники; но народ подобрался крепкий, бывалый, неунывающий. Нечто сильнее гнуса и нехваток держало здесь самых разных ребят, съехавшихся со всех концов страны строить ГЭС. А дышалось широко. Если подняться на холм, взгляд тонул в просторах: зеленые волны расходились во все стороны, перекатывались через гребни отрогов, падали вниз, снова вздымались, синея ближе к горизонту, и где-то там, у края земли, тонули в бесконечности. Земля представлялась огромной и прекрасной, человек — песчинкой в ее безбрежности, но сердце охватывало, как бы вмещало ее всю.

Да, Сибирь указывала человеку его место, каждого учила по-своему, и за небрежение к урокам наказывала жестоко. Козырев ощутил ее вкус, раз и навсегда сердце его прикипело к ее шири, шуму деревьев, таежным восходам, дымку костров, реву экскаваторов, первым огонькам в окнах... Он быстро приспособился к таежно-строительному быту, сухомятке, к полевым условиям, видно, сказалась фронтовая закваска. Его участок лихорадочными темпами строил жилье — осень была на носу, надвигалась зима, тут уж как ни крути, а надо было успеть. Назначенные матери четыре месяца пролетели, как один день, но приезжать матери было некуда. Так он ей и написал: потерпи, мол, дорогая мама, до весны. А там он сам приедет и заберет ее.

«Очень, очень тебя прошу,— писал Козырев,— побереги себя, здоровье у тебя слабое...— Рука его остановилась, захотелось ему сказать что-то еще, утешить, подбодрить, но таких слов, чтобы выразить, что сейчас лежало на сердце, он никогда не говорил и не писал, и Козырев, помедлив, прибавил:— Ты у меня одна... А насчет денег — не жалей, не откладывай про запас, трать все, что присылаю, чтобы ни в чем тебе не было нужды».

Письмо ушло, но мать так и не успела взять его в руки: три дня спустя после отправки Козырев получил телеграмму, что Евдокия Федоровна скончалась. Через несколько часов езды по ухабистой, раскисшей от дождей дороге он сидел в аэропорту в ожидании самолета на Москву. Небо было затянуто свинцовыми туча-

ми, погода на трассе нелетная, и рейс откладывался на неопределенный срок. Козырев плохо помнил, как прошли эти двое суток: почти не спал, пил, ночью бродил возле аэропорта; дождь загнал его под крышу, боль притупилась, в голове, как в тумане, вертелась одна мысль: не пропустить самолет. Когда наконец разрешили вылет, в воздухе, впервые за эти три дня расслабившись, он уснул — как провалился в черную яму. Если бы погода благоприятствовала, он бы мог еще успеть, но в Омске их самолет задержали еще на сутки, и, когда Козырев прилетел в Москву, все было кончено — Евдокию Федоровну похоронили на Востряковском кладбище, как она и завещала, рядышком с могилой мужа...

Нашлись добрые люди в больнице, где нянечкой она проработала столько лет, отдавшие покойнице последний долг. Из тех же, кого знал Козырев, провожали ее в последний путь соседка да еще одна старушка, знакомая Евдокии Федоровны смолоду. С соседкой Козырев поехал на кладбище, постоял один у свежего холмика, положил цветы... Держался он крепко — ни одной слезинки. А вот когда вернулся домой и вошел в комнату, где все напоминало о матери, спазмы сжали его горло, и Козырев разрыдался. Он долго не мог прийти в себя, как в тумане, подошел к столу, сел, положил голову на руки, тело его сотрясалось, слезы застилали глаза, в голове мутилось; слезы смыли, сгладили нестерпимую остроту боли. И опять он увидел все вещи в комнате и кровать матери, застеленную белым пикейным одеялом, но необычно смятую, и сразу представил себе, как это произошло: мать пришла из больницы, почувствовала себя плохо, присела на кровать — и повалилась набок, лицом в подушку (на ней еще оставалась вмятина). Соседка, открывшая дверь, сказала, что чайник вскипел, сначала подумала — спит, решила не будить, ушла, но ей стало как-то не по себе, да и никогда Федоровна одетая не ложилась. Через некоторое время вошла снова, хотела накрыть и тут...

Козырев отвел глаза, но пустая эта кровать со смятым одеялом и вмятиной на подушке невольно притягивала его взгляд: теперь она была сама безжизненность, сама пустота, которая остается, когда уходит человек.

Когда сумерки наполнили комнату, ему стало совсем невмоготу. Накинув плащ, вышел из дому. Единственным смутным желанием было никого не встретить. Ему

бы хоть сейчас улететь обратно в Сибирь, но оставались дела: нужно было заказать надгробье, поставить на могиле крест — такова была воля матери, которую не однажды она ему высказывала; и еще он должен был собрать на поминки всех, кто провожал ее в последний путь. Он плохо помнил, как снова очутился в комнате, как бросился на свою тахту...

Проснулся Козырев как от толчка, открыл глаза, увидел пустую кровать матери — и опять острая боль сжала сердце. Он поднялся, посмотрел на часы — восемь. Кое-как привел себя в порядок (спал одетый), достал из комода свежую рубашку, галстук и перед тем, как выйти из дома, постучал к Ильинишне, соседке, которая должна была все приготовить для поминок и позвать, кого нужно. «Где же ты ходил?— спросила Ильинишна.— Мы уж с Авдеичем моим забеспокоились.— И, посмотрев на его лицо, проговорила:— Ты уж, Саня, не надо эдак-то...— Тихонько вздохнула:— На все божья воля... Все там будем...»—«Верно,— подумал Козырев,— все там будем». Немудреные эти слова принесли ему облегчение. Так устроена жизнь — не одна мама, наступит и его черед. «Но сейчас-то мы живые,— возразил он себе,— а мамы нет... Нет»,— повторил он.

...И вот он сидит за накрытым столом, занявшим чуть ли не всю комнату (Авдеич еще свой притащил и стулья тоже), и слушает неспешные разговоры о покойнице — народ собрался пожилой, степенный, соблюдающий обычай, все больше старушки, многолетние знакомые матери. Вот уж не предполагал Козырев, что столько людей знали, уважали его мать! А оказалось, у каждого нашлось свое слово, чтобы помянуть ее добром. А он-то думал, никто, кроме него, не замечает ее — где там: живет себе в доме какая-то старушка, и бог с ней. Мало ли старушек в Москве? И эта, как все, ничем не знаменита. Да кому, спрашивается, тепло или холодно от знаменитых? А мать вот, люди говорят, душевный была человек, добрый, бессребреница, последним поделится...

Была у нее своя жизнь, думал Козырев, о которой он и понятия не имел — какие-то люди, с которыми она общалась, о которых помнила, а они помнили о ней. И как же это ее хватало на все! Да, видно, по-другому и не бывает: если уж настоящая доброта, то ее хватает на всех. Он словно заново узнавал свою мать — из все-

го, что говорилось за столом, возникал ее образ, знакомый, близкий и в то же время иной...

Козырев чувствовал: не только горе объединяло его с этими людьми — что-то еще... Он думал, как отблагодарить их? Но разве можно благодарить за то, что люди остаются людьми? Окажись он в таком положении, когда потребуется его помощь, он должен, как они, сделать все необходимое — вот и все. Поминки открыли ему немало такого, о чем прежде он никогда не думал. Козырев как бы получил урок на всю жизнь.

Уроки, уроки! Кабы не наша склонность их не помнить. Да оно и понятно: из головы вон — и меньше забот, легче жить. И все же, давно замечено, ничто не проходит бесследно, что-то остается даже и от уроков, как бы мы ни старались их забыть. С того печального дня прошло много лет, время смыло из памяти поминки, разговоры за столом, но никогда с тех пор Козырев не проходил мимо чужой беды, и частенько друзья выговаривали ему, когда неведомо ради кого он поступал во вред себе. А он, оказывается, иначе не мог...

Дело вело, поднимало Козырева, открывало перед ним дали. Он не замечал, как летели годы — в пути, в грохоте строек, в трудных ночных мыслях, в осенних обложных дождях, превращавших землю в непролазную грязь, в долгих мучительных совещаниях, когда возникала критическая ситуация (сквозь синий плавающий дым — небритые лица, воспаленные глаза, хриплые, сорванные голоса), в спорах, яростных доказательствах своей правоты, постоянных тревогах — и в спешке, спешке, в беспрерывной изматывающей погоне за временем. И лишь в редкие, драгоценные минуты, когда начинало жить построенное, сделанное, а все, кроме этого, оставалось где-то там, за чертой, и радость смывала и тяжелую усталость, и горечь ошибок, и обиды,— лишь тогда время как бы останавливалось: а ведь три года, целых три года прошло! Где они, куда делись? Утекли, как вода, как песок? Но гидростанция стояла, работала, давала энергию, зажигала огни на сотни километров вокруг — выходит, время не исчезало, а как бы накапливалось, материализовывалось, превращалось в плотину, здания, дороги. Дни, недели, месяцы ложились, набегая друг на друга, как бетон, как стальные перекрытия, как кирпичи, из которых вырастали

могучие сооружения. Ради этих считанных минут стоило жить, безоглядно тратить себя, рваться, рисковать, иной жизни душа Козырева не приняла бы.

А бывало, густо шла черная полоса: стройку лихорадило, и, как всегда, наваливалось все сразу — нехватки, аварии, болезни... Однажды, в один из таких трудных моментов Козырева со всей необходимой документацией вызвали в Москву, заранее сообщив, что речь пойдет о максимальном сжатии сроков завершения строительства. В необходимости быстрейшего ввода гидростанции в действие Козырева убеждать не приходилось: вторая очередь строящегося металлургического завода, рассчитанного на энергию козыревской ГЭС, сдавалась на полгода раньше намеченного срока, следовательно, энергия ему потребуется также на полгода раньше,— тут уж хочешь не хочешь, а построить ГЭС к этому времени было необходимо, не простаивать же заводу. Козырев хорошо представлял, что это значило для строителей. Мрачный, насупившийся, сидел Козырев в депутатской комнате иркутского аэропорта в ожидании самолета.

За окном крупными хлопьями густо падал снег. Козырев смотрел, как аэродромное поле покрывалось густым белым слоем. Ветер усиливался с каждой минутой. Вскоре в воздухе стало мутно от беснующейся снежной круговерти — в двух шагах ничего не увидишь. О вылете нечего было и думать. Что делать? Козырев устал от одних и тех же мыслей о предстоящих в Москве встречах и разговорах. Чтобы как-то развеяться, он решил потолкаться среди людей в залах ожидания. Народу в аэропорту скопилось много: ему и впрямь пришлось потолкаться, чтобы протиснуться к выходу. Постояв немного, Козырев двинулся по залу, купил «Огонек», собрался было отправиться назад — и тут почувствовал на себе чей-то взгляд. Он оглянулся — на ближних скамейках сидели люди, но вроде никто на него не смотрел. Козырев сделал несколько шагов. Ощущение, что кто-то настойчиво следует за ним взглядом, не проходило. Нервы, подумал Козырев, так дальше пойдет — не то еще померещится. И все же он не мог уйти, что-то говорило ему: нет, неспроста это, кому-то он очень нужен. Для вида Козырев прошел еще немного вперед и, держась ближе к скамейкам, повернул обратно: теперь, если чутье не обманывает его, он обнаружит этого человека.

Люди на скамейках дремали, разговаривали, жевали, шуршали газетами, перелистывали журналы — взгляд Козырева медленно скользил по их лицам и вдруг, как острие, наткнулся на глаза, пристально смотревшие на него. Сначала одни глаза, притягивающие, странно знакомые, горячо блестевшие в тускло-матовом свете, разлитом в зале. А в следующее мгновение Козырев различил бледное лицо — и сердце его оборвалось: она, Зойка! Так и отозвалось в нем ее имя — Зойка!— как мысленно и в разговорах называл он ее в те далекие довоенные времена. Козырев медленно пошел к ней, уверенный, что она, и в то же время боясь, не померещилось ли, но Зоя сама поднялась навстречу, и Козырев заторопился и не заметил, как лицо ее оказалось совсем близко от него, и он неловко поцеловал ее и ощутил быстрый, как бы скользящий ответный поцелуй. Потом она отодвинулась и, прямо глядя ему в глаза, улыбнулась: «Саня, а я тебя сразу узнала — ты все такой же...» Козырев вскинул голову: «Что ты! Я уж старый стал — сколько воды утекло!» Она вздохнула: «Да... Много, много воды утекло... У меня вот сынишка вырос, Кирюша...»— и рука ее мягко легла на плечо парнишки лет десяти, сидевшего на скамейке, с любопытством, исподлобья глядевшего на Козырева. «Похож,— сказал Козырев,— весь в тебя»,— в горле у него стало сухо, и он плохо соображал, что говорит.

Голубоглазый, крутолобый, вихрастый парнишка придвинулся к матери. Козырев только сейчас рассмотрел его: он был другой, не Зойкиной, породы, видимо, в отца, лишь какое-то еле уловимое выражение лица отдаленно напоминало мать. «Ну, как ты, как живешь?»— спросил Козырев. «Ничего. Живу... Все у меня хорошо,— поспешно добавила она.— Ты лучше про себя скажи: ты-то как? Большим человеком стал?»— «Ну уж... С чего ты взяла?» — «Слыхала. Теперь сама вижу».— «Брось.— Козырев махнул рукой.— Ты в Москву?» — «Да».— «Значит, летим вместе. Совсем в Москву?»— неожиданно спросил он. «Посмотрим...— лицо ее замкнулось.— Да что мы стоим?— быстро проговорила она.— Давай уж сядем».—«Послушай, есть предложение,— сказал Козырев.— Загорать нам тут долго, раз так закрутило. Торопиться некуда, пойдем в ресторан, там и сядем, и поговорим. Заметано?»— полушутливо бросил он гулявшее в то время словечко.

«Ну что ж...— секунду помедлив, ответила Зоя.— Все равно ждать. Можно и в ресторан».—«Вот и прекрасно. Пошли».

Ресторан был заполнен, но все же два места за столиком, где заканчивали свой обед молоденький летчик-лейтенант с девушкой, нашлось. Правда, временно Зое пришлось поместиться с Кирюшей на один стул.

Теперь, когда при электрическом свете мать и сын, сидя рядом, оказались против него, Козырев заметил большее сходство в линии губ, в овале лица. А сама Зоя... От прежней тонкой порывистой девчонки с худыми руками, горячими губами, огромными, зеленоватыми, как зацветающая вода, глазами, тяжелой косой с медным отливом мало что осталось. Перед ним была усталая полнеющая женщина с медленными плавными движениями, как бы уверившаяся в том, что спешить некуда, да и незачем: ничего хорошего впереди ее уже не ждет.

Лицо ее, со складками возле рта, с мелкими морщинками в уголках глаз, казалось погасшим — ярко и небрежно накрашенные губы лишь усиливали это впечатление,— но в глазах, ставших темнее, в самой их глубине, что-то мерцало, как подернутые первым пеплом горящие угольки, вот-вот готовые вспыхнуть. Длинные волосы, по-прежнему прекрасные, густые, как будто еще более рыжие (возможно, подкрашенные), она заколола с боков, сняв платок, и Козырев представил себе, как изменится ее облик, когда она, вскинув голову и подняв руки, знакомым неуловимым движением распустит их, и тяжелые пряди упадут на плечи... Зоя и сейчас манила к себе, но по-другому, опытной, броской привлекательностью.

— Ну что, постарела?— чуть усмехнувшись, спросила она, перехватив его взгляд.

— Нет, нет...— неизвестно отчего смешался Козырев.— Совсем нет. Ты... такая же, как была.

Зоя рассмеялась:

— Спасибо, милый, утешил! Хоть за вранье спасибо.— Вдруг став серьезной, глядя в глаза, сказала:— А мне это сейчас все равно: какая есть — такая есть.

В голосе ее прозвучал вызов, и Козырев полушутливо, как бы принимая его, ответил:

— Мне подходишь. В самый раз.

— Ты — серьезно? — Лицо ее напряглось, но тут же приняло прежнее устало-безразличное выражение.

— Вполне серьезно. Предлагаю руку и сердце.
— Вот как — сразу руку и сердце?
— Да, вот так. Соглашайся! А ну, не глядя!
— Какой прыткий! А про мужа моего забыл?
Козырев тихо сказал:
— Нет у тебя мужа...
Зоя коротко, зло рассмеялась:
— Эх, мужики, мужики! Все вы одинаковые! Нюх у вас, как у собаки. Что плохо лежит, возьмете не побрезгаете, свое не упустите.
Козырев промолчал, и она неожиданно мягко, хотя и с насмешливой ноткой в голосе, проговорила:
— Обиделся? Напрасно. Не хотела. Ты не слушай меня, дуру, нервы сдают. Устала...
Козырев продолжал молчать. Зоя, откинувшись на спинку стула, на мгновение прикрыла глаза:
— Где же ты был раньше, соколик? Я тебя всю войну ждала. Матери писал, а мне ни словечка? Хоть бы раз привет передал. А после войны? Я ждала еще два года: знала — ты жив-здоров, надеялась, хоть весточку пришлешь.
— Глуп был...— Козырев усмехнулся.— И, поверь, другой причины нет. У меня ведь перед тобой вина была — жениться хотел перед армией, а по дурости не женился, не успел. Из-за этого вся душа изнылась. Начну тебе письмецо, а рука не слушается. Ну, заставлю себя, напишу пять слов, а дальше не идет. Перечту — все не так. Видно, как хотелось, не мог я написать. Вот, думал, приеду — тогда уж и скажу все, как в войну только о тебе и были мои мысли. Приехал, а тебя нет: замуж, говорят, вышла и укатила со своим муженьком.
— Больно долго ты собирался, Санечка, вот и лопнуло мое терпение! Обидно мне стало, Саня, горько: за столько лет ни словечка, ни привета. Да я, если хочешь знать, и уехала от этой обиды подальше. Неужто не понял? — Губы ее чуть дрогнули в усмешке.— Да где уж вам! Вы только о себе...
— Это ты верно...— согласился Козырев.— Прости.
— Слышала я и такое. Не раз слыхала. Прощаю. Я добрая — все прощаю, все!— резко отчеканила она и, вдруг спохватившись, еле слышно произнесла:— Да что уж теперь... Что было, то сплыло — недаром поется. Расскажи лучше про себя. Как живешь? Жена есть, дети?

— Нет у меня ни жены, ни детей.— Козырев наклонился вперед, глянул прямо в глаза:— Соглашайся!

Зоя выдержала взгляд, ответила не сразу:

— Значит, не шутишь.— Помолчала, вздохнула:— Поздно, Саня. Поздно, милый. Пусто у меня, все перегорело...

— Ладно. Не отвечай сейчас, раз так. Не торопись. Ты ждала, теперь подожду я,— голос его сорвался на хрип.— Адрес старый, тебе известный. А дома у меня нет — живу на колесах. Захочешь — найдешь. А я буду ждать.

— Что же ты со мной делаешь, Саня? — совсем тихо сказала она.— Зачем? Устала я, не хочу больше.

Тут к их столику подошел официант, которого усиленно жестами призывал летчик. Официант посмотрел в свою книжечку, назвал сумму, и летчик поспешно расплатился, махнув рукой на сдачу, вероятно, немалую, так как у официанта слегка поднялись брови. Девушка летчика встала, вслед за ней — он сам. У выхода из зала она с любопытством оглянулась. Козырев не заметил ее взгляда, машинально наблюдал, как ловко официант убирает со стола. Когда тот, закончив свою работу, остановился в ожидании, Козырев обратился к Зое:

— Выпьем немного?

Она покачала головой.

— Выпьем,— сказал Кирюша.— Хочу лимонад.

— Вот это по-нашему!— обрадовался Козырев. По правде сказать, его смущало молчание мальчика, тесно прижавшегося к матери и недоверчиво поглядывавшего на него. А заигрывать с ним Козырев не хотел, боялся фальши.— А еще что хочешь?— спросил он его.— Давай, брат, не стесняйся.

— Ничего,— ответил Кирюша.— Хочу лимонад.

Заказав обильный обед, коньяк, лимонад, мороженое, Козырев достал сигарету.

— Не возражаешь?— повернулся он к Зое.

— Нет. Сама дымлю. Спасибо, сейчас не хочу.

Козырев щелкнул зажигалкой, жадно затянулся и внезапно почувствовал, как всей тяжестью навалилась на него усталость. Даже плечи заныли. Внутри была холодная пустота. Да неужели у нее ничего не осталось к нему, совсем ничего? И ниточки, чтобы уцепиться? Устала? Перегорело? В конце концов, ему тоже не сладко. Да что говорить, собачья жизнь: ни кола ни

двора. И всегда один. Если и случается кто-то рядом, он все равно ощущает себя одиноким. Он уже и привык к этому, смирился. Знал — будет день, и тоска пройдет: стройка излечит, в ее водовороте забывалось обо всем. Но в глубине души, на самом донышке, жила надежда: он еще Ее встретит. Вот и дождался...

— Что с тобой, Саня?— вдруг с тревогой спросила Зоя.— Неприятности?

— Есть маленько. Перемелется.

— Плохо тебе?— она подалась вперед и коснулась его руки, и в этом жесте он узнал прежнюю Зою, всегда забывавшую о себе, обо всем на свете ради него. Вот сейчас — Козырев это безошибочно почувствовал — Зоя готова была сказать «да», потому что не она нуждалась в нем, а он в ней.

«Пожалела меня, бедненького, сиротку,— язвительно подумал он и убрал свою руку.— Из жалости не надо. Перебьемся уж как-нибудь одни. Перегорело, говоришь? Ладно. Подождем, пока загорится. А нет — так нет. Не помрем». Вслух он сказал:

— Немного подзнабливает. Прохватило где-то...— Для вящей убедительности передернул плечами:— Вот ужо чарку приму, согреюсь.

— А ты, Саня, все такой же,— произнесла Зоя,— характер твой нисколечко не изменился.

— Я на свой характер не жалуюсь.

— То-то и беда, что мы с тобой из одного теста. Ну, это я так, к слову...— Зоя повернулась к Кирюше:— Как, сынок, не соскучился ты тут с нами?

— Соскучился,— ответил он.

В это время официант принес коньяк, лимонад, закуски. Зоя бесшабашно махнула рукой:

— Налей и мне!— Подняла свою рюмку:— За нашу встречу, Саня, а уж как там повернется, загадывать не будем. Желаю тебе счастья.

— А я тебе!

Это была точка, за которой начинался другой разговор — обо всем понемногу и ни о чем. Козыреву удалось все же узнать, что Зоя с Кирюшей возвращается в Москву к матери и что собирается устроиться на работу. Специальности у нее нет, но печатать умеет, приходилось и диспетчером на автобазе. Словом, они с Кирюшей не пропадут. Козырев сказал, что насчет работы он может переговорить в министерстве — подыщут что нужно, но Зоя от услуг его отказалась: она и сама су-

меет устроиться. Все же листок с телефоном и фамилией человека из отдела кадров, к которому следует обратиться, Козырев ей всучил. «Бумажка карман не тянет,— заметил он,— а я как раз в министерство еду, и дело есть в отделе кадров, заодно про тебя скажу.— Он усмехнулся:— В министерстве разговор пойдет повеселее, чем у нас с тобой. И поругаемся мы крепко, и с песочком меня продраят, и ручку на прощание пожмут — все будет».

В Москве он пробыл три дня и три ночи. Не заметил, как и пролетели — за длинным зеленым столом, где собиралась коллегия министерства, в кабинетах, больших и малых, в разговорах, обсуждениях, встречах... Все так и было, как полушутя предсказал он Зое,— и с песочком продраили, и ручку на прощание жали, желая успеха. А увидеться с Зоей не успел. Из Сибири написал ей письмо — ответа не получил. Второе, третье — и опять молчание. Ему бы при первой возможности приехать к ней в Москву, взять ее руки в свои, без всяких слов глянуть в глаза, а он все ждал ответа. Ждал, ждал — и не дождался...

Спустя полгода, летом, будучи в Москве, Козырев позвонил ей. Соседка сообщила: Зоя с сыном и матерью уехала в деревню. Значит, все у нее в порядке, подумал Козырев, отдыхает в деревне, а ему ни словечка, ни полсловечка. Наверно, и не вспоминает, что есть такой на свете. А он, дурак дураком, ждет, надеется. «Хватит. Точка»,— решил Козырев. С тем и уехал...

Решить-то он решил, но что-то на него вдруг накатывало: так и подмывало позвонить, написать. Бывало, и противиться этому не хватало сил — он садился за стол, клал перед собой чистый лист бумаги, но в последний момент, как тогда, на фронте, рука останавливалась: тех слов, которых смутно жаждала его душа, не было, а другие, что лежали рядом, не годились...

Много, ох как много утекло воды с той встречи в иркутском аэропорту, и Козырев больше уж и не вспоминал о ней. Другие события его жизни, другая женщина заслонили ее. И если вдруг, как бы в полусне, пригрезится ему странно молчаливая людская толчея, а за окном над пустынным аэродромным полем сумасшедшая метельная круговерть, разглядеть лицо Зои, сидящей против него, Козыреву не удается. Он хочет всмотреться, а образ Зои отодвигается, тускнеет, пока не пропадает совсем. И ему кажется, что Зоя снова ушла

в его прошлую жизнь, в далекое довоенное московское лето, с шумящей листвой его дерева под окном на Грузинах, с горячими от солнца мостками купальни в Нескучном, где они с Зоей загорали, с нестерпимым блеском воды, с вечерними огнями в парке, с музыкой из репродукторов, несущейся над песчаными дорожками, заполненными смеющимися людьми, с духотой темного кинозала... Зоя рядом всегда — и не разомкнуть им рук. Не разомкнуть никогда. Она ушла в его молодость и теперь останется там навсегда.

В кабинет, неслышно ступая, вошла Лиза, наклонилась, осторожно взяла руку у запястья, чуть нажав пальцами на то место, где врачи щупают пульс. Козырев не пошевелился. Пусть думает, что он задремал. Было бы невыносимо отвечать сейчас на ее вопросы о самочувствии, ловить тревогу в ее глазах — Лизе никогда не удавалось ее скрыть. Да, наверно, из-за этих ее глаз, в которых отражалось все, что у нее на душе, Лиза и стала его женой.

Давно это было. А впрочем, не так давно, по сравнению с довоенными временами, всего-то лет семнадцать назад... Он строил гидростанцию на реке Северной и после авральной ночи во время пика весенних паводков угодил с острым воспалением легких в местную больницу, расположенную в близлежащем поселке. Молодая врачиха, принявшая его, Елизавета Георгиевна Касьянова, тоненькая, затянутая в белоснежный халат, от избытка молодости держалась неприступно, холодно-отчужденно, и лишь в ее красивых серых глазах пряталась растерянность: случай с Козыревым был тяжелый, а проконсультироваться не с кем — на двести километров вокруг она являлась высшим медицинским авторитетом. Из-за туманов, сплошной облачности самолеты не летали, а транспортировке больного в райцентр по непроезжим из-за весенней распутицы дорогам Елизавета Георгиевна решительно воспротивилась, взяв, таким образом, на себя всю ответственность.

Обычно Елизавета Георгиевна долго слушала его, потом садилась рядом, снова брала руку у запястья, нажимая пальцами то место, где следует считать пульс. Проходила минута, две, три, по-видимому, она забывала отнять свою руку, лицо ее было сосредоточенно, гла-

за устремлены как бы в себя — она думала, пыталась уловить изменения в течении болезни, чтобы не упустить критического момента, так, во всяком случае, ему казалось. Рука ее была нежная, невесомая, как серебряная паутинка. Эта паутинка, где-то там, вдалеке, парящая в прозрачной синеве, чудилась ему, когда он впадал в забытье. Очнувшись, Козырев видел ее милое лицо, замкнутое строгостью и заботой, и у него теплело на сердце, и как будто наступало облегчение.

Однажды после такого обморока Козырев попросил ее посидеть с ним еще немного, если, конечно, есть время, ведь он у нее не один. «Зато самый...— Елизавета Георгиевна на мгновение запнулась,— трудный»,— произнесла она удачно подвернувшееся слово. Во взгляде, который она не успела отвести, промелькнула растерянность... Удивительно, но именно с того момента Козырев пошел на поправку. И глаза Елизаветы Георгиевны повеселели: она поверила в его выздоровление. Теперь рука ее не задерживалась — хватало и минуты, чтобы проверить пульс, не внушавший уже опасений. Но как-то Козырев сам удержал эту руку — она вздрогнула, попыталась вырваться, затрепыхалась, как пойманная птица, но у него неожиданно обнаружилась сила. Рука притихла, покорилась, но как бы сжалась. Через некоторое время Елизавета Георгиевна (Лизок, Лизок!— именно так он теперь называл ее мысленно) проговорила: «Пустите, мне надо идти...» В голосе ее послышались слезы, и Козырев предоставил ей свободу. Птичка вспорхнула, но сладостное ощущение от тех мгновений, когда ее рука покорно лежала в его ладони, осталось...

Мысли Козырева теперь были постоянно заняты своей спасительницей. Он с нетерпением ждал ее появления, и сердце его вздрагивало от ее быстрых шагов. А думать о ней, когда она уходила, оставляя неуловимый запах свежести, лекарств и духов, было легко и радостно. Ну а Лизок? Козыреву нетрудно было разрешить свои сомнения: он все читал в ее глазах. Они поженились. Ему было сорок три, ей — двадцать шесть. Козырев ощущал нежность и робость к ее молодости, чистоте, хрупкости, сам себе, по сравнению с ней, он казался толстокожим буйволом. И все же в ту пору он испытал необыкновенный прилив сил — быстрое течение несло его, а попутный ветер дул в спину. И порой легкая свежая волна смывала с него годы — не сорок

три, а двадцать, семнадцать он чувствовал за плечами, когда все впервые, когда от одной мысли, что увидишь, обнимешь ее, перехватывает дыхание...

Поистине у нее была легкая рука — в ту пору успех неизменно сопутствовал во всех его делах. ГЭС на Северной, его первое самостоятельное детище, была завершена досрочно. Козырева наградили орденом Ленина. В Москве ему с молодой женой, готовящейся стать матерью, дали квартиру. Козырев с удовольствием помогал устраиваться своей энергичной хозяйке, в которой проснулся дух самовластной домоуправительницы. Ожидаемое в недалеком будущем появление на свет божий некоего существа придавало этим хлопотам особенно приятный характер. Чтобы не остаться одной в критический момент, Лизок вызвала из Томска свою мать. Она приехала, а Козырев через месяц был назначен начальником огромной стройки, оказавшейся вскоре в центре внимания всей страны. Он отбыл на место, снова в Сибирь, и Лизок, как ей и полагалось, через полтора месяца после этого благополучно родила дочку, названную Евдокией в честь матери Козырева.

Дочка росла, а Лизок расцвела зрелой женской красотой. Она была любящей женой, сконцентрировавшей все силы души на семье, даже собственная профессия отошла на второй план. Елизавета Георгиевна работала через день в районной поликлинике рядышком с домом и была довольна. Давно-давно оставила она свои горделивые мечты о клинике, о научной работе, об известности.

Иногда Козыреву вдруг снова хотелось ощутить легкое прикосновение невесомой руки сероглазого доктора — будто увидеть вдалеке, в тающей хрустальной синеве летящую по воздуху серебряную паутинку. Но мало ли что порой вспомнится да захочется? Время не стоит на месте. Уж и доктор не тот, и рука — не та... А то вдруг в предрассветный час померещится ему метельная муть за окном и настойчивый взгляд до боли родных глаз... Впрочем, все это быстро исчезает — и слава богу! Мало ли какие фантазии иной раз одолевают человека?

Было? Скажи спасибо, что было. Никому не дано возвращать прожитое. Однако природа и время до известной черты не так уж беспощадно жестоки: уходит одно, приходит другое. И с годами у Козырева появи-

лось то глубокое чувство слитности, нераздельности его жизни с Лизой, которое, быть может, не меньше любви. Они стали как бы одним целым: больно одному — отзывается у другого.

— Дай, Лизок, руку,— вдруг проговорил Козырев. Он все еще сидел с закрытыми глазами, и Елизавета Георгиевна, считавшая его пульс, была уверена, что он дремлет. Брови ее удивленно поднялись — давно, давно он не называл ее Лизок...— Ну, дай же, не бойся,— настаивал Козырев.— Нет, не так, а вот так...— он уместил ее руку в своей широкой ладони и тихонько сжал, а рука и не думала вырываться — лежала, не шелохнувшись. Мягкая, теплая, родная рука.

— Что с тобой, Саша?— наклонилась над ним Лиза.

— Ничего. Все в порядке,— он разжал свои пальцы, и птица медленно, без боязни, поднялась с его ладони.

И тут у двери послышался мелодичный перезвон.

— Это ко мне,— сказал Козырев.— Будь любезна, открой. И, очень прошу тебя, не мешай нам: у нас серьезный разговор.

— Заходите,— проговорил Козырев, идя навстречу гостю. Здороваясь, крепко пожал руку и, не торопясь отпускать ее, заглянул Жене в глаза.— Прошу, располагайтесь,— повторил он, указывая на кресло возле низенького столика. Неторопливо пройдясь по комнате, раз и другой, от двери до окна, по-видимому давая время гостю освоиться, Козырев опустился в кресло напротив.

Преодолев минутную растерянность, Женя начал настраиваться на неспешную беседу. Боязнь, что разговор прекратится прежде, чем он выскажет все необходимое, уходила, а вместе с ней и волнение, от которого у него стало сухо во рту, как только он остановился перед дверью козыревской квартиры. Затянувшаяся пауза Женю не тяготила, скорее, наоборот — общее молчание как бы объединяло его с хозяином. Незаметно скользя взглядом по стенам кабинета, уставленным стеллажами с книгами, среди которых выделялось три очень красиво выполненных макета гидростанций, по фотографиям, развешенным там и сям, Женя как бы ненароком посматривал на Козырева. Поразительно, он выглядел именно таким, каким Женя и представлял его

себе. Козырев казался большим, от него исходило ощущение силы, хотя, приглядевшись, легко было заметить, что росту он был чуть выше среднего, худощав, жилист, с седой головой, и ничего богатырского в нем не было. Правда, невольно притягивало взгляд его лицо, потемневшее и как бы прокаленное, с резкими, глубокими морщинами вдоль щек, крупным носом, светлыми пристальными глазами. Чувствовалась в этом лице, как и во всей фигуре, твердость, а то и жесткость, и еще нечто, чему Женя не находил пока определения. Ему вдруг вспомнилось ходячее выражение: в разведку с ним я бы не пошел (или пошел). Он и сам не раз повторял эту фразу, не придавая ей особого значения. Сейчас она неожиданно обрела свой первоначальный смысл. С Козыревым, подумал Женя, я бы в разведку пошел. Наверно, это и было то самое нечто, вызывавшее ощущение, в котором он не мог сразу разобраться.

Время крутит, мнет человека, и если он не поддается, идет своей дорогой, не петляя, не сворачивая, ветры бьют в лицо, да с такой силой, что и устоять трудно,— бьют, хлещут, секут, опаляют жаром и холодом. След, который они оставляют, выходит, не только работа времени — это еще и характер. Годы на свой манер обточили лицо Козырева, провели борозды, заострили углы, как бы стерев с него все лишнее, чтобы обнажить самую суть. Начал он рядовым, а кончил войну командиром батальона, вспомнил Женя, потом, когда строил гидростанции, ему подчинялись тысячи людей. Бывал ли он всегда справедлив? Кто знает... Дело требовало своего: риска, напряжения, твердости. Оно не давало передышки — подгоняло, забирало все силы без остатка. Так что случалось, наверно, всякое — и срывы, и ошибки. Но уж в одном Женя не сомневался: никогда никого Козырев не обманывал. И ему верили. Как не поверить? А вот прощать он не умеет. Провинишься — пощады не жди.

Неизвестно, в какую сторону увлекли бы дальше Женю эти психоаналитические размышления, но неожиданно для себя он наткнулся на внимательный и, как показалось ему, слегка насмешливый взгляд Козырева.

— Извините...— несколько смущенно пробормотал Женя (хотя, собственно, в чем извиняться?),— вот папка Симовского...

Козырев молча взял папку двумя руками, а Женя коротко повторил, при каких обстоятельствах он ее нашел. Пока Женя рассказывал, Козырев бережно перелистывал истонченные от времени страницы с выцветшим машинописным шрифтом, время от времени кивая головой. Прервал Женю он лишь однажды, попросив подробней рассказать об Астаховой, ее письме и о поездке Жени к ней в Академгородок. Тут бы Жене поведать о своем инциденте с Бляхиным, охарактеризовать прохвоста, как он того заслуживает, рассказать, разумеется, о подметном письме в редакцию и, как бы между прочим, о грозящем ему увольнении. Но ничего этого Женя Козыреву не сказал. Правда, такая мысль у него мелькнула, но разговор в эту минуту повернулся в другую сторону: Козырев спросил, не мог бы он прочитать письмо Астаховой, на что Женя ответил: «Конечно, оно у меня как раз с собой» — и протянул Козыреву письмо. Женя помнил, что, пока не поздно, надо бы хоть обмолвиться насчет бляхинской ябеды, момент еще окончательно не упущен, но, с другой стороны, не перебивать же этой гнусной историей письма Валентины Александровны, и он промолчал. А потом в разговоре действительно забыл о своем намерении.

Прочитав письмо Астаховой, Козырев задумчиво произнес:

— Остался бы Яшка живой, быть бы ему академиком!— Помолчав, вздохнул:— Эх, да не в этом дело... Ему бы жить надо, ему!

Знакомая нотка послышалась Жене в этих словах — вот так говорил и отец. Теперь-то он не сомневался: Козырев сделает все, что в его силах. Как бы ни раскидывала жизнь фронтовиков, товарищей они помнили и память эту берегли. Крепко обожгла их война, и что-то очень важное вынесли они из нее — видно, с той поры всему в жизни — и удачам и поражениям — цена у них была своя, особая. Но теперь, передав Козыреву папку Симовского, Женя неожиданно ощутил и свою причастность к ним. Чувство это придало ему уверенности, а тут еще Козырев, словно угадав его мысли, сказал:

— Вижу, Евгений...— Он как бы запнулся, но Женя отчества не подсказал, и Козырев продолжал:— Ты человек с характером, знаешь, чего хочешь.

— Кабы знать...— вздохнул Женя.

— Знаешь,— подтвердил Козырев.— Благодарить тебя ни к чему. Дело это общее, а все же скажу — молодец!

Ну, вот и дождался, подумал Женя. Да нет, похвалы он не ждал, но как важно было для него сейчас услышать это слово именно от Козырева! Круг замкнулся — он, Козырев, Симовский.

— Жизнь, она по головке не гладит,— помолчав, проговорил Козырев, словно ощупывая Женю острым своим взглядом,— иной раз так шибанет, еле встанешь, а ты — держись, дело свое делай...— он отвел от Жени глаза, как бы глянув куда-то далеко, через его голову.— Симовский Яков, уж прости, для меня Яшка, говорил, что после десятилетки он и в университет хотел, и в летную школу одновременно. Чудно, правда? Ходил вокруг университета, а спал и видел себя летчиком. Ну конечно, рожден он был, чтобы ученым стать, а в летчики тянул характер. Все хотел себя испытать, на что он способен. Боялся, как бы от времени не отстать. Так он и воевал — сверх всех сил...— Взгляд Козырева будто погас, ушел в себя.— Вспомнился мне сейчас один разговор,— задумчиво произнес он,— вроде бы к слову. Не вспоминался раньше, а сейчас вспомнился...

Женя приготовился слушать, и Козырев медленно, словно выискивая в памяти те прежние слова, начал рассказывать:

— Было это в конце сентября, как раз перед немецким прорывом. Наш полк получил приказ форсированным маршем выйти к линии фронта и занять оборону. Двигались днем и ночью. На привалах падали как подкошенные, не успеешь глаза закрыть, а уж команда строиться. Измучились, ноги не держат, а тут — дожди, холод... Ну, вот... Как-то на привале сидим мы с Яшкой, наворачиваем кашу, и подходит к нам дружок его по университету. Они с Яшкой, бывало, как сойдутся, начнут спорить — водой не разольешь. Садится он рядом, скребет ложкой свой котелок, противно так скребет, и бубнит под нос, дескать, надоело, сил больше нет, провалиться бы, мол, от такой жизни хоть в тартарары... Ну и тому подобное, в том же духе... А потом, когда кашу свою съел, свернул цигарку, задымил и так мечтательно говорит: «Эх, хорошо бы родиться,— говорит,— лет, эдак, через сто.— Вздохнул, усмехнулся.— Ладно,— говорит,— на худой конец можно и через пятьдесят».

Яшка аж поперхнулся. Лицо потемнело, глаза сузились от злости. «Ты,— говорит,— этого не заслуживаешь!» Ну, думаю, влепит он ему. «Да,— повторяет Яшка,— не заслуживаешь! Потому что ты иждивенец, хочешь прийти на готовенькое! А будущее надо делать своими руками, за него надо драться, а не вздыхать о нем, как слезливая гимназистка,— и пошел его чехвостить.— Да, мне было бы стыдно,— рубил он в ярости,— и подло бросить своих современников в беде, а там, в твоем кисейном будущем, скучно. Я хочу жить в своем времени и с теми, с кем мы вместе отстаиваем наше будущее!» Козырев усмехнулся: — Вот как бывает: сколько лет прошло, а я каждое слово его помню... Ну, дружок Яшкин и вякнуть в ответ не посмел. Таким злым, как тогда, Симовского я не видел. Он, знаешь, парень был свойский, любил пошутить, всегда во всем старался видеть хорошее. Первым бросался на помощь, товарищу последнее отдаст. А тут разъярился — не остановишь.

— Это я понимаю,— проговорил Женя.

— И я понял,— кивнул головой Козырев.— Как видишь, на всю жизнь запомнил. Хоть и глуп был изрядно, а понял,— повторил он. Помолчав, сказал:— Ну, хорошо... Рукопись ты хочешь опубликовать в «Вестнике истории»? Попробую узнать, как там и что. Глядишь, и выгорит дело. Тут главный наш с тобой козырь — письмо Астаховой. Как я понимаю, слово ее в этом вопросе много весит. Но... Сейчас я подумал...— Козырев остановился, и сердце у Жени дрогнуло в предчувствии.— Написать бы о самом Симовском: что за человек был, как жил, как воевал, о чем мечтал. Полезное бы дело было для воспитания подрастающего поколения! Я бы и сам, понимаешь, со всей душой, да где уж там, какой из меня писатель, а вот...— тут Козырев вскинул глаза на Женю.

Женя сказал:

— Если бы не вы, я бы сам предложил. Хочу написать — правда, еще не знаю как...— Он помедлил, словно колеблясь, надо ли еще что-то говорить, прибавил:— Сначала я не думал об этом. А потом, когда встретился с Татьяной Алексеевной, получил письмо от Астаховой...

— Ну, вот и хорошо,— обрадовался Козырев, вставая со своего кресла.— У тебя получится, право слово!— он крепко ударил Женю по плечу. Жест был от-

нюдь не министерский, в эту минуту в нем проглянул лихой прораб его молодости, даже глаза задорно блеснули. Подошел к окну, обернулся:— Насчет того, как писать, скажу одно: правду! А я тебе все расскажу. Начнем хоть бы сейчас...

Козырев замолчал, глядя в окно. Пауза затянулась, и Женя сказал:

— Необязательно все по порядку. Что вспомнится, то и говорите...

— Нет, так, с ходу, у нас с тобой ничего не выйдет,— задумчиво произнес Козырев, продолжая смотреть в окно.— Тут приготовиться надо, настроиться...— Он подошел к письменному столу, остановился как бы в нерешительности, потом медленно повернул ключик, торчащий в замочной скважине, открыл дверцу и достал черную кожаную папку с замочком.

Козырев стоял, наклонившись над столом, и Женя не видел его лица, может быть, потому, что не мог оторвать глаз от его рук, бережно открывающих папку. Вот они извлекли из нее потрепанную книжечку карманного размера, подержали на весу,— и тут Козырев поднял голову:

— Его записная книжка. Много стерлось, а кое-что разобрать можно. Возьми, в следующий раз принесешь — тогда и начнем.

Женя встал, чтобы взять эту книжечку, но Козырев не мог с ней расстаться — раскрыл, стал осторожно перелистывать и вдруг остановился и, чуть отодвинув от глаз, прочитал:

«13 октября. Лес. Полянка. Нас почти рота. Интендант третьего ранга. На людей страшно смотреть. Двое суток не ели. Ждем донесений от разведки. Нечем дышать — кругом немцы. Но за ними — свои, жизнь. Не забывать об этом. Силы на исходе. Надо прорываться. Сейчас или никогда».

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Они сидели, лежали на полянке, ждали темноты, не двигались, молчали. На разговор не было сил. Интендант третьего ранга, а может, военврач, по темно-зеленым петлицам не различишь, принявший на себя командование (всего народу набралось около роты), расставив дозорных, вернулся на полянку. Худой, сгорб-

ленный, с впалыми щеками, обросшими седой щетиной, он вообще не производил впечатления военного человека — скорее всего, врач, призванный из запаса. Но был он здесь старшим по званию и потому принял на себя командование, а вернее сказать, ответственность за судьбу этих измученных, теряющих последнюю надежду вырваться людей. Окинув их хмурым взглядом, опустился на землю, прислонившись спиной к дереву, в ожидании разведчиков, посланных в двух направлениях вот уже часа четыре назад. Он терзался в сомнениях, что делать дальше, ждать или снова послать людей, а может, всем уйти с этого места на случай, если разведчиков захватили немцы? Услышав шум приближающихся шагов, он поднялся с земли и увидел выходящих из-за деревьев своих разведчиков, а за ними еще двоих — незнакомых командиров. Один из них оказался батальонным комиссаром, а второй — лейтенантом, оба, как и все, худые, небритые, с ввалившимися глазами, в грязных шинелях.

Старший разведки, коренастый сержант с рыжими обвислыми усами на почерневшем лице, окая, доложил, что они прошли по всему кругу — и, куда ни сунься, всюду немцы. Зато километрах в трех отсюда (взгляд в сторону командиров), за полем наткнулись на своих.

Тут выступил вперед батальонный комиссар, высокий, жилистый, со смуглым цыганским лицом и острыми, как буравчики, глазами. Отрекомендовавшись, четко проговорил:

— Послан генерал-майором Казанцевым. Где ваши люди?

— Все тут,— угрюмо ответил интендант третьего ранга, кивнув на поляну.

Батальонный комиссар вышел на середину полянки и неожиданно окрепшим голосом громко произнес:

— Товарищи...

Он подождал, пока повернулись к нему головы, пока кто-то растолкал лежащего рядом, и снова повторил:

— Товарищи! Генерал-майор Казанцев сегодня ночью организует прорыв и выход из окружения. У него имеется несколько кадровых пехотных частей, саперный батальон штаба армии, батарея тяжелой артиллерии,— батальонный комиссар остановился, как бы давая время осмыслить сказанное. Взгляд его черных острых буравчиков пробежал по лицам, кольнув каж-

дого, с кем он встретился глазами.— Если вы присоединяетесь к нам, то мы отведем вас в расположение частей генерала Казанцева,— комиссар стал говорить тише, как бы не с трибуны, а запросто беседуя, но теперь ловили каждое его слово.— Помните, для вас это реальная возможность вырваться из окружения. Вы поможете нам, спасете свою жизнь и снова встанете в строй, чтобы бить фашистов. А если погибнете, то в бою. На то и война.— Он замолчал. Стояла глубокая тишина — тишина до звона в ушах. Переждав эту минуту раздумья, батальонный комиссар бросил жестко, как отрубил: — Решайте. Времени у меня нет.

И сразу загудели, заговорили:

— Ясно, идем!

— А то как же...

— Веди, батальонный комиссар!

— Строиться!— скомандовал хмурый интендант. Голос его прозвучал неожиданно сильно, да и весь он приободрился. Скорым шагом вышли из леса.

Симовский поднял голову. Всмотревшись, увидел раскинувшееся поле, покрытое снегом, и темную разбитую дорогу, по которой они шли, по бокам то здесь, то там — остовы сгоревших, покореженных машин, трупы на снегу, припорошенную черную развороченную землю. Постепенно дорога стала подниматься вверх, и неожиданно они оказались на опушке леса. Их дважды окликнули часовые, они прошли мимо замаскированных грузовиков (в стороне заметили большую брезентовую палатку медпункта и стоящие рядом санитарные машины) и увидели первую линию бойцов, вытянутую по фронту. Бойцы сидели и лежали на земле, негромко переговаривались.

Примерно с километр колонна с батальонным комиссаром впереди шла вдоль этой линии. По всей ее длине через каждые сто — сто пятьдесят метров были расставлены командиры. Ясно, подумал Козырев, прорыв ночью — как без такой цепочки командиров передавать команды и руководить боем? Молодец генерал, сообразил. Повернув вправо, колонна двинулась к переднему краю. Пока шли, Козырев насчитал еще девять таких шеренг, отстоящих друг от друга примерно метров на тридцать. По всему чувствовалось, что здесь царит железный порядок, все продумано и каждый шаг подчинен единому плану.

— Порядок в войсках товарища генерал-майора,— заметил он,— одобряю,— и, толкнув в бок Симовского, добавил:— Прорвемся, Яшка, ей-богу, прорвемся! Тут уж верное дело. С Казанцевым не пропадешь. Я думаю, он наш, московский. У нас во дворе жил один полковник Казанцев. Боевой летчик. У него, знаешь, до войны орден Красного Знамени был. Ребята говорили — за Испанию. Молодой, в кожанке ходил. Как глянет, сразу видно: орел.

— Так то же летчик,— усмехнулся Симовский,— и полковник, а этот — общевойсковой генерал.

— Вот я и говорю, наш-то, наверное, родной брат летчика...

Вот так и творятся легенды, подумал Симовский. Когда очень нужно поверить. А генерал, по всему видно, дело свое знает. И людей выведет. Сашка прав — вырвемся! Если бы хватило одной ночи! А то прорвем первую линию, а за ней — вторая. Как же далеко продвинулись фашистские клинья? И как там Москва? Он опять почувствовал ожог, мысленно произнеся это слово. В этот миг он не вспомнил ни о часах, проведенных в Ленинке на хорах, ни об университетских коридорах и аудиториях, ни о вечеринках с танцами, стихами, спорами, ни о летящем снеге в свете фонарей, ни о шумных первомайских демонстрациях, ни о звонких весенних улицах, нагретых солнцем, ни о родных лицах и счастливых минутах — все это как бы спрессовалось одновременно, сразу, в единый образ: Москва...

Двое связистов тянули с передовой в тыл провод, по-видимому соединяющий КП генерала с батареей. Раздалась команда: «С дороги!»— и они пропустили грузовик, доверху нагруженный деревянными и цинковыми длинными ящиками с боеприпасами. Ну и генерал — сумел сберечь такое богатство! Впрочем, чего удивляться, если в этой мясорубке он сохранил боеспособные части и железную дисциплину, которую чувствовал каждый, кто попадал в их расположение? А ведь его части и фронт держали, и стояли против танков, отступали под бомбежками, прорывались, снова попадали в окружение, вели тяжелейшие бои.

Колонна, в которой шагали Симовский и Козырев, между тем двигалась в глубь леса, все более наполнявшегося людьми. Не было суеты, шума. Сюда уже доносилась перестрелка, которую вели впереди бойцы первой линии. На нее никто не обращал внимания. А ведь

не раз они с Козыревым видели, как одна случайная автоматная очередь срывала с земли десятки людей.

Миновав узенькую полянку, где стояли две сорокапятки и рядом, в окопчике, покуривали бойцы, колонна повернула влево и, пройдя метров двести, остановилась.

— Принимайте, лейтенант, пополнение,— сказал батальонный комиссар выросшему перед ним как из-под земли губастому большеглазому пареньку, живо напомнившему Симовскому младшего лейтенанта Петрова. Шинель у него была грязная и кое-где обожженная, как у всех, но зато туго перетянута ремнем со звездой и с портупеей.

— Есть,— коротко ответил он. Выйдя на середину и повернув к себе лицом колонну, сказал:— Вы находитесь на левом фланге второй линии. Когда займете свое место, приготовить оружие к бою, окопаться на случай огневого налета противника и ждать сигнала. С наступлением темноты после артиллерийской подготовки, по сигналу «красная ракета», пойдем в атаку, на прорыв. Боевая задача: смять, отбросить противника и, не задерживаясь, прорываться вперед. Главное — не допустить обхода нас слева.— Он замолчал, пробежав (точно так же, как Петров) по лицам стоящих перед ним людей испытующим взглядом, затем коротко бросил:— Все ясно? Вопросы?

Козырев с Симовским переглянулись: Ульяшов, Петров — и теперь этот лейтенант. Как будто все начинается сначала, с того момента, когда на их батальон обрушился огонь и поперли танки один за другим, а Ульяшов со своей ротой удержал центр, куда они давили больше всего.

— Есть вопросы?— повторил лейтенант.

— Как насчет патронов?— спросил сержант с рыжеватыми усами, который ходил в разведку.

— Получите по две обоймы на человека.

— А пожрать дадут?— раздалось с другого конца.— Двое суток крошки во рту не было.

— Ноги не держат...

Выдержав паузу, лейтенант ответил:

— Через час-полтора подойдет полевая кухня. Накормим.

Упоминание о полевой кухне произвело наибольшее впечатление и окончательно утвердило авторитет генерала. Все эти дни был сухарь на двоих, а потом и его не

стало, а тут — полевая кухня! Может, и достанется-то по ложке концентрата на брата, а все горячее, да из полевой кухни! Впечатление это выразилось в наступившем молчании.

— Ясно. Вопросов не имеем,— прервал молчание Козырев, которому не терпелось занять свое место.

— Подожди, парень, ты за всех не отвечай,— раздался хрипловатый голос с другого конца шеренги.— Вот я, к примеру, хочу спросить тебя, лейтенант, сам-то товарищ генерал с нами обретается или еще где?

Легкий смешок пробежал по шеренге:

— А где же ему быть?

Лейтенант подождал, пока восстановилась тишина, и суховато, подчеркивая неуместность смешков, проговорил:

— Товарищ генерал находится в центре оперативного построения частей, чтобы руководить прорывом. Еще вопросы есть? Нет? Слушай мою команду! Напра-а-во! За мной ша-а-гом марш!

Колонна грохнула первый шаг, как на строевой...

Пройдя несколько метров, они увидели за деревьями лежащих на земле бойцов — это и была вторая линия, продолжением которой они должны были стать. Первая линия располагалась впереди, за кустарником, а еще дальше шли траншеи, оттуда и велась перестрелка. Выбрав довольно удобную позицию, проходящую по гребню невысокого лесистого холма, поросшего облетевшим кустарником, мокрым от тающего снежка, лейтенант приказал остановиться и, вызвав к себе командиров взводов, пошел с ними показывать места расположения. Через некоторое время вернулся за своими людьми один командир взвода, потом второй, наконец, пришел и Симовский. Построив взвод, он повел его мимо первого и второго взводов, на самый левый фланг. Пока устраивались на новом месте, окапывались, начало смеркаться. Симовский с Козыревым получили на взвод патроны — как было обещано, две обоймы на человека и еще по одной гранате на двоих.

...Они сидели на земле, тихо переговаривались, прислушивались к трескотне винтовочных выстрелов и коротких автоматных очередей впереди, ждали. Холод и сырость пронизывали до костей. Руки можно было согревать дыханием, как зимой. Мокрые, затвердевшие от холода шинели оттягивали плечи. Все тело закоченело, сжалось. Скорей бы уж начинать. А пока хотелось

встать, подвигаться, чтобы хоть немного согреться, но приказ был не трогаться с места.

Постепенно прекратилось всякое движение — все подразделения заняли исходные рубежи. Сгущались сумерки. С наступлением темноты заглохла и перестрелка. Лес окутала тишина — тревожная, чуткая тишина ожидания. Кое-кто начал подремывать, сжавшись под шинелью, другие лежали с открытыми глазами, смотрели в сгустившуюся темноту, вслушивались в посвистывающий в голых ветвях ветер, ждали.

Не спали и Козырев с Симовским. Они хорошо представляли себе, каким кровавым будет ночной бой. Что ж, чему быть, того не миновать, зато они могут вырваться! От этой мысли их вдруг охватывал озноб, и ждать становилось невмоготу: скорей бы уж ракета, скорее бы! Прорыв с генералом Казанцевым, может быть, последняя возможность вырваться. Дальше метаться в сжимающемся кольце немцев не хватало никаких сил...

Уверовав в генерала, Козырев обрел почву под ногами: Красная Армия оставалась Красной Армией, и не могло того быть, чтобы не расколошматить Гитлера. А своя звезда ему пока светила. Авось не подведет и на этот раз... Ежась от промозглого ветра и проклиная все на свете, когда пробирало до самых печенок, он все же не мог бы и подумать об иной, не такой, как у всех, доле на этой войне. А когда от мысли о ночном бое подкатывал к сердцу холод, он вспоминал про свою цыганку, нагадавшую перед самой войной долгое житье-бытье.

Привалившись плечом к Козыреву, глядя в темноту, сидел Симовский. С того момента, когда он почувствовал, что силы возвращаются к нему, ушло и гнетущее чувство надвигающейся беды. Или, может, спряталось поглубже, и он, как после тяжелой болезни, ощутил окружающее заново. Ночные звуки. Черные полосы деревьев в темноте. Черные фигуры на снегу. Глухое, холодное, без звезд небо. Свою тревогу, ненависть, нетерпение и себя самого, готового рвануться вперед. Но стоило ему, устав от ожидания, закрыть глаза, как мутное забытье овладевало им, и он уже как бы видел себя идущим в темноте, но в то же время чувствовал, что это во сне, и мучительным усилием заставлял себя проснуться, и снова возникали перед ним черные полосы деревьев, темные фигуры на снегу, низкое холодное небо...

Тускнел серебристый свет — луна уходила за мглистые облака и скоро пропала совсем. Лес погрузился в темноту. Все притаилось в ожидании. И вдруг загрохотали орудия. Воздух вздрогнул, раскололся. Через головы со свистом полетели снаряды. В первый момент Симовский и Козырев опешили, хотя знали, что атака начнется после артиллерийской подготовки, но уже второй залп вызвал их бурное ликование.

— Давай! Крой их, в бога, в душу, в фашиста мать!— кричал Козырев, не слыша себя.— Давай! Давай!— подхлестывал он каждый новый залп.

Кругом все грохотало. Симовский, приподнявшись, впился глазами в темноту: как только батарея перенесет огонь в глубину расположения фашистов, взовьется красная ракета. Обо всем на свете, обо всех своих тревогах забыл он в эту минуту, напрягшись в ожидании сигнала, чтобы броситься вперед, в темноту, навстречу огню.

Еще один залп — снаряды рвутся дальше, в самой гуще фрицев, и красная ракета, взвившись высоко в небо, осветила кровавым тающим светом лес, поляну и фигуры людей на снегу.

Потом, спустя несколько дней, когда Женя Сухарев немного пришел в себя и попробовал восстановить в памяти весь ход разбирательства, он не мог понять, какая сила заставила его высидеть до конца. Пальцы его снова сжимались в кулаки, сердце начинало бешено колотиться, как только, говоря языком старинных романов, перед его мысленным взором возникал образ седовласого, розовощекого мудреца с наивными голубыми глазами ребенка — вечного, незаменимого ответсекретаря Михаила Петровича, взявшего на себя роль общественного обвинителя. А то, что она, эта роль, тяжела и, безусловно, неблагодарна, было видно по выражению его лица, скорее даже скорбного, нежели гневного, да и слова его, видит бог, давались ему нелегко, но что поделаешь: истина для него дороже всех прочих соображений, долг превыше всего!

Ах как он пылал сдержанным благородным негодованием, как старался не промахнуться, угодить шефу и при этом соблюсти лицо! Случай с Бляхиным — беспрецедентный, вещал Михаил Петрович, красочно, эмоционально изложив суть дела. Он в журналистике

тридцать пять, нет (вздох, легкая полуулыбка: да, да — тридцать пять!), а такого не припомнит. Даже если допустить, что рукоприкладства не было — пусть, пусть не было!— но угрозы-то были, хулиганство в чужой квартире, попытка погрома в кабинете Бляхина была! Уже одного этого более чем достаточно для оргвыводов. А ведь товарищ Сухарев проходит двухмесячный испытательный срок. Что же будет, когда он почувствует себя, так сказать, хозяином положения? Страшно подумать! Но, увы, продолжал вещать ответсекретарь, на этом художества Сухарева не кончаются. Дальнейшая проверка — спасибо Бляхину: письмо его послужило тревожным сигналом — выявила новые факты безответственного отношения товарища Сухарева к своим обязанностям. Взять хотя бы его ответы на письма наших читателей (извлекается письмо, зачитывается абзац. Реплика с места: «Лихо!»). Это же форменное издевательство!— голос Михаила Петровича дрожит от возмущения. Неужели, произносит он с горечью, советскому журналисту, выучившемуся на народные деньги, надо говорить об уважении к трудящимся! Вы послушайте, дорогие товарищи, вы только послушайте, как этот молодой специалист отвечает авторам рукописей, поступающих к нам самотеком. Люди шлют к нам в журнал свои произведения, порой и несовершенные, согласен, но в них содержится бесценный жизненный опыт, их авторы надеются на объективную оценку, добрый совет, а что они получают в ответ от товарища Сухарева? (Цитата. Голос с места: «Ну и что? Справедливо замечено. Расшаркиваться перед графоманами?») Я говорю не о расшаркивании, а об элементарном уважении к трудящимся. Между прочим, именно среди самотека, поступившего в редакцию «Современника», находилась некая рукопись безвестного автора, подписавшегося инициалами, под названием «Детство. Отрочество. Юность». Попадись она товарищу Сухареву на зубок — не знаю, не знаю, что бы с ней стало...

Сухарев сидел отдельно (члены редколлегии за длинным столом), в небольшом отдалении, на диванчике у стены. Он хорошо видел Ожогина (слева от него три стула пустовало, открывая взгляду эту часть стола) и так же отчетливо Михаила Петровича, поместившегося справа от шефа. А вот своего доброжелателя, подававшего язвительные реплики ответсекретарю, Женя

не видел: он сидел в середине стола спиной к нему. Но все-таки он был, существовал. И когда от пассажей Михаила Петровича, так беззастенчиво передергивавшего факты, кровь бросалась в голову Жене, он невольно переводил взгляд с розовощекого лица ответсекретаря на широкую сутуловатую спину этого человека, его откинутую назад седую кудлатую голову, как бы ожидая возражения, саркастической реплики. А если их и не следовало, все равно, думал Женя, он хоть и молчит, но иронически усмехается, и мудрецу подручному Ожогина становится не по себе, недаром он пару раз запнулся. Может, этот человек, лица которого Сухарев так и не увидел, помог ему выдержать все до конца — не взорваться, не послать ответсекретаря вместе с Ожогиным подальше, не хлопнуть дверью? А ведь были минуты, когда, сжав зубы, Женя отчаянным усилием заставлял себя промолчать, оставаться на месте...

Для чего он себя сдерживал? Ведь все стало ясно с самого начала — решение уже было готово, редколлегия проводилась для проформы, ну и, разумеется, ради вящего спокойствия Виктора Палыча, дабы никто не смог усомниться в его объективности. Это Женя понял сразу. Так что же все-таки удерживало его? Надежда, что пузырь дуется, дуется и лопнет на глазах и кто-нибудь да найдется и сумеет опровергнуть демагогию Михаила Петровича? Или просто трусость? А может, давняя, еще в школе усвоенная привычка не рыпаться, когда тебя прорабатывают на собрании?

Раз за разом восстанавливая в памяти всю картину, он прикидывал, в какой момент и что именно он должен был бы сказать и какие слова произнести напоследок — поставить точку и уйти. Дескать, с пламенным, дорогие товарищи, приветом, вы продолжайте, продолжайте, а мне, извините, недосуг. Дела. Концовки приходили в голову разные: презрительные, гневные, иронические — да что толку? Задним умом все мы крепки. Поезд ушел. «Это из-за меня,— задумчиво произнесла Яна, когда однажды вечером Женю прорвало, молчал, молчал, и вдруг прорвало, все выложил.— Ради меня,— продолжала Яна,— ты цеплялся за призрачную надежду: авось пронесет, не уволят! И поэтому все сносил молча. Изменил себе, а теперь мечешься. Это тебе урок. Будь таким, какой есть. А другого мне не надо». Так, так, подумал Женя, умница! Надежда,

правда, была — одумаются, спохватятся, уж больно лихо закрутил ответсекретарь! Да, надежда теплилась — и ведь не напрасно: рекомендация редколлегии об увольнении прошла большинством в один голос. Всего в один! И кто знает, как будут действовать те, что проголосовали против? Выходит, как ни изворачивался ответсекретарь, а полной победы не получилось. И все же не посмотрели, уволили. Видно, Ожогин крепко закусил удила. Эх, если бы не Яна! Уехал бы сейчас, к чертям собачьим, к ребятам в Сибирь — и дело с концом! Так-то оно так... А все же ведь хотел вякнуть, а во рту все онемело, стол этот еще длинный, люди сидят незнакомые, смотрят сквозь очки, Ожогин со стальными челюстями... Так, может, не из-за Яны? Просто струсил? На всякий случай так и запишем. Яна права: урок на будущее.

Тут Женя вспомнил, как после редколлегии он, не разбирая дороги, куда-то шел, было серо, сумрачно, падал крупный снег, тускло горели фонари, он иногда останавливался, прислонялся к стенке, задирал голову, ловил губами снежинки, несколько раз слетала с головы шапка, он ее поднимал и опять шел. В какой-то момент увидел, что стоит у своего дома. У него хватило духу шумно ввалиться в квартиру и с самым беззаботным видом заявить Яне — принимай безработного! Яна, увидев его, переменилась в лице, бросилась снимать с него пальто, подала домашние туфли, усадила в кресло, метнулась к серванту, достала заветную бутылку коньяку, которую они берегли на Новый год, плеснула в стакан: «Выпей, выпей, сразу полегчает»— и что-то еще говорила, какие-то слова, но Женя слышал только ее голос, а больше ему ничего и не надо было. Он прикрыл веки, комната как бы погрузилась в туман, но ему не хватало Яны, и Женя снова открыл глаза и увидел, как Яна взяла с тахты вязанье и молча опустилась на ковер у его ног, как иногда любила делать. Она была спокойна и всем своим видом хотела показать, что ничего особенного не произошло. И Жене действительно стало легче...

Яна сидела на ковре, прислонившись спиной к креслу, касаясь плечом его ног. Женя их подвинул чуть в сторону, освободив ей место, голова Яны была снизу, чуть склоненная к вязанью, и Женя видел ее макушку: маленький-премаленький кусочек кожи в самом центре. Волосы Яны, небрежно подобранные и заколотые с бо-

ков, все норовили выбиться и упасть на плечи. Они были живые — легкие, струящиеся. Женя, не меняя своего положения, мог дотронуться до них, стоило только опустить руку. Но непонятная робость вдруг нашла на него. Все же он пересилил себя и пальцами коснулся золотистой глади. Яна прижалась затылком к его руке. У Жени перехватило дыхание. Почувствовав его волнение, Яна отшвырнула вязанье, забралась к нему на колени, обняла за шею, прильнула долгим поцелуем...

Да, счастлив тот, кого у порога ненастным днем встречает любовь: она и пригреет, и раны залечит, и в горе утешит, и беду поможет перемочь. Прикоснется она к тебе — и сил прибавится, и дух окрепнет, и ты снова готов взглянуть судьбе в глаза. А жизнь поблажек никому не дает, разве что немногим счастливчикам, да и то, вероятно, по недосмотру. Ну а Евгений Сухарев, как мы знаем, к таким счастливчикам не относился, никто ему ковровых дорожек не стлал, и отныне каждый новый день все настойчивее требовал решить, что же делать дальше.

Женя не замечал ни малейшей перемены в настроении Яны. Но иногда в ее глазах он вдруг ловил беспокойство, и что-то обрывалось у него внутри. На исходе была вторая неделя его безработного существования. А он еще ничего не придумал. Податься в грузчики в качестве временной меры? Если всерьез, дело хлопотное, выматывающее — по опыту он знал, ни на что другое его уж не хватит. А он втянулся в работу над очерком о Симовском, постепенно слово за словом расшифровывал его записную книжку... Перейти на подножный журналистский корм? Ничего другого, похоже, пока не оставалось, но тут была небольшая загвоздка. В редакциях было известно, что он окопался в солидном журнале, вроде боссом заделался, чуть ли не целым отделом крутит.

Такая шла молва. А его взяли и уволили, как не справившегося, вышвырнули, как слепого кутенка. Ну и, конечно, это сразу стало известно — журналистский телеграф срабатывает быстрее телетайпа. Выходило, что босс-то был липовый, так, мыльный пузырь, мелкий авантюрист. Попал в такой журнал и не смог удержаться! Многие подумают — неспроста, что-нибудь да за этим кроется... Уж и слух, наверно, ползет, не без того. Женя очень хорошо представлял себе, как ведутся эти разговорчики, с ухмылкой, пожиманием плечами,

многозначительным молчанием. Конечно, кто-то отмахнется, а болтовня все равно растекается, как зараза. И вот теперь, в этот самый момент заявиться в редакцию: мол, выручайте, ребята, не дайте пропасть, подкиньте какую-никакую работенку, я, мол, на все согласный, хоть на информацию в сорок строк? Женю аж в холодный пот бросало от одной этой мысли.

После завтрака Яна убегала в университет, возвращалась к вечеру, и Женя целый день оставался один. Он слонялся по квартире, разглядывал чужие книги и безделушки за стеклом, подходил к окну, долго смотрел на заснеженную Москву, на ее белые крыши, громоздящиеся одна на другую; на плавно изгибающуюся ленту проспекта Мира, по которой без конца ползли игрушечные автомобили, троллейбусы, автобусы; на тротуары, заполненные маленькими людьми, и тут помимо его воли являлась навязчивая идея — бросить все и уехать, уехать к черту на рога на год, крупно заработать, вернуться кум королю... Но Женя (в который раз) сразу отбрасывал эту идею: а Яна? А публикация Симовского, очерк о нем? Уехать — значит убежать, сдаться. Выхода он так и не находил. И апатия овладевала им, Женя ложился на кровать, бездумно смотрел в потолок, курил...

В одну из таких минут, когда Женя находился в этом странном состоянии полудремы и полуяви, раздался телефонный звонок. Женя машинально взял трубку, для этого ему пришлось слегка свеситься вниз, так как телефон стоял на полу возле кровати.

— Ну,— сказал он, откашливаясь,— говорите...

— Не нукай, Женя,— не удержалась мать от замечания (это была она).— Почему ты не звонишь? Что у тебя нового?

— Ничего. Все нормально.

— Вот как?— голос у матери слегка натянулся.— Почему же ты дома?

— Да так, порчу бумагу. Срочное задание.

— Не надо, прошу тебя,— сказала мать.— В журнале мне ответили, что ты там больше не работаешь.

— Да ну!— удивился Женя.

— Может, ты все-таки скажешь, в чем дело?

— Не телефонный разговор. Вечерком заеду, расскажу. Но ты не беспокойся. Ничего страшного. Временные неурядицы. Там у них в редакции, понимаешь,

со штатными единицами какая-то чехарда. Скоро все наладится!

— Хорошо,— тихо произнесла мать,— приезжай пораньше, я сегодня целый день дома. Да, вот еще что. Звонил Жора Караваев из молодежной газеты. Очень ты ему нужен. Он тебя два дня разыскивает. Твой телефон я не рискнула дать без твоего ведома. Позвони ему в редакцию сам.

— Что же ты сразу не сказала!— вскричал Женя. Полусонную одурь его как рукой сняло.— Эх, мама, мама! Да это же сообщение чрезвычайной важности. В последний час. Ну, ладно,— закончил он свою тираду,— бывай, мамочка, и не горюй, все будет о'кей. Вечерком загляну. Целую! — Щелкнул рычажок, и Женя с ходу стал набирать редакционный номер Жоры Караваева, которого он знал еще по университету (вместе играли в волейбол, но Жора был на курс старше), а потом по газете, где Караваев работал уже завотделом информации, когда Женя проходил практику.

Набрав последнюю цифру караваевского редакционного телефона, Женя неожиданно для себя задержал палец на диске. У него вдруг стало сухо во рту. А что, если Жора от имени редактора предложит ему, блудному сыну, вернуться обратно? Но эту мысль Женя тут же отбросил: это было бы слишком хорошо, сразу решение всех проблем — так не бывает. Один раз в жизни ему засветило, оказался в журнале, хотя он и пальцем не шевельнул для этого, и то чем кончилось! Второй раз такая удача не выпадает. Скорее всего, Жора кинет ему спасательный круг, чтобы кое-как продержаться на плаву,— предложит временную непыльную работенку. Что же, и на том спасибо. Выбирать не приходится. Не из чего. Да не в том дело, перебил себя Женя, Жора сам его разыскивает, по собственной инициативе, вот что главное! Значит, еще живем! Живем!— повторил он и отпустил диск. Раздался длинный гудок — и Жора, будто ждал его звонка, снял трубку.

— Привет, старичок, это я!— единым духом выпалил Женя.

— Наконец-то! Где ты шатаешься? Я уж передал знакомым ребятам в МУР твои приметы: молодой, красивый, нахальный, авторитетов не признает, товарищей не помнит. Обещали найти.

— Ладно, ладно, принято, намек понял, исправимся,— ответил Женя,— только вот насчет товарищей ты

зря,— чувство юмора вдруг изменило ему.— Да, зря... Тут не так все просто.

— А кто говорит, что просто?— Жора вздохнул.— Короче, оправдываться будешь потом, на суде, а сейчас дело есть. Через два дня прибывает в Мурманск атомоход «Север», который совершил невероятный по скорости и протяженности высокоширотный рейс через Ледовитый океан. Условия перехода тяжелейшие: на пути торосные поля самой высокой крепости, гигантские айсберги... Только мужество экипажа, высочайшее качество корабля и всей техники, которой он оснащен, сделали возможным невозможное. Научную, народнохозяйственную, политическую важность этого события, полагаю, объяснять не следует.

— Соображаем...

— Завтра вылетай в Мурманск, билет тебе заказан, встретишь корабль — и репортаж в триста строк в номер по телефону. На первый случай. А там посмотрим. Учти, туда приедут корреспонденты всех центральных газет. Есть кому вставить фитиль. Ну как, подходит?

— Заметано.

— В таком разе шагай в редакцию, командировка тебе выписана и подписана, получай деньгу, и с богом, мой мальчик!

— Минут через сорок прибуду.

— Кстати, загляни, не побрезгуй,— произнес Жора с легким нажимом и чуть задержался на этом слове («Так мне и надо,— подумал Женя,— терпи, заслужил»),— поговорим о том о сем...

— Непременно загляну. Почту за долг,— ответил Женя. Чуть замявшись, спросил:— Ну, как там... Треп идет?

— Не без того.

— Ну а все же...

— Разное болтают...— Жоре явно не хотелось поднимать эту тему,— зайдешь, перекинемся.

— Тогда до встречи.

— До встречи,— бросил Жора и повесил трубку.

Это уже что-то, думал Женя, одеваясь. Такой материал для журналиста имеет принципиальное значение. Вроде визитной карточки. А сейчас она мне нужна, как никогда. Болтовня болтовней, пусть себе болтают, а вот вам, пожалуйста, триста строк о важнейшем событии года — победе советской науки и техники. Женя прикинул, кем такой репортаж может быть подписан

в «Правде», «Известиях», «Комсомолке»— компания получилась подходящая. Да, Жора знал, что ему поручить, не зря он его два дня разыскивал...

В прихожей Женя глянул в зеркало — вид был неважнецкий: хмурый, осунувшийся, но в глазах что-то появилось. Ничего. Перемелется. Мы еще свое возьмем.

Сидя над раскрытой книгой, Яна вдруг ловила себя на том, что смысл прочитанного до нее не доходит. Вздохнув, она бралась за ручку, пролистывала несколько страниц назад, находила законспектированное место и от него начинала читать заново. Ей стоило больших усилий сосредоточиться, но хватало ее ненадолго. Опять Яна видела лицо Жени, когда уходила из дому. Подав пальто, он целовал ее на прощание в последние дни так нежно и горько, словно они расстаются надолго. Отпустив ее, Женя стоял в проеме полуоткрытой двери, пока не придет лифт: в утренние часы пик его надо было ловить. Иногда в ожидании проходило несколько томительных минут. Оба молчали — Жене хотелось сказать ей на дорогу что-нибудь веселое, легкое, но в голову ничего такого не приходило, а Яна боялась ненароком задеть его, у них появились темы, которых лучше не касаться. Она чувствовала: этот момент расставания был для Жени непростым — она уходила, а он оставался. Один со своими мыслями. Яна представляла себе, как он ходит по квартире, пытаясь придумать выход из положения. Что-то решительное — полумеры не в его характере. Больше всего, конечно, Женю мучила мысль, что после всех радужных планов, которые они вместе строили, по его вине они оказались у разбитого корыта.

Она не знала, как ему помочь, мысли о Жене врывались в работу, мешали сосредоточиться. Однажды шеф, милейший Арсений Константинович, просматривая ее тетрадь с описаниями опытов, вдруг спросил: «Вы, милая, уж не влюблены ли?» Яна смутилась, потом нашлась: «Да, в моего мужа».—«Ну, тогда это скоро пройдет».— «Надеюсь, что нет»,— с некоторым вызовом ответила Яна. «Я имею в виду вашу рассеянность»,— усмехнулся шеф, возвращая тетрадь. «Простите, Арсений Константинович,— краска залила ей лицо.— Обещаю, возьму себя в руки,— пальцы Яны сжали карандаш,— а последние опыты повторю».—

«Ну, что вы? С кем не бывает?— он неожиданно наклонился, накрыл ее руку своей ладонью, заглянул в глаза:— Что-нибудь случилось?» Яна покачала головой. «Выкладывайте. Я — старый, мне говорить все можно. Ну, что стряслось?»—«Спасибо, Арсений Константинович, но, право же, ничего...»— опустив глаза, тихо ответила Яна. «Таки ничего?»— настойчиво повторил он, не отпуская ее руки. «Нет, нет, ничего...»—«Ну, как знаете...— рука его соскользнула, сам он откинулся в кресле назад.— Ну и хорошо... Но помните, дверь открыта...»— голос его прозвучал холодновато. Старик явно обиделся, а что она могла ему сказать?

Вскоре после этого разговора, когда Яна сидела в лаборатории, рассматривая в своей тетрадке закорючки, поставленные шефом, заглянула Вика, лаборантка с кафедры, мечтающая о филологическом, куда она второй год не могла поступить.

— Вот ты где!— проговорила Вика.— А тебя спрашивают.

— Кто?

— Таинственный незнакомец в черном. Не пугайся — шучу. Всего лишь полная дама из высшего общества. Ждет на кафедре.

Вика скрылась, а Яна, закрыв тетрадь, вышла в коридор и двинулась направо, где находилась кафедра микробиологии. Издалека она увидела со спины знакомую фигуру женщины, стоящей в холле у окна. Подойдя ближе, узнала: Клавдия Ивановна! Яна похолодела — что-то с Андреем? Она остановилась, собираясь с силами, но тут Клавдия Ивановна обернулась.

— Здравствуй, Яна.— Клавдия Ивановна шагнула навстречу.— Да, да, не удивляйся, это я жду тебя...— Она взглянула ей в лицо:— А ты изменилась. Что-то в тебе появилось новое... Ты совсем, совсем другая стала,— повторила Клавдия Ивановна.

Нет, не другая, подумала Яна. Просто вы не понимаете, что я люблю. Люблю! И думаю о нем день и ночь, и всегда буду думать о нем, и ни о чем другом не хочу знать. Да, да, не хочу! У меня свои заботы, нам очень трудно, а вы пришли со своими. «Да знаете ли вы,— мысленно вдруг спросила Яна,— что ваш супруг, ваш Ожогин, сделал с Женей? Неужто не знаете?» Она впервые взглянула в глаза Клавдии Ивановне, как бы требуя ответа, и Клавдия Ивановна тотчас поняла ее вопрос:

— Да, я узнала от Андрея. Это ужасно! Но Виктор Палыч даже не захотел говорить со мной об этом, раскричался, устроил скандал... Что я могла сделать? А вот Андрей — он разорвал с отцом, ушел из дому. Пропадает то на даче, то у кого-то из своих друзей. Иногда звонит, появляется, когда отца нет, жалеет меня... Раньше он хоть был на глазах, я хоть как-то могла помочь, а теперь...

Клавдия Ивановна говорила через силу, словно каждое слово давалось ей с трудом, и такая безысходность была в ее голосе, что Яна устыдилась своих мыслей, которыми она интуитивно хотела защититься от чужой беды. На мгновение Яна отвела глаза, а потом уже совсем по-другому увидела Клавдию Ивановну и поразилась перемене, происшедшей в ней. Как будто с момента их последней встречи прошло не два месяца, а годы. Лицо ее осунулось, появились морщины, которых не было прежде, а глаза, ее темные бархатные глаза с мягким живым блеском, будто погасли, лишь в самой глубине прятался красный уголек страха и боли, неожиданно обжегший Яну.

Помолчав, словно собравшись с силами, Клавдия Ивановна сказала:

— Мне нужно с тобой поговорить. Очень нужно. Я знаю, ты меня поймешь, не осудишь... Я мать, и я не могу равнодушно смотреть, как...— она запнулась. Справившись с собой, произнесла:— Извини. Нервы. Сейчас пройдет...

— Давайте сядем,— предложила Яна,— вот сюда.— Усадив Клавдию Ивановну в кресло возле низенького столика, стоящего в уголке холла, сама села напротив.— Говорите, Клавдия Ивановна, я пойму. Постараюсь понять...

— Спасибо, Яна, я знала, что ты хорошая, добрая, не станешь...— она опять замолчала.

— Принести воды?— спросила Яна.

— Нет, нет, не надо. Уже прошло... Ты ведь знаешь, что произошло с Андреем. Он совсем сломался. Пьет, много раз пропускал работу. Я пыталась бороться, уговорила его взять отпуск, уехать со мной на взморье покататься на лыжах. Он продержался две недели, а потом... Нашлись приятели, и его опять закрутило. Куда-то они уезжали всей компанией. Однажды его не было четыре дня — я голову потеряла, не знала, что делать. Если бы ты знала, до какого состояния Андрей доходил!

Не дай бог увидеть такое! А что я испытала — лютому врагу не пожелаю. Видишь, я превратилась в старуху...— она остановилась.— Я была у врачей: невропатолога, психиатра, нарколога... Говорят разные слова, советуют — да что толку? Андрей и слышать о них не хотел... А теперь вот из дому ушел... Я и живу-то от его звонка до звонка... Каждую минуту жду несчастья...— Клавдия Ивановна прикрыла глаза, голос ее стал совсем тихим, словно она говорила самой себе:— Ночью проснусь — все думаю, ну как, как вырвать Андрея из этой пропасти? Он же погибает, погибает...— Она вдруг наклонилась к Яне:— Яночка, милая, заклинаю, прошу тебя, ради всего святого — помоги! Тебя, тебя одну он послушает. Поговори с ним, убеди, вдохни в него надежду, возьми с него слово, что он бросит пить, вернется домой, одумается! А не захочет возвращаться, пусть живет отдельно, переменит работу. А я, я помогу ему во всем. Может быть, ему надо сменить обстановку, уехать в другой город, на стройку... Я готова и к этому. Ему ведь двадцать шесть лет, всего двадцать шесть! Впереди целая жизнь, и все у него еще будет — и счастье будет, и радости. Втолкуй ему это, Яночка, втолкуй, убеди! Ты одна сумеешь! Еще не все потеряно, его можно спасти... Можно...— Опять спазмы перехватили ее горло, и она замолчала.

Яна сжала руку Клавдии Ивановны:

— Не надо так отчаиваться. Не надо. Все образуется...

Клавдия Ивановна покачала головой:

— Нет, я и сама надеялась — переболеет. А ему все хуже. С ним случилось самое страшное — он потерял веру в себя. У него нет цели в жизни. Он не хочет больше жить. Я боюсь...

— Да я-то чем могу помочь?— вырвалось у Яны.

— Ты сможешь!— воспрянула Клавдия Ивановна.— Сможешь, я уверена! Обещаешь? Поговоришь? Обещаешь, да?

— Но как? Что я скажу ему? Какие найду слова?

— Ну, вот,— вздохнула Клавдия Ивановна,— я была уверена: ты поймешь! Сердце у тебя доброе.— Она откинулась на спинку кресла, закрыла глаза, лицо ее побледнело, под глазами обозначились мешки, видно, немало сил стоил ей этот разговор.

— Вам нехорошо?— испугалась Яна.

— Ничего... Я привыкла. Вот посижу немного и пойду,— она помедлила.— Только ты уж не говори Андрею о нашей встрече. А я ему скажу, что ты сама звонила, спрашивала о нем, хотела встретиться, хорошо?

Яна молча кивнула. При мысли о предстоящем разговоре все внутри у нее сжалось. Наверно, невозможно было придумать испытание тяжелей.

— Я верю тебе. И очень, очень надеюсь.— Клавдия Ивановна поднялась.— Нет, нет, не провожай. Я сама.

Но Яна села вместе с ней в лифт, внизу помогла одеться.

— Спасибо тебе,— проговорила Клавдия Ивановна, прощаясь, она хотела что-то еще прибавить, но махнула рукой и пошла к двери.

Яна прислонилась к колонне, ноги не держали ее. Словно тяжелый камень взвалила на нее Клавдия Ивановна, и камень этот согнул, не давал выпрямиться. Сколько раз она доказывала себе: нет ее вины в том, что происходит с Андреем, нет! Рано или поздно она все равно поняла бы, что не любит его, и они бы расстались — так уж лучше раньше! Все это было верно, абсолютно верно, но стоило Яне подумать об Андрее, как сердце ее сжималось и ныло, будто в нем отдавалась боль Андрея. Мысль о нем приходила неожиданно, казалось, что именно в этот момент он из последних сил подает сигнал бедствия. Первым ее побуждением было броситься на помощь, но тут же Яна останавливала себя: чем она могла ему помочь? И вот теперь этот разговор...

Яна посмотрела на часы: половина третьего. И тут же отметила про себя: сегодня двадцать шестое. Двадцать шестое декабря. Через пять дней — Новый год. Что принесет он им с Женей?

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Красная ракета, взвившись в высокое небо, осветила кровавым тающим светом лес, поляну, фигуры людей на снегу. В то же мгновенье прокатилась по рядам команда:

— В атаку! Вперед!

— Вперед!— крикнул Симовский. Тугой сильный ветер подхватил его и понес.

Земля набегает кусками, пятнами. Белая поляна, черные кусты, в стороне — деревья. Дальше, дальше! Спуск, ноги скользят, снег вперемешку с землей. Вспышка. Красное пятно. Резкий посвист над ухом. Черная яма окопа. Прыжок. Белое лицо немца с выпученными глазами. Симовский дает очередь. Грохот. Черный фонтан над головой. Пальцы левой руки цепляются за край окопа. Едкий дым перехватывает горло, режет глаза. Рука опирается о землю, толчок ногами, он наверху, падает на живот, вскакивает, бежит. Навстречу ливень пуль.

Вдруг нарастающий свист сзади и взрывы впереди. «Свои бьют!— мелькнуло у Симовского.— Наша батарея!» Снова свист, Симовский падает, взрыв.

— Вперед!— прокатывается по всей цепи.

Симовский бежит, чувствуя за собой топот. До опушки леса одна пробежка. Опять свист, Симовский падает, поднимается, бежит, спотыкается о кочку — и вот оно, первое дерево! Прислоняется к стволу, чтобы отдышаться, оглядеться. Где же ребята? Растеклись по лесу? Немцы отошли вглубь, автоматные очереди сыплются не так густо. Но ждать нельзя. Теперь — от дерева к дереву.

— За мной! Вперед!— кричит Симовский.

Он срывается с места. Не потерять бы направления! Бежать надо, надо на выстрелы, но уже нет сил, подкашиваются ноги. Симовский хватает двумя руками ствол: вздохнуть — и дальше. Только вздохнуть. И вдруг нарастающий вой, за ним другой, третий. Разрывы, вой, грохот — на них обрушивается шквальный минометный огонь. Клубы едкого дыма наполняют воздух, свистят осколки, и крики сквозь гул:

— Вперед бегом!

— Не останавливаться!

Симовский бросается вперед. Подряд несколько разрывов сзади — неужели прошли? Еще несколько минут бега — и ясно, полосу минометного огня промахнули. Хватая воздух раскрытым ртом, как рыба, Симовский припадает к дереву, нет больше сил, нет! Но задерживаться нельзя — в промежутках между разрывами мин слышится треск автоматных очередей — бежать надо туда. Симовский заставляет себя оторваться от дерева, бежит, задыхается, переходит на шаг, между деревьями колышутся, струятся тени. Яркая луна серебрит снег. Неожиданно он видит справа от себя не-

сколько человек из своего взвода. Нарастает грохот стрельбы. Небо впереди в розовом зареве. Воздух прочерчивают ракеты. Сплетаются, расходятся, вспыхивают, гаснут разноцветные огоньки трассирующих пуль. Теперь Симовский понимает: из окопов немцев выбили, из леса оттеснили. Глубокое волнение охватывает его: неужто прорвались?

Поле мерцает в розовых и лунных бликах. Темная узкая полоса речки с низким кустарником по берегам прорезает его метрах в трехстах впереди. За речкой опять поле и железнодорожная насыпь. Куда же теперь? Пули свистят со всех сторон, остановка, замешательство. И тут перекатывается по рядам:

— Прекратить стрельбу!

Когда стрельба стихает, тот, кто отдал приказание (конечно, это был генерал Казанцев, значит, он шел со всеми и находился недалеко от него), коротко бросил:

— Вперед, бегом через поле!

Теперь, бросив быстрый взгляд через плечо, Симовский заметил метрах в двадцати возле двух деревьев группу людей — генерал, наверно, был там.

— Вперед, бегом!— прокатывается команда, повторенная командирами на все лады.— Вперед! Через поле!

Мгновенно поле покрылось бегущими фигурами. Справа и слева застрочили пулеметы. Впереди, на другом конце поля, взвился столб пламени, один, второй — немцы подожгли деревья. Кровавые пятна задрожали на снегу. Бешеный огонь косит людей. До речки добежали. У кустарника на берегу бросились в снег.

В ярком зареве пожаров бросалась в глаза железнодорожная насыпь. За ней, совсем близко, начинался лес, и на опушке в нескольких метрах друг от друга, как факелы, пылали три дерева. А дальше, где кончался лес, справа на пригорке горела деревня. Немцы поставили заслон автоматчиков вдоль ручья, а главные их силы сосредоточились, скорее всего, на опушке — еще, значит, осталось перемахнуть через ручей, железнодорожную насыпь и еще открытым полем до леса. Каких-нибудь триста метров, а кто пройдет — родится заново! Вот и я, загадал Симовский, если пройду... Мысль оборвалась: прокатилась команда «Вперед!», уже поднявшая несколько человек. Краем глаза Симовский увидел, как взметнулись вдалеке черные фигуры. Он бросился вперед, с размаха прыгнул в воду. Ручей оказался не-

глубоким — по колено, вода обожгла ноги. Симовский изо всех сил, рассекая воду, бежит вперед. Кажется, медленно! Медленно! Кругом свистят пули, люди падают в воду, но он уже у насыпи, тяжелый топот нескольких человек обгоняет его, ноги скользят по снегу, по всей цепи гремит «ура-а!», он взбирается на насыпь, глаза ослепляет полыхающее зарево пожаров, внизу на розовом, подернутом огнем снегу — бегущие немцы. Останавливаются, отстреливаются, бегут дальше. Бегут!

Нарастает «ура-а!», оно тащит за собой, все сметает на своем пути, его множат, усиливают задние шеренги, за ними следующие — великий клич штурма и победы докатывается до самых отдаленных уголков леса, и люди, бредущие в одиночку, жадно ловят этот звук, означающий жизнь, бегут на него, подхватывают, бросаются с ним в пекло, в огонь, падают, скошенные пулями, осколками, но другие, их товарищи, продолжают рваться вперед — могучее великое «ура-а!» несет их.

Прорыв ширится, набирает силы, вовлекая в свой поток тысячи новых бойцов. Пять, десять, двадцать, а то и тридцать километров, целые сутки подряд, вырываясь из кольца, шли, бежали, падали, снова шли люди, теряя и опять находя то глухое, далекое, то близкое, мощное «ура-а!», дававшее им надежду, силу, указывавшее направление пути, как радиомаяк самолету в безбрежном ночном небе. Сколько людей вывело из окружения это «ура-а!», скольким спасло жизнь!

Добежав до опушки, Симовский почувствовал, что стрельба остается позади. Неужели прорвались? Незаметно для себя он перешел на шаг, инстинктивно держась в цепи идущих бойцов. Стрельба отдалялась. И чем больше они углублялись в лес, на который луна изливала мерцающие серебряные потоки света, тем плотнее глубокая тишина ночного леса окутывала их и тем фантастичнее представлялось все происходящее. А поле я прошел, вдруг подумал Симовский, загадал — и прошел. Значит, мне жить. Ведь кончится же когда-то эта война. Он оглянулся — показалось, все это уже было: черный лес в серебре лунного света, молча идущие люди, страшные, отрешенные. А Саши нет. Мысль о Козыреве возвратила его к реальности: они вырвались, и теперь нужно как можно быстрее оторваться от немцев. Где же искать Сашу? У Симовского болели ноги, каждый шаг давался с трудом, и опять все про-

изошло, как в фантастическом сне: стоило ему подумать, что сил больше нет, раздалась команда: «Привал!» — и он повалился, где стоял...

— Подъем!— прокатывается по лесу.— Подъем!

Симовский силится проснуться, но голова клонится к земле. Кто-то его трясет, в конце концов Симовский открывает глаза. Какое-то мгновение их еще застилает пелена, а когда она рассеивается, Симовский видит лицо склонившегося над ним Козырева. Уж не продолжается ли сон?

— Ну и здоров ты спать,— смеется Козырев.— Тебя будишь, а ты только башкой мотаешь и мычишь, как теленок.— Потом каким-то чужим, съехавшим на хрип голосом, прибавил:— А я уж думал... Ладно. Проехали. Ну, теперь повоюем. Все — выходим к своим! Танки получим, артиллерию, минометов побольше. Тогда с Гитлером по-другому поговорим. Глядишь, и на переформировку в Москву мотнемся. И мать я свою увижу!

— Откуда знаешь, что из окружения вышли? Может, надо прорываться через второй заслон?— спросил Симовский. Он еще и еще раз хотел услышать: вырвались, выходим к своим.

— Да я сам видел, как полковой комиссар поздравлял нашего генерала! Так прямо и сказал — дескать, разрешите, товарищ генерал, поздравить с успешным выводом людей из окружения. И ручку жал, все честь по чести.

Значит, вырвались. И значит, теперь они выйдут к своим и вольются в армию. А может быть, и правда их отправят на переформировку. Не в этом дело. Они вырвались — вот что! И теперь драться будут по-другому — сила на силу.

— Становись!— разнеслась команда, подхваченная многими голосами.

— Взвод, становись!— громко, что есть силы крикнул Симовский. Сейчас он готов был построить хоть полк. Однако, где находится его взвод, он не знал, но все равно кто-нибудь да откликнется! И верно, несколько человек поднялись, встали в строй. Их оказалось десять. Вместе с Козыревым одиннадцать, а с ним — двенадцать. Не взвод, а отделение.

— Осмотрите все поблизости, только быстро!— сказал Симовский своему отделению (это были другие ребята, не из его взвода, ни одного знакомого лица).— Может, кто-то спит, не слышал команды — растолкай-

те!— Он остановился, хотел сказать: «Друзья! Мы вырвались из окружения!»— но посчитал себя не вправе говорить об этом. Впрочем, пауза была мимолетная, ее никто не заметил, но, судя по тому, как быстро, беспрекословно эти незнакомые ему ребята разошлись исполнять приказание, они все понимали и без его слов.

Через несколько минут по лесу прокатилось:

— Шагом марш!

Симовский и Козырев двинулись во главе своего отделения, которое выросло на одного человека, его действительно обнаружили спящим и с трудом разбудили.

Луна слегка побледнела, но светила еще довольно ярко. В нескольких шагах лица были хорошо видны, хотя пятна вспыхивающего на снегу серебра как бы поблекли, покрылись матовым налетом. Ночь перевалила через середину и, чувствуя приближение рассвета, намертво вцепилась в лес, не желая сдавать свои позиции,— наступила самая темная, глухая пора. А люди шли наперекор всем мыслимым и немыслимым законам о пределе человеческих возможностей, шли ускоренным шагом, как бы довершая этим неуклонным движением одержанную победу.

У Ожогина был свой интерес приехать на вечер, который устраивало общество дружбы «СССР — Франция». Помимо того, что он был членом правления Общества, на вечере он предполагал кое-кого увидеть и переговорить по своим делам. К сожалению, из редакции Виктор Палыч выехал на двадцать минут позже, чем намеревался — задержал разговор с автором,— и теперь слегка нервничал: ему бы надо приехать чуть пораньше, а он опаздывал.

Сидя в машине, как всегда позади Ивана Степановича, Ожогин достал пригласительный билет, повертел его в руках и тут только обнаружил, что на обратной стороне обычного штампа «Президиум» не было. Виктор Палыч глазам своим не поверил, еще раз посмотрел на лицевую сторону, не перепутана ли фамилия, но нет — фамилия, написанная от руки после слов «Уважаемый товарищ», была его, билет как билет, а вот искомого штампа на обратной стороне не было. Забыли поставить? Но сколько раз он получал подобные приглашения — и никогда не забывали, а сейчас забыли? Странно. Очень странно.

Механика рассылки билетов была ему известна: существовал список, по которому и ставился штамп. В таких делах самодеятельности не допускалось, ошибки почти исключались — и вот на тебе! А если это намеренно? Если его просто-напросто вычеркнули из списков? Взяли и вычеркнули. Что тогда? Легкий холодок тоненькой змейкой пробежал по его спине, и Ожогин поспешил прогнать эту мысль: так просто, за здорово живешь, такие вещи не делаются. Должна быть основательная причина, а ее нет. А увольнение Сухарева? Решение редколлегии принято большинством в один голос. Кто знает, что предпринял кто-нибудь из тех, кто проголосовал против? Чушь. Какая тут может быть связь?— возразил себе Ожогин. Ошибка отдела рассылки, вот и все. И волноваться не о чем. Надо только зайти выяснить — и делу конец. Да, да — выяснить, и, если возможно, сегодня же.

Машина остановилась на стоянке перед Домом дружбы, и Виктор Палыч скорым шагом пошел в подъезд. Пока разделся в гардеробе и поднялся по лестнице в зал, было без четверти четыре. Он надеялся, что вечер начнется с запозданием, хотя бы десятиминутным, как иногда случалось, но на этот раз, видимо, началось минута в минуту, и председательствующий уже произносил вступительное слово. Ожогин, как обычно, прошел за сцену и сбоку, со стороны кулис, оглядел залитое светом пространство сцены, на которой в самом центре стоял накрытый зеленым сукном длинный стол президиума. Люди сидели в один ряд, и свободного стула не оказалось. Это обстоятельство, безусловно совершенно случайное, задело Виктора Палыча. Незаметно подсесть было, следовательно, невозможно, а тащить на виду у всех свой стул — смешно. Тем более, тем более что штамп на билете не проставлен...

Не решив, что же делать дальше, и невольно замешкавшись, Ожогин поймал на себе вопросительный взгляд молодого человека в темном, с иголочки, костюме и ослепительно белой рубашке с галстуком, неожиданно возникшего поодаль. Он был явно не из праздношатающихся, и Виктор Палыч, сделав вид, что переглянулся с кем-то из президиума (ставшего вдруг недоступным), повернулся и пошел восвояси — не объяснять же этому молодому человеку с неприятно пристальным, недоверчивым взглядом, что он, Ожогин, видите ли, по привычке поперся в президиум, хотя на этот

раз, вероятно, по ошибке ему забыли проставить на пригласительный билет необходимый штамп.

Автоматически Виктор Палыч прошел в зал с задней стороны и сел сбоку в последнем ряду. Зал был заполнен. Сюда пришли разные люди, по разным линиям связанные с Францией — искусствоведы, переводчики, профсоюзные работники, ученые, музыканты, студенты. На лицах — внимание, живой интерес... Ожогин поймал себя на мысли, что сам он, будучи членом правления Общества, пожаловал сюда не ради Парижа, где он бывал и надеялся побывать еще раз,— другой интерес привел его на вечер, и, по-видимому, напрасно. Он вдруг ощутил себя таким одиноким, что стало знобко. Ничто, ничто не связывало его с людьми, сидящими вокруг, с их наивным энтузиазмом, который Ожогин в глубине души презирал. Затерянный среди других, Виктор Палыч показался себе сейчас таким же маленьким, незаметным, как и его молодые наивные соседи, жаждущие увидеть знаменитость, взять автограф... У Ожогина возникло чувство, словно вся сила, придающая ему значение, оставила его, ушла в песок, как только он сошел с трибуны, с возвышения, и смешался, сравнялся со всеми прочими. Ему стало страшно. Нечто подобное, хотя, конечно, острее, он испытал в тот августовский день в табачном магазине на Арбате, когда оказался в гуще обступившей его раздраженной очереди.

Никогда не забыть ему пережитого тогда унижения и липкого, омерзительного страха! То был урок — предостережение крепко, зубами, всем, чем можно, держаться на возвышении, на которое он так долго и упорно взбирался. Урок запомнился до конца дней, но всего не предусмотришь, будь ты хоть семи пядей во лбу. Штамп «Президиум» на билете — мелочь, пустяк, а не проставили, забыли — и он в толпе, в зале. Разумеется, это не то что тогда в табачном магазине, никто ему не угрожает расправой, а все же он не там, впереди, на освещенной сцене, отделенной от всех прочих как бы незримой полосой отчуждения, а здесь, в духоте и полутьме задних рядов. Что ж, винить некого, кроме себя самого. Вовремя, вовремя следовало бы заметить, что нет штампа на билете, уж тогда, во всяком случае, он не очутился бы в таком дурацком положении!

Самокритика, как известно, вещь полезная, но от нее Ожогину легче не стало. Прескверно было ощущать

свое ничтожество, а тут еще нет-нет, а жалила ядовитая мыслишка, что это, возможно, не случайный недосмотр какой-то девочки из отдела рассылки билетов, а сделано специально, чтобы щелкнуть его по носу, уколоть, а то и того хуже — намеренно снизить, перевести в другой ранг. Там, в президиуме, он заметил Дмитрия Александровича, одного из влиятельнейших членов правления Общества, с которым у них установились приятственные, можно сказать, полудружеские отношения. Поездки по линии Общества в первую очередь зависели от него, и Виктор Палыч как раз хотел провентилировать с ним одну любопытную идею — это и было главным побудительным мотивом его прихода на вечер. Лучшей ситуации, чтобы закинуть удочку, чем та, когда сидишь рядом в президиуме и свободно болтаешь о том о сем, не придумаешь. Не выйдет — пожмешь плечами, отступишь (сказано-то было как бы между прочим), а клюнет — тут же и обговоришь в общих чертах все, что нужно. Идея же Виктора Палыча состояла в конкретной цели одной из поездок в Париж небольшой делегации творческих работников в соответствии с планом культурного обмена. Цель была Ожогиным продумана и обоснована, дело могло закрутиться — и на тебе: он, Ожогин, здесь, а Дмитрий Александрович там. Что же все-таки произошло? Ожогин стал перебирать в памяти события последних недель, но ничего стоящего внимания, кроме дела этого Сухарева, не вспомнилось, да и вообще в голову лезла всякая чепуха. Нет, лучше и не пытаться, все равно сейчас ничего не выйдет.

Взгляд его небрежно скользнул по лицам людей, невольно остановился на парне, чем-то напоминающем Андрея, и тут Ожогина как током ударило — Андрей! В нем, может быть, все дело! Поведение Андрея не могло пройти бесследно (пьянство, грубость с шефом, сомнительные компании), да к тому же наверняка он не знает о многих других художествах Андрея. А чего стоит хотя бы его отказ от загранработы? Безусловно, все это бросает тень и на него, Ожогина, тем более что известно, как он хлопотал о назначении Андрея на работу в Швейцарию — хлопотал, старался и, выходит, проявил гражданскую, моральную незрелость: интересы сына поставил выше государственных. Только так это и можно расценить. И крыть, как говорится, нечем. А уж те, кто свяжет поведение Андрея с его, ожогин-

скими, хлопотами о нем, всегда найдутся. И, между прочим, будут правы. Он бы и сам подумал, прежде чем доверять человеку, ратовавшему за сына, который оказался несостоятельным.

Неужели дело в Андрее? Если так, то это лишь начало — за одним потянется другое, и не видать ему вожделенного редакторского кресла, когда старик, его шеф, решится наконец уйти на покой. Собственно говоря, может рухнуть все здание, возведенное с таким трудом по одному кирпичику.

Холодный пот прошиб Ожогина. Вся сцена в ослепительном сплетении лучей софитов как бы отдалилась, фигуры и лица людей в президиуме смазались, расплылись в ярком пятне света. Ну, ну, спокойнее, сказал он себе, это только предположение. Надо с ясной головой во всем разобраться, проанализировать и уж потом делать выводы. Спокойствие. Выдержка. Все это может оказаться случайным стечением обстоятельств. Скорее всего, так и есть. Если бы отношение к нему изменилось, он бы почувствовал это и по другим линиям. Но во всех остальных сферах оставалось по-прежнему, без изменения. Значит, все-таки случайная ошибка, недосмотр.

Соображение это несколько успокоило Виктора Палыча (хотя на первых порах могла проявиться и несогласованность: там одни каналы, здесь другие), тем не менее мятная пустота в животе, появившаяся, когда молнией ударила мысль об Андрее, исчезла; сцена приблизилась, стала на свое место, лица и фигуры сидящих за столом людей обрели обычные очертания. Тревожное чувство, однако, оставалось — оно как бы разлилось по всему телу, всосалось в кровь. Ожогин закрыл глаза. Противная слабость до мелкого дрожания в коленках охватывала его. Какое-то время он сидел, не двигаясь, медленно приходя в себя. Голос кого-то из выступавших доходил, как сквозь вату, слов Ожогин не разбирал.

Ожогин с трудом заставил себя встать и, согнувшись, на цыпочках, пошел к двери. Домой, домой — ни на что другое он не способен. Клава, Андрей. Им его не понять. В их глазах он холодный эгоист. Что ни делай для дома — все мало, все не так. Он — холодный, черствый эгоист, а они — широкие, добрые люди, только расплачиваться за их доброту приходится ему. Старая истина: хочешь чего-то в жизни добиться — освободись

от всех обязательств по отношению к окружающим людям — и самым близким прежде всего. Он всегда стремился следовать этому правилу, да не все поступки зависят от нашего желания. Обстоятельства, бывает, диктуют свое. А к тому же в жизни все так тесно сплетено, перепутано. Мог он не позаботиться об Андрее? Ведь в какой-то степени он делал это и для себя: Андрей — его кровь, часть его жизни... Мысли у Ожогина путались. В этом странном состоянии он спустился в гардеробную, оделся, вышел на улицу. Морозный воздух как бы встряхнул его. Виктор Палыч поежился, огляделся. Мела поземка. В тусклом свете фонарей косо летел снег. Прохожие спешили — никому ни до кого не было дела. Но многих, наверно, кто-то ждет — жена, дети, товарищ, любовница. А его? Кто ждет его? Скверно, мутно, тревожно — и нет утешительных мыслей. Случись что с ним, никто его не пожалеет, никому он не нужен, никому... Нетвердыми шагами он подошел к машине.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Выйдя на улицу через вестибюль главного корпуса университета, Яна инстинктивно закрылась перчаткой: холодный ветер обжег лицо. Немного освоившись, она подняла голову и увидела на стоянке бело-матовый «жигуленок». Он стоял с краю, единственный белый среди красных, желтых, синих, зеленых машин, и Яна решила, что это и есть «жигуленок» Андрея. Наклонившись вперед и загораживаясь рукой от ветра, со свистом бесновавшегося на открытом пространстве, она направилась к стоянке. С трудом преодолев небольшое расстояние — ветер едва не сбивал с ног,— Яна подошла к машине. Передняя дверца была слегка приоткрыта, как всегда, когда Андрей ждал ее.

— Садись,— коротко бросил он.

Яна влезла в машину.

— Привет.

— Привет,— кивнул он,— куда поедем?

— Куда-нибудь. Только не в кабак.

С первого взгляда Яна не заметила в нем особых перемен. Пожалуй, лицо слегка оплыло, как бы смазалось, а глаза Андрей сразу же отвел. Он был, как обычно, в легкой светло-коричневой дубленке и пушистой шапке, которую знакомым движением чуть

сдвинул на затылок, как только машина тронулась с места. Несколько раз повернув, они выехали на шоссе и покатились в общем потоке.

Яна молчала, инстинктивно оттягивая начало разговора. Андрей, машина, дорога — все это было, но в какой-то другой, бесконечно далекой жизни. И как-то странно, что все повторяется снова. А может, наоборот: эта жизнь не кончалась, а то, что с ней происходило последнее время, всего лишь мечта? Сон, приснившийся в дороге? И стоит ей очнуться, как все исчезнет? И Женя исчезнет? Мысль эта обожгла Яну. Она открыла глаза, и все сразу стало на свои места. Мгновенный ожог, вернувший ее к действительности, как бы показал высоту ее теперешней жизни: нет, не сон, не грезы, а явь! Женя существует, и это и есть ее жизнь, и она счастлива. Как же она может не сделать всего, что в ее силах, чтобы поддержать Андрея?

Машина уже въезжала на Минское шоссе. Куда же они едут? Да не все ли равно? Женя, наверно, уже встречает свой атомоход. Надо быть дома пораньше — может быть, он раньше освободится и позвонит? А разговор с Андреем надо начинать прямо сейчас — чего же тянуть. Все равно от него никуда не уйти.

Повернувшись к Андрею, Яна спросила:

— Ну, что ты делаешь, как живешь? (Больно, больно, что ни спроси, больно!)

Андрей искоса взглянул на нее:

— Отвечать коротко и ясно? — Губы его слегка скривились.— Или тебя интересуют подробности?

Яна промолчала.

— Значит, без подробностей? Отвечаю — живу плохо. Ничего не делаю.

— Зачем ты так...

— А как ты хотела? Чтобы я сказал — хорошо? Чтобы уж ничто, совсем ничто не мешало бы тебе наслаждаться твоей любовью? Может, для этого ты и вызвала меня? Если так, то пожалуйста: хорошо. Очень хорошо. Прекрасно. Замечательно! Теперь ты довольна?

— Пожалуйста, оставь этот тон.

— Ах, тебе не нравится тон? А слова? Не правда ли, они слишком грубы? Может, перейдем на французский?

— Останови машину.

Андрей замолчал и прибавил газ, чтобы проскочить светофор.

— Я просила остановить машину,— повторила Яна.

— Извини,— глухо проговорил Андрей.— Я не совсем в форме... Давай, если хочешь, поговорим серьезно.— Он вдруг впервые с надеждой посмотрел на нее.— Послушай, может, тебе нужна моя помощь? Ты знаешь, все, что в моих силах...— голос его дрогнул.

— Спасибо, Андрей... Нет, я хотела поговорить о другом... Это нелегкий для меня и важный разговор, поверь...

Андрей молчал. Последних слов он даже не расслышал. Идиот! И он мог хоть на секунду подумать, что может быть нужен ей? Куда там! К нему будут снисходить из жалости. А он должен быть благодарен и за это. «Провалились бы вы все!— подумал он.— К черту, к дьяволу, куда хотите, только оставьте меня в покое с вашей благотворительностью!» Припорошенное снежком шоссе стремительно неслось навстречу. Теперь он ждал, что скажет Яна, с любопытством, с раздражением. Наверно, придумала выход из положения. Простой и гениальный. Когда всем троим будет хорошо. Скажем, он, Андрей, становится другом их любящей пары, Яны и этого типа Сухарева. Вместе будут кататься на лыжах, ходить в театр, разговаривать, общаться. А потом Андрей уходит, и они остаются вдвоем... Чем не выход? И волки сыты, и овцы целы. Только овца — он! Славно придумала, молодец! Андрей сжал руль до боли в пальцах, будто Яна и впрямь изложила ему этот план. Но она, видно забыв, что начала разговор, неотрывно смотрела вперед на дорогу. Ее молчание стало нервировать Андрея:

— Ты, кажется, хотела что-то сказать?

— Как-то не получается... Не знаю, как начать...— Голос ее звучал неуверенно, она как бы сама обращалась к Андрею за поддержкой.— Давай, правда, заедем куда-нибудь?

Ее неуверенность смягчила Андрея.

— Рядом Лыжнево. Дача пустая. Отопление работает.

— Что же, ты с самого начала решил везти меня на свою дачу? (Как она сразу не подумала — дорога известна.)

— А мне больше некуда ехать. Мой дом теперь там.

Яна вздохнула. Не хотелось — ох, не хотелось!— ехать ей на ожогинскую дачу. Тем временем машина уже повернула налево и поехала по асфальтированной дороге, ведущей прямо к даче.

— Входи,— сказал Андрей, открыв двумя ключами наружную дверь. Отшвырнув ногой пустую бутылку, он прошел через застекленную террасу и, щелкнув замком, толкнул вторую дверь.

Идя за ним, Яна оказалась в просторной комнате, застланной толстым ковром. В полумраке темнели очертания мебели. Низкая тахта у правой стены, в глубине, в самом центре на просторном возвышении (две ступени вверх) — длинный стол, резные стулья с высокими спинками, в левой стороне камин, возле него — два кресла. В полосках света, косо падавшего вниз через узкие щели задернутых штор, тусклым золотом отливал ковер. Раздевшись, Яна опустилась в кресло, мягкое и податливое, как пух, оно словно только и ждало, чтобы в нем утонули и забыли все свои заботы. Взгляд ее скользнул по каминной полке, на которой стояли два бронзовых подсвечника с оплывшими свечами. Кончен бал, погасли свечи, вспомнилось ей, Яна вытянулась, положила ноги на каминную решетку, закрыла глаза...

Устала, очень устала. Тишина. Мягкая, обволакивающая. Нет, не зря не любила она эту дачу: есть в ней что-то нехорошее, наверно, оттого, что хозяин такой — никого не любит. Сидеть бы так — и не двигаться. Не раскисать, сказала она себе. Как трудно собраться и начать разговор!

Андрей появился, держа поднос с кофейным прибором. Поставил его на полку, налил кофе, подал чашку Яне, сам с другою в руках сел в кресло, стоящее под углом и почти рядом с креслом Яны.

— Наверно, тебе это покажется странным или смешным.— Яна отпила глоток.— Но позвонила тебе не ради какого-то дела. Просто хотелось узнать, как ты живешь.

— Пожалеть решила?— вскинулся он.

— Нет, не пожалеть. (Нельзя притронуться: все, все болит!) Давай поговорим спокойно, без этого... Ну, пожалуйста, оставь этот тон. Я тебя очень прошу.

— Ты меня просишь,— глухо повторил Андрей,— хорошо... Но если так, я глотну. Для спокойствия. Душа требует.— Он поставил чашку на пол, встал, подошел к шкафчику в виде стенки, достал бутылку, рюмки, стоя у камина, разлил коньяк:— За тебя! За успех твоей миссии!

Поколебавшись, Яна взяла рюмку, может, ей станет легче от глотка коньяка? Андрей выпил одним духом, налил вторую, без остановки опрокинул и ее. В глазах его появился влажный блеск. Коньяк подействовал на Яну благотворно: по жилам прошло тепло, туго натянутая струна, которую она постоянно ощущала, чуть-чуть ослабла.

— Андрей... Мир большой. В нем столько удивительного... А ты уперся в одно. Забудь, что было. Забудь! Начни жить заново. Ты еще будешь счастлив, поверь!

— Ну, что ж, давай выпьем за мое счастье.— Он снова наполнил рюмки.— Что же ты не берешь? Не хочешь выпить за мое счастье?— с нажимом произнес он последнее слово.

— Ты знаешь, я не пью, и тебе, по-моему, хватит.

— Эх ты! Слова какие говоришь: «большой мир», «счастье»... А сама пальцем пошевелить не желаешь? Слышал я все это. Спасибо. Сыт по горло, по самую завязку, во как сыт!— Андрей показал рукой на горло у подбородка.— Хочешь, наперед выдам все твои аргументы?

Яне стало страшно. Она и представить себе не могла, до какого отчаяния дошел Андрей. Мягкий, добрый, легкий Андрей — и так разувериться во всем, так ожесточиться.

— За тебя, Андрей! Чтобы ты нашел себя!— Яна не заметила, как лихорадочно, одним глотком, выпила рюмку, всю целиком. Обожгло рот, в горле запершило, она закашлялась, потом тепло пошло по всему телу, закружилась голова.— Ах, Андрей, Андрей! Ну, скажи, что, что надо сделать, чтобы помочь тебе!— вырвалось у нее.

— Ты спрашиваешь?— после всего выпитого в глазах Андрея появились застывшие белые точки.— Разве не знаешь, без тебя жизни мне нет! Нет — и не надо! И пусть все летит к черту!— Он остановился и вдруг сполз с кресла на колени, прижался головой к ее ногам:— Любимая... Зачем мне жить без тебя? Ты, ты одна моя жизнь! Мое солнце... Не верю, что это ты...— бормотал, как в бреду, Андрей, осыпая поцелуями ее ноги.— Не отталкивай меня! Последний раз... А там — пусть конец. Не страшно. Лишь бы ты... Мое солнце...

Силы вдруг оставили Яну. Она застыла, смутно ощущая, как все внутри холодеет. Густой влажный ту-

ман окутал ее. Оттуда, из тумана, протянулись к ней жадные мятущиеся руки. Ледяной страх парализовал Яну — как в кошмарном сне. Собрав всю волю, она рванулась, но горячие, безжалостные руки еще крепче стиснули ее тело, над собой, совсем близко, Яна увидела искаженное желанием неудержимое лицо Андрея и с ужасом поняла: это не сон! Задохнувшись криком, она с такой силой оттолкнула Андрея, что он полетел куда-то, но, падая, потащил ее за собой. Они оказались на ковре. Завязалась отчаянная борьба. Андрей словно обезумел — с беспощадной, не знающей удержу жестокостью он гнул и ломал Яну. Она не чувствовала боли, напрягая последние силы. Но их уже не осталось. Совсем не осталось. Слабея, она шептала: «Умоляю... Не надо... Пощади... Умоляю... Лучше убей...» Но Андрей не слышал ее шепота, ее мольбы, не видел слез, заливавших ее лицо,— он ничего не видел и не слышал — ярость, желание, отчаяние ослепили, оглушили его. И опять в какой-то миг Яна почувствовала, будто вся кровь разом вытекла из нее — тело стало чужим, холодным, безжизненным. Вязкий влажный туман сомкнулся над ней. Смутно ощутила она жаркое дыхание, лихорадочные прикосновения жестких, ненасытных рук, но теперь она воспринимала их метания как бы со стороны. «Вот вы какие... Вот вы как...— шевелилась темная мысль где-то в глубине сознания.— Теперь все равно... Убивайте...» Она словно окаменела и могла лишь прислушиваться откуда-то издалека к этим рукам: «Не боюсь вас... Вы и не знаете — это не я... Меня вы уже убили...» И вдруг руки ослабли и остановились: «Поняли, что я обманула их, что меня здесь нет?» Она вздохнула свободнее и стала валиться куда-то вниз, во тьму...

...Очнувшись, Яна долго не могла понять, что с ней и где она. Все тело ныло, каждое движение вызывало боль. Темнота. Тяжелая глухая тишина. «Наверно, ночь, и я больна,— мелькнула мысль,— но где я нахожусь? Или это бред?» Потом она различила два серых пятна и поняла: окна. Глаза ее медленно осваивались с темнотой, и постепенно черные пятна предметов стали принимать знакомые очертания. Чувство непоправимой катастрофы, происшедшей с ней, вдруг охватило ее. Яна с усилием приподнялась на локте и увидела рядом

с собой лежащего человека. Она вскрикнула, зажав рот рукой, и сразу все вспомнила. Со стоном она упала на ковер лицом вниз. Дыхание прервалось, нестерпимая боль от головы до пяток молнией пронизала ее. «Это смерть? И хорошо. Больше ничего не будет. Ничего». Но уже в следующее мгновение боль отпустила ее.

Скорей, скорей отсюда! Яна начала лихорадочно одеваться, даже боль перестала чувствовать. У двери схватила шубу, дрожащей рукой нащупала замок, нажала защелку и оказалась на террасе. Снова замок — и она на улице.

Мороз обжег ее. Яна надела шубу и побежала — скорей, скорей! Темень захлестнула ее, ветер со свистом ударил в лицо, но она продолжала бежать, пока не задохнулась. Впереди засветились огоньки — они были на другой стороне поля, которое ей предстояло перейти. Немного отдышавшись, Яна двинулась снова. Вскоре огоньки пропали: не заблудилась ли? Но под ногами белела утоптанная дорога, а кругом возвышались сугробы снега. Здесь, в поле, с воем закручивался вокруг нее ветер с такой силой, что трудно было идти. Она почувствовала, что немеет лицо, стала оттирать его руками. От боли выступили слезы. Кругом была беспредельная тьма.

Яна знала эту дорогу на станцию — путь всегда казался ей недолгим, легким, а теперь не было ему конца. Наверно, все-таки она заблудилась. Ну и пусть. А может, это и есть выход — замерзнуть в поле? Ее как током ударило: «Ты хотела умереть, ну вот...» Только бы сразу — чтобы ни о чем не думать. Яна остановилась. Глубокая апатия овладела ею. Лечь бы сейчас в снег — и не шевелиться, и уснуть, и увидеть сон. Ну да, сон. Так это и начинается, подумалось ей. Ее так и тянуло опуститься вниз, на снег, ноги сами подгибались, но ветер, который трепал, бил, с воем носился вокруг, не давал покоя, заставляя защищаться, двигаться. А снег казался таким холодным, колючим — весь из ледяных иголок. «Страшно только в первую секунду,— сказала она себе,— страшно лечь, а потом я уже ничего не почувствую и увижу сон... И меня здесь, на дороге, найдут утром? Нет, не меня — труп... А мама?— вдруг пронзило Яну.— Как же она? Ведь это убьет ее. Я ее убью! Нет, нет!» Ужас погнал Яну вперед — она побежала, не видя дороги, чувствуя лишь под ногами твердый снег. Сердце стучало молотом, готовое разорваться, но Яна

продолжала бежать, жадно глотая холодный колючий воздух. Совершенно обессилев, остановилась. Ноги не держали ее, перед глазами плыли зеленые круги. Придя в себя, подняла голову и увидела огни, совсем близко: поле она перешла. Теперь Яна вспомнила, что дорога идет вниз, а потом поднимается снова вверх, поэтому на середине пути и пропали огни. До станции оставалось не более полукилометра — мимо поселка, потом через мостик направо.

В небе, в просвете между плотными серыми тучами, появился бледный серп луны. Ее слабые рассеянные блики упали на поле, на дорогу. Где-то близко залаяла собака. Там были люди, свет, тепло. Только сейчас, когда прошла горячка бега, Яна ощутила холод, пронизавший ее до костей. Она пошла вперед, все ускоряя шаг...

На платформе было пусто. Лишь один человек, подняв воротник, дремал на скамье в углу станционного строения, где находилась касса и висело расписание поездов. Подойдя к окошечку, Яна обнаружила, что сумки, где лежали деньги, у нее нет — то ли оставила на даче, то ли потеряла на дороге. Неважно, и так доеду, подумала Яна. О сумке она не пожалела и, сразу забыв о потере, вышла на платформу. Взглянула на круглые станционные часы: одиннадцать. Отметила механически, ей было все равно. Единственный фонарь, висящий на столбе за платформой, бросал полосу тусклого света. Яна снова зашла под крышу строения — здесь не было ветра, села на скамью в дальний угол от человека, спрятавшего лицо в воротник, закрыла глаза. Она бы задремала — такую почувствовала слабость,— но холод донимал ее. И все же Яна стала как бы проваливаться, в то же время с ужасом ощущая, как что-то черное, скрежещущее неотвратно надвигается на нее — ближе, ближе...

Яна вскрикнула и открыла глаза: мимо, грохоча, поблескивая освещенными окнами, проносился поезд дальнего следования. Эх, уехать бы вот так — далеко, неважно куда, только очень далеко, чтобы ехать и ехать и обо всем забыть! Нет, такого не забыть, возразила она себе. А как же тогда жить? Как жить? Вопрос этот только сейчас встал перед ней со всей своей страшной безысходностью. «А мама?— инстинктивно уцепилась Яна за это слово.— Как же мама без меня? А мне?— опять больно, по живому сверлил, проникая вглубь до

самого сердца, этот вопрос.— Мне-то как?» Она услышала шум приближающейся электрички и заставила себя подняться. Поезд с горящим глазом, вырывающийся из тьмы, притягивал ее к себе. Яна подошла к краю платформы — там, внизу, был черный провал. Нарастающий грохот, тяжкое железное дыхание чудовища с бешеным ослепительно ярким глазом завораживали ее. Ужас парализовал ее волю. Она почувствовала, как сладко, таинственно и страшно манит этот черный провал, подалась вперед — и вдруг длинный резкий гудок. Яна невольно отшатнулась. Поезд сбавил ход, заскрипели тормоза. Мимо проплыли вагоны. Состав дернулся, остановился. С шумом открылись двери. Яна вошла в полуосвещенный пустой вагон, села, прислонилась плечом к стенке. Сердце колотилось. Если бы не гудок, заставивший ее отпрянуть... Сколько раз за сегодняшний вечер была она на самом краю, но что-то в последний момент не давало ей упасть. Или она сама инстинктивно цеплялась за жизнь?

В вагоне было тепло, слегка покачивало, равномерный стук колес навевал дремоту. Голова ее клонилась, но стоило ей забыться, как она видела надвигающуюся темную массу с ослепительно горящим глазом — и, вскрикнув, озиралась вокруг. И опять белела дорога, вся из ледяных иголок, и она шла и шла по ней и знала — никогда не придет. Ей мучительно хотелось остановиться, но какая-то сила толкала ее вперед. Нет, шептали ее губы, нет, не хочу, лучше бы я умерла. Приоткрывая веки, Яна смутно различала входящих людей. Потом они куда-то пропадали, как бы проваливались. Неожиданно она услышала голоса: «Гляди, чувиха совсем дошла».— «Оклемается». Яна вздрогнула, подняла голову. Электричка стояла. «Приехали, красавица, Москва»,— сказал проходящий по вагону кондуктор. Яна поднялась, ноги ватные, подкашивались, внутри все дрожало, но она заставила себя выйти на платформу. Не заметила, как оказалась в метро. У турникета вспомнила, что потеряла сумку, подошла к контролеру: «Пропустите, пожалуйста, забыла сумку». Пожилая женщина недоверчиво взглянула на нее. Помедлив, бросила строго: «Ладно, иди. Смотри в другой раз». Глядя вслед, покачала головой.

У своего дома на проспекте Мира Яна остановилась. А вдруг Женя приехал? От одного предположения кровь бросилась ей в лицо. Яна прислонилась к стене.

Нет, не может быть, он ясно сказал — завтра утром. Сегодня вечером у них встреча на корабле, самолет из Мурманска в Москву вылетает рано утром, значит — завтра. Ну а если? Мало ли что бывает? Увидеть сейчас Женю она бы не смогла. И наверно, никогда не сможет. Никогда. Она потеряла Женю навсегда — вот что произошло. Навсегда.

Пошел частый мелкий снег. Несколько снежинок упало Яне на лицо. Машинально стерла их перчаткой, огляделась — стоит у своего подъезда, прислонившись к стене. Что же делать? Поехать в Сокольники? Но никого, никого не в силах она видеть в эту минуту, даже маму! Нет, лучше сюда, только сначала позвонить. Если Женя приехал, он возьмет трубку...

Автомат находился в двух шагах, но у нее не было монетки. Все же Яна подошла: в кабине кто-то говорил. Яна ждала довольно долго. Наконец вышел человек в расстегнутом пальто и сдвинутой на затылок шапке. На лице его блуждала счастливая улыбка.

— Простите, у вас нет монетки?— обратилась к нему Яна.

— Монетки?— повернулся он к ней.— Найдем! Надо ближнему помогать, верно? — Он достал из кармана горсть мелочи.— Как говорится, человек человеку друг, товарищ и брат, правильно я говорю? Бери сколько тебе надо! Да бери еще, не стесняйся!

Яна поблагодарила, взяла две монетки. От счастливого человека слегка попахивало.

Набрав номер, Яна услышала длинные гудки. Один, второй. Третий. Подождав немного, набрала снова — длинные гудки. Никого.

Через несколько минут она уже открывала дверь в квартиру — хорошо, что, уходя, впопыхах сунула ключ в карман, а не в сумку. Сбросив шубу, сняв сапоги, повалилась на постель. Пролежала долго с закрытыми глазами — без движения, без мыслей, как в забытьи...

Очнулась, как от толчка. Горел большой свет. В тишине тикали настенные часы. Взглянула на них: двадцать минут второго. Что же делать? Куда идти? К Наташке? Там Юра... Куда же еще — к маме! Мама всегда примет и словечка не скажет. Рада будет, что живой вернулась.

«Если бы не она,— подумала Яна,— я бы, наверно, замерзла... Бедная мама, так и не дождалась ни

своего счастья, ни моего... А ведь я была счастлива еще вчера, еще сегодня утром! И в одну минуту все разрушено, растоптано, уничтожено пьяными жестокими руками! — Мысль эта снова ввергла ее в безысходное отчаяние.— Зачем, зачем я согласилась с ним встретиться? Будьте вы прокляты — что вы со мной сделали, за что! — Она схватила себя за голову, уткнулась лицом в подушку.— Лучше бы мне умереть тогда, замерзнуть в поле или броситься под поезд — почему, почему я не умерла!»

Отчаяние душило Яну. Острая боль, такая же, как на даче, током прошила ее, и она почувствовала, что ее как бы не стало. Через несколько секунд Яна ощутила себя лежащей на постели — и вокруг все было то же: горел свет, тикали часы. Взрыв отчаяния прошел, но тяжелая тоска охватила ее. Чувства притупились, погасли. Пора собираться, подумала она. Отстраненно, как бы не о себе. Механически встала, вытащила чемодан, открыла шкаф. Увидев свои платья, висевшие на плечиках, закрыла глаза. Что-то подступило к горлу. Подождала, пока прошло. Хотела достать платья — опустились руки. Все же заставила себя уложить вещи в чемодан. Ну вот, теперь она готова. В шесть, когда откроется метро, можно выйти из дома. Самолет из Мурманска прилетает в девять.

А теперь самое трудное — записка. Прощай, Женя, мой дорогой, мой любимый, прощай! Навсегда! Яна подошла к круглому столу, за которым работал Женя. Там лежали исписанные страницы, ручка, справа — стопка бумаги. Яна села за стол, взяла ручку, чистый лист. «Женя, Женя, дорогой мой, любимый — прощай!» Но она не написала этих слов, единственных, которые просились на бумагу. Что-то она должна сказать — нет, не в оправдание. Сказать о своей вине, объяснить. «Женя, Женя!— быстро написала Яна.— Со мной случилось несчастье. Хуже смерти. Но так случилось — и мы должны расстаться. Это моя вина, а тебя я люблю. Очень люблю. Не звони, не ищи меня — все равно я не смогу взглянуть тебе в глаза. Лучше забудь меня совсем. Навсегда». Рука Яны дрогнула: неужели навсегда? С трудом вывела она свой короткий росчерк. Пальцы ее разжались — ручка упала на бумагу, но подняться со стула Яна не смогла: записка отняла последние силы.

Глубокая тишина. Тикают часы. И вдруг — шум

идущего лифта. Яна вздрогнула, все в ней напряглось. Лифт все ближе. Остановился на их лестничной площадке. Хлопнула дверь. Сердце ее заколотилось. Шаги. Пауза. Стукнула входная дверь рядом — вернулся сосед. Нет, бежать отсюда, бежать! Находиться здесь больше невыносимо. Яна взглянула на часы: четверть четвертого. Боже мой, да когда же кончится эта ночь! Она доплелась до кровати, прилегла. И тут зазвонил телефон. Он стоял, как всегда, на полу, у постели — чтобы взять трубку, стоило только опустить руку. И рука ее сама потянулась вниз, пальцы коснулись трубки — и остановились.

Телефон заливался, требовал. Звонила междугородная. Звонил Женя из Мурманска — наверно, только сейчас его соединили. Это он торопился сказать, что репортаж он передал («Читай в завтрашнем номере, то бишь в сегодняшнем, сегодняшнем!»), что познакомился с замечательными ребятами из команды «Севера» («Поговорили по душам. Вот это парни! Обязательно о них напишу!»), что без нее он чуть не умер от тоски («Целых три дня — с ума сойти! Хотел кинуться в морскую пучину — ребята вовремя удержали»), что не забыла ли она, когда прилетает самолет («В девять утра, Домодедово, встречать необязательно, сам явлюсь, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Шутка. А все-таки я счастливый, черт возьми,— у меня есть ты! Да, я эгоист! И завтра, нет, сегодня я тебя увижу. Дуракам счастье»). Яна словно слышала его голос. Пальцы, сжимавшие трубку, побелели. Ничего не отвечать — только бы в самом деле услышать, как он кричит «алло», проклинает технику двадцатого века... Нет, нет!

А телефон надрывался, никак не мог успокоиться. Переставал и снова начинал трезвонить, и с каждым разом будто отрывалась и умирала в ней частичка сердца. Она закрыла глаза, зажала уши и просидела так, пока не почувствовала, что телефон замолчал...

Телефон молчал. Яна увидела его — и впервые за эту ночь слезы хлынули у нее из глаз. Она закусила губы и повалилась на постель лицом вниз. Ее било, трепало, как в лихорадке: «Навсегда, навсегда, навсегда...»

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### Постановление
### Государственного Комитета Обороны

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100—120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от коменданта г. Москвы, причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения и транспортов должно происходить согласно правилам, утвержденным Московской противовоздушной обороной и опубликованным в печати.

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на коменданта города Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие.

Председатель Государственного
Комитета Обороны И. Сталин
Москва, Кремль,
19 октября 1941 г.

Лес, разбуженный топотом сотен ног, ворочается, бормочет, скрипит, в голых скользких ветвях заунывно свистит ветер, а им кажется — тихо. Идут молча. Бледная луна. Снег под ногами. Черные тени. Глоток без воды! Одну бы затяжку! Но ни слова, ни глотка, ни затяжки на ходу — идут скорым шагом из последних, самых последних сил. Отстанешь — не догнать. Идут к своим, немцы остались позади, но все может быть — надо быстро оторваться, уйти как можно дальше. Скоро, скоро кончатся муки окружения: голод, неизвестность, гибель, бессилие — все кончится! Придут к своим, вольются в армию, снова встанут в строй.

Усиливается ветер, окатывает сыростью, холодом. Понемногу расступаются деревья. Светлеет. Кончается лес. Впереди поле, покрытое снежком. Когда вышли из леса, посреди поля увидели небольшую деревушку, узкую проселочную дорогу, проходящую через нее, а впереди деревни — несколько стогов сена, припорошенных снежком...

Тихая, нетронутая деревушка, ни одного сожженного дома — немцев, наверно, нет. Стоит себе эта деревушка в лесу, в стороне от больших дорог — вот и обошла ее война стороной. Идущие впереди колонны замедлили шаг, чтобы подтянулись остальные,— уж не собирается ли генерал сделать тут остановку?

— Да,— мечтательно сказал Козырев,— сейчас бы в хату зайти, молочка с хлебцем испить, да на печку завалиться под теплый бочок...— Удостоверившись, что его слушают, Козырев продолжал фантазировать:— Молочка, хлебца — для подкрепления — и в баньку, косточки попарить. Жару наддать, разомлеешь, посидишь, а потом веничком... Отхлестаешься, окатишься, а уж потом мыться начнешь. Глядишь — и хозяйка подойдет спинку потереть... Ну а потом, как полагается, для затравки косушку — тут уж хошь не хошь, а налей...

— Здорово расписал!— вздохнул Симовский.

— Лучше не бывает! Мы с ребятами, бывало, как суббота, так под вечер, после работы залетим в магазин — и айда в Сандуны. Эх, Яшка, жизнь была! Ну, ничего, вернемся — все наше будет! — Он некоторое время шел молча.— Мне бы, Яшка, мать увидеть. И чтоб на старости лет пожила со мной...

Симовский промолчал. Он спросил себя: «А я? Что я хочу? Таня, мать, отец... Я хочу, чтобы я был с ними.

И тогда я сумею много сделать. Я все сумею сделать. Я буду жить по-другому — так, чтобы все успеть. Я буду знать цену минуте, солнечному лучу, глотку воды, и Таня будет со мной, всегда со мной, день и ночь, месяц, год — целую жизнь!— Волнение охватило его. Он вдруг поверил, что все это сбудется. О чем подумает, то и сбудется. Торопился загадывать:— Я напишу книгу о Герцене. А потом — об этой войне. Это будет главным делом моей жизни... Я буду писать книгу об этой войне, и Саша со своей матерью будет приходить к нам, и мы будем вспоминать. Неужели впереди целая жизнь?— опять спросил он себя.— Ну да, мы ведь вышли из окружения. Вышли — но война не кончилась. Это другое дело,— возразил он.— Мы вольемся в армию, могучую армию, она только развертывается, тогда посмотрим, кто кого. Да, да — так и будет. Целая жизнь! А что я еще должен сделать?— мысль его вернулась обратно, словно кто-то прервал его, не дал досказать, но досказать было необходимо.— Я забыл нечто очень важное. Самое важное... Да, да — вот что!— обрадовался он, что вспомнил.— Раньше я не замечал многих людей, не мог, не хотел понять, что у них болит, к чему рвется душа, а думал, все знаю и понимаю. Теперь все должно быть по-другому». Симовскому стало легко, что он сказал себе это, будто выполнил давнишний долг. Как должно быть «по-другому»— об этом он не думал, но чувствовал, что в нем есть это знание. «Целая большая, долгая жизнь,— повторил он,— и все будет по-другому!»

Они шли по полю к деревне, теперь уже не торопясь, и Симовский замечал, как сзади из лесу выходили все новые и новые группы бойцов. Стали хорошо видны низенькие аккуратные домики. Луна незаметно исчезла, пропали и звезды, серый матовый свет разлился в воздухе. Яснее проступили домики, стога сена... И вдруг ливень пуль обрушился на идущих. С земли, из стогов сена, из-за домов посыпались, затрещали, обгоняя друг друга, автоматные очереди. Произошло это в тот момент, когда головной дозор, пройдя поле (немецкие посты намеренно пропустили его), вошел в деревню и, обнаружив присутствие немцев, дал подряд две предупредительные красные ракеты. Но было поздно: передовая часть колонны уже ступила на поле. Разбрасывая сено, рыча, выехали из стогов танки, поползли, поливая из пулеметов, отплевываясь снарядами. Свист пуль,

разрывы снарядов, дым. С грохотом и скрежетом, полыхая огнем, идут, надвигаются танки. А бойцы на виду, на земле, открытые как на ладони, и зарыться некуда, и спрятаться негде.

Ближе рычащие, плюющие огнем танки, и тут — им показалось, что все сразу, одновременно,— они поднялись и бросились вперед на танки, на автоматчиков. Загремело «ура-а!», могучее, все сметающее на своем пути. В тот же миг рванулся и Козырев и увидел чуть впереди на бегу Симовского — мелькнула его голова, вытянутая шея, поднятая с автоматом рука. Козырев с силой оттолкнулся, просвистели пули (боковым зрением схватил, что обгоняет Симовского), через мгновение он уже оказался впереди, но что-то заставило его оглянуться: Симовский в метре от него, согнувшись и схватившись двумя руками за живот (в одной руке — автомат), медленно валился набок.

Он валился набок, и в первый момент Козырев ничего не понял, лишь что-то оборвалось в нем, он бросился назад, хотел поймать Симовского и не успел: скрючившись, Симовский упал в снег.

— Ранен?— крикнул Козырев, падая рядом с ним.

Над головой просвистела короткая очередь. Козырев прижался к Симовскому, накрыв его своим телом. Впереди, прорываясь сквозь грохот стрельбы, катилось «ура-а!». Козырев поднял голову. Сотни бойцов, стреляя на ходу, бежали по полю к деревне.

— Давай!— крикнул Козырев.— Давай, бей их!

Ничего, ничего не надо было ему в эту минуту, как бежать вместе со всеми! Но его друг без движения лежал на земле. Козырев осторожно перевернул Симовского на спину (тот застонал) и склонился над ним. Лицо Симовского было белое, без кровинки, глаза закрыты, брови сведены болью.

— Куда тебя? Эх ты... Как же ты?— забормотал Козырев, лихорадочно расстегивая шинель.— Потерпи, потерпи... Я сейчас,— приговаривал он, одновременно доставая индивидуальный пакет. Руки его разрывали пакет, а глаза не могли оторваться от темневшего и расширяющегося пятна на гимнастерке Симовского чуть выше пояса.

Подняв гимнастерку и рубаху, Козырев сам не удержался от стона: на животе зияла глубокая кровавая рана от осколка или разрывной пули. Где там засела пуля или осколок? Козырев не силен был в этих де-

лах, но понял — только хирурги могут спасти Яшку. Торопясь, он положил на рану марлевую салфетку из индивидуального пакета и, подсунув под спину Симовского руку с бинтом, начал перевязывать. Это было трудно: приподнимать спину, потом перехватывать бинт, крепко стягивать его, снова подсовывать под спину, но Козырев справился довольно быстро, хотя руки занемели от напряжения. Потом он не очень туго стянул бинт ремнем, чтобы не сползла повязка, пока будет его тащить.

Когда Козырев опустил Симовского на землю, чтобы передохнуть, Яшка застонал и открыл глаза. В первые секунды в них стояла одна заполнившая его всего боль, но каким-то подспудным усилием Симовский пробился через эту боль, острыми тисками сжимавшую его тело, и сквозь туманную пелену с красными кровавыми пятнами увидел смутно белевшее лицо Козырева. Черты лица его расплывались, но Симовский знал — это Козырев. Сначала ему показалось, что это уже было с ним и теперь повторяется, как во сне,— он поджег танк, в танке начали рваться снаряды, его засыпало, он умирал, а Козырев откопал его, и когда он пришел в себя, увидел в тумане над собой лицо Козырева. Тогда я не умер, промелькнуло у него, Саша меня спас, и сейчас я не умру. При чем тут «сейчас»? — сейчас и есть тогда. Мысли его оборвались, лицо Козырева растаяло, и он увидел, как по воздуху, легко отталкиваясь, медленно вздымаясь и опускаясь, бежит Таня. Она удаляется и не догадывается, что он здесь. Симовский хочет крикнуть, остановить ее, но не может шевельнуться, открыть рот. Он понимает, что больше никогда не увидит Таню, слезы катятся по его щекам, спазма сжимает горло, а Таня, оказывается, сидит рядом и смотрит на него остановившимися бесконечно печальными глазами (однажды он уже видел у нее эти бесконечно печальные глаза, но когда это было?), Симовский протягивает к Тане руки, но она исчезает. Потом в пустоте появляются красные язычки пламени, их становится все больше — замелькали, закружились, набросились на него, вонзались в каждую клеточку, стали колоть, жечь, терзать...

Симовский застонал — и снова в красном зыбком мареве появилось перед ним лицо Козырева.

— Пить...— шепчет он и чувствует на губах снег, который в ладони поднес ему Козырев.

Сознание Симовского проясняется — он понимает, что ранен. Неужели смертельно? Когда-нибудь все равно пришел бы этот час, никому его не избежать. Вот он и пришел. «Ведь ты был готов к нему, когда шел на войну?»— голос прозвучал жестко, твердо, но в этот раз Симовский как бы не услышал его, голос потонул в тоске, отчаянной тоске, разрывавшей грудь. «Надо примириться,— опять сказал голос.— Надо умереть как солдат. Как человек».

Две слезы покатились по его щекам.

— Ты что, Яша, ты что? Не надо...— зашептал Козырев, увидев слезы.— Сейчас я тебя донесу. Тут недалеко. На машину — и в медсанбат. Немцев вышибли. Мы вышли — понял? Дорога свободная. Прямо к нашим, в медсанбат. Через час там будешь.

— Подожди...— прервал его Симовский. Он замолчал, собираясь с силами.— Деревню взяли?

— Взяли! Дорога свободная. Фашистов как ветром сдуло!

— Подними меня,— попросил Симовский.

Кругом все так же неслось «ура-а!», слышался топот, но Козырев почувствовал — свист пуль, вой снарядов прекратился. И стрельба отдалилась, похоже, за деревню. Это подтверждало его догадку, что деревню взяли. Перевязывая Симовского и время от времени поднимая голову, Козырев мгновенным взглядом схватывал одну и ту же картину: лавину бегущих по полю бойцов. А из лесу появляются все новые и новые. Нет, Яшке он не соврал.

Осторожно приподнимая Симовского, чтобы он смог увидеть поле боя, Козырев начал нервничать: надо скорее, как можно скорее тащить Яшку в деревню, но не выполнить его просьбы он не мог. Руки у Козырева дрожали. Чувство непоправимой беды, резанувшее его, когда он увидел белое, без кровинки, лицо Симовского, а потом две слезы, покатившиеся по его щекам, все росло. Почувствовав, что Козырев приподнял его, прижав спиной к себе, Симовский, мучительно боровшийся с тяжким забытьем, открыл глаза.

Он открыл глаза и увидел белое поле, по которому все еще бежали люди, и кое-где на снегу черные неподвижные фигуры. Вот так и я, кольнуло его. Все время были другие, а теперь — я. Волна холода обдала его, но мысль тотчас ушла. Он жадно смотрел, как бежали люди, бежали от него, и слезы закипали на его глазах —

так горько было, что он не с ними, что он останется здесь навсегда. По краям и в центре поля с треском и взрывами пылали три гигантских костра, отбрасывая на снег алые мерцающие отблески пламени. Горели немецкие танки — здорово, не успели они выскочить, как их закидали гранатами, бутылками с горючей смесью!

Симовский закрыл глаза. Козырев согнулся как мог ниже, ухватил его за ноги, выпрямился, сделал несколько шагов, но руки Симовского ослабли, расцепились, и сразу потяжелевшее тело начало сползать. Видно, от боли он потерял сознание. Пришлось его опять осторожно положить на землю. Симовский действительно был без сознания. Козырев слегка потер его щеки снегом.

— Пить...

Козырев в ладонях поднес снег к его губам, Симовский судорожно глотнул. Ясно, так он его не донесет. Тащить по земле — всю душу вытрясет. Надо взять на руки. А еще лучше — кого-то позвать, иначе дело табак, далеко на руках его унести нельзя. Козырев поднял голову, огляделся. Поле было уже пустым. Присмотревшись, Козырев заметил двух человек, шагавших по полю со стороны леса. Похоже, свои. Может, отстали от колонны или одиночки — выходили на катившееся волнами «ура-а!». Сняв на всякий случай автомат, Козырев крикнул:

— Эй, сюда! Тут раненый!

Два человека остановились. Потом один, заметно прихрамывая, зашагал к Козыреву, другой продолжал идти своей дорогой.

— Быстрее! Чего плетешься!— не выдержав, снова крикнул Козырев.

Наконец подошел солдат лет пятидесяти, а то и больше. Худой, сутулый, шинелишка на спине топорщится. Глаза ввалились, оброс седой щетиной. А винтовку с примкнутым штыком держит по-боевому, наизготове. Сам хлипкий, но, по всему видно, так просто его не возьмешь.

— Давай, отец, помоги до деревни донести,— сказал ему Козырев,— ранило, видишь. В живот. Да шевелись! Не трави душу!

— Расстилай шинель,— голос старика прошелестел еле слышно.

Козырев снял шинель. Вдвоем они уложили на нее Симовского. Солдат ловко сделал петлю из своего рем-

ня, подсунул под шинель и ноги Симовского. Козырев ножом проделал отверстия в шинели ближе к голове и стянул их ремнем. Получилось что-то вроде люльки.

— Взяли!— скомандовал Козырев.

Осторожно подняли, понесли. Впереди — Козырев.

— Потише,— попросил старик. Он сильно хромал.

Приноровились, молча прошли метров пятьдесят.

— Передохнем,— опять прошелестел старик.

Симовского опустили на землю, он так и не пришел в себя. Козырев, выпрямляясь, сказал:

— А товарищ твой — шкура, гад! Стрелять таких надо!

Старик не ответил. Он сидел на земле, закрыв глаза. Никак не мог отдышаться.

— Хлебни,— протянул ему флягу Козырев.

Запрокинув голову, старик сделал несколько глотков (худой кадык его судорожно дергался), отдал флягу, сказал «спасибо», потом, глянув в лицо Козыреву, спросил:

— Сам ты откуда?

— Из Москвы. Слыхал про такой город?

— Слыхал.

— Она, знаешь, слезам не верит.— Козырев нервничал, не до разговоров было.— Пошли, отец. Поднатужься. Тут недалеко.

— Ничего, ничего. Справлюсь.

На этот раз они прошли метров сто.

— Привал...— выдохнул старик.— Мотор сдает.

Козырев остановился: похоже, старик и впрямь еле дышит.

— Ладно. Перекурим.

Курить было нечего, но мирным этим словечком Козырев хотел подбодрить старика.

Отдышавшись, прошли еще метров сто. Перед самой деревней Козырев сказал:

— Ты тут передохни, а я пойду гляну.

Они положили Симовского перед бугорком, прикрывшим его со стороны деревни, и не успел старик оглянуться, как Козырев исчез.

Светало. Отчетливо виднелись дома, поле и лес за деревней. Розовое зарево позади потускнело. Было тихо — ни скрипа телеги, ни урчания моторов, ни голосов. Прошумел холодный ветерок, поднял снежную пыль. Старик передернул плечами, поднял воротник шинели.

Он сидел рядом с Симовским, всматривался, вслушивался.

Козырев появился неожиданно, вырос как из-под земли.

— Давай, отец, взяли. Немцев в деревне нет. Наших тоже. Вышибли немцев и ушли,— он вздохнул.— Генерал свое дело туго знает! Надо поторопиться, отец, а то фашисты могут вернуться.

Они двинулись вдоль деревни и у крыльца второго дома увидели старика с темными цыганскими глазами, черной бородой, в валенках и накинутом на нижнюю рубаху полушубке. Он молча помог поднять Симовского на крыльцо. Вслед за стариком, перешагнув через высокий порог, они внесли Симовского в темные сени (старик поспешил открыть внутреннюю дверь) и затем в избу.

Здесь, как обычно, впереди и справа была широкая печь, занимавшая почти всю стену и, вероятно, треть помещения. Вдоль передней стены, где было вырублено задернутое ситцевой занавеской окно, стоял длинный выскобленный стол, над ним висела лампочка в колпаке из плотной белой бумаги. Слева (там тоже было окно с занавеской) тянулась широкая лавка, на которой у самой двери стояло накрытое дощечкой ведро и кружка. В красном углу, где во главе длинного стола обычно сидит хозяин, висела в красивом позолоченном окладе икона с потемневшим ликом Христа.

Хозяин прошел в правую половину избы, отдернул такую же, как и на окнах, ситцевую занавеску в голубых и красных цветочках и показал на высокую деревянную кровать у самого окна, напротив тыльной стороны печи. Втроем они уложили Симовского на эту кровать. Он по-прежнему был без сознания. Тут только, выпрямившись, Козырев увидел молодую женщину в темной юбке и сером шерстяном платке, накинутом на голые плечи. Женщина, прижав пальцы ко рту, как бы сдерживая крик, расширенными глазами смотрела, как Симовского укладывали на постель. За ней, в глубине избы, виднелась еще одна кровать и детская головка на розовой ситцевой подушке.

Козырев увидел эту женщину, но она как-то сразу уплыла из поля его зрения. Перед ним было неживое белое лицо Симовского с запавшими щеками, обросшими черной, будто чужой, приклеенной щетиной, с про-

валившимися глазами, заострившимся носом. Надо скорей ехать, опять заторопился он, иначе — хана!

— До Можайска далеко?— спросил Козырев.

— Верст двадцать будет,— ответил хозяин, присев на стул и положив на колени темные узловатые руки.

— Ну а доктор или фельдшер в деревне есть?

— Доктора нет. А фельдшер, Иван Иванович, перед самой войной уехал погостить к сыну в Москву. Хороший фельдшер — что твой доктор, все болезни лечил.

— Ну, вот что, дед,— сказал Козырев,— давай запрягай. Повезем его в Можайск. Небось знаешь, как лесами провезти? Да торопись, дед,— прибавил он, видя, что хозяин не тронулся с места.

— Ты, парень, это...— дед исподлобья глянул на Козырева.— Ты уходи. Ты свое дело сделал. По чести, по совести. Уходи, парень, спасайся. А то не ровен час немец придет. Ну а мы тут твоего сотоварища скроем. Уж надейся. Авось бог даст,— он бросил быстрый взгляд на Симовского, нахмурился, вздохнул...— Ну, это... На все воля божья.

— Ты, дед, не финти,— жестко, отчеканивая каждое слово, проговорил Козырев.— Лучше давай по-хорошему, понял? Не доводи до крайности.

— Да я, парень, для твоей же пользы. Ты молодой еще — тебе жить. А пужать меня — не испужаешь. Я, парень, пуганый-перепуганый. А видишь — живой.

— Да не пугаю я тебя, дед! А ехать надо. Пойми — надо! А то — хана. Скумекал? Нет у нас другого пути. И не тяни, дед, резину, слышишь? Ступай, ступай! Все равно поедешь.

— Эх ты, дурья твоя голова!— вскипел хозяин.— Куда ты с ним — пропадешь! Тебе дело говорят, а ты... Добро. Будь по-твоему, ну уж коли что...— дед поднялся, аж скрипнули половицы.

— Да, вот еще...— остановил его Козырев.— Найди кого-нибудь, пусть за дорогой посмотрит. На всякий случай.

Дед кивнул головой и пошел к двери. У порога обернулся:

— Чего стоишь, Дарья? Столбняк нашел? Приготовь что в дорогу.

Только теперь, когда вышел дед, раздался голос солдата:

— Ты, земляк, поступаешь правильно, что не оставляешь товарища,— он передохнул.— Делай, что мо-

жешь. Старое правило, на все века.— Помедлив (голос его дрогнул), он проговорил:— Хозяюшка, милая, не найдется ли у вас немного хлеба?

— Сейчас, сейчас...— забормотала молодая женщина и метнулась в сени. Скрипнула дверь, там, в сенях, что-то загремело.

В споре с дедом Козырев забыл о старом солдате. Слова его о каком-то правиле на все века скользнули мимо сознания, как и неожиданная поддержка, в которой он не нуждался. Но когда старик попросил хлеба и голос его дрогнул, Козырев взглянул на него.

Солдат сидел на лавке у самой двери, привалясь к стене и вытянув ногу в окровавленной портянке.

— Да ты, отец, раненый, тебя перевязать надо. Как же ты шел-то?— удивился Козырев.

— Так, сынок, и шел. Как видишь, дошел,— он усмехнулся.

— Потерпи, отец,— сказал Козырев,— хозяйка придет — перевяжем. Подзаправимся — и айда.

— Между прочим,— солдат прикрыл глаза, помолчал, будто что-то вспоминая,— добрые люди в прежние времена звали меня Сергеем Андриановичем. А фамилия моя, с вашего разрешения, Овсянников.

— А меня,— Козырев неожиданно смутился (что-то он почувствовал необычное в том, как заговорил старик),— меня... ребята Сашкой звали. То есть я — Козырев Александр,— поправился он.

— Вот и познакомились, Козырев Александр. Очень рад. Как странно, пустая фраза, а я действительно рад. Душевно рад...— голос его опять сник, видимо, он почувствовал припадок слабости.— Прости, Саша, сейчас пройдет, я, знаешь, два дня ничего не ел...

— Да я и сам...— поддержал его Козырев.— Чего она там копается!

— Ничего, ничего, потерпим. Хотел бы я с тобой, Саша, повидаться в Москве. Запомни: Калашный переулок, дом двадцать три, квартира сорок восемь. Запомнил?

— Запомнил. Да где он, этот Калашный переулок?

— Улицу Герцена знаешь?

— Еще бы не знать!

— Ну вот, если идти по правой стороне от Никитских ворот вниз, к университету,— первый переулок направо.

— Там киношка на углу, «Унион» называется, верно?— оживился Козырев, сразу вспомнив Никитские ворота с памятником Тимирязеву, улицу Герцена и этот маленький кинотеатр на углу (в памяти всплыл тот вечер, фонари, прохожие, места в последнем ряду в темном зале, Зойкина теплая рука), где он давно-давно смотрел лихой ковбойский фильм «Конь серебряный».

— Во-во... Киношка,— повторил Сергей Андрианович.— Приходи, Саша. Очень хотел бы я посмотреть на тебя в Москве...

— Заметано,— ухмыльнулся Козырев, и оба вздохнули: так бесконечно далеко, в такой невообразимой дали увиделась им послевоенная Москва, до которой им, может, и не суждено дойти...

Не раз Козырев замечал, бывают такие люди, ничем от других не отличаются, встретишь на улице — пройдешь мимо, не заметишь, а поговоришь с ним хоть одну минуту и понимаешь: это человек! И вроде ничего особенного он не скажет, и слова обыкновенные, а тебе уже хочется его подольше послушать, ума поднабраться, о жизни узнать, хотя, может, и не в уме тут дело — есть в таких людях что-то глубоко симпатичное, располагающее к себе. Что именно? Так сразу и не ответишь — то ли секрет кроется в их душевности, которую ты сразу почувствуешь, то ли в каком-то другом, особом таланте — кто знает? Но так или иначе, а Козырев сразу скумекал, что старый солдат, оказавшийся Сергеем Андриановичем Овсянниковым, и есть такой человек.

В другое время Козырев продолжил бы беседу, но сейчас ограничился одним вопросом:

— А вы, отец (незаметно для себя он перешел на «вы»), на гражданке где работали?

— Интересуешься моим социальным происхождением да положением?— Сергей Андрианович говорил тихо, но Козырев учуял в его голосе что-то вроде усмешки.— Что ж, отвечу. На такой вопрос хочешь не хочешь, а отвечать приходится, не так ли? Я, Саша, профессор математики. Преподаю в университете. И, представь (он уже явно посмеивался), известен коллегам там, за рубежом... Почетный член Английского королевского общества, почетный доктор нескольких американских университетов. Книжки мои переведены на многие языки, в том числе на немецкий. Но сейчас, Са-

ша, все это не имеет ровно никакого значения. А имеет некоторое значение лишь то, что мы с тобой делаем в данный момент, то есть деремся с немцами.— Неожиданно он опять усмехнулся:— Послушай, Саша, вот было бы забавно, если бы мои зарубежные коллеги сейчас меня бы увидели, а?

Козырев не успел ответить, как появилась молодая хозяйка. Она поставила на стол кувшин с молоком, миску с огурцами, достала из печки чугунок с картошкой, метнулась в левую половину избы, принесла хлеб, тарелки, вилки, стаканы. Все это в одно мгновение. Молча расставила на столе и встала в сторону, прислонясь плечом к углу печки, подперев голову рукой, в извечной позе русской женщины.

Тут только Козырев увидел, что за красавица эта Дарья — высокая, статная, смуглая, чернобровая. Бездонные синие глаза смотрят печально и мягко, шея вытянута, как у насторожившейся птицы. Голову чуть-чуть оттягивает назад тяжелая темная с золотистым отливом коса, собранная на затылке.

Козырева как током ударило — он будто ощутил, какая она теплая и гибкая (она обвивает его шею руками, легкими, сильными, смеясь, откидывает назад голову, сверкают белые зубы, сердце его бешено колотится, ощущая, как трепещет под руками ее гибкое тело, он крепко прижимает ее к себе), и Козырев знает, что все угадывает точно, как могло бы быть,— война неведомо откуда дала ему это знание. Все угадывает он — и сколько в ней силы, нежности, верности...

Но длится это озарение один миг. Молния вспыхнула и погасла. Стоило ему повернуться, как он снова увидел все в настоящем свете: красавицу Дарью, стоящую в отдалении, наверно, чужую солдатскую жену, Сергея Андриановича, сидящего на лавке у двери, а там, на кровати, Симовского, жизнь которого зависела от того, успеет ли он, Козырев, доставить его в медсанбат.

Яшка был в забытьи — тяжело дышал, временами дыхание почти совсем пропадало, тогда Козырев подходил к нему, смачивал губы водой — больше он сделать ничего не мог. Надо было скорее везти его, скорей! Мысль эта гвоздем сидела в нем, не давала ни на минуту покоя. Разговаривая с Сергеем Андриановичем, Козырев то и дело посматривал на дверь и прислушивался, не идет ли дед, и эта же мысль встряхнула его

и вернула к действительности, когда погасла молния и он увидел Дарью у печки в отдалении. Недоступную, чужую солдатскую жену.

— Кушайте, кушайте,— сказала Дарья,— я еще поставлю,— голос ее был певучий, низкий, такой он и ожидал услышать (все угадал он, все!), сердце его заныло — никогда еще так остро, так мучительно остро не ощущал он горечь несбывшегося!

Боясь взглянуть ей в глаза, Козырев проговорил:

— Ты, хозяйка, вот что, уж извини... Видишь, перевязать надо. Может, бинт найдется, или тряпица чистая, или еще что... И воды,— он вздохнул, нахмурился.— А вы, отец, подвигайтесь к столу,— уже по-другому, овладев собой, обратился Козырев к Сергею Андриановичу.

Дарья ушла, а Козырев присел к столу, налил два стакана молока, отрезал от круглого каравая два больших ломтя и принялся за еду. Сергей Андрианович не заставил себя просить. И все же, как ни был он голоден, ел без жадности, сдерживая нетерпение.

— Пить...— вздохнул Симовский.

Козырев не услышал — почувствовал этот вздох. Подошел, подняв голову Симовского, поднес к его губам кружку. Сделав несколько глотков, Симовский бессильно откинул голову на подушку. Тьма, надвигавшаяся на него, с которой он боролся, отступила. Она отступила, расползлась по углам, но затаилась и ждала. Стоило ему ослабить свою волю, как она поползет опять. В сумраке, окружавшем его, он хорошо видел в небольшом отдалении куски тьмы, похожие на клочья тумана, только черные. Ну, теперь еще одно усилие. Симовский открыл глаза, но сначала он ничего не увидел, кроме черных и серых пятен. Потом мглистая пелена стала светлеть, и он увидел дощатый потолок, взгляд его опустился вниз, ухватил кусок белой печи (на ней что-то темнело), скользнул еще ниже — рядом с печью стоял стул.

— Где я?— тихо спросил Симовский.

— У своих, в деревне,— ответил Козырев.— Сейчас, друг, поедем в медсанбат. Ничего, ничего... Все будет нормально...

Симовский молчал, лицо его оставалось безучастным, и Козырев наклонился над ним еще ниже:

— Ты меня слышишь?

Симовский сделал движение головой, означавшее «да», и Козырев опять поймал этот новый, еще раньше поразивший его своей отрешенностью взгляд Симовского, как бы обращенный внутрь себя.

Узнав Козырева, Симовский сразу вспомнил, как он рванулся вперед и что-то горячее с силой толкнуло его в живот... Что же было потом? Он потерял сознание, и Саша склонился над ним — сначала белое расплывающееся пятно, потом оно стало обретать черты Сашиного лица... Медленно всплывали отдельные куски. Алый, будто тлеющий снег. Небо в всплесках ракет. Перекрестье трассирующих пуль. Острая боль, опрокинувшая его в темноту.

Черные неподвижные фигуры на снегу...

Потом, когда Козырев приподнял его, он увидел белое, в кровавых отблесках поле, по которому бежали люди, три гигантских костра, озаривших все вокруг накаленным розовым светом (он подумал еще — как здорово, что успели поджечь танки, пока они не развернулись!). Впереди, неожиданно близко, была деревня — он хорошо видел, как бежали бойцы между домами. Уж теперь, подумал он, дорога к Можайску свободна, свободна!

Симовский вспомнил все это — и в нем снова шевельнулось горячее чувство, захлестнувшее его в тот момент и заставившее на какие-то мгновения забыть о своей ране. Но тут же, как тогда, боль, что он остается с теми, кто неподвижно лежал на снегу (он увидел их позже, когда оглянулся), сжала его — радость и боль как бы слились в одно. И опять что-то сжало его горло. Он закрыл глаза. Он не мог примириться с тем, что уходит. Уходит навсегда. Острая тоска охватила его, такая сильная, что он застонал.

— Ты что? Болит?— наклонился к нему Козырев.— Потерпи немного. Сейчас поедем, сейчас...

Симовский не отвечал. «Ведь ты же был готов к этому, когда шел сюда,— сказал ему голос.— Вот он и пришел, твой час».—«Я это знаю. Я все знаю,— ответил Симовский,— но мне очень тяжело, очень страшно. Неужели нет никакой надежды?»—«Нет. Ты ведь знаешь, что нет. Что сделаешь? Никому этого не миновать, никому».

Не надо поддаваться, сказал себе Симовский. Не поддаваться — ни страху, ни тоске. Он постарался вызвать в памяти картину, заставившую его пережить миг

великой радости: озаряемые полыхающим розовым светом бегущие вперед бойцы, и он с ними! Не с теми, кто остался на снегу, а с ними. Всегда с ними. Сердце его забилось живее — он словно испытал отблеск того чувства. Я умер в атаке, сказал себе Симовский, это хорошая смерть. Моя совесть чиста. Когда мне было страшно, я преодолевал себя. Это главное — совесть чиста. Он открыл глаза. Теперь надо собрать все силы. Все — до самой последней капли.

— Саша... помоги достать мою записную книжку,— голос его звучал тихо, но слова он произносил отчетливо.— Вот здесь, в правом кармане... Спасибо... И карандаш... А теперь приподними меня, чтобы я мог написать несколько слов.

Козырев приподнял его и подложил под спину две подушки. На лбу Симовского выступил пот.

— Может, ты мне скажешь, а я напишу?— предложил Козырев.

— Нет, нет, Саша... Спасибо... Я сам... Своею рукой... Ты подожди... Не мешай... Не торопи меня...

Козырев отошел от кровати, подсел к столу и встретился глазами с Сергеем Андриановичем. Держись, парень, говорили эти глаза. Тут уж ничего не поделаешь. Надо держаться.

— Где же этот чертов дед?— со злостью проговорил Козырев. Своим вопросом он словно отвечал на этот взгляд. Он не хотел соглашаться, что ничего не поделаешь. Он надеялся довезти Симовского до медсанбата. А там сделают все, что надо, спасут.

Сергей Андрианович промолчал. Козырев взглянул на его ногу:

— Все в порядке?

— Золотые руки у нашей хозяйки,— ответил он,— и врач такой перевязки не сделает. До Москвы дошагаю. До Москвы...— повторил он и вздохнул.

— Дальше Можайска не двинем,— сказал Козырев.— Там и встанем.

— Как знать... А Москвы не отдадим.— Сергей Андрианович помолчал.— Нет, не отдадим.

Послышались шаги, и вошел дед.

— Ну?— повернулся к нему Козырев.— Готово?

Дед молча кивнул.

— Добро. А чего так долго?

— Больно ты, парень, быстрый.

— Ладно, ладно, дед. Оправдываться будешь потом. В письменном виде,— настроение Козырева несколько поднялось, его отчаянный план довезти Симовского до своих становился реальностью. Он встал, не решаясь подойти к Симовскому (как бы не помешать), присел на стул. Теперь он хорошо видел, как пишет его друг, как медленно движется его рука. Козырев не мог знать, какие слова с таким трудом выводит эта слабая рука, но по лицу Симовского, ставшему таким спокойным, сосредоточенным, по его скорбно сведенным бровям он понял, что записка прощальная. Поняли это дед и Сергей Андрианович, ни единым словом не выдавшие своего присутствия.

— Ну, вот, Саша. Вот и все,— тихо сказал Симовский.

Козырев сел на кровать. Лицо Симовского с закрытыми глазами показалось таким изменившимся, будто жизнь из него уже ушла. Сердце Козырева сжалось: какое-то чувство, таившееся очень глубоко, сказало ему — это прощание. Это — конец. Последние минуты. Последние слова. «Нет, нет!— все запротестовало в нем.— Нет!»—«Прощайся, не обманывай себя,— опять сказало ему это чувство.— Себя обманешь, а смерть не обманешь».

Козырев молчал, и Симовский открыл глаза:

— Саша, ты здесь?

— Здесь, Яшка, здесь.

— У меня к тебе просьба...— он говорил с трудом и так тихо, что Козырев, чтобы лучше слышать, пересел к нему на кровать.— Когда будешь в Москве... записку передай Тане. Она покажет матери и отцу... А записную книжку возьми себе... На память... Нет, нет, возьми сейчас...— он протянул записную книжку, и, когда Козырев взял ее, Симовский положил другую руку сверху на руку Козырева и слабо, насколько хватало сил, пожал. Коротко, почти не ощутимо было это пожатие, но Козыреву запомнилось на всю жизнь...

Когда рука Симовского разжалась и бессильно сползла вниз, глаза его были закрыты. Он опять впал в глубокое забытье. Он не чувствовал, как его выносили из дома и укладывали на телегу, на мягкое сено, как они тронулись в путь и, проехав поле, оказались на узкой лесной дороге. В том мире, в котором он находился, царила полутьма. В этой полутьме бесшумной чередой двигались тени, появлялись, исчезали, а то вдруг воз-

никали дорогие образы — мать, отец, Таня... Он с болью, с отчаянием тянулся к ним и не мог приблизиться, и после каждой такой попытки тьма, затаившаяся по углам, подвигалась к нему все ближе, и пространство вокруг него сужалось...

Прошло около часу с тех пор, как они выехали из деревни, и пока ничто не нарушало их неторопливого движения. Солнце уже поднялось над лесом, и его лучи, скрещиваясь, расходясь, косыми нитями падали на тающий снежок, тонким слоем лежащий на земле. А то вдруг они вспыхивали радужными пятнами, дробясь, рассеиваясь. Посветлело. Небо начало наливаться бледной голубизной. Война, казалось, навсегда осталась позади, на западе, оттуда, когда стихал ветер, докатывалось тяжелое уханье артиллерийской канонады. А там, впереди, было солнце, тишина, свои...

Козырев, шедший метрах в пятидесяти впереди, как бы в головном дозоре, время от времени останавливался, вслушивался, всматривался. В голом разреженном, лишь слегка заснеженном лесу видно было далеко. Пока все было спокойно, и в Козыреве крепла уверенность, что немцев они уже больше не встретят и, значит, вышли, вышли к своим! Он еще не разрешал себе полностью отдаться охватывающему его чувству свободы, ликования, чтобы не расслабиться, но помимо его воли чувство это неудержимо росло. Эх, если бы довезти Яшку! Если бы его спасти! Ведь вышли! Как там ни крути, а вышли!

Похоже, что и Сергей Андрианович, сидящий сзади на краю телеги, поверил в удачу: лицо его разгладилось, винтовка с отомкнутым штыком свободно лежала на коленях, и руки не сжимали, а лишь придерживали ее. Он неторопливо посматривал по сторонам, любуясь просторным, слегка припорошенным снежком лесом, голубеющим небом, чистыми далями, словно совсем забыв о немцах. И только дед, по-прежнему мрачный, молча шагал рядом с лошадью, изредка оборачиваясь и бросая хмурые взгляды на лицо Симовского. Неожиданно он остановил лошадь, нагнулся над Симовским, выпрямился и два раза подряд тихонько свистнул. Прибежавшему Козыреву коротко бросил:

— Отходит твой друг-товарищ. Царство ему небесное...— снял шапку, перекрестился, шагнул в сторону.

Козырев приподнял голову Симовского, низко-низко склонился над ним. Лицо Яши еще больше заострилось,

изо рта с хрипом вырывалось прерывистое дыхание. Сергей Андрианович, хмурясь, стоял за спиной Козырева. Ведь он было уже поверил, что парень этот, Саша, который все может, спасет своего товарища. И вот теперь, когда через полчаса, час они будут у своих и хирурги попытаются вырвать раненого у смерти, он уходит...

— Яшка, друг, это я, ты меня слышишь?— прерывающимся шепотом спрашивал Козырев.— Это я... Я с тобой... Ты меня слышишь?— снова повторил он, с отчаянием видя, как жизнь уходит из Симовского, как белое, без кровинки, лицо его на глазах заостряется, становится восковым, застывает. Застывает навечно.

В какой-то миг веки Симовского дрогнули, губы неслышно шепнули:

— Саша...

Дошел ли до его угасающего сознания голос Козырева и он, собрав последнюю, самую последнюю каплю жизни, откликнулся на него? Или в рое образов и теней, летевших перед его смертным взором в сгущавшемся сумраке беспредельности, показалось Сашино лицо, как оно уже дважды появлялось над ним, когда он находился между жизнью и смертью? Этого Козырев, скорее угадавший, чем расслышавший сквозь предсмертный хрип свое имя, уже никогда не узнает...

Он склонился еще ниже, над самым лицом своего друга:

— Да, это я... Я слышу тебя, слышу, говори...

Но дыхание Симовского стало еще тяжелее, судорожнее, он, объятый ужасом, летел по серому бесконечному коридору, и ветер смерти свистел, нарастал, и он летел все быстрее. Внезапно муки его кончились, он почувствовал необычайную воздушную легкость, свободу и увидел внизу под собой прекрасный, залитый солнцем зеленый луг с красными цветами, а вокруг была прозрачная бесконечная солнечная синева, и он летел в этой синеве, летел, растворяясь в ней и становясь ее частью...

...Они похоронили Симовского в лесу под широким раскидистым дубом, в десяти метрах от дороги, строго на юг от того места, где дорога поворачивала вправо. На холмике соорудили низенький столбик и написали: «Сержант Я. Симовский. Род. 14.XI.1917 г. Погиб 15.X.1941 г.». И еще ниже: «Спи спокойно, Яша. Ты

славно воевал и пал в атаке. Мы тебя не забудем. Твой друг Козырев».

Постояв у свежей могилы, тронулись в путь: дед на телеге поехал обратно охранять солдатскую жену Дарью да своего внучонка, а Козырев и Сергей Андрианович — дальше к своим, к Можайску. Шли они медленно. Старик сильно хромал, а Козырев все останавливался и оглядывался на небольшой холмик, желтевший среди заснеженного леса. Долго, долго был виден этот светлый холмик на фоне темных голых стволов, кое-где припорошенных снежком...

Козырев хотел навсегда запомнить это место — дорогу, лес, небо, белеющий впереди пригорок,— запомнить, чтобы прийти сюда после войны, хоть за тысячу верст, а прийти. Он, вероятно, удивился бы, если бы узнал заранее, что не сразу, придя в эти места после войны, а лишь в результате многолетних упорных поисков, уже отчаявшись, найдет эту могилу, сровнявшуюся с землей и заросшую травой, по остаткам сгнившего столбика, на котором уж ничего нельзя было разобрать. Но еще больше он удивился бы, если бы мог узнать, что спустя тридцать четыре года после победы придет к нему молодой парень с именем Яши Симовского и его письмом к Тане...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Вот уже полтора месяца, как Яна ушла из дому, и Татьяна Алексеевна осталась одна. Яна была рядом, они перезванивались, а то девочка забегала ненадолго, и все же привыкнуть к новому существованию было трудно.

Особенно тягостны были долгие вечера. Случалось и раньше, что Яна приходила поздно и Татьяна Алексеевна в одиночестве ждала ее, но она знала — Яна придет. Читая или зашивая что-то, она прислушивалась к шагам на лестнице, подходила к окну, время от времени подогревала ужин, чай. А теперь ждать было некого и говорить некому. Опустели не комнаты — опустела жизнь. С того дня, 16 ноября, когда она проводила Яну на проспект Мира («Временно же, мамочка, временно! Ну, чего ты расстраиваешься? Через три месяца вернемся с Женей к нам в Песочный»), с того дня 16 ноября — Татьяна Алексеевна физически ощу-

щала пустоту, которая ничем не могла заполниться. Она и сама твердила то же самое: временно, временно... Но какое-то томительное, не оставлявшее ее предчувствие шептало другое: нет, не приедут. И не будете вы жить вместе. Яна выпорхнула из гнезда, у нее свой путь, а твоя жизнь закончена. Ты свое отжила. Дальше ничего нет — пустота. И тоска охватывала ее. Она старалась не поддаваться, не думать об этом, но не могла ничего с собой поделать.

В это утро Татьяна Алексеевна проснулась раньше обычного от боли, словно кто-то сжал ее сердце в кулаке. Она открыла глаза, положила руки за голову. Сердце как будто понемногу успокоилось. Ничего, видно, обошлось. Кругом стояла глубокая тишина — в доме, на улице, во всем мире. И она одна в этой тишине. А сегодня у нее как раз свободный день от дежурства и завтра тоже — так получилось, она дежурила без отдыха, отгулов не брала, а сейчас ее прямо выпихнули: «Отдыхайте, Татьяна Алексеевна, у хозяек по дому перед Новым годом дела всегда найдутся». Другие бы радовались, а она... Яна вчера утром звонила, просила прийти к ним с Женей («Никого не будет, только мы — Женя, ты, я»), но в голосе Яны ей почудилась какая-то натянутость (наверно, хотят вдвоем — и больше никого), и Татьяна Алексеевна проговорила первое, что пришло в голову: мол, пригласила приятельница, с которой вместе работает. «Смотри, мама, тебе видней,— сказала Яна,— решай, а я бы...— она запнулась.— Мы бы с Женей очень хотели, чтобы ты была с нами».— «Хорошо, Яни, хорошо. Спасибо... Я еще не решила окончательно»,— ответила тогда Татьяна Алексеевна.

Она и вправду не решила: очень, очень ей хотелось встретить Новый год вместе с Яной, перспектива остаться одной пугала ее, но еще страшнее было бы чувствовать, что ты лишняя, мешать, быть в тягость. Новый год... Все от него что-то ждут, на что-то надеются! А ей ждать нечего. И надеяться не на что. И опять промелькнуло: все. Ты свое отжила. Дальше — пустота. Тоска нахлынула на нее: да неужто больше ничего, ничегошеньки не будет? «А что ты хочешь?— спросила она себя.— Прожить вторую жизнь? Этого никому не дано. Доживай, как все. Ты не лучше других. У тебя есть Яна — разве этого мало?»—«Но она теперь отрезанный ломоть».—«Ну и что же? Так устроена жизнь:

дети вырастают, уходят. Ведь она есть! Вспомни Крым, девочку-дюймовочку и старика...»

Тоска медленно откатилась, как бы растеклась, оставив теснившую сердце печаль. Впереди был огромный пустой день, а утро еще не наступило: сквозь щели в шторах сочился предрассветный сумрак. Мысль ее блуждала, перескакивая от одного предмета к другому, словно набираясь сил для взлета, пока не оторвалась от реальности, и, оказавшись как бы вне времени и пространства, полетела свободно, уже не скованная ничем... Татьяне Алексеевне стало легко, как бывает только во сне.

Приятный, теплый ветерок подхватил и понес ее — и вот, почти не касаясь ногами булыжной мостовой, она идет, как бы летит, мимо деревянных двухэтажных домиков с резными наличниками, коньками на крышах, выглядывавших зелененькими, синими, белыми оконцами из-за заборов и палисадников, из-за ветвей с густыми гроздьями махровой сирени, из-за разросшихся кустов жасмина, жимолости, сплошь обсыпанных белыми и розовыми цветами. На нее накатываются волны терпкого, бередящего сердце запаха сирени, гомон улицы, треньканье птиц, пронзительный свист голубятников и шум крыльев взлетающих голубей, голоса женщин, кудахтанье кур и крики петухов, урчанье машин, отдаленный металлический перестук и звон трамваев... Она узнает свой Песочный переулок, пересекающую его Старослободскую, Сокольническую слободку, Маленковскую с белым, таким красивым кафельным домом — только теперь все они стали одной улицей, которая вьется, тянется и не кончается, никогда не кончится. Она чувствует, что попала в этот круг — круг своего детства, волнение охватывает ее. Да неужели, неужели она опять видит все это? Ведь после войны все стало быстро исчезать — сирень, деревянные домики, голубятни, песчаные дорожки, мостики... На их месте выросли огромные каменные дома, мостовые и тротуары покрылись асфальтом. А кругом гудели подъемные краны, рычали экскаваторы, роющие котлованы, и, лишь невзначай вспомнив давнее, она вздыхала: никогда, никогда не оживут больше старые Сокольники... И вот — ожили! Как хорошо, ах как хорошо опять оказаться в детстве!

...Вот и высокий деревянный трехэтажный дом на Маленковской окнами прямо на улицу, а дальше, даль-

ше — ее школа... В воскресенья, в праздники со всех трех этажей этого дома слышалась музыка, нестройные голоса — там находилось общежитие фабрики «Буревестник». Им, ребятне со двора, всегда было интересно (хотя и боязно) заглянуть в окна: в комнатах танцевали, пели, смеялись... И сейчас она услышала идущий оттуда голос Изабеллы Юрьевой, пластинку, которая была у них дома, и Яша любил ее (разве тогда уже был Яша?), частенько просил поставить, посмеиваясь, подпевал... Голос Изабеллы Юрьевой шел из окон первого этажа и, как магнитом, притягивал к себе: такой он был живой, бесшабашный, с лихим надрывом — ни о чем он не жалел, ничего не хотел, только чтобы веселились вместе с ним: «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады, заиграй, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады...» Таня уже стоит у окна на цыпочках и видит танцующих фокстрот парней в белых рубахах и широких брюках и девушек в легких открытых платьях, и только одна девушка с печальным странно знакомым лицом неподвижно стоит, прислонившись к стенке.

Да ведь это она сама! Таня узнает себя, будто посмотрелась в зеркало, сердце ее сжимается: она, единственная из всех, знает, что очень скоро произойдет с этими девушками и парнями — никого, никого не останется в живых! Кто сгорит в огне, кто сложит голову в поле, кто в дороге. Она одна это знает, потому что пришла сюда из другого времени. Я осталась, думает Татьяна Алексеевна, а их уже давно нет. Но она уже не видит их, а чувствует, что стоит одна на той же улице, на Маленковской, но улица пустая, будто вымерла — ни звука, ни души. Ветер бесшумно несет клубы пыли, ворохи мусора и тополиного пуха, крутит в воздухе белые хлопья. И вдруг начинает темнеть. Край неба над крышами становится фиолетовым. Сейчас разразится гроза, мелькает у Татьяны Алексеевны мысль, но ее перебивает другая: это уже было в детстве, я испугалась, побежала домой и не узнала, что произошло дальше, а сейчас узнаю. Она так подумала, и мысль вызвала постоянно томившую ее печаль, как бы поднявшуюся со дна души: если бы знать наперед, что случится, ах, если бы знать...

Острая боль сжимает ее (опять сердце!), но тут же отпускает, и уже нет горечи, нет сожаления, и она ощущает легкость, как бы предчувствие глубокого покоя.

Исчезает пустая улица с бесшумно несущимися по ветру ворохами мусора и тополиного пуха, исчезает огромное небо, разделенное светом и тьмой, и она совсем другая, без тревоги и боли, медленно идет по Сокольническому парку. Под ногами слабо шуршат листья — сплошной красно-золотой ковер. Кругом — белые березы в золоте листьев, красные пятна кленов, а над ними синеет безбрежное небо, струящее тихий свет. Глубокая синева омывает всю землю, все, что на ней есть. В воздухе разлита тишина. Синева, золото, тишина — все слилось, как бы неслышно перетекает одно в другое. Чувство умиротворенности охватывает ее — ничего, ничего не нужно, только бы всегда вот так идти по засыпанной желтыми листьями песчаной дорожке вместе с Яшей, слушать тишину и без слов понимать каждую его мысль.

Подул легкий ветерок — и с тихим шелестом посыпался золотой дождь. Она остановилась, это Яша шепнул ей: «Подожди, посмотрим, как падают листья. Сначала густо, догоняя друг друга, потом — реже, а потом останутся один-два, которые держались на дереве крепче всех. Видишь, вот последний лист — как медленно, плавно скользит он вниз... Помнишь, однажды мы наблюдали с тобой такой же золотой дождь здесь, в парке? И был такой же глубокий сине-золотой день позднего бабьего лета. Теперь ты поняла, что мы с тобой снова можем переживать все, что было? Нет, никакого волшебства (Таня почувствовала, что Яша улыбается), ведь все это в нас и никуда от нас не уйдет».— «Значит, я могу опять... Тот вечер, когда...»— Таня не успела додумать, как увидела рядом с собой Яшу (вечер, они пришли из театра, стоят у подъезда ее дома), он выше ее на голову, и Таня увидела его худое, склоненное к ней лицо, глаза, блестевшие в полутьме, тени в провале щек под скулами, чуть сдвинутые брови. Слова прощания были сказаны, но Яша не отпускал ее руки — он хотел поцеловать ее, собирался с духом и не решался. Таня посмеивалась про себя, ведь она видела его насквозь, но все же эта робость немножко и сердила ее. Теперь она знает — Яша так и уйдет, не поцеловав ее, и она будет жалеть, что в последний момент сказала ему что-то язвительное. Вырвалось ни с того ни с сего. А после этого вечера они увидятся всего лишь три раза. Теперь Таня все это знает (ах, если бы знать тогда!) и, встав на цыпочки, сама целует его. Холод от прикос-

новения к губам Яши пронизывает ее — и Татьяна Алексеевна открывает глаза.

Она не сразу приходит в себя — душа ее все еще во власти сна, с которым она не хочет расставаться. Татьяна Алексеевна силится вспомнить лицо Яши и не может, но где-то в ней как бы осталось ощущение от его присутствия. Какой удивительный сон — что бы он мог означать? Живой Яша (впервые за многие, многие годы!), и этот внезапный холод, когда она прикоснулась к его губам... Во сне она совершила то, чего не было,— поцеловала Яшу, наверно, это весть, знак, что приходит ее час...

Татьяна Алексеевна не была суеверна, никогда не пыталась разгадывать сны и сейчас как бы по привычке улыбнулась этой неожиданной мысли: чего только не придет в голову, когда ночью одна лежишь в пустой комнате и вспоминаешь... Да, снов она не разгадывала, но предчувствия ее не обманывали — что ж, жизнь идет к концу. И все-таки никому не дано знать свой последний час. И наверно, будет еще и что-то хорошее: Яна теплым словом согреет сердце, и будет весна, и она увидит бледно-голубое размытое небо и нежно-зеленый пушок на деревьях, и ощутит еще покой и глубокую тишину прощального сине-золотого дня бабьего лета...

Ей вспомнилось, как однажды, ранним летним утром, гуляя с мамой в парке, они зашли подальше в лес и набрели на густой малинник. Незаметно они оказались на полянке, залитой солнцем. В высокой траве стрекотали кузнечики, на цветке сидела большая бархатная бабочка. Она забыла про маму, побежала за бабочкой к лесу, и тут из-за кустов вышел лось. Они остановились, удивленно глядя друг на друга. Таня совсем не испугалась, хотя лось был огромный, и она смотрела на него снизу вверх. «Здравствуй»,— сказала Таня и протянула руку. И лось, наклонив голову с ветвистыми рогами, ткнулся ей в ладонь мягкими прохладными губами. «Таня, ау!»— раздалось невдалеке. Лось насторожился, поднял голову, ноздри его раздулись, помедлив мгновение, он вдруг прыгнул в сторону и скрылся в чаще. «Таня, ау!»— кричала мама. «Ау, мамочка, я здесь!»— ответила Таня и побежала на голос, рассказать, что было...

Потом Татьяна Алексеевна как бы со стороны увидела, как ранней весной они всем классом прямо из школы бегут в парк — там появились первые тонкие

стрелки травы, нежно-зеленые, еще клейкие листочки на деревьях. Они рассаживаются на скамейках, спорят, шумят, смеются — расставаться им не хочется. Светит солнышко, тревожно кричат грачи и вороны, ветер с лесными запахами почек, прели, нагретой земли кружит голову, голубеет бледное небо с тонкими расползающимися облачками — и смутные желания томят ее сердце, то ей грустно, то бесшабашно весело. А сквозь все пробивается затаенное: впереди — счастье, любовь, долгая, долгая жизнь!

И вот — жизнь прошла...

А предчувствие счастья, любви, долгой, бесконечно долгой жизни, которое томило ее в ту далекую весну, перед окончанием школы, обмануло ее. Чудилось: вот-вот сбудется.

Не сбылось.

Но был промелькнувший, как один миг, предвоенный год, когда она не ходила, а летала,— год Яши.

И было рождение Яны.

А еще?

Татьяна Алексеевна подумала о муже и, как всегда вспоминая его, испытала чувство вины: счастья она не могла ему дать, а уважение да жалость, переросшие со временем в теплое, почти родственное отношение, он не мог принять. Он мучительно хотел другого, всего: Дмитрий Игнатьевич был человеком гордым, бескомпромиссно честным во всем, в большом и малом. Бывало, он и себя терзал: кто он, физически разбитый, опустошенный горем человек, и кто она, его жена,— молодая, привлекательная, душевно чуткая женщина. Разве он вправе на что-то надеяться, что-то требовать? Уже счастье, что он рядом с ней, жив ее теплом, ее молодостью. Так твердил он себе в жару самоунижения, но смириться с ролью человека, «живущего рядом», которую сам же придумал, Дмитрий Игнатьевич не мог...

Много раз после смерти Дмитрия, лежа ночью без сна, перебирая свою жизнь, Татьяна Алексеевна спрашивала себя, как же получилось, что она вышла замуж за человека, которого не любила? Их толкнуло друг к другу в трудную минуту одиночество, что-то общее ощутили они в своей судьбе. В ту пору она нуждалась в нем, в его душевном опыте, мужестве, боящейся показать себя нежности, а он в ее теплоте и сочувствии. Дмитрий Игнатьевич был на четырнадцать лет старше, она преклонялась перед ним как человеком, хирургом

и многие месяцы после замужества не могла даже заставить себя назвать его Димой... Она поняла, что не любит его, когда родилась Яна, вскоре понял это и он. Дмитрий Игнатьевич, конечно, догадался, в чью честь названа его дочь. Еще до их совместной жизни Таня много рассказывала ему о Симовском, о фронте, даже о том месяце в Крыму, когда родилась ее мечта о девочке-дюймовочке...

Он не забыл этого и, чувствуя, как растет между ними охлаждение, страдал, не раз пытался уйти — и не мог: так глубоко, так сильно любил ее. Да и на что он обрек бы себя, если бы ушел? На одиночество? Без нее он погиб бы... А для Татьяны Алексеевны самое тяжкое было видеть, как все метания ее мужа отражаются на Яне, и, чем взрослее Яна становилась, тем труднее, сложнее складывались ее отношения с отцом. Яна много думала об отце, старалась его понять и многое угадала. А сама она так и не смогла полюбить своего мужа, как ни пыталась. Видно, всей любви, что таилась в ее душе, хватило на одного человека, да не сбылось...

И все-таки был тот предвоенный год — год Яши. И была пора, когда легко, бездумно мечталось. И — Яна. А больше на одну жизнь человеку, может быть, и не отпущено?

Она всегда прямо смотрела в глаза людям — за ее спиной был фронт, она знала, что хранить в памяти и душе. А разве этого мало? Она делала, что велела совесть, и ждала, надеялась. Кто же виноват, что не дождалась? Такое было время — многие не дождались.

И опять потянуло Татьяну Алексеевну назад, в старые Сокольники с мощеными улочками и голубятнями над сараями, в старый парк, переходящий в густой лес, где она повстречала лося, где каталась на лыжах, танцевала, где бродила с Яшей по глухим дорожкам,— в детство, юность... Она подошла к окну, отдернула шторы и сначала увидела покрытую чистым снегом крышу двухэтажного дома напротив, а уж потом перевела взгляд: возле дома, у тротуара, почти на углу высился их с Яшей тополь с растопыренными во все стороны короткими спиленными ветвями на вершине, где держался снег. Сколько она себя помнила — маленькой девочкой, школьницей, студенткой, молодой, полной сил после войны, уставшей, стареющей — тополь всегда был такой: старый, огромный, могучий, каждый год проживающий с самого начала целую жизнь. А у чело-

века жизнь одна — и ничего, ничего не может в ней повториться...

Когда появился Яша, тополь стал их другом. Возвращаясь с прогулки, они останавливались возле него, разговаривали еще немного, а уж потом шли к подъезду — там тоже была остановка, последняя перед прощанием. Иной раз, даже засидевшись у них дома, торопясь на метро, Яша все равно останавливался у тополя, поворачивался, как обычно, к окнам, махал рукой, а она махала в ответ и смотрела, как он шагает, пока не скрывался из поля зрения. Иногда загадывала: оглянется еще раз через три шага — сбудется. Он всегда оглядывался, а вот не сбылось... Отойдя от окна, Татьяна Алексеевна в растерянности остановилась посреди комнаты — непонятное волнение охватило ее: что-то она должна сделать. Что-то очень важное...

Татьяна Алексеевна села у стола, пытаясь сосредоточиться. С улицы доносился слабый шум. Быстрые шаги по коридору — соседка вышла пораньше. Хлопнула входная дверь. Резкий гудок автомашины. И сквозь все эти звуки она вдруг услышала тишину — глубокую, необъятную. Тишина эта манила, влекла к себе. Погрузиться бы в нее и обо всем забыть, но сначала — Яшины письма и бумаги. «Ну да, как же это я сразу...— подумала Татьяна Алексеевна.— Надо разобрать бумаги и письма, написать Яне, что и как... Разобрать основательно, не торопясь, а уж они сами подскажут, что следует написать Яне». Татьяна Алексеевна подумала об этом спокойно, мысли о смерти не было — она ведь давно собиралась разобрать старые бумаги, да все откладывала: тут требовался особый настрой, а сегодня как раз такой день...

Татьяна Алексеевна встала и вдруг почувствовала такую нестерпимую боль, будто кто-то ножом полоснул по сердцу. Она с трудом сдержалась, чтобы не закричать, пальцы ее судорожно вцепились в край стола. С минуту она стояла неподвижно, собрав все силы, чтобы не упасть. Когда боль немного отпустила, медленно, осторожно двинулась к кровати. Ноги не держали, все тело ослабло и стало тяжелым, к горлу подкатывалась дурнота. Все же она дошла и, вытянувшись на постели, нашарила правой рукой на ночном столике стеклянную трубочку с нитроглицерином. Достала таблетку, положила под язык. Стало немного легче. Татьяна Алексеевна тихо вздохнула и опять услышала вле-

кущую к себе беспредельную, невесомую тишину. Ей показалось, что она становится все легче и волны тишины вот-вот подхватят и унесут ее. «А как же бумаги, письма? Неужели не успею?— спросила она себя.— Но теперь уже все равно...» Она поймала себя на мысли, что освободилась от всех забот и тревог — они больше не волновали ее. Боль утихла, исчезло даже воспоминание о ней. Другое, неведомое ей раньше состояние глубокого покоя, умиротворения охватывало ее...

Вспыхнул солнечный свет, и она увидела голубое небо с радужными искрами и сокольническую церковь, уходящую своей вершиной с луковкой и крестом под самые облака. Татьяна Алексеевна увидела одновременно всю церковь, окруженную железной оградой, серый сухой асфальт под ногами (из трещин выбивалась молодая травка), булыжную мостовую, людей — все сразу и не удивилась этому, в мире, где она пребывала, все было возможно. Сама она шла от метро и остановилась на углу Песочного, на своей стороне, напротив церкви. За желтым угловым домом с обвалившейся штукатуркой, возле которого она стояла, высилась толстая кирпичная стена, обрушившаяся с одного края и кое-где вверху поросшая пучками травы. Стена эта существовала очень давно и отделяла деревянный домик, за которым росли пышные кусты сирени.

Как хорошо, что в этот солнечный день она опять увидела и церковь, и домик с кустами сирени, и стену, и мостовую! Но тут Таня почувствовала: что-то вдруг изменилось. Повернула голову — в перспективе переулка выросли огромные белые дома, которых тогда не было, а прямо перед ней открылся зияющий котлован, откуда два экскаватора большущими ковшами вычерпывали песок. Опять она оказалась в сегодняшнем дне, но не успела пожалеть об этом, как исчезли белые дома, котлован, экскаваторы, и снова появилась мостовая, мощенная крупным гладким булыжником, и тротуар в солнечных пятнах, на котором мелком были нарисованы классы, а она сама, маленькая девочка в цветном ситцевом платьице, скачет на одной ножке из класса в класс, передвигая камешек носком красной туфельки. Мама поворачивается к ней, и нет уже Песочного переулка, солнца, церкви, облаков, стены — только лицо мамы, ее большие темные глаза, пристально и печально смотрящие на нее. А сама Таня, в шинели и пилотке, подпоясанная широким ремнем, держит маму за руки,

мимо них проходят люди, и Таня знает, сейчас раздастся гудок паровоза, и она побежит к своей теплушке, и мама будет что-то кричать вслед, она обернется, но слов так и не расслышит. Однако ничего этого не происходит — и бежит она не к теплушке, а по улице за летчиком (Яша писал: «Нас беспрерывно бомбят, эх, рассчитаться бы с ними в воздухе...»), она недавно получила это письмо, и теперь ей показалось в какой-то миг, что летчик, идущий впереди, и есть Яша. Тане известно заранее, что ошибается (ведь это уже было), и все-таки догоняет летчика, заглядывает ему в лицо — и замирает: Яша! Улыбаясь, он протягивает к ней руки: «Ну вот я и дождался тебя!»— голоса Таня не слышит. Яша произносит слова беззвучно. «Как хорошо, что я увидела тебя, а то уже потеряла надежду...»—«Так и бывает: расстанешься с надеждой — приходит срок, все сбывается,— также беззвучно отвечает Яша.— Теперь все сбудется». Но Яши уже нет, и ничего нет, кроме тусклой матово-белой бесконечности, которая манит, влечет к себе. Сейчас невидимые, невесомые волны тихо подхватят и унесут ее с собой...

Печаль прощания в последний раз сжимает сердце Татьяны Алексеевны. «Яна,— шепчет она,— Яна...»— «Я здесь, мамочка, здесь, с тобой... Мама, мама, прости меня...»— голос Яны доносится из далекой, далекой дали. Татьяна Алексеевна с тихой улыбкой отвечает ей, говорит, что Яна ни в чем не виновата и не должна терзать себя и жалеть ее, потому что... Но губы Татьяны Алексеевны уже не могут произнести никаких слов, беспредельность подхватила и понесла ее все дальше и дальше от Яны.

Она летит, становясь все легче, а вокруг светлеет, разливается чистая, ясная синева, заполняет все, и внизу открывается залитый солнцем изумрудно-зеленый луг, усыпанный красными цветами, сверкающий каплями росы...

«Таня, мама, отец! Я вас очень люблю. Трудно умирать, но совесть моя чиста. Знайте это. Я ранен в живот, когда мы прорывались, погиб в атаке, на бегу — это хорошая солдатская смерть. Наши прорвались, деревню мы взяли, значит, умираю не зря. Я уверен, что мы победим, и всем будет хорошая жизнь. Эта война многому научит людей — они станут лучше, человеч-

ней. Как жалко, что я ничего не успел сделать, а столько было планов! Будь счастлива, Таня, с тем, кого полюбишь, а я тебя очень, очень любил и помнил о тебе каждую минуту своей жизни. Дорогие мои, будьте мужественны — это мой приказ. Сообщите в университет и друзьям.

Яша.

15.X.1941 г.

А письмо вам передаст мой верный друг, с которым мы шли рядом под пулями и бомбами с первого до последнего дня, прекрасный человек Саша Козырев».

30 декабря, приехав с первым утренним поездом в Сокольники, Яна в состоянии безысходности, не замечая ничего вокруг, поднялась на третий этаж своего дома в Песочном и тут только, как бы опомнившись, в нерешительности остановилась перед дверью квартиры. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы позвонить — ключ она потеряла вместе с сумочкой. Но в тот момент, когда, взяв себя в руки, Яна позвонила, непонятная тревога овладела ею. Едва поздоровавшись с соседкой, открывшей дверь, Яна побежала к себе.

Маму она увидела сразу — на кровати, неподвижно лежащей на спине с вытянутыми руками и закрытыми глазами, с белым, без кровинки, лицом. Яна бросилась к ней, взяла руку — она была холодная, безжизненная,— стала на колени, близко-близко заглянула в лицо и тут почувствовала, как мама прошептала: «Яна...»—«Я здесь, мамочка, здесь, с тобой...»— торопясь, заговорила Яна (только бы ты услышала меня, только бы услышала!), а ниточка обрывалась, обрывалась. «Жизнь моя, перейди, перейди!»— мысленно взмолилась Яна, держа холодную, недвижную руку мамы, с отчаянием понимая, что она отходит. «Мама, мама, прости меня...»— вырвалось у Яны в последний, угаданный ею миг...

Долго, долго не могла она шевельнуться, стоя на коленях у изголовья мамы, а когда встала, ощутила себя словно другим человеком, из которого вынули живую душу.

Горе это, так нежданно обрушившееся на нее одну всей своей тяжестью, заслонило другое, еще в полной мере не осмысленное ею, которое стушевалось, притаи-

лось на время, как бы стыдясь высказать себя. Происшедшее с Яной накануне и всего лишь час назад представлявшееся ей крахом всей жизни теперь отодвинулось, потерялось. Яна больше не думала о себе — все силы она собрала, чтобы выполнить свой долг по отношению к маме. Наверно, это и помогло ей выдержать все, что выпало на ее долю.

В то же самое утро, 30 декабря, вышел из дому Александр Акимович Козырев. Давно собирался он выкроить свободный денек, давно тянуло его заглянуть на свои Грузины, а тут и случай выпал: свадьба дочери. Денек этот образовался, а до двух часов, назначенных для церемонии в загсе, куда он должен был поехать вместе с молодыми, была куча времени, и Козырев отправился в путь.

Да, верь не верь, а Дуся, кажется еще позавчера игравшая в куклы, а вчера бегавшая в школу в коричневом казенном платьице, в фартучке и белом воротничке,— выходила замуж. Это вызвало удивление (при первом известии что-то вроде шока), потом недоумение, но все же факт оставался фактом, а как к нему относиться, радоваться или нет, Козырев не знал. Живя рядом с дочерью, он не замечал, как она взрослела, менялась, как все самостоятельнее проявляла себя, свой характер. Это было в порядке вещей, шло, накапливалось постепенно, изо дня в день, из года в год, ведь и он в то же самое время менялся, старел, не замечая ни новой седины, ни новых морщин.

Однако рано или поздно наступает момент, когда прошедшие годы вдруг обнаруживают себя и ты осознаешь, что стал совсем другим. Это произошло с Козыревым в тот день, когда впервые пришел к нему Сухарев. Сама история — находка папки Симовского и, главное, упорные розыски этого парня — потрясла его. И после разговора с Женей Козырев почувствовал, как что-то в нем сдвинулось. Первое его открытие состояло в том, что прошлое уже не отдалялось, а, наоборот, приближалось, виделось яснее. В сущности, началось это значительно раньше, только он не отдавал себе в этом отчета, как, впрочем, и в другом: незаметно изменилось его отношение ко многим вещам. Случалось, он с удивлением замечал, как то, что прежде его занимало, теперь оставляло совершенно равнодушным. Зато

обыкновенная жизнь в самых простых естественных проявлениях воспринималась с какой-то новой остротой. Уж не означало ли все это приближение к финишу? Все возвращается на круги своя... Но мысль, однажды мелькнув, больше не возникала: если и так, что с того? Да и кто скажет, чем мерить оставшийся путь?

Сейчас, с удовольствием вдыхая холодноватый бодрящий воздух, смягченный неярким зимним солнышком, Козырев вышел из тихих арбатских переулков через узкий проход мимо Щукинского театрального училища на многолюдный Калининский проспект. Только что выпавший снежок, слегка схваченный морозцем, приятно похрустывал под ногами. В широких промежутках между многоэтажными домами-башнями, возвышавшимися на противоположной стороне, сквозило по-зимнему белесое небо. Москва неспешно открывалась взгляду в поднимающемся на мост проспекте, в изгибе пересекавшего его Садового кольца, в бесконечном скоплении домов...

Денек начинался хорошо, и все было хорошо, потому что Дуся и ее Антон любили друг друга, но утром, когда он только проснулся, что-то неожиданно стукнуло в сердце,— нет, не боль, другое, словно темным своим крылом его коснулась чужая беда. Он прислушался к себе, но ощущение тревожного толчка прошло. Идя по Калининскому проспекту, Козырев вспомнил об этом и невольно подумал о двух немолодых и очень дорогих ему людях. Один из них, фронтовой товарищ, пенсионер, месяц назад уехал погостить к сыну в Ростов. Козырев проводил его до поезда, и они еще как положено выпили «посошок» на дорожку. А вот с Таней Новосельцевой он не виделся, не говорил по телефону, вероятно, больше полугода. Позвонить Тане для него было всегда непросто, многое поднималось в душе, когда он слышал ее голос, и не сразу входил Козырев потом в свою колею... Разумеется, это не оправдание, находил же он и время и силы раньше. Стареем, вот что, стареем. Но так или иначе, а его инертность непростительна, тем более что в последнее время мысли о Тане вызывали смутное беспокойство. Давно, давно Козырев собирался позвонить ей, встретиться, да так и не собрался. И хотя со слов Жени он знал, что Таня здорова, но стоило ему сейчас подумать о ней, как его охватила непонятная тревога. Инстинктивно Козырев ускорил шаг. Позвонить из автомата? Но автомата поблизости не

оказалось, и он продолжал свой путь. Тревога, вспыхнув, как бы погасла, оставив ощущение какого-то неудобства. Позвоню из дома, решил Козырев. С Калининского проспекта он машинально свернул на Садовом кольце направо и уже подходил к площади Восстания. Ноги сами несли его туда, к старым местам — на Пресню, к зоопарку, на Грузины.

Странное чувство охватило Козырева, когда он оказался на сравнительно тихой улочке своего детства и молодости, именуемой Малой Грузинской. Он бывал здесь несколько раз и после того, как женился, и потом, несколько лет спустя, когда сменил квартиру, и знал, что улица стала неузнаваема, и все же на одной стороне (другая сплошь застроена девяти- и двенадцатиэтажными башнями) сохранились и старые дома, тесно прижатые друг к другу, кое-где разделенные воротами, а то и просто маленькими тупичками. Там, подальше, среди них, за кирпичной выщербленной аркой, в глубине двора стоит и его трехэтажный домишко, не меняющийся, вечный, с облупившейся штукатуркой, скрипящими деревянными лестницами, с расшатанными перилами, крыльцом с тремя железными ступеньками, крытым железом, протекающим в дождь.

Теперь же с каждым шагом Козырев убеждался, что почти ничего не осталось от прежнего и на этой, долго не сдававшей свои позиции стороне. Новые дома почти напрочь вытеснили старые. Козырев и представить себе не мог, что так быстро, решительно пойдет на слом и этот последний кусочек. Он не узнавал, а скорее угадывал места, по которым шел. Вот переулочек — неужто тот самый? Ну, конечно, на углу молочная, существовавшая с незапамятных времен. Она все такая же, облицованная до второго этажа белым кафелем, только здание как бы стало поменьше.

Теперь близко. Совсем близко. Перейти переулочек, потом потянутся трех- и четырехэтажные дома.

Но никаких домов Козырев не обнаружил. На этом пространстве, оказавшемся не таким уж большим (а сколько народу жило!), раскинулась обнесенная невысоким забором строительная площадка, в центре которой возвышались выложенные желтым кирпичом первые три этажа будущего здания. Еще не принимая того факта, что дома его больше нет, Козырев прошел вперед (может, спутал место?) до перекрестка, потом вернулся назад, чуть ли не к началу Малой Грузинской,

миновал молочную и снова остановился возле строительной площадки, примерно напротив его уже не существующего дома — там как раз торчал подъемный кран. Приди он сюда три-четыре месяца назад, застал бы свой дом на месте и дерево под их окном, из которого мама высматривала его... Три-четыре месяца, а за ними целая жизнь! Время на глазах смывает последние островки прошлого, и никто, кроме него и, может быть, еще нескольких человек, уже никогда не узнает об этом доме, его людях, их жизни. Но в нем частичка ее останется до конца.

Постояв немного, Козырев повернул обратно, сделал несколько шагов и вдруг замер: вспыхнул иной свет, над крышей молочной заискрилась солнечная синева, теплый легкий ветерок, несущий запахи лиц и тополей, коснулся лица. Оранжево-золотая полоса упала на белый кафель молочной, стекло витрины, загоревшееся множеством зайчиков, на тротуар, высветлив его и как бы подняв над ним белесый, в золотых искрах столб пыли. И как раз в этот момент из-за угла молочной показалась Зойка и сразу попала в эту горячую оранжево-золотую полосу. Она быстро шла, улыбаясь, чуть откинув голову, еще не видя его. Рыжие волосы ее отливали начищенной медью, открытое ситцевое платье в красных цветах облегало тонкую фигуру, грудь, длинные худые ноги. Он очень хорошо видел ее лицо, блуждавшую улыбку, чуть прищуренные, посветлевшие на солнце глаза, совсем зеленые, неправдоподобно зеленые, длинную шею, выпирающие ключицы в вырезе платья...

Козырев не успел опомниться, как свет погас, не стало Зойки, пропало солнце и синева, хотя стоял он на том же месте, напротив молочной, как и тогда, в ожидании Зойки, если, конечно, все это было.

Было, было! Он смотрел, как она шла, торопясь, улыбаясь и откинув голову, и сердце у него колотилось и падало, и не верилось, что это его девчонка, которой он грубил, ломая фасон перед ребятами, напивался, когда вместе гуляли в одной компании, а она все терпела, потому что любила. Так продолжалось до его призыва в армию, а через год — война... Чего только не бывало с ним на фронте, а Зойку забыть он не мог: и осталась она в памяти, освещенная горячим солнцем, в своем платье с красными цветами, идущая к нему...

Такой, как увиделась сейчас.

Козырев вздохнул. Пора выплывать на поверхность. Пора — его уж, наверно, заждались. Он почувствовал неодолимую власть дня сегодняшнего с его заботами и привязанностями.

Дуся, Лиза — в них и в других людях продолжается его жизнь. Недавно, когда он работал за своим столом, к нему вошла Дуся, он поднял голову и невольно перевел взгляд с Дуси на фотографию, висящую на стене, где была снята, по-видимому, перед свадьбой его мать вместе с отцом. Как и полагалось, она сидела, серьезно и напряженно глядя перед собой, а отец, положив одну руку на спинку стула, чинно стоял сзади. Козырева поразило сходство Дуси с матерью, которой в ту пору, вероятно, было столько же, восемнадцать или девятнадцать: те же черты лица, то же выражение открытости, тот же наклон головы и пытливый серьезный взгляд. Дуся повторила его мать — в ней будто возобновилась угасшая жизнь. «Отвлекись, папочка, на минутку»,— сказала Дуся. Козырев кивнул. «Неужто,— подумал он,— в молодости мама была такая же красивая, легкая, тоненькая, как эта девочка? Конечно. У Дуси все это от мамы». «Так ты запомнил,— спросила Дуся,— если будет звонить Антошка, я пошла за хлебом, вернусь через пятнадцать минут».—«Да, да, запомнил»,— он хотел удержать ее, обратить внимание на фотографию, сказать, как она удивительно похожа на свою бабушку, когда та выходила замуж,— прямо вылитая бабушка, но не успел: бросив «так не забудь, я скоро», Дуся убежала. Сейчас Козырев подумал, что он непременно найдет удобный момент, чтобы сказать Дусе об этом. Она, вероятно, пожмет плечами, посмотрит на старую фотографию, улыбнется: «Неужели похожа?»— и заговорит о другом, о своем. Но когда-нибудь она, может быть, вспомнит его слова...

Прошагав свою улицу вдоль и поперек, Козырев вышел к Белорусскому вокзалу. Неожиданно почувствовал, что устал, махнул рукой проходящему такси. В машине снова толкнуло: Таня, Таня! Позвонить, как только приедет... Выйдя из такси, увидел у дома три черные «Волги», украшенные розовыми и голубыми лентами. Его уже ждали, чтобы поехать в загс.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

**Совинформбюро
Поражение немецких войск
на подступах Москвы**

С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву.

Противник имел целью, путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее...

До 6 декабря наши войска вели ожесточенные оборонительные бои, сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника и отражая его вспомогательные удары на истринском, звенигородском и наро-фоминском направлениях. В ходе этих боев противник понес значительные потери...

6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери...

После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов...

В итоге за время с 16 ноября по 10 декабря сего года захвачено и уничтожено, без учета действий авиации: танков — 1434, автомашин — 5416, орудий — 575, минометов — 339, пулеметов — 870. Потери немцев только по указанным выше армиям за это время составляют свыше 85 тысяч убитыми.

Сведения эти неполные и предварительные, так как нет пока возможности подсчитать, ввиду продолжающегося наступления, все трофеи...

Внизу под крылом показались пригороды Москвы — поселки, поля, дороги, куски темнеющего в снегу леса. Самолет не спеша разворачивался над аэродромом —

заснеженная земля медленно накренилась, поползла вверх. Самолет выровнялся, пошел на снижение... Интересно, приедет Яна его встретить? Скорее всего, нет: Домодедово далеко, да он так и не сообщил точный рейс, хотя узнать, когда из Мурманска прилетают самолеты, нетрудно и догадаться, что его самый ранний... Жаль, конечно, что не удалось дозвониться и сообщить номер рейса и время прилета, но все-таки, если сильно захотеть, можно, можно все узнать и самой. Женя представил себе фигуру Яны у двери в помещении аэропорта, через которую вливается поток пассажиров, как она стоит, вытянув шею, ища его взглядом, как улыбнется, когда увидит, потащит в сторону, поцелует быстрым скользящим поцелуем, возьмет под руку... А все-таки странно, что он так и не мог дозвониться ни по автомату, ни через междугородную. Очень странно. Он сидел на телефоне весь вечер, потом звонил ночью — и все впустую. Впрочем, мало ли что — мог квартирный аппарат забарахлить (такое случалось), а может быть, уехала ночевать к маме, в Песочный.

Нетерпение Жени возрастало. Он должен был как можно скорее рассказать Яне, что пережил, встречая атомоход — это чудо не двадцатого, нет, двадцать первого века, что происходило на пресс-конференции (не обошлось и без курьезов), о чем на следующий день они проговорили целых два часа со старшим помощником капитана. Но это — особый рассказ. Так просто, с ходу, к нему не подступишься. Между прочим, Константину (как-то незаметно перешли на «ты») тридцать шесть, а уже старший помощник (кстати, кандидат наук) уникального атомохода. Но это к слову. Умница, образован, мыслит смело, широко, ни черта не боится. Знаешь, Яна, видно, мы с ним на одну волну сели: он о себе всю подноготную выложил, а я о себе. И у него бывали моменты в жизни, заносило на поворотах покруче, чем меня,— всякого хлебнул... «Родная душа»,— усмехнется Яна. «Точно. Я ему тоже про себя — все как на духу. Молодец, говорит, правильно действуешь. Так и надо жить: линию свою держать. А когда прав — не отступать. Не бойся, что бока намнут, а то и по кумполу саданут — ничего, выстоишь, зато уважать себя станешь, характер приобретешь. А без характера, парень, никак нельзя: будь ты хоть бухгалтером, хоть капитаном, хоть журналистом... Мне, Яна, такие слова, сама знаешь, как были нужны, да еще от такого человека...»

Вот это и есть главное, что он скажет Яне, подробности потом — не все сразу. Эта поездка была ему нужна, как глоток свежего воздуха. Надо пробиться к настоящему делу — вот в чем штука. Он всегда это чувствовал, а теперь убедился еще раз, когда сам был занят делом и общался с людьми настоящего дела. Женя перебирал в уме слова, которые скажет Яне, но то, что он чувствовал, было больше этих слов. Ему казалось — он узнал нечто важное и этим знанием должен обязательно поделиться с Яной.

Женя, вертя головой, обегая взглядом толпу, двигался в потоке пассажиров к выходу из помещения аэровокзала. Яны нигде не было. Возгласы, поцелуи, шарканье шагов, нестройный говор. Толпа постепенно редеет. Женя выходит на улицу, поднимает воротник куртки, поеживается — московский морозец дает себя знать. Пожалуй, ждать нет смысла. Ясно, она не уверена, когда он должен прилететь, сегодня или завтра. Надо идти к электричке — это удобнее, чем на автобусе. А вдруг что-то случилось? Не с Яной — с ее мамой? Да нет, все проще: не знала точно, когда он прилетает, потому и не встретила. Сидит, наверно, сейчас в квартире и поглядывает в окно, не идет ли ее муженек родненький, а он, дуралей, глазеет здесь по сторонам. Женя поднялся на платформу — электричка уже стояла — и увидел спину идущей к билетной кассе девушки в темной шубке, ему почудилось — Яна. Скорым шагом догнал ее, поравнялся, заглянул в лицо (в ответ — недоуменный взгляд) — нет, не она. Девушка, отшатнувшись, пошла своей дорогой, а Женя вошел в вагон...

Тут ненадолго мы оставим Женю, ибо всего лишь несколькими минутами раньше приехал из Казани в Москву Юра Иванов, с которым мы давно не встречались, а другого случая увидеть его больше не представится.

В Казань Юра ездил по просьбе шефа оппонировать на защите кандидатской диссертации, которую сподобился написать один из видных тамошних производственников, генеральный директор крупного объединения, человек уважаемый, почтенный, в возрасте (слегка перевалило за пятьдесят), к науке, как таковой, однако, до сих пор не имевший прямого отношения. Для чего ему понадобилась степень — неизвестно, впрочем, не он

первый и, вероятно, не последний. Можно сказать даже, что возникло некое поветрие, когда люди, занимающие определенные посты, спешат обзавестись учеными степенями — то ли загодя готовят себе тихое местечко где-нибудь в институте или вузе, то ли из соображений престижа, имеющего, говорят, немаловажное значение в нашей жизни,— нам это неведомо. Ученое звание, утверждают знатоки, как приставка к должности придает ей больший вес, большую основательность — факт бесспорный. Да и то сказать, одно дело — просто инженер, имярек, и совсем другое — инженер и еще, к примеру, кандидат наук. Так или иначе, а казанский генеральный директор диссертацию свою защитил, чему не в малой степени способствовал московский оппонент Юрий Тимофеевич Иванов, произнесший на защите толковую речь, в которой убедительно раскрыл большое практическое значение работы диссертанта.

Авторитет головного академического института, стоящего за оппонентом, а в особенности его директора, крупного ученого, придавал доводам Иванова особую привлекательность, можно сказать, неотразимость. Кстати, в казанском институте, где защищалась диссертация, втихомолку поговаривали, что Юрий Тимофеевич Иванов не только ученик своего шефа, директора института, но его доверенное лицо, правая рука: без совета с Ивановым старик, дескать, вообще ничего не предпринимает, а уж что касается текущих дел, второстепенных вопросов, то он и вовсе передоверил их своему энергичному ученому секретарю. Узнай об этом Юра, он бы посмеялся (до сих пор входил в кабинет к шефу с некоторым внутренним трепетом), а потом, возможно, и призадумался бы... Однако нет дыма без огня: шеф действительно благоволил к Юре, и кто знает, может быть, со временем... Но не будем гадать.

В настоящий момент Юра, успешно выполнив просьбу-поручение шефа, в самом лучшем расположении духа вышел из вагона и ступил, как говорится, на родную московскую землю, то бишь перрон Казанского вокзала. Перед отъездом Юра позвонил в институт, чтобы прислали машину, и теперь глазами искал шофера. Наташке он нарочно ничего не сообщил, хотел нагрянуть неожиданно, эффектно, как рождественский Дед Мороз, с кучей подарков. На всякий случай он запасся даже ватной бородой и соответствующей

маской, но не решил еще, стоит ли представать перед Наташкой в таком виде.

Да, удачно он съездил, удачно! А ведь не хотелось зачинаться с этой дурацкой диссертацией, согласился, исключительно уступая настояниям шефа (ой, так ли?), ну, насчет «уступая настояниям...»— пожалуй, не совсем так, эта фраза для Натали. А если уж точно — ехать в самом деле не хотелось, но доверительная просьба шефа, как бы личное поручение, наполнило его гордостью. Это значило немало, что, между прочим, подтвердила поездка. Казанские товарищи и коллеги были сверхвнимательны и гостеприимны, показали массу интересного (ездить, кстати, надо почаще, сколько мы упускаем из-за нашей лени, нерасторопности! Ездить надо, ездить!). Сентенция сложилась сама собой, словно специально для завершения домашнего рассказа о поездке, однако ее следует бросить мимоходом, несколько иронически — не всерьез же, в самом деле, утверждать банальности! Тут Юру увидел шофер, молодой парень в усах. Юра махнул ему рукой: требовалась подмога, чтобы дотащить вещички до машины. Помимо его покупок, провожающие в последний момент сунули ему в купе какие-то свертки, которые он даже не успел посмотреть за дорогу.

— Домой, на Ленинский,— бросил Юра, садясь в машину. Он откинулся на сиденье, закрыл глаза. Шефа сегодня в институте не будет — он позвонит ему домой, доложит о результатах, в которых старик, очевидно, заинтересован. Что ж, пусть знает, на что способен его сотрудник по фамилии Иванов, пусть запомнит. Да, неплохо он съездил, совсем неплохо. Откровенно говоря, он и сам не ожидал такого эффекта от своего выступления на защите.

Неслыханный успех! Ну ладно, скажем скромнее: аудитория была покорена логикой, ясностью мысли, краткостью и красотой изложения. А ведь как-никак в основном присутствовали ученые мужи — их на мякине не проведешь. Конечно, конечно, авторитет его академического института, имя шефа — все это действует на психику, что и говорить, но оппонировал-то все-таки он! Речь произнес он, аплодисменты сорвал он! Ручку жали ему, благодарили его! Да, слава богу, есть чем поделиться с родной женушкой. А забавные казусы на банкете? О них стоит рассказать особо (расстегнет человек одну пуговицу на воротничке, расслабит гал-

стук — и готово, уже другой). Правду сказать, он тоже слегка перебрал, кое-чего и не упомнит, но некоторые моменты в памяти остались. Например, как он, слегка захмелев, расчувствовался и наговорил этому генеральному директору про его жалкую диссертацию такое (и талантливо, и смело, и ново, и, дескать, свой подход, свой взгляд на проблему), что тому аж неловко стало. Зачем он это сделал? Кто тянул за язык? Непостижимо! А ведь говорил с жаром, вроде бы совершенно искренне. Неужто лицедейство перешло в привычку? Ну что, в самом деле, ему этот генеральный директор, на кой ляд сдался? На случай — вдруг пригодится? Нехорошо, несолидно. Эдак себе дороже. Наташке про сей эпизод он, естественно, не расскажет. Умолчит. А ему урок: наперед речи, даже во хмелю, произносить с разбором.

Воспоминание о том, как он лобызался на банкете с генеральным директором и какие слова при этом говорил про его диссертацию, было Юре хоть и неприятно, но все же не могло испортить ему радостно приподнятого настроения. Прошло то время, когда подобные вещи, о которых он умалчивал в разговорах с Наташкой, мучили его, как говорится, мешали жить. С некоторых пор Юра перестал даже чувствовать внутреннюю неловкость иных своих действий, тем более что в случае сомнения наготове всегда находилось спасительное: иначе нельзя, не я — так другой... Зато все большее удовольствие приносило сознание возможностей — и не таких уж маленьких. Все-таки приятно было ощутить себя далеко не последней спицей в колеснице большого интересного дела, в которое вовлечено множество людей. Ну, а насчет науки, тут Наташка, пожалуй, была права: как сфера его самостоятельных исследований наука от него отдалилась — где уж там, дохнуть некогда, не то чтобы отключиться от текучки, сосредоточиться, подумать... Он занимается наукой как организатор. В эпоху НТР без организации, координации, взаимодействия, обмена информацией — и шагу не ступишь. Так что кому-то надо... «А лаборатория от меня не убежит,— утешал себя Юра, когда вдруг поднимались отголоски давнего спора с Наташкой,— вот уйду на покой, тогда...»

Машина неторопливо катила по улицам Москвы, шофер помалкивал. Юра без помехи предавался приятным размышлениям. Наташка, Наташка. Он представлял себе, как она обнимет его, и он, целуя ее, почувст-

вует ее дыхание, заглянет в глаза... А потом Наташка начнет разворачивать подарки, и ахать, и радоваться им, и одновременно сыпать свои вопросы, а он, отвечая, как бы иронически расскажет о шумных аплодисментах в свой адрес на защите (чего, между прочим, как правило, не бывает), о забавных происшествиях на банкете и своем успехе у местных дам — что было, то было... Да, если Наташка дома, на работу он сегодня не поедет — к черту! Вот только позвонит шефу, доложит что и как. И целый день вдвоем с Наташкой! А там воскресенье и — Новый год. Хорошо бы никуда не ходить, не напрягаться, встретить его дома и чтобы пришли Яна с Женькой — больше никто. Впрочем, если Наташка захочет, можно и закатиться куда-нибудь...

Открыв глаза, Юра обнаружил, что они давно уже едут по Ленинскому проспекту. «После перекрестка переходи в первый ряд,— сказал он шоферу,— будет поворот направо». Шофер молча кивнул.

Перекресток. Поворот направо. «Вон арка впереди, видишь? Заезжай туда». Машина въехала во двор и, обогнув маленький скверик, где была устроена детская площадка, остановилась у подъезда. Шофер, проявив добрую волю, помог погрузить вещички в лифт.

Остановившись перед дверью квартиры в окружении чемодана, набитого портфеля и связанных друг с другом свертков, Юра огляделся. Потом достал из портфеля длинную ватную бороду, маску Деда Мороза, нацепил их и позвонил — громко, весело, требовательно.

В подъезд своего дома Женя вбежал, в вестибюле умерил шаг. В абонементном ящике их квартиры что-то белело. Женя остановился, посмотрел — сквозь дырочки виднелся кусочек конверта и газета. Странно, что Яна не взяла ни газеты, ни письма. Впрочем, это была его обязанность, да к тому же, наверно, туда их только что бросили. Он себя успокоил, но все в нем слегка напряглось. Достав ключик, Женя открыл крышку, извлек белый необычного размера конверт без марки, с жирным прямоугольным штемпелем, а за ним — газету. Посмотрим дома, решил Женя, закрывая ящичек. Он не мог терять ни секунды. Кнопки вызова лифта светились красными огоньками — как всегда, занято, черт возьми! В ожидании Женя взглянул на конверт — и сердце у него сладко екнуло: на штемпеле четко стояло «Вест-

ник истории», и письмо было адресовано ему — тов. Сухареву Е. В. Надорвав конверт, Женя достал сложенный вдвое листок. Развернул, прочитал:

«Уважаемый Евгений Владимирович!

Сообщаем Вам, что разысканная Вами диссертационная работа Я. Симовского, написанная им под руководством академика В. А. Астаховой, принята журналом к публикации и планируется в одном из первых номеров следующего года. Мы хотели бы предпослать публикации, наряду с выдержкой из письма В. А. Астаховой, в которой дается общая характеристика работы, краткий очерк — не более десяти страниц на машинке — о жизни и героической смерти автора, погибшего в сражении под Москвой. Надеемся, что Вы возьмете на себя труд написать такой очерк, тем более что Вы располагаете необходимыми документами: письмами, записной книжкой Я. Симовского, свидетельством очевидца. Материал желательно получить в течение января. Ждем Вашего ответа.

Зам. гл. редактора Н. Коркин».

Вот так — черным по белому: «Принята к публикации. Надеемся, что Вы возьмете на себя труд...» И это ему не снится? «Надеемся, что Вы...» Женя снова перечитал письмо и потом еще раз — нет, нет, не снится! Значит, не зря его как током ударило, когда он открыл старую папку там, в книгохранилище, и потом потянуло наверх, в комнатку, где Симовский писал прощальное письмо Тане Новосельцевой. Выходит, не зря он пошел по этой дороге, мыкался, искал, сомневался, схлестнулся с Бляхиным, вылетел из журнала — все не зря! Вот Яна обрадуется! Она, может быть, главное действующее лицо. Если бы не Яна, неизвестно еще, как бы все повернулось, хватило бы у него сил довести это дело до конца. А если бы он не нашел папку — не увидел бы Яну. Тут все связано. Значит, теперь все будет хорошо!

В этот момент спустился лифт, раздвинулись дверцы, и вышла живущая на одном с ними этаже миловидная блондинка, кидавшая на Женю при встречах недвусмысленные взгляды. Как обычно, она выводила на прогулку черного пуделя, в нетерпении бросившегося вперед. Блондинка улыбнулась, слегка замешкалась, но пудель с лаем потащил ее за собой. Женя успел вскочить в кабину и нажал на кнопку своего двенадцатого этажа.

Стоя в поднимающемся лифте, он вдруг с мгновенной остротой ощутил значимость происходящего: в руках у него письмо, которым завершается целая полоса в его жизни. И с этой минуты начинается другая, потому что сам он уже другой: он поверил в себя — вот в чем вся штука! И теперь им с Яной сам черт не страшен. Только бы... «Нормально,— опять повторил он,— все нормально». Сейчас Яна откроет ему дверь, может, уже открыла, ждет на площадке — у них в квартире слышно, как идет лифт. Ну вот, наконец-то! С легким толчком кабина останавливается. Раздвигаются дверцы, Женю будто выталкивает какая-то сила. А дверь квартиры закрыта. Тишина.

Обитая коричневым дерматином дверь. Квартира номер 194. Тишина. Рука Жени тянется позвонить, но внезапно какая-то робость нападает на него. Некоторое время он так и стоит с поднятой вверх рукой, наконец, решившись, нажимает на кнопку. Раздается мелодичный перезвон — и снова тишина. Подождав немного, Женя жмет второй раз, третий, четвертый — звуки догоняют друг друга и тают, исчезают в углах пустой квартиры. Ну, что ж, нет так нет — они с Яной могли и разминуться. Все бывает: задержалась в магазине, в дороге. Женя достает свой ключ, открывает дверь, входит.

В прихожей почему-то горит свет. Женя бросает портфель, кидается в комнату. На пороге застывает. Смятая кровать, скомканные подушки, наполовину сбитое покрывало. Распахнутая дверца шкафа, тут же, у шкафа, ни к селу ни к городу как-то боком стоящий стул. С минуту, прислонившись к косяку, Женя, как в столбняке, смотрит на эту странную картину. Потом, еще ничего не понимая, следуя лишь смутной догадке, от которой все внутри у него холодеет, подходит к шкафу, открывает вторую дверцу: Яниных вещей нет. Пустая полка, пустые плечики.

Яна ушла, нет — убежала сломя голову! Что же произошло?

Как был, в куртке и в шапке, Женя опускается на стул, косо стоящий у шкафа. Комната медленно погружается в туман, перестает существовать... Женя не мог бы сказать, сколько времени просидел так, без движения, без мыслей, ощущая лишь тупую тяжесть, давившую на плечи. В какое-то мгновение ему почудилось — все это во сне. Стоит проснуться, как кошмар развеет-

ся. Он поднимает голову — и действительно, как это бывает после тяжелого сна, окружающие предметы постепенно обретают свои очертания. Вот она, их комната, из которой убежала Яна. Невероятно, чушь какая-то. Бред. А кто сказал, что убежала? Но перед ним стоял раскрытый, полупустой шкаф без единой Яниной вещи. Убежала. Произошло невероятное. И это не сон. А сам он в куртке в шапке, как приехал с аэродрома, сидит на стуле. Будто только-только очухался от удара, свалившего с ног. Такое с ним приключилось однажды — тогда первой мыслью было поскорее подняться. И сейчас тоже — надо подняться, прийти в себя. Ничего еще не известно. Мало ли что. Иной раз такое случается, что заранее и в голову не придет. Думаешь черт знает что, а на самом деле — все просто. Например, мама заболела, вот Яна срочно и уехала к ней. Допустим. А для чего тогда забирать все вещи? И потом должна же она была оставить записку, хотя бы два слова, предупредить, объяснить? Ну конечно, записка!

Женя встал, сбросил куртку, шапку, подошел к столу — и в первое же мгновение увидел чуть сдвинутый со стопки чистой бумаги наполовину исписанный лист. Крупными прыгающими буквами рукою Яны (хотя обычно она писала ровно) было набросано несколько строк. Женя взял лист и с одного взгляда прочитал записку. Еще не замечая слов, хода мысли, ухватил одно: произошло то, о чем он не решался даже подумать! Лишь с третьего раза, когда он заставил себя все прочитать медленно, слово за словом, до него дошло полностью содержание: «Женя, Женя! Со мной случилось несчастье. Хуже смерти. Но так случилось — и мы должны расстаться. Это моя вина, а тебя я люблю. Очень люблю. Не звони, не ищи меня — все равно я не смогу взглянуть тебе в глаза. Лучше забудь меня совсем. Навсегда».

Вот так. Виновата. Не сможет взглянуть в глаза. Бред, бред! Женя снова перечитал записку. И это все происходит наяву! Женя сел за стол. Стопка чистой бумаги, слева — исписанные страницы, ручка поперек листа. Как же так? Нет, не может быть! Он бросил взгляд на смятую кровать, на зияющий пустотой шкаф с распахнутыми дверцами. Оказывается — может! Бежать за ней, звонить в Песочный, объяснить, что все это дьявольские шутки, наваждение, ничего не было, померещилось? Найти, привести обратно — и точка!

«Не звони, не ищи...» Женя уже помнил записку наизусть, от слова до слова. Да, Яна знала, что он захочет сделать в первую минуту. «Не звони, не ищи...» Все знала наперед.

Кто же? Ясно кто — этот хлюпик, сыночек своего папочки, такой же стервец, кто же еще? Но как же могло это произойти? Ведь прошло всего три дня! Договорились заранее? Выходит, Яна обманывала его? Нет, невозможно! На это она не способна. Все — только не обман. Как же тогда, как? Да не все ли равно? Случилось. Ушла. Убежала без оглядки. Навсегда. Навсегда.

Женя встал из-за стола, его подмывало куда-то идти, бежать, что-то делать. Он бросился к двери, потом обратно, заметался по комнате. Куда идти? Что сделать, что предпринять? Надо обдумать, все трезво обдумать — и решить. Нет, так, на ходу, он ничего не придумает, нужно взять себя в руки, успокоиться. Женя снова заставляет себя сесть. Если бы знать, что же все-таки произошло! Да какое это имеет значение? Имеет, ответил себе Женя. Тогда бы, по крайней мере, было бы ясно, что делать. Теперь, когда прошел первый удар и первый взрыв, Женя попытался рассуждать более спокойно. Обман исключается. Все это обрушилось на нее неожиданно — тут сомнения нет. На что же она поддалась, на что? Не раз Яна говорила, что сломала Андрею жизнь, мучилась, жалела этого подонка. Может, он и взял ее на эту жалость?

Женя схватил записку. Он хотел своими глазами прочитать слова, которые подсказала ему память. «Женя, Женя! Со мной случилось несчастье. Хуже смерти». Вот что — несчастье, хуже смерти. Этот подлец прикинулся, обманул ее! Ясно, ясно как день. «Это моя вина, а тебя я люблю. Очень люблю». Только сейчас подлинный смысл записки, то, что таилось за словами, вся глубина отчаяния Яны стали открываться ему. Женя уже не сомневался, что угадал: пожалела, пожалела мальчика, страдальца бедного, а он не растерялся, свое взял! Он свое всегда возьмет, на том стоит, для этого родился, а на остальное ему плевать. «Это моя вина, а тебя я люблю. Очень люблю. Не звони, не ищи меня — все равно я не смогу взглянуть тебе в глаза...» Эх, Яна, Яна! Он читал записку — и слова все больше как бы поворачивались к нему другой, скрытой стороной, открывая то, что Яна хотела сказать, но не смогла. Записка стала огромной, лист заполнился до

отказа, слова на глазах бежали одно за другим. Женя не удивлялся, не отдавал себе отчета в том, что происходит,— он видел Яну, как она сидела на этом стуле у шкафа, бросая в чемодан свои вещи, а потом подошла к столу, опустилась на стул, взяла ручку, долго не могла начать. Он чувствовал, как отчаяние сдавило ей грудь, точно так же, как и ему сейчас, и пальцы не слушались, не держали ручку. «...А тебя я люблю. Очень люблю». Она считала, что не должна, не вправе написать это — и все-таки написала. Не смогла, не захотела солгать. Эх, Яна, Яна... Как же быть? Что делать? Не отступать. Сейчас он это понял — не отступать! «...А тебя я люблю. Очень люблю». Тут Женя подумал о письме из «Вестника». Неизвестно, какими путями пришла эта мысль, но в ней была надежда: папка Симовского привела его к Яне, а письмо ведь завершение всего, оно принадлежит им всем вместе — Татьяне Алексеевне, ему, Яне... В тот день, когда они в первый раз проснулись здесь, в этой комнате, Яна вспомнила, что сказала ей мать: «Время описало круг, все вернулось — только происходит с тобой. Это потому, что я сохранила любовь Яши...» Так сказала Татьяна Алексеевна, и Яна не забыла. Разве возможно теперь разорвать этот круг? Несчастье. Хуже смерти — вот что с ней случилось. И он ее бросит? Смирится?

Женя достал из кармана куртки письмо из «Вестника», положил на стол. «Надеемся, что Вы возьмете на себя труд написать такой очерк...» Вот он, этот очерк, на столе, почти готов — пачка исписанных листов слева. И записка Яны на стопке чистой бумаги. «...А тебя я люблю. Очень люблю». Все-таки написала это.

Женю потянуло к окну. Подошел, развернул шторы — в глаза ударил белый свет, ослепив его, но это длилось мгновение, потом он увидел чистое небо, бледно-голубое, почти белое, снег на крышах, без конца громоздящихся друг на друга, и далеко внизу, в просторном ущелье расступавшихся домов, плавно изгибающуюся реку проспекта Мира с медленно плывущими по ней автомобилями, автобусами, троллейбусами. Увидев все это, Яна вскрикнула и позвала его, он прибежал, но не хотел смотреть, зарылся в ее волосы, и уж потом, потом ему пришла в голову дикая мысль, блажь поклясться друг другу в вечной любви, как в старых добрых романах, устроить небольшой спектакль. А когда он начал произносить эти слова, а Яна повторять за

ним, ему стало не по себе. До последнего дыхания. До гробовой доски. Что бы ни произошло.

Слова, слова, слова. Глупо. Смешно. Но он хорошо помнил, как ему стало не по себе. Хорошо помнил само это чувство. И Яна испытала его тоже. Оба они вдруг ощутили: шутка шуткой, а про себя каждый повторил эти слова, как заклинание. Да будет так. Что бы ни произошло... Удивительно, что тогда ему пришла в голову эта фраза. Вот и произошло...

Внизу медленно текла река проспекта Мира. Медленно, нескончаемо. Весь поток шел мимо, огибая, оставляя в стороне его дом. Женя почувствовал озноб, отошел от окна. Что ему делать одному в этой пустой комнате? Тишина давила до звона в ушах. Надо решить, как действовать. Женя бросился на кровать, не успев лечь, вскочил, снова заметался по комнате. Бежать отсюда, бежать, пока он не сошел с ума от этой чертовой тишины, от молчания, от всего, что оставила Яна! Куртка лежала на стуле у шкафа с распахнутыми дверцами, шапка валялась рядом на полу, Женя успел надеть один рукав, и тут, прорвав тишину, зазвонил телефон. Женя схватил трубку, сердце его ухнуло вниз. «Да, слушаю»,— похолодевшими губами проговорил он без голоса. «Приехал, здравствуй! Как съездил? Все у тебя в порядке? Сделал, что надо?» Женя молчал, а мать бодро, а потом чуть встревоженно сыпала свои вопросы. «Здравствуй, мама. Съездил хорошо. Все в порядке. Как ты?» Но Галина Васильевна уже учуяла что-то: «Не нравится мне твой голос. Говори, что стряслось?»—«Ничего не стряслось. Я же сказал,— раздражаясь, ответил Женя.— Ничего. Ровным счетом ничего».—«Женя, сынок, прошу тебя... Рассказывай, не бойся...»—«Ох, мама, надоело. Я ведь, кажется, русским языком говорю!»—«Нет, Женя, что-то ты скрываешь. Меня не проведешь. Ну, говори, я слушаю».—«Да слушать нечего. Яны нет, убежала. А так все хорошо, прекрасная маркиза...»—«Поссорились?»—«Да нет, просто убежала».—«Только и всего? Прибежит, не волнуйся. Наверно, ищет тебе подарок. Сейчас перед Новым годом в магазины не пробиться».—«Подарок она уже преподнесла».—«Значит, просто задержалась где-нибудь. А тебе, между прочим, письмо из твоего журнала. Да, да, в котором ты больше не работаешь».—«Приглашают на пост главного редактора?»— мрачновато пошутил Женя. Ну, что еще там? Плевать

ему было на этот журнал, на Ожогина, Михаила Петровича — на всех. «Не звони, не ищи меня — все равно я не смогу взглянуть тебе в глаза». У него уже есть одно письмо — от Яны, хватит с него. И еще — из «Вестника». Яна, «Вестник». Круг замкнулся. «Что же ты замолчал?— продолжала мать.— Тебя не интересует содержание письма?»—«Нет, представь себе».— «И все-таки я прочту. Оно коротенькое и, по-моему, из области курьезов.— Не дожидаясь согласия, Галина Васильевна прочитала:—«Уважаемый Евгений Владимирович! Извините, что так долго задержали ответ. Рецензент, который читал ваш очерк, заболел, попал в больницу и только сейчас смог дать свое заключение. Мы считаем, что ваш очерк ставит важные проблемы, написан живо, с достоверными подробностями. Однако у нас есть ряд серьезных замечаний, по которым предстоит немалая работа. Приходите в редакцию для разговора.

С. Махов».

Ну как?— спросила Галина Васильевна.— Забавно, не правда ли? Ты работал в этом отделе, очерк лежал у рецензента, а рецензент в больнице. А потом он написал заключение и ответ, не обратив внимания на твою фамилию».—«Да, все так и было, как ты говоришь, мама,— ответил Женя.— Молодец, распознала механику. Круг замкнулся». Ему вдруг стало так тошно, что он чуть не бросил трубку. Круг замкнулся, мысленно повторил он, а теперь надо начинать сначала: идти в Песочный и увидеть в окне Яну. «Это моя вина, а тебя я люблю. Очень люблю...» Женя как сел на кровать с курткой, надетой на одно плечо, так и остался сидеть. «Ну вот, Женя,— заключила Галина Васильевна,— объективный отзыв. По-моему, это должно укрепить твою веру в свои силы. Так что особенно не огорчайся: все образуется, вот увидишь».—«Твоими устами...»— «Да, да... До завтра, Женя. Смотри же, я вас жду. Не волнуйся, прибежит твоя Яна, никуда не денется»,— на другом конце провода щелкнул рычажок и раздались гудки. «Не звони, не ищи...» Ну, уж нет! Женя опустил руку с трубкой, но забыл ее положить — так и сидел, не двигаясь, уставившись в одну точку. Какие-то неясные образы, как тени, возникали перед ним, уходили, не оставляя следа...

Опомнился неожиданно, будто от толчка. Положил трубку, встал, надел куртку, шапку, огляделся. Оставаться здесь он не мог. Нужно было идти. Куда? Он еще не знал. У дверей Женя остановился: что-то он хотел сделать, но в последнюю минуту забыл. Что-то очень важное. Вспомнил. Подошел к столу, взял записку Яны, сложил вчетверо, сунул в боковой карман, повернулся — и вышел из комнаты.

Но мы не последуем за ним, ибо все, что в дальнейшем произойдет с Женей,— уже другая история, другой роман, а наш подошел к концу.

*1978—1982*

# ПОВЕСТИ

# МАЙСКИЕ ВЕТРЫ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Полк, где служил старшина Дежков, был в первом эшелоне январского наступления трех фронтов, получившего название Висло-Одерской операции. Дежков не мог знать ни масштабов, ни целей этого жесточайшего сражения, которое началось на берегах Вислы, а через двадцать три дня завершилось форсированием Одера в семидесяти километрах от Берлина, но он знал, что война неотвратимо катилась туда, где должна кончиться.

Фронт стремительно отодвигался все дальше на запад от польской деревеньки, где полк Дежкова, обескровленный в первые дни прорыва долговременной обороны немцев, получил приказ остановиться, чтобы пополниться людьми и вооружением, и сейчас сюда даже не доходил глухой гул сражения, как это было несколько дней назад, лишь чуть в стороне, по шляху, шли и шли войска второго эшелона.

Старшина понимал, что могло означать такое быстрое продвижение огромной массы войск. А ведь немцы со всей своей техникой, которой они нагнали сюда видимо-невидимо, хотели намертво вцепиться в землю на этих рубежах, защищавших их собственную территорию. Выходит, не устоять им теперь, и как ни поворачивай, а войне скоро конец. И город Берлин не за горами, не за морями. А то, что Гитлера надо достать в самом Берлине, в его логове,— в этом лично он, Дежков, не сомневался.

Мысль о скорой победе, однажды возникнув, уже не покидала его и вызывала другие, которые раньше он гнал от себя, чтобы не затосковать, но теперь здесь, в деревне, хоть в польской, а все ж в деревне, он уже не мог с собой ничего поделать. Днем еще так-сяк, ему и поесть-то было недосуг (известное дело — на попол-

нении у солдата считай что отдых, а у старшины хлопот полон рот), а вот ночью... Лежа без сна, попыхивая цигаркой, старшина вспоминал Чистозерск, залитый горячим степным солнцем, свой дом, поставленный им чуть на отлете, возле тополиной рощицы, где люди начали строиться лишь перед самой войной. И то ли это было, да быльем поросло, а теперь вот вспоминалось, то ли фантазия такая, а только чудилось ему, будто видит он сквозь сон, как жена, Надежда, намыливала сидящую в корыте Маришку и так складно приговаривала что-то — то ли для себя, то ли для Маришки,— и он будто чувствовал особенный теплый парной запах ребенка, и мыльной воды, и натопленного дома...

Но об этих ночных мечтаниях старшины в роте никто и помыслить не мог, да и сам он, если вправду сказать, удивлялся и корил себя — да что поделаешь? Ночью человек над собой не волен, хоть приказывай себе, хоть не приказывай — все одно... Видно, устал от войны. Большая эта война, огромная, без конца и края, а тут край обозначился...

Удивлялся себе Василий Андронович не напрасно: был он человек строгий, можно сказать, суровый. И наружностью. И характером. Сухой, жилистый, ростом невелик, чуть выше среднего, зато широкий в кости. Запоминалось его лицо, темнокожее, с резкими чертами, словно обточенное ветром и подсушенное солнцем, и светлые, чистой воды зоркие глаза.

Действительную Дежков отслужил еще в тридцать шестом на Украине. А как вернулся на свою Кулунду, в Чистозерск, женился, и поставили его бригадиром в колхозе... Да было ли все это? Утром, когда опять приказывала война, прошлая, довоенная жизнь отходила и от большого расстояния как бы уменьшалась в размерах и покрывалась рябью, будто смотришь на нее издалека — на нее и на себя самого, только другого, довоенного.

Об этом и думал старшина, проснувшись засветло. Он лежал, неторопливо курил, смотрел, как под потолком медленно растекается синеватый дымок. Но время шло к подъему, и пора было вставать. Пока старшина одевался, мысли его приняли привычное направление, которое дала им война, ее заботы.

После завтрака, обойдя хозяйство роты и проверив, все ли идет как положено, Дежков направился к командиру за указаниями. Он не торопясь шел по за-

снеженной улице села, полной грудью вдыхая чистый морозный воздух, в котором чуялся горьковатый, всюду одинаковый домашний запах дымка. Война войной, а печи надо топить и хлеб надо ставить.

Утро выдалось солнечное, ясное, с радужными искорками, какое в Сибири бывает в марте, когда отшумят метели и уже чувствуется — зима пошла на убыль. Вот и весна скоро, подумалось Дежкову. Еще одна весна...

Подходя к дому, где жил командир, старшина услышал далекий гул. Он остановился, снял шапку. «Так и есть, наши летят,— определил он по звуку.— Давайте, ребятки. Всыпьте ему, чтоб издох поскорей». О фашистах Василий Андронович всегда говорил в единственном числе, хотя повидал всяких — и солдат и офицеров. Но для него все они были на одно лицо. А гул уже превратился в ровный рокот, и вот, сверкая красными звездами, в голубом бездонном небе показались наши самолеты. Дежков, по фронтовой привычке, быстро сосчитал их.

Они летели широким растянутым клином — тупым углом вперед, шесть штурмовиков, «горбатых». А над ними по двое впереди, справа и слева шли верткие «ястребки».

Так, удовлетворенно отметил про себя Дежков, шесть и шесть. Попробуй сунься. Это тебе не сорок первый. Он-то знал, что это такое, когда над тобой все они — с черными крестами на крыльях. Когда видишь, как отрываются от них черные капли, и бежишь из колонны, с дороги, глотая горячий воздух с пылью, бежишь, чтобы ткнуться в траву, и вдавиться в нее, и ждать, когда надвигающийся, раздирающий душу вой столкнется с землей и вся она вздрогнет и разорвется со страшным грохотом, готовая поглотить тебя. Их много, и некому остановить их. Вой мешается с ревом и грохотом, и ты теряешь счет времени. А когда поднимешь голову, сквозь огонь и дым, сквозь черные тучи, наползающие на солнце, увидишь другие самолеты, тоже с крестами на крыльях, и они на бреющем будут расстреливать тебя из пушек и пулеметов и погонятся за тобой, если ты побежишь. А наших нет и нет, и ты не помня себя, в бессильной ярости, лежа на спине, бьешь из винтовки...

Самолеты пронеслись и скрылись, а он все стоял, прислушиваясь, пока не стих удаляющийся глуховатый

рокот. Потом глубоко вздохнул, надел шапку и вошел за ограду дома, где разместился командир со своим заместителем. Строго взглянув на часового, пританцовывающего на крыльце, открыл дверь.

Командир роты старший лейтенант Кравцов, худой, со впалыми щеками, хотя и молодой, но с нездоровым, желтовато-пергаментным цветом лица, сидел за столом, низко склонившись над бумагами. Только сейчас Дежков почему-то обратил внимание на седину, пробивавшуюся в коротко остриженных русых волосах его командира, и подумал о том, как трудно достается человеку война. Конечно, от такой войны в сторону не отойдешь — совесть не позволит. А все лучше этому учителю из самой Москвы сидеть где-нибудь в штабе дивизии, а то и армии, планировать операции или там разведданные собирать. А он и в атаку ходил, и под огнем полз, и на марше замерзал, и голодным сидел — всякого хлебнул со своей ротой. И не жаловался, и снисхождения к себе не имел. И то ли ночные мечтания размягчили сердце Василия Андроновича, то ли оттого, что утро выдалось такое славное, чистое и солнечное, с краснозвездными самолетами, летящими туда, за Одер, да только захотелось ему сказать командиру что-то хорошее, подбодрить, поддержать: ничего, мол, выдюжишь, потерпи маленько — теперь-то уж скоро...

Командир против обыкновения выслушал рапорт до конца и, сурово (а может, показалось?) взглянув на старшину, предложил сесть. Кравцов давно оценил спокойное мужество и хозяйственную сметку Дежкова и втайне считал, что такого старшину послал ему сам господь бог. У этого твердого, рассудительного сибирячка всегда был наивозможнейший на войне порядок, а ученого учить — только портить. Но на этот раз он изменил своему обычаю и произнес краткую наставительную речь.

Дежков решил, что старший лейтенант получил нагоняй от начальства, которое на пополнении и формировании становится до крайности придирчивым. Суть его указаний сводилась к тому, чтобы людей не распускать и чтобы по бабам — ни-ни.

— Ты, Василий Андронович, без либерализма. Никаких поблажек,— закончил он свою речь, хотя прекрасно знал, что уж в чем в чем, а в либерализме старшина не грешен.— А то, знаешь, себе дороже. Вон Ла-

дейщикову из-за ерунды два наградных листа завернули.

Что это за «ерунда», старший лейтенант не счел нужным уточнять, но Дежков понял и без объяснений. Выговорившись, командир вздохнул с облегчением. Ясное дело, указания свыше надо выполнять, на то и армия. Вот он и выполнил. Но в том, как все это говорилось, в самом голосе Кравцова старшина уловил отзвуки своего настроения, возникшего, когда он смотрел на наши самолеты в голубом солнечном небе и вдыхал особенный, утренний, с дымком воздух, в котором уже чуялась скорая весна.

Командир и не думал скрывать своего сожаления, что капитану Ладейщикову «из-за ерунды» завернули два наградных листа. И то верно: не пустым же домой приходить, если честно воевал. «Будь моя воля,— подумал Дежков,— я бы, как кончится война, каждого солдата наградил — за то, что смерть переборол, что тонул, да не утонул, что мерз, да не замерз, в огне горел, да не сгорел. Ведь кто живой останется, тому жить...»

— Так-то, Василий Андронович,— помолчав, прибавил командир. Спросив для порядка, все ли ясно и есть ли вопросы, он отпустил старшину.

Минут через тридцать, когда Дежков находился у автоматчиков, он снова услышал приближающийся рокот с другой, западной стороны. Он вышел на улицу и увидел возвращающиеся с задания штурмовики в сопровождении истребителей. Самолеты, похоже, были те самые, утренние, только было их всего три. Где же остальные? А истребителей — четыре. Не шесть, а четыре. Неужто такие потери — три ИЛа, два «ястребка»? Восемь ребят — целое отделение!

Старшина не раз видел, как это бывает. Как пламя схватывает самолет и он, потеряв управление, с воем несется вниз, оставляя дымный хвост. Потом взрыв — и с земли вздымается огонь и черный дым... И у Дежкова заныло сердце, словно он знал этих ребят, хлебал из одного котелка, стоял рядом в окопе, готовый по сигналу вместе с ними рвануться вперед. Сколько их пало — даже имен не упомнить. Но вдруг, когда не ждешь, в памяти всплывает молодое лицо и тот бой... Война есть война, а все к этому не привыкнуть. Василий Андронович вздохнул. А может, не все погибли?

Кто сел на вынужденную, кто с парашютом выбросился. Всякое случается...

Самолеты давно улетели, но в воздухе еще стоял тонкий прерывистый звон. Тонкий-тонкий. Да это уж и не самолеты — звенит тишина. Будто и не было ничего. Там, в бездонной, без конца и края, вышине, не остается следов — она все поглотит, все смоет.

Старшина собрался было идти, но что-то его остановило, вроде послышался гул какой-то... Или показалось? Нет, теперь он уже явственно различал далекий рокот. Все ближе, сильнее. «Ну да, те самые ребята и летят, те самые,— обрадовался Василий Андронович.— Просто отстали малость. Бывает». И верно: в слепящей голубизне, сверкая звездами, показались два «ястребка» и начали со снижением разворачиваться над деревней, а в следующий миг он увидел как бы летящий с горы штурмовик, оставляющий дымный хвост, и над ним в глубоком вираже еще один. Старшина успел заметить, как несущийся прямо на лес штурмовик с черной полосой дыма за собой изменил направление и, едва не задев брюхом верхушки сосен, плюхнулся в снег, подпрыгивая, прополз еще несколько метров и остановился.

Дежков, увязая в снегу, побежал к нему через поле, напрямик. Над ним пронесся второй штурмовик и с разворотом ушел вверх.

Старшина что есть силы бежал к самолету, по самые крылья провалившемуся в снег, а штурмовик и два истребителя продолжали кружиться над деревней.

* * *

Солнце поднялось уже высоко, и самолеты сверкали в его лучах. В чистом воздухе ни одного пятнышка. Мерный гул моторов сливается с тишиной голубеющего неба. Но Борис знал, как обманчивы эти ясные солнечные просторы и как далеко видна их ровно идущая шестерка с висящими над ними ЯКами.

Внизу было все бело, и на белом бесшумно плыли удлиненные тени самолетов.

— Внимание. Подходим к линии фронта,— услышал Борис голос командира. Голос, как всегда, был спокойный, с легким, еле уловимым акцентом.

Слева обозначился лесок. Деревушка. Развилка дорог.

Борис взглянул на карту — скоро.

— Увеличиваем скорость. Держать строй.

Борис дал газ, оглянулся на ведомого. Когда он слышал голос командира в воздухе, ему казалось — командир рядом. И все видит. И поможет, как это было тогда, в первый тренировочный полет в зону. Борис только пришел в полк и хотел показать, что кое-чему его научили. Взлетев и набрав высоту, он на боевом развороте так круто заложил глубокий крен, что не успел поддержать скорость и сорвался. Мгновенно, уходя и надвигаясь, земля закрутилась вокруг него. Что-то оборвалось в нем — штопор. И тут он услышал спокойный голос командира, там, на земле, руководившего полетами. Командир напомнил, как выходить из штопора. Несколько слов, спокойный, властный голос.

Так. Хорошо. Командир будто видел, что он делает в кабине. Еще мгновенье — и в падении что-то начало меняться. Так. Хорошо. Голос был спокойный, твердый. И вот уже земля надвинулась снизу и справа. Выравнивай. Так. Борис еще не успел понять, только почувствовал — вышел из штопора.

Всего три витка, но, ощутив устойчивость горизонтального полета, Борис словно впервые увидел ровное сияние света вокруг и землю внизу с легкими скользящими тенями от облаков; словно впервые услышал радующий сердце чистый, звенящий голос мотора — и испытал то ликующее чувство свободного полета, когда машина заодно с тобой, верна и послушна малейшему движению.

Земля, чуть покачиваясь, переливалась зеленым, желтым, синим и тоже, послушная ему, поворачивалась под крылом и поднималась, окунаясь в безбрежную голубизну.

Воспоминание это вызвало давнее и сейчас же ушедшее ощущение. Оно лишь коснулось Бориса. Мелькнуло — и исчезло. Прибавить обороты, держать строй. Это означало — скоро.

Но все происходит не так, как ждешь. Командир молчал, и сам он не увидел ничего. Увидел Димка, его стрелок, одновременно, а может, на секунду позже ЯКов, которые шли выше их. Когда Димка крикнул: «Мессеры!» — и Борис оглянулся, два ЯКа, один справа, другой слева, открыв огонь с дальней дистанции, шли с набором высоты, видимо, наперерез «мессерам». В ту же секунду застучал Димкин пулемет. Ясно, «мес-

серы» пикировали сзади, со стороны солнца. Сколько их?

— Рви вправо!— крикнул Димка.

Борис мгновенно сработал рулями, и самолет резко ушел в сторону, сразу же (промедли он хоть секунды!) выше и слева от него пересеклись рваные дымные полосы — следы «эрликонов». В следующий миг ЯКи взмыли свечками, чтобы атаковать «мессеры» с высоты, но и те, почти одновременно (вот когда Борис увидел их) по двое в каждую сторону, ушли боевым разворотом. Так. Сейчас там начнется чертова карусель. Два наших — четыре «мессера». Но у наших высота.

Где командир? Взгляд выхватывает впереди и чуть в стороне два силуэта. Борис дает газ, но ему снова приходится маневрировать по командам Димки. Еще одна атака с хвоста. Теперь заработали пушки его ведомого Николая. Два «мессера», боясь напороться на огонь Николая, отвернули и один за другим проскочили вперед.

В натужном реве мотора слышится стремительный горячий перестук Димкиного пулемета. Частые короткие очереди — заградительный огонь. Ага, пауза. Значит, отвернули. Длинная очередь — прицельная. И вторая, наверное, вслед.

Сквозь потрескивания в шлемофоне прорываются отрывистые команды ЯКов — они крепко сковали «мессеров», хотя тех, видно, намного больше. Теперь главное — не оторваться, не отстать. Взгляд через плечо — ведомый сзади, метрах в двадцати. Молодец, Коля, молодец.

Внизу, на земле, сверкают разрывы, бой истребителей идет с нарастающим ожесточением. Слегка качнув крыльями (Коля, внимание!), Борис прибавляет обороты. Командир и его ведомый приближаются. Далеко позади и ниже их Борис видит два других ИЛа — здорово же они отстали.

— Идем к цели! Идем к цели! «Семерка», подтянись!— Голос командира раздается в самый нужный момент, спокойный, ровный голос.

Отставшая «семерка» рвется на высоту, ведомый за ней, сейчас они подстроятся, но командир опять вырывается вперед. Он идет почти на предельной скорости. И все же понемногу широкий растянутый клин восстанавливается. И стрельба отдаляется. От «мессеров» оторвались — ЯКи вцепились в них намертво.

Командир меняет направление — солнце остается в хвосте, но заметно смещается влево. Скользящие тени самолетов на снегу косо вытягиваются. Командир идет вверх — тяжело нагруженный самолет медленно набирает высоту. Борис то и дело проваливается — все труднее дается каждый метр.

— Цель впереди по курсу,— раздается команда,— приготовиться к атаке. Начинаем маневр!

Впереди возникают темные пятна разрывов. Их так много, что они сливаются — сплошная стена заградительного огня. Командир с ведомым, маневрируя, уплывают вправо, потом влево. Над ними сразу же повисают светло-серые хлопья. Борис размашисто, как это делает командир, бросает самолет из стороны в сторону. Но разрывы неотступно следуют за ним — ближе, кучнее.

Он у них на виду, весь на виду. Колющий холодок медленно разливается в груди. Грязно-серые хлопья вспухают со всех сторон. Резким скольжением Борис меняет высоту — темное расползающееся пятно мгновенно возникает над ним. Ушел все-таки. Но дымные шапки опять появляются рядом, источая едкий проникающий запах, от которого подкатывает тошнота. Запах гибели. Он уже вьется в кабине, опутывая, обволакивая, перехлестывая...

— Маневр! Маневр!— властно требует голос командира.

Борис снова — в другую сторону — уходит вниз, под разрывы, и только теперь сразу за лесом видит цель — стоящие в два ряда двухмоторные «юнкерсы» с черными крестами на крыльях и фюзеляжах. К дальней кромке взлетного поля, где возвышается белое здание, ползет бензозаправщик. Остальные, видно, успели убраться. С той стороны беспрерывно сверкает огонь зениток.

— Внимание! Атака! Атака!

Самолет командира впереди уже вошел в пикирование. Борис на боевом курсе. Он идет в сплошных разрывах, но маневрировать нельзя. Еще немного. Чуть-чуть! Пронеси! Едкий запах закручивается вокруг него. Запах гибели. Медленно надвигается поле с самолетами. Еще немного! Пора! Борис опускает нос самолета, впивается глазами в сетку прицела. Бомбардировщик с крестами быстро растет и уплывает вправо. Дово-

рот —«юнкерс» почти в перекрестье. Еще доворот — самый раз.

Борис жмет на гашетки — из-под крыльев вырываются эрэсы. Очереди из пушек и пулеметов. На земле сверкают разрывы, вспыхивает пламя.

Самолет с ревом несется вниз, со свистом распарывая встречный воздух. Высота — восемьсот пятьдесят. Восемьсот. Аэродром стремительно увеличивается. Семьсот пятьдесят. Семьсот. «Юнкерс» заполняет кольцо прицела. Отчетливо видны черные кресты с белой обводкой. Шестьсот пятьдесят. Еще чуть. Шестьсот. Ну! Борис жмет на кнопку сброса бомб — самолет вздрагивает от толчков, бомбы летят на цель. Мощный взрыв. И сразу за ним еще один. Взгляд назад: там, где стоял бомбардировщик, столб огня и дыма. Пламя бушует еще в трех местах — работа командира и его ведомого. Сзади пикирует Николай, и уже опустил нос еще один штурмовик.

Впереди за аэродромом — лес. Верхушки сосен почти на уровне глаз. «Горкой» Борис проскакивает через лес, ищет взглядом командира. Сверкающие трассы несутся вслед, пересекаются, обгоняют его. Прямо перед ним повисают разрывы снарядов. Борис резко уходит боевым разворотом.

Командир оказывается выше и слева — маневрируя, он набирает высоту.

— Повторная атака! Повторная атака!

Видимость никуда — все небо в черных расползающихся пятнах и полосах. Еще один круг в кольце разрывов. Оно все сжимается, будто он сам притягивает эти грязно-серые хлопья.

Оглушительный хлопок над ухом — самолет встряхивает. Острый запах тонкой петлей захлестывает горло. Самолет заваливается на крыло. Борис мгновенно срабатывает рулями. Выровнялись, кажется. Выровнялись. В левом крыле рваная дыра, но машина послушно идет вверх. Все хорошо, надо только придерживать ее, чтобы не валилась.

— Жив?!— Голос Димки срывается на крик.

— Порядок. Идем на второй круг.

Внизу полыхает пламя. Черный дым густыми клубами заволакивает аэродром.

Командир уже снова в атаке. В наплывающей черно-бурой клубящейся массе просвет, в котором обозначается распластанный на земле «юнкерс». Борис резко

опускает капот машины. Встречный ветер со свистом бьет по бронестеклу. Вспышки огня впереди, на земле, слепят глаза. «Юнкерс» в перекрестье снова заволакивает дымом. Рядом вырывается столб огня, один за другим на земле рвутся снаряды — самолет командира «горкой» выходит из атаки и скрывается за лесом. Ветер сбивает пламя — теперь Борис видит, как стелется дым, и доворачивает вправо. Огонь вырастает, разгорается ярче, краснее. В прицеле серая дрожащая дымная пелена с неровной расширяющейся полосой просвета. Там почти в перекрестье —«юнкерс». Еще довернуть. Высота пятьсот пятьдесят. Самолет несется в красном накаленном воздухе. «Юнкерс» в центре перекрестья — Борис жмет на гашетку. Успел!— в прицеле опять сплошной дым. Взрыв сотрясает воздух. Борис вырывает машину из пикирования, его подбрасывает взрывной волной; «юнкерс» пылает как факел. Снова «горка», разворот — и вдруг взрыв, будто молотком по бронекапоту, самолет проваливается, лицо обдает брызгами. Борис подбирает ручку — рули действуют, самолет ползет вверх, но начинает расти температура воды, заколебалась стрелка давления масла.

Сколько протянет двигатель — минуту, две, пять? До Одера — там линия фронта — минут восемь — десять. Борис сбавляет обороты, чтобы не перегружать мотор, и сразу же его ведомый, Николай, проскакивает вперед.

Борис карабкается вверх — нужна высота, побольше высоты, чтобы спланировать, когда заглохнет мотор. Когда заглохнет... Теперь главное, единственное — оттянуть этот момент. Выиграть минуту, две. А то три или четыре. Дотянуть до своих.

Натужно, из последних сил ревет мотор, самолет срывается, проваливается, но высота все-таки понемногу растет — еще, значит, живем.

— Сбор! Сбор! Сбор!

Голос командира будто помог увидеть его самолет слева, далеко впереди. Маневрируя, скрываясь в черных расползающихся полосах дыма и опять появляясь, он шел от аэродрома — прямо на солнце, и теперь оно било в глаза зенитчикам и слепило их. Борис хорошо видел уменьшенный расстоянием силуэт его самолета, как бы ответно вспыхивающего, когда на него падал солнечный луч. Ведомые рвались к командиру — их швыряло по волнам, вскипающим черной и грязно-се-

рой пеной, но все же они быстро сократили разрыв и уже подстроились к ведущему. Один. Второй. С командиром три машины. Не четыре — три. Феди нет...

Борису их не догнать. Они уйдут без него. Такая свалка, чертова карусель, дым, огонь, а Бориса прознобило.

Один — весь на виду у немцев.

И неожиданно в шлемофоне голос командира:

— Маленькие, маленькие, прикройте «пятерку». Прикройте отставшую «пятерку».

И сквозь легкие потрескивания низкий, с хрипотцой голос ведущего истребителей:

— Вас понял, вас понял...— И сразу команда:— Шилов, прикрой отставшую «пятерку». Прикрой отставшую «пятерку». Как слышишь?

Наверно, командир видел, как Бориса шарахнуло на развороте, и все понял, когда он убрал газ и Николай проскочил вперед.

Три самолета, сверкая в лучах солнца, исчезая за оранжевыми бликами и снова появляясь, уходили в чистый просвет, в голубизну. Они были уже там, в другом, невероятно далеком, а может, и несуществующем мире. И с ними Николай — только не разглядеть его. С ними, по ту сторону черты.

Впереди вспухают грязные, черно-серые хлопья разрывов, сверкают молнии вспышек. Борис с креном лезет вверх — обойти заградительный огонь и не потерять высоту. Но его опять «повели»— разрывы идут след в след. Ладно, два раза подряд не попадают. Все равно никуда не денешься. Хотя, бывало, попадали. Он один здесь, теперь-то уж Николай догнал их. Один. Что-то разлилось в груди — обожгло не то холодом, не то жаром. В горле высохло — не глотнешь. Он опять в кольце: разрывы справа, слева, сзади. Сейчас бы рывок, чтобы убраться, и еще рывок — догнать своих, но увеличивать скорость нельзя. Хорошо хоть тянет. Как-никак, а тянет. Ладно, два раза подряд не попадают. А бывало, попадали. Ладно, только бы не заглох. Взрыв рядом с кабиной. Самолет заваливает. Дым застилает бронестекла. Борис резко уходит скольжением на крыло. Метры, завоеванные с таким трудом, потеряны, но разрывы остаются позади. Теперь довернуть на солнце. Может, и выкрутимся.

Николай возник слева — выскочил, как черт из коробочки. Откуда взялся? Хорош, нечего сказать. Ну подожди же!

— Дорофеев, приказываю догнать группу. Как слышишь?

Николай покачал крыльями — слышу, мол (передатчик был только у ведущих),— и выдвинулся немного вперед, но было ясно, что уходить он не собирался.

— Дорофеев, приказываю догнать группу,— повторил Борис.— Уходи, Коля. Приказываю — уходи! Я дотяну. Уходи!

Они были уже почти в створе солнца. Сейчас уйти со снижением на предельной скорости и нырнуть в балку — это почти наверняка спасение. Да как же, так Коля и послушался его, для того, что ли, вернулся и крутится тут под огнем! Так, значит, теперь нас двое.

Николай на небольшой скорости, чтобы не отрываться, шел впереди. Теперь он повел Бориса. Разрывы еще тянулись за ними, вот-вот достанут, но солнце уже мешало зенитчикам, и они все-таки уходили. Медленно, а уходили. И впереди было чисто — голубизна, легкие перистые облачка...

Тяни. Надо тянуть. Вот к этому облачку. Стрелка давления масла подвинулась к нулю. Так. Все равно надо тянуть.

— Давай, Боря, давай. Дотянем.— Это Димка. Голос такой, что сам черт не брат. С ним не пропадешь.

— Над нами два ЯКа!— докладывает Димка.— Прикрывают?

— Прикрывают.

— Ясно. Вроде почетных мотоциклистов.

— Не болтай. Смотри лучше.

— Есть смотреть лучше.

Облачко приблизилось — легкое, полупрозрачное. Удлинилось — края его смазались, в середине появились голубоватые просветы, как трещины в льдине. Они расширяются, рассекая ее на части, и вот уже куски льда с треском обламываются и налезают друг на друга, сдавленные со всех сторон шевелящейся, трущейся с шершавым звуком массой. Влажный сильный и плотный воздух давит и бьет в лицо — воздух весны и воли, и от этого и от шуршания и треска ледохода легко и сладко кружится голова, перехватывает дыхание и будто зовет куда-то смутный, щемящий, далекий-далекий звон... Вздымающаяся ото льда река под мостом,

гул и треск ломающихся льдин, неведомо откуда идущий тонкий звон — все это вспыхнуло и исчезло.

Облачко растеклось: не одно — три маленьких пятнышка. Долетим, пока совсем не растает? Если долетим — все будет хорошо...

Внизу белые поля, волнистые, с голубым отливом снега. Справа по откосу петляет чуть темнеющая дорога. Вокруг нее черные пятна — следы бомбежки. Николай тащит за собой вниз, к откосу, к складкам оврага. Все правильно, Коля. Только нам с Димкой снижаться нельзя. Нам нужна высота, чтобы тянуть. Тянуть и тянуть.

ЯКи над головой — тут все в порядке. И облачко, если то самое, вот оно. Осталось одно пятнышко. Одно из трех. Но все равно — можно считать, проходим под ним.

В натужном реве мотора что-то дрогнуло — или показалось? Будто дрогнула и начинает расползаться туго натянутая струна, состоящая из множества нитей. Они рвутся, ползут, но ниточка, может быть одна-единственная, еще держится. Ну не рвись. Еще немного — не рвись. Впереди и чуть выше опять возникает Николай: понял — снижаться нельзя. Никак нельзя. Молодец Коля. Все-таки легче, когда он впереди.

Борис чуть-чуть прибавляет газ, чтобы догнать Николая. И сразу заколебалась стрелка давления масла. Так, теперь осторожно, чтобы не сорваться, подобрать ручку — взять хоть несколько метров. Пот заливает глаза, от напряжения перехватывает дыхание. Будто он карабкается по скользкому камню. Сползает вниз и опять карабкается, в кровь раздирая руки.

Николай качнул крыльями: хорошо, давай, жми. Хорошо-то хорошо, но резко подскакивает температура воды. Она на пределе. В тонком, все утончающемся от натуги вое мотора приближается сбой. Борис снова убирает газ, и его тотчас тянет вниз. По скользкому камню — вниз; он хочет удержаться, сдирая кожу, цепляется за холодную шершавую поверхность, но остановиться не может. Самолет проваливается, и его уже не поднять. Удержаться бы на этой высоте и потянуть, хоть еще немного потянуть.

Внизу широкая дорога, похоже, шоссе, рассекает лес, взбегает на холм; по обе стороны аккуратно поставленные домики. И там, где открывается белое пространство, возникает широкая полоса, сверкающая на

солнце,— широкая и плавно изгибающаяся полоса с темными обводами.

— Одер!

— Одер!— Это уже не он сам, это кричит Димка.— Одер!— И потом чуть тише:— Давай, Боря, давай!

Мотор задыхается. В его прерывистом, тяжком вое что-то гаснет, блекнет — убывают последние силы. Вот-вот оборвется та самая одна-единственная ниточка. Борис уже почти над темнеющей линией западного берега. За этой линией, за белым, в темных разводах полотном льда и воды — наши.

Масло на нуле.

Димка молчит. Он понимает, что значат эти секунды. Ну потяни еще немного. Совсем немного. Но мотор уже еле дышит. Человек падает, поднимается из последних сил, делает два шага и снова падает. Ну, поднимись. Всегда можно сделать еще один шаг. Хотя бы один.

Брызги масла попадают на переднее бронестекло — оно быстро мутнеет. Одно к одному. Приходится открывать боковую форточку — ветер бьет в лицо, режет глаза. Борис опускает очки. Там внизу вода, лед.

В кабине появляется едкий дымок. Он идет снизу, из-под ног,— загорелся маслобак?

Медленно, слишком медленно наплывает восточный берег — секунды растянулись. Одна — и Борис над берегом. Но масло на нуле. И дым стал гуще — сейчас пробьется пламя. И мотор заглохнет. Остановится. Сейчас. Или в следующий миг. И вдруг Бориса обожгло: уже начался и идет какой-то другой, неизвестный ему счет времени, неизвестный и непостижимый. Лес. Деревня. Там — наши.

Время изменилось. Оно стало безгранично большим и единым, вместившим в себя все жизни, которые Борис прожил, и одновременно оно стало бесконечно малым — цепью мгновений: когда оборвалась ниточка, мотор заглох и винт, как во сне, завращался бесшумно; и когда земля быстро начала надвигаться на него; и когда он увидел белое пятно, полянку, зажатую между деревней и лесом, и успел довернуть, чтобы садиться по диагонали; и еще — толчок и треск и потом тишина...

А все, что было после этого, было уже другой жизнью, вернее, возвращением к другой, привычной для Бориса жизни, протекавшей в привычном и понятном для него времени.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Всякое случается на войне. Разве объяснишь, каким чудом они остались живы? Как ухитрились не врезаться в лес, когда заглох мотор и самолет будто с горы понесся вниз? Как не перевернулись и не разбились вдребезги на полянке величиной с пятачок, когда от удара в бугор снесло шасси? А их потянуло дальше, прямо на деревья. И снегом забило пламя, а потом в двух-трех метрах от старых елей и сосен развернуло, и они остановились. И когда старшина Дежков подбежал к распластанному в снегу самолету, он увидел тех самых родившихся в рубашке ребят, целых и невредимых. Стоя по колено в снегу, они махали шлемами своим товарищам, кружившим над ними. Тот, что был повыше ростом, темноглазый и темноволосый, видно летчик, в короткой кожаной куртке, подбитой мехом, заметил его первым. Он повернулся к Дежкову, протянул руку, но, встретившись с ним взгядом, порывисто и как-то неловко обнял его.

— Живы, значит, соколы!— Старшина оглядел обоих, будто не веря своим глазам.— Считайте, что с этой вот точки жизнь ваша и начинается! На волосок от погибели находились.

— Чуть-чуть не в счет, отец! Все по краю ходим,— философски изрек второй, крепко тряхнув руку Дежкова и хлопнув его по плечу.

Рыжий, приземистый, с чуть согнутой спиной, в унтах и комбинезоне на коричневом меху, он был похож на медвежонка, вставшего на задние лапы, чтоб с ним поиграли. Сходство было так разительно, что старшина рассмеялся.

— Смех в строю, разговорчики,— сказал рыжий, видимо слегка обидевшись, но оборвал себя и внимательно, чуть склонив голову набок, что еще больше усугубило сходство, посмотрел на Дежкова:— Послушай, отец, а ты, случаем, не туляк? Что-то, я смотрю, больно ты хваткий...

— Хватский — народ вятский,— отпарировал старшина.— А я, парень, из иных краев, я человек лесной, а лучше сказать — лесостепной,— прибавил он, любивший во всем точность.— Фамилия моя Дежков, а по званию старшина.— Теперь он обращался и к молчавшему летчику.

— Лейтенант Волынин,— незамедлительно откликнулся летчик.

— Дмитрий Щепов,— представился рыжий, опустив свое звание.

Может, он тоже старшина. Под комбинезоном лычек не видно. Или младший лейтенант. Да мало ли кто! Воздушными стрелками и капитаны из штаба летали, и майоры. Кому-то хотелось испытать, какая она, война, в воздухе, кто для дела летал, а кто и ордена зарабатывал. Счет боевым вылетам всем идет одинаковый, что сержанту, что майору.

— Дмитрий так Дмитрий,— усмехнулся старшина, дав понять, что небольшая эта хитрость от него не ускользнула.— Пойдемте, товарищи соколы, к командиру, коли вы в силах. Представитесь, побеседуете, а там и определим вас отдохнуть.

— Пошли,— сказал Борис.

Старшина двинулся вперед, по каким-то одному ему известным признакам угадывая, где снег плотнее и где его поменьше. На дорогу выбирались молча. А когда зашагали рядом по утоптанному снежку, мягко похрустывающему под ногами, Дежков неожиданно повернулся к Борису:

— Ты уж прости, лейтенант, а хочу просить. Тебе сверху-то виднее. Фронт — он к Гитлеру близко подошел?

— Близко,— ответил Борис.— Если считать от западного берега Одера по прямой, по шоссе через Зееловские высоты до Берлина километров шестьдесят пять.

— Высоты, говоришь?

— Холмы там такие. Фрицы их в крепость превратили. Одних зенитных батарей не сосчитать.

— Да-а... Немало еще поляжет нашего брата... А все ж шестьдесят пять! До самого Берлина! Значит, скоро. Считай, нынешней весной,— заключил старшина. Он замолчал и потом за всю дорогу до дома, где находился командир, не проронил ни слова.

Старший лейтенант Кравцов, видимо, был предупрежден об их приходе. Не успел старшина подойти к его двери, как он сам появился на пороге.

— Проходите, товарищи летчики, проходите,— сразу заговорил командир.— Раздевайтесь, присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома.

Последняя фраза прозвучала как-то уж совсем по-домашнему, и Димка незамедлительно отреагировал:

— Но и не забывайте, что в гостях?

— Отчего же? Если сможете, забудьте,— ответил комроты, пододвигая стулья.

Здороваясь, он назвал свое звание и фамилию, и Борис, представившись, протянул ему удостоверение. Внимательно рассмотрев его, Кравцов еще раз предложил им сесть.

— Нам бы чайку, да покрепче,— сказал комроты длинношеему белобрысому солдату, сидевшему у телефона.

Тот молча вышел. Комроты пододвинул к Борису и Димке лежавший на столе кисет с махоркой. Когда все четверо закурили, неторопливо проговорил:

— Рассказывайте, лейтенант, рассказывайте!

Борис пожал плечами. Что рассказывать? Как они подошли к цели, и как атаковали аэродром, и сколько уничтожили самолетов противника? Как сбили Федора, а они с Димкой тянули сюда, за Одер? Или сказать ему, какой у них командир и что за парень Николай, его ведомый? Вырваться из огня, пристроиться ко всем, а потом опять вернуться в пекло только для того, чтобы одним своим видом помочь командиру,— как это назвать?

Крепко затянувшись, Борис почувствовал: комната качнулась и поплыла перед глазами.

Кравцов, увидев, как побледнел лейтенант, пробормотал:

— Да вы курите... Торопиться нам некуда.

— Задание выполнили,— вмешался Димка, выдержав приличествующую паузу. Откинувшись на спинку стула, небрежно бросил:— Подробности письмом.

Старшина даже не улыбнулся. Он с осуждением взглянул на Щепова. Что ему, цирк здесь, что ли? Как-никак спрашивает старший начальник, командир роты. Да что там — этот рыжий парень и перед генералом не сробеет. Дай только волю: обсмеет и разукрасит своим языком — мать родная не узнает. Он, Дежков, видал таких. Вот только каков этот молодец в деле?

Димка слегка поежился, встретив прямой и настойчивый взгляд серых, с темной глубиной, глаз старшины. «Чего это он так на меня? Жену от него я не уводил. И не увел бы,— признался он сам себе,— не посмел. Бедные солдатики — с таким старшиной не разгуля-

ешься. Тут уж, ясное дело, дисциплинка на высоте. Это уж точно. Как пить дать. Так-то оно так, а вот такой ли он храбрый, когда стреляют?»

Теперь и Димка в свою очередь бросил на Дежкова долгий изучающий взгляд. И то ли оттого, что от всей крепкой фигуры старшины веяло собранностью, скрытой силой, то ли Димке понравились его большие смуглые руки с широкими ладонями, руки рабочего человека, не жадные, а ловкие, которые сейчас, отдыхая, свободно и мягко лежали на коленях, то ли от чего другого, о чем трудно сказать словами, но только главный этот вопрос был решен в пользу старшины. Димка улыбнулся и подмигнул старшине: мол, мы знаем, что знаем. Дежков был несколько удивлен этими неожиданными знаками, но не придал им особого значения и отнес за счет Димкиного «шутовства». Он-то склонен был этот вопрос — каков Димка в деле — решать не в его пользу. Но факты, как ему было хорошо известно и как его учили,— упрямая вещь. А этот рыжий вместе с молчаливым летчиком, который ему положительно нравился, только что вернулся о т т у д а, и на его глазах они чуть не погибли. Так что от окончательного вывода Дежков все-таки воздержался.

— Ладно,— подытожил Кравцов,— будем считать, лейтенант, что рассказ состоялся. Ну, а передний край показать можете? Вот здесь, на этой карте...

— Попробую.— Борис встал и склонился над картой, лежащей на столе. Она была не такая, как у него, и другого масштаба, но, найдя Кюстрин, Борис сразу сориентировался и провел красным карандашом черту Кинитц — Гросс — Ноендорф — Рефельд...— В этом районе наш первый плацдарм на западном берегу Одера,— сказал он, кладя карандаш.— Семьдесят километров от Берлина...

— Вот мы и в Германии,— задумчиво произнес Кравцов,— и семьдесят километров до Берлина... Кинитц, Гросс, Ноендорф, Рефельд,— медленно, со вкусом повторил он.

Кинитц, Гросс, Ноендорф, Рефельд — было непривычно для уха, и смысл этих названий, которые сразу, с ходу не выговоришь, был загадочен. Но для Дежкова и всех, кто находился в комнате, они прозвучали как самая сладкая музыка. И неважно, были ли это деревушки, не имеющие стратегического значения, или укрепленные города, открывающие путь к самому Берли-

ну,— это была Германия, территория врага. Его собственная территория, та самая, откуда война пошла полыхать по всему свету.

— По этому поводу не грех выпить,— проговорил Дежков. И не то чтобы вопросительно, а так, для порядка, взглянул на комроты.

— Действуйте, старшина,— сразу же отозвался Кравцов.

Чай запаздывал, а спирт, разлитый в кружки, появился моментально.

Все встали, молча чокнулись, выпили. Слова были не нужны. Их даже как-то страшно было произносить: то, за что мысленно пили, никогда не было так близко — вот-вот дотянешься рукой. Не спугнуть бы, пока не ухватили...

Молчание затянулось — о чем только не подумаешь в такую минуту! Старшина, как ему и полагалось, опомнился первым. Все-таки здесь он был хозяин, а летчики — гости. Даже его личные гости. И Дежков приступил к выполнению своих обязанностей хозяина. Ловко орудуя финкой, он одну за другой открыл две банки тущенки.

— Закусывайте, товарищи летчики, закусывайте...

— У вас, я смотрю, просто, без плошек-ложек и всего прочего,— сказал Димка, подцепив своей финкой с цветной наборной ручкой из плексигласа кусок мяса и пододвинув банку Борису.— Я лично не возражаю.

— А ты возрази, нам больше достанется,— усмехнулся Борис, беря банку.

После нескольких глотков спирта разговор пошел посвободней. Димка разошелся и, отвечая на вопросы Кравцова, в ярких красках, со многими почти невероятными подробностями изобразил воздушный бой с «мессерами» и бомбежку аэродрома. Это было очень похоже, и Борис не стал его прерывать, тем более что Димка в эту минуту, пожалуй, и сам не смог бы отличить быль от небыли в своем рассказе, где все так перемешалось и переплелось.

— Вот ведь вы какие...— сказал Кравцов, вздохнув.— А у нашего брата, пехоты, война другая. Сколько еще земли придется переворошить этими вот руками, сколько километров на брюхе под пулями проползти! Трудно, тяжко, а все-таки...— Он помолчал.— А все-таки победа там, где солдат прошел. Но это к слову. Я

о другом... Когда-нибудь скажут о муках пехоты, все вынесшей на своих плечах. Все — и холод, и бомбы, чужие, а когда и свои, и танки, и безвестность. Тогда и увидится ее подвиг...

— Да ведь летчиком не каждый сумеет,— неожиданно поддержал старшина престиж авиации.— До войны мне приходилось на самолетах пассажиром, знаю. Ну там на совещание какое из района в область — Сибирь-то, она большая, на поезде долго проканителишься. Так иной раз небо с овчинку покажется — земля, к примеру, наверху, а ты внизу. А то камнем вниз летишь и не знаешь, вынесет ли кривая... А тут бой вести надо. А сам-то ты на виду — и ползком не подберешься, и в окоп от пули да снаряда не спрячешься...

— Зачем уж ты так, старшина,— примирительно заявил Димка,— солдат, он везде солдат. Что на земле, что в воздухе — стреляют одинаково.

Димка явно лукавил. Он-то был убежден в превосходстве авиации, в том, что летуны — народ особенный, не чета пехтуре. Но хозяева были гостеприимны, с каждым глотком спирта все более симпатичны ему, и он не хотел обижать их. Впрочем, произнося эти слова, Димка не удержался и слегка скосил глаза на Бориса: дескать, ничего не поделаешь, приходится...

— Я понимаю вас, товарищ старший лейтенант,— проговорил Борис.— Очень хорошо понимаю. Я не о победе — она общая. Вот вы сказали — муки. И безвестность... Странно, никогда не думал об этом.

— А вам и не полагается,— усмехнулся Кравцов.

— Чего уж там!— Дежков слегка ударил ладонью по столу, как бы заключая разговор.— Так оно и есть, как старший лейтенант сказал. Каких только мук не принял солдат, чтобы победу нашу добыть! Вы, лейтенант, не обижайтесь: не в укор говорится,— повернулся Дежков к Борису.— Когда вы, соколы, в небе, у солдата и сердце радуется и сила прибавляется. А воюем где кому пришлось.

«Ишь как запел,— подумал Димка,— приказали бы тебе на штурмовку слетать — смог бы? Подучили — и смог бы,— ответил он себе.— Это уж точно. А я сам? Если бы пришлось в пехоте? Пошел бы в разведку. «Языков» брать. Это по мне. А если бы не вышло в разведку?— продолжал он допрашивать себя.— Ну и что?

В атаку ходил бы. Врукопашную. Так что вы, товарищ старшина, не очень».

— Где кому пришлось...— повторил Борис, и Димка, хорошо знавший своего командира, почувствовал: какая-то мысль взволновала его.— Послушайте,— тихо сказал Борис, ни к кому не обращаясь.— Ведь если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были?

Вот куда его повело от спирта от этого, а право же, хорошо почитать бы сейчас стихи. Но так же неожиданно Борис замолчал.

Старшина слегка кашлянул, а Кравцов, улыбнувшись, спросил:

— Любите Маяковского?

— У нас учитель литературы был, Алексей Ксенофонтович Романовский. Это все его наука: и Маяковский, и Пушкин, и Блок...

Борис оборвал себя, будто сказал нечто такое, о чем не следует знать другим. Слишком уж много стояло для него за всем этим. Он сказал — Блок, а в памяти всплыл с пронзительной ясностью тот сухой ветреный октябрьский вечер, когда он уходил в армию, и они с Риммой сидели на скамеечке во дворе ее дома на Чистых прудах, и он читал «Май жестокий с белыми ночами...».

— Вы учились у Романовского?— ошеломленно проговорил Кравцов.— У Алексея Ксенофонтовича Романовского?

Если бы сейчас перед домом появились немецкие танки, Кравцов был бы меньше потрясен (о привидениях нечего говорить, танки на войне пострашнее). Ведь этот парень, который оказался учеником Романовского, в самом прямом смысле свалился с неба. Стоило прошагать тысячи километров по дорогам войны, выходить из окружения в сорок первом, в сорок четвертом под Витебском чуть-чуть не отдать богу душу от осколочного ранения в правый бок, потерять стольких товарищей, чтобы здесь, в польской деревушке, встретить выпускника той самой школы на Кировской, той самой 309-й школы, где в одних классах преподавал Романовский, а в других он сам, Кравцов!

Конечно, десятки раз они сталкивались друг с другом — на общешкольных вечерах, на уроках Романовского, которые Кравцов посещал при малейшей возможности, наконец, просто в школьных коридорах,

сталкивались нос к носу, но не обращали внимания друг на друга. Но теперь Кравцов по-иному, другими глазами взглянул на Бориса. Он заново увидел его. Высокий, худой. Темноглазый. С небрежно отброшенными набок коротко остриженными волосами. Его легко представить себе за шахматной доской — скажем, против гроссмейстера Лилиенталя, который как раз перед войной в мартовские каникулы давал сеанс в их школе... Кажется, парень он застенчивый, мягкий. А резкая складка посреди лба — это война. И резковатость в движениях — тоже война. В воздухе, в бою, все решают секунды, доли секунд. А лицо у него славное...

Кравцов хорошо знал этих ребят, у которых не так давно пробились усы и не успели затвердеть голоса, порывистых и увальней, все схватывающих на лету и тугодумов, самых обычных и ярко талантливых,— этих золотых московских ребят, запоем читавших книги, удиравших с уроков, отчаянных спорщиков, шахматистов и остряков, готовых судить обо всем на свете. Кто-то из них ухитрялся заниматься в аэроклубах, втайне мечтая об Арктике, о дальних перелетах; кто-то целыми вечерами торчал в кабинетах физики или возился дома с радиоприемниками; а кто-то пропадал на стадионах и в физкультурных залах, не смущаясь обилием двоек. Они жили горячо, стремительно, жадно — казалось, для них не было невозможного, все было достижимо, все могло свершиться, стоило только по-настоящему захотеть. И это они, ни секунды не раздумывая, пошли добровольцами на фронт в первый же день войны или, будучи уже в армии, встретили врага кто где — на земле, в воздухе, на море,— и дрались до последнего, и умирали, и не сдавались... «На земле, в небесах и на море...»— была такая песенка до войны. И был сорок первый и эти ребята, которые дрались, и умирали, и выстояли.

И этот вот летчик один из них — Кравцов почувствовал это сразу. И еще он оказался учеником самого Алексея Ксенофонтовича Романовского, сидел у него в классе за партой, слушал его, и выходил «к доске», и, вероятно, провожал старика, нес до его квартиры тяжеленный, туго набитый книгами портфель, а может быть, и бывал у него дома, и ему позволялось рыться в книгах уникальной библиотеки Алексея Ксенофонтовича, а потом они со стариком пили крепчайший чай за круглым старинным столом темного орехового дерева...

Но было ли все это? Алексей Ксенофонтович, великий знаток XVIII века, автор единственной в своем роде книги о Новикове, который так и не удосужился защитить ни докторской диссертации, ни кандидатской и так и не смог уйти из школы, переступив ее порог молодым человеком, сразу после университета... Было ли это — вечера в его тесной от книг комнате, разговоры обо всем на свете за крепчайшим чаем? Черт возьми, но ведь ему, только ему Кравцов читал свои стихи и ему одному дал рукопись, когда составилась книжечка, с условием сказать всю жестокую правду, ничего не смягчая. Он даже взял со старика честное слово — чтобы никакой пощады. А потом ходил около его дома в Кривоколенном переулке, не решаясь войти в подъезд, и подняться на третий этаж, и позвонить,— ведь если бы Романовский сказал «нет», он ни за что не отнес бы рукопись в издательство, хотя ему очень, очень хотелось, чтобы вышла книжка, он был переполнен своими стихами, которые требовали выхода и рвались на простор.

Он ходил около дома, был вечер, уже зажглись фонари, и падал мягкий снежок и светился в голубоватом полумраке, и прохожих было мало, и они не торопились — такой хороший был этот вечер, тихий, с невесомым снежком и легким морозцем. И он все ходил, придумывая новые и новые поводы, чтобы оттянуть эту минуту, когда придется все-таки подняться, и позвонить, и встретиться взглядом с Алексеем Ксенофонтовичем.

«Сначала пройду за угол к телефонной будке, если она свободна — тогда прямо безо всяких иду. Если нет — возвращаюсь и начинаю все сначала. Пока не будет свободна». Будка оказалась свободной, и Кравцов решительно зашагал обратно, к дому Романовского. Но против его подъезда ноги сами остановились. Ладно. Пусть сначала мимо пройдут три человека — две женщины и один мужчина.

Прохожие шли, но в другом сочетании. Вот из подъезда выскочила девочка в красной вязаной шапочке, с сумкой, перебежала улицу и скрылась за углом. Две женщины и один мужчина не появлялись. Как назло (а может, и к лучшему, впрочем, не все ли равно!), два раза подряд прошли двое мужчин и одна женщина. Классический треугольник. У Кравцова начали мерзнуть ноги. Что за малодушие, в самом деле? Как будто от того, когда он войдет, что-нибудь изменится! Но что

бы он себе ни говорил, взгляд его продолжал искать среди прохожих тех самых двух женщин и одного мужчину.

Красная шапочка показалась из-за угла (наверное, посылали за хлебом) и, размахивая сумкой, перебежала дорогу и скрылась в подъезде. Вот тут-то и возникли искомые две женщины и один мужчина. Он шел посредине и был очень приметный — дородный, с тростью, в богатой шубе и высокой «боярской» шапке. Довольно редкий экземпляр, видимо реликт старой артистической Москвы. А женщины Кравцову не запомнились — они как-то потерялись на его фоне.

Удивительно вообще, как врезался в память весь этот вечер в мельчайших подробностях — красная шапочка с сумкой, дородный артист с тростью (не иначе, какой-нибудь бас), легкий снежок, крутящийся в зыбком бело-голубоватом свете фонарей, темнота и даже запахи лестницы, по которой он поднимался, когда все-таки решился, и вот неожиданность — приоткрытая дверь квартиры Алексея Ксенофонтовича. «Смелее,— послышался голос Романовского.— Я битый час за вами смотрю, как вы там изучаете прохожих». Вот так: он и забыл, что окно Алексея Ксенофонтовича выходит прямо в переулок.

Усадив его за этот знакомый круглый столик и не спеша приготовив чай, старик затеял «светский» разговор о том о сем — он был великий мастер вести подобные беседы. О чем шла речь, Кравцов не мог сейчас вспомнить, он был занят своими мыслями, гадал, что бы мог значить такой прием, переходил от отчаяния к надежде, то клял, то подбадривал себя и, естественно, слушал Романовского вполуха. В памяти отчетливо осталась та минута, когда он наконец поднялся и начал прощаться. Чай был выпит, обо всем переговорено, о стихах — ни слова. Вот тогда-то Алексей Ксенофонтович, подавая ему в передней пальто (чем всегда повергал Кравцова в великое смущение, но все его протесты категорически отклонялись), как бы между прочим заметил: «А я, знаете ли, Евгений Сергеевич, вашу рукопись в издательство отнес, вы уж не обессудьте. Прекрасная будет книга стихов, превосходная. Многих стихов ваших я не знал прежде — не удостаивали...— Старик помолчал, усмехнулся:— Вы от меня правду хотели, правду и только правду — так вот получайте!»

Это было сверх всяких ожиданий. О таком Кравцов не мог и мечтать — а ведь было же это! Было ли? Но он уже держал в руках верстку будущей книги, чуть влажную и пахнущую типографской краской, рукопись на удивление легко и быстро пробивала себе дорогу. И уже эта верстка была подписана в печать и отправилась в типографию, где ждала своей очереди, но не дождалась, так как наступило воскресенье 22 июня 1941 года.

Теперь же довоенные стихи, что помнились ему, казались и странными, и наивными, и — пророческими. Он и удивлялся им, и любил их больше, чем прежде, как любил ту невероятно далекую жизнь, которая словно бы смутно просвечивала сквозь черный, закрывший небо и стелющийся по земле дым.

Он и сейчас писал стихи, потому что не мог не писать их, но это были другие стихи. Как будто они принадлежали другому человеку.

Почитать бы что-нибудь из тетради в коричневой обложке этому лейтенанту, которого он будто бы знал давным-давно, знал и любил и теперь встретил нежданно-негаданно. Всякое случается на войне! И тетрадь — вот она, всегда под рукой (Кравцов коснулся пальцами ее шероховатого клеенчатого переплета), всегда вместе с картой, на которой обозначен противник. Но мало ли что приходит в голову! Вот если бы они были вдвоем... Но напротив сидел воздушный стрелок с хитрющими всевидящими глазами и рядом с ним старшина Василий Андронович Дежков, человек серьезный и положительный. Старшине и в голову не может прийти, что командир роты балуется стишками. И слава богу! Лишь бы в него верили, а там пусть считают и сухарем и службистом — оно и лучше: и командовать и воевать легче.

«Так что уж в другой раз»,— решил Кравцов. А будет ли этот другой раз? Неужто будет, и они вместе с этим летчиком встретятся, скажем, у Почтамта на Кировской, захватят бутылку вина, и пойдут к старику, и будут пить чай и вино за круглым ореховым столиком, и говорить, и читать стихи...

— На войне загадывать нельзя,— сказал Кравцов, обращаясь к Борису,— а все ж давайте рискнем. Чтобы мы встретились после войны у Алексея Ксенофонтовича. За это и выпьем!

Что-то мелькнуло в глазах Кравцова — такое, что у Бориса сжалось сердце. Он молча поднял свой стакан, чокнулся, выпил одним духом. «Хочу, чтобы ты остался жив. Чтобы ты остался жив,— произнес про себя Борис. Он почувствовал, как между ними протянулась нить.— Это Романовский, старче Алексей, божий человек, это он связал нас. И нас и то, что было, с тем, что есть и будет»,— подумал Борис.

Странно, но ему вспомнилось, как они всем классом вместе с Алексеем Ксенофонтовичем ходили в Большой театр на «Пиковую даму» и старче угощал их пирожными, а Борису не досталось, он постеснялся сказать, и они с Риммой ели одно пирожное, и дурили, и затеяли такую игру — кто откусит меньший кусочек. Ерунда какая-то, но сейчас почему-то вспомнилось ему именно это.

— Значит, после войны у Ксенофонтовича?— повторил Димка, как всегда на свой манер.— Возражений не имеется? Принято единогласно.

Кравцов нахмурился. Этот парень ведет себя слишком развязно. Впрочем, может, и к лучшему. Разрядить обстановку не мешает, а то он совсем расчувствовался, так и подмывает поговорить с этим летчиком по душам, рассказать о себе, о детдоме, о том, что значит в его жизни Алексей Ксенофонтович Романовский. А это ни к чему — только себя разбередишь понапрасну, да еще, чего доброго, жалеть себя начнешь. А на войне это последнее дело. На войне, чтобы воевать, все силы нужны — все, без остатка.

Старшина почувствовал перемену в настроении командира и понял это по-своему: дескать, пора закругляться. Он-то хорошо знал, что на сегодня у командира дел невпроворот.

Деликатно кашлянув, чтобы привлечь внимание, старшина обратился к Кравцову:

— А где, товарищ старший лейтенант, будем размещать товарищей летчиков?

— Сам знаешь, Василий Андронович. Смотри только, чтобы свободно было, чтобы могли отдохнуть хорошенько. И недалеко.

Борис и за ним Димка поднялись. Кравцов их не задерживал, дел у него действительно было невпроворот.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант, за хлеб-соль,— сказал Борис.

— Ну уж,— развел руками Кравцов,— это вам спасибо. Правда, правда...— Он хотел сказать: Москве поклонитесь, но вовремя удержался и усмехнулся этой своей шальной мысли: ребята ведь отправляются туда же, где очень скоро будет и он,— на передний край. И неизвестно, кому из них первому доведется увидеть Москву, да и вообще доведется ли...

— Как бы нам теперь домой добраться?— словно размышляя вслух, сказал Борис. Чем черт не шутит, вдруг командир роты подкинет машину?

— В вашу часть мы сообщим,— ответил Кравцов (ясно, машины не будет),— так что не беспокойтесь.

— Приедут. Никуда не денутся,— заметил Димка откуда-то из угла комнаты, где он натягивал комбинезон.— Николай видел, как мы сели. За сопровождающих мотоциклистов не отвечаю, а полуторка, на которой баллоны с воздухом возят, прибудет. Это уж точно. Как пить дать.

— Тогда...— Борис помедлил,— до Москвы, до встречи в Кривоколенном!

Кравцов молча пожал руку Бориса, и опять в его глазах мелькнуло то самое ускользающее выражение, от которого становится не по себе.

— Значит, до завтра,— повторил Борис и пошел к дверям.

Яркое бело-розовое солнце брызнуло им в глаза, когда они оказались на улице. Надо было остановиться, чтобы после помещения привыкнуть к блеску снега и ослепительному сиянию воздуха.

— Господи боже, благодать-то какая,— проговорил старшина, вздохнув полной грудью.

Димка усмехнулся. Ему, городскому человеку, смысл этих церковных словечек был непонятен.

— Поповщина. Темнота и невежество,— процедил он сквозь зубы, но так, впрочем, чтобы старшина не услышал. «Не мешало бы поддеть его («Один мой знакомый архиерей большой любитель до этого дела...»), но не будем. Пусть живет. Мужик он вроде свойский».

— Есть тут недалеко свободная хата,— заговорил старшина, когда они тронулись.— Паненка живет. Одна-одинешенька. Мужика своего ждет не дождется. Больно просила не занимать на постой. Устала, говорит, от войны. От нашего брата отбиваться. Ну я и вошел в положение. Обещался без крайности — никого.

А тут крайность. Больше идти вам некуда. Чтобы и свободно и от командира недалеко.

— Не боись, старшина, не обидим твою паненку,— многозначительно произнес Димка, подмигнув Борису.

Борис, занятый своими мыслями, не обратил на это внимания. Не шел у него из головы Кравцов,— видно, он что-то хотел сказать, да раздумал или не решился. Многое поднялось в душе, когда вспомнили Москву... Потянулись друг к другу, а вот воли себе не дали. Может, и зря. Кто знает, придется ли еще свидеться.

Шли они, кажется, недолго, минут пятнадцать. На углу улицы старшина остановился. За оградой, в глубине дворика, из-за сугробов, подступивших к самым окнам, виднелся низенький домик. Почти у самой калитки высилось большое раскидистое дерево, ствол которого метрах в двух от земли расходился надвое. Снег белой высокой шапкой накрыл как бы две макушки дерева, но не смог удержаться на широко расставленных во все стороны черных ветвях в середине ствола, тускло поблескивающих на солнце легкой изморозью.

Дом был угловой. Здесь кончалась улица, по которой они шли, а другая почти под прямым углом поднималась вверх.

— Подождите покуда,— сказал старшина и толкнул калитку.

Борис огляделся. Кругом было бело. Сразу за домом начиналось поле, метрах в трехстах обрываясь у леса. Похоже, они находились у самой окраины села и поле было то самое. Вблизи все так сверкало, что трудно было смотреть, но чуть подальше белизна гасла и снег становился матовым, с синеватым отливом. Эта часть поля, наверно, попадала в тень леса. Такие длинные расплывающиеся тени бывают во второй половине дня. Они хорошо видны с воздуха.

Только сейчас Борис подумал о времени — с тех пор, как они сели, прошло часа три. Может, и машина за ними выехала. Он все никак не мог надышаться этим воздухом — чистым, холодным, с колющим горло морозцем. Борис прикрыл глаза и будто снова почувствовал, как их тряхнуло, как зашуршал снег под фюзеляжем и как с треском, подпрыгивая и покачиваясь, самолет неудержимо несся к лесу, и он уже хорошо видел прямо перед собой темные стволы низких раскидистых елей... И ему захотелось посмотреть на свою «пятерку»— сейчас показалось странным, что она там, где-то

в поле, отдельно от него, и что э т о прошло, кончилось и они с Димкой живы. Целы. Живы.

Он пошел от дома, с удовольствием ощущая под ногами упругий поскрипывающий снежок. Поднявшись по дороге, что вела в деревню, остановился. Отсюда было хорошо видно все ослепительно белое поле, чуть синеющее ближе к лесу. Вглядевшись, Борис заметил неровную прерывистую полосу. Хвост «пятерки» торчал из снега в конце этой полосы, у самых деревьев.

Теперь Борис сразу представил себе, где они, будто увидел все это с воздуха: справа деревню, слева лес и этот белый клочок, зажатый между ними,— спасение, если удастся сесть. А мотор уже заглох, но он успел на снижении довернуть, чтобы сесть по диагонали,— лес косо надвинулся на него так близко, что Борис отчетливо увидел ветви на деревьях. Почти у самой земли удалось выровнять самолет. Потом толчок, и треск, и еще толчок чуть слабее, и шуршание, и снег, и деревья — и вдруг тишина...

Борис не заметил, как т а тишина перешла в эту, а он стоит запрокинув голову, и его охватывает то знакомое с детства ощущение, которое приходит, когда долго смотришь в небо и кажется, что ты становишься маленьким, все меньше и меньше, и небо притягивает тебя...

— Эй, товарищ лейтенант, где ты там?— кричал Щепов.

Борис оглянулся. Димка стоял у дома и махал ему рукой. Борису не хотелось уходить. Кругом все сверкало, искрилось, и было так тихо. Совсем тихо, ни ветерка. Низенькие, приземистые домишки, разбросанные по склону, темнели на снегу. Кое-где над крышами поднимался голубоватый дымок. А над всем — и полем, и деревней, и войной — стояло высокое, без конца и края небо... «Когда же это кончится — огонь, смерть?..»— подумал Борис, и у него резануло сердце, будто копившаяся изо дня в день усталость всей своей тяжестью навалилась на него.

Боль резанула и исчезла, но тяжесть уходила медленно, растекаясь по всему телу. Чуть кружилась голова, в ушах возник далекий легкий звон. Такое бывало, когда вылеты шли один за другим, и Борис знал, что скоро это пройдет.

Димка, видно потеряв терпение, уже шел к нему, нелепо размахивая руками,— где он успел набраться? Вздохнув, Борис двинулся ему навстречу.

— Вы что, товарищ лейтенант, местность изучаете или просто так, природой любуетесь?— поинтересовался Димка, остановившись, однако, на положенной по уставу дистанции от командира.

Когда ему случалось перебрать незаметно от Бориса, он чувствовал некоторое угрызение совести, переходил на «вы», «товарищ лейтенант» и вообще всячески старался подчеркнуть, что он не лыком шит и службу знает не хуже других.

— Природой любуюсь, как видите,— в тон ему ответил Борис.— Что же касается вас, товарищ старший сержант, то вы, сдается мне, на такие пустяки время не тратили.

— Это уж точно,— охотно согласился Димка.— Пока вы местностью любовались, я земляка обнаружил.

— У тебя земляки и в джунглях найдутся.

— Точно. Туляк туляка видит издалека. Туляк, он как гвоздь — куда войдет, оттуда и выйдет,— изрек Димка. Его желтые, с золотым отливом глаза, еще более рыжие, чем он сам, маслянисто и довольно поблескивали; веснушчатая даже зимой физиономия слегка порозовела; шлемофон был сдвинут на затылок, комбинезон расстегнут чуть ли не до пояса. Димка так и сиял благодушной лихостью. В такие минуты на него нападал стих разглагольствования, службистское рвение довольно-таки быстро испарялось и в обращении к своему командиру явно проявлялся тон дружеского превосходства, который обычно в другое время Димка старался не выказывать.

Бывший «фабзаяц», потом токарь-расточник, порядочно потершийся в рабочей среде, он вообще считал себя человеком многоопытным, которому сам бог велел покровительствовать своему лейтенанту. И хотя Борис был моложе всего лишь на год, но что он мог понимать в жизни, что видел, кроме своих книжек? Десятилетка, один курс института, аэроклуб, летная школа — откуда ему, салаге, знать, какая она, жизнь, на вкус?

— Порядок дня такой,— говорил Димка, стараясь попасть в ногу с командиром,— обед, ну, конечно, как положено по норме, боевые сто грамм...

— Свою норму ты уже перевыполнил.

— Точно. Я всегда нормы перевыполнял. Что на заводе, на гражданке, что здесь, в боевых условиях. На том стоим.

Борис промолчал, и Димка продолжал разглагольствовать:

— Далее краткий отдых. Знакомство с населением. Если будут вопросы насчет обстановки и текущего момента, разъясним. Все как положено. Отбой без расписания...

— Без расписания... Пришлют машину, а тебя ищи-свищи...

— Не пришлют, товарищ лейтенант. Кому охота на ночь глядя ехать? Командованию что главное? Знать, что мы живы и здоровы и готовы к выполнению любых боевых заданий. Командование, оно свое дело туго понимает. Так что, товарищ лейтенант, ждите машину к утру...

Когда они подошли к ограде, старшина уже ждал.

— Идите в хату, товарищи летчики,— сказал он.— Хозяйка сейчас печь затопит. Здесь и заночуете. Ужин пришлю. А коли что, дам знать.

— Родина тебя не забудет, старшина,— покровительственно произнес Димка и осекся, опять встретив, как ему показалось, насмешливо-жестковатый взгляд старшины. «Ну и черт с рогами, уж и пошутить нельзя! Тоже мне генерал-самозванец от инфантерии выискался. Как зыркнул! Еще по команде «смирно» поставит». И уже совсем другим тоном, каким он удостаивал разве что старших командиров, Димка добавил:— Разделите компанию, товарищ старшина. Не пожалеете. Тут кое-что имеется,— хлопнул он по карману комбинезона.

Старшина, не выказав ни малейшего удивления по поводу непостижимой расторопности воздушного стрелка (он, кажется, понял, что от этого парня всего можно ожидать), отрицательно покачал головой:

— Уж извините. Недосуг мне.— Чуть помедлив, прибавил:— Ну, отдыхайте. Желаю здравствовать.— И, приложив руку к новенькой ушанке, зашагал прочь.

— Сурьезный дядя,— пробормотал Димка.

Борис первым пошел по узенькой, расчищенной от снега дорожке, ведущей к дому. Перед дверью остановились. Борис помедлил немного и постучал. Никто не отозвался. Димка дернул дверь. Она была открыта. Переступив порог, Борис и Димка оказались в полутемных сенцах.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Проше, панове, входите,— послышался женский голос, и тотчас открылась вторая дверь.

Хозяйку они увидели, когда вошли в просторную и светлую комнату. Она стояла, все еще держась за ручку двери. Димка учтиво поклонился, и это было все, на что он оказался способен. Борис удивился, но, встретившись взглядом с глазами хозяйки, и сам не нашелся что сказать. Это произошло секундой позже, а в первый момент он не разглядел ее лица, так как солнечный луч из окна падал ему прямо в глаза.

— Дзень добрый, панове,— снова заговорила она.— Я смотрела, как вы падали, убивались, и так за вас перепугалась! Матко боска! Это было очень страшно. Но все кончилось хорошо... Мне на имя Анна...

— Дзень добрый, ясновельможная пани Анна.— Димка наконец обрел дар речи.— Меня зовут Дмитрий.— Он снова поклонился и бросил на Бориса победный взгляд: вот, мол, что значит общение с местным населением.

Она рассмеялась:

— О нет! Я совсем не ясновельможная. Не госпожа. Я простая учительница. Мой муж был звёнзковы активиста [1]. И... воевал за Польшу...— Она слегка запнулась, но не сказала «погиб», сказала «воевал».

«Надеется, что вернется,— подумал Димка,— наверно, получила плохую весть, да не верит. Не хочет верить. Надеется».

— Я простая учительница,— повторила хозяйка.— Не госпожа, не ясновельможная.— Она улыбнулась. Сейчас она была хозяйкой, ее горести, заботы никого не касались.

Борис назвал себя и чуть пожал протянутую руку. Удивительно, непонятно отчего в памяти всплыло: «И в кольцах узкая рука...» Там, у Блока, еще упругие шелка и шляпа с траурными перьями...

Рука была действительно узкая, с обручальным кольцом, но не было никаких шелков и траурных перьев, а было старое, сильно изношенное синее платье, и серый, накинутый на плечи платок, и обыкновенное лицо, или нет, милое лицо, и перехваченные синей косынкой темные волосы, худая нежная шея, и не то се-

---

[1] Профсоюзный активист.

рые, не то серо-синие глаза, и еще что-то такое в улыбке, в голосе, отчего Димка не сразу обрел дар речи, а Борис не нашелся что сказать.

Тяжесть, которая навалилась на него, когда он остался один, медленно уходила. Они с Димкой живы — вот что! Словно только сейчас, увидев эту женщину, Борис по-настоящему понял, из какой передряги они вырвались. Чудом. А ведь вырвались! Значит — им жить! И эта пани, встретившая их на пороге, была из той, предстоявшей им жизни — как ее обещание...

Заметила ли она, как смутился этот высокий худой лейтенант, молча пожавший ее руку? Кажется, да. И это было неожиданно: Анна давно уже отвыкла от того, чтобы мужчины смущались от ее взгляда, улыбки...

Для местных, большей частью пожилых крестьян она была учительница, своя и не совсем своя — пани учительница, приехавшая из города с мужем накануне войны; для связных из леса — человек, которому можно доверять; те же немцы из бауэров и полевой жандармерии, кому она нравилась, разумеется, не собирались этого скрывать (какое уж там смущение!), а, наоборот, старались получить то, чего хотели, как можно скорее. Лучше всего сразу же, немедленно. Война приучила их не церемониться. Чтобы противостоять этому, Анне пришлось мобилизовать все силы, всю волю без остатка. Она развила в себе дьявольскую проницательность, научилась змеиной хитрости. И вот эта проницательность сказала ей, что у молодого русского летчика не было (и не могло быть!) в мыслях ничего дурного. Ему стало неловко, потому что он вошел в дом к молодой женщине, это ведь так понятно. Он смутился, встретив ее взгляд, как это бывало в те далекие, немыслимо далекие времена, когда, знакомясь с женщиной, мужчины могли бледнеть и не находить слов от волнения. Матко боска, что война делает с людьми — самые естественные человеческие проявления кажутся подозрительными!

И все же Анна не позволила себе размагнититься, размякнуть, как ни симпатичны были ей эти русские летчики: она жила одна и еще шла война.

И — Анджей... Почему она подумала о нем именно сейчас, в эту минуту?

Ну да — эти жолнеже [1] ее гости. И отныне лишь друзья будут переступать порог ее дома. И люди перестанут бояться друг друга. Вот и начинается жизнь, о которой они мечтали с Анджеем. Только он не придет. Он убит. Верный человек передал. Но кто сказал, сам не видел. И она не поверила. И полгода ждала хотя бы весточки от Анджея. А сейчас Войско Польское воюет здесь, в Польше. Был бы жив, дал бы знать о себе.

Но мало ли как бывает — еще идет война. И нельзя распускаться. Как бы там ни было, а распускаться нельзя.

Так она говорила себе, но опасность появляется там, где ее не ждешь. Опасность или, скорей, ее предчувствие возникло в ней самой. Тонкой иголочкой кольнуло в самое сердце, когда этот летчик, похожий на студента, пожал ее руку, смутился и опустил глаза. Потом он поспешно сдернул с головы шлем и попытался пригладить коротко остриженные темные волосы. Иголочка была тонкая — кольнуло и прошло. Анна вздохнула с облегчением и поспешила на помощь своим слегка растерявшимся гостям.

— Проше, снимайте ваши рыцарские доспехи, садитесь, отдыхайте.— Она опять почувствовала себя привычно собранной. Ей стало легко, кажется, легче, свободнее, чем обычно, но теперь это ощущение не настораживало — оно нравилось ей.

Анна даже подумала о себе в третьем лице и как бы представила себя со стороны: конечно, платье и весь наряд были не бог весть какие, но не в этом дело... Не в этом, а в том давно забытом ощущении своей силы, которое появилось в ней. Теперь все будет получаться, ладиться,— все, что бы она ни затеяла.

— Где прикажете располагаться, пани Анна?— спросил Димка. Он сбросил свой меховой комбинезон, а Борис куртку.

Комната была чистой и светлой — такой чистой, что страшно входить. Напротив двери под окнами стояла широкая лавка и длинный стол из темного дерева, в углу шкаф с посудой, справа у стены деревянный диванчик, на крашеном полу чистый половик. В левой половине дома, куда вела полуоткрытая дверь, были еще комнаты, одна или две, и, вероятно, печь и кухня.

---

[1] Солдаты.

Анна усадила их на диванчик и вышла, прикрыв за собой эту дверь, которая действительно вела на кухню, так как оттуда послышалось звяканье посуды. Через несколько минут она вернулась.

— Я хочу угостить вас чаем, панове,— слегка запинаясь, сказала она,— я вам сделаю очень крепкий чай...

Димка сразу смекнул, что хозяйке нечем их угостить, и попросил ясновельможную пани не беспокоиться — им ничего не нужно, они только из-за стола.

— Дело в том,— прибавил он,— что в честь нашего прибытия командир местного гарнизона дал банкет на сто три персоны. Командир, мы двое и еще сто человек для ровного счета. Сами понимаете, пани Анна, не хотелось его обижать, пришлось отведать всего понемногу.

— Я вам сочувствую,— Анна сделала грустное лицо,— когда много блюд, очень трудно выбрать. Как это... расходятся глаза во все стороны.

— Совершенно верно,— подтвердил Димка.— Точно так с нами и произошло. Положение хуже губернаторского.

Он продолжал болтать, упорно называя Анну ясновельможной пани. Она делала вид, что сердится, то хмурилась, то отвечала улыбкой, вроде бы смущенной, а на самом деле лукавой.

Вообще у нее с Димкой как-то сразу установились дружеские отношения, даже заговорщицки-дружеские, словно они заключили тайный союз. Видимо, возникло что-то, объединившее их. Хотя это могло и показаться. Во всяком случае, Борису оставалось только — в который уж раз — удивляться Димкиной неотразимости.

Посмеиваясь, Борис слушал его болтовню. Сам он больше помалкивал и старался не встречаться взглядом с ясновельможной пани Анной. Когда она выходила из комнаты, Борис откидывался на спинку диванчика, закрывал глаза — и сразу вставало перед ним лицо Кравцова с тем непонятным ускользающим выражением, от которого сжимается сердце. Встретятся ли они в Кривоколенном? Ох и длинная же дорога вела в Москву, в Кривоколенный — через Одер, через Берлин!

Подумав об этом, Борис представил ее себе — запруженную войсками, без конца и начала, уходящую за дымный горизонт. Борис увидел эту дорогу с воздуха: она изгибалась, поднималась в гору, спускалась в лог,

упиралась в переправу, в дым, в огонь, кипящую воду, а на другом берегу танки ползли вверх, и за ними бежали люди, и черная земля взрывалась у них под ногами. Борис не смог бы сказать, где и когда это было, но вся дорога, как бы составленная из разных кусков многих дорог, сейчас ясно представилась ему.

— Пан офицер устал?

Борис открыл глаза и увидел близко от себя лицо Анны. Чуть склонясь, она протягивала ему блюдце с чашкой дымящегося ароматнейшего чая. Он взял чай, обжигаясь отхлебнул, пробормотал: «Спасибо, большое спасибо...»— снова, торопясь, сделал глоток. Он чувствовал себя как школьник — не знал, что сказать, а молчать было и того хуже.

Анна улыбнулась, и так хорошо, будто смущение Бориса доставило ей удовольствие.

— Чай горячий. Очень горячий,— сказала она.— И у нас много, много времени.

— Чего торопиться,— поддержал ее Димка,— чай не водка, много не выпьешь...

Лицо Анны уже отодвинулось далеко-далеко — она стояла у стола и что-то выкладывала из небольшой банки. Когда по ее настойчивому приглашению с чашками чая в руках они подошли к столу, то увидели, что это была почти пустая банка, на донышке которой оставалось еще немного меда. Ясно, мед этот хранился для особых случаев. Теперь в красивой вазочке он был подан к чаю.

И Борис и Димка почувствовали, как мягко замкнулся тихий теплый круг. Будто кто-то наколдовал. Там, за чертой этого круга, бушевала война, стыли, занесенные снегом, ее мертвые пространства, а здесь, внутри маленького круга, совсем маленького, вроде светлого пятна, который отбрасывает лампа под абажуром на стол, было так хорошо, так уютно, тепло, что боязно двинуться — как бы не развеялись чары. Но оба понимали: ничего не исчезнет, не развеется, пока ходит по комнате, говорит, улыбается эта женщина, их хозяйка, пани Анна, потому что все от нее — и покой, и тепло, и тишина.

Они пили чай с медом, и брали мед понемножку чайными ложечками, и вели с пани Анной чинную беседу. Как всегда, инициативой завладел Димка. Анна ему помогала, и Борису оставалось слушать, поддакивать. Иногда ему казалось, что в некоторых фразах, сказан-

ных Анной, содержится потаенный смысл, но, пока он пытался понять его и обдумывал ответ, разговор переходил на другое, и опять приходилось помалкивать.

Борис не смотрел на Анну, но видел ее каким-то особым зрением — как она выходила из-за стола, улыбнувшись ему, будто спрашивала разрешения, и шла к двери, ведущей на кухню, исчезала там, потом появлялась и садилась напротив.

«Что это я?— подумал про себя Борис.— Что со мной? Чертовщина какая-то.— Он попробовал посмеяться над собой.— Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой...»— но досказать строчку не успел, потому что как раз в этот момент Анна вошла. Борис не увидел ее (Димка, сидевший ближе к двери, наклонился к столу и заслонил от него эту часть комнаты), не увидел, но почувствовал, что она вошла, по тому волнению, которое охватило его.

Анна принесла чайник со свежезаваренным чаем и теперь, придерживая крышечку чайника пальцами левой руки, наливала по второй чашке — сначала Димке, потом Борису.

Было так хорошо смотреть, как она это делает, чуть наклонясь над столом, посматривая на них и улыбаясь. И Борису представилось, что все это происходит в Москве, на Кировской, в их комнате, и за столом сидят мама и отец, конечно, он сам с Димкой, и Анна разливает им чай, чуть наклонясь над столом, посматривая на них и улыбаясь. Если бы так было! Сердце его сжалось: не будет этого, никогда не будет. «Так вот я о чем,— с удивлением отметил про себя Борис,— как же это началось?»

Может, с той минуты, когда он думал о Кравцове, и вдруг услышал голос Анны («Пан офицер устал?»), и увидел близко от себя, а потом далеко-далеко ее лицо, и возникло это чувство, будто он знает Анну давно, очень давно, и они потерялись, а сейчас он нашел ее и теперь самое главное — снова не потерять ее.

Раздался стук в дверь, и на пороге появился солдат. Шапка, плечи и воротник шинели, как и два узких, чуть изогнутых алюминиевых котелка, которые он держал в левой руке, были в снегу.

— Ужин вам. Старшина прислал,— сказал он, ни к кому не обращаясь.

— Что на дворе,— спросил Димка, принимая котелки,— буран?

— Да буран не буран, а так, метет помаленьку.
— Метет, значит?
— Вроде того.
— Понятно,— глубокомысленно протянул Димка.— Ничего не попишешь — полеты придется отменить. Можете отдыхать, товарищ лейтенант. А старшине передай благодарность от лица службы.
— Есть передать!— ответил солдат, слегка озадаченный тем, как старший сержант распоряжается лейтенантом. Поди разберись, кто у них, у летчиков, главный.— Старшина велел сказать,— проговорил он, обращаясь к Димке,— что завтра в семь ноль-ноль придет машина.
— Ясно,— вздохнул Димка.
— Разрешите идти?
— Иди, иди. Гуляй.
Солдат повернулся и шагнул за порог, а Димка остановился у двери, где висел его комбинезон. Вернулся к столу, помахивая бутылкой:
— Земляки не дадут пропасть! Со свиданием да с расставанием.
— Пан, как это... фокусник!— улыбнулась Анна.
— Сам знаменитый Кио, главный маг и волшебник нашей эпохи, приходил консультироваться. Ну, я — пожалуйста. В свободное от работы время. Почему не помочь человеку?
Борис не успел оглянуться, как Димка с Анной накрыли на стол. И каша с мясом дымилась в тарелках, и водка была налита в рюмки.
Димка сделался серьезным. Он всегда становился серьезным, когда хотел предложить тост. Как будто верил в магическую силу слов, произнесенных как заклинание. Верил не верил, а все легче на душе, когда скажешь: вернее сбудется.
— Чтобы живы были. Ты, Борис, и все мы.— Димка залпом выпил свою рюмку и поставил ее на стол.
Анна поняла: это означало, что пили они за победу и за то, чтобы увидеть ее и узнать, какая она, победа. Чтобы дожить до победы. Неожиданно для себя Анна выпила всю водку до конца, до самого донышка, и не почувствовала опьянения — только теплее стало. Теплее — и легче, проще. Она уж и забыла, когда в последний раз пила вот так сразу, без оглядки. «Что-то слишком разошлась»,— промелькнуло у нее. Ну и пусть. Так и надо — поднять голову и ничего не бо-

яться. И почувствовать себя женщиной, и не убивать ее в себе.

Дмитрий. Борис. Они и не подозревают, как помогли ей. Ведь уже началась другая, новая жизнь, а она не может отрешиться от старого — настороженности, страхов. Ничего не надо бояться. И себя тоже.

Анна подняла глаза на лейтенанта. Она была готова встретиться с ним взглядом. Что скажут его глаза? О нем самом. О том, что у него на душе. Но теперь, когда Анна сидела напротив, так близко, Борис почувствовал необъяснимую робость: не смел даже краешком глаза взглянуть на нее.

Анна неожиданно рассмеялась:

— Панове настоящие рыцари...— Она смолкла, потом тихо сказала:— Так направде... Я хотела,— снова начала Анна,— пожелать панам большого счастья... Чтобы их дождались...—

— Спасибо, пани Анна. Спасибо,— сказал Борис, протягивая через стол свою рюмку, чтобы чокнуться с ней.

Он поднял глаза — и пропала вся робость. Удивительно, непонятно отчего. Будто кто-то сорвал с него путы, которые сковывали его, и сразу стало легко, и он ощутил свою силу. Пусть она все поймет. Узнает его мысли. Все, в чем он и сам еще не разобрался.

Но взгляд Анны скользнул куда-то мимо него. Нет, глаза их встретились, и Борис почувствовал, что она поняла и испугалась...

— Панове, проше...— сказала Анна.— Когда пьют вино, надо немного поесть.

На ее лице не было и тени испуга. Она говорила спокойно, и улыбка была спокойная, легкая, одинаковая и для Бориса и для Димки. «Неужели показалось?— подумал Борис.— И ничего она не узнала и не поняла?»

Димка, на этот раз молча выпивший свою рюмку, притихший, сказал:

— В самую точку попали вы, пани Анна. А я так скажу: кто ждет, тот дождется.— Он снова замолчал и потянулся за кисетом, лежавшим на столе.

— Проше, курите, курите,— поспешно проговорила Анна.— Я не боюсь дыма.

Борис, хорошо знающий Димку, с удивлением наблюдал за ним: сворачивая цигарку по всем правилам искусства и стараясь делать это как можно медленнее,

Димка заметно волновался. Пальцы его чуть дрожали, и он никак не мог разровнять махорку на бумажке, чтобы цигарка как бы сама собой свернулась и заклеилась. А Димка был великий мастер на эти фокусы. Наконец он добился своего, зажег цигарку, затянулся.

— Кто ждет, тот дождется...— повторил он.— А если ты понять не можешь, ждут тебя или нет? Что тогда?

Димка сказал это, ни к кому не обращаясь, но Анна женским чутьем своим угадала, что он хочет услышать ответ именно от нее. Кто знает, возможно, она оказалась той единственной женщиной, с которой вот так — за столом и тихим дружеским разговором — судьба свела Дмитрия на дорогах войны?

Анна много пережила и о многом передумала за эти страшные годы, и она поняла: в жизни человека наступает такой момент, когда ему необходимо, чтобы его выслушали. Иногда просто выслушали. А иногда помогли развеять сомнения, укрепить надежду. И так уж устроены люди: мужчине легче довериться женщине, и притом незнакомой.

— Она пана ждет,— произнесла Анна, смотря на Димку.— То правда. Я немножко колдунья.— Она улыбнулась.

«Колдунья. Конечно, колдунья,— подумал Борис.— Вот и Димка: он и мне не говорил такого».

А Димка ждал, что еще скажет Анна. Он забыл затянуться, и цигарка его погасла. Он ловил каждое ее слово — и верил, потому что очень хотел верить. И Анна очень хотела, чтобы так все и было. Она не думала над тем, как говорить, слова возникали сами собой:

— До войны она никого не любила. Только себя, свою гордость. Она очень красивая. Для чего ей любить, когда все кругом ее любят?

— Точно!— вырвалось у Димки.— Все точно!

— А теперь не так...— Анна покачала головой.— Нет... Теперь она полюбила и узнала, что женщина несчастлива, когда сама не любит...— Анна замолчала, словно и забыла, что ее слушают. Длилось это недолго, может быть полминуты или минуту.

Взглянув на Димку, Анна поняла, что он нетерпеливо ждет. Она улыбнулась виновато и грустно одновременно. Вздохнула:

— В эту войну люди много поняли, и про любовь тоже... Что надо ее сберегать... И паненка дождется вас...

— Вы и вправду колдунья, пани Анна,— тихо (и Борису показалось — со страхом) проговорил Димка.— Все знаете... Вот...— Он оборвал себя, видно собирался что-то прибавить, но не решался.— Все знаете...— после короткой паузы повторил он.

Анна подняла на Димку глаза, как бы поощряя его выговориться до конца. Но Димка молчал — куда делась его прыть? Сказать-то ему хотелось, да что-то мешало. Ладно. Пусть набирается храбрости. Борис знал по себе, так бывает — сразу не скажешь, а потом уж трудно.

— Пани Анна...— Борис остановился. Он почувствовал, как забилось сердце. Ему захотелось еще раз повторить это имя, произнести его вслух. Пани Анна. Пани Анна. Он с трудом сдержался.— А какие предметы вы преподавали здесь в школе?

Анна не заметила, как дрогнул его голос, или сделала вид, что не заметила. Она весело рассмеялась:

— О, пан был бы очень хороший дипломат! Хороший летчик и хороший дипломат? Так не бывает. Пан хороший летчик, так?

— Возможно, есть и получше,— заметил Димка,— но лично я не встречал.

— Так я и думала. У меня был риторический вопрос.— Теперь она открыто улыбнулась Борису.— Так... А преподаю я польский язык и польскую литературу, и еще историю, а еще географию, если нужно. У нас в деревне не хватало учителей.

— А еще магию. Черную и белую. Всех цветов радуги.— Димка уже справился с замешательством.— Так вот...— Он остановился, набрал воздуху, словно собираясь нырнуть.— Так вот... Как коллеге, другу Кио: вы это серьезно про мою девушку? (Ага, набрался все-таки храбрости!) Что она любит. И что ждет. Серьезно или так, для утешения? Пусть, мол, солдат спокойно воюет, а там, после войны, разберемся, любит или не любит. Скажите, пани Анна... Только правду. Как есть. Вы мне, а я никому. Не бойтесь, меня с копыт не собьешь. Туляк, он как гвоздь: куда вошел, оттуда и вышел.— Для вящей убедительности Димка подкрепил свою любимую присказку лихим жестом.

Анна ничего не поняла про копыта, про туляка и про гвоздь и решила, что это какая-то шутка, основанная на игре слов, но она видела Димкины глаза — они не смеялись и не шутили. Они требовали ответа. Честного

и прямого. Только правду. Чистую правду. И Анна сказала:

— Я не утешаю. Это так.— Лицо ее застыло, как у прорицательницы.— Она любит пана. И больше пан не должен спрашивать.

Анна замолчала. По тому, как она побледнела, Борис почувствовал, какого напряжения стоили ей эти слова. Она заставила поверить в них себя потому, что хотела, чтобы поверили ей. И сделала это ради человека, которого видела в первый и, может быть, последний раз в своей жизни. Удивляться тут нечему — она поступила как медсестра, перевязывающая раны тому, кто в этом нуждается. Удивительно, что у нее хватило сил.

«У тебя худые руки, длинные пальцы, и худая нежная шея, и большие не то серые, не то синие глаза. А ты такая сильная». И опять Борису пришлось сделать над собой усилие, чтобы не произнести ее имя вслух,— мысленно он все повторял его на все лады, со всеми возможными оттенками: Анна, Аня, пани Анна...

Димка сидел, прикрыв глаза рукой. Будто все еще вслушивался в звук ее голоса. Он, наверное, не заметил, что уже несколько минут длилось молчание.

Анна первая нарушила его:

— Тихий ангел пролетел...

— Знаете что, братцы,— заговорил Димка,— это, наверно, сон: Люся меня встречает (он первый раз назвал ее имя, и так, будто Анна и Борис давно его знают), тихо подходит поезд, народу на перроне тьма, а я вижу из окошка вагона, как она стоит с цветами, ищет глазами меня и переживает... Понимаете, я — самый обыкновенный. Парень — как все. Ну, повоевал. А она... Гордая, и душа широкая — все поймет, все сделает, чтобы выручить. Если надо, последнее отдаст... Да что там — второй такой на целом свете не сыщешь!— Димка неожиданно оборвал себя, будто опомнился, потом взял свою цигарку, стряхнул пепел, попытался улыбнуться. Пробормотал:— Ну ладно... Такие, значит, дела... Поехали дальше...

— Пан счастливый,— сказала Анна.— Самый счастливый. Пан не должен искать, ходить по белому свету.— Она помолчала.— А пан Борис? Он тоже нашел свою невесту?

Димка усмехнулся:

— Еще не родилась такая царевна.— Понемногу он уже начал обретать свой обычный тон.— А, пан Борис? Верно я говорю?

— Верно, пан Дмитрий, верно.

— Бедный пан Борис! Мы его должны пожалеть.— Анна притворно печально опустила глаза.— Пока царевна родится и вырастет, пан Борис сделается совсем старый. Вот с такой бородой.— Анна показала, какая длинная будет борода, до самого пояса.

Она шутила, так комично показывая, какая длинная, до самого пояса, будет у него борода, и голос ее, когда она спросила, нашел ли он свою невесту, прозвучал легко и равнодушно, даже небрежно,— ей-то было все равно, нашел он или нет, она спросила из вежливости, просто так, чтобы заполнить паузу, дать возможность Димке прийти в себя. «Она хозяйка,— подумал Борис,— очень хорошая хозяйка, а мы ее гости. Вот и все». И ничего она не поняла тогда, встретив его взгляд, и не испугалась. А может, и поняла, но сделала вид, что не поняла, потому что ей все равно.

«А ты как хотел?— спросил себя Борис.— Пришел, увидел, победил? А собственно говоря, почему должно быть именно так? У нее своя жизнь, о которой ты ничего не знаешь. И знать тебе не дано. Разлука с мужем. Оккупация. А прошлое? Оно для тебя за семью печатями. Случайно тебя занесло в ее дом — на одну ночь. Что же из этого? Завтра тебя здесь не будет. Был — и нет. А может, и совсем не был. Сколько таких, как ты, стучалось в дверь этого дома, чтобы обогреться или выпить воды? Она даже и не пыталась скрыть, что ей все равно, нашел ты ее, свою царевну, или нет».

— Пан Борис загрустил? Я не обидела пана Бориса?

В голосе Анны послышалась тревога и такая теплота, будто она коснулась его теплой рукой. А самой стало зябко — она передернула плечами, закуталась в платок. Она больше не сказала ни слова и не улыбнулась и как-то вся сникла. Видно, ее силы и впрямь были на исходе. Борис почувствовал, как она устала. Бесконечно устала. От войны. Опасностей. От немцев. От ожидания. От нескончаемых одиноких ночей. От борьбы за то, чтобы сохранить себя. А сейчас наступил предел.

Конечно, такие минуты, когда кажется, что нет сил шевельнуться, пройдут. Борис это знал по себе. Но усталость останется. Удивительно, что он подумал об

этом, что такое пришло ему в голову! Да нет — удивительнее другое: как он мог еще минуту назад сомневаться, что она узнала его мысли и все поняла, и предположить, что ей все равно, нашел он свою царевну или нет. У нее не хватило сил вести дальше игру, занимать своих гостей и казаться веселой, потому что она все поняла и не хотела ничего скрывать от него. Не хотела быть лучше — сильнее, увереннее в себе, красивей. Она должна была быть такой, какая есть.

Борис не представлял себе, что будет дальше, и не загадывал, но он знал — настанет минута, когда они смогут все сказать друг другу.

Анна нашла все-таки в себе силы улыбнуться:

— Простите меня, панове, что я такая скучная. Мне очень хорошо с вами. Вы как мои старые, старые друзья.

— Так есть,— торжественно провозгласил Димка, козыряя, как он считал, польским оборотом.— Эх, пани Анна! Неужели мы вот так, как чужие люди, разойдемся? Увезти бы вас — и дело с концом! А то ведь и на свадьбу не приедете.

— Приеду, пан Дмитрий. Обязательно приеду.

— Честное ясновельможное слово?

— Честное, слово гонору.

— Тогда за это самое...

Они выпили, и Димка налил еще по одной, по последней. Анна было запротестовала, но Димка успокоил ее:

— Мы вас не неволим, пани Анна. У нас демократия.

Эту последнюю рюмку они, разумеется, выпили за ясновельможную пани Анну, за Аннушку, за ее счастье, чтобы все у нее было хорошо и чтобы после войны им троим встретиться и в Москве, и в Туле, и в Варшаве.

Потом Анна опять уходила и приходила, убирала со стола, стелила чистую скатерть, зажгла лампу, принесла откуда-то для них с Димкой подушки, простыни, перины...

Что еще надо было ей сделать? Борис мысленно прикидывал. Ведь каждый ее шаг, каждое движение приближали ту минуту, когда они останутся вдвоем. Только они — и больше никого.

Борис смотрел, как Анна уходит, приходит, и отсчитывал время. Теперь время измерялось тем, что еще ей надо было сделать. Его охватило нетерпение. Он под-

нялся из-за стола, пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— Пойду подышу.

У двери остановился, накинул на плечи куртку, оглянулся — Анны в комнате не было, Димка сидел, подперев голову руками. Видно, последняя рюмка, которой в этот день предшествовало множество предпоследних, сделала свое дело.

Очутившись в темных холодных сенях, Борис остановился. Ему показалось, что слабо белеющее, расплывающееся пятно впереди — платок Анны. Он стоял, всматриваясь в это пятно, боясь шевельнуться, вздохнуть. Во рту стало сухо. Но никакого пятна уже не было — оно расплылось, исчезло. Вместо него в черноте заплясали зеленые искорки. В ушах возник далекий прерывистый звон, будто эти бесчисленные искорки, сталкиваясь и кувыркаясь, чуть слышно позванивали, и все звуки сливались в один тонкий и легкий гул, который накатывался обгоняющими друг друга волнами.

Борис закрыл глаза, а когда открыл их, искорки пропали, но пятно опять появилось. Он уже понял, что Анны здесь нет, но все еще не мог прийти в себя: сердце учащенно билось, как после долгого бега.

Пока он стоял так, успокаиваясь, глаза понемногу привыкли к темноте, и по очертаниям можно было догадаться, что смутно белеет какая-то одежда, висящая на стенке возле входной двери. Борис пошел вперед и действительно нащупал овчинный полушубок, а вероятнее всего, то был тулуп, необходимый в деревне, без которого в морозы, да еще на открытых санях, далеко не уедешь. Он толкнул дверь — и холод ударил ему в лицо.

На крыльце было светлее, чем в сенях. Кругом лежали сугробы, которые намело за эти несколько вечерних часов, и от них как бы исходило слабое свечение. Луна еще не взошла, и небо было матово-темное, мглистое.

Стояла тишина — глубокая, полная. Она окутала землю, разлилась по всей вселенной, остановила время.

Борис спустился с крыльца, запрокинул голову и увидел прямо над собой слабо мерцающую россыпь Млечного Пути, которая не имела ни начала, ни конца. Он закрыл глаза и почувствовал, что как бы перестает существовать и сам становится невесомой частичкой этой тишины, плывущей в вечность.

— Пан Борис не замерзнет?— услышал он.

Голос прозвучал совсем близко, и это был голос Анны, и опять Борис ощутил в нем теплоту, будто она коснулась его теплой рукой. И теперь рядом была Анна, живая Анна, а не призрак. И она хотела увести его в дом, потому что было морозно, а он стоял с непокрытой головой. Борис повернулся — лицо ее оказалось так близко, что он почувствовал ее дыхание, а потом плечи под своей рукой и всю ее, приникшую к нему.

* * *

— Чудно... У тебя была своя жизнь, совсем другая. Неизвестная мне. Если бы не война...

— Все равно бы ты нашел меня. Боже, благодарю тебя... Все снесу, все, только бы ты был со мной. У тебя сильные руки. Я знаю, ты все сберег для меня. Не бойся ничего, я вся твоя.

— Я тебя не отдам. Никому... Никогда...

— Не надо об этом. Сейчас не надо...

...Она уснула, приникнув лицом к его груди. Он лежал на спине, закинув руку за голову, и земля, тихо покачиваясь, куда-то плыла вместе с ним. Легкий ветер обвевал его, и облака таяли и опять возникали над ним так низко, что можно было дотянуться до них, стоило только поднять руку. Но ему не хотелось двигаться. Тело стало легким, таким легким, почти невесомым, что волны несли его, едва прикасаясь к нему. Они тихо поднимали его все выше, пока дрожащее бледное облако не надвинулось на лицо. Он открыл глаза и не сразу понял, что оказался в полосе лунного света.

Взошла полная луна, и вся комната наполнилась серебристо-голубоватым полумраком. Ее лицо было на его груди — кожей он почувствовал ее теплое дыхание, волосы закрывали шею, и ему стало страшно, что все это сон и стоит ему пошевелиться, как все исчезнет. «Ну, только не уходи, не исчезай. Сейчас я отодвинусь — чуть-чуть, и ты останешься. Я не сплю — разве во сне думают? Нас подбили, и мы дотянули до этой польской деревни. И старший лейтенант Кравцов тоже из Москвы. Мы с ним из одной школы — триста девятой. Ее зовут Анна. Анна. Анна. Ну, теперь можно: это уж точно, что не сплю».

Он тихо отодвинулся, совсем немного, потом еще немного, чтобы увидеть ее всю. Дрожащие лунные бли-

ки падали на нее, и тело ее словно струилось, готовое раствориться в этом ускользающем свете. Она была вся перед ним. Беззащитная и счастливая своей беззащитностью.

Впервые он видел женщину, так открывшуюся ему. Он смотрел на ее хрупкое плечо и чуть согнутую в локте руку, немного прикрывшую грудь, на ее вытянутые ноги — и никак не мог представить себе, что эта явившаяся из другого мира женщина и есть та самая Анна в старом платье и сером платке, которая смутила их своими синими глазами, красивая, может быть, непонятная, но все-таки обыкновенная женщина, из плоти и крови, похожая на других. Ведь и ее, как и других, захватила война, принесла горе, научила ненавидеть, подавлять страх, скрывать свои чувства. «Война и разлучит нас,— подумал он,— и ничего я не смогу сделать, чтобы удержать ее. Ничего».

Она проснулась от его взгляда, увидела его лицо, поняла его печаль и улыбнулась ему:

— Я долго спала?

— Нет. Совсем немного. Чуть-чуть.

— Не смотри на меня так, а то я заплачу.

— Все равно я тебя не отдам.

— Ты приснился мне,— значит, не отдашь. Я увидела тебя из окна вагона. Ты пришел, чтобы встретить меня...

— Встретить?

— То мой любимый сон. Когда я была девочкой, ложась спать, твердила себе: приснись, приснись...

— И получалось?

— Мама крестила меня, гасила свет и уходила, а я закрывала глаза, дышать старалась тихо-тихо, и незаметно начинался сон — не то сон, не то грезы...

Он подождал немного и спросил:

— Тебе не страшно рассказать его?

— Немножко: ты узнаешь, какая я... Но я хочу, чтобы ты знал... Все мы, поляки, мечтатели.— Она замолчала, вздохнула, улыбнулась чему-то своему...— Когда я поступила в педагогический институт,— продолжала она,— началась совсем другая жизнь. Часто на хлеб не хватало, но мы, студенты, не унывали... Собирались, спорили, читали вслух. Я познакомилась с Анджеем. Он брал меня с собой на рабочие собрания. Я многое поняла тогда и сама стала вести работу в профсоюзе железнодорожников. Мы с Анджеем нача-

ли изучать русский язык, мечтали приехать в Советский Союз... И детский сон мой снился все реже и реже. Но все равно — я любила его. За всю войну он ни разу не приснился, а теперь приснился...— Она опять замолчала.

Борис закрыл глаза. Он слушал ее голос, и ему казалось, что она идет откуда-то издалека. Приближается, останавливается как бы в раздумье и снова идет. И не слова, а ее голос говорил ему, когда шаги ее замедлялись и когда она останавливалась, а потом делала шаг, и еще один, и еще...

Борис слушал ее голос и ждал, когда она придет к нему. А ведь еще несколько минут назад, увидев, как она спала, беззащитная и счастливая в своей беззащитности, он думал, что она вся открылась ему — вся, до самой последней капельки.

— Вот видишь,— улыбнулась Анна,— хочу рассказать сон, а получается про всю мою жизнь.

Это она остановилась. Сделала шаг и остановилась. Борис попробовал помочь ей:

— Доберемся и до сна, правда?

— Правда, правда...

Ей вдруг вспомнился отец — его худое, изможденное лицо с рыжеватой бородкой, глубоко запавшие глаза. «Прости меня, я загубил твою жизнь»,— его прерывающийся голос, когда он говорил это матери. Бедный отец... Гордый, вспыльчивый, талантливый — и неудачливый во всем. Больше жизни он любил маму, мечтал о славе ради нее, а стал маленьким почтовым чиновником. До конца дней отец не смог смириться с этим и страдал от бессилия. Одна мысль, что он загубил мамину жизнь, могла свести его в могилу. Если бы Борис узнал его жизнь, он понял бы многое...

— Мы жили бедно,— сказала Анна.— Очень бедно, на пятом этаже, под самой крышей, в маленькой квартирке. У нас в передней всегда чуть-чуть пахло нафталином, потому что мама доставала из большого сундука, который стоял под вешалкой, разные вещи и перетряхивала их, а что-то откладывала и несла в заклад. Сундук этот достался нам в наследство от бабушки. Мне казалось, что он волшебный, без дна,— мама только и делала, что вынимала оттуда то шаль, то кружевную мантилью, вздыхала и уходила со свертком...

Анна представила себе эту переднюю, обклеенную синими обоями, висячую лампу с белым стеклянным

абажуром, похожим на остроконечную китайскую шляпу, и слева от двери под вешалкой, в углублении, низенький и широкий сундук, покрытый старым ковром. И опять будто почувствовала этот слабый запах нафталина...

Может быть, тогда, в передней, когда она смотрела, как мама, вздыхая, что-то достает из сундука, перетряхивает и кладет в сумку,— может быть, тогда и зародилась ее смутная, еще неопределенная мечта или сон, который она сама себе придумала?

— Какая красивая была моя мама в молодости,— тихо произнесла Анна.— Стройная, легкая, пепельные волосы, синие глаза... А ее руки — чуткие, нервные...— Она опять замолчала.

— Эти руки и эти глаза...— Он начал целовать ее руки, едва прикасаясь к ним.

Анна подождала, пока не утих этот легкий ветерок, пробежавший над ними. Ее пальцы, успокаивая его, тихо скользнули по волосам. Он понял и улыбнулся:

— Я перебил тебя. Ты говорила, что твоя мама была очень красивая...

— Я всегда любовалась ею, гордилась. У нее был замечательный голос... Как я любила вечера, когда она играла Шопена, Шуберта, тихонечко напевала... Ведь она училась в Варшавской консерватории, пока не встретила отца... Он тогда был студентом университета. Они полюбили друг друга, но родители мамы, люди состоятельные, не хотели этого брака. Отец был бедняк, круглый сирота, да еще из «простых». Ни богатства, ни связей, ни дворянства — он и мечтать не имел права о такой девушке, как мама! Я знаю, у вас все по-другому, и тебе, наверно, этого не понять, но маме пришлось уйти из дому, чтобы выйти замуж за отца. Они поженились и уехали в Краков, где отцу обещали хорошее место. У вас говорят — работа... Но отца обманули — так и начались их мытарства... А потом родилась я. Когда мне было лет шесть или семь, отец заболел, и мама начала все продавать — посуду, серебро, свои платья, дошла очередь и до фортепьяно, которое подарила ей бабушка. Она очень любила маму и жалела... Из всей маминой семьи только она одна знала, где мы живем, и раз или два в год приезжала к нам из Варшавы. Но последние годы своей жизни она много хворала, и я ее не видела... Когда бабушка умерла, нас даже не известили. Мама собралась ехать в Варшаву, узнать,

что с бабушкой, потому что мамины письма к ней пришли обратно нераспечатанными, но в это время мы получили сообщение от нотариуса о смерти бабушки. Там говорилось также, что она завещает нам часть своего имущества. Так появился у нас в передней сундук. А деньги мы быстро прожили.

— Волшебный сундук.

— Да, да! Как ты догадался?

— О простых сундуках не вспоминают.

Анна улыбнулась, закрыла глаза, взяла его руку, крепко прижала к своей щеке. Она не хотела отпускать его от себя.

— Ты знаешь, о чем я хочу рассказать?

— Про сон...

— Сейчас я подумала: наверно, начался он с того вечера на вокзале... Мы с мамой пришли встречать ее подругу, которая возвращалась в Польшу издалека. Я впервые увидела такой красивый поезд, в огнях, строгих кондукторов в форме и людей, приехавших оттуда. Они были важные, говорили на непонятном языке, носильщики несли за ними большие чемоданы... Значит, есть какой-то другой мир, где все не так, как у нас, и нет нужды, и маме, если бы она жила там, не пришлось бы уносить из дому серебро и вещи, чтобы заплатить доктору и купить папе лекарства, и она бы не плакала втихомолку, когда возвращалась домой с пустыми руками, потому что лавочник не давал ей в долг... И вот я стала мечтать о путешествиях вместе с мамой, о других заморских странах, из которых я все-таки приезжала в Варшаву... Не помню, когда появился в моем сне он. Я увидела его на вокзале. Мы встретились взглядом, и сердце мое оборвалось. С той минуты о нем я думала в моих странствиях. Я не смогла бы сказать, как он выглядит. Помню только свое чувство к нему. А лица не помню... Может быть, лица и не было — ведь тогда я еще не встретила тебя. Но знала, что встречу...

Анна улыбнулась каким-то своим мыслям, замолчала, провела рукой по щеке Бориса, по его плечу, словно хотела убедиться, что он существует и что он здесь, рядом.

Луна спряталась за облаками, и серебристая мгла, наполнявшая комнату, погасла. Анна всем телом прильнула к Борису — что-то встревожило ее, испугалась, что он исчезнет?

Борис обнял ее, и опять ему показалось, что она вся открылась ему. А он сам? Анна ни о чем не спрашивала — будто все о нем знала. Она поняла самое важное: не было у него любви, никого не было, и он шел к ней, потому что она — его любовь. Это ему только казалось, что он влюблялся, а может, и действительно влюблялся, но по-другому. «Май жестокий с белыми ночами...» Борису представился тот ветреный октябрьский вечер, когда они с Риммой сидели на скамеечке во дворе ее дома на Чистых прудах и он грел в своих ладонях ее холодные зябнувшие руки...

«Май жестокий с белыми ночами...» Он вспомнил об этом с грустью, как о видении далекого детства, ушедшего навсегда. Неужели он так переменился за годы войны? А может быть, за одну эту ночь?

Каким же он был, к чему стремился? Аэроклуб, экзамены в энергетический институт... Собирался заниматься радиофизикой, мечтал о дальних перелетах — казалось, все было близко, достижимо, и впереди бесконечно много времени, и все успеется, и все будет...

«Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они — нет... Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет — в одном. Понимаешь? Это огромно! В этом все начала и концы...» Костя Петров, чуть покачиваясь, с качаловскими интонациями читает монолог Сатина, и Алексей Ксенофонтович Романовский, пряча улыбку в седых усах, смотрит на него со своего учительского места за маленьким столиком, вплотную придвинутым к первой парте, и оранжевый луч из окна, в котором плавают пылинки, разбивается о Костино плечо, оставляя на пиджаке дрожащий радужный кружок, чуть передвигающийся, когда Костя покачивается, то вперед, то назад...

Эх, Костя, Костя, рыцарь без страха и упрека, открытая душа, так и не успевший найти свою звезду: мать написала, что Костя погиб под Москвой. Меньше всего он представлял себя солдатом, но в первый же день войны пошел добровольцем на фронт.

Почему именно сейчас он вспомнил о Косте? Увидел в нем себя? Только не свое отражение, а другое, может быть самое главное,— ощущение жизни, той жизни, которая принадлежала им всем и где всего было так много, что глаза разбегались. Выбирай что хочешь... Так они думали. И так жили.

Как рассказать ей об этом? Вот если о Косте — поймет? «Был у меня друг...»

— Как странно,— проговорила Анна,— сейчас я подумала, что прожила много разных жизней и все они не связались в одну... А теперь началась новая жизнь.— Она помолчала.— А потом все вернется...

— Когда потом?

— Когда ты уйдешь.

— Я не уйду.— Он поправился:— Я приеду за тобой. Теперь тебе предстоит прожить еще одну жизнь — со мной.

Борис задохнулся от этой мысли. Сейчас, когда он ее высказал, почувствовал — иначе не может быть.

— Лучше бы мне не знать.— Она опять вся приникла к нему и начала его целовать.— Лучше бы мне не знать...

— Если знаешь, скажи.

— Не надо, мой коханый, не спрашивай. Нам и так мало осталось. Совсем мало. Ну что же ты...

— Неважно. Сколько бы ни осталось...— Голос Бориса помимо его воли стал холодным, чужим. Впервые в нем шевельнулась обида: он сказал, что приедет за ней, а она не поверила. Как могла она не поверить!

Анна неожиданно резко отстранилась от него:

— Ты хочешь знать? Хорошо. Я скажу.— Она усмехнулась.— Я ведь колдунья, правда? Да, ты забудешь меня,— Анна остановилась словно для того, чтобы собраться с духом,— забудешь,— повторила она тихо,— и очень скоро... Когда кончится война, ты приедешь в Москву и встретишь девушку. И она чем-то напомнит меня, а может быть, и нет... Ты не захочешь думать обо мне больше, ты устанешь от этих мыслей и будешь благодарен той, которая поможет тебе избавиться от них...— Анна замолчала и вдруг обхватила его голову, прижала к себе.— Нет, нет, я не то говорю. Тебе покажется, что ты забыл меня. Только покажется. Но я буду в тебе, в твоем сердце, в твоих желаньях, в твоих снах. И ты будешь искать в других то, что открыла тебе я, искать меня...

«Как могло мне прийти в голову, что Анна не поверила!— подумал Борис.— Она жизни не верит. Не мне, а жизни».

— Прости меня. Ты колдунья, а я обыкновенный смертный.— Борис запнулся.— И все-таки будет так,—

он постарался придать своему голосу твердость,— я приеду за тобой и увезу тебя в Москву.

— А если я не захочу жить в Москве, ты приедешь в Польшу? Ты согласишься жить в Польше?

Борис долго не отвечал, и Анна сжалилась над ним:

— Вот видишь... Не надо об этом...— Она помолчала.— Но я все-таки скажу. Я хочу, чтобы ты понял...— Анна опять остановилась, подыскивая слова, те единственные слова, которые она должна произнести.— Если я поверю и буду ждать, а тебя не будет — я умру.

Она сказала это так просто, как давно обдуманное и решенное, о чем не стоит и говорить. Пришлось к слову — вот и сказала. Борису стало страшно: так она и сделает, и никто ее не удержит. Он впервые подумал о ней одной — не о себе, не о своем чувстве к ней и не о том, как они будут жить вместе, а о ней, ее судьбе. Сердце его похолодело. Он прижал Анну к себе — так крепко, будто кто-то собирался отнять ее.

Анна поняла его, и ее движение к нему было таким же отчаянным. Целуя его, она что-то шептала по-польски, голос ее то удалялся и совсем пропадал, то приближался, и слова сливались в мелодию, полную напряжения и силы, и эта мелодия, разрастаясь, все больше овладевала им, и увлекала за собой, и не отпускала, и казалось, что восхождение это бесконечно....

Потом он ощутил глубокий покой. Тишина с легким звоном плыла над ним. И время остановилось. В том мире, где они существовали вдвоем с Анной, время могло останавливаться. И никто не мог отнять Анну, и ничто не могло разлучить их.

Постепенно этот мир принимал реальные очертания: матово-серебряные пятна там, где лунный свет просочился сквозь мглу, часть шкафа, выступающая из темного угла, причудливые тени на стене, похожие на беззвучно шевелящиеся ветви деревьев. И по мере того как отчетливей проступали реальные черты комнаты и тишина, со звоном плывущая в бесконечность, становилась обычной чуткой тишиной военной ночи, в которой можно было различить и понять отдельные звуки,— по мере всего этого уходило чувство покоя. Как будто нужно было немедленно действовать — от этого зависит все, жизнь и смерть, а он не может двинуться. Какие-то путы сковывают его, он силится рвануться, разорвать их, но напрасно, а секунды, последние секунды уходят...

Ну да, скоро они расстанутся. Через несколько часов. И что-то надо придумать, решить. Пока еще не поздно, пока они вместе. Именно сейчас — другого времени не будет. Решить. Придумать. Борис твердил эти слова, будто в них самих и заключался выход.

Наверно, он застонал. Анна наклонилась над ним. Лицо Бориса испугало ее: напряженно сведенные брови, глаза, смотрящие в одну точку. Она начала успокаивать его: губами разгладила морщину на лбу, заставила оторвать взгляд от этой горящей точки в пространстве, ответить на ее поцелуи...

— Расскажи мне что-нибудь...— сказала Анна, когда почувствовала, что ей удалось вернуть его в тот мир, где они были вдвоем и где ничто не могло стать между ними.— Что-нибудь...— повторила она.— О себе.

Борис закрыл глаза. Он слушал ее голос, и становилось легко, и начинало казаться, что все устроится, все будет хорошо, он обязательно что-то придумает.

— О себе...— повторила она.— О твоей самой лучшей минуте, когда ты был счастлив...

Как хорошо было слушать этот голос, настойчиво возвращавший его к той немыслимо далекой поре, которая теперь казалась счастливой, а тогда он просто жил, радовался, огорчался и не думал, не гадал, что это и есть счастливое время.

Борису увиделся тот жаркий июньский день, когда они сдали последний экзамен и, еще не веря, что окончили школу и впереди долгожданная, неизвестная, манящая своей свободой жизнь, поехали в парк культуры кататься на лодках. На «Кировской», где всегда ждали друг друга, сели в метро и вышли как раз перед самым Крымским мостом. Кто-то купил мороженое, и они всей гурьбой шли по мосту, ели мороженое, болтали, смеялись, острили. Их было шестеро — трое мальчишек и три девочки.

У входа в парк в репродукторах послышался знакомый голос — негромкий, теплый, близкий, который нельзя было спутать ни с каким другим: «Только глянет над Москвою утро вешнее, золотятся помаленьку облака, выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему и, как прежде, поджидаем седока...» Это был Утесов. Улыбаясь и грустя, пел он шутливую песню о старом извозчике, жалующемся верной своей лошадке на метро, которое околдовало всех его седоков, сокрушающемся

о том, как все в жизни хитро перепуталось: «Чтоб тебя запрячь, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро». Все они много раз слышали эту песню и не обратили на нее особенного внимания. Кто-то улыбнулся, кто-то начал тихонечко подпевать. Только и всего. Как будто песни и не было, а вернее, не могло не быть, потому что она естественно стала такой же частью этого дня, как ветер, поднявший пыль на шуршащих, посыпанных красным песком дорожках парка, когда они шли к лодочной пристани, как равномерный скрип уключин, всплеск воды за бортом и неподвижные белые облака в голубом бездонном небе...

Тогда Борис не замечал всего этого: ветер и пыль на дорожках, голос Утесова, облака... Он неторопливо греб, с силой отталкиваясь веслами, и напротив него сидела Римма, чуть наклонясь и опустив одну руку в воду, и солнце било в глаза, и ее лицо то исчезало в радужном слепящем блеске, то возникало, когда он прищуривался, и не было усталости, и казалось, они будут плыть долго-долго...

Удивительно — почти через пять лет все это до мельчайших подробностей неожиданно всплыло в памяти. Чего только не бывает на войне! Могло ли ему прийти в голову, что радисты, приехавшие однажды к ним в полк на крытой; похожей на фургон машине, чтобы установить радиомаяк, привезут среди других пластинку с той самой «Песней старого извозчика» и по просьбе Бориса «Маяком» выберут именно ее, и голос Утесова поведет их на свой аэродром, когда они будут возвращаться с боевого задания? Но все произошло именно так — и голос Утесова воскресил тот июньский день с его светом и шумом, с тем ощущением легкости, даже пустоты, беспричинного волнения и нетерпеливого радостного ожидания. А за этим днем в памяти возникали и другие — когда они ездили кататься на лыжах в Сокольники и ходили в парк культуры с его первой тогда в Москве парашютной вышкой и открытым Зеленым театром, где бывали массовые вечера поэзии.

Все это и было той немыслимо далекой жизнью, о которой просила рассказать Анна, и вся эта жизнь, вся, виделась счастливой и состояла из счастливых минут.

Анна почувствовала его состояние и не мешала ему. Лицо Бориса разгладилось, и опять в нем появилась та мальчишеская открытость, которая так привлекла ее

с первого взгляда. Раз или два он чему-то улыбнулся, да так хорошо! Как же много значила для него прежняя жизнь, а она-то вообразила, что прошлое не имеет над ними власти. Ревность к этой неведомой для нее жизни шевельнулась в ней, но Анна сразу же устыдилась этого чувства. Разве он виноват, что шли они разными дорогами? На один только миг судьба свела их... Анна испугалась этой мысли. Неужели она больше не увидит Бориса? Все-таки в глубине души надеялась, что они еще встретятся, и расстаться с этой надеждой было выше ее сил.

Борис почувствовал, что она на него смотрит, и открыл глаза.

— Бывает же такое,— сказал он,— лезет в голову всякая всячина... Вспомнилось вот, как на лодке катались...— Он помолчал.— Но все равно ты была со мной...

— В лодке?— усмехнулась Анна.

— Нет... Это трудно объяснить. Будто вспоминаем мы с тобой вместе...— Он перебил себя:— Знаешь... Что, если ты поедешь со мной в полк? Я поговорю с командиром — он все поймет. В БАО [1] тебя пристроим. Там бывают вольнонаемные.

Вот как. В БАО. Интересно, что это такое? Впрочем, неважно. Значит, он думал об этом. Ну хорошо. Сейчас невозможно. Он не понимает. Не хочет понимать. А когда кончится война?

Анна неожиданно ясно представила себе тот день после войны, когда Борис приедет за ней,— тихий летний солнечный день, и его фигуру на пороге дома, и его счастливые глаза. Нет, нет, такое не сбывается. Мечта всегда остается мечтой. Так устроена жизнь. А тот день был бы для нее больше чем исполнение всех желаний, больше чем свершение мечты. Вот почему этого не будет. Не будет — и лучше совсем не думать об этом, а то не хватит сил, чтобы жить. «Матко боска,— мысленно взмолилась Анна,— избавь меня от наваждения. Успокой мою душу... Наваждение?— спросила она себя и испугалась.— Разве любовь — наваждение? И разве я хочу лишить себя любви? Нет, нет, прости меня, пресвятая матерь, просвети и дай силы выдержать все, что принесет мне любовь...»

---

[1] БАО — батальон аэродромного обслуживания.

Анна всегда испытывала глубокую потребность разобраться, что происходит в ее душе, когда ей бывало тяжело, понять себя, беспощадно, до самого конца высказаться перед собой, как бы мучительно это ни было. И чем строже была она к себе в такие минуты, тем легче становилось потом, свободнее дышалось и обретались силы, чтобы пережить и сомнение и отчаяние.

— Все, что принесет мне любовь,— повторила Анна. Она подумала о том, что только сейчас, когда призналась себе в этом, поняла, что любит и что значит это слово — любовь. Не наваждение, а любовь. Она любит, и ей не жалко себя, своей жизни, она сможет все выдержать, все пережить. Ее охватило знакомое состояние душевного подъема, всколыхнувшее в памяти давно забытые минуты.

Было ли это? Таинственный сумрак, за которым чудится беспредельность; черные застывшие тени там, в глубине; слабое мерцание желтого и красного света, пробивающегося сквозь витражи, гулкая тишина... И она одна на коленях в этой необъятности и тишине. Она исповедуется перед собой, и молится, и судит себя, и чувствует, как приходят к ней легкость и ощущение своей силы,— ведь она сумела осудить в себе все дурное, мелкое, эгоистичное, не испугалась правды и теперь уже ничего не испугается, все сумеет, потому что помыслы ее чисты и отныне всегда будут такими.

Сейчас ей еще вспомнилось, как она выходила из костела — с томительным и радостным предчувствием встречи со светом, солнцем, со всем миром. Она шла, сдерживая нетерпение, твердо ступая по каменным плитам, и гул шагов сопровождал ее и отдавался в сводах, замирал и вновь возвращался к ней, и Анне казалось, что она поднимается в гору с поразительной легкостью, не поднимается — взлетает, и нетерпение росло в ней: скорее, скорее! Она открыла тяжелую дверь, ведущую на улицу, и замерла.

Свет ударил ей в глаза, и первое мгновение это был только свет, ослепительное белое сияние, а потом она увидела снег на площади и на крышах, белые, чистые покровы снега, и светлое, голубое, беспредельное небо, и опять крыши и площадь, и угол дома с вывеской, и фигуры двух мальчиков, стоящих перед этой вывеской,— она увидела все это, и малое и большое, весь мир, с которым впервые в своей жизни ощутила такое глубокое единение.

Да, это было — и не ушло, осталось. Тогда ей исполнилось пятнадцать, и она решила начинать жизнь сначала. Потом был Анджей, война и его гибель, бесконечная война, и она вынесла все и вот опять хочет начать новую жизнь.

— Ты приедешь за мной, когда кончится война,— сказала Анна.— Только поскорей. Я буду считать дни и часы.

— Не беспокойся. Тут близко — из Берлина каких-нибудь десять минут лету.— Он улыбнулся.— Да я и пешком дойду.

— Десять минут,— повторила Анна.

Смешно. Десять минут будут разделять их, ее и Бориса. Всего лишь десять минут. Она готова ждать всю жизнь, а Борис будет от нее в десяти минутах полета. Действительно смешно. И страшно. Не расстояния разделяют людей...

— После войны мир будет другим,— сказал Борис, словно угадав ее мысли.— Наверно, это последняя война. Представляешь, какая будет жизнь...

— У многих людей нет куска хлеба, пан рыцарь. И так будет долго. Там, где прошли немцы, остался пепел...

— Да, это так... Я видел. Я такое видел... Трудно придется... И все-таки начнется новая жизнь. Совсем другая!

— Нет, нет, я не ошиблась.— Анна снова наклонилась над Борисом, близко заглянула в глаза.— Я ждала тебя. Одного тебя... И то, что я пережила тогда, в костеле, и потом... чтобы встретить тебя...— В том, что она говорила, сбиваясь на горячечный шепот, не было логики, но Борис угадывал тот скрытый смысл, который таился в ее бессвязных словах.

Мерцающие голубоватые отблески, вспыхивающие в полумраке, погасли, будто все затянуло серомглистым туманом, который просачивался сквозь окна. Борис не сразу понял: светает! Он еще не хотел верить — закрыл глаза, невольно вслушиваясь в чуткую ночную тишину (все было тихо, ни единого звука), снова открыл глаза и поднял голову. Стало заметно светлее — черное пятно в углу приняло форму шкафа; на стене обозначились темные прямоугольники фотографий; стул, стоящий рядом с кроватью, был уже хорошо виден... Борис повернулся к Анне: лицо ее было бледно, глаза закрыты. Вероятно, так же, как и он минуту на-

зад, Анна прислушивалась к ночным звукам и так же, как он, не хотела верить, что светает. Близко залаяла собака. Потом послышался скрип шагов по снегу — наверное, разводящий с часовым. Через минуту снова шаги и голоса. В той стороне деревни, где находился командир, заработал мощный мотор, за ним другой, третий,— видно, водители прогревали моторы. В комнате стало совсем светло. Туман как бы рассеивался — на окне заблестела изморозь.

— Вот и все,— сказала Анна с отчаянием.— Вот и все.

Она даже не шевельнулась, не открыла глаза, хотела удержать последние секунды этой ночи. Ведь сделать только одно движение — значит признать, что ночь прошла и начался день...

Но день все-таки начался, и не было такой силы, которая могла бы остановить время.

...Одевшись, они не сговариваясь присели — Анна на кровать, Борис к столу у окна. Они не могли решиться выйти из этой комнаты, которая была их единственным прибежищем. Здесь они были вдвоем — только они одни, а там, за порогом, кончалась их власть друг над другом.

Они присели, как перед дальней дорогой. Анна поднялась первая, подошла к Борису, притянула к себе его голову, потом отодвинула, чтобы посмотреть в лицо, в глаза.

И Борис навсегда запомнил: холодный белый свет зимнего утра, пробивающийся сквозь замороженное стекло, ее лицо с выражением застывшей боли и глаза, с немым вопросом пристально смотрящие на него.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Здравствуй, дорогая Люся!

Пишу тебе на коротком отдыхе из пункта Н. И пункт этот на земле братской Польши, которую мы вместе с польскими воинами освободили от фашистского ига. Самая главная наша новость — мы штурмуем и бомбим подлого врага на его собственной территории! Представляешь?! Поэтому настроение исключительно хорошее. А бои идут [несколько слов зачеркнуто военной цензурой] жестокие. Немец чувствует, что скоро Гитлер капут, и огрызается изо всех своих звериных сил [не-

сколько слов зачеркнуто военной цензурой]. Правда, в последние дни погоды не авиационные — оттепель, туманы, все раскисло. Во время одиночных вылетов из-за тумана мой командир старший лейтенант Волынин показывает исключительное летное мастерство, мужество и находчивость. Ты спрашиваешь, как я живу, как воюю, что переживаю во время боя. Трудно ответить на эти вопросы: у нас, у летунов, каждая секунда несет так много невероятного, так много решает (жизнь или смерть), что обо всех секундах не напишешь — во-первых, некогда, а во-вторых, бумаги не хватит. Скажу одно: хотя Гитлер и насобирал из своей авиации что мог на этом [два слова зачеркнуты военной цензурой], все равно нашей техники больше — и на земле и в воздухе. Это уж точно. Так что живы будем — не помрем (ну, если, конечно, мотор не обрежет или шальная зенитка не шарахнет или «мессера»), но не должно быть! Очень хочется дожить до победы. А будет это скоро. Очень скоро (не называю срок, сама понимаешь, военная тайна) мы добьем фашистского зверя в его собственном логове, в городе Берлине.

А пока потерпи еще немного, Люся. Думаешь, не понимаю, как трудно вам, героическим труженикам тыла? Сам вкалывал, знаю. А ведь вы круглые сутки с завода не выходите. Да притом то я, рабочий парень, а то ты, артистка. Не обижайся на меня, Люся, что так говорю, я серьезно... Кончится война, будешь ты артисткой. Как в песне поется:

Все, что было загадано,
В свой исполнится срок,
Не погаснет без времени
Золотой огонек.

Между прочим, мне тут одна знакомая польская антифашистка нагадала и про тебя и про меня: все исполнится, о чем мечтаю. Смейся не смейся, а я ей верю. Не такой она человек, чтобы врать.

Эх, Люся... Вот думаю сейчас о тебе — и на душе светлеет. Верно говорю. Знай, что нет у меня ни дня, ни минуты без мысли о тебе. Ты всегда со мной, в каждом бою. Только бы ты нашла свое счастье. А уж мне полслова скажи — весь свет для тебя переверну, всю свою кровь по капельке отдам.

Помнишь, Люся, как мы с тобой после просмотра кинокартины «Цирк» шли домой через парк и заспори-

ли, что такое любовь? Я хоть и спорил с тобой, а уже тогда чувствовал, что ты права. А сейчас говорю: мне просто стыдно за себя. Но будь уверена, такая ерунда мне уже в голову не придет. Бывало, что я и злился на тебя. Да что там вспоминать — многого я не понимал тогда. Все хотел большего, самого большого. А сейчас хоть одним бы глазком посмотреть на тебя! Только бы взглянуть...

Будь здорова и жди, если... А за меня не беспокойся. С фронтовым приветом, твой до последней капли крови.

*Д. Щепов,* воздушный стрелок».

Так случилось, что письмо, отправленное в самый разгар боев за Одерский плацдарм, сначала двинулось на запад и оказалось за Одером, совсем близко от Берлина, и только неделю спустя прошло на восток, в тыл. Письмо принесла Люсе сменщица и соседка по квартире тетя Таня, устроившая ее на этот завод, где производилось стрелковое оружие.

Люся получила его 7 апреля, когда заканчивала смену, как раз в тот день ее отпустили домой помыться в бане и выспаться.

Мать ее, работавшая нянечкой в госпитале, дежурила, и Люсе предстояло провести вечер одной. Ей казалось, что она очень любила свою маму, не могла без нее,— может быть, и так, но то была особая любовь, которая лишь принимала другую любовь, не задумываясь и не заботясь о ней. А теперь, когда Люся увидела столько горя кругом, она поняла, какую жизнь прожила ее мама, одна, без помощи поставившая ее на ноги, поняла, какой сама была черствой, а то и жестокой в слепом своем эгоизме, и корила себя, и страдала от этого.

Люся вообще многое поняла за эти нескончаемые четыре года войны, которые казались ей целой жизнью, и чувствовала, что стала старше на целую жизнь. Не на пять лет и не на десять, а на целую жизнь. Она очень изменилась и внешне: похудела, стала тоньше и будто у́же в плечах; черты лица заострились и как бы отвердели — не осталось в них ничего от недавней мягкости, округлости. А вот глаза, огромные, синие, по-прежнему манили своей глубиной, и в эту глубину тянуло заглянуть: так спокойно, мягко светилась она.

Пожалуй, Димка не сразу узнал бы в ней ту, довоенную Люсю, которая любила больше всего себя и свои мечты, приносившую столько огорчения из-за своего

взбалмошного характера, но и умевшую каким-то сверхчутьем, с полуслова понять, что происходит в твоей душе, Люсю того солнечного, с короткими шумными дождями лета сорокового года, когда он уходил в армию, а она собиралась ехать в Москву, чтобы поступить на актерский факультет Государственного института театрального искусства и стать такой же знаменитой артисткой, как Любовь Орлова.

Люся была влюблена в Любовь Орлову, в ее голос, глаза, улыбку. Она считала, что только такой и должна быть настоящая артистка — все уметь: танцевать, петь, переживать. В то лето Люсе и самой все удавалось, как артистке Орловой. Люся не ходила, а летала. Там, где она появлялась (готовая вот-вот вспорхнуть), время убыстряло свое течение, чтобы поспеть за ней. Никогда нельзя было угадать, что ей взбредет в голову в следующую минуту. А уж как хороша она была! Тонкая, гибкая, и глаза синие-пресиние. И коса — как бледное золото. Вот Димка и потерял голову. Впервые в жизни почва заколебалась у него под ногами.

Смешно и глупо, но это было действительно так. Он, Дмитрий Щепов (между прочим, студент вечернего техникума), проработавший целых два года на заводе, расточник высшей квалификации, вел себя с этой девчонкой как школьник, как маменькин сынок — бледнел, краснел, «и никто ему по-дружески не спел: «Капитан, капитан, улыбнитесь...», то напускал на себя полнейшее безразличие, был холоден, неприступен, как Печорин, то, подобно Грушницкому, ловил каждый ее взгляд, каждое слово, то пропадал на несколько дней, то сторожил каждый ее шаг.

Смешно и глупо. Да к тому же не ново. И все же, сознавая это, он тем не менее ничего не мог с собой поделать. Но что самое глупое и самое смешное — Димка ревновал. Да, да,— и он вынужден был признаться себе в этом,— ревновал ее ко всем и ко всему! Бешено и слепо. Как последний бай и феодал. Как самый отсталый элемент. А Люсю это забавляло. Когда Димка со всей страстью принимался обличать ее и «выяснять отношения», она не только не отрицала своих мнимых и подлинных прегрешений, но еще и подливала масла в огонь — с самым беспечным видом такое наговаривала на себя, что у Димки дух захватывало. Слава богу, фантазии ей было не занимать. Впрочем, к Димке она

относилась милостиво, что-то в нем ей нравилось, да и жалела парня.

Люся каталась с Димкой на лодке, гуляла в парке, ходила в кино — была с ним и не была с ним. Она жила в своем мире, где все ей удавалось, где все, о чем она мечтала, рано или поздно должно было свершиться. И кинокартина, в которой она сыграет главную роль, обязательно такую, чтобы все удивлялись ее таланту и жалели ее, и большая-пребольшая любовь к Нему.

Эту любовь, как пушкинская Татьяна, она пронесет через всю жизнь. Они не смогут быть вместе. Он уедет (куда и зачем — никто не должен знать) надолго, на многие годы. Может быть, навсегда. Она сумеет достойно принять свой удел, и никто из самых знаменитых и умных людей, окружающих ее, никогда не поймет, почему она, известная, любимая артистка, живет так печально и одиноко.

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера —
Что в них?..

Любовь Орлова и пушкинская Татьяна — могло ли это совмещаться? Наверное, могло. И артистка, увлекающая веселым талантом, и прекрасная в своей гордой печали Татьяна Ларина, видимо, в равной мере отвечали каким-то стрункам Люсиной души.

Уверенная в своем успехе, Люся отправилась в Москву, но Институт театрального искусства закрыл перед ней двери. Люсю не допустили даже ко второму туру конкурса на актерский факультет. Попросту говоря, она провалилась.

Снова и снова пробившись через толпу жаждущих и страждущих, Люся перечитывала списки допущенных ко второму туру, надеясь, что ошиблась, не углядела, а вот сейчас увидит свою фамилию. Но фамилия так и не появилась, и Люся пошла выяснять в приемную комиссию — она не сомневалась, что где-то просто напутали.

Девушка, с неприступным видом сидевшая за столом в тесной комнате, где с трудом помещался еще один стол и застекленный книжный шкаф, набитый папками, выслушав Люсю, пожала плечами: какая путаница? У них такого не бывает. Но если абитуриент

настаивает — пожалуйста, она может посмотреть. Девушка достала папку, но тут зазвонил телефон. Она взяла трубку, небрежно бросила «да» и замерла, потом каким-то другим, упавшим голосом сказала: «И ты этому веришь?»— и опять замолчала и, помедлив немного, ни слова не говоря, тихо положила трубку. Прошло несколько минут, а она все сидела, уставившись в одну точку, видимо забыв о присутствии Люси. Снова зазвонил телефон. Девушка подняла голову, увидела Люсю, вспомнила, зачем она пришла, и принялась лихорадочно листать папку. Телефон надрывался, она не брала трубку и листала папку. «Нет никакой ошибки,— проговорила она наконец и всхлипнула.— Вас... не допустили... не допустили ко... второму туру». Слово «туру» она произнесла с плачем уже у двери. Люся осталась одна. У нее не было сил подняться. Ноги стали ватными, плечи и спина заныли, будто на нее навалили непосильную тяжесть. Она не заметила, как оказалась на улице, но в памяти осталось: у входа в институт стоят три девушки — смеются, болтают, посматривают по сторонам. Люся не слышит слов, но она понимает, почему эти девушки так беззаботно болтают, и весело смеются, и победно посматривают по сторонам: они уже там, за чертой, в том мире, куда Люсе хода нет. Может быть, минуту назад от страха и волнения у девушек все дрожало внутри и пересыхало во рту — они были как все. А теперь они приобщились и стали другими, особенными. Почему-то именно эти девушки окончательно убедили Люсю: то, что не могло произойти, произошло. Она была оглушена, раздавлена, уничтожена...

Если бы теперь кто-нибудь напомнил Люсе об отчаянии, охватившем ее, о тех мыслях, которые бродили в ее голове, она, скорее всего, не поверила бы. Теперь вся эта история казалась незначительной, а она со своим отчаянием наивной и, пожалуй, немного смешной.

Война все переместила и всему дала свою цену. Сколько такого, что до войны казалось важным, волновало, огорчало, радовало, сейчас потеряло всякий смысл! И все же, принимая от тети Тани письмо, Димкин фронтовой треугольник, Люся подумала: будь она артисткой, обязательно бы поехала с бригадой на фронт и встретила бы там Димку.

...Артисты располагаются прямо на аэродроме. Вокруг них стоят и сидят на траве свободные от полетов летчики. Все готово, но командир просит не начинать

концерта. Он заметно нервничает, да и другие летчики то и дело посматривают на небо. Проходит несколько минут — напряжение растет. Люся узнает, что не вернулся с боевого задания один штурмовик и уже по времени должен кончиться бензин. В волнении расхаживает командир, смолкли шутки и разговоры — все бо́льшая тревога овладевает летчиками. И вдруг — далекий прерывистый звук мотора. Громче. Ближе. И вот уже виден сам самолет. Кое-как, качаясь и проваливаясь, он заходит на посадку и плюхается поперек посадочной полосы. Летчики и вместе с ними Люся бегут к самолету, окружают его и — останавливаются, пораженные: весь штурмовик изрешечен пулями и осколками, часть крыла болтается, в другом зияет дыра... И тут спрыгивают на землю летчик и стрелок, целые, невредимые! Вот когда Люся видит Димку, который поддерживает своего летчика, только не пробиться к ним — так плотно окружили их товарищи...

Представив себе все это, Люся и улыбнулась, и вздохнула. И так получилось, что улыбнулась та, прежняя, довоенная Люся, а вздохнула, глядя на нее со стороны, нынешняя, умудренная жизнью Люся из механического, не выходившая с завода подряд целую неделю.

По-своему расценив молчание Люси, которая все еще держала письмо, тетя Таня сказала:

— Да ты не бойся! Письмо хорошее — чует мое сердце. От суженого, от твоего.

Она попробовала улыбнуться, но улыбка получилась такая, что Люся внутренне сжалась. Муж тети Тани как ушел на войну, так и сгинул — ни словечка от него, ни весточки. И осталась тетя Таня одна с двумя ребятишками — Мишкой и Гришкой. Со здоровьем у нее было плохо. Люся представить себе не могла, как изо дня в день она простаивала целую смену и еще сколько надо на своих опухших, с набрякшими венами ногах, и очень жалела ее.

Да что было делать, когда на руках двое? Вот и получилось, что они, соседи, жили вроде как бы одной семьей и все у них было общее.

— Спасибо, тетя Таня,— сказала Люся, кладя письмо в карман спецовки.

— Письмо хорошее,— повторила тетя Таня.

— Ну, я пошла. О ребятах не беспокойтесь. Накормлю, уложу. Все сделаю.

— Иди, иди...— Тетя Таня легонько подтолкнула Люсю.

Люся не заметила, как вышла из проходной и направилась к дому. Одно слово, невзначай брошенное тетей Таней, не выходило из головы. Суженый — как просто она сказала! А ведь это значит — судьба.

* * *

Поднялся ветер, и ударило холодом, острым, мокрым. Люся спрятала лицо. Идти было трудно — сверху чуть подмороженный снег с влажным хрустом проваливался под ногами, сразу показывалась вода, и дорожка становилась скользкой. Пришлось немного сбавить шаг.

Оказывается, она уже шла пустырем. Еще немного, и сразу за ним — небольшой овражек с деревянными мостками, а там начинаются заводские дома; третий справа — ее. На пустыре было темно, огоньки виднелись впереди, и ветер так закручивался вокруг Люси, обдавал таким холодом, что захватывало дыхание. Время от времени она останавливалась, поворачивалась спиной к ветру, чтобы передохнуть, и тогда слышались шорохи, шуршание тяжко оседавшего снега, легкий и тонкий звон ломающихся льдинок. Вокруг что-то сдвигалось, менялось, и в самом воздухе появился (или показалось?) тот знакомый, горьковатый хмельной привкус, от которого замирает сердце и кружится голова...

Суженый, суженый. «То в высшем суждено совете. То воля неба: я твоя». Бывшие всегда на памяти, столько раз прочитанные на школьных вечерах, стихи эти вдруг наполнились живым содержанием: будто не пушкинская Татьяна, а она сама написала их. Сама — на том вырванном из тетради в косую линейку листке, на котором она писала письма Димке. Суженый — судьба... Что-то еще стояло за этими словами, что-то происходившее с ней, с ее жизнью. Разлука, горе... Наверно, это. И если суженый — так и должно быть. И любовь ее все выдержит, все перетерпит.

Люся прошла мостки и остановилась. Тут казалось тише, виднелись дома и свет в окнах, и все же, повернувшись спиной к ветру и лицом к пустырю, она несколько раз глубоко вздохнула. Там, где она только что шла, была темнота и оседающий под ногами снег.

И Люся будто сверху увидела себя — маленькую, согнувшуюся, бредущую наискосок по этому глухому холодному пустырю. И так ей себя стало жалко, что горло дернулось и теплые капли быстро-быстро покатились по щекам, и губам стало солоно. Ох и дура же, дура! То ничего она не боится, а то ревет непонятно из-за чего. Тысячу раз ходила она этой дорогой, знала каждый бугорок, а сейчас — нет ей конца.

Ее дом вырос как из-под земли. Дверь в парадном на тяжелой пружине, надо придержать, а то хлопнет — как снаряд разорвется.

Внизу горела лампочка. На третьем этаже, где она жила, было темно. Люся достала ключ, негнущимися, деревянными пальцами с трудом вставила его в замочную скважину, повернула замок. На пороге остановилась, вздохнула, потом зажгла свет в прихожей, опустилась на табуретку, стоявшую под вешалкой. Ничего ей не надо — только вот так сидеть с закрытыми глазами.

...Потянуло теплым ветерком, и трава мягко касается лица. Кругом густые волны душистой травы. Они колышутся, поднимаются, подступают ближе, ближе, и уже нет ветерка, и трудно дышать, а волны поднимаются, подступают и сейчас сомкнутся над нею... Люся собирает все силы, открывает глаза и, сначала как в тумане, видит серую стену и, уже совсем четко, узенькую прихожую с затертым ковриком на крашеном дощатом полу, полуоткрытой дверью на кухню и трехколесным Мишкиным велосипедом в углу.

Сколько времени просидела она так, одетая, на сундуке? Задремала (такое случалось с ней последнее время) или обморок? Ну вот еще — обморок! Просто устала немного, а тут в тепле разморило. Люся окончательно приходит в себя, и что-то настораживает ее. Ну да — тишина. Полная, ни единого звука. Где мальчишки? Она сбрасывает пальто, платок, короткие резиновые боты и в одних шерстяных носках идет в комнату тети Тани. Среди разгрома — сдвинутого стола, опрокинутых стульев, развороченной постели — на одеяле, брошенном на пол, спят Мишка и Гришка друг против друга, голова к голове. Мишка, старший, как и полагается по его характеру,— на спине, широко раскинувшись, а Гришка на боку, подложив руку под голову и подобрав ноги.

Люся решила не будить их. Она разобрала постели, раздела и уложила ребят. Когда переносила их, ужаснулась: какие легкие! Особенно Гришка. Может, еще не так взяла его, узенькие худые руки повисли как неживые, голова на тонкой шейке резко качнулась, и Люся поспешила поддержать ее, перехватив свою руку. Накрыв Гришку, осторожно подоткнув одеяло под ноги, Люся отошла от него, а потом вернулась. Лицо Гришки и во сне было бледным, как у старичка. Люся тихонько коснулась его щеки. Она была теплая, кожа по-детски нежная... Гришка повернул голову, и Люся убрала руку. С минуту она постояла, прислушиваясь. Все было тихо. Еле-еле доносилось, скорее угадывалось ровное дыхание Мишки. Его кровать стояла напротив, и Люся видела Мишкины атаманские, почти льняные вихры. Он был сильнее войны. Сильнее всех. Наверно, его жизненная сила переходила и к Гришке, а то Гришке бы не выдержать. Господи, да когда же она кончится, когда придет конец этой войне?

Подумала об этом или сказала вслух? Она стояла с ладонью, прижатой к губам, будто зажала рот, но попрежнему было тихо и ребята крепко спали. Подождав еще немного, Люся вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Теперь можно сесть, прочитать письмо и потом перечитывать сколько захочется, и никто не помешает. Но Люся не хотела вот так, во всем рабочем, непричесанной, с грязными руками, пахнущими машинным маслом, раскрыть Димкино письмо. Она должна почувствовать себя другой, той, прежней Люсей, на которую заглядывались и к которой писал свои письма Димка.

Пока она умывалась, вскипел чайник. Люся достала из кухонного шкафчика жестяную банку, красиво расписанную красными китайскими драконами. Чаю там оставалось немного, на самом донышке. Поколебавшись, Люся взяла четверть ложечки. Чай получился на славу — крепкий, ароматный. С чашкой этого свежего, дымящегося чая Люся пришла в свою комнату, села у окна.

Она отхлебнула глоток чая, аккуратно развернула Димкин треугольник. И сразу же одним духом прочитала письмо. И как это бывает, сначала поняла только, что все хорошо, все хорошо — Димка воюет и уже близка победа. Потом Люся двумя руками разгладила письмо, вздохнула, прикрыла глаза. Димка жив, и ско-

ро войне конец. Теплота входила в нее, теплота и легкость, и не было мыслей, а только вот это удивительное ощущение согласия и покоя.

На подоконнике неровной стопкой лежали книги, которые Люся любила перелистывать и перечитывать. Давно она к ним не прикасалась. И давно не сидела вот так одна и не чувствовала такой теплоты и уюта этой их комнаты с золотистым абажуром над столом, маминой высокой кроватью, покрытой пикейным одеялом, сверкающим белизной, старинным комодом, отделяющим уголок, где спала она сама. Тепло шло от этих вещей, от всего, что было в комнате и находилось на своих местах.

В комнате стояла тишина, и за окном была тишина. Ветер утих. Все застыло, остановилось. Люся читала письмо, улыбалась, хмурилась, а то вдруг сердце у нее падало: «...ну, если, конечно, мотор не обрежет или шальная зенитка не шарахнет...» Правда, Димка заключил это в скобки, подчеркнув тем самым малую вероятность такого исхода. Но все-таки написал. Значит, так может быть? Глупый вопрос — ведь война... Пусть война. Но этого не будет. Не погиб же Димка в самое тяжкое время. А уж теперь, когда «мессера» соваться боятся и зенитки не те, он и подавно будет жить. И в Берлин придет, и к ней вернется. А осталось немного. Еще немного — и войне конец. Надо верить. Когда веришь, все сбывается.

Люся не раз еще прерывала чтение, откладывала письмо, и ей виделись в черном дымном воздухе грозные штурмовики.

...По мощеной улице маленького польского городка мимо старинного костела идет Димка вместе со своим командиром. На площади уже собралась толпа. Подпольщики-антифашисты встречают их, обнимают, жмут руки. Они рассказывают о своей борьбе, о погибших товарищах. А потом та самая женщина, о которой написал Димка, польская подпольщица-антифашистка, много испытавшая и много видевшая, глядя ему в глаза, рассказывает, что с ним произойдет.

Она сразу угадала Димкин характер и сказала правду, не ошиблась.

Неизвестно, сколько времени Люся просидела бы так, фантазируя, воображая, но именно письмо, от которого она отрывалась, а потом снова брала в руки, возвращало ее к реальной жизни. Вернее, не письмо,

а сам Димка, стоявший за ним, живой и невредимый, тот самый, что за словом в карман не полезет, и прихвастнет, и напустит туману при случае, отважный, благородный Димка, который все безропотно сносил от нее, все ее насмешки и глупости. Вот он-то и возвращал Люсю на грешную землю. Она читала между строк, угадывая, что Димка хотел сказать, но не сказал, постеснялся, понимая, где он начал дурить, потому что боялся написать, как ее любил, а все-таки вырвалось несколько слов! А она ему скажет. Все скажет — и не побоится. Теперь она понимает, какой была взбалмошной, пустой девчонкой, которая ничего, кроме себя самой, не видела. Ведь только по письмам она по-настоящему начала узнавать Димку. Да нет, знала и раньше, да не думала о нем, потому что ни о ком не думала — только о себе. Люся готова была провалиться сквозь землю, когда вспомнила, как глупо, отвратительно, подло вела себя с ним.

Пусть он забудет это. Она постарается быть достойной его. Она будет очень стараться. И чувствует — сумеет, потому что кое-чему научилась за четыре года войны... Вот так она ему и напишет, этими самыми словами, и сейчас же, немедленно, пока есть слова, пока хватает храбрости.

Люся взяла с подоконника лежащую на книжках свою тетрадку в косую линейку, старую школьную чернильницу, ручку и начала писать так быстро, что буквы падали на бегу и слова вырывались из строчек, но это было не важно, все было не важно, лишь бы рука поспевала за мыслью, лишь бы она сумела высказать то, что чувствует, что хочет и должна высказать — все, до конца.

Она не заметила, как прорвалась тишина слабым, мягким, быстро исчезнувшим звуком. Тишина поглотила его и сомкнулась над ним — пусть думают, что и не было этого звука, что он почудился. Но через короткое время это повторилось в другом месте и затем еще где-то совсем близко, и звук был смелее, звонче, и — опять, но еще смелее и еще звонче. И уже отступила тишина, и со всех сторон, догоняя друг друга, все быстрее, быстрее падали, ударялись, шлепались капли и капельки, большие и маленькие, и с каждой секундой они множились, и что-то еще разбивалось, раскалывалось, сползало. Все вокруг трещало, звенело на все лады,

и эта удивительная музыка росла, ширилась, вбирая в себя новые и новые голоса.

Люся не слышала ее, а если слышала, то особым, внутренним слухом, потому что ей казалось, что все это происходит в ней самой. И она торопилась все написать, пока звучит эта музыка.

Она оторвалась от письма, когда поставила последнюю точку, и услышала звон и шорох за окном, и поняла, что это капель! Весна!

Верь не верь, а пришла весна. Долгожданная. Особенная. Прилетела на больших зеленых крыльях.

Люся встала, приникла к окну. Расплющивая губы, нос, прижалась всем лицом к холодному стеклу: здравствуй, весна! Моя весна!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

На следующий день Люся бросила свое письмо в почтовый ящик у проходной завода, и оно отправилось без каких-либо помех туда, на запад, по наезженной, кипучей дороге наступления. Но Димка не получил этого письма. Его получил Борис. В тот момент, когда письмо принесли в общежитие летчиков, Борис со всей эскадрильей находился на КП полка. Дневальный в общежитии летчиков, которого послали передать Борису письмо, увидел его сидящим на скамейке возле входа в землянку, где размещался КП. Старший лейтенант не то дремал, не то задумался.

Дневальный в нерешительности остановился перед ним. Он знал, кому адресовано это письмо. Потоптавшись на месте, собрался с духом и по всей форме обратился к старшему лейтенанту. Однако ему пришлось повторить все еще раз и погромче, чтобы заставить старшего лейтенанта поднять голову.

— Письмо...— сказал дневальный, протягивая конверт.

— Спасибо.— Борис взял письмо, повертел его в руках.— Спасибо.

Дневальный с облегчением повернулся и быстро зашагал прочь. Борис сунул конверт в карман гимнастерки и потянулся за кисетом. Рассыпая табак, с грехом пополам завернул цигарку, но никак не мог зажечь спичку. Наконец, истратив чуть ли не полкоробка, рас-

курил слегка потрескивающий табак и жадно затянулся крепчайшим горьковатым дымком.

Он понял, что это за письмо. Теперь предстояло прочитать его. Ладно. Только не сразу. И не здесь. Позже, когда их отпустят с КП и он останется один.

Письмо лежало в кармане гимнастерки и похрустывало, когда Борис поворачивался или наклонялся. Он курил, смотрел на голубоватое, начинающее сереть небо, на робко и нежно зеленеющие деревья, окаймлявшие поле, которое они приспособили под аэродром — наверно, последний в этой войне полевой аэродром,— на красные островерхие, причудливые крыши домиков, виднеющиеся за деревьями, и ему казалось, что все это не реальность, а фантазия, ожившая картинка из книжек его детства. Реальность была в другом — в письме, лежавшем в кармане гимнастерки, в его тяжести.

Но все это было, существовало: война, Германия, ранняя теплая весна и это поле на окраине местечка или городка под названием Шванте, расположенного примерно в сорока километрах северо-западнее Берлина. И существовало письмо, написанное не ему, а он должен его прочитать.

— Летчики свободны!— донеслось до Бориса.

— Пошли?— Кто-то тронул его за плечо.

Борис не отозвался, и больше его не звали. Так уж повелось в последнее время, вернее, с тех самых пор: его не тревожили, когда он уходил в себя.

Выкурив цигарку и тщательно затоптав ее, Борис поднялся и не спеша пошел по краю поля, осторожно ступая на влажную, мягкую землю, выпустившую кое-где нежно-зеленые стрелки молодой травы. Он шел не к общежитию, а в обратную сторону — к городку, к кирхе.

Вечерело. На ветвях деревьев, обозначивших плавный изгиб шоссе, повисла сверкающая полоска заката. Червонное золото плавилось и медленно стекало по бурым и малиновым черепичным крышам ближних домов. После быстрого короткого дождя пахло распускающимися липами.

День уходил неспешно, тишина завершала его, хотя и чуткая, как пугливая птица,— война кружила рядом. О ней бы забыть, поверить тишине, этому золоту, вспыхивающему на крышах, на высвеченных готических силуэтах, возвышающихся над ними. Да как забудешь. Напомнит. Хотя бы этим самым письмом.

Незаметно для себя Борис оказался у каменной стены, огораживающей кирху, но входа здесь не было, и он пошел вдоль стены, пока не наткнулся на боковую дверку старинного литья. Видимо, этим входом давно не пользовались: Борис никак не мог открыть заржавевший засов. Попробовал ударить увесистым камнем, валявшимся рядом. Дверь поддалась со скрипом и лязгом.

За оградой было еще тише. И еще острее пахло распустившимися липовыми почками. От влажной земли шел теплый ток со сладковатым запахом прошлогодних прелых листьев, шуршащих под ногами.

Борис пошел по дорожке, теряющейся среди вековых деревьев. Странно было видеть на старых, черных, корявых ветвях молодые побеги с нежно зеленеющими, только что родившимися листочками. А почему странно? Просто он не замечал этого раньше, не обращал внимания. В Москве весна другая...

Подсыхающие тротуары, залитые теплым солнцем, говор, смех, толкотня, мелькание лиц — особенных, весенних, стук каблучков, мимозы, лежащие на лотках,— можно купить одну веточку, одну, потому что ранние мимозы стоят дорого. Мать в первый же день покупала эту единственную веточку и ставила в свою любимую хрустальную вазу, которую все в доме очень боялись разбить. А во дворе девчонки играют в классы, громыхают самодельные самокаты на подшипниках и выкатывается на улицу мяч...

В Москве весна начиналась весело, шумно, разноцветно. Вернется ли то время? Подумав об этом, Борис опять ощутил холодную тяжесть, которая шла от письма, лежащего в кармане гимнастерки. Может, вернется. А может, и нет, но только Димки в той жизни уже не будет. А сам он? Разве он сумеет забыть войну?

Он понял, вернее, почувствовал: ничто не возвращается. Ничто. И не будет уже такой беззаботной, шумной, веселой, разноцветной весны, а будет другое, потому что сам он другой.

Борис сделал еще несколько шагов. Деревья неожиданно расступились — и открылось кладбище. Слабые розоватые отблески падали на кресты, высокие каменные надгробия, и казалось — белый мрамор оживает в этих последних рассеивающихся лучах. Впереди Борис увидел боковую стену кирхи — своим главным входом она была повернута к домам, к центру города.

Заметно темнело. Борис сел на каменную скамью, стоявшую как раз там, где кончались деревья, и достал письмо. Аккуратно надорвав конверт, вытащил сложенные пополам листы, развернул их. Это были листы, вырванные из школьной тетради в косую линейку. Сначала почерк был аккуратный, потом, на втором листе, буквы заострились, побежали быстрее, сжимаясь и укорачиваясь на бегу. Третью страницу с первого раза уже не разберешь: она, наверно, очень торопилась, строчки полезли одна на другую. Конечно, это была она, та самая таинственная гордая Люся, о которой Димка однажды сказал, что он умрет, если она не полюбит его. Сказал вроде в шутку, но голос сорвался, и Борис подумал: всерьез. «Не полюбит — заставим, не умеет — научим»,— отшутился Борис. «Такую не заставишь»,— ответил Димка. Восхищение и гордость, прозвучавшие в этом ответе, отдавали яростным самоуничижением. «Коли так, плохо твое дело»,— хотел сказать Борис, но, посмотрев на Димку, промолчал.

Теперь письмо этой Люси было в его руках. Ну ладно. Хватит тянуть. Все равно надо прочитать.

Письмо оказалось обыкновенным, самым обыкновенным. «А помнишь, Дима...» А он-то ждал другого — даже обидно стало. Не хотелось верить первому впечатлению, и Борис перечитал письмо, а потом, не замечая этого, вернулся к первой странице. Слова были обыкновенные, но ему почудилось — он услышал живой голос. И уже нельзя было не поверить, что Люся любит Димку и будет любить всегда. Борис слышал, как она это говорила, верил ей, и видел набегающую черную землю, и почувствовал, как шасси легко прикоснулось к посадочной полосе именно там, где он и хотел, самолет чуть подпрыгнул, мягко опустился и покатился по прямой. Когда Борис выключил мотор, самолет немного развернуло. Он поторопился выключить мотор, бросил рули, открыл фонарь, отстегнул парашют, выпрыгнул из кабины, а механик уже был там, в кабине стрелка, потому что она была разворочена снарядом, и непонятно, как еще держался в этом месте фюзеляж. «Эй, кто там, помогите!»— крикнул механик, и несколько человек бросились туда, в кабине стрелка. Потом он шел рядом с Димкой, которого несли к санитарной машине, и услышал, как кто-то сказал: «Голову держи, голову!»— рванулся вперед и тут увидел застывшее, белое,

без кровинки, запрокинутое лицо Димки и понял, что Димка убит.

Он был убит, когда они уходили от цели, оставляя на земле пылающие танки, затянутые клубами черного дыма. Снаряд разорвался рядом с кабиной стрелка, взрывной волной самолет завалило на крыло, Борису с трудом удалось выровнять его. «Димка!— крикнул он.— Димка! Отвечай! Ну ладно, хватит дурить! Отвечай! Отвечай!»— повторял Борис, а Димка молчал, и все внутри у Бориса похолодело, но он надеялся — ранен. Пусть тяжело, но все-таки ранен!

Самолет потерял высоту и плохо слушался рулей, но они уже летели над своей территорией. Борис посадил самолет, и, пока вылезал из кабины, Димку вынесли, потом он услышал: «Голову держи, голову!»— увидел запрокинутое белое, без кровинки, лицо Димки и понял, что он убит.

Снова и снова память возвращала Бориса к этому мгновению. Вот какая чертовщина. Надо посидеть немного. Прийти в себя.

Вечер тихо, мягко спускался на кладбище, будто и не было войны. Ничего не было — только тишина. Глубокая. Бесконечная. Она подкрадывалась незаметно, лишала воли. Не надо было двигаться, думать, чего-то хотеть — только чувствовать эту тишину и подчиняться ей.

Борис посмотрел на дату — она стояла в начале, на первой странице, 7 апреля. Когда Люся отправила свое письмо, Димка был жив. Прийти бы этому письму раньше — может, Димку и не убило бы. Дикая мысль! Димка сказал, что умрет, если Люся не полюбит его. Люся полюбила, а Димки нет. Но что это значит — нет? Для него Димка существует. И для Люси. И для Димкиной матери. Только он останется таким, каким был. В прошлом времени. Может, смерть — это и есть прошлое время? Пока живешь, куда-то движешься, вступаешь в новую жизнь, а те, кто умер, остались там, в той жизни, из которой ты ушел. Может, и так. Но от этого не легче — все равно Димки нет. Как же теперь Люся? Борис впервые подумал о Люсе, живой Люсе, которая любит, ждет, надеется. И он должен сказать ей.

Вот как — еще недавно казалось: кончится война — и жизнь пойдет ясная, без облачка, широкая, быстрая, как большая полноводная река. И ничего не надо будет

решать, потому что все уже решено. Сколько же тех, чью судьбу сломала, покалечила война!

Поверить этой тишине — только она и была всегда. Была и будет. И все поглотит, все скроет. Все? И Димку? Борис поднялся со скамьи. Он не мог больше здесь оставаться. Тишина давила его. Хорошо, что песок, которым была посыпана дорожка, шуршал под ногами. Живой, шуршащий песок. Обойдя кирху, Борис оказался у главного входа. Отсюда был виден весь город.

Сумерки погасили краски. Темноватая синева залила дома и густела на глазах, смазывая контуры крыш и превращая их в бесформенные пятна. Надо торопиться — как бы его не хватились. Объясняй потом, что просидел на кладбище и спорил с тишиной. Борис усмехнулся: звучит действительно странно. Чушь. Мистика. Как сказал бы Димка, черная магия. Как трудно иногда объяснить самые простые вещи!

Через центральные ворота Борис вышел за ограду и зашагал к аэродрому. Скоро он увидел за деревьями широкую покатую крышу и по бокам островерхие башенки с флюгерами. Это и был дом, в котором поселили летный состав. Построен он был, должно быть, недавно, хотя выглядел как средневековый замок. Внутри тоже все было сделано «под старину», если не считать удобной планировки комнат и вполне современного комфорта. Вообще страсть немцев к готике, к мрачным романтическим атрибутам средневековья бросалась в глаза. В богатых домах, где довелось побывать Борису, что-нибудь в этом роде обязательно попадалось: шлем с забралом, меч, серебряный рыцарский кубок, красовавшийся на самом видном месте под стеклом. Все же остальное говорило о том, что хозяева более всего пеклись о своих удобствах, о комфорте, который им давала цивилизация середины XX века.

Эти дома, большею частью роскошные особняки, пустовали. Любопытно, что, удирая, их владельцы забирали с собой нечто более ценное, нежели ржавый тевтонский меч или тяжелый рыцарский крест на цепи. Забирали то, что им могло пригодиться в XX веке, вплоть до посуды. Они были людьми практичными.

Говорили, что дом, в котором жили летчики, принадлежал управляющему угодьями, простирающимися к югу от городка. В эти угодья входило и поле, ставшее аэродромом. Видно, этот бюргер, исполнявший роль надсмотрщика над пленными русскими девушками, ра-

ботавшими на фермах и полях, тоже стремился приобщиться к рыцарству.

Когда Борис подошел к дому, уже совсем стемнело. Благо часовой узнал его по голосу. Борис поднялся на второй этаж, где в большом зале со стрельчатыми сводами размещалась их эскадрилья.

— Ну вот, наконец-то!— сказал коэмска, когда Борис открыл дверь.— Где пропадал?— И, не дав ответить, продолжал:— Мы тебя тут заждались. Тут, понимаешь, дело есть...

Комэска был несколько смущен, хотя всячески пытался скрыть это, но уж кому, как не Борису, знать его — слава богу, два с половиною года бок о бок, что в воздухе, что на земле. Командир первой эскадрильи Герой Советского Союза капитан Жигарев, иначе говоря Алексей, пришел в полк в том же сорок втором году, что и Борис, только он в начале, Борис — в конце. Но именно эти тяжелейшие бои в феврале, марте и апреле, когда погибло больше половины всего летного состава, превратили Алексея, «молодого, необстрелянного», в настоящего аса.

Эти несколько месяцев, может быть, стоили нескольких лет, но так уж считалось, что они с Борисом пришли в полк в один и тот же год, теперь оба стали ветеранами и как бы сравнялись в боевом опыте. Они были товарищами, ничего не скрывали друг от друга, и Борис твердо знал — не могло быть у Алексея причин для смущения. Не могло быть, да были. Алексей хитрить не умел: что на сердце, то на лице.

Этот медлительный человек, которому надо было подумать, прежде чем на любой вопрос ответить «да» или «нет», преображался, когда садился в кабину. Его сухощавая фигура с крупной головой сливалась с самолетом, движения делались быстрыми, точными, даже голос менялся. Иногда Борису казалось, что Алексей такой медлительный на земле потому, что ему скучно — ведь у него были крылья, а у других людей их не было...

Алексей, конечно, был прирожденным летчиком, летчиком от бога, может быть таким же, как Валерий Чкалов. Кстати, он был из тех же краев, с Волги. «Ладно,— подумал Борис.— Не хочешь сказать сразу, выпутывайся сам. А я погляжу на тебя». Вслух он сказал:

— Я, товарищ капитан, воздухом дышал. Вечер хороший.

— Ну и как — надышался?

— Надышался.

Наступило молчание. Борис сел на кровать и начал не спеша сворачивать цигарку.

— Тут, понимаешь, вот какое дело...— Комэска наклонил лобастую голову.— К тебе пополнение...— Он попробовал пошутить:— Из резерва Главного Командования...

Шутка не получилась, и комэска поспешил добавить:

— Давай принимай...

Так вот оно что. Теперь все понятно. Значит, пополнение. Теперь его экипаж в полном комплекте. Это главное. А про остальное забудем. Как будто Димки и не существовало. Не было такого. А если был, то можно забыть. Война есть война. Верно. Все правильно.

Новый стрелок, пополнение из резерва Главного Командования, вышел из-за стола (а он-то сразу и не заметил его) и стал по команде «смирно».

— Товарищ старший лейтенант, младший сержант Кожухин прибыл в ваше распоряжение...— Он запнулся, словно позабыв, что надо говорить дальше. Губы его беззвучно шевелились. Вспомнил, но понял, что уже говорить не стоит, все-таки пробормотал упавшим голосом:— Для дальнейшего прохождения службы.

«Прибыл»,— повторил про себя Борис. Прибывают поезда, как шутил старшина в училище. А еще некоторые говорили — явился. Но чем это лучше? Можно ответить — являются только видения. Например: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье...» Черт знает какая чепуха лезет в голову.

Борис исподлобья смотрел на стоявшего перед ним паренька. Ну и ну. Всяких солдат видел, а таких не приходилось. Да ему от силы лет пятнадцать. Как он в армию попал? И еще в авиацию? Как? Очень просто. Взяли мальчишку, выросшего на голодном пайке, вот такого — щуплого, лопоухого, с цыплячьей шеей и огромными глазищами, выдали ему гимнастерку хэбэ, ремень, кирзовые сапоги с широченными голенищами, показали, как обращаться с пулеметом Березина, подучили малость — и получился младший сержант Кожухин. И он «прибыл» на место Димки!

— Ты с какого года, товарищ младший сержант?— спросил Борис.

«А кой тебе годик?»—«Шестой миновал...» Ну и старым же показался сам себе Борис! Будто прожил целых две жизни. Одну довоенную — короткую. Другую военную — долгую, без конца и края, где все уже было. А что видел этот малец? Голодное детство?

— С тысяча девятьсот двадцать восьмого года, товарищ старший лейтенант.

— Свежо предание.

— Как скажу, так все не верят, товарищ старший лейтенант. А потом верят.

— Ишь ты, какой шустрик,— удивился комэска.

— А как тебя звать?— опять спросил Борис.

— Гена, товарищ старший лейтенант.

— Ладно, Гена,— усмехнулся Борис.— Только не стой, пожалуйста, по команде «смирно». Не подходит это к тебе.

— Есть не стоять,— недоуменно ответил Гена, не решаясь, однако, ослабить ногу, как это полагалось в положении «вольно».

Он был окончательно сбит с толку. Много раз Гена представлял себе, как он прибудет в часть и представится командиру и какой при этом будет разговор, что командир спросит и что он ответит, а сейчас все было не так. И еще одно обстоятельство приводило Гену в крайнее смущение. Он обнаружил, что не может глаз отвести от золотой звездочки, сверкающей на груди капитана. Гена впервые видел живого, самого что ни на есть настоящего Героя Советского Союза, не только видел — разговаривал с ним! Понятно, ему хотелось как следует рассмотреть капитана, и все было интересно: выражение лица, как говорит, смеется, курит. Но Гена стеснялся поднять на него глаза: а вдруг капитан прочтет в них все его мысли? От одного этого предположения Гену бросило в жар. Ведь он не школьник, а младший сержант, воздушный стрелок, и находился в боевой части, под самым Берлином, а не на школьном вечере. Что о нем подумали бы и капитан и этот хмурый старший лейтенант, его будущий командир, если бы они догадались, что он заставлял себя не смотреть в лицо капитана, Героя Советского Союза, и потому уставился на его звездочку и уже не может оторвать от нее взгляда!

— Да садись ты! Вот сюда,— сжалился над ним комэска, пододвигая стул.— Садись. Привыкай к нашей жизни. У нас ребята хорошие. Не бойся, не съедят.

— Я и не боюсь,— сказал Гена, присаживаясь на самый краешек стула (как он хотел, чтобы капитан увидел его в воздушном бою!).— Я на фронт приехал.

— Верно,— поддержал его комэска.— Немцев бить. Для того и приехал.

Борис вздохнул. Он знал и летчиков и стрелков, которые приходили в полк и вот так же хотели как можно скорей слетать на боевое задание и не возвращались после первого или второго вылета. Там, в школе, они учились преодолевать себя, испытали радость самостоятельного полета, мечтали о подвигах, о целой жизни впереди, а все кончилось в первые же дни приезда на фронт. Наверно, они были не хуже других, и многие из них могли бы воевать и стать асами, как Алексей. Могли, но не стали, потому что воздух, в который они рвались, был заряжен гибелью. Одним обходится, другим нет. А теперь даже имен не вспомнить: их и узнать-то как следует никто не успел. А Гене обойдется. Должно обойтись. Как-никак, а воздух наш.

Сколько же должно было погибнуть тех, чьи имена не вспомнить, и таких, как Димка, чтобы Гене обошлось, чтобы остался он целым и невредимым! И Борис подумал, что в образе этого худенького голубоглазого паренька, выросшего на голодном тыловом пайке, пришло к ним то новое поколение, которое начнет свою главную жизнь после победы. А вот у него и у Алексея самым главным в жизни была и, может быть, навсегда останется война.

Димка погиб, чтобы Гене обошлось. Такие пироги, как говорит Алексей.

— Ты ШМАС [1] кончил?— спросил комэска, нарушая затянувшееся молчание.

— Ну да — ШМАС.

— Стрелять, конечно, умеешь? И летать не боишься?

— Не боюсь,— сказал Гена.

— А в авиацию как попал? Да ты не обижайся,— поспешил прибавить комэска.— Я вот помню... У нас богатырей заворачивали!

— Меня, товарищ капитан, не пускали. Да нельзя мне без авиации. Мне с фашистом надо встретиться — в воздухе. Чтоб один на один...— Широко распахнутые,

---

[1] ШМАС — школа младших авиационных специалистов.

светлые, как апрельское небо, глаза Гены сузились, потемнели. Он запнулся, замолчал.

— Счет у тебя к ним?— осторожно спросил комэска.

— Мы с мамой эвакуированные. Отец в партизанах остался. Пока из Новогрудка в Минск шли, по пять раз в день бомбили. Налетят, сбросят бомбы — и давай из пулеметов... Улетят, чай попьют — и опять... А когда патроны кончаются, над головой промчатся, чтобы добить, кто живой остался, воем своим, чтоб на всю жизнь страх этот запомнился... Там и Катьку, сестренку мою, убило...

— Понятно, товарищ младший сержант, понятно...— Комэска помолчал.— Сквитаешься еще с ними. И Гитлера прикончишь. В самом Берлине. Понял меня?

— Понял, товарищ капитан.

— Ну, а дальше?— спросил Борис.— До Минска дошли. А потом?

— Потом нас эвакуировали на восток. Эвакуированные мы,— повторил Гена запавшее в душу с той поры словцо, которое все объясняло: бездомность, сиротство — все несчастья, все горести.

Гена замолчал, стараясь справиться с горячей волной, которая подкатывала к горлу. Вот уж как бывает — в самый неподходящий момент... Рассказывать, выходит, хуже, чем на самом деле переживать.

— Закуривай, младший сержант...— Алексей протянул Гене красивый портсигар из плексигласа.

— Спасибо, товарищ капитан. Некурящий я,— ответил Гена и почувствовал, что отлегло, вроде никто ничего не заметил и он может продолжать рассказ.— Попали мы в Киров. Я в школу пошел, маму на фабрику взяли. А как стукнуло мне шестнадцать, стал заявление в военкомат писать...

— Ого, шестнадцать! А что скажешь, когда двадцать пять стукнет?— улыбнулся капитан.

— Рассказывай, Гена, рассказывай,— снова вмешался Борис. Он и сам не понимал почему, но хотел узнать всю историю этого паренька. Всю — до конца.

— Я на заявления целую тетрадь извел.— Гена проговорил это с сожалением: тетрадь была большой ценностью.— Целую тетрадь! А ничего не вышло. После один человек помог. Из райкома. Я в летную школу хотел. А набор был в ШМАС...

— Летчик из тебя бы вышел,— сказал комэска, похлопав Гену по плечу.— Точно говорю. У меня глаз на летчиков. После войны пошлем мы тебя в училище, в гражданскую авиацию. И станешь ты пилотом высшего класса. Будешь летать через горы, океаны. Вокруг шарика облетишь. Об этом Чкалов мечтал, да не пришлось ему. А ты облетишь. Всю землю увидишь — не на картинке, своими глазами. А самолеты построят — глаз не оторвешь. Скорости будут считать от звукового барьера. И любая погода нипочем!

— Такой самолет для тебя, Алексей, построят,— сказал Борис.— Ну а Гену мы к тебе вторым пилотом. Возьмешь?

— А как же! Обязательно возьму! Мы еще с тобой, младший сержант Гена, полетаем!— и капитан дружески подмигнул Гене.

«Что у него было?— снова спросил себя Борис.— Голодное детство? Верно. А еще война. Как у солдата. Да нет, Гене было хуже: в него стреляли, его убивали, а у него не было оружия, чтобы защититься. А кругом были женщины, дети. Мать, сестренка... «А кой тебе годик?»—«Шестой миновал...» А у него на глазах сестренку убили».

И опять, как час тому назад на кладбище, Борис подумал, какая это огромная война. Всех захватила. Никого не обошла. Расшвыряла, уничтожила, задавила. И опять вспомнилась ему череда людей, бредущих по дымной горящей дороге. «Голову, голову держите!» А Гену не убьют. Он должен жить. Он вернется, и его обнимет мама, и сядет напротив него, и будет смотреть, как он ест, и будет знать, что больше не стреляют, что впереди у Гены целая жизнь...

Комэска неожиданно проговорил:

— Вот так-то, Боря. Такие пироги.

Только сейчас Борис понял, почему Алексей сам представил ему нового стрелка. Алексей все брал на себя. Всю вину за то, что как бы первым сказал: погоревал — и хватит, надо дело делать. Гитлер еще не издох, там, в Берлине. Принимай на Димкино место другого. Он сказал это и как товарищ и как старший командир, а Борису оставалось одно — подчиниться. Когда трудно решать самому, самое лучшее подчиниться.

Смотря в глаза своему новому стрелку, Борис сказал:

— Иди, младший сержант Кожухин, отдыхай. Завтра с утра покажу тебе наш аэроплан. А там, глядишь, и слетаем. Чем черт не шутит.

* * *

Утро начиналось как обычно, когда ожидаются вылеты. Еще не рассвело, а механики и мотористы заправляли самолеты горючим и маслом, запускали и опробовали моторы.

Проснувшись от разноголосого гула, доносившегося с аэродрома, Гена вскочил в холодном поту: ему привиделось, что самолеты выруливают на старт, чтобы лететь на боевое задание, а он проспал все на свете и его забыли разбудить. Гена огляделся и увидел спящих товарищей. Сразу отлегло от сердца — никто его, слава богу, не забыл. Опробуют моторы,— значит, будут вылеты. Не дожидаясь команды «подъем!», Гена начал одеваться.

После того как он слетал на боевое задание, в разведку, Гена почувствовал себя полноправным членом экипажа, и теперь все имеющее хотя бы какое-нибудь отношение к полетам радовало его. Что же говорить о летном снаряжении, на которое так приятно было смотреть и еще приятнее знать, что оно принадлежит тебе по праву! С удовольствием натянув комбинезон, надев сапоги, Гена, нахмурившись, взял ремень с кобурой и пистолетом. Подпоясывался он не торопясь, небрежно, будто кто-то мог наблюдать за ним.

Гена уже и думать забыл, как на следующий день после его приезда в полк командир экипажа, старший лейтенант, полетел с ним в зону и помотал так, что, когда они приземлились, Гену вырвало прямо в кабине, и он очень боялся, что командир заметит! Тогда прости-прощай его боевые вылеты! Но старшему лейтенанту, видно, все это было неинтересно. Спрыгнув на землю, он, ни слова не говоря, махнул Гене рукой и не спеша пошел от самолета. Примерно через час, когда Гена окончательно пришел в себя, старший лейтенант, встретив его у столовой, спросил: «Ну как? Понравилось?»—«Конечно!— поспешно ответил Гена.— Очень понравилось!» Ответил так, будто речь шла о катании на карусели. Старший лейтенант усмехнулся и промолчал. После этой встречи Гена ходил как в воду опущенный: неужели догадался? Уж больно ехидной показа-

лась Гене эта усмешка... Но прошел еще день, и они полетели на боевое задание, в разведку, и сразу забылись все эти страхи.

Одевшись и прицепив к поясу шлемофон, Гена счел себя готовым. Пока поднимутся другие стрелки, он решил выйти из дома и поглядеть, не затянуло ли звезды облаками. Стараясь не шуметь, Гена спустился со второго этажа по широкой деревянной лестнице с резными перилами, все время ощущая приятную тяжесть пистолета, чуть-чуть оттянувшего ремень с правого бока. Шлемофон в такт его шагам слегка похлопывал по ноге.

Закрыв за собой массивную входную дверь, Гена оказался на каменной площадке вроде крыльца, на три ступеньки возвышающейся над землей. Остановился, зажмурившись и запрокинув голову, вдохнул холодный, сырой от рассеивающегося тумана воздух. Потом открыл глаза, огляделся.

Рассветало. Сероватая мгла растекалась, уходила, и в светлеющем воздухе все явственней, резче обозначились деревья, дорожка, ведущая от дома, кусты, металлическая ограда. Небо как бы раздвигалось, обнажая бледную голубизну высоты, где уже не было видно звезд. А там из-за волнистой розовой полосы, тихо разлившейся над крышами городка, в желтовато-белом накаленном кольце медленно выплывало солнце.

Замолчали моторы на аэродроме. Набежал и затих предрассветный ветерок. Все замерло, затаило дыхание, пока солнце поднималось все выше и выше, и светлело, и уменьшалось, будто таяло, отдавая тепло и свет.

Прислонившись к дереву, замер и часовой, завороженно глядя туда, на восток.

Стало совсем светло. Небо было чистым, только на западе оно казалось чуть темнее. Наверно, так и должно быть, пока солнце не забралось повыше. Небо чистое. Значит, будут вылеты.

Гена, как старый воздушный ас, цепким, примеривающимся взглядом (а если посмотреть со стороны, небрежным) скользнул по небосводу. Слева направо — по часовой стрелке, потом справа налево и, вернувшись к тому ориентиру, с которого начал обзор (островерхая башенка со шпилем — почти в стволе солнца), уже больше не мог оторвать глаз от этого места.

Он смотрел на волнистые, изменчивые переливы света и сияния, на сверкающее солнце, уходящее в вы-

шину, и подумал, что именно там, вот за этой башенкой, и есть тот самый край земли за горами, за долами, откуда оно выплывает в своем бело-золотом ослепительном ореоле...

Заглядевшись, Гена, как и часовой, боялся двинуться, и неизвестно, сколько времени они простояли бы так, но дневальный скомандовал: «Подъем!»— и сразу оборвалась тишина. Дом ожил, наполнился голосами, топотом сапог, заходил ходуном.

Наконец-то! (Будто минуту тому назад Гена не стоял как зачарованный, забыв о своем нетерпении, обо всем на свете.) Наконец-то! Завтрак пройдет быстро — и на аэродром.

Гена не мог ускорить течение времени. Ему казалось, что все делается крайне медленно. Как будто это запасной полк, а не фронтовое подразделение, которое в любую минуту может получить боевое задание. Он раньше всех позавтракал и раньше всех оказался возле своей «пятерки».

На летном поле было пустынно. Гена похаживал около самолета, то и дело поглядывая в сторону КП, откуда должны были появиться летчики. Он решил проявить характер и залезть в кабину, когда придет командир. Но летчики не показывались, и нетерпение его росло.

Мимо стоявших в одну линию самолетов эскадрильи, гремя баллонами с воздухом, проехала полуторка. И опять все тихо. Потом, правда в другой стороне (не там, где находился КП), возникла высокая фигура в комбинезоне. Когда фигура немного приблизилась, Гена узнал своего механика. Это был хороший признак. Сначала приходит механик, потом летчик.

Механик слегка кивнул Гене, достал из кармана комбинезона отвертку, открыл нижний бронелюк мотора и засунул туда голову. Что-то он там высматривал или делал, Гена не мог определить, так как видел только его спину, а подойти поближе и заговорить постеснялся. Этот механик, как казалось Гене, был человеком мрачноватым, к тому же намного старше его, лет на десять, а то и больше. Старик стариком. Покопавшись, механик закрыл бронелюк, вытер руки ветошью и, ни слова не говоря, не спеша удалился. А летчики все не шли.

Гена решил снять с себя запрет и забрался в свою кабину. Первым делом он тщательно осмотрел пулемет,

по всем правилам, как учили в ШМАСе. Проверил магазинную коробку, положение ленты, предохранитель. Подвигал ствол по вертикали, потом по горизонтали — турель шла, как и полагалось, легко, с мягким, чуть слышным постукиванием. Все в порядке. Он был готов к бою. А вылет почему-то задерживался. Как будто наши наземные войска, добивающие фашистов, не нуждались в поддержке с воздуха! Или, может быть, уже больше не существовало целей для атаки штурмовиков! Например, танковых колонн противника, двигающихся из глубины обороны к переднему краю? Огневых рубежей? Ближних аэродромов?

Гена уселся поудобнее на широкую брезентовую ленту в кабине вроде гамака, упершись ногами, чтобы не раскачиваться, закрыл глаза. Лучше уж думать о чем-нибудь другом, как он делал дома, когда голодным ложился спать и так сосало под ложечкой, что невозможно было заснуть. И он заставлял себя думать не о еде, не о том куске хлеба и сахаре, которые лежали в шкафчике и которые они с матерью съедят утром за чаем, а о том, например, как он садится в истребитель, и поднимается в небо, и летит на перехват «юнкерсов»... Так и засыпал и, наверно, уже во сне пикировал на черные самолеты с крестами и до боли в пальцах жал на гашетки. Когда Гена просыпался, было уже утро; иногда он не мог вспомнить, видел во сне или нет, как вспыхивает «юнкерс» и в дыму несется к земле.

Но сейчас думать о другом Гена не мог, как ни старался. Мысли все время возвращались к тому вылету — единственному боевому вылету. И каждый раз всплывали новые подробности, которые вроде забылись или сначала казались неважными, но, выходит, нет, не забылись и теперь уже без них нельзя, потому что все нарушается и становится непонятно, почему командир и он сам действовали так, а не по-другому.

...Они полетели в разведку без ведомого — воздух был наш, и Берлин рядышком, и бои шли в самом городе. «За воздухом посматривай»,— сказал командир. «Есть»,— ответил Гена. А может, и не ответил, только кивнул. Голос плохо слушался, во рту было сухо. Но «посматривай» засело в нем.

Когда рулили на старт, ему казалось, что земля в бугорках и трещинках со старой, выцветшей и зеленой, молодой, упругой травой, наклоненной воздушным потоком, его привычная земля, по которой он ходил, не

замечая ее, теперь уже другая и не его, и у Гены сжалось сердце. Ему стало страшно покидать эту землю, отрываться от нее.

Страх прошел, когда они набрали высоту, легли на курс, и Гену захватило чувство полета. Кругом все голубело. Солнце стояло почти в зените. Кое-где выше их растекались легкие перистые облачка, сквозь которые просвечивала голубизна. Видимость была отличная. Внизу чуть покачивалась земля — темная полоска леса, кусочки зеленеющих полей, домики, ниточки дорог...

«За воздухом посматривай...» По всем правилам обзора, как их учили, он несколько раз обежал взглядом все видимое пространство и потом снова, но уже не торопясь, методичнее. Все было чисто вокруг, искрилась голубизна, в тишине таяли облачка и ровно звенел мотор, но холодок тонкими струйками пополз по Гениной спине. «Мессеры» могли свалиться на голову в любую секунду. А он и не заметит — воздух над ними так сверкает, что больно глазам. Смотреть можно несколько секунд, потом перед глазами плывут оранжевые круги. Оторвешь взгляд — а «мессеры» или «фоккеры» тут как тут.

Гена встал — так обзор был лучше, да и действовать сподручнее. Самолет шел ровно, на одной высоте, и Гена понемногу приспособился: пока смотришь вниз, налево, направо, глаза отдыхают, потом вверх и опять вниз, налево, направо...

...Цели надо выискивать. Не ждать, пока тебя пришьют. Опираясь на палочку, капитан, начальник школы, стоит перед строем, и Гена опускает голову, чтобы не видеть его обожженное лицо с косым шрамом на лбу... Цели надо выискивать. Не ждать, пока тебя пришьют. И опять Гена почувствовал холодок на спине.

Справа мелькнуло темное пятнышко. Мелькнуло и пропало. Почудилось? Ну появись! Давай! Ничего — только искры в глазах. Да нет, не искры — это воздух такой розовый. Что за черт — розовый! Розовый воздух! А теперь красный! Гена зажмурился, сосчитал до трех, открыл глаза: воздух был красно-розовый! И только над ними все голубело по-прежнему. Посмотрев вниз, понял: красный воздух — это отблески огня, гигантских пожаров, бушевавших там, впереди.

Командир заложил глубокий вираж — земля в серой клубящейся пелене дыма качнулась и пошла вверх. Гену прижало к стенке кабины, он чуть присел, потом

почувствовал, что самолет набирает высоту. Когда выровнялись, Гена опять увидел разрезанные дорогами островки леса. Плотная серая завеса дыма с темными растекающимися пятнами, сквозь которые пробивалось пламя, осталась позади. И тут Гена услышал хлопок. Будто лопнул детский воздушный шарик. Один. Второй. Третий. И одновременно справа и слева возникли белые облачка, похожие на маленькие парашютики. Они быстро таяли, но сразу же появлялись новые — все больше и больше и все ближе к ним. Командир начал швырять самолет из стороны в сторону, вверх-вниз, а парашютики не отставали, стараясь дотянуться до них. Дотянуться и уничтожить.

У Гены похолодело внутри, руки стали непослушными. Сколько это длилось? Секунду, две? Он справился с собой, почувствовав боль в пальцах, впившихся в прохладный металл пулемета. Земля то уходила, то надвигалась. Гену мотало, но он все-таки увидел пушки, укрытые в лесу, по пламени, вылетающему из стволов. Гена приладился и дал одну за другой три короткие очереди по этим желто-красным языкам пламени.

И сразу в шлемофоне встревоженный голос командира:

— Почему стреляешь?

Возможно, Гена промедлил долю секунды, не больше, но тут же последовало резко, требовательно:

— Отвечай!

— Стрелял по зениткам.

— Хорошо.

Это «хорошо» прозвучало с удовлетворением. Как вздох облегчения... Гене показалось, что он и в самом деле услышал этот вздох. Но в тот момент он не подумал обо всем этом. Белые парашютики вспыхивали все ближе, и мысль была одна: скорее вырваться, уйти. А пока бить по пушкам, когда появляется пламя.

А потом, когда лесок уплыл назад и зенитки уже не доставали их, они опять попали в зону пожаров и опять летели в красном светящемся воздухе, но теперь уже под ними был Берлин — дым и пламя, черные дома, черные прямоугольники улиц, черные провалы развалин, вспышки огня. Рядом с самолетом в восходящих токах воздуха крутились кусочки сгоревшей бумаги, крупицы сажи, копоти. Казалось, горел сам воздух, и уже трудно было что-нибудь увидеть в этом сплошном огне...

Гена не мог сказать, сколько минут или секунд длился этот полет. Он только заметил, что над ними посветлело, и огонь бледнеет, как бы расступается, и теперь видно — это не огонь, а воздух, розовый от огня; а потом стало еще светлее, и кругом уже была ясная, солнечная голубизна, и внизу зеленели поля, и топорщились крыши домиков, и спокойно, ровно звенел мотор — будто в нескольких километрах от них не горел Берлин, и Гитлер не был в Берлине, и не было на свете никакой войны.

Они летели домой, на свой аэродром, и эти прозрачные, глубокие дали уже не казались Гене опасными. Теперь он имел некоторое представление о том, что такое настоящая опасность.

А вот и их колокольня на краю аэродрома. Командир делает круг и идет на посадку. Земля быстро приближается и убегает назад. Легкий толчок. Еще один, и они не спеша рулят на стоянку. Они дома, вернулись из боевого вылета, и все в порядке!

Командир выключил мотор, но Гена не торопился вылезать из кабины. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота. Стоило закрыть глаза — и земля начинала ходить ходуном и раскачиваться под ним. Посидеть бы немного, чтобы все прошло. Гена несколько раз глубоко вдохнул полной грудью — стало полегче. Потом не торопясь закрепил пулемет, накинул на него чехол. Тошнота начала понемногу проходить. «Эй, младший сержант, ты что там закопался, командир зовет!»— крикнул механик. Гена еще раз вдохнул как мог глубже и спрыгнул на землю.

Командир ждал его. Он уже отошел на несколько шагов от самолета, но остановился и ждал, пока Гена подойдет к нему. «Товарищ старший лейтенант...»— начал Гена, подойдя к командиру и становясь по команде «смирно». «Ладно,— оборвал его командир и, глядя в глаза, спросил:— Видел, как горит Берлин?..»—«Видел, товарищ старший лейтенант».—«Теперь все. Понял? Войне конец!— Он положил руки на Генины плечи и приблизил его лицо.— И если мотор не обрежет — будем мы с тобой, Гена, живы!» Гена промолчал, а про себя удивился: командир всегда сдержанный, словечка лишнего не скажет — и вдруг такое...

...Теперь, сидя в кабине воздушного стрелка и вспоминая минута за минутой свой боевой вылет, Гена свя-

зал два эти разговора с командиром — в воздухе и на земле.

Будто опять услышал Гена голос командира: «Почему стреляешь?»— но только сейчас понял, что встревожило командира. Ведь их могли атаковать «мессеры» и Гена мог стрелять по «мессерам». Вот почему командир сказал «хорошо» со вздохом облегчения, когда Гена ответил, что стреляет по зениткам.

По зениткам, а не по «мессерам»! Нет, командир, конечно, не испугался «мессеров»— видал он их! Просто ему была обидна, очень обидна сама мысль о гибели, когда горит Берлин и войне конец. Так он и сказал, когда они прилетели,— войне конец! И еще сказал: если мотор не обрежет — будем мы с тобой, Гена, живы! А если уж командир все-таки испугался, когда подумал, что Гена бьет по «мессерам», то не за себя, а за него.

Мысль эта появилась неожиданно, неизвестно откуда взялась, но, как это бывает с тем, что очевидно, сразу утвердилась, без всяких сомнений, будто Гена знал об этом всю жизнь. Тут и говорить нечего, командир испугался за своего стрелка. Ведь он не хотел его брать, сказал, что полетит один, что ему разрешили летать одному, а Гена стоял перед ним, и не было у него таких слов, чтобы ответить командиру, потому что остаться, когда его командир улетит на боевое задание, было для Гены хуже смерти. Гена стоял перед командиром, смотрел на него, и молчал, и чувствовал, что у него дрожат губы и он ничего с этим не может сделать.

Наверно, командир понял, что творится у Гены в душе и что не брать его нельзя. Он махнул рукой: черт с тобой, полезай в кабину! А потом, когда они рулили на старт и Гена близко, будто впервые, увидел землю в бугорках и трещинках, с наклоненной воздушным потоком травой вперемежку — старой, выцветшей, и молодой, зеленой, ему стало страшно отрываться от этой земли, и он возненавидел себя за этот страх. Но страх прошел, когда они набрали высоту и легли на курс, и Гену захватило чувство полета, а потом его кольнуло — за воздухом посматривай,— и он ждал атаки и боя, а потом...

Но у Гены не было сил снова раскручивать этот клубок и переживать все сначала. Он сдернул с головы шлемофон, вытер рукавом пот со лба. Вот чудеса! Буд-

то он и вправду только что побывал над горящим Берлином, и попал под зенитный огонь, и бил из пулемета по желто-красным языкам пламени, вылетающим из пушек, и до боли в глазах вглядывался в сверкающую синеву, чтобы не упустить тот момент, когда на них свалятся «мессеры» или «фоккеры». Теперь надо успокоиться, прийти в себя.

От сидения в неудобном положении у Гены заныла спина, затекли ноги. Пора размяться. Гена закрепил пулемет и вылез из кабины. Попрыгал, несколько раз присел. Походил около самолета.

Аэродром по-прежнему был пустынным, лишь у нескольких самолетов виднелись фигуры технарей в серобурых комбинезонах. Погода установилась самая что ни на есть летная: небо синее, высокое, с редкими неподвижными белыми и пухлыми, как снежные сугробы, облаками. Солнце стояло уже над головой и начало помаленьку припекать. Если торчать тут, на самом солнцепеке, разморит окончательно. А ему лететь. Вернулся к самолету и сел на землю в тень, под крыло. От земли шел густой, влажный, острый, будто горьковатый на вкус дух — весенний дух, такой же, какой бывает и в Белоруссии.

Гена лег на спину, положил руки под голову, закрыл глаза. Ему вспомнилось, с каким нетерпением ждал он весну, замечал по разным приметам, как она приближается, как приходит и начинает хозяйничать — в поле, в лесу, на улице. В такие дни они всем классом, даже девчонки, убегали с последних уроков, а Гена со своим дружком Петькой шел в лес. Там было сыро, под ногами хлюпало, кое-где в низинках еще лежал снег, темно-серый, почти черный, как земля, а на буграх, покрытых выцветшей прошлогодней ветошью, уже зеленела молодая трава, и даже в чаще было светло, потому что деревья стояли голые, и если запрокинуть голову, сквозь ветви виднелось все небо — синее-синее... Не сговариваясь, они находили свою тропку, узнавали на ней все — низкую разлапистую темно-зеленую ель (она одна выделялась тут среди голых черных стволов), старый мшистый пень с выпирающими из земли корявыми корнями, а в стороне от него свежие кротовые норы и кучки выброшенной земли, чуть дальше стоял раскидистый могучий ясень.

Первые птицы уже прилетели, перекликались, в воздухе звенели их песни, и они с Петькой останавлива-

лись и угадывали голоса: дрозд, зяблик, крапивник... А тропинка поднималась на пригорок, и что-то незаметно менялось (Гена будто ощутил эту неуловимую изменчивость), они замедляли шаги, с замиранием сердца ожидая, что сейчас это произойдет, но каждый раз оно происходило неожиданно и не так, как раньше. Неожиданно, в долю секунды, расступался лес, и в глаза ударял свет, в переливах света возникал белый, совсем белый березнячок, и они с Петькой застывали на месте.

Тоненькие березки разбегались во все стороны, аукались, прячась друг от друга, выглядывая и опять скрываясь. Они светились, и свет разливался между стволами и уходил в синеву неба...

— А ну, парень, посторонись малость,— услышал Гена над собой густой, чуть хрипловатый голос.

Гена вскочил (неужто так замечтался, что не заметил, как человек подошел?) и увидел оружейника, старшину Ермакова. Вчера Гена наблюдал, как Ермаков играючи обращался с «бомбочками», и теперь смотрел на него с почтением и некоторым любопытством. Человек как человек. Роста обыкновенного. В плечах, правда, пошире других, но не так чтобы уж очень... А сила какая! Как схватит своими ручищами, так и все, и пикнуть не успеешь.

Ермаков поочередно открыл бомбовые люки, что-то там проверил, снова закрыл и, выпрямившись, заключил:

— Порядок! Сыпьте их прямо ему на голову.

— Кому на голову?

— Как кому? Гитлеру!

— Значит, летим!— обрадовался Гена.

— Ишь ты какой прыткий,— усмехнулся Ермаков.— Мы еще поглядим, годен ли ты к строевой...

— Я серьезно,— обиделся Гена.

— А если серьезно, так загорай. Твое дело такое: прикажут — полетишь. Понял?

— Я думал, вы знаете...— вздохнул Гена.

Ермаков внимательно посмотрел на него:

— Откуда ты такой выискался? Небось года себе приписал?

— Ничего я не приписал.

Гене сразу стало скучно. Слыхал он такое. Все одно и то же талдычат. Как будто дело в годах. Ну, допустим, и приписал. Что из этого? Гена молчал, но все

это было написано на его лице, и Ермаков сказал примирительно:

— Ты, парень, не обижайся. Года — дело наживное. Ну и насчет ума-разума... Тоже прибавится. Так что перспектива у тебя имеется. А это человеку главное — чтобы была перспектива для роста...

Ермаков говорил серьезно, только глаза его посмеивались. Однако Гена никак не отозвался на эти шуточки — не обиделся, не разозлился,— может, до него и не дошло, и Ермаков решил: ни к чему тут разоряться, тем более что и публики-то не было. А главное, ему почему-то расхотелось в таком духе разговаривать с этим лопоухим пареньком, что смотрел на свет божий синими, как у красной девицы, глазами, будто вчера родился, а захотелось провести ладонью по его стриженой голове, похлопать по плечу: так, мол, и так, ты, Гена, не тушуйся, пока я здесь, с тобою будет полный порядок. Но этого Ермаков не сказал, а, наоборот, сделал Гене выговор:

— А почему, между прочим, ты здесь торчишь? Вам, стрелкам, приказано не отлучаться с КП, а не находиться у самолетов.

— Я думал...

— Думать не твоя забота. Иди-ка лучше на КП. Книжку почитай. А то письмецо напиши. Дескать, жив-здоров, чего и вам желаю. Готовьте, дорогая маманя, угощение, скоро буду собственной персоной. Как Гитлер издохнет, так и приеду. А дело это близкое. Может, завтра-послезавтра. Так что ждите, маманя, вскорости.

Проговорив все это, Ермаков на прощанье дружески хлопнул Гену по спине (Гена покачнулся, но устоял на ногах) и пошел к следующему самолету.

Все это было более чем странно. Никто никуда не торопился. В летную погоду! В тридцати пяти километрах от Берлина! Сегодня. Вчера. Позавчера. Три дня подряд!

Конечно, высшему командованию виднее, что к чему. Так-то оно так, да уж больно далеко высшее командование — может и не увидеть. Наверное, оно держит полк в резерве, подумал Гена. Все-таки ему было неприятно иронизировать по поводу высшего командования. Лучше было считать, что их не забыли, но так надо. Резерв есть резерв. Значит, такая судьба. С тяжелым сердцем Гена поплелся на КП.

После обеда стрелки его эскадрильи были отпущены с КП. Гена вместе со всеми пошел в общежитие.

Никто никуда не торопился. Ребята занялись своими делами, кто чем. Гена пробовал и писать и читать, но все бросал на полдороге. Он слонялся по комнатам, выходил на крыльцо. Где был командир, Гена не знал. Ему очень хотелось встретить командира и расспросить его напрямую. О боевой задаче полка. Проверить свои предположения насчет резерва. Но ни на КП, ни в доме командира не было. Гена от нечего делать подсел к столу, где играли в шахматы. Здесь было, по крайней мере, не так шумно. Вошел кто-то из стрелков и сказал, что летуны собрались в штабе. Ничего особенного в этом не было, дело обычное, но довольно громкий разговор при этом сообщении прервался на полуслове, а шахматисты многозначительно переглянулись. Впрочем, никто ничего не сказал, и пауза была короткой. В штабе так в штабе. Значит, опять ждать.

Он снова спустился вниз и вышел на улицу. Солнце уже клонилось к горизонту. Порозовел небосклон, засветились золотом края волнистых облаков, сгрудившихся на западе. Наступал вечер. И теперь было ясно: если летчики и получают задание там, в штабе, то на завтра.

Конечно, так и есть. Предполагается массированный налет всего полка на опорные пункты противника. На подготовку этой операции и ушли последние два дня. Срок небольшой, если учесть, что не так просто разработать план взаимодействия с наступающими наземными войсками. Вот в чем дело! А он-то, лопух, не может понять, почему они бездействуют.

Только сейчас, когда все разъяснилось (что дело обстоит именно таким образом, в этом сомнения уже не было), Гена почувствовал, как устал за день. Ничего не делал, а устал, будто на нем воду возили. С трудом поднялся по крутой скрипучей лестнице в зал, где помещались стрелки, стащил сапоги, бухнулся на постель. Какие-то секунды он еще слышал голоса, потом они начали отдаляться, тускнеть, потому что самого его понесло вниз, в черный провал. Его несло, и он не мог ни шевельнуться, ни крикнуть, и ужас сковал все тело, и оно начинало леденеть, и лед добирался до сердца. Только одна мысль вспыхнула и не уходила: рвануться, пока лед не дошел до сердца.

Он собирает всю волю, все силы будто по капле — еще и еще, теперь можно? Нет, надо еще, а то не хватит сил. Пора! Он выпрямляется — и падение останавливается, что-то подкатывает к сердцу и отступает. Становится легко. Он вдыхает полной грудью. Вокруг светлеет, и он ощущает себя в плавном полете. Он парит и кружит, как птица, потом спускается и сквозь застывшие облака видит пустынную дорогу, огибающую лесок. И дорога и лесок чем-то знакомы, он здесь был, только не знает когда.

И вот он уже не летит, а идет по этой дороге и не слышит своих шагов, потому что здесь все мертво и свет серый, безжизненный, застывший, как и облака. Сейчас дорога прижмется к лесу, и как раз в этом месте он сядет на обочину, свесив ноги в канаву, на дне которой валяется пустая консервная банка. Все это было — кусочек дороги, подступившей к самому лесу, осыпающаяся канава с желтым песчаным дном и пустая консервная банка, было... Он знает, что сейчас разорвутся застывшие облака (только это не облака, а клубы пыли), и он свалится в канаву, и консервная банка вдавится в шею, и земля закачается, и на него посыплется песок... Но ничего такого не происходит (или это уже произошло?), он бежит, почти не касаясь земли, бежит изо всех сил, чтобы догнать маму, пока она не скрылась за поворотом дороги, но она сама поворачивается к нему и идет навстречу. И он видит ее лицо, глаза, и сбившуюся косынку, и растрепанные волосы и кричит: «Мама!» И рвется к ней, бежит, но не может приблизиться. «Мама! мама!»— кричит он и чувствует, что его крик тонет в грохоте. Что-то тяжелое, холодное наваливается на грудь. Гена, собрав все силы, двумя руками сбрасывает с себя этот тяжелый камень, садится. Перед глазами, как из тумана, выплывают кусок сводчатого потолка, узкое вытянутое окно, потом черная люстра с зажженными лампами, похожая на гигантского паука с множеством горящих глаз. Ну да, это зал, где спят стрелки. И ребята, стуча сапогами, бегут вниз. И там, на улице, грохочут выстрелы. А сам он сидит на кровати, и это уже не сон. Налет на аэродром! Скорее вниз!

Гена лихорадочно натягивает сапоги, застегивает ремень и вслед за другими, также стуча каблуками по деревянным ступенькам, почти скатывается вниз. На крыльце останавливается, пытаясь сообразить, где свои, где немцы: стрельба идет со всех сторон. Кто-то

толкает его в спину: «Чего стоишь? Давай! Давай!»— и тут же с ожесточением разряжает в воздух всю обойму.

Гена все еще не понимает, что происходит. Он стоит в нерешительности, и опять кто-то хватает его за руку, стаскивает с крыльца и, приплясывая, сорванным голосом кричит что есть мочи:

— Ура-а! Победа! Войне конец!

Голос тонет в общем шуме, криках, трескотне автоматных очередей и пистолетных выстрелов.

Теперь, привыкнув к темноте, Гена различает в сумеречном мерцающем отблеске звезд пляшущие, орущие фигуры. В небе огненным пучком взрывается первая ракета, медленно осыпаясь горящими каплями, и в ее тающем красноватом свете уже видится вся картина — прыгающие на месте, стреляющие в воздух, бегущие к самолетной стоянке люди. Гена срывается с места и бежит вслед за всеми.

Стрельба усиливается. Гена различает глуховатый перестук турельных пулеметов — один, второй, третий,— но вот уже все сливается в сплошной бушующий грохот. Со всех сторон, догоняя друг друга, расходясь и перекрещиваясь, летят во тьму красные и зеленые огоньки трассирующих пуль.

Гена подбегает к своему самолету, забирается в кабину, срывает чехол с пулемета и дает вверх короткую очередь. Небо полыхает разноцветными зарницами. Одна за другой вспыхивают ракеты. В их ослепительном белом, зеленом, красном свете возникают то кусок поля, то фигуры людей, то самолет...

Наверное, никто не смог бы сказать, сколько продолжался этот первый хмельной фейерверк победы. Он начал затухать, по мере того как подходил к концу боезапас — в обоймах, лентах, дисках. Стрельба стихала, и небо гасло, вспыхивая лишь время от времени. Первая волна ликования прошла, наступила пауза, короткая передышка. Что делать дальше? Бежать к дому? Оставаться здесь? Но Гена уже чувствовал, как поднимается в нем непреодолимое желание быть вместе со всеми — чтобы тебя тащили, толкали, хлопали по спине, клали руки на плечи.

Прямо над головой загорелась и повисла ракета, и в ее томительном, нестерпимо белом свете возникла фигура командира с поднятым вверх пистолетом. Гена спрыгнул на землю, бросился к нему и остановился,

увидев близко его напряженное, сжавшееся, как от внутренней боли, лицо. Гена замер, но командир сам схватил его за шею, прижал к себе, потом оттолкнул и побежал туда, куда бежали все,— к летному полю, где было свободно, где хватит места для всех.

Никто не отдавал никаких команд в эту ночь, но все делали одно и то же, повинуясь тому чувству, которое владело каждым в отдельности и всеми вместе. И Гена бежал за своим командиром и что-то кричал, уже забыв, что минуту назад испугался его лица, на котором проступила боль. Она появилась и исчезла, как воспоминание. Она и была воспоминанием, вспыхнувшим так остро потому, что в этот час рядом с Борисом должен был быть Димка. Не Гена, а Димка. Но боль появилась и отступила — радость была больше, сильнее боли. И Борис прижал к себе Гену и побежал туда, куда бежали все.

Боль у каждого была своя, а радость — общая и торжество — общее.

...Пройдет много лет, и многое забудется, а эта ночь у всех, кто был там, останется в памяти до конца дней. В разные моменты жизни, когда хорошо и когда плохо, в минуты удач и в минуты горечи, обид, нежданно, неведомыми путями придет это воспоминание. И каждый увидит свое и себя тогдашнего, молодого, счастливого,— и как негаснущая зарница вспыхнет живой отблеск того чувства, которое владело всеми вместе.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Четыре дня, прошедшие после победной ночи, слились как бы в один долгий, шумный, разноголосый день с короткими провалами сна, поднимающимися, спадающими и снова накатывающими волнами праздника.

Бориса, как и всех в полку, поднимали эти волны и держали на своем гребне. И так же, как и все другие, за эти четыре дня он сумел лишь написать письма — коротенькое домой, к матери, еще одно к Анне и рапорт с просьбой предоставить ему отпуск на двое суток, который был вроде продолжения письма к Анне. По его подсчетам еще вчера при всех обстоятельствах рапорт должен был попасть к командиру полка и, следовательно, сегодня все должно решиться.

Выйдя после завтрака на крыльцо покурить, Борис все посматривал в сторону штаба, откуда должен был явиться посыльный. Впрочем, могло обойтись и без посыльного: если приказ есть, Алексей или адъютант эскадрильи передадут его сами. Еще и поплясать заставят. Посыльный не шел, и Борис решил сам разузнать, как там обстоят дела. Он спустился с крыльца и двинулся по направлению к штабу, но как раз в этот самый момент из-за ограды показался посыльный, веснушчатый и нескладный из-за непомерно высокого роста младший сержант, кажется из второй эскадрильи.

— К командиру?— спросил Борис, прервав обращение посыльного.

— Точно!— ответил слегка удивленный такой осведомленностью младший сержант.

— Спасибо, младший сержант. Удружил.— Борис на радостях хлопнул его по плечу.— Ну, а сам-то он как, ничего?

— Кто?— не понял посыльный.

— Кто-кто. Командир, конечно, а не чужой дядя... Как настроение, самочувствие?

Младший сержант ухмыльнулся:

— Настроение бодрое, идем...

— Ясно,— прервал его Борис.

— А вообще-то смеется...

— Что?

— Смеется, говорю, наш командир,— повторил посыльный,— так что давайте топайте, товарищ старший лейтенант, прямо к нему: так, мол, и так, явился не запылился по вашему приказанию...

Командир и вправду смеялся, когда Борис вошел к нему. Он сидел за письменным столом, чуть наклонясь вперед, и смеялся тому, что говорил ему замполит, расхаживавший по комнате.

Яркое утреннее солнце косо било в высокое окно, и вся фигура командира и половина стола были залиты оранжево-золотистым светом. Черт возьми — как здорово было видеть смеющееся лицо командира, и бьющее в окно весеннее солнце, и пылинки, плавающие в его оранжевых лучах, и замполита — комиссара, как они его называли,— жестами подкрепляющего свой веселый рассказ! Все это было продолжением праздника, днем пятым после победы, после конца войны, и жизнь, не военная, а другая, еще неведомая, но прекрасная

жизнь, только начинала открываться, как открывается земля и раздвигаются ее горизонты, когда самолет набирает высоту. Сейчас Борис понял, что хотел сказать посыльный: неважно, чему или из-за чего смеялся командир,— он вообще смеялся! И Борис подумал, что и у него, у них с Анной, все будет хорошо, потому что не может не быть хорошо, еще только пятый день, как кончилась война, и впереди много, много таких дней.

Увидев Бориса, командир полка, продолжая смеяться, рукой показал ему на стул.

— Проходи, проходи, старший лейтенант, садись,— сказал замполит.

Замполит, майор Кашин, был человеком не «авиационным». Впрочем, таким он пришел в полк, но довольно скоро летчики стали считать его своим. Вот уж кто летал за воздушного стрелка не ради орденов, потому что летал он в самое трудное время и столько, сколько было надо. Он мог без конца расспрашивать, как проходили вылеты, доискиваясь до мельчайших подробностей, и был благодарнейшим слушателем, когда начинались бесконечные летные байки; зато мало кто лучше его знал, кто как воюет и кто чего стоит. Удивительное дело: кадровый политработник, прослуживший чуть ли не двадцать лет в армии, он казался самым что ни на есть штатским, словно вчера сменил рабочую спецовку на военную форму,— ходил горбясь, руки в карманы, ко всяким рапортам и командам «смирно» по разным поводам относился как к печальной неизбежности, которая лично ему только мешала разговаривать с людьми. Трудно было представить себе КП перед боевыми вылетами без его высокой сутулой фигуры с большими руками, без его шуточек, без его улыбки на смуглом цыганистом лице, обращенной именно к тому, кто более всех в ней нуждался. Естественно, что присутствие майора Кашина в такой момент Борис посчитал за хорошее предзнаменование. Он с готовностью взял стул, который подвинул ему комиссар, и, чуть отставив его от стола командира, молча сел на краешек.

Командир не торопился начать разговор. Лицо его еще оставалось размягченным от улыбки, блуждавшей в глазах, в уголках губ, и Борис подивился про себя: как же меняется человек! Он-то привык видеть это лицо собранным, жестковатым, с резкими линиями и холодным, твердым взглядом голубых глаз. Командир и летал так — резко, «твердо», без той легкости и ар-

тистизма, которыми отличалась манера Алексея, но по-своему тоже очень красиво. А уж в прицельном бомбометании и противозенитном маневре с ним вообще никто не мог сравняться. «Вот вы, оказывается, какой, подполковник Озолинь,— подумал Борис (он поймал себя на том, что и в мыслях называет его на «вы»),— вот вы какой замечательный летчик и командир, с которым сам черт не страшен, такой серьезный и такой смешливый. Поразительно, какой смешливый. Вот этого-то как раз я и не знал».

Но командир уже справился со своей улыбкой. Он испытующе и, как начинало казаться Борису, с некоторым недоумением посмотрел на него. Потом взял со стола рапорт и, видимо, в который раз перечитал его. Снова положил бумагу на стол, помолчал (Борис слегка насторожился), наконец медленно, медленнее, чем обычно, подбирая слова, произнес:

— Я не совсем хорошо понимаю, что это означает — отпуск по личным делам. Вы москвич. Какие у вас в Польше личные дела?

Борис молчал. Он ждал подобного вопроса и был готов к нему, но он ждал, что вопрос этот будет высказан мимоходом, ради проформы, а не с таким искренним недоумением. Выходит, и отвечать надо серьезно. Что сказать? Он действительно москвич. А в Польше у него Анна, его жизнь. Да, Анна — это и есть его жизнь. И верно, как глупо: личные дела. Какие у него в Польше могут быть личные дела?

Он молчал, и замполит поспешил ему на помощь:

— В общем, к паненке едешь, старший лейтенант?

Борис кивнул. Что-то на него нашло. Даже слова не мог произнести. Все это было не так, не то, весь разговор, все их предположения, зачем и почему он едет...

— Вот что, парень,— вдруг сказал Кашин,— послушай-ка ты меня, старого воробья, не езжай, брось ты это дело. Видел я такое, знаю, чем кончается...

— Я увезу ее в Москву.— Борис прямо взглянул в лицо Кашину.

Взгляд у него был жесткий, злой, но замполит выдержал его. Усмехнулся, отошел к окну.

— Это-то и скверно, что у тебя, как говаривали в старину, серьезные намерения. Так, проехаться, проветриться — я бы еще понял. Дело молодое... А то — увезу! Да это еще и вопрос, увезешь ли... А вот жизнь испортишь — и себе и ей. Конечно, сейчас ты можешь

поехать туда и обратно. А через полгодика, а то и раньше будет граница. Государственная граница — и на западе и на востоке, и будешь ты для нее иностранец, хоть и братской страны, а все же иностранец, и она для тебя иностранка...

Кашин остановился, чтобы дать время понять то, что он сказал. Понять. Почувствовать. Проникнуться. Он не торопил с ответом. Ясное дело, такого разговора этот парень не ожидал. Что ж, пусть пораскинет мозгами. Поймет — хорошо. Не поймет — нахлебается. Он-то, Кашин, не сомневался: время докажет его правоту и предупредить — его прямой долг. Так-то оно так... Но как взглянул этот парень! Прямо ножом резанул. Неужто есть что-то такое... нехорошее в том, что он ему сказал? Может, и есть... Только это как посмотреть, с какой стороны. А как надо смотреть, с какой стороны, он знает. Здесь он не ошибется.

— Тебе учиться надо,— снова заговорил Кашин.— Демобилизуешься, приедешь в Москву, поступишь в институт. А то пошлем тебя в Академию Жуковского.

«Чего он так старается?»— подумал Борис. Горячая волна, обжегшая его, когда он понял, к чему клонит Кашин, и взглянул на него, ушла, откатилась, и теперь он ощущал какую-то холодную пустоту. При чем тут институт, академия? А впрочем, неважно.

Замполит замолчал. Борис поднял глаза — Кашин по-прежнему стоял у окна в той же позе, вполоборота к нему. Как будто Борис только сейчас вошел и увидел смеющееся лицо командира и оранжевый солнечный луч, в котором плавали пылинки, и не было всего этого разговора. А может, его и действительно не было?

Кашин стоял у окна и смотрел на него. Ждал ответа. И командир тоже смотрел на него. Солнечное пятно на письменном столе передвинулось чуть-чуть влево, захватив бронзовый массивный чернильный прибор, на котором загорелось, засверкало множество золотистых огоньков.

— Вы ничего не хотите сказать майору Кашину?— прервал наконец общее молчание командир.— Вы оставляете свой рапорт?

— Да, товарищ подполковник, оставляю.

Командир взглянул на Кашина, тот пожал плечами.

— Решайте, Петр Янович. Возражать не буду. Хотел бы я ошибиться!— прибавил он.— Очень хотел бы!

— Вы, старший лейтенант Волынин, упрямый человек,— сказал Озолинь, и было непонятно, одобряет он его упрямство или осуждает.— Хорошо,— продолжал он, помолчав,— хорошо, я отдам приказ...

— Спасибо, товарищ подполковник!— Борис вскочил, едва не опрокинув стул, на котором сидел.— Разрешите идти?

Озолинь усмехнулся:

— Не бойтесь, я не меняю своих решений. Документы получите в штабе. Через час отправится за Одер наш инженер, вы можете поехать с ним.

— Есть поехать с ним!— весело проговорил Борис.

— Ну вот и прекрасно,— сказал Озолинь, поднимаясь и протягивая Борису руку.— Я выражаю надежду, что все устроится превосходно.

В ответственных случаях в речи командира появлялись этакие книжные обороты, несколько на старинный лад. Сначала это казалось странным, но постепенно в полку к этому привыкли и даже стали считать, что именно так и нужно говорить о вещах серьезных. Борис, как и все, давно перестал замечать подобные фразы, но сейчас он с трудом сдержал улыбку — как славно у него получилось: выражаю надежду! Снова Борис почувствовал уверенность: все сбудется, раз сам командир надеется!

— Спасибо, товарищ подполковник.

Борис не нашелся что еще сказать, но Озолинь понял, что творится в душе этого молодого человека (сам он в свои тридцать шесть лет считал себя уже пожившим, многоопытным), понял и улыбнулся ему.

...Инженер полка сидел рядом с шофером и за всю дорогу до самого Одера не проронил ни одного слова. По приказу штаба фронта он был временно откомандирован в распоряжение командования Войска Польского, но чувствовал, что оставляет полк надолго, может быть навсегда. С полком он прошел весь путь до Берлина и свыкся с мыслью, что уже до самой «гражданки» не расстанется с людьми, ближе и дороже которых у него никого не было. И вот неожиданный приказ.

Молча, нахохлившись, смотрел инженер на бегущую дорогу, изрытые, искореженные снарядами и все-таки зеленеющие первой молодой травой поля, на чужие, незнакомые крыши. Удивительно, но никогда еще он, до войны исколесивший всю Россию и большую часть жизни проживший в Ленинграде, не испытывал такой

острой тоски по своим родным рязанским местам, помнившимся с детства... Молчал и Борис, но молчал по-другому, весь отдавшись переполнявшим его чувствам нетерпения, радости, хмельного торжества, сладко кружившим голову. Он молчал, потому что слушал себя, свою музыку — все то, что кипело, бродило в нем.

Опустив боковое стекло, Борис, насколько это было возможно, высунул голову, подставив разгоряченное лицо встречному ветру, который хлестал по щекам, резал глаза, не давал вздохнуть. Дорога, дома, деревья — все смешалось, вытянулось, плыло перед глазами, тонуло в слепящих солнечных пятнах и вновь возникало летящей навстречу живой нескончаемой лентой...

Изгибаясь, обтекая деревни, городки, дорога пошла вверх, на склоны Зееловских высот, и водителю пришлось сбавить скорость. Война словно поджидала их здесь. Затаилась — и поджидала, чтобы напомнить о себе, показать свою былую силу; поваленные телеграфные столбы, спутанные, разорванные провода; по обочинам — брошенные пушки, перевернутые, наполовину сгоревшие машины, искореженные танки, самоходки. Все медленнее продвигались они вперед, то и дело объезжая воронки и завалы, и все чаще водителю приходилось останавливать машину и идти вперед, чтобы разведать дорогу.

Жутко было смотреть на чудовищную картину разрушения, изуродованные остатки бронированных машин, орудий, словно вобравших в себя всю ярость кипевшего здесь боя. А среди всего этого на возвышениях виднелись расчищенные желтеющие островки свеженасыпанной земли — братские могилы с фанерными, наспех сколоченными пирамидками и красной звездой на вершине. И чем дальше они продвигались, тем больше было таких могил и таких пирамидок.

Сколько же полегло здесь, под самым Берлином, в последние дни войны! Когда шли они на штурм этих высот, всем им уже чудилась близкая победа, тишина над целым миром, дорога домой... У Бориса защемило сердце, будто ему были хорошо знакомы эти ребята, их голоса, лица и было известно, о чем думалось им в то утро перед атакой. Он знал: как бы ни подбирался страх перед боем, а все же надежда, что осколок и пуля пролетят мимо, что твоя судьба жить,— сильнее всего. И они вот так — мечтали жить, вернуться домой...

Шофер, пожилой сержант с рыжими обвисшими усами, ни слова не говоря, остановил машину перед широким уступом, где виднелась пирамидка со звездой, и они все трое молча вышли и по каменным разбитым ступеням поднялись на этот уступ. У края свежей песчаной насыпи, в центре которой возвышалась пирамидка, остановились.

Чуть дальше, где зеленели молодые дубки и блестела залитая солнцем лужайка, слышался шелест листвы, щебет и пение птиц. И небо было ясное, голубое, с легкими прозрачными облачками, которые незаметно меняли свои очертания, расползались, куда-то двигались, оставляя почти невидимую дымку. Инженер нагнулся и поднял винтовочную гильзу. Близко поднес к глазам. Несколько раз подбросил на ладони, положил в карман. На память. Гильза от прощального салюта. Солдаты, отдавшие эту последнюю почесть павшим, стояли здесь, у края могилы...

Сержант первый пошел к машине, за ним инженер и Борис. Молча сели, тронулись. Дорога еще круче пошла вверх, и еще больше виднелось брошенной изуродованной техники, разбитых, развороченных траншей, укреплений, дотов. Чувствовалось, с каким невероятным упорством цеплялись здесь немцы за каждый клочок земли, каждый выступ.

Они ехали как бы навстречу бою, который начался с другой стороны холмов, на их восточных склонах, и здесь, на вершинах, командующих высотках, достиг наибольшего ожесточения. А кругом зеленели поля, сверкали на солнце красные черепичные крыши, в голубых далях рисовались легкие силуэты остроконечных башенок...

У въезда в Зеелов патруль проверил их документы.

— Все ближе к дому,— сказал старший патруля, коренастый широколицый сержант с медалью «За отвагу», возвращая им предписания.

Низенький веснушчатый паренек с автоматом и в лихо сдвинутой набекрень пилотке, стоявший за спиной сержанта, подмигнул Борису — просто так, оттого, что кончилась война, и он живой остался, и солнышко светило, и что теперь сам черт ему не брат... Не останавливаясь, они проехали Зеелов — мимо развалин, завалов из битого, искрошенного кирпича, которые неторопливо разбирали немцы, мимо разрушенных домов с отбитыми углами, без крыш, с рваными проломами

в стенах, мимо группы солдат, со смехом и криками качающих своего товарища, мимо крытых машин, все это уходило назад и вверх, потому что начался спуск к Одеру.

Одер был уже близко: явственно ощущалось его влажное дыхание. Сильный ветер нес с реки клочки тумана, и воздух потерял искрящийся голубоватый блеск. В матовом, приглушенном влажной пеленой свете раскрывались поля — все шире, свободнее. За этими полями, переходящими в равнину, изрезанную ручьями и каналами, в заливные луга, где еще стояла вода, угадывалась большая река — Одер.

Она тянулась на сотни километров с юга на север, через Чехословакию, по пути вбирая в себя бесчисленные притоки, и, прежде чем войти в море, всей своей массой — глубокой водой и ее ширью, берегами, превращенными в неприступные крепости,— заслонила Берлин с востока.

Там, впереди, на восточном берегу, при впадении в Одер Варты,— Кюстрин, крепость, держащая под ураганным огнем подходы к реке, крепость, и узел железнодорожных мостов, и город, от которого шла прямая железная дорога к Берлину. Там в феврале и марте шли кровавые бои за каждый метр плацдарма и на восточном и на западном берегу. И как раз в самые трудные дни, 1 и 2 февраля, когда под бешеным минометным и артиллерийским огнем, под непрерывными бомбежками и атаками с воздуха пехота форсировала Одер, они не смогли взлететь с раскисшего аэродрома, чтобы помочь ей. Накануне шел мокрый снег, потом потеплело, началась распутица, и было ясно, что летунам, даже истребителям, пришлось туго на аэродромах, которые размещались на пашнях.

Все эти дни вместе с командиром они в полной боевой готовности торчали на КП. В землянке было холодно, сыро, со стен и потолка капало, под ногами хлюпало. Печка больше дымила, чем горела. А над взлетным полем, над лесом висел такой туман, что не только неба — человека в двух шагах не увидишь. О полетах нечего было и думать! А тут нет-нет да появлялся начальник штаба и передавал командиру поступавшие сверху грозные запросы: когда, когда? Когда наконец самолеты смогут подняться в воздух? Что для этого делается? Немедленно доложить. Немедленно... Командир читал телефонограммы, морщился и выходил смотреть,

не рассеивается ли туман. Несколько раз в день заглядывал на КП и инженер полка, который со всеми наличными силами БАО и технарей пытался что-то сделать со взлетной полосой, хотя и сам не верил в успех. И все же, как только чуть-чуть подсыхало и улучшалась видимость, они поднимались в воздух — по одному, по двое.

Борис хорошо помнил, как они с Николаем в те дни, с трудом взлетев, пробивались к Кюстрину сначала над сплошной облачностью, потом сквозь окна в тумане, едва не заблудились, вышли к городу с западной стороны, на шоссе обнаружили, атаковали и подожгли колонну автомашин и бронетранспортеров. Не вспомнить, сколько раз и раньше и потом, когда разгорелись бои за расширение Кюстринского плацдарма на западном берегу, а сама крепость со всеми своими зенитками на восточном берегу еще не была взята, они летали за Одер, бомбили и штурмовали укрепления на рубежах немецкой обороны, эшелоны на железнодорожных станциях, войска с артиллерией и танковые колонны, двигавшиеся из глубины к переднему краю.

Сколько раз эти места Борис видел с воздуха, вглядываясь в них, запоминая: изгиб реки, похожий на лук, обращенный на восток, крепость Кюстрин на островке, образованном слиянием Варты и Одера, а на западе, за Одером, кое-где поросшая лесом неровная гряда Зеловских высот. Между изрезанной кромкой левого берега и подножием высот — затянутая туманом пойма Одера, ручьи, каналы, несколько шоссейных дорог. Теперь, на земле, все это выглядело по другому: общая картина дробилась, ускользала, зато частности неожиданно вырастали, заполняя на какие-то секунды все видимое пространство, как будто именно они определяли характер рельефа.

Промелькнул редкий лесок, оборвавшись у лощинки, на дне ее — ручей, мостик, несколько домиков; еще круче вниз — развороченные траншеи, опоясавшие весь склон, разбитые пушки, воронки от бомб и снарядов, и уже наплывает низина, залитая водой, с кочками, островками, которую легко пролететь, да трудно пройти.

Туман впереди сгустился — это они приблизились к Одеру. Ветер закрутился вокруг них, захлестывая дыхание, оставляя на лице холодные капли. Здесь, в низине, он хозяйничал как хотел. Чуть-чуть потемне-

ло, будто кто-то убавил свет. Борис опять вспомнил, как они с Николаем искали окна в тумане. Он поймал себя на том, что пытается прикинуть, как лучше подобраться к Зееловским высотам, чтобы неожиданно свалиться на голову из облаков и тумана и затем уйти боевым разворотом прямо на солнце.

Он поймал себя на этом и усмехнулся. Видно, крепко засела в нем война. Он постарался прогнать мысль о войне. Было это не так уж трудно: волны победы несли его, и кругом было одно — победа. И казалось, что вся жизнь, все, что предстоит сделать, совершить, испытать, впереди и только еще начинается или, может быть, начнется завтра, послезавтра. А война в прошлом. Она кончилась, и ее не будет больше никогда.

...Пройдут года, и он поймет, что самым главным, самым значительным делом его жизни была война. Он немало испытает и немало увидит, но судьбой его навсегда останется война, те четыре года в юности, без которых не было бы его такого, каким он стал.

Борис поймет это много лет спустя, а пока он ехал по Германии, то освещенной солнцем, в голубом блеске и солнечных пятнах, то в туманной дымке, и ветер крутился вокруг него — ветер, дождичек, туман и солнце, и это была не Германия, а просто земля, по которой он ехал, вся земля, весь мир.

* * *

За Одером, когда они отмахали с ветерком еще километров сорок пять, у поворота шоссе Борис попросил остановить машину. Вдали на пригорке виднелась деревня, и как раз в этом месте, почти перед самым поворотом, начиналась довольно широкая проселочная дорога, которая через поле и редкий березняк вела, видимо, в эту деревню. Борис для верности еще раз взглянул на карту: сомнений быть не могло, та самая деревня.

— Ну вот,— сказал он изменившимся голосом,— здесь я выйду. Разрешите, товарищ инженер, пожелать вам...

Инженер вышел из машины и стиснул руку Борису. Потом обнял его. Борис был для него последним из летчиков полка, с кем он прощался. Инженер был немолод и понимал, что вряд ли он еще встретит людей, с которыми так крепко, всеми помыслами, всей жизнью,

свяжет его судьба — и жизнью и смертью. Такое случается один раз.

— Не забывай старика,— сказал он.— А я тебя найду. Бывай...

— Давай, старший лейтенант, погуляй,— тряхнул водитель руку Бориса.— Чтобы все, значит, было в аккурате. До скорого.

— Ну бывай...— повторил инженер, слегка ударил Бориса в грудь, как бы отталкивая его, повернулся и сел в машину, за ним уселся на свое место и водитель.

Мотор заурчал, машина покатила по шоссе и скрылась за поворотом.

Борис остался один. Он остался один на дороге, которая вела к Анне. Через полчаса, а может, и меньше он ее увидит. «Ну, смелей, воробей»,— подхлестнул он себя. Борис прыгнул в кювет, выбрался на другую сторону и наискосок пошел по тропинке, которая привела к проселочной дороге.

Кругом лежало блестевшее после дождя влажной чернотой поле, усеянное воронками от бомб и снарядов, все в неровных складках разметанной земли; кое-где пробилась и зеленела нежная молодая травка. Дорога пересекала поле и скрывалась в березнячке, который был гораздо ближе, чем это показалось с первого взгляда оттуда, с шоссе.

А может, все это он выдумал — и не было никакой Анны и той ночи, ничего не было? Так, приснилось, а он принял за правду. Но ведь сели же они на вынужденную в этой деревне. Тянули через Одер — и сели. И ночевали, и хозяйку звали Анна. Фу ты черт... Он, кажется, убеждает себя, что Анна существует!

Недалеко, возле самой дороги, села стая воробьев, защебетала, загомонила, поклевала что-то и неожиданно с шумом поднялась в воздух. Солнечная голубизна неба поглотила ее. А он и не заметил, что снова сияло теплое солнышко и голубело высокое небо. Туман, нудный серенький дождичек, хмарь — все осталось там, на берегах Одера. А здесь щебетали и пели птицы, пахло сырой землей и было издалека видно, как солнечный луч вспыхивал на белых, сияюще-белых стволах берез. Все будет хорошо. Сам этот день с его благостной тишиной, чистыми голубыми далями, со всей этой весенней, радостно-тревожной ширью и свежестью был как обещание удачи, счастья.

Поле незаметно переходило в небольшой и неглубокий овражек в нескольких метрах от дороги, на дне которого Борис увидел родничок. Он подошел к нему и, встав на колени, упершись руками в края влажной мшистой земли, сделал несколько глотков. Вода ломила зубы, чуть горчила, попахивала прелью. Когда поверхность успокоилась, он увидел свое лицо — слегка вытянутое, со смазанными чертами. Так и на душе: все смешалось, смазалось — страх, беспокойство, надежда.

Что может помешать им теперь? Что угодно — отъезд Анны в связи с непредвиденными обстоятельствами, несчастный случай, болезнь... Да мало ли что! Ерунда. Если так рассуждать, вообще нельзя думать о будущем. С любым человеком, где бы он ни находился, может случиться все, что угодно. Вот с ним, например. Разве не может быть, что где-нибудь в кустах засел маньяк-эсэсовец, чтобы дать очередь по первому же русскому офицеру, которого он увидит? Мало, что ли, таких сумасшедших разбежалось по окрестным лесам? А мины? Разве исключается, что под ногами окажется одна из тех, что лежат в этой земле? Так что такие случаи в расчет не берутся.

Он поднялся по пологому склону овражка и пошел в лесок, встретивший его многоголосым птичьим гомоном, слабым шелестом упругой, только-только развернувшейся листвы.

Березнячок просвечивался солнцем. Золотистые лучи падали со всех сторон, перекрещивались, сходились, высвечивая то ворохи бурых скрюченных листьев, то торчащие из земли мокрые черные корни, то ответно сверкающую изумрудную россыпь молодой травки. Между стволами солнечно голубело, будто небо начиналось прямо от земли и омывало, обволакивало волнами воздуха и света каждое дерево.

Борис прислонился к тонкому стволу, дрогнувшему и недовольно зашелестевшему, глубоко вздохнул, сорвал фуражку, запрокинул голову. Безбрежная синева опрокинулась на него — и поплыла, и потянула к себе... Потом Борис перевел взгляд и под самым облачком увидел верхушку березы — так уж она встала, вытянувшись до самого неба. И он тоже мог достать до облака — надо было только поднять руку, прищуриться, найти такой угол зрения. Он все мог, и этот омытый солнцем весенний лесок с голосами птиц, которые разливались во всю ивановскую, был заодно с ним. Борис

сошел с дороги и зашагал среди деревьев по мягкой, податливой земле, засыпанной старыми слежалыми листьями, а кое-где обнажившейся и бурно зеленеющей молодым разнотравьем. Он шел от одного приглянувшегося ему местечка к другому, не боясь потерять из виду дорогу — заблудиться здесь было невозможно.

Неожиданно Борис оказался на краю полянки. Вся она была залита солнцем. Здесь совсем не чувствовалось сырости, воздух был теплый, мягкий — так и тянуло остановиться, передохнуть. Борис заметил пенек с нежным мшистым подножием и сел на него, откинув голову и подставляя лицо солнечным лучам. На него вдруг нашла усталость — так бы, кажется, и просидел целый век не шевелясь. Но уже в следующую минуту он признался себе, что это не усталость, а трусость.

Возбуждение, охватившее Бориса в лесу, когда он уверял себя, что все будет хорошо, прошло, и снова вернулось ощущение тревоги, фантастичности всего происходящего. Не сон ли, что он здесь, в незнакомой березовой роще, и что он идет к Анне, которую, может, сам и придумал? И эти дрожащие тени от облаков на низенькой нежно зеленеющей траве в середине полянки, и эта неведомом откуда взявшаяся бабочка с фиолетовыми разводами на бархатных крыльях, севшая на стебелек в одном шаге от него,— не сон ли все это?

Борис вскочил, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, навеянное мягкостью, тишиной, теплом — всей колдовской прелестью этой полянки. Он заторопился. Надо поскорее дойти. Тут каждая минута дорога, а он прохлаждается. Иногда несколько секунд решают все. А если именно сейчас Анна укладывает вещи в чемодан, и лошадь уже запрягли, чтобы отвезти ее на станцию, и все дело в том, успеет ли он дойти в эти оставшиеся минуты?

Оглядевшись, Борис заметил просвет между деревьями — видимо, там кончился лесок. Он скорым шагом направился в ту сторону и вышел на дорогу.

Деревня открылась сразу вся, как только Борис поднялся на пригорок. С гулко бьющимся сердцем стоял он, напряженно вглядываясь в разбросанные домики, пытаясь найти и не находя хоть что-нибудь знакомое, приметное. Впрочем, так оно и должно быть. Нечего и стараться — тогда была зима, снег и все выглядело иначе. Да кроме того, он ведь не видел раньше деревню отсюда, с этой точки. С этой нет, а с воздуха видел. Две

сходящиеся почти под прямым углом улицы, перед ними снежное поле, сейчас, вероятно, пашня, может вот эта самая, которая широкой, ломающейся под углом полосой отделяет его от деревни. А за ней полянка, зажатая между деревней и лесом. Туда-то он и плюхнулся. Отсюда за домами она не просматривается, но лес виден хорошо. Если полянка действительно там, тогда дом Анны — крайний на улице, что начинается слева от него.

Борис пытался высмотреть дом Анны, но было слишком далеко, что-то темнело, а что — не разобрать.

Ему придется пройти почти всю улицу, мимо дома, где жил старший лейтенант Кравцов, земляк из земляков... Где-то он сейчас? Жив ли? Поход к Романовскому в Кривоколенный, который тогда казался далеким, почти несбыточным, теперь дело вполне реальное. И Кравцов должен быть жив. Обязательно жив, потому что пришло время, когда исполняется все. Исполнится и это.

Борис вспомнил, как они шли втроем от Кравцова по этой улице — впереди старшина, а за ним он с Димкой, и день был солнечный, яркий, какой-то бело-розовый, и кругом блестел снег, и снег хрустел под ногами, и старшина говорил, что вот, дескать, некуда пристроить их на ночь, чтоб близко к командиру, кроме как к одной паненке, а она живет одинокая, ждет не дождется мужика своего, и он, старшина, обещался не занимать ее хату на постой, да делать нечего — больше ночевать им негде.

Старшина говорил что-то в этом духе, а Димка ответил ему: «Не боись, старшина, не обидим твою паненку»— и подмигнул Борису. Удивительно, тогда он эти слова вроде и не расслышал или не обратил на них внимания, а сейчас будто только что прозвучал голос Димки: «Не боись, старшина, не обидим твою паненку».

Такое случалось с Борисом не однажды: всплывет в памяти Димкина присказка и та минута, когда он ее произносит,— у самолета, в столовой, и его лицо, и хитрющая ухмылка... А бывало, он сам хотел вспомнить Димкино лицо, а оно расплывалось, ускользало, и Борису начинало казаться, что он забыл его. Потом это проходило. Пока он жив, будет жива и его память о Димке.

Они дошли до дома Анны, и старшина попросил их подождать, пока он предупредит хозяйку, и Борис по-

шел вверх по другой улице, а Димка остался, потом появился, успев порядком хлебнуть, каким образом, непостижимо, потому что и времени-то у него совсем не было, остался и появился, а может, Борису показалось, что не было, или этот момент просто выпал из памяти? Димка позвал его, и они пошли к дому Анны по дорожке между сугробами и, кажется, долго шли...

И опять что-то толкнуло Бориса: скорей, скорей! Давно уже был бы там, если бы не бесконечные остановки! Он рванулся вперед и зашагал как мог быстрее. Ему и в голову не приходило, что без них, этих остановок, он и шагу бы не ступил — душа требовала времени, роздыха, передышки, чтобы привыкнуть к мысли — он идет к Анне и сейчас увидит ее, и это не фантазия и не сон.

Над пашней висел легкий пар, который просвечивался солнцем. Желтел низенький пригорок, где он стоял несколько минут назад, за ним виднелся белоствольный лесок, как бы окутанный облаком света, а над всем этим, распахиваясь, расширяясь, голубело небо, радостно открывая себя, свою беспредельность. Нет, ничего не могло случиться в такой день, ничего!

Борис попытался угадать, что же Анна делает — стирает, готовит обед, может быть, шьет или читает? Но ни за одним из этих занятий он не мог ее себе представить. А в памяти возникло ее бледное лицо с выражением застывшей боли, каким оно запало ему в душу в тот холодный предрассветный час, когда пришла пора прощаться, ее широко открытые глаза, пристально смотрящие на него,— возникло и исчезло...

Борис закрыл глаза. Но уже в следующую секунду он вздохнул с облегчением — словно пропала надвинувшаяся было тень от большой, черной, тяжело летящей птицы. Надвинулась — и пропала. И мир стал еще лучше, светлее.

Вот чудак — испугался воспоминания. Но что-то в нем еще оставалось, какая-то слабость, как после озноба. Пешеходная тропка, нечто вроде деревенского тротуара, немного возвышалась над проезжей частью дороги и успела хорошо подсохнуть. Идти было легко. Из-за деревьев виднелись приземистые деревенские домики в глубине дворов, обнесенных изгородью, которая почти сплошной ломаной линией тянулась вдоль дороги.

Борис шел, все прибавляя шагу, и в нем росло то возбуждение, которое будто само несло его вперед. Боковым зрением он увидел двух женщин, девочку, потом мужчину в черной широкополой шляпе — лица их промелькнули... Он не шел — летел, и вдруг будто кто-то схватил его за руку: стой, остановись!

Внутренний толчок был таким явственным, что Борис остановился. Ощущение силы, легко и стремительно несущей его, оборвалось. В нескольких шагах от него — невысокая изгородь с чуть приоткрытой калиткой, и возле нее большое раскидистое дерево. Оно еще не покрылось сплошной листвой, и светло-коричневые зеленеющие прутики молодых побегов были хорошо видны на широком раздваивающемся стволе, на корявых растопыренных ветвях. В груди у Бориса похолодело — это было то самое дерево с его тускло блестевшими, черными, широко расставленными ветвями, на которых не держался снег...

Силы оставили его. Он повернул голову и увидел поле, заросшее ярко-зеленой травой, и лес был гораздо ближе, чем он ожидал. А на соседней улице, поднимающейся по противоположному склону, стояли деревья, и по краям дороги тянулись кусты — все в белом цвету, и вдоль них шел мальчик с прутиком и сшибал эти цветы.

Оставалось одно — распахнуть калитку и пройти по дорожке, ведущей к дому, постучать в дверь, и дверь, как тогда, окажется незапертой... Или нет, пока он будет идти, Анна сама увидит его и выбежит навстречу...

А может, сначала посмотреть? Отворить калитку, оглядеться, спросить, если кто-нибудь появится,— в конце концов, он мог и ошибиться и это не тот дом. Но Борис уже знал, что дом тот самый и что говорит он себе так, чтобы оттянуть время, из малодушия, потому что осталось сделать только один шаг.

Поблизости кто-то колол дрова. Неторопливо, размеренно — кха, кха, кха... Только один шаг. И все равно его надо сделать что бы там ни было.

Борис открыл калитку и увидел узкий двор, полузаросший мелкой травой, и прямо перед собой низенький домик под тесовой крышей, с двумя подслеповатыми оконцами и крыльцом без перил и навеса.

Дом стоял близко, метрах в двадцати, а ему помнилось, что шли они долго по дорожке между сугробами, и все-таки дом был тот самый — и сомневаться нечего,

и спрашивать нечего. Борис двинулся вперед и только сейчас заметил в дальнем углу того, кто колол дрова. Человек этот был светловолосый и худой, кожа да кости, солдатские брюки, заправленные в польские сапоги с высокими голенищами, затянуты и перетянуты черным ремешком; нижняя белая рубашка с засученными рукавами болталась на нем как на вешалке. И все же топор звенел в его жилистых руках, и коротенькие березовые чурки с одного маху разлетались на две половинки. «Вон он где,— подумал Борис,— а по звуку оттуда, из-за ограды, не определишь».

Борис пошел к дому. Сейчас Анна выйдет навстречу и бросится к нему. Он и пяти шагов не успеет сделать. Не может же она не почувствовать, не взглянуть в окно.

Кха, кха, кха...— с сухим глуховатым звоном раскалывалось дерево.

Сейчас он ее увидит — сейчас, как только поравняется с ближним краем взрыхленной земли. У него застучало в висках. Над землей поплыл низкий густой гул. Как от ударов колокола. Откуда здесь колокол? Да нет — это его шаги так отдаются, не шаги — стук топора. Кха, кха, кха... Ну вот — теперь она появится, он как раз поравнялся с этим краем.

Борис прошел еще два шага или три, и до крыльца было рукой подать, когда он увидел Анну.

Она бросилась к нему — и остановилась. Она побежала, когда заметила Бориса из окна, и не поверила себе, но душа ее уже знала, что это он, а потом увидела его с крыльца, близко (глаза не обманули ее), и сердце готово было разорваться, оно стало огромным, больше ее самой, и тугой ветер подхватил ее и вынес навстречу Борису. Вынес — и вдруг, швырнув на землю, бросил, умчался, исчез.

Она остановилась в двух шагах от него, и Борис прочел на ее лице надежду, счастье, отчаяние. Слишком резкой была мгновенная смена, и она не смогла справиться с этим. Мертвая тень уже пала на лицо Анны, но свет еще оставался в глубине глаз, и Борис рванулся к этому свету. Но Анна вскинула руки ладонями к нему — отталкиваясь, защищаясь. Это было последнее движение, на которое у нее хватило силы. Вскинув руки, она тотчас опустила их, и плечи ее опустились, и спина согнулась, и лицо окаменело, но в то же мгновение она подняла голову и взглянула в глаза Борису.

Взглянула открыто, прямо. Чтобы он все понял. И чтобы запомнить его — на всю жизнь. А потом она повернулась, как будто ища поддержки оттуда, со стороны, потому что силы ее исчерпались до самого донышка. Казалось, Анна вот-вот упадет, но его помощь она не могла принять. Она ждала ее оттуда, со стороны, и Борис повернулся вслед за ней.

Он повернулся и увидел того, кто колол дрова, светловолосого и худого, в солдатских брюках, заправленных в сапоги, и в нижней белой рубашке с засученными рукавами. Теперь Борис различил его широколобое, обтянутое темной кожей лицо с провалами щек, светлые глаза, устремленные на него, и понял, что это — Анджей, муж Анны, польский жолнеж, которого убили, а он пришел с того света.

Он смотрел на Бориса, и топор застыл в его руках. Потом опустил топор и перевел взгляд на Анну. Решалась его жизнь, а он не двинулся с места. Не бросился, не встал между ней и Борисом — он ждал. Наверно, научился ждать. От одного ее движения зависело все — жить ему или не жить, а он не шелохнулся. Отчаялся, онемел? А может, так надо, так он хотел, чтобы решила она сама, без него?

Он не знал, что она уже решила, когда остановилась перед Борисом и руки ее опустились. Он не знал этого, а Борис знал, и ему оставалось одно — повернуться и уйти.

Борис не видел земли, по которой ступал, и не видел ничего вокруг, а только за своей спиной опять услышал размеренные удары топора — кха, кха, кха...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через час он увидит рейхстаг.

Полуторка шла по оживленной автостраде, мимо проносились машины, слышались песни, и они тоже пели, сидя в кузове очень тесно, чуть ли не друг на друге, но никто не замечал этого — они пели, перебрасывались шуточками, придерживали друг друга на поворотах.

Небо было ясное, солнышко пригревало, кругом все зеленело — лучшего дня для поездки в Берлин и не придумаешь. И впервые за последнюю неделю Борис мыслями и настроением был вместе со всеми, и, как

и всем, ему не терпелось увидеть рейхстаг, улицы Берлина. Он уже научился шутить, в то время как что-то постоянно точило его. А сейчас эта непрерывная боль впервые за последнюю неделю отпустила.

Борис никому не сказал, и, кажется, никто из товарищей не догадывался о том, что у него произошло с Анной. Догадался бы Димка и помог бы, но Димки не было, и справляться приходилось одному. Хуже всего было по ночам, когда в памяти всплывало одно и то же: как он идет по дорожке к ее дому, и Анна бросается к нему и останавливается, вся поникнув, безвольно опустив руки, и мертвая тень покрывает ее лицо, гасит свет, притаившийся в глубине глаз, и оно каменеет и умирает,— и потом все начиналось сначала...

Иногда боль утихала, уходила, вот как сейчас, когда они ехали к цели, а то казалось, что Анна близко и что все еще можно поправить. Пока еще можно...

И снова все начиналось сначала, будто раскручивалась одна и та же кинолента, и он пытался вглядеться в лицо Анны, чтобы еще и еще раз проверить себя, что же хотела она, к чему рвалась ее душа...

Кинолента раскручивалась помимо его воли — Борис понимал, что все кончено и возврата быть не может. Так он говорил себе и, когда Анна появлялась в его мыслях о доме, заставлял себя не думать об этом.

А разговоров кругом только и было о доме, об отпусках, о всякого рода перемещениях... Все жили ожиданием скорых перемен. И было ясно, что они коснутся всего и всех, каждого человека, никого не обойдут, потому что уже началась другая, мирная, послевоенная жизнь. И то, что вот так, с песней, они ехали в воскресный солнечный день в Берлин (первое воскресенье июня, первого целиком мирного месяца), было приметой этой новой жизни, ее забот.

Полуторка уже подходила к Берлину. Водителю пришлось сбросить скорость, так как они оказались в довольно плотной колонне машин — легковых и грузовых, украшенных транспарантами и красными флажками, полных солдат и офицеров, также едущих в Берлин, к рейхстагу. С бортов машин встречного потока махали руками, что-то кричали. Отовсюду неслись песни. И они тоже пели и махали в ответ. Гена, опершись рукой на плечо Бориса и не замечая этого, встал, чтобы лучше видеть, что происходило кругом. Он сорвал с головы пилотку и изо всех сил размахивал ею. Так неза-

метно для себя они оказались в предместье города — увидели закопченные дома, развалины, трамвайные рельсы на мостовых.

Это была северо-западная окраина Берлина, район Шарлоттенбурга. Они миновали регулировщицу, которая направила всю колонну налево, и, когда перед ними открылась старая, типично городская улица с тяжеловесными домами, кое-где уцелевшими вывесками, Борис догадался, что это улица Кайзердам и что они едут к центру, к рейхстагу, со стороны Тиргартена. Теперь надо попасть на Шарлоттенбургер-шоссе, которое прорезает Тиргартен с запада на восток, прикинул Борис, и свернуть налево, на Зигес-аллее, она приведет на Кенигсплац, а оттуда до рейхстага рукой подать, по любой улице направо... Он вспомнил тот туманный, слякотный мартовский день, когда штурман полка привез из штаба дивизии планы Берлина, и серый тоскливый день, такой же беспросветный, как вязкое ватное небо (о полетах, пусть одиночных, нечего было и думать!), стал самым настоящим праздником!

Весть эта распространилась моментально, и когда командир собрал летный состав, казалось, что штурм Берлина начнется чуть ли не завтра и погода будет — даром, что ли, начинало проясняться... Командир, как всегда серьезно и обстоятельно, разъяснил задачу — досконально, до мельчайших подробностей изучить план города, его рельеф. Он подчеркнул это — досконально. Территориальные ориентиры, радиомачты, высокие здания, вокзалы, их характерное расположение. Объекты и подходы к ним. Каждый объект в отдельности. «К выполнению боевых заданий будет допущен лишь тот, кто сдаст зачет по плану Берлина,— сказал он в заключение.— Вы должны так знать город, чтобы смогли летать хоть с закрытыми глазами».—«Но при этом и видеть, что вокруг делается»,— пошутил штурман полка.

А полчаса спустя они с Алексеем уже сидели над планом и, еще не приступив к его изучению, сразу же нашли имперскую канцелярию, рейхстаг, Бранденбургские ворота. Потом оба не сговариваясь закурили. Перед ними был план Берлина. Рейхстаг, имперская канцелярия. К этому надо было привыкнуть...

Машина шла уже по Вагнерштрассе, поворот на Бисмаркштрассе. «Еще один поворот,— отметил про себя Борис,— и мы на Шарлоттенбургер-шоссе».

Справа и слева зазеленели деревья и лужайки Тиргартена — шоссе проходило по самой середине парка. Теперь хорошо были видны следы ожесточенных боев: обуглившиеся деревья без ветвей, с культяшками сучьев, деревья со срезанными верхушками, ломаные линии траншей, воронки; и опять и опять развороченная земля, окопы, траншеи; сгоревшая рощица, завалы, которые не успели еще разобрать. Борис вдруг подумал о том, как Анджей пробирался к Анне — сквозь горящий лес, по сожженной земле... Его считали убитым, а он выжил. Может, вырвался из окружения, расстреляв последний патрон,— раненый, без крошки хлеба. Или бежал из плена. Вернулся с того света, потому что верил: Анна ждет его. Разве могла она бросить Анджея, уйти, когда он вернулся? Это была бы не Анна — другая... «Она ждала меня и больше всего боялась, что приду: знала — останется с Анджеем. Это сильнее ее любви. Это она сама...»

На скамейках, кое-где сохранившихся под зеленой листвой полуобгоревших деревьев, сидели мужчины с газетами в руках, женщины вязали. Рядом бегали дети.

Да, было воскресенье, и пожилые мужчины читали газеты, а женщины вязали. В первый момент Борис удивился — город лежал в развалинах, а они вязали! Но постепенно начал понимать, что женщины, сидящие на скамейках, беготня детей, степенно прогуливающиеся люди — все это и означает: жизнь начала входить в нормальную колею.

Они проехали несколько небольших перекрестков, и вот-вот должна была появиться широкая Зигес-аллее, где, как полагал Борис, они должны свернуть налево, к Кенигсплац. Но там, впереди, видимо, возник затор, и машины одна за другой сначала притормозили, а потом остановились. Борис, за ним Гена и еще несколько человек спрыгнули на землю. Разминаясь от долгого сидения, Борис прошел немного вперед и свернул на боковую тропинку, ведущую в глубь парка. Здесь почти не чувствовалось того стойкого запаха бензина и отработанных газов, который стоял на шоссе. Немного подальше по обе стороны дорожки высились разросшиеся вязы — удивительно, но этих старых раскидистых деревьев не коснулся ни один снаряд!

Сделав еще несколько шагов, Борис увидел скамейку, на которой сидели пожилая женщина и белобрысый,

худой, низкорослый паренек в темной рубахе и новеньких, щегольских, явно широких для него светло-коричневых брюках. Борис безошибочно определил: мать и сын. Они ели хлеб, но ел, пожалуй, один паренек, жадно откусывая от аккуратно отрезанного ломтя, а мать больше смотрела на него, кивая головой (ешь, мол, сынок, ешь), и ее маленький кусок, который она держала в руках, по-видимому, так и оставался нетронутым.

Ему было лет пятнадцать — в апреле таких ребят из гитлерюгенда брали в фольксштурм, вооружали автоматами, фаустпатронами, гранатами, и они дрались на улицах Берлина, убивали, умирали, так и не понимая, что происходит. Понимали матери, не могли не понять бессмысленности гибели своих мальчишек, и, может, кое-кому удалось их спрятать или вовремя отправить из Берлина куда-нибудь подальше.

Кое-кому, может, и удалось. И этот низкорослый паренек не из тех ли счастливчиков, что только сейчас, когда все кончилось, вернулся в Берлин, к своей маме, целый и невредимый, а она никак не наглядится на него? Или он дрался и остался жив, а в последний момент одумался и прибежал к своей маме, и она переодела, умыла, успокоила его, и вот сколько дней прошло, а все не привыкнет к своей радости: жив ее Ганс, жив и война окончена?

Борис подумал: то, что связывало мать и сына, было сильнее ее страха, сильнее Гитлера, сильнее ее самой. Ганс благополучно умял свой кусок хлеба и, бурно жестикулируя, принялся с жаром что-то рассказывать матери; она заметила Бориса и, бросив искоса на него встревоженный взгляд, положила руку на колено сына, как бы предостерегая. Борис повернулся и пошел обратно к шоссе.

— По коням!— услышал Борис.

— Товарищ старший лейтенант, где вы?— крикнул Гена.

Борис вышел на шоссе. Полуторка стояла, прижавшись к обочине. Колонна уже тронулась, и машины объезжали ее. Борису помогли взобраться в кузов, потеснились.

— Вперед!

— Поехали!

— На Берлин!

Водитель выбрал момент, когда в колонне образовался просвет, вклинился. Ехали медленно, потом передние машины прибавили скорость. Замелькали черные пятна на зеленом — перекопанная земля, обгоревшие деревья. А вот и широкая Зигес-аллее, под прямым углом пересекающая шоссе. Регулировщица на возвышении показывает флажками — прямо, прямо. На скорости они проезжают перекресток. Так, значит, они едут не через Кенигсплац. Ну что ж, можно и по-другому — прямо до Паризенплац, потом налево, мимо Бранденбургских ворот. Снова передние машины замедляют ход — почти у самой Паризенплац останавливаются. Солдатик с красной повязкой на рукаве показывает место стоянки. Отсюда рукой подать до рейхстага.

— Приехали!

Водитель выключает мотор. Летчики с шумом прыгают на землю.

— Даешь рейхстаг!

— Братцы, а ведь здесь, на Паризенплац, были парады фашистов!

— Это и есть Бранденбургские ворота?

— А ты что думал?

— Один только коняга и остался наверху, да и то смотри как накренился: вот-вот сверзится.

— А вот и рейхстаг!

— Глядите, братцы, во все глаза — рейхстаг же!

— Ну, славяне, чего только не придумают! Посмотри, куда забрался, к самому куполу!

— Правильно! На куполе распишется!

Площадь перед рейхстагом полна народу. Группа летчиков попала в самую гущу и постепенно уменьшалась — то одного оттеснят, то другого, удержаться в такой толчее всем вместе было невозможно. Но Гена, как пришитый, следовал за своим командиром.

Вот он, рейхстаг, длинное разбитое здание с зияющими провалами и проломами, в центре купол с обнажившимися перекрытиями, у подножия груды камней. Мелькают фигуры солдат, слышатся голоса. Борис, за ним Гена поднялись по каменным ступенькам фасада и остановились под колоннадой. Солдаты со всех сторон облепили каждую колонну — искали местечко, чтобы нацарапать свою фамилию. Центральный ход за колоннадой, окна в два этажа по всему фасаду — все было разворочено, разрушено; не двери и не окна, а рваные

черные проемы, битый кирпич, камень, сквозняк гулял по всему зданию; оттуда, из глубины, тянуло гарью...

— Ну вот, Гена,— сказал Борис,— давай и мы с тобой распишемся. Ищи место и пиши фамилию. И город свой не забудь.— Новогрудок, верно? Чтобы все знали: есть такой город в Белоруссии.

«А еще есть такой город Тула,— подумал Борис.— Туляк туляка видит издалека». Он будто услышал Димкин голос и обернулся. Но чуда не произошло — сзади него стоял Гена и примеривался, куда бы протиснуться, чтобы нацарапать свою фамилию. А Димка не дошел — всего лишь несколько шагов.

18 апреля. А 26 апреля авиация почти прекратила боевые действия в Берлине — бои шли в самом центре: дом наш, дом их... 18 апреля, 18 апреля. Уже два дня шел штурм Зееловских высот, и два дня шестерками и восьмерками они штурмовали и бомбили эти проклятые высоты, сплошь утыканные зенитками всех калибров. В то утро 18 апреля, как только рассвело, они поднялись в воздух шестеркой, которую вел Алексей, с задачей уничтожить огневые опорные пункты в районе Врицена, скопление танков и живой силы. Как раз над Одером их атаковали «фокке-вульфы»; шестерка по команде Алексея стала в круг, и началась карусель. «Фоккеры» маневрировали, чтобы не попасть под огонь стрелков, уходили и возвращались, и все-таки Димка подловил одного и поджег длинной очередью, а второй «фоккер», его ведомый, с перепугу проскочил вперед и угодил прямо под пушки и пулеметы Бориса, попал в самое перекрестье прицела: он вспыхнул на глазах. Остальные «фоккеры» отвалили, и они вышли на Врицен и увидели на шоссе, на западной стороне городка, колонну танков. «Атакуем танки!»— скомандовал Алексей.

Зенитки открыли бешеный огонь, и они пикировали на танки в сплошных разрывах. А потом, сбросив бомбы, снова зашли на цель и потом еще раз на бреющем... Танки горели, как костры, в черном дыму, затянувшем землю, клубы дыма поднимались вверх и расползались в воздухе. Небо было в пятнах и полосах дыма. После третьей атаки Борис ушел боевым разворотом и успел набрать высоту, когда с грохотом рядом, чуть сзади, разорвался снаряд и взрывной волной самолет завалило на крыло. Борис с трудом выровнял самолет и крикнул: «Димка! Отвечай! Отвечай!» Самолет побалтыва-

ло, он начал терять высоту и плохо слушался рулей, но они перетянули через Одер и летели над своей территорией, и аэродром был близко, Димка не отвечал, но Борис надеялся: ранен. «Димка! Отвечай!— кричал Борис.— Отвечай!» Он посадил самолет и надеялся — ранен. Не убит — ранен. Но все понял, когда увидел запрокинутое белое лицо Димки... 18 апреля. А 26 апреля их полк прекратил боевые вылеты на Берлин.

— Товарищ старший лейтенант,— позвал Гена,— идите сюда, тут место есть. А я уже расписался.

Борис подошел и там, где показывал Гена, написал: «Старший сержант Дмитрий Щепов», а потом и свою фамилию.

— А теперь посмотрим, как там внутри,— сказал Борис.

Они вошли в здание. Проломленные стены и потолки, отбитые углы, битый кирпич вперемешку со штукатуркой и каким-то хламом. Где-то рядом раздавались гулкие шаги, слышались голоса. Они прошли несколько разрушенных комнат и остановились на краю глубокого провала — в этом месте, вероятно, находился большой зал.

— Может, хватит?— спросил Борис.

— И я так думаю,— ответил Гена.— Все ясно, товарищ старший лейтенант.

— Тогда пошли обратно.

Выйдя из здания, Борис остановился и взглянул на площадь, надеясь увидеть кого-нибудь из своих. Гена, незаметно для себя повторявший каждое движение командира, стал рядом с ним и несколько раз как можно тщательнее, переводя взгляд от одного ориентира к другому, осмотрел видимое пространство. Знакомых они не нашли. В ответ на вопросительный взгляд командира Гена огорченно пожал плечами.

— Ладно. Пошли,— сказал Борис и уже спустился на одну ступеньку, как вдруг услышал свою фамилию.

Кто-то настойчиво звал его, Борис посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос, и увидел энергично пробиравшегося к нему человека. Пока соображал, кто бы это мог быть, перед ним предстал коренастый старшина в офицерской фуражке, с орденом Отечественной войны на груди. Лицо его, загорелое, с крупными резкими чертами и светлыми пронзительными глазами, красивое какой-то необычной диковатой красотой, показалось Борису знакомым.

— Не признаете?— обрадованно улыбаясь, спросил старшина, и Борис сразу вспомнил его, и весь тот день в польской деревне, и все, что было потом...

— Старшина!

— Точно! Дежков. Он самый.

— Живой!

— Точно, живой!

— Вот и свиделись!

— Ну а вы-то как?

— Что мне делается? Жив-здоров, как видишь.

— Вижу,— усмехнулся старшина, глазами показывая на ордена Бориса.— Славное дело... А войне-то конец, а, старшой?— неожиданно проговорил он, видимо в который уже раз повторяя эту фразу и все по-новому радуясь и удивляясь ей.— Скоро домой поедем. По домам, значит. Ты, старший лейтенант, часом, про демобилизацию не слыхивал?

— Вроде поговаривают.

— То-то и оно. России мужик нужен. Руки рабочие. Да и то: нельзя больше бабам одним с ребятишками. Значит, скоро.— Он счастливо вздохнул и, словно вспомнив что-то веселое, сдвинул фуражку на затылок.— Ну, а рыжий-то где?— И, увидев потемневшее лицо Бориса, осекся:— Ясно... А мне мнилось, не сработали еще такую пулю, чтоб его достала. А оно вот как выходит...

Они замолчали. Борис спросил:

— Ты, старшина, приехал на рейхстаге расписаться или стоите здесь, в Берлине?

— Здесь мы, в Берлине, в Карлсхорсте то есть,— ответил Дежков.

— Понятно...

Борис не задал ему того вопроса, который возник сам собой, как только он узнал старшину и вспомнил все, что произошло в тот день, не задал, не успел. Так пошел разговор, что сразу, с ходу не получилось, а теперь ему трудно было спросить о Кравцове — что-то удерживало его, мешало, и Борис ждал, когда старшина сам скажет. Пусть сам скажет. Не может же он не сказать.

Почувствовав, что старший лейтенант не то расстроился, не то задумался, Дежков, в свою очередь, немного замялся: как тут разговор вести? Неловко человека тормошить, когда у него свое на душе. Ловко или неловко, однако надо. Помолчав, он проговорил:

— А у меня к тебе, старшой, дело. Я, коли правду сказать, тебя, почитай, неделю разыскиваю. Не веришь?— Старшина усмехнулся.— Вроде засады тут, у рейхстага, устроил. Право слово. Чуялось — тут тебя и повстречаю. Так оно и вышло. Кто воевал в этих краях, тому рейхстага не миновать. Должен солдат посмотреть на рейхстаг на этот и детям своим рассказать.

— Понял, Гена?— сказал Борис, обняв его за плечи.— Смотри. Запоминай.

Старшина, похоже еще раньше смекнувший, кто такой Гена, который в продолжение всего разговора молча стоял чуть сзади своего командира, обратился к нему:

— Сам-то ты, малец, откуда, из каких краев?

— Из Новогрудка,— ответил Гена.— Есть такой город в Белоруссии.

У него заныло сердце, когда он сказал — Новогрудок, будто в одном этом слове заключалась вся его жизнь. Вчера вот тоже в сумерках ему почему-то взгрустнулось и вспомнилось, как тепло и хорошо бывало в их доме, когда за окном мело и он сидел за уроками или читал чего-нибудь, а мать собирала ужинать и украдкой посматривала на него...

Гена вздохнул, а старшина с сожалением покачал головой: ему бы хотелось, чтобы этот нескладный тощий малец с такими чистыми и синими, как родник, глазами был бы из его краев. Повстречать земляка на чужой стороне — считай, большая удача. Земляк, он вроде как из той, твоей довоенной жизни, и разговор с ним особый, другим непонятный. А уж этот паренек был бы ему как младший братишка. Глядишь, и демобилизовались бы вместе и махнули бы к нему в Чистозерск... Но тут Дежков остановил себя — чего это он размечтался: если бы да кабы... И чтобы уж окончательно все стало на свои места, полушутливо заметил:

— Поди, балует тебя командир. Вон и подворотничок кое-как пришит, и заправочка хромает.

Гена промолчал. Хотя он и почувствовал шутливые нотки в словах старшины, но невольно поежился от того резковатого тона, каким они были произнесены. Видно, говорить по-другому старшина не привык. Ну и ладно. Ему-то какое дело? Пусть командует над своими пехотинцами, а он, Гена, как-никак — авиация. Воздушный стрелок, а не хухры-мухры, как недавно объявил ему Николай Ермаков, самый главный оружейник в их

эскадрилье. Вспомнив о своем новом друге, который по званию тоже был старшина, Гена усмехнулся: вот уж тот бы спуску не дал!

Ему снова стало весело. А в лицо старшины Гена не вглядывался, в голос не вслушивался и ничего, кроме «заправочки» да «подворотничка», не разобрал в его словах. Но слова были скучные, на них и отвечать-то нечего. И как только старшина обратился к командиру, Гена незаметно отошел в сторону.

Куда-то шли, встречались, останавливались, разговаривали, смеялись солдаты и офицеры всех званий и родов войск, но вся эта разноголосая и разноликая толпа, где у каждого было свое дело, своя забота, жила и волновалась одним ликующим чувством, которое поглощало все дела и все заботы. Гена зачарованно смотрел на живой, неубывающий поток людей и не слышал, как Борис спросил у старшины: «Так какое, говоришь, у тебя ко мне дело?» — и как, чуть замявшись, вместо ответа Дежков предложил: «Давай, старшой, отойдем куда... Где потише». Гена не слышал этого, он только заметил, что они пошли — впереди старшина, потом командир,— и двинулся вслед за ними.

Старшина направился чуть наискосок, к Бранденбургским воротам, над которыми бился на ветру красный флаг. Подойдя ближе и скользнув по ним взглядом, Борис испытал легкое разочарование: ничего величественного в этих Бранденбургских воротах, о которых он столько слышал, не было — иссеченные пулями и осколками колонны, арка с отбитой штукатуркой и выщербленными кирпичами, чудом уцелевший железный конь, накренившийся набок. Как видно, и здесь под аркой была баррикада, одна из тех, что перекрывали подходы к центру; сейчас ее разобрали, но следы все же остались.

— С танками выковыривали...— сказал старшина, кивнув на воронки от снарядов возле колонн, уже засыпанные землей.— Эх и жарко было!— добавил он.

Борис промолчал. Он знал, что творилось в те дни в Берлине,— им приходилось по команде с земли бомбить, штурмовать, поливать огнем с бреющего чуть ли не каждый дом, каждую баррикаду.

С воздуха Берлин, рассеченный улицами на темные прямоугольники с зияющими провалами, обуглившимися скелетами зданий, грудами развалин, объятый бушующим пламенем, затянутый черными клубами ды-

ма, серой мглой, кое-где светившийся кроваво-красным цветом, со вспышками огня из тысяч стволов, опутанный со всех сторон рваными нитями трассирующих пуль,— с воздуха Берлин был весь пламя, дым, грохочущая бездна. И трудно было поверить, что в этом аду оставались люди. Но они оставались. Вели бой. Указывали по радио цели. Продвигались вперед — и ничто не могло их остановить.

А теперь вроде бы и не верилось, что все эти улицы и площади, шумные от праздничного многолюдья, и есть тот самый Берлин, и над ним чистое синее небо и белые-белые облака.

Впрочем, не то чтобы не верилось (Берлин, разумеется, был тот самый, никуда ему не деться, и облака над ним белые, самые настоящие), а просто не остыло еще, не притупилось то чувство, которое несло с собой короткое слово — победа. Оно было таким большим и так много заключало в себе, что все кругом освещало по-новому, по-своему, заставляя беспрестанно удивляться и радоваться каждому своему проявлению. И город Борис узнавал как бы заново, замечая то, что нельзя было ни представить себе по плану, ни увидеть с воздуха.

Унтер-ден-Линден, открывшаяся им у Бранденбургских ворот, широкая и прямая как стрела, была вся запружена машинами. Нескончаемой колонной они продвигались к центру, обтекая регулировщицу, стоявшую на возвышении впереди Бранденбургских ворот. Они пошли по правой стороне мимо разрушенных, обгоревших домов. «Может, к Кравцову ведет?— спросил себя Борис.— Но лучше не гадать. А старшина ведь был в той деревне и хорошо знал Анну... Но лучше не гадать. И о Кравцове пусть сам скажет. Сам...»

Старшина пропустил поворот на Вильгельмштрассе, которая пересекала Унтер-ден-Линден. Странная мысль пришла в голову Борису. Странная, дикая — у него даже похолодело внутри. Мало ли чего не бывает? Старшина хорошо знал Анну — и вот теперь... Неделю Дежков искал его, а с тех пор, как он сам видел Анну, прошло ровно девять дней. Ну и что? Ну и что? Борис понимал, что нельзя поддаваться этой мысли, и гнал ее от себя — с тем покончено. Навсегда. Он гнал от себя эту мысль, но нетерпение его все росло.

Наконец на большом оживленном перекрестке, где возвышалась регулировщица, миловидная девушка

с измученным и счастливым лицом, уставшая отвечать на шуточки и соленые словечки солдат с проезжающих машин, Дежков остановился. С минуту подумав, свернул направо, на Фридрихштрассе. Здесь на самом углу был вкопан указатель с названиями берлинских улиц, написанными по-русски, какие ставились на фронтовых дорогах. Гена потрогал грубо отесанный столбик, к которому были прибиты дощечки, изображающие стрелы,— как-никак русский указатель в самом центре Берлина! Дежков прибавил шагу, вероятно почувствовав нетерпение Бориса.

Разрушения стирают особенности — с первого взгляда довольно трудно было отличить одну улицу от другой. Рядом с целыми, хотя и пострадавшими зданиями торчали полуобвалившиеся стены, а то и вовсе зияли провалы с грудами покореженного металла, битого кирпича и стекла... Да теперь Борис и не пытался это делать. Занятый своими мыслями, он уже ничего не замечал вокруг. Ни прохожих, ни машин, двигавшихся навстречу им, к центру. В кузове одной из них сидели и стояли летчики, и кто-то, может знакомый, махнул Борису рукой. Гена, единственный из трех глазевший по сторонам и заметивший этот жест, махнул в ответ. Они прошли еще несколько шагов, и за домом с отбитой штукатуркой и развороченными окнами на верхнем этаже старшина повернул за угол — и они оказались на небольшой, сравнительно узкой и тихой улочке.

Здесь бы можно и остановиться, никто им не помешает, но Дежков продолжал идти. Он поймал себя на том, что оттягивает разговор со старшим лейтенантом. Можно бы и пораньше найти место, где потише, а он вот привел старшого сюда. Зачем? Не все ли равно где — там ли, здесь ли? Нет, не все равно, ответил себе Дежков. Надо, чтоб и не помешал кто, и минуту особую подстеречь. И сказать он должен такими словами, чтобы старшой проникся — все забыл, а это помнил. Потому и шел он так долго, что слов подходящих не находил — нету у него таких слов. А сказать, однако, надо.

Решительно свернув под низенькую арку ближайшего дома (так решительно, будто именно сюда он и шел), старшина остановился.

— Ладно,— проговорил он, оглядывая небольшой, сжатый со всех сторон домами двор, в углу которого были аккуратно сложены бревна, скорее всего от разо-

бранной баррикады,— можно и здесь... Сядем, что ли,— кивнул он на эти бревна.

Они подошли к ним, сели, закурили. Гена, которому сразу же стало скучно, встал и, пока они молча курили, прошелся по двору, с любопытством поглядывая на окна, за которыми шла неведомая ему жизнь. Вот за белой занавеской на втором этаже мелькнуло женское лицо — выглянуло и спряталось,— вот кто-то задернул тяжелые темные шторы. Гена не спеша возвратился к бревнам. Командир и старшина по-прежнему курили и молчали. Он присел рядом.

— Дело-то, видишь, старшой, вот какое,— сказал Дежков, бросив цигарку и затоптав ее каблуком.— Вот какое дело... командира нашего убило. Двадцать восьмого апреля. За два дня до взятия рейхстага. Когда вокзал этот, Ангальский, очищали. Очередью автоматной прошило. Я к нему, а он...

Борис уже знал, что именно это скажет ему старшина. Он ощутил непонятную тревогу еще там, у рейхстага,— неспроста же Дежков ни слова не промолвил о Кравцове, а пока шли сюда, это ощущение превратилось в предчувствие несчастья. Борис не хотел верить ему — о чем он только не передумал, пытаясь угадать, какое у Дежкова к нему дело! И даже сейчас, пока Дежков не сказал, оставалась надежда. Хотя Борис все понял, лишь только старшина произнес первые слова, а все ж оставалась надежда, пока он не сказал. А теперь ничего не оставалось. И не встретятся они с Кравцовым на Кировской, у Почтамта, и не пойдут к Романовскому, к старче, в Кривоколенный. И не будет разговоров, стихов, воспоминаний. Ничего не будет.

Стало холодно от этой мысли — ничего не будет. Ему вспомнилось лицо Кравцова, когда напоследок они выпили за встречу в Кривоколенном, и то ускользающее выражение в его глазах, от которого Борису стало не по себе. Как будто он увидел, как промелькнула в них смертельная тень, и тогда уже знал, что Кравцова убьют. Но он не захотел этого знать и тут же постарался уверить себя: почудилось, показалось. Мало ли что может показаться! Так оно было проще, спокойнее. А если бы он не испугался этой тени, может, и получился бы у них разговор, которого не будет уже никогда. Ведь хотел же Кравцов (Борис почувствовал это безошибочно) поговорить с ним по душам, что-то сказать. Хотел, да раздумал. Борис не мог вспомнить сейчас, поче-

му не вышло разговора, кто в этом виноват, но вину приписал себе. Кравцова убило, а он жив...

— Ты послушай, что я тебе скажу,— проговорил Дежков, решившись наконец прервать молчание.

Встретившись взглядом с Борисом и убедившись, что он готов его выслушать со всем вниманием, Дежков сказал:

— Аккурат через неделю, как вы уехали, пришел приказ, и двинулись мы аж туда, к Балтийскому морю, догонять войска Третьей ударной армии. А первого марта перешли в наступление. Бой был тяжелый, видно, немцы приказ такой от Гитлера получили: не отходить... А тут распутица, дождь, туман. У нас в роте, почитай, половина людей полегла. А все ж в тот день из первых траншей немцев выбили. Ну а как стемнело и бой утих, командир подзывает меня: табачок, говорит, имеется? Закурили, он и говорит: есть у меня к тебе, Василий Андронович, просьба. Обещаешь исполнить? Как, отвечаю, не исполнить просьбу своего командира? Ну вот и хорошо, говорит. Раз сказал — сделаешь. А просьба вот какая: если меня убьют, возьми в моем планшете тетрадь, вот эту самую, и как война кончится, отдай тому летчику, земляку моему. Найди его и отдай. А уж он знает, что с этой тетрадкой делать. Тут вот, говорит, на последней странице фамилия его, часть. А коли не найдешь земляка моего или что случится (сам знаешь, война), перешли по этому адресу. Видишь, здесь написан — Москва, Кривоколенный переулок, дом семь, квартира двадцать три, Романовскому А. К. Прочитал он этот адрес — я его и запомнил. Ночью разбуди — скажу. Да, слава богу, не понадобился. Оно, знаешь, вернее, когда сам отдаешь да видишь — кому.

Старшина открыл свою офицерскую сумку и достал обыкновенную общую тетрадь в коричневом клеенчатом переплете. Подержав в руках, передал Борису.

— Так ты уж, старший лейтенант, сделай, что надо. Разбейся, а сделай.

— Сделаю,— сказал Борис.— Будь спокоен, старшина. Все сделаю.

Он не знал и не догадывался, что же должен сделать,— сама тетрадь подскажет. Почувствовав неровную, в бугорках, поверхность переплета, снова подумал о Романовском, о школе. И будто опять потянуло смешанным запахом масляной и клеевой краски, который стойко держался в коридорах и классах после летнего

ремонта, и услышал звонок, и стихающий гул голосов, и крик: «Старче идет!»— и положил на парту чистую общую тетрадь в клеенчатом коричневом переплете, первые страницы которой будут заполнены красиво и аккуратно, и почувствовал радость, нетерпение, любопытство оттого, что сейчас увидит Алексея Ксенофонтовича...

Борис провел пальцами по обложке тетради и открыл последнюю страницу, сначала̂ последнюю, и действительно вверху, в правом ее углу, увидел свою фамилию и номер части, а чуть ниже (на тот случай, если что с ним случится) адрес Романовского, его фамилию, инициалы. Борис захлопнул тетрадь, а потом снова раскрыл уже на первой странице — там в центре листа крупными печатными буквами в две клетки было выведено «Евгений Кравцов», а в самом низу, как это бывает в книгах, стояла дата: 17 февраля 1943 года. На следующей странице Борис увидел тщательно вычерченную чернильным карандашом схему огневых точек, по-видимому переднего края противника, и ниже пояснения к ней. Потом шли чистые листы, и вдруг — быстро набросанные строчки стихотворения с зачеркнутыми и вновь написанными словами то крупно, то мельчайшими буквами, то полностью, то в сокращении. Прочитать их было очень трудно, Борис свободно разобрал только первую строчку:

Кончится война, и на пригорке...

По этой строчке он и понял, что на другой странице переписано набело это же стихотворение, уместившееся в одно четверостишие:

Кончится война, и на пригорке,
там, где друг мой принял смертный бой,
в сказочной зеленой гимнастерке
вытянется тополь-часовой...

Борис закрыл тетрадь. Дежков пристально смотрел на него, но Борис не видел его взгляда — он опустил голову, рука его машинально поглаживала обложку тетради, лежавшей на коленях. Потом старший лейтенант начал листать страницы одну за другой, то задерживаясь надолго, то почти не глядя переворачивая их.

Тетрадь вся была заполнена стихами, тщательно переписанными, брошенными на полдороге, а то и сов-

сем оборванными после двух-трех строк в черновом виде. Редко-редко между ними вклинивались записи, которые Борис почти не мог разобрать, и опять схемы расположения огневых точек. Тетрадь предназначалась для стихов, это ясно, только для стихов, лишь в самых крайних случаях сюда заносилось то, что требовала обстановка. «Кончится война, и на пригорке...»— строчка эта не выходила из головы, не давала покоя, будто в ней была разгадка какой-то тайны, которую во что бы то ни стало нужно было раскрыть.

«Кончится война, и на пригорке, там, где друг мой принял смертный бой...» Но он сам, не его неизвестный друг, а он сам погиб в этом последнем бою. Он погиб, а Борис жив, и у него в руках эта тетрадь. Как завещание. Кравцов просил передать ее ему, Борису. Он сказал старшине, что его земляк знает, что делать с этой тетрадкой. «...в сказочной зеленой гимнастерке вытянется тополь-часовой...» Кравцова убило, а он остался. Значит, он, больше некому, должен сделать так, чтобы люди узнали о Кравцове — как жил, как воевал.

— Вот какое дело...— проговорил Дежков, отвечая на какие-то свои мысли. Теперь-то он был уверен: все, что требуется, старший лейтенант сделает. Расшибется, а сделает. Борис, услышав голос старшины, поднял голову, но взгляд его скользнул как бы сквозь Дежкова. Старшина больше ничего не сказал, и Борис снова уткнулся в тетрадь.

Гена опять почувствовал неодолимое желание размяться, подвигаться, поглядеть на людей. Рассказ старшины Гена слышал вполуха, отдельные слова до него не доходили, и он так и не понял, почему оба они надолго замолчали и командир не может оторваться от этой тетради. Он встал и сначала прошелся по двору, а потом вышел за ворота, на улицу.

Сержант в начищенных сапожках и лихо заломленной пилотке, шагавший по мостовой, увидев Гену, выходящего со двора, ухмыльнулся и подмигнул ему: мол, давай, давай, не тушуйся. Вслед за ним, оживленно и громко болтая, прошли две немки. Потом, опираясь на палку, проковылял старик в черном костюме и серой шляпе.

Поколебавшись, Гена направился в сторону, противоположную той, куда ушли две немки. Через несколько шагов перешел на другую сторону улицы, чтобы держать в поле зрения ворота, откуда выйдут командир

и старшина. Пройдя еще немного, уперся в хвост небольшой очереди.

Это была очередь за хлебом, который население Берлина получало по карточкам, выданным советской комендатурой. Сквозь стеклянную витрину было видно, как ловко орудует солдат, отпуская буханки и полубуханки армейского образца.

Гена окинул взглядом очередь и увидел пацаненка лет шести или семи, который никак не мог устоять на месте и, наверно, давно бы ускакал, если бы мать не держала его крепко за руку. Мальчонка был забавный — белобрысый, конопатый, большеглазый, с оттопыренными ушами. Вроде лягушонка. Заметив Гену, с любопытством уставился на него. Гена подмигнул, и мальчонка, подумав немного, подмигнул в ответ. Гена постоял еще и пошел обратно. Обернувшись, увидел, что мальчуган машет ему. Гена тоже помахал и двинулся дальше. Возле арки никого не было.

Наверное, командир и старшина все еще сидели там, во дворе, на бревнах.

*1975 г.*

## ТОРОПИСЬ С ОТВЕТОМ

С утра лил дождь, и Павлу хорошо работалось. Окно его небольшого кабинета, отгороженного от сотрудников лаборатории дощатой перегородкой, выходило во двор, и он, то и дело отрываясь от записей с колонками цифр, посматривал на листву, тускло и влажно блестевшую сквозь пелену дождя. Сейчас она была почти одинаково темная, а в солнечные дни деревья переливались и сверкали всеми оттенками зеленого. Павел любил стоять у окна и смотреть на верхушки лип и тополей, на людей, идущих по асфальтовой дорожке к подъезду института. Шум улицы почти не доходил сюда, и огромное молчаливое здание института, отгороженное от остального мира высокой чугунной решеткой и густыми кронами столетних деревьев, казалось непоколебимой твердыней, замкнутой в самой себе, живущей по своим законам.

Павел был не из последних в этой твердыне, и чувство своей необходимости, сопричастности к тому, что происходило здесь, ему нравилось.

Цифры были как раз те, какие ему хотелось видеть — все шло, как он предполагал. Павел давно уже научился ценить небольшие удачи медленной, упорной осады проблем, которые приходилось решать его лаборатории, и теперь он испытывал удовольствие, просматривая результаты эксперимента. Это уже было что-то. Если так пойдет... Тише едешь — дальше будешь. И тому подобное — как там еще говорится? Народная мудрость. До нее надо дорасти. Так-то вот. К кому относилось это «так-то вот»? Уж не к нему ли самому — точнее, к тому другому Павлу, с которым он, заведующий лабораторией, доктор наук Павел Сергеевич Скачков, вел многолетний нескончаемый спор. И в конце концов, тридцать пять не так много, продолжал размышлять Павел. Совсем не много. Хватит торопиться.

За дверью послышались тяжелые шаги. Вошел Иван Варфоломеевич, и Павел поспешно поднялся ему навстречу.

— Помешал небось? Как говорится, тысячу извинений. Был у Алексея Алексеевича и решил заглянуть. Не пугайтесь, коллега: всего и делов-то на несколько минут.

Старик грузно опустился на стул и стал расстегивать добротный, из настоящей кожи, массивный портфель.

«Коллега» в устах почтенного академика Воздвиженского, Варфоломеича, как его называли за глаза, звучало диковато, хотя пора бы привыкнуть — Павел недавно стал членом редколлегии ученого-преученого журнала, который, в числе прочих своих бесчисленных обязанностей, редактировал Иван Варфоломеевич.

— Вот,— он протянул небольшую рукопись,— прошу ознакомиться и дать письменный отзыв. Желательно — развернутый. Любопытная штукенция. Да не знаем, сирые (старик любил прикинуться), как поступить: печатать или нет. А вдруг — ерунда? Сраму не оберешься. Двое в коллегии «за», двое «против». Ваш голос, как говорится, решающий. Специфическая область. Больше и посылать некому.

— В таких случаях лучше печатать, Иван Варфоломеевич,— сказал Павел.— Авось и польза будет.

— Разумеется, разумеется.

— Вот и печатайте.

— Напишите отзыв — и напечатаем.

Старик явно что-то недоговаривал. Не пришел же он сюда, чтобы передать эту папку. И Павел, небрежно бросив ее в стол, беспечно заметил:

— О'кэй. В понедельник пришлю.— Он ждал, что будет дальше.

Варфоломеич поднялся:

— Спасибо, коллега, выручили. Алексея Алексеевича по дружбе просил — отказался. Прочитал — и отказался. Хочет подумать. Как-нибудь на досуге... А мне, грешному, сдается — здесь другое. Видите ли, коллега, как бы это сказать... Ваш шеф щепетилен в вопросах этики.

— Этики?

— Вот именно. Работа в некотором смысле... вступает в противоречие с теорией Алексея Алексеевича. А последняя во все учебники вошла. Девять изданий выдержала.

— Ну и что же?— спросил Павел.

— А сие сочинение довольно убедительно написано,— словно не замечая вопроса, продолжал Иван Варфоломеевич.— Весьма и весьма. Даже, знаете, производит впечатление.

Вот оно что. Неизвестный автор осмелился опровергать известного ученого. С точки зрения Варфоломеича, непорядок. Следовательно, надо поставить на место этого не в меру ретивого автора. Самому Алексею Алексеевичу, как полагает Воздвиженский, сделать это не совсем удобно — могут подумать, что сюда примешивается, так сказать, личный элемент (вероятно, так он и понял отказ Алексея Алексеевича написать отзыв), а другим, например Павлу, вполне удобно. Очень даже хорошо. Нехитрая механика. Теперь оставалось промолчать или поблагодарить за ценную информацию, но Павел спросил:

— Кто же сей храбрец?

— Лицо малоизвестное. Или совсем неизвестное. Провинциальный гений. Из Новосибирска, кажется... Фамилия — Коренев или Корнеев... Да там написано.— Варфоломеич добродушно улыбался.— Часом, не доводилось встречать?

Корнеев, Коренев из Новосибирска... Не доводилось ли встречать? Доводилось. Доводилось. Павел не сомневался уже, что это — Женька Корнеев и что это — та самая работа. Та самая...

Воздвиженский давно ушел, а Павел все сидел и смотрел в окно. Дождь шел и шел — густой, плотный, и ничего не было видно, кроме расплывающихся струек на стекле. Лучше всего сидеть так и слушать, как шумит, как ровно и беспрерывно бьет по листве дождь. Сидеть и не двигаться. И ни о чем не думать. Пока не раскрыта первая страница рукописи. И пока вся она не будет прочитана — от начала до конца.

* * *

Они мчались к Алексею Алексеевичу, хотя было поздно. Женька сидел рядом с шофером такси и все торопил его. Шофер, пожилой толстяк, посмеивался: вам на свиданку, а мне — отвечай!

Это было просто удивительно, как все сошлось. Сошлось — как только Женьке пришло в голову ввести непостоянную. Уравнение написалось само. Оно выгля-

дело очень красиво — простое, ясное. Как у классиков. И все так логично, легко связывалось!

— Шеф, пожалуй, не подкопается,— сказал Женька, когда они поднимались в лифте.

В первый раз он назвал Алексея Алексеевича шефом, да еще так небрежно, и Павел усмехнулся. Какой он им шеф — всего-то и виделись раз в год по красным дням. И то сказать, академик, директор института, глава целой школы в физической химии, и они — мальчишки, без году неделя кандидаты наук. Но когда Женьку заносило, такие мелочи не брались в расчет.

Он все торопился, как будто что-то зависело от того, когда они придут. Перед дверью он вдруг сник:

— Может, проверим еще раз?

— Жалкий трус!— бросил Павел.— История не прощает малодушных!

Он-то знал: если Женька заупрямится — дело плохо. Второй раз сюда его и на канате не затащишь, начнет проверять все сначала. Но Женька стоял как вкопанный. Ему было наплевать на историю. Тут они услышали стук каблучков и подняли головы. По лестнице спускалась девушка. Они даже не разглядели ее хорошенько — смотрели против света. Но в ту же минуту Женька нажал кнопку звонка и принял равнодушно-независимый вид. Как будто визит к академику для него пустяк. Как будто он запросто ходит к нему чаи распивать.

Девушка прошла мимо, даже не взглянув на двух молодых людей. Она, разумеется, и не подозревала, какую роль сыграла в науке. Кто знает, если бы не эта девушка, осмелился бы Женька нажать кнопку звонка? И они тоже не запомнили ее, потому что прислушивались к шагам, приближающимся с той стороны. Неторопливым, еле слышным, ровным шагам — будто человек шел издалека.

Алексей Алексеевич сам открыл дверь. Он стоял на пороге в домашней мохнатой куртке и в стареньких войлочных туфлях, и даже выражение лица у него было совсем не такое, как в институте. Какое-то время, показавшееся им очень долгим, Алексей Алексеевич с любопытством рассматривал их и вдруг запросто, совсем по-домашнему, сказал:

— Заходите. Прошу, прошу...

Они молча, как лунатики, пошли за ним.

— Да вы разденьтесь,— любезно предложил Алексей Алексеевич.— Чайку попьем.

— Чайку так чайку,— довольно небрежно буркнул Женька, будто они и в самом деле шли мимо да заглянули «на огонек».

Алексей Алексеевич провел их в кабинет, усадил в кресла, извинился, что на минуту оставляет их, и вышел распорядиться.

Он жил один в огромной квартире, заставленной старинной мебелью и книжными шкафами. Хозяйство вела какая-то очень древняя старуха, которую в институте называли «Пиковой дамой». Только теперь, оставшись одни, они поняли, что натворили, ввалившись в дом без разрешения. Но отступать было поздно.

— Итак, молодые люди, вы совершили открытие,— сказал Алексей Алексеевич, садясь против них. Он сказал это совершенно серьезно, поудобнее устраиваясь в кресле и приготовившись слушать.

Женька молча протянул ему тетрадь, и Павел поспешил добавить:

— Исследование эффекта К. Внеплановая работа.

Почему он сказал, что внеплановая (хотя так и было) — ведь это уже не имело значения. От страха? Неуверенности?

Алексей Алексеевич, ни слова ни говоря, уткнулся в тетрадь. Равнодушно и мерно, будто ничего не происходило, качался маятник больших стенных часов. Вправо-влево. Слабо пахло необыкновенным трубочным табаком.

Женька с независимым видом рассматривал гравюры на стенах.

Потом его взгляд скользнул по письменному столу, остановился на фигурке маленького бронзового человечка. Не хватало, чтобы он сейчас взял его в руки и начал рассматривать. С него станется.

Алексей Алексеевич (как он только ухитрился углядеть за Женькиным взглядом?) поднял голову.

— Интересуетесь? Что ж, Жак стоит того,— и снова впился в тетрадку.

Фигурка из старой, потемневшей бронзы резко выделялась на огромном пустом столе. Жак стоял с поднятой палкой, чуть наклонившись вперед, готовый к нападению и защите. Гордый и непримиримый. Видно, он очень понравился Женьке, этот человек, а может,

просто помогал сохранять выдержку. Женька не мог глаз от него отвести.

А старик все читал, неторопливо перелистывая страницы.

Вправо-влево. Вправо-влево — отсчитывал секунды маятник. По одной капле. Интересно, за сколько времени можно набрать стакан воды, наполняя его по одной капле в секунду? И какого порядка будет число, определяющее количество капель в стакане?

И вдруг Алексей Алексеевич швырнул тетрадь.

— Каковы, а?— вскричал он.

Они ждали чего угодно, только не этого. Взял да и швырнул!

— Вечерние забавы приготовишек,— выдавил из себя Павел.

— К тому же бездарных,— поддержал Женька.

— Обыкновенные троглодиты,— продолжал Павел.

— Только и всего,— завершил Женька.

— Неплохой дуэт,— сказал Алексей Алексеевич и нагнулся за тетрадью. Он с трудом дотянулся до нее, но ни Павел, ни Женька даже не пошевелились, чтобы помочь ему. Им не хотелось даже притрагиваться к ней, к этой жалкой ученической тетрадке, опозорившей их.

— Неплохой дуэт,— повторил он, доставая тетрадь.

— Мы и то...— тут же откликнулся Павел.— Не податься ли нам на эстраду, а? Как ты, Эжен,— не против?

— Я всегда пожалуйста,— ответил Женька.— Могу фокусы показывать. Могу и так...

— Фокусы, фокусы,— пробурчал Алексей Алексеевич, перелистывая тетрадь.— Это похоже на открытие — вот что! Если только верны исходные данные. Впрочем, данных у вас маловато, и выводы носят частный характер. Но все равно — логика, построение... Кто знает, может быть, это лучшее, что вы сделаете в своей жизни...

Он сказал это тихо, словно самому себе, а когда поднял глаза на Павла и Женьку, неожиданно громко скомандовал:

— Одевайтесь! Живо!

— В милицию поведете?— спросил Павел.

— В Пампасы! На абордаж! В ресторан!

— А Марина?— сказал обнаглевший Павел.

— Какая Марина?

— Вечно женственное начало.

— Пусть будет так,— милостиво согласился Алексей Алексеевич.

— Мы заедем за ней. Нам по дороге,— сказал Женька.

Почему Павел вспомнил о Марине? Хотел, чтобы она была свидетельницей их торжества, его торжества? Или он это сделал для Женьки, потому что Женька никогда бы не решился предложить это сам?

Может, с того вечера все и началось?

* * *

Дождь не переставал. Заметно потемнело, хотя до вечера было далеко. Павел встал, открыл окно. Вместе с шумом дождя и влажным воздухом в комнату ворвался острый, терпкий запах отцветающих лип. Надо было открыть окно раньше — все равно вода не попадала на письменный стол.

Дождь был прямым, без ветра, и вода со звоном, сильной, ровной струей стекала из желобов на асфальт. По двору, накрывшись одним плащом, пробежали две лаборантки. В углу, у противоположной стены, запенился ручей. Там, наверно, лежал камень.

Павлу захотелось вдруг, как в детстве, в одних трусиках поплясать под дождем. Плясать и кричать от восторга. Он протянул руку в окно — дождь был теплый.

Может, и правда с того вечера все началось? Они долго не могли никуда попасть — не было свободных мест. Шеф вел себя, как мальчишка, вызывал метрдотелей, демонстрировал свое могущество.

Павел острил, и Марина смеялась. Он был в ударе — у него здорово получалось. Марина смеялась, а Женька мрачнел.

* * *

Войдя в зал, уставленный столиками, за которыми сидели, шумно разговаривали, чокались, смеялись разгоряченные от духоты, еды и пития люди, Алексей Алексеевич усмехнулся:

— То, что нам нужно. Антиакадемическая атмосфера.

Кивком головы он подозвал метрдотеля:

— Пожалуйста, усадите нас.

— Свободных мест нет,— сухо сказал метрдотель.— Много гостей. Суббота.

Метр был очень важный, в безукоризненно белой манишке, с седеющей головой, с тщательно выбритым лицом, на котором застыло несколько загадочное выражение.

— Объективная закономерность,— заметил Павел.— Суббота. Закон Гей-Люссака.

— Что вы сказали?— повернулся к нему метрдотель, слегка подняв брови.

— Объективная закономерность, говорю. Закон Гей-Люссака.

— Понятно,— кивнул метр, все же не решаясь отойти.

— Итак, нас четверо,— мягко повторил Алексей Алексеевич.— И, как видите, с нами дама.

— Понятно,— неопределенно сказал метр.— Понятно...— повторил он после некоторого раздумья.

И вдруг любезная улыбка мгновенно преобразила его лицо. Оно стало доброжелательным и заинтересованным. Само внимание.

— Сделаем. Для таких гостей все сделаем!

Свободный столик нашелся сразу, и, когда все уселись, Алексей Алексеевич торжествующе проговорил:

— Видели? А вы — объективная закономерность. Закон Гей-Люссака. Нет, друзья, без волюнтаризма не проживешь!— Помолчав, он добавил:— Науку я исключаю. Как, впрочем, и еще кое-что...

По традиции Алексей Алексеевич заказал шампанское и легкий ужин. Старик был очень привлекателен со своей старомодной учтивостью. А когда разговор зашел об искусстве, Павлу и Женьке пришлось помалкивать. Впрочем, Женька набрался храбрости и спросил про бронзового человечка.

— Запал в душу мой человечек?— улыбнулся Алексей Алексеевич.— Почувствовали, какой он гордый и смелый. Он не сдастся, не отступится от себя. Это крестьянин времен Жакерши. Борьба и свобода! Вещь действительно старинная и уникальная, работы неизвестного мастера семнадцатого века. В своем роде семейная реликвия. Мой отец, старый большевик-подпольщик, привез ее из эмиграции. Жак был его другом, потом — моим, потом — моего сына...

Он замолчал, прикрыв глаза рукой. Чуткая Марина первая поняла и остановила взглядом Павла, хотевше-

го что-то сказать. Но Алексей Алексеевич уже справился с собой.

— За музы!— поднял он бокал, обратившись к Марине.— Музы и разум!

— Муза. Одна на двоих,— поправил Павел.

— О, разумеется! Коллективный разум и единственная муза.— Алексей Алексеевич чуть поклонился Марине.— Такой музе позавидовал бы сам Эйнштейн!

— Благодарю вас,— сказала Марина.— Но я всего лишь микробиолог. Сотрудник эпидемстанции. Не более того.

— Ты слишком хороша, чтобы быть хорошим эпидемиологом,— заметил Павел.— Это нарушило бы общую гармонию, то бишь справедливость, по терминологии моего друга и соратника Евгения Корнеева.

— За соратника — спасибо. Счастлив быть твоим современником!— немедля откликнулся Женька.

— Не стоит благодарности. Ты заслужил.— Павел разошелся.— Так вот, во имя справедливости давай так,— обратился он к Марине,— я — прекрасный ученый, а ты — прекрасная женщина. Пойдет?

Дальше уже поехало, понеслось в стремительном темпе, все убыстряясь, как это бывает, когда летишь на санках с крутой горки. Стоит только решиться. Решиться — и оттолкнуться.

— Понимать как предложение руки и... что там у тебя вместо сердца?— спросила Марина.

— Обыкновенный двигатель. Так как же — формула принимается?

— Я буду тебя любить, а ты за меня думать, так?— допытывалась Марина.

— Такое понимание семейных отношений меня вполне устраивает.

— Ого, семейных,— выдавил из себя заметно помрачневший Женька.

— Что ж, все мы, и биологи и балерины, только об этом и мечтаем.— Марина усмехнулась.— Ты неотразим. Устоять невозможно.

— И луна еще не взошла,— сказал Женька.

— Еще нет. А что ты об этом думаешь, Евгений Корнеев?— чуть дрогнувшим голосом спросила Марина.

— Ничего. Ровным счетом ничего.— Женька злился все больше и больше.

— Хорошо,— сказала Марина, повернувшись к Павлу.— Обещаю подумать. В свободное от работы время.

— А вот этого вам как раз и не полагается!— усмехнулся Алексей Алексеевич.

Улыбаясь, он слушал этот разговор и сразу понял — это давнишняя история. Старая, но вечно новая, как сказал поэт.

Но дело зашло, кажется, слишком далеко, если судить по лицу Евгения Корнеева, и Алексей Алексеевич поспешил добавить:

— Что же касается прекрасных ученых (разумеется, в равной мере это относится к вам обоим), то у меня предложение...

Павел слегка подался вперед, но Корнееву, видно, трудно было сразу переключиться. Он по-прежнему изо всех сил старался сохранить невозмутимый вид...

— Предложение...— снова повторил Алексей Алексеевич, смотря на Корнеева. Ему все больше начинал нравиться этот несколько бесшабашный и неожиданный молодой человек. Интересно, кто из них играл первую скрипку?— Во-первых, не заниматься внеплановыми работами — у нашего института достаточно напряженная программа. А во-вторых... Видите ли, ваше исследование интересно, спору нет, но я далеко не уверен в исходных данных. У меня были другие данные, да и фронт явлений значительно шире, и я пришел, как вы знаете, к другим результатам. А это, как известно, существенно для теории в целом. Увы, факты пока на стороне принятой теории.

— Наша работа может быть существенна для теории в целом?— спросил Женька.

Вот когда он справился с собой. Скорее всего, он и играл первую скрипку. Да, пожалуй, так.

— Не исключено, что для теории в целом,— ответил Алексей Алексеевич.— Хотя вас заинтересовал частный случай. Словом, надо еще потрудиться. Переплыть океан. Всего лишь...

— Я так и полагал,— задумчиво произнес Женька.— Вернее, однажды мне это пришло в голову...

Марина не слушала. Она ничего не понимала в этом. Она смотрела на танцующих и, наверно, не видела их — думала о своем. У нее всегда была эта особенность — вдруг уходить в себя. Отдаляться. В такие минуты она даже не понимала, что ей говорили.

— Согласитесь, друзья мои, что пока нет оснований пересматривать теорию,— продолжал Алексей Алексеевич.

— Пока нет,— сказал Женька.

— Благодарю вас.— Алексей Алексеевич снова наполнил бокалы.— Но в вашей работе тем не менее есть все, что нужно для серьезного исследования. Вот за это и выпьем. За диплом исследователя. Могу прибавить — с отличием!

— Выходит, наша тетрадочка — экзерсис для первых учеников? Упражнение в четыре руки?— осведомился Павел.

— В известном смысле... Я предлагаю вам другую тему. Плановую. Крайне важную. Возьмитесь — и притом совершенно самостоятельно.— Алексей Алексеевич помедлил.— Со временем этой темой будет заниматься целая лаборатория. А вы начнете. На первых порах подберите двух-трех сотрудников...

Он сказал это обычным тоном, как о пустяке, но предложение было ошеломляющим. Минуя годы черновой работы для других — самостоятельная тема! Крайне важная. Рывок в будущее. И в перспективе — лаборатория!

И у Павла, и у Женьки был, вероятно, забавный вид, потому что Марина, неожиданно повернувшись к ним, рассмеялась:

— Что вы такое сказали, Алексей Алексеевич?

Только сейчас она обратила внимание на Павла и Женьку — вернулась оттуда.

— Мы подумаем,— произнес Павел, одним духом осушив свой бокал.— Подумаем.

Заиграл джаз, и к Марине подошел парень в красном свитере.

— Разрешите?— обратился он к Павлу.

— Разрешаю,— сказал Павел.— Разрешаю, черт побери!

— Пошли,— лаконично бросил парень Марине.

— Я не разрешаю,— медленно и внятно проговорил Женька,— я ангажировал мадемуазель на мазурку.

— Ого!— вырвалось у Марины.

— Идите, молодой человек, погуляйте,— ласково предложил Алексей Алексеевич.— У нашей дамы болит голова.

— Женька, милый, пойми. Я самая обыкновенная. Обыкновенней некуда,— вдруг сказала Марина.

Так вот она о чем думала, когда смотрела на танцующих. Лицо ее было бледным, и глаза, сейчас серовато-зеленые, казались очень усталыми. Большие несчастные глаза на бледном лице.

— Лунатики,— пробормотал парень в красном свитере, отходя.— Чокнутые...

Возвращались они втроем. Алексей Алексеевич попрощался с ними, как только они вышли из ресторана. Они шли по ночным улицам, и Марина, как и раньше, держала Женьку и Павла под руки. Она всегда дурачилась и смеялась, когда они гуляли вместе. Им было легко: будто по молчаливому уговору, никто из них никогда не переступал черту. Эту черту.

Теперь все было разрушено. Словно порвались нити, которые связывали их. И каждый из них по-своему ощущал эту возникшую вдруг неустойчивость — она рождала смутную тревогу.

Они шли и молчали.

* * *

Он сказал — подумаем — и глотнул вина, потому что во рту стало сухо. Но вся штука в том, что тогда уже он все решил. Сразу — как только шеф высказал свое предложение. Он боялся одного — как бы Алексей Алексеевич не передумал. Все это было так неожиданно. Невероятно. Мелькнула ли у него мысль о Женьке? Тогда — нет. А потом он не сомневался, что Женька согласится. В конце концов, они могли вернуться к своей работе позже, когда все прояснится. Начать сначала они всегда бы успели. И вдруг Женька отказался — и так решительно, что уговаривать его было бесполезно. Что это было? Упрямство? Очередной «загиб»? Или что-то другое, что всегда он чувствовал в Женьке? Чувствовал — и не мог понять.

У Женьки не было никаких резонов. Он даже не пытался опровергать разумные доводы Павла. Он хотел одного — продолжать работу. Он был весь в ней. Он даже не мог себе представить, как можно было, хотя бы на время, бросить ее. Зачем? Во имя чего? Ведь он был уверен, что на верном пути.

Это была логика, силу которой хорошо знал Павел. Но это была другая, Женькина логика.

Потом Женька уехал — что ему оставалось? Самое удивительное, что шеф помог ему — Женьку взяли

в институт, где он мог продолжать свою работу. Общую их работу. А ему только этого и надо было...

Странно, что с утра молчал телефон и никто не заходил, кроме Варфоломеича. И еще дождь. Когда не хочется двигаться. И хорошо сидеть одному. И чувствовать, как из окна тянет свежим, холодноватым, влажным воздухом и пахнет липами и сырой землей.

Женька уехал, а он остался. И все произошло так, как говорил шеф. Он начал работать и получил лабораторию. У него здорово пошло. Потом защитил докторскую диссертацию. И стал членом некоего ученого совета. И членом редакционной коллегии академического журнала, ученого-преученого, единственного в этой области физической химии. Журнала, где должна быть опубликована работа Е. Корнеева, потому что больше печатать негде. А напечатать надо. Обязательно надо.

Павел читал, подолгу останавливаясь на каждой странице. Записывал возражения на обратной стороне папки и шел дальше. Красным карандашом, крест-накрест, он зачеркивал возражения, когда они отпадали. Он зачеркивал с удовольствием. Он радовался за Женьку, потому что, черт побери, это был Женька. Вероятно, Павел и не представлял свою жизнь без Женьки. Неважно, что его не было рядом, но где-то же он существовал, и был таким, как есть, и делал то, что ему полагалось, что, в сущности, полагалось делать всем.

Теперь-то Павел хорошо понимал, почему все они так переполошились и Варфоломеич явился к нему собственной персоной. Теория Алексея Алексеевича выдержала девять изданий во всех учебниках — выдержит ли она десятое, если будет опубликована работа Е. Корнеева?

Во всяком случае, серьезная дискуссия неизбежна, и шефу пришлось бы нелегко. Ему пришлось бы защищать свой фундаментальный труд, который был делом всей его жизни. И против кого — неизвестного провинциала!

Шеф, скорее всего, убежден в непогрешимости своей теории. Если было бы не так — старик нашел бы в себе мужество отказаться от нее. Он сам первый предложил бы опубликовать работу Е. Корнеева. А теперь, считая себя правым, шеф не хочет играть роль черта в известном споре с младенцем. И волею судеб эта роль предназначалась ему, Павлу. Но вся штука в том, что в све-

те работы Е. Корнеева непогрешимая теория шефа перестает быть непогрешимой. Удивительно, что старик этого не видит. А он, Павел, видит — с выводами Женьки трудно не согласиться. Кстати, так надо и начать — с выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Начать с самого главного. Взять быка за рога. Чтобы никаких неясностей и недомолвок.

Вы, уважаемый Иван Варфоломеевич, принесли работу Е. Корнеева лично, дабы сообщить при этом ценную информацию,— спасибо. Работа произвела на вас впечатление, но вы не хотите вступать в спор с Алексеем Алексеевичем — это неприятно, трудно, возможно, и опасно. Тем не менее вы хотите быть объективным, как и подобает истинному ученому, и поступите так, как решат специалисты. А один из них, между прочим,— ученик и сподвижник Алексея Алексеевича. Уж если он «за», значит, деваться некуда: надо печатать. В любом случае вы будете правы. Все же проистекающие последствия этого шага для вышеуказанного ученика и сподвижника Алексея Алексеевича, естественно, уже никого не интересуют. Это — личное дело ученика и сподвижника. Шеф сочтет его элементарным предателем — и будет прав: ведь Павел числится убежденным сторонником принятой теории. Естественно, что шеф сделает соответствующие выводы. И его бывший ученик окажется у разбитого корыта. Неплохо вы разочли, Иван Варфоломеевич. Все правильно. Все так и есть.

«С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться...» Но дальше не писалось, и Павел положил ручку. Только теперь он заметил, что в комнате темно. Ого, дело идет к вечеру. И дождь как будто перестал. Он встал, включил свет. Кабинет, который ему так нравился, теперь показался неприятным. Диван, два низеньких кресла возле треугольного полированного столика на тоненьких ножках, книжный шкаф, сейф. Зеленая лампа на письменном столе, телефон. Стандарт докторов наук. А есть еще стандарт член-корров. И стандарт академиков. А Женька обходится без стандартов — любопытно, во что превратился бы этот кабинет, если бы он сидел здесь? На полированном столике, за которым Павел угощает кофе именитых гостей, лежали бы журналы, книжки с закладками, какая-нибудь лоханка, полная окурков; стол бы был завален бумагами, и уж

наверно кто-нибудь из сотрудников торчал бы в кабинете, с жаром излагая свои завиральные идеи...

После дождя запах лип стал еще острее — казалось, он наполнил всю комнату, но был словно чужим здесь. Столик, два кресла, диван — все на своих местах. Остальное не имеет к этому отношения. А может, так неприятно при электрическом свете? Павлу захотелось снова остаться в темноте — он потянулся было к выключателю, но раздумал. Странно он ведет себя. Более чем странно.

Шеф, конечно, будет абсолютно прав, когда отстранит его от заведования лабораторией. Лаборатория выполняет важную часть программы института — как раз ту самую, которая основывается на этой теории. А он выступит ее противником. Естественно, ему придется уйти. Что же касается репутации, то об этом позаботится Варфоломеич. Разъяснит кому надо ситуацию. Скажет все полагающиеся слова. По поводу некоей змеи, которую согрел на своей груди Алексей Алексеевич. Тогда и появится разбитое корыто. Павел даже ясно представил его: неглубокое, деревянное, с выщербленными краями, треснувшее наискосок по дну — то самое, из сказочки.

Правда, не исключено, найдутся и такие, которые поймут Павла — человек заблуждался, а теперь узрел истину. Вот и все. Как там, у Пушкина,— пошел за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную... Что-то вроде этого.

Конечно, многие так и подумают. И все-таки после разговоров Варфоломеича что-то останется. Легкий осадок. Кисловатый на вкус. С запахом серы — производство нечистой силы. Ах, это непостижимое, мистическое «что-то»!

Ну, а как оно действует, известно: Павел Скачков? Разумеется, ничего плохого за ним нет. Способный ученый. Перспективный. Да и история сама по себе обычная — научный спор, пересмотр позиции... Но, знаете, говорят, что-то там было такое, не очень... Так что лучше уже — воздержимся. На всякий случай.

...С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Действительно, трудно. Но не так-то легко и согласиться. И отказаться от отзыва невозможно.

Павел подошел к окну. Сгущались сумерки. У главного входа института зажегся фонарь. Полосы света прорезали влажный, белесый туман, и над самым подъ-

ездом возник ровный, колеблющийся прямоугольный козырек из света и воздуха. Поднялся ветер. Фонарь слегка покачивало, и козырек то приподнимался, то опускался.

В окнах напротив, через двор, света не было — сотрудники уже разошлись. Опечатаны лаборатории и кабинеты. Павла не беспокоили: знали, он частенько засиживался допоздна.

Пустынный двор. Фонарь. Дрожащие полосы холодного, матового света. Угрюмое здание с темными окнами.

Павлу стало тоскливо. Он зажег настольную лампу, сел за стол. С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Трудно не согласиться... Нет. Завтра. Сейчас все равно ничего не выйдет. Утро вечера мудренее.

Павел обрадовался, когда зазвонил телефон. Чуть слышный дребезжащий звук показался странным в этой тишине, и Павел не спешил брать трубку: не показалось ли? Но звонок повторился — настойчивый, долгий. Павел ответил. Он услышал голос Марины (вот уж не предполагал), и что-то дрогнуло в нем.

— Что-нибудь случилось?— спросил Павел.

— Нет, ничего. Когда придешь?

— Тебя это интересует?

— Интересует.— Голос слышался близко, как будто Марина была рядом. Павлу даже показалось, что он почувствовал ее дыхание.

Он ясно представил себе: сейчас Марина достала сигарету, щелкнула зажигалкой. Откинулась в кресле.

— Интересует,— помедлив, повторила Марина.

— Прямо сейчас выхожу. Хватаю такси и через десять минут — у твоих ног.

— Приходи.

— Дождь?— спросил Павел.

— Приходи.— И Павел услышал частые гудки.

Странная у них была жизнь с Мариной. С тех пор как Павел переступил ту черту — они испытывали удивительное ощущение, будто катятся вниз, все быстрее, так что дух захватывает, и нет сил остановиться. И лишь когда Женька уехал и они поженились — Марина начала приходить в себя и старалась понять, объяснить, что же произошло. Так же как и Павел, с беспощадной ясностью она почувствовала: то, что должно было объединять их, все прошлое (хорошее было время, чистое, ясное) — отталкивало, отдаляло. Они стара-

лись не вспоминать, чтобы не заговорить о Женьке. Как в доме повешенного не говорят о веревке. Они словно договорились вычеркнуть из жизни целые годы. Самые лучшие. Забыть — чтобы не носить в себе постоянное, не проходящее со временем чувство вины.

Но человеку не дано забывать, потому что прошлое неотделимо от него, от его жизни. И чем больше, чем мучительнее желание забыть, тем яснее и живее память, которая всегда настороже, готовая каждую минуту с новыми подробностями восстановить прерванную цепь, и тот день, и тот час.

Марина изо всех сил старалась преодолеть то, что стояло между ними. Но чем больше она прилагала сил, тем меньше у нее получалось.

Иногда месяцами все шло хорошо, и Павел снова начинал верить, что они очень нужны друг другу. И вдруг какой-нибудь пустяк — и все летело ко всем чертям. Марина становилась раздражительной, замкнутой, уходила в себя. В таких случаях лучше ее было оставлять одну, пока она сама не возвращалась оттуда. Павел понимал: постоянно, то усиливаясь, то ослабевая, в ней шла та внутренняя работа, помешать которой он был не в силах. К чему она приведет? Павел старался не думать об этом...

Но струна все натягивалась.

* * *

Море казалось далеким.

Это ощущение возникало, если не смотреть вниз и не слушать голоса и смех людей, которые плескались у берега. Ровная бесконечная голубизна с зеленоватыми бликами, светлея, уходила все дальше и еще дальше, приближаясь к небу и принимая его окраску. Там, где она сливалась с небом, в сиянии воздуха еще различимо белела тонкая полоска. Если долго смотреть так, то начинает казаться, что и тебя самого куда-то несет — мягко, плавно; голова слегка кружится, в ушах возникает далекий, ровный звон...

А вблизи море отливает то синим, то зеленым. И волна шуршит по гальке. И не очень жарко, и ласково светит солнце. И громоздятся друг на друга теплые камни причудливой формы. Один похож на диковинную птицу с поломанным крылом, но стоит чуть повернуть голову — и птица становится сфинксом. Не потому ли

возникли в древности сфинксы, что они близки к естественным очертаниям огромных камней?

Павел и Женька в плавках лежат на теплой, шершавой поверхности нависшей над берегом скалы. Оба они смотрят, как Марина, легко перепрыгивая с камня на камень, спускается вниз. Еще один сильный толчок — и ее ноги касаются песка. Марине не удается удержать равновесие — она падает на руки, с размаху переворачивается через голову и оказывается на ногах, как будто что-то подбрасывает ее вверх.

— Циркачка...— бормочет Женька.

— А он циркачку полюбил...— Павел надевает темные очки, и сразу все окрашивается в мягкие темно-зеленые тона, словно на всю землю кто-то надел гигантский колпак. Пока он осваивался под колпаком, Марина оказалась у самой воды. Он так и не увидел, как она шла к воде.

«Попробуй уследи за ней»,— подумал Павел, хотя сам затеял возню с очками. Он так подумал, потому что никогда не мог угадать, что она скажет или сделает в следующую минуту.

Марина всегда была настоящим товарищем, своим «парнем». И ни к чему было ей все эти дни так упрямо подчеркивать это. Но стоило ей почувствовать в его словах что-то другое, непривычное, как он встречал ее вопросительный и, как ему казалось, насмешливый взгляд. А Павлу хотелось увидеть в ее глазах беспомощность. Чтобы она была такой, какая есть, когда оставалась одна, чтобы она уже никуда не смогла уйти, отдалиться. У Павла захватывало дыхание, когда он думал о том, что Марина положит ему руку на плечо не так, как обычно, а по-другому — беззащитно, нежно.

Марина стояла по щиколотку в воде, чуть откинув назад голову в красной шапочке, и ждала, чтобы откатилась волна, но все пропускала этот момент, и ее легкая, тонкая, загорелая фигура то совсем исчезала в брызгах, то снова появлялась, когда волна уходила. А может, ей нравилось стоять так и ждать, когда у ног с шумом разобьется, разлетится волна и тебя обдаст взвивающимся облаком брызг.

— Девушка и море,— сказал Женька.

Марина почувствовала, что на нее смотрят. Оглянулась, помахала рукой и бросилась вслед за волной.

— Представление окончено,— произнес Павел. Он снял очки и уткнулся носом в камень. Ни он, ни Марина

не забыли того разговора в ресторане, но теперь, когда Женька должен был уехать, все еще больше запуталось. Женька должен был уехать в Новосибирск — Алексей Алексеевич помог ему, а Павел оставался. Все трое чувствовали — начиналась какая-то новая полоса в их жизни. Женька уезжал, и, вероятно, надолго, и Марина предложила втроем недели на две съездить к морю. Напоследок. На прощанье.

— Чтобы было что вспомнить,— невесело пошутил Женька, когда Марина сказала: а что, мальчики, если нам прокатиться к синему-синему морю...

Эти две недели уже истекали, и Павел начинал заметно нервничать. Он затевал бесконечные философские споры с Женькой, к которым молча прислушивалась Марина.

Павел всегда философствовал, когда терял равновесие.

— Водичка да красное солнышко расслабляют волю,— пробормотал Павел, не поднимая головы,— лежишь себе — и ничего не надо...

— Кроме обыкновенного чуда,— усмехнулся Женька. Он напряженно следил за красной шапочкой, мелькавшей в волнах далеко от берега: что она там, с дельфином познакомилась, что ли?

— А человек должен быть свободен,— упрямо продолжал Павел.— Человеку нужна внутренняя свобода, чтобы следовать целесообразности. Только целесообразности. В истории цивилизации слишком много намешано.— Павла понесло.— И мы слишком робко расстаемся со старым, давно отжившим. В науке — с устаревшими представлениями, в жизни — с допотопной моралью.

— С этим, товарищи, пора кончать. Раз и навсегда,— устало сказал Женька.

— Вот именно.— Павел даже не обратил внимания на Женькин ехидный тон.— Нож хирурга добрее пилюль, от которых ничего не меняется. Двадцатый век подводит жесткую черту — ясную и определенную. Это — век итогов. Чтобы овладеть силами, которые мы вызвали к жизни, нужна внутренняя свобода. Ясность и определенность цели. Только целесообразность определяет этику. И поведение человека. И его жизнь. И его право. И мораль.

— Лихо!— сказал Женька.— Внутренняя свобода как свобода от обязательств. Кажется, так и говорил

Заратустра. И насчет целесообразности и рационализма, они же и критерии.

— Я говорю о двадцатом столетии. Не строй из себя круглого идиота.

— Ну да — о столетии и человечестве. А ты не путаешь человечество с собственной персоной?

Женька посмеивался. Он никогда не принимал всерьез философские пассажи Павла.

— А хотя бы и путаю,— вскинулся Павел.— В известном смысле можно сказать: человечество — это мы.

— Мы — или Я?

— Несущественно.

— Как сказать... Если мы, то без обязательств не обойдешься. Но как же тогда насчет внутренней свободы? Если Я — тогда другое дело. Но человечество тут ни при чем.

— Схоласт. Формалист. Метафизик,— разозлился Павел.— Обыватель. Исконный-посконный.

— Каков запас эпитетов! Какая фантазия!— восхитился Женька.

Он долго молчал и вдруг спросил:

— Неужели на все случаи жизни нужны теоретические обоснования?

— Ты о чем?

Женька не ответил, и Павел не стал переспрашивать. Он и сам не знал, для чего затеял этот спор,— что-то его мучило, что-то хотелось уяснить. А тут этот вопрос насчет теоретических обоснований. Неужели Женька все понял раньше его и сам ему все объяснил?

Павлу пришло в голову, что они играют в старую детскую игру — да и нет не говори, черное-белое не называй... Вы поедете на бал или там на футбол? Поеду. Вы наденете рубашку? Надену. Какую? Красную, зеленую, синюю...

Женька лежал на спине, прикрыв глаза рукой. Он наслаждался солнцем, морем, бездельем и как будто ни о чем не хотел думать. Надоела ему эта игра, что ли? Поедете на хоккей? Да. Рубашку? Белую. И чего ты, Пашенька, мечешься? Не в нас с тобой дело. Разве она из тех, кто будет ждать, пока один из оленей прогонит другого?

Марина появилась неожиданно. Они оба прозевали ее. Марина молча села между ними, коснувшись Павла мокрым локтем. С нее капала вода, и то место на камне, где она села, потемнело.

— Как дельфины?— деловито спросил Женька.
— Лентяи,— сказала Марина, снимая шапочку.
— Дельфины?
— Не дельфины, а вы. Элементарные лентяи.
Сейчас, на солнце, глаза ее посветлели — стали серовато-синими, чуть темнее неба. Она запыхалась, пока взбиралась наверх, и Павел заметил, как у нее на шее, почти у самой ключицы, билась жилка. Повязав волосы косынкой, Марина вытянулась на спине — почти вся открытая взгляду, тонкая, загорелая, с длинными, сильными ногами гимнастки, и все равно недоступная, недостижимая.
«Какого черта она занимается микробиологией?— вдруг подумал Павел.— Романтика риска? Или назло себе — возня с этими болезнетворными вирусами не очень-то приятна. Воспитывает характер?»
Он подумал так, будто не знал Марину с первого курса университета. Почему-то раньше он не замечал, только сейчас ему пришло в голову, что Марина чем-то похожа на Женьку. С одного двора. Только что-то мешает ей стать такой, как Женька. А наверное, очень хочется. И не получается. А может, она его боится? Поэтому и боится, что не получается?
Внизу кто-то включил транзистор — теплый женский голос легко и мягко взлетел вверх; там, где-то высоко в облаках, описал плавный круг и спустился к земле. И тут же гобой в нижнем регистре неторопливо повторил эту мелодию — только она уже не была такой воздушной, крылатой. Гобой словно приблизил ее, а голос снова взлетел — еще легче, еще выше. И не удержать его, нет такой силы, все равно он полетит, свободный и легкий, вверх и еще вверх, пока сам не захочет вернуться...
Что-то очень знакомое было в этом голосе. Знакомое и неожиданное. Старинное и сегодняшнее. И лишь когда оборвался летящий голос и в свисте, толкотне, шуме эфира послышались торопливые такты джазовой песенки, Павел вспомнил, что это был Бах. Его мелодия. Павел любил его музыку — она вызывала ощущение беспредельности живого мира, перед которым все выглядело в своем подлинном свете. Суета была суетой. И ничем больше. Любовь — любовью. А наука — стремлением к истине. И ничем больше. Этот толстый человек в роскошном парике, и в нужде остававшийся свободным, любивший посидеть за бутылкой вина, че-

ловек, у которого было много детей, наверно, все знал и все понимал.

Слава богу, кто-то все же выключил транзистор, дурацкая песенка пропала, и опять возникли и шум волн, мерно разбивающихся о прибрежные камни, и смех, и говор, и вскрики. И будто не было летящего голоса. И земля осталась такой же, как была. Марина все так же лежала на спине, и Женька нежился на солнышке. Они молчали, и вдруг Марина поднялась:

— Мальчики, а не уехать ли мне домой, к маме? Вы оставайтесь, а я поеду. Прямо сегодня, а?

— Блажь,— сказал Женька.

— Не блажь. Мне надо. Очень надо.

— Блажь,— сказал Павел.

Марина накинула сарафан.

— Я пошла собираться, а вы еще побудьте.— Она взяла свою цветастую синтетическую сумку и зашагала, почти побежала вверх по тропинке.

Вот бы когда им поговорить, но играть в да и нет было бессмысленно, а выкладывать все начистоту не решился ни Павел, ни Женька. Они позагорали еще немного, поплавали, а потом вдруг почти одновременно заторопились домой.

...Комната Марины была открыта. Все аккуратно прибрано, лишь на столе, нарушая порядок, лежал чемодан.

— Едет все-таки. Соскучилась по своим бациллам,— пробормотал Павел.

Женька безмятежно курил. Послышался голос Марины. Она разговаривала с хозяйкой.

— Никак не могу. Так сложилось,— говорила Марина.— Такая уж я неприкаянная.

Неприкаянная. Это точно. Даже присочинить слегка — мол, срочно вызывают на работу — и то не хочет. Гордость и упрямство.

— Лечу завтра,— поспешно сказала Марина, с порога увидев Павла и Женьку.— Тут самолеты только утром.

— Прекрасно,— сказал Женька. Он продолжал безмятежно курить.— Махнем в таком случае куда-нибудь. Завьем?

— Махнем,— повторил Павел, не трогаясь с места.

— Ну что вы, мальчики,— жалобно сказала Марина.— Вам, дурачкам, предоставляется свобода, а вы скисли. Радоваться надо. Я бы на вашем месте...

— Мы и радуемся,— ответил Женька.

«Мы,— подумал Павел,— действительно, мы». На какое-то мгновенье он ощутил, что они с Женькой, как прежде,— одно, и ничто не стоит между ними, и не было того вечера в ресторане, и не нужно ни о чем думать. Он даже вздохнул с облегчением.

А если так и надо — уехать Марине? Если это урок?

— Я готова,— прервала молчание Марина.— Пошли. Завьем.

— Не вздумай реветь,— вдруг сказал Женька, смотря Марине прямо в глаза.— Я этого терпеть не могу. Не беспокойся: мы тут не растеряемся.

— С чего ты взял? — Голос у Марины дрогнул.— Пошли, пошли, а то раздумаю.

В тот вечер они гуляли по берегу, потом пили молодое, кисловатое вино на каменной террасе, нависшей над морем и, казалось, плывущей, как освещенный корабль, в темноте; сидели у домика на скамеечке под чинарой...

Марина была спокойной, чуточку грустной — куда девалась ее колкость! Она очень хотела, чтобы вечер прошел легко, как бывало когда-то.

Взошла луна и рассеяла плотную тьму. Марина поднялась:

— Не пора ли нам? Оставим луну до другого раза.

Павел и Женька промолчали, и Марина взмолилась:

— Ей-богу, очень хочется спать. И вставать рано.

Они проводили ее (домик, где жила Марина, был в двух шагах от них) и еще немного постояли у двери. Потом пошли к себе, молча легли, закурили. И, кажется, скоро уснули.

...Когда Павел проснулся, он увидел сидящую за столом Марину. Вероятно, он и проснулся оттого, что Марина сидела и смотрела на него. Предрассветный сумрак еще не рассеялся, и в неверном, зыбком, колеблющемся свете лицо Марины казалось бледно-синеватым, словно неживым.

Павел протер глаза. Марина сидела за столом и смотрела на него.

— Что случилось?— спросил Павел, садясь на кровати.

— Где Женька?

— Спит. Где же еще?

— Спит?

Женькина кровать была пуста. И аккуратно застелена.

— Развлекается?— пробормотал Павел, чтобы что-нибудь сказать. Он и в самом деле понятия не имел, где Женька.

Марина молчала. Павел потянулся за сигаретами и увидел в ее руках листок, вырванный из блокнота. Записка?

— Да, записка,— сказала Марина, угадав его мысль.— Прочти. Адресуется нам обоим.

«Мой срок истек. Призывают дела. Отдыхайте и не тужите. С приветом. Ваш Евгений».

— Болван!— выругался Павел.— И это все, на что он способен! Кретин.

— Не так уж это мало.— Марина зажгла сигарету, затянулась.— Значит, ты не знал, что он хотел уехать?

— Он и сам не знал. Ручаюсь, что ему это взбрендило в последнюю минуту.

— Утром два самолета. Один улетел. А мой через полтора часа.— Марина помолчала.— Но я не полечу.

Павел курил, и пепел сыпался прямо на одеяло.

— Я остаюсь,— сказала Марина с каменным лицом, прямо смотря на Павла.— Остаюсь с тобой.

* * *

Теперь ему ясно вспомнилось это каменное лицо. Не то, что было потом, не те короткие минуты на рассвете, когда он не спал, и Марина была рядом, и было прохладно, и белый, мглистый свет струился из щелей тростниковой шторы; и не те минуты, когда они молчали и, казалось, ощущали, как медленно плывет земля, и словно никого не было, кроме них, в целом свете,— ему вспомнилось не все это, а ее каменное лицо. Странно, что именно сейчас, когда Марина ждала его, и они никуда не уйдут, и будут вдвоем.

Около дома Павел зашел в кондитерскую и купил торт. Потом у самого подъезда вдруг повернул обратно, прошел полквартала, чтобы раздобыть бутылку вина. Вино он положил в портфель и ощутил там папку, в которой лежала Женькина работа. Она лежала там среди прочих бумаг — Павел не мог сказать каких. Безразлично — каких. Все они, даже самые важные, в соседстве с этой папкой потеряли свое значение. Все равно,

о чем бы он сейчас ни думал, все упиралось в эту папку. В эту работу Е. Корнеева из Новосибирска.

Павел остановился перед дверью своей квартиры и, немного помедлив, позвонил. У него мелькнула мысль, что все это — торт, бутылка вина в портфеле, волнение — выглядит довольно забавно. Все-таки не первое свидание, он идет к себе домой, к свое жене, с которой они живут под одной крышей пятый год. Ну да — пятый. Коварная штука — время. Можно с ним играть в прятки, стараться обогнать или задержать, а оно все равно тащит с собой, и ты просто как его тень. А захочет — само остановится. Или вернется назад. Как сейчас. Как будто и не было этих четырех лет.

— Как хорошо, что пришел,— сказала Марина, открыв дверь. Она стояла на пороге, зябко кутаясь в платок.

— Куда же я денусь?

Марина улыбнулась одними глазами. Павел, не раздеваясь, прошел на кухню, оставил там торт и вино. Вернулся в переднюю, снял плащ.

— Голодный?— спросила Марина.

— Холодный. Давай лучше выпьем.— Павел уселся в кресло и взял со столика одну из трубок.

Курить трубку научил его шеф, и теперь в квартире пахло тем же тонким, сложным запахом особого трубочного табака, что и в комнатах Алексея Алексеевича.

Синеватый дымок, медленно растекаясь, поплыл к потолку.

Точно такой же запах, как тогда в кабинете у шефа. Только в кресле сидел Алексей Алексеевич, а они с Женькой возле него, на стульях. Шеф швырнул тетрадь, потом нагнулся за ней, а они даже не пошевелились, чтобы помочь ему.

— За что будем пить?— Марина поставила бокалы на столик и уселась напротив Павла. Она была чем-то встревожена. Не такая, как всегда.

— А, пропади они все!— сказал Павел.— Напишу, и все. За это и выпьем.

— Пусть пропадают.— Марина помолчала.— А я скоро уеду. В командировку. Надолго.

— Куда? Если не секрет.

— В Среднюю Азию. На наши станции.

Павел знал, что Марина давно мечтала поработать на эпидемстанциях Средней Азии — там ее опыт был, как она говорила, нужнее, да и звали ее давно. А ведь

в своем деле она что-то значит, подумалось ему. Так. Выходит, прощальный вечер. Сейчас она скажет, что билет в кармане, а самолет улетает в ночь. В командировку. Надолго. А может, навсегда? У него словно что-то оторвалось внутри. Вот она и наступила, эта минута. Он всегда чувствовал, что она должна наступить. Как расплата. И рукопись Женьки — тоже. А собственно говоря, за что расплата? Что он такое сделал? Почему он должен чувствовать себя в чем-то виноватым?

Глухое, холодное раздражение закипало в нем.

— Письмо от Женьки,— вдруг сказала Марина.

— Вот что... Ну и — как он там?

— В порядке.

— Дай поглядеть на каракули.

— Возьми. Только письмо мне. А тебе приветы.

— Тебе письмо, а мне приветы,— повторил Павел.— О'кэй.— Он с трудом сдерживался. Он должен отказаться от всего, от дружбы с шефом, по существу самой возможности настоящей работы,— а ему приветы. Прекрасно. Очень хорошо. Он готов был все эти годы в институте бросить собаке под хвост, а ему приветы. Как говорится, не удостаивает взглядом. Ну что ж, прекрасно. Очень хорошо.

В эту минуту Павел не подумал о том, что сам он неделю тому назад получил письмо от Женьки — и там были приветы Марине. Так уж повелось: Женька писал им письма по отдельности. Он разделял их: Марина — это Марина, а Павел — это Павел. Очередное чудачество Евгения. Но сейчас Павел словно забыл об этом. Слишком уж натянуты были нервы.

Марина, вероятно, заметила, как изменилось его лицо. С удивлением смотрела она, как дрожащими руками Павел листает записную книжку, набирает номер телефона. Занято. Снова набирает. Она не могла понять, что вывело его так из себя. Обиделся на Женьку? Разозлил ее тон? Каким-то чутьем она угадала — сейчас свершится что-то, чего не должно совершиться, и что это связано с Женькой.

— Подожди,— попросила она.— Не звони. Остынь.

Павел не ответил. Как раз в этот момент ему удалось соединиться.

— Иван Варфоломеевич?— произнес Павел, хотя сразу узнал его.

— К вашим услугам,— ответили в трубке.— С кем имею честь?

Не узнает или прикидывается? И вдруг где-то в глубине мелькнула мысль: не сам ли он накрутил себя, чтобы отказаться. Как будто только и ждал, пока подвернется повод. Любой. Лишь бы повод.

Услышав этот густой, барственный бас, Павел ясно представил себе, что означал его отказ для Женьки. Уж Варфоломеич не остановится на полпути. Не из таких. Найдет другого, подходящего рецензента. В этом можно не сомневаться.

Павел назвал себя, и бас завибрировал мягкими модуляциями.

— Дорогой мой, рад, что не забыли старика. Очень рад! Чем обязан?

— Вынужден вас огорчить, Иван Варфоломеич,— сказал Павел,— к сожалению, не смогу написать отзыва. Совсем упустил из виду — у меня сверхсрочная работа...

Трубка молчала, и Павел продолжал говорить, объяснять. Он хотел, чтобы его отказ прозвучал коротко. Вежливо, но твердо. А получилось так, будто он в чем-то оправдывался. Когда наконец иссяк поток его объяснений, Варфоломеич, как показалось, чуть насмешливо произнес:

— Сочувствую, коллега, но теперь уже это невозможно. Как говорится, ни в какие ворота. Аз, грешный, полагаясь на ваше слово, сообщил о сем Алексею Алексеевичу. Работа-то в компетенции вашего института. Так что теперь вы уж с ним. Поручит другому — дело хозяйское. А меня, старика, увольте...

— Хорошо. Поговорю с Алексеем Алексеевичем,— устало сказал Павел.— Извините за звонок. Будьте здоровы, Иван Варфоломеевич. Спите спокойно.

Павел не мог отказать себе в этом «спите спокойно». Что ж, Варфоломеич и будет спать спокойно. Он свое дело сделал. Обложил его со всех сторон так, что и податься некуда.

Только сейчас Павел почувствовал, как изнервничался, измучился за этот день. Все ему вдруг стало безразлично. Захотелось просто лечь и накрыться с головой, как это бывало в детстве, когда его оставляли одного в комнате и гасили свет, а он боялся темноты и прятался от нее под одеяло. А теперь не спрятаться, никто не поможет, никто не решит за него, как быть. Никто.

— Что-нибудь случилось?— спросила Марина и легко коснулась его волос. Ах, как не вовремя заговорила она о письме и о своей командировке. Совсем не вовремя.

— Случилось.

— Расскажи.— Ее пальцы снова притронулись к его волосам, и рука осталась на плече.— Начни с пустяка. Хочешь, я помогу тебе?

Какая легкая у нее рука. Удивительно легкая. Только чувствуешь, что она есть. Ну да — начать можно и с пустяка, хотя бы с того вечера в ресторане. Или еще раньше — с той минуты, когда перед дверью шефа Женька заупрямился и хотел удрать, а он удержал его, и сверху спускалась девушка — тогда Женька позвонил. Все имеет следствие и причину. Они остались с Мариной в Крыму, потому что Женька решил, что он — лишний. И уехал, чтобы продолжать общую их работу,— поэтому появилась рукопись Е. Корнеева. Конечно, начать можно с пустяка, например с того момента, когда Павел бросил рукопись в стол и сказал Варфоломеичу «О'кэй». В конце концов, неважно, с чего начинать. Марина легко восстановила бы всю цепь. Но именно ей он не скажет. Никогда не сможет сказать.

Ну хорошо, продолжал думать Павел все о том же, предположим, можно объяснить отказ — Корнеев мой друг, не мне говорить о нем. Предположим, что так. Все равно (теперь уже в этом не было и тени сомнения) отказ будет равносилен разносу. Тот, другой, кому передаст работу Варфоломеич, не постесняется. Третий раз старик не допустит осечки. Под одеялом не спрячешься от темноты. Есть только один способ преодолеть страх — встать и зажечь свет. Все рассказать Марине. Написать объективный отзыв. Уехать к черту на рога. Все начать сначала.

Павел потянулся за зажигалкой.

— Хочешь, сварю кофе?— сказала Марина. Наверно, он долго молчал. Или так показалось, что долго. Ее рука соскользнула с его плеча, и словно что-то замкнулось над ним, отгородило его от Марины. Она вдруг отдалилась. Павел слышал ее шаги, шум воды на кухне, но все это еле доносилось до него, словно шло издалека.

— Значит, так: давай пить кофе.— Марина пододвинула к Павлу дымящуюся чашку и откинулась в кресле.— С фирменным тортом.

Надо встряхнуться, подумал Павел. Марина сидела напротив него, как будто никуда не уходила. Она курила и смотрела в пространство. От кофе исходил приятный, бодрящий аромат. Один обжигающий глоток. Надо встряхнуться.

— Правда, у нас красиво?— вдруг сказала Марина.— Только чуточку холодновато. Ты этого не находишь? Нет, все-таки холодновато. Вроде образцово-показательного интерьера на выставке. Так живут молодые талантливые ученые. Эталон номер три-бис.

Павел молча прихлебывал кофе. Начинается. Ладно. Пусть лучше так. Только бы не обрывалось совсем. Все равно он не скажет. Ничего не скажет.

— Прекрасная квартира. Прекрасная пара,— продолжала Марина.— Он — талантливый физик, она — сотрудник эпидемстанции. Рядовой сотрудник, но прекрасная женщина. Первый разряд по художественной гимнастике. Может поддержать интеллектуальный разговор. Кончила курсы английского языка.

— Остановись,— попросил Павел.

— Теперь это неважно. Все равно рано или поздно придется расплачиваться. Ты еще не понял этого?

— Расплачиваться?

— Ну да. Можно построить дом. Даже на болоте. Красивый. Современный. Только жить в нем будет нельзя.

Павел встал:

— Мне надоели твои загадки,— он с трудом сдерживался, чтобы не закричать.— Только я должен. Обязан. А вы все — ничего не должны. Вы только предъявляете счет. Ну так вот — сами платите по этому счету. Сами.

— Каждый сам за себя,— сказала Марина.— По-немецки. Хорошо,— она помолчала,— звонил твой шеф, просил зайти к нему, если ты свободен. Нет, ничего срочного. Просто приглашение на чаек. Прости, что не сказала сразу. Хотела побыть с тобой. Вдвоем.

— Побыли...

— Бывает. Все в жизни бывает.

* * *

Он не помнил, какие видения и лица возникали перед ним. Осталось ощущение: какая-то сила тащит и тащит его вниз, в черный провал, и он летит, и нет

дна, только удар все ближе, неотвратимее — и вдруг он словно повисает, и теплые волны медленно вздымают его вверх... А иногда сквозь глухую, черную, давившую толщу доносились какие-то звуки. Потом он стал различать голоса, шаги, отдельные слова...

Когда Павел первый раз открыл глаза с тех пор, как его привезли в больницу, прошло двое суток. В мерцающем свете показалось знакомое лицо — оно приближалось, словно пробивалось к нему, обретая четкость, как в объективе, когда добиваешься резкости, но до того, как Павел отчетливо увидел это лицо, он уже знал, что около него сидит мать и держит его руку. Он ощутил тепло ее пальцев и ладони — такое знакомое, легкое и властное прикосновение, передающее ему силу. Потом постепенно, как из тумана, возникла вся комната, и сестра в белом халате, склонившаяся над столиком с лекарствами, и тогда Павел понял, что это больница. И снова его пронзило ощущение падения и неотвратимости удара. Но было уже не так страшно, потому что рядом сидела мать и спасительный ток жизни исходил от ее руки.

— Что со мной?— как ему показалось, громко произнес Павел. Но сестра даже не пошевелилась, и только мать поняла его:

— Ты упал. На лыжах. Но теперь все обойдется. Не спрашивай больше. Тебе нельзя разговаривать.

И Павел вспомнил, как вслед за Женькой он летел по обледеневшей горке, как рвался ветер, и все росла скорость, и все труднее было удержаться, а глубокий, рыхлый снег, как спасение, был бесконечно далеко внизу, и он с отчаянным усилием, все больше теряя власть над своим телом, удерживал равновесие. Потом его подбросило, и поле со снегом, оказавшееся вдруг перед ним, поднялось и надвинулось на него...

— А Женька?— одними губами спросил Павел.

— Он три километра со сломанной рукой тащил тебя. Если бы не он... Теперь все обойдется,— снова как заклинание, повторила мать.— Только не разговаривай!

Женьку пустили в больницу через неделю, когда Павел начал заметно поправляться, мог разговаривать, а остальное, как сказал профессор, было делом времени.

Женька выглядел так же, как всегда. Как будто они только вчера расстались. Растрепанные волосы. Не-

изменная лыжная куртка. Клетчатая рубашка с расстегнутым воротником. Дерзкий огонек в темных глазах. От него пахло свежим, весенним воздухом, улицей, солнцем, волей — даже рука в гипсе не разрушала это ощущение лихой бесшабашности, которое вызывал Женька.

— Бездельничаешь?— сказал он, садясь на кровать.— А кругом врачи, и медсестра в халате...

— Точно,— ответил Павел.— Как в песенке.

До чего же он был рад видеть этого типуса! Просто видеть. Знать, что они еще вместе будут шататься по улицам, записывать по очереди лекции, трепаться в курилке Ленинской библиотеки. Впрочем, он забыл — лекций больше не предвидится. Они ведь дипломники, люди почти свободные, им полагается дни и ночи не спать — разгрызать науку. Но об этом Павел подумал с грустью. Ему-то уж не придется защищать свой диплом, который, как водится, был только начат, а времени до защиты оставалось совсем ничего. Месяц. Ему, конечно, дадут академический отпуск на год. Но год будет потерян. А Женьку распределят без него.

— Как рука?— спросил Павел.

— Нормально.— В доказательство Женька поднял ее вверх.— Через три дня снимут. Ну, а ты,— он обвел взглядом палату,— надолго?

— Недели две, говорят...

— Бюрократы?

— Перестраховщики.

Павел сказал так для порядка. К вечеру у него начинались отчаянные головные боли, и казалось, не будет им конца. А когда он пробовал вставать, ноги, словно чужие, подгибались, не выдерживая тяжести тела, и подступала противная тошнота. В общем, дело дрянь. Две недели... По правде говоря, ему не верилось, сможет ли что-нибудь измениться за это время.

— Вчера в деканат приходил этот тип из института, в котором мы проходили практику,— сказал Женька, поглядывая в окно.— Заявка на нас с тобой уже в госкомиссии. Этот тип весьма был огорчен твоим легкомысленным поведением. Выбыть из строя ради того, чтобы прокатиться с горки,— несерьезно! Очень он сокрушался.

— Невозвратимый урон,— через силу усмехнулся Павел.— Институт этого не переживет.

— Трудно им, беднягам, придется,— поддакнул Женька.

Разговор был не из приятных. Женьке легко острить. Ему что, а от некоторых лихих лыжников институт уплывает. Может быть, навсегда. Свято место пусто не бывает. А Павел-то радовался, что его с Женькой заприметили. В академическом институте. Где он мечтал работать.

— Ну, как там — коллектив, старшие товарищи?— спросил Павел, чтобы переменить тему.— Жизнь бьет ключом?— Ох и скверно же было у него на душе.

— Бьет.

— Тогда я спокоен. Передай, что я горжусь ими.

Павел откинулся на подушки. Он почувствовал легкую тошноту — первый признак надвигающейся головной боли. Надо бы принять таблетку, закрыть глаза и лежать не двигаясь. Но ему не хотелось, чтобы Женька уходил, и Павел продолжал в том же духе:

— Горячий привет баскетбольной команде. Больше тренировок. Больше черновой работы.

— Доведу до сведения,— пообещал Женька.

Они помолчали.

— Послушай, есть идея. Только не прерывай.

— Выкладывай,— сказал Павел.

— Все это вполне реально.— Женька помялся.— Ты передаешь мне свои гениальные наброски диплома, а я довожу их до конца. Через месяц, удивляя и поражая всех, ты являешься на защиту. Она проходит блестяще. Все восхищены. Общее замешательство на почве восторга. Потом мы сдаем государственные экзамены. И вот мы — научные сотрудники научно-исследовательского института Академии наук СССР. И советская наука обходится без потерь. И этот тип, который приходил к нам с заявкой, будет доволен. Его нельзя огорчать. Он хороший человек.

— Бред?— спросил несколько ошеломленный Павел.— Из раздела, что кому снится?

— Явь,— сказал Женька.— Прекрасная действительность, обгоняющая мечту.

— Бред.

— Видишь ли, мой бедный друг, в деканат поступило сообщение, что твой диплом почти готов — ты успел много сделать до больницы. Не терял времени понапрасну, как некоторые другие. Ты же у нас — примерный студент.

— Дезинформация. Гнусная клевета.

— Не спорю,— усмехнулся Женька.— Тут есть известное преувеличение. Но в противном случае в деканате не поверили бы, что в таком состоянии ты способен завершить диплом.

— Ты хочешь сказать — начать и кончить.

— Я хочу сказать то, что сказал.

— Дальше,— нетерпеливо бросил Павел.

— Все очень просто...— Женька помялся, подыскивая слова.— Ты здесь, в больнице, наносишь последние штрихи. Завершаешь свою работу. Я — связной между тобой и научным руководством. Понятное дело, буду держать тебя в курсе. Учти, в деканате идея принята на ура!

— Блестящая операция,— сказал Павел.— Только не учтена одна деталь. И, как всегда, решающая.

— Любопытно узнать...

— Твой диплом.

— Что мой диплом?

— Когда ты будешь писать свой диплом, хотел бы я знать?

— Ах, это-то...— Женька небрежно махнул здоровой рукой.— Так я его уж написал.

— Врешь.

— Осталось поставить точку. Остальное сделано.

Павел по глазам видел, что Женька врет. Самым наглым образом. Да он даже и не начинал свой диплом — это было ясно. Сколько же ему сидеть, да и хватит ли пороху на два диплома — одни источники просмотреть что стоит!

Но ни в этот, ни в другой раз у Павла не хватило сил отказаться. Он подчинился, не очень-то веря в успех, но все больше втягиваясь в эту игру. И самое удивительное было то, что все произошло почти так, как расписывал Женька. Блестящая защита. Все восхищены. Общее замешательство на почве восторга.

* * *

Все произошло именно так. Вот только свой собственный диплом, который Женька защищал на неделю позже, он чуть не провалил. Похоже было на то, что его руководитель диплома, хорошо знавший Женьку, смекнул, в чем дело. Это, вероятно, и спасло дипломанта Е. Корнеева. Павел долго не мог забыть того чувства сты-

да, который он испытывал, когда Женька довольно-таки невразумительно отвечал на вопросы. Только поразительная интуиция спасала его от окончательного провала. Беспечно он ходил по самому краю, лишь в последнюю минуту чудом делая нужный шаг.

Тройку ему все-таки поставили; правда, после долгого совещания.

* * *

Теперь похожее жгучее чувство вновь охватило Павла. Как будто Женька на его глазах погружается куда-то, исчезает, а он не может помочь. Что-то мешает Павлу протянуть руку, что-то его держит.

Он не заметил, как подошел к дому Алексея Алексеевича. Знакомый подъезд. Лестница. Лифт. Марина могла бы и не говорить об этом звонке шефа. Впрочем, для обоих это был хороший предлог мирно окончить разговор. Разойтись, хотя бы на этот вечер, чтобы не ставить точку.

У двери квартиры шефа, прежде чем позвонить, Павел взглянул на часы. Одиннадцать. Почти два часа он добирался сюда пешком, инстинктивно отдаляя эту встречу. Что он скажет Алексею Алексеевичу? Варфоломеич, вероятно, рассказал старику о своем разговоре с Павлом. Как объяснить шефу, почему он сначала согласился, а потом отказался написать отзыв? С Алексеем Алексеевичем хитрить нельзя. Женька уходил все дальше, и все меньше оставалось у Павла времени, чтобы удержать его, не дать провалиться, исчезнуть. Как дурной сон, снова подумал Павел. Он протянул руку к звонку и прислушался. Но никто не спускался с верхнего этажа, никто не стучал каблучками. Никто не подтолкнул его руку. Как тогда руку Женьки. Что же все-таки сказать шефу? Павел еще помедлил и заставил себя позвонить.

Алексей Алексеевич хворал и выглядел утомленным. Он обрадовался приходу Павла, провел его в кабинет, усадил в кресло и сам пошел ставить чай: «Пиковая дама» была в гостях.

Мерно, неторопливо, свидетельствуя, что мир стоит прочно и нерушимо, отсчитывали секунды стенные часы. Все здесь было знакомо — и часы, и гравюры, и бронзовый человечек. Знакомо — и стояло от века. Так надо и жить. Прочно. Спокойно. Основательно. Не

рваться. Не спешить. Не зачеркивать прожитое. Быть самим собой. Легко сказать — быть самим собой... Ну вот — опять. Нет. На сегодня хватит.

Павел пошел на кухню и вызвался заварить чай «по-азербайджански».

— Великолепно!— оживился Алексей Алексеевич.— Вы — чай, я — стол!

Он засуетился, неловко доставая варенье, чашки, конфеты. Впервые Павел подумал, как, в сущности, старик одинок. Сын его совсем еще мальчишкой погиб на фронте. Жена давно умерла. А он не согнулся, не очерствел. Почему бы с ним не поговорить по-человечески, не рассказать все, как есть? Но разве его переубедишь? Его теория — это вся его жизнь.

Алексей Алексеевич медленно помешивал ложечкой чай и словно рассуждал вслух:

— Все дела да дела, а вот, выражаясь по-старинному, по душе поговорить времени не хватает... А ведь без этого нельзя.

— Хотите по душе?— усмехнулся Павел. Не в характере шефа было вести «оккультные беседы».

— Не скрою, хочу...— задумчиво ответил Алексей Алексеевич.

Тень от абажура падала на его худощавое чеканное лицо с высоким лбом, глубокими глазницами и резкими линиями вдоль щек — и от этого оно казалось замкнутым и суровым. Лишь светлые глаза мягко и пристально, словно вызывая на откровенность и подбадривая, смотрели на Павла.

А ведь старику действительно все можно рассказать. Все — только не это. Ни лжи, ни предательства он не простит. Не поймет — ни по отношению к себе, ни по отношению к Женьке. Как же мог он не увидеть новых идей в работе Женьки и не согласиться с его доказательствами? Неужели настолько сжился со своими представлениями? Впрочем, в истории науки такое бывало. Не принял же сам Эйнштейн квантовой механики.

Никакого отзыва. Отказаться. Отказаться. Теперь Павел решил это твердо. Другого выхода нет. Пусть уж так.

— Мне тут звонил Иван Варфоломеевич,— сказал Павел, отхлебывая чай,— просил написать отзыв об одной работе, я согласился по слабости, но сделать не смогу... Работа серьезная, а у нас в лаборатории аврал...

Светлые глаза все так же пристально смотрели на Павла.

— Кому бы ее переплавить, Алексей Алексеевич, как вы думаете?

Глаза чуть потемнели. Или показалось. Старик потянулся за трубкой. Начал набивать ее. Он не торопился отвечать, и Павел пробормотал:

— Дурацкое положение.

— Ну, а саму эту работу вы прочитали?

— Не успел. Так — только пролистал.

— Жаль. Очень жаль.— Алексей Алексеевич раскурил трубку, и клубы голубоватого дыма скрыли его лицо.— Очень жаль,— повторил он.— А я полагал, мы поговорим о ней, кое-что обсудим...

«Неужели засомневался?— подумал Павел.— Да нет, просто жаждет получить еще одно подтверждение своей непогрешимости. Ничего. Обойдется и без подтверждения».

— Так уж получилось,— сказал Павел, чтобы закончить этот разговор. Правда, он понимал, что тема далеко не исчерпана. Существовал еще один аспект, которого оба они, словно по молчаливому уговору, не касались. Работа была все-таки подписана «Е. Корнеев». Это обстоятельство, хотя о нем не упоминалось, придавало беседе особый смысл. Е. Корнеев словно сидел здесь третий за столом. Сидел и слушал, что они говорят. И усмехался. Или — мрачнел. Впрочем, пока его имя не называлось, он существовал лишь в мыслях, воображении. Но стоило бы хоть раз упомянуть его, как он словно бы материализовался. Такова сила произносимого слова. Но, кажется, к счастью, у старика хватит такта не назвать автора работы.

Шеф молча курил, отхлебывал чай, казалось нисколько не заботясь о том, чтобы возобновить беседу.

— Пожалуй, нет, не приходило...— тихо, словно самому себе, неожиданно проговорил он.

— Вы о чем?

— Скажите, Павел, вам никогда не приходило в голову, что есть вещи поважнее науки, хотя иногда и связанные с ней?

— Интереснее?

— Нет, поважнее.

— Будущее человечества?— спросил Павел. Дудки. Никакой исповеди не будет. К чему изливаться, если нельзя рассказать о главном?

Светлые глаза, упорно смотревшие на Павла, поскучнели, и Алексей Алексеевич заметил:

— Не сомневаюсь, о человечестве в глобальных масштабах вы печетесь денно и нощно. Удобная вещь — глобальный масштаб... Обобщенные категории как равнодействующие множества сил. Монады. Формации. Эпохи. Цивилизации. Куда как хорошо! Чистое мышление. Горние выси духа. Оттуда, с высоты, людей разглядеть...

Что это он, удивился Павел, ударился в риторику? И с такой страстью? Где же наше олимпийское спокойствие? Сдают нервы. Стареет шеф, стареет.

— Ну, а когда люди кажутся маленькими или их не видишь вовсе,— продолжал Алексей Алексеевич,— возникает некое торжественное отношение к себе. К своим личным проблемам. Не к другим, а к себе — торжественно-величественное отношение...— повторил он и подчеркнул свою мысль плавным, несколько театральным жестом в античном духе.

Вот он, другой, сидящий третьим за этим столом, Евгений Корнеев, подумал Павел, старик пожалел его, талантливого, ошибающегося. Какая коллизия: конфликт между научным долгом и чувством? Долг, конечно, победит. Тем более — долг защищать собственную теорию. Но, может быть, шеф хочет смягчить неизбежный удар, ищет эту возможность? Хотел бы услышать совет Павла на этот счет? Иначе — к чему бы весь этот разговор? Но что можно посоветовать?

Вслух Павел сказал:

— Лучше спустимся на землю. Все равно там, наверху, не спрячешься. По опыту знаю. С помощью ползучего эмпиризма.

— Хорошо, что знаете,— суховато проговорил Алексей Алексеевич и поднялся:— Партию в шахматы?

Он был явно обижен ироническим ответом Павла и дал понять, что разговор окончен. Душеспасительная беседа не состоялась. Что ж, очень хорошо. О душе не получилось, о делах — ни к чему. Остается древняя интеллектуальная игра. Гимнастика ума и чувства.

А выпутываться он должен сам. Старик даже не хочет посоветовать, кому передать работу. Куда как хорошо философствовать насчет человеколюбия и горних высей духа, а выпутываться должен он сам. «А может, зря я сказал, что не прочитал эту работу?— вдруг подумал Павел.— Все равно старик не поверил».

Он почувствовал: что-то связывающее его с шефом оборвалось. Старик явно был настроен поговорить об этой работе. Вот только зачем, если дальнейшее развитие событий, как говорится, предопределено?

Павел прошел вслед за Алексеем Алексеевичем в кабинет и остановился возле маленькой фотографии, одиноко висящей в простенке между окнами. Как раз напротив письменного стола. Лучше всего ее видно, когда сидишь за столом. Старик, наверно, отрывается от работы и смотрит на нее. Вероятно, единственный фронтовой снимок. Парень в расстегнутой гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке сидит на траве и, улыбаясь, глядит прямо в глаза. Какое хорошее лицо. Может быть, после боя, а он жив, и трава, и солнце...

Горние выси духа. Высота. А она в этом лице, в этом прямом взгляде. В этой судьбе.

И вдруг далекое воспоминание пронзило Павла, как неожиданный удар по туго натянутой струне. И, как тогда, его обожгла горячая сильная волна, и что-то ответно зазвенело в нем. Тогда... Было ли это на самом деле? Но Павел будто снова увидел: изба на краю поля, чуть дальше лес, темнеющий в тумане, луг в матовом серебре ночного морозца, и над всем — тишина. Непостижимое молчание. Они с матерью только что приехали и, глядя вдаль, стоят у телеги, где лежат их вещи. Он не знал, сколько времени они простояли так. И вдруг — крик: «Эй, Федьк, лошадь ушла!» Голос прокатился над лугом, полями, лесами и замер, утонул в тишине. И так же, как этот голос, неведомо откуда появился худой чернявый парень в расстегнутой рубахе без ремня и закатанных до колен штанах. Он мчится к лесу большими прыжками, будто не касаясь земли, оставляя лишь темнеющий след на траве, и пропадает в тумане. А Павел все стоит, как заколдованный, не понимая, что с ним происходит, потрясенный тем, что открылось ему в тишине этого утра.

Почему сейчас вспомнились те минуты? Именно сейчас! Как будто в лице человека, сидящего на траве в расстегнутой гимнастерке, было что-то вызвавшее в памяти эту далекую картину. Что-то от шири и молчания того утра. Может, после боя солдат увидел облака, деревья, лесистый пригорок как бы заново, теми же глазами, что и городской мальчишка, впервые ощутивший тревожную власть природы?

— Погиб за четыре дня до победы. Оставалось четыре дня.— Алексей Алексеевич, оказывается, стоял за спиной Павла. Старик помолчал и вдруг положил руку на его плечо:— Есть вещи поважнее науки, Павел. Поверьте. И поважнее наших удач и забот...

Видно, он хотел еще что-то сказать, но раздумал. Решил, что разговора все равно не выйдет. И все-таки положил руку на плечо. Все дело в той фотографии. В той силе, которая заключалась в ней. Эта сила тревожила ум и притягивала. Она была выше, чище повседневных забот и волнений. Как и та красота, которая обожгла Павла тогда, в детстве. И чище, и могущественней. Ведь это она объединила их, когда Алексей Алексеевич, положил руку на плечо. Повернуться сейчас к старику, излить душу. Что-то сказать. Настоящее. Но тех единственных, нужных слов не было, и Павел привычным усилием подавил в себе это желание. И все же у него не хватило духу отойти от фотографии, пока он чувствовал руку Алексея Алексеевича. Так и стояли они, вглядываясь в молодое улыбающееся лицо.

Тихо шелестел маятник часов. И маленький бронзовый человечек — крестьянин времен Жакерии — словно застыл на своем вечном посту. Такой, как всегда. Гордый и непримиримый. Готовый к нападению и защите. Не ведающий ни сомнений, ни страха. Он познал свободу и скорее умрет, чем покорится.

Он стоял на своем посту и словно охранял их молчание.

* * *

Оно было бесформенное, темное и мягкое. Павел всей кожей ощущал эту страшную обволакивающую мягкость и бесформенность. Стоило ему отступить, отодвинуться, как оно опять неслышно подкрадывалось. А сзади был провал, и Павел знал: как только он шевельнется еще раз, все будет кончено — он полетит вниз. Ему не хватало воздуха, и крик застревал в горле, и отступать уже было нельзя, а оно опять придвинулось. Придвинулось и затаилось, наблюдая за ним. Теперь, если оно шелохнется, Павел не выдержит — и все будет кончено... Но ведь это сон, вдруг смутно ощутил он. Наверно, это во сне. Надо сделать усилие и проснуться. Собрать все силы, сбросить — и проснуться, пока оно не шелохнулось. Павел напрягается, что-то

в нем рвется с болью, и смутно, как в тумане, он видит угол книжного шкафа, кусок стены, окно, завешенное шторой.

Ночь или утро? Машинально он тянется к выключателю. Вспыхивает свет ночника над головой. Павел садится и сразу вспоминает, как он пришел от Алексея Алексеевича, и Марина уже спала, и, чтобы не будить ее, он прилег у себя в кабинете — только успел снять пиджак, так устал,— прилег и уснул. Ну и сон. Он не помнил, чтобы ему снилось такое. Он вообще не помнил своих снов. Некогда помнить. Не до этого. Но сейчас в нем еще не успело погаснуть ощущение кошмара, ужаса перед надвигающимся бесформенным, темным и мягким, от которого нет спасения. Нервы. Так и свихнуться недолго. Хватит. Пора кончить со всем этим. Пора.

Павел подошел к окну. Без четверти пять. Начинало светлеть. Он отдернул штору и выключил ночник. Тусклый, зыбкий свет сразу погасил все краски и тени. Только теперь Павел заметил, что на улице моросит дождь. Стало холодно. Павел пошел на кухню и поставил кофе. Надо согреться. Выпить кофе, принять душ, почувствовать себя человеком. Пора кончать со всем этим.

Пока Павел принимал душ, он решил, кому позвонить, чтобы сплавить эту работу. С выводами Е. Корнеева трудно не согласиться. Или согласиться. Это уж пусть другие. Как хотите — соглашайтесь или не соглашайтесь. С него хватит. Когда Павел выходил из ванной, он услышал телефонный звонок. Что за блажь — звонить в шесть утра. Люди отдыхают. Спят. И видят сны. Но телефон все звонил, и, пока Павел раздумывал и назло телефону медленно шел в комнату, Марина проснулась и взяла трубку. Павел не слышал, что она там говорила.

Дождь все усиливался, и Павлу опять стало холодно. Он закурил трубку и сел в кресло, дожидаясь, пока Марина выйдет. Он решил не спрашивать, кто звонил. Скорее всего, это была ошибка. Вот он сплавит работу Е. Корнеева, и все будет хорошо. Все пойдет по-прежнему. Не очень-то ему верилось, что все будет хорошо, но очень хотелось. Очень.

Наконец Марина прошла на кухню. Что-то она там готовила, потом принесла посуду, чашки в столовую и начала накрывать на стол. Странно, что занялась

этим так рано, странно, что решила устроить завтрак в столовой, а не на кухне, как всегда. Уж не ради ли воскресенья? Марина была тщательно одета, и Павел отметил это про себя как добрый знак. Может, и в самом деле все наладится и ничего страшного не произошло? Просто устал — вот и сдали нервы.

Марина накрыла на стол и подошла к окну.

— Приготовься к сюрпризу.

— Приятному?— спросил Павел.

— Да.

— Не томи.

— Потерпи немного. Полминутки.

— Полминутки можно,— согласился Павел.

— Дождь,— сказала Марина.

Смотреть на дождь, как и на огонь, можно без конца, и Павел встал рядом с Мариной. Она взглянула на него, и что-то тревожное, беззащитное промелькнуло в ее глазах. Павел хотел обнять ее, но не решился. Уладится, успокоил он себя, все уладится. И вдруг Павел почувствовал, как все натянулось в Марине, и сразу же увидел в конце двора, у самой арки, бегущего человека. Павел не разглядел лица, но понял, догадался, кто мог так, с непокрытой головой и развевающимися полами расстегнутого плаща, бежать под дождем.

Так весело, так беззаботно бежать под дождем.

— Женька,— сказала Марина чуть дрогнувшим голосом.

Человек приближался.

— Это он звонил. Прямо с вокзала.— Марина говорила медленно, с паузами, по одному слову.— Алексей Алексеевич вызвал. Телеграммой. Оценил Женькину работу как выдающуюся. Предложил поставить его доклад на сессии и развернуть широкую дискуссию.

Наверно, Марина говорила теми же словами, что и в телеграмме, которую ей прочитал Женька по телефону. Прочитал с выражением. Не хуже Левитана.

Павел стоял и смотрел, как Женька бежал под дождем. У подъезда он поскользнулся и бухнулся в лужу. Вскочил, перепрыгнул через ручеек. Он очень торопился. К нему, к Марине.

Торопился поскорее увидеть их и поделиться своей радостью.

*1969 г.*

# ДОЙТИ ДО ГОРИЗОНТА

## 1

С воющим, раздирающим душу звуком падал самолет. Не падал — несся вниз в рваном кольце пламени и дыма.

Стремительно нарастает звук, все ближе живая, извивающаяся черно-красная туча, намертво вцепившаяся в самолет.

Ближе. Неотвратимей.

Но не было удара и взрыва, взметнувшегося вверх ослепительно белого вихря, в мгновение ставшего черным. Не было — потому что тогда не было бы ее. С болью рвет она путы сна — последнее, что в ее силах...

Полина Александровна открывает глаза. Она еще на грани кошмара, но уже ощущает: и на этот раз победила она. Не было удара, взрыва, смерти.

Не было в снах — потому что она никогда не примирится с этим. Никогда.

Теперь несколько минут она должна лежать не двигаясь и ждать, пока успокоится сердце. Потом принять лекарство — оно всегда под рукой. А потом можно встать — все равно не уснуть.

Тишина стояла глубокая. Какая глубокая тишина! С острой, резанувшей сердце болью Полина Александровна ощутила пустоту большой квартиры — словно не было стен и она одна стоит в пространстве, залитом пустотой и холодом. Ее охватил озноб. Она оперлась рукой о стену — там, за ней, кабинет Кости. Вот уже девять лет после его гибели это комната Валентина, но для нее по-прежнему — кабинет Кости. В нем — его вещи, модели самолетов, трубки.

Место на стене, к которому она прикоснулась, стало теплым. Какая все-таки большая квартира — Костя так радовался ей, он любил, чтобы бывали люди, чтобы было, как он говорил, куда посадить... Теперь во всей

квартире она да Майя. Ах, Майя, Майя, единственная, кто с ней всегда. Полине Александровне захотелось войти в ее комнату, посмотреть, как она спит, укрыть, как это бывало когда-то, давным-давно. Но она побоялась разбудить Майю, да еще, чего доброго, испугать. Майя и не подозревала о бессонных часах, которые мучили ее мать — все чаще в последнее время.

Полина Александровна села в свое кресло у окна и отдернула штору.

Пустынная улица уходила в темноту. Струящийся желтоватый свет фонарей растворялся во мгле, и от этого казалось, что воздух слабо мерцает — холодно и отчужденно. Только свежий снег, выпавший с вечера, был живым — Полине Александровне показалось даже, что она ощутила его холодноватый, с горчинкой запах.

Она любила чистый, белый, легкий падающий снег, несущий свежесть и словно стирающий грязь города, потому что его любил Костя,— и снова, как всегда в эти часы, в памяти всплывали картины, словно бы не связанные друг с другом...

Живой, смеющийся Костя падает вместе с ней в сугроб в ту новогоднюю ночь сорок пятого года, когда он вернулся домой. В ней до сих пор не погасло это ощущение счастья его возвращения — живой, живой, в огне не сгоревший летчик-штурмовик.

Ей виделся Костя, таскающий Майю на плечах; за столом среди друзей; на пороге квартиры, когда он возвращался после удачного полета, измученный, но счастливый, и впереди были дни безмятежного отдыха.

Все прошлые тревоги, связанные с его послевоенной профессией летчика-испытателя, сейчас не помнились, как и тот черный день его гибели,— они принадлежали ночным кошмарам. Она не смогла бы жить, если бы это не уходило днем, если бы память не подчинялась ей, когда реальная жизнь вступала в свои права.

За окном стало светлеть. Фонари еще горели, но утренняя бледная синева стирала их свет, и все явственней выступала чистая белизна снега. Посветлело и в комнате — тени гасли, начинался день. И Полина Александровна почувствовала, что она уже не наедине с прошлым. Оживала улица, появились первые ранние прохожие; к остановке напротив ее дома подошел автобус.

Надо было жить днем сегодняшним и завтрашним, и Полина Александровна привычным усилием воли за-

ставила себя подняться и одеться, хотя после бессонной ночи у нее кружилась голова и слабость сковала все тело. Но это пройдет. Она знала — это понемногу пройдет, как только она начнет двигаться.

С улицы доносился глухой шум — там начиналось движение,— и этот шум, и разбросанные вещи в комнате, которые надо было убрать, помогли ей прийти в себя. Пока Полина Александровна умывалась, убиралась, мысли ее потекли по привычной колее повседневных забот. Ее тревожило, что от Вали давно нет письма. Последний раз, месяц назад, он писал, что они вернулись из экспедиции по Саянам и ждут вестей еще от одной группы с самым дальним маршрутом. И ни слова о Всеволоде, своем друге, Майином женихе. Коротенькое это письмецо, внешне вполне обыкновенное, пугало своей неясностью. Валя, всегда такой точный и обстоятельный, на этот раз, казалось, изо всех сил старался ничего не сказать и в то же время представить дело так, будто бы все было в порядке. Что с Всеволодом? Когда они вернутся в Москву? Что это за дальняя группа, от которой они ждут вестей? И почему Всеволод, ухитрявшийся писать Майе из таких мест, где и почты не было, вот уже почти два месяца не присылал ни строчки? А ведь в конце ноября, по их расчетам, должна быть свадьба, и у Майи все было готово, а сегодня уже пятнадцатое... Странно, что Майя не заговаривала об этом,— не хотела ее беспокоить?

Чем больше думала Полина Александровна о письме, тем тревожнее становилось на душе. Она давно уже решила позвонить в управление к друзьям Валентина и Всеволода, что-то узнать там, но все откладывала — боялась этого звонка, надеялась получить второе письмо. Оно не пришло, и сегодня истекал последний срок, который она дала себе. Сегодня она позвонит.

Полина Александровна взглянула на часы: восемь. Пора будить Майю и готовить завтрак. Хотя нет, сегодня суббота — она может поспать и подольше. Полина Александровна услышала шаги из кухни и потом плеск воды в ванной. Что это она так рано? В субботу у них занятий не бывает...

На улице снова пошел снег — крупными редкими снежинками. Потоки воздуха беспорядочно швыряли их в разные стороны, вздымали вверх и вниз, и казалось, над городом летают живые существа — белые мухи, как говорят сибиряки.

* * *

— Как странно,— сказала Майя,— будто все плывет. Только очень медленно. Ты чувствуешь?

— Да,— ответил Юра.

Майя засмеялась:

— Ничего не надо. Совсем ничего. Люди должны умирать так. Когда ничего не надо.

— Не умирай,— сказал Юра.— Пожалуйста, не умирай. Если можешь, конечно!

— Как скажешь, мой хан и повелитель,— она попробовала принять его тон, но не смогла.— Только чтобы был ты. Всегда.

Действительно, плывет, подумал Юра, если закрыть глаза. Не зря именно так и пишут в романах. Неужели и вправду так бывает? Открою глаза и увижу ее. И все это не во сне.

— Где ты была раньше?

— Когда?

— Давно.

— Ходила в школу.

— А потом?

— Кончила школу и поступила в университет. На географический.

— Почему географический?

— Наверно, из-за Вальки.

— А потом?

— Не надо «потом»,— сказала Майя.— Это неважно. Все неважно.

Юра замолчал. Удивительно — и у него так. Все неважно. До этого дня.

— О чем ты подумал?

— Да так. Не верится...

— И мне. Так не бывает, правда? Только у нас.— Майя замолчала.— Ты знаешь,— снова заговорила она,— когда нас познакомили и ты на меня посмотрел... Я решила — нет... Ты был какой-то неловкий. И очень обыкновенный. Даже двух слов не сказал. И сидел сгорбившись. Только смотрел на меня.

— А ты веселилась вовсю.

— Мне было тоскливо. Сама не знаю почему. И потом,— Майя говорила медленно, по одному слову, словно самой себе.— И потом тоже... Когда я увидела тебя на автобусной остановке, как ты стоял и ждал ме-

ня — руки в карманы, лицо озабоченное... Я подумала: ну уж нет. Лучше не надо. И вдруг — такое...

— Вдруг?— переспросил Юра и не узнал своего голоса.— Но тогда на автобусной остановке... Ведь это было уже, когда мы... И в тот самый вечер...

Голос просто не слушался его. Что он лепечет? Ерунду какую-то. Как мальчишка. Ну да — ерунду. Значит, все, что было до этого дня,— ерунда? Не имело цены? Все в нем сжалось. Стало холодно. Ну, вот и все. Неужели все? Встать и уйти. Уйти? Но Юра даже не шевельнулся.

— Куда ты ушел?— вдруг сказала Майя.— Где ты?— повторила она с тревогой.

Не надо, подумал Юра, может, она просто не понимает. Да, но дело не в этом. Наверно, у нее не так, как у меня. Росло постепенно, а она говорила «нет», но не могла противиться и выискивала всякое «нет». Может — так. А может — и не так...

— Я сказала что-то не то, да?— Лицо у нее было растерянное, несчастное.

Юра молчал.

— Понимаешь, я говорю тебе, как себе... Как это объяснить... Потому что мы одно — понимаешь?

Вот как бывает. Совсем не так, как казалось минуту назад. И секунды, когда все тихо плывет и ничего не надо, уже не повторятся. Ничего, видно, на этом свете не повторяется. А теперь начиналось другое. Наверно, это и есть жизнь — настоящая, а не придуманная, где будет все: горечь, сомнения, ошибки. И она со всем этим будет с ним. Открытая и безжалостная в своей искренности. Та, что так много может понять. И без слов знать, что происходит у тебя в душе. А может быть, и глухой, слушать только себя, то, что в ней. Мы еще хлебнем, подумал Юра. А она будет с ним. И он будет видеть ее, когда она просыпается и когда вечером приходит домой. И черт знает что будет думать, если она задержится.

— Ну вот. Теперь ты пришел. Теперь ты здесь. Со мной,— сказала Майя, вглядываясь в его лицо.— Только больше не уходи. Никогда не уходи, ладно?

* * *

Майя долго, дольше обычного, плескалась в ванной и одевалась. Инстинктивно она все отдаляла ту минуту, когда выйдет на кухню и увидит мать.

Сегодня она должна все сказать. Сегодня — больше оттягивать нельзя. Боясь, что смалодушничает и на этот раз, Майя нарочно отрезала все пути к отступлению — пригласила Юру к обеду. Пусть ее судят. Пусть говорят что хотят. Пусть. Она готова ко всему. Все порвать. Уйти из дома. Уехать. Все, что угодно,— лишь бы быть с Юрой. Да, уехать. Другого выхода нет — никто не простит ей предательства по отношению к Севе, накануне свадьбы с ним. И мама не простит. И — Валька.

Эх, Сева, Сева, свет в окошке для мамы, Валькин верный друг, он, может быть, единственный, кто ее поймет. Они могли не разговаривать — он знал, о чем она думает. Он только и поймет, что иначе она не может.

— Я не знала раньше, что это такое, когда говорят — счастье. Только думала, что знала. А теперь знаю. Это нельзя объяснить.

— Конечно, легче объяснить, что такое несчастье,— скажет Сева и попробует улыбнуться и заговорить о другом.

— Мне было спокойно с тобой, легко, а теперь, когда думаю о Юре, страшно — вдруг все оборвется?

Она должна ему это сказать и еще другое — и он поймет.

...Юра рассказал, как прошлым летом он провел месяц в избушке на озере, и я представила себе, как мы с Юрой идем по берегу, и садится солнце, и нет ветра, и так тихо.

Я хочу с ним ходить по траве, вечером читать, когда он стучит на своей машинке, и что-то спросить у него, самый пустяк, и услышать ответ, и покупать для него рубашки, и стирать.

Вчера я рассказала про эту избушку своей подруге и плакала, потому что не знаю, что будет с нами, хватит ли у меня сил выдержать все, что начнется потом, когда узнают мама и Валька. Я знаю, что принесу тебе несчастье, но я не могу по-другому. У меня не будет другой жизни. Она одна...

А если бы она сама услышала такое от Юры — вдруг ужаснулась Майя.

Что бы там ни было, лучше так. Все равно — лучше так.

Еще мне скажут: если ты так легко зачеркиваешь годы дружбы с Севой, то от тебя всего можно ждать. Сегодня Юра, а через месяц? Нет, ни мама, ни Валька

не скажут — будут молчать и осуждать в душе и избегать встречаться взглядом. Хуже всего, что будет именно так.

Майя представила себе лицо матери, когда она узнает. Будто со стороны, Майя увидела, как мать посмотрит на нее, еще не понимая, не веря, а потом опустится на стул и будет долго молчать, и согнется, словно ее придавили, и станет совсем маленькой. А потом — даже страшно было подумать, что будет потом.

Лучше ни о чем не думать и стоять так под душем, под теплым дождиком — долго, долго. Дождик, дождик, перестань...: Как Сева тогда радовался дождю — теплому, мягкому, веселому, первому в июне; как мчался через улицу, крепко держа ее за руку, а в воздухе стоял звон, и возле тротуаров пенились ручьи, и вода в лужах пузырилась, потому что капли были тяжелые, крупные, быстрые — она вымокла в одну секунду. Они вбежали под арку, там была толкотня, все были мокрые, но настроение приподнятое — этот дождь среди бела дня словно объединил всех. Она увидела близко от себя лицо Севы, по которому текли большие капли, его мокрые, потемневшие, сбившиеся на лоб волосы, смеющиеся, счастливые глаза и сказала «да», не сказала — подумала, но он сразу понял и сжал ее руку.

Сева уехал на следующий день, но они успели обо всем договориться и все решить. И сказать маме — а она только и ждала этого и так радовалась. И все эти месяцы жила этим и радовалась. Жила своей радостью и хлопотами...

Ну, а для Вальки все было давно решено. Как они любят устраивать жизнь других людей по своему усмотрению. И Валька. И мама, которая убеждена, что только одна знает, как сделать, чтобы ее Майя была счастлива. Конечно, ведь только она знает, как надо жить, и никогда не допустит даже мысли, что ее Майя может думать по-другому. Для мамы это было бы просто предательством. Предательством всей ее жизни. Да и для Вальки — тоже. Он ведь рыцарь без страха и упрека.

А действительно так — без страха и упрека. Рядом с Валей Майя всегда чувствовала себя в чем-то виноватой. Когда-то ей хотелось стать такой, как он. Ни в чем не отступаться от своего слова. Чтобы и ей нельзя было солгать, даже в самой малости.

Она очень старалась. Завела дневник, казнила себя за малейшее отступление от правил «жизни и борьбы», которые сама сочинила. Тогда ей было лет пятнадцать.

Майя улыбнулась своим мыслям — все-таки хорошее было время. Хорошее. Чистое.

...Мама погасила свет и ушла, и теперь наступало самое главное. Надо еще дождаться тишины, чтобы все улеглись и не слышно было ни шагов, ни звяканья посуды на кухне. Чтобы в целом свете была тишина — тогда кажется, что тебя слушают все, весь мир. На стене, напротив окна, дрожит слабая полоска света. Если долго смотреть на нее, она меняется — похожа то на лису с длинным хвостом, то на ползущую змею. Голубые тени пробегают по потолку. Теперь надо закрыть глаза и ждать, пока зазвенит в ушах. И тогда вспоминать все, что случилось за день. И судить, как будто не себя, а кого-то другого...

Может быть, с той поры она научилась прислушиваться к себе, к той струнке, которая никогда не звенит фальшиво,— вот как сейчас, когда она звенит, и, значит, Майя права. Все равно права, что бы ни думали мама и Валька. А ведь он должен бы уже приехать. Он — и Сева. И писем давно нет. Не случилось ли что?

Но Майя отмахнулась от этой мысли — не хотела, боялась сейчас думать о несчастье, обо всем, что могло бы помешать им. В конце концов, экспедиция — не курорт, там писать некогда. А то и неоткуда. Приедут, приедут мальчики, живы и здоровы.

Приедут — что же тогда будет?

Причесываясь у зеркала, Майя механически делала все, что полагалось, уложила волосы, подкрасила глаза. Как это бывает, она видела и не видела себя. Знакомое лицо, отраженное в зеркале, не трогало ее, словно было чужим, как лицо человека, не вызывающего любопытства, которого каждое утро встречаешь на автобусной остановке.

Закончив свой туалет, Майя отодвинулась от зеркала, чуть повернула голову и бросила последний, оценивающий взгляд. Все в порядке. Пожалуй, даже хорошо. Но нужно было сделать усилие, чтобы выйти, встретиться с матерью, сказать ей, и Майя медлила. Лицо, в которое она теперь вглядывалась, было словно чужим. Оно завораживало и притягивало. И чем пристальнее Майя всматривалась, тем больше вместе

с привычным в нем открывалось что-то новое, неизвестное, вызывающее острый интерес.

Какая же я?

Крупные черты лица. Скулы слегка выдаются. Большой рот, большие, чуть продолговатые глаза, с тенью от густых ресниц. Темные волосы с прядью, спадающей на лоб. Если поднять и немного повернуть голову, видна легкая и чистая линия лба, подбородка, шеи. В темно-карих глазах мерцает непонятная глубина. Что там, в этой глубине?

Допустим, это — не я. Что-то, пожалуй, есть в этом лице, какая-то необычная привлекательность. Нет, другое, притягивающее, даже не скажешь — что.

«Так это — я?— подумала Майя.— Какая же я? А вдруг Юра придумал меня? И я совсем не такая, какой ему кажусь?»

Ей стало страшно. Наверное, я самая обыкновенная. Почему он тогда замолчал, ушел в себя, как будто что-то захлопнулось? Не то, не так сказала? Неужели во мне есть такое, что может обидеть его? Какая же я?

Ох, как хорошо было бы сейчас вернуться к тем временам, когда нечего было бояться в себе и не надо было придумывать никаких оправданий. А вот Сева не женится до конца дней своих, подумала Майя.

Она вдруг почувствовала себя такой усталой, будто живет долго-долго и все уже было давным-давно — и июньский дождь, и разговор с матерью, и возвращение Севы с Валькой, и эти мысли у зеркала...

Это все зеркало. Как наваждение. Сейчас, именно сейчас, в эту минуту, ей нужно было увидеть Юру. Его лицо, глаза, руки. Стоило бы только увидеть его, услышать голос, как все прошло бы — и тревога, и сомнения, и усталость.

Кофе уже был на столе, когда Майя, одетая и причесанная тщательнее, чем обычно, вышла на кухню. Полина Александровна ждала ее. Все было готово — и омлет, и гренки, только снять с плиты.

— Не торопишься?— спросила Полина Александровна.

— Я — дома. Целый день.

— Как хорошо. А вдруг они сегодня нагрянут? С Валей такое случалось.

— Да, да, спасибо,— рассеянно ответила Майя.

— Что-то произошло?— только необычная, тревожная интонация вопроса дошла до сознания Майи.

— Прости, я не расслышала.

— Что случилось?— мягко повторила Полина Александровна.

Случилось. Если бы ты знала... Но все равно узнаешь. Сказать сейчас? Майя взглянула на мать. Лицо матери было бледно-серым. Вокруг темных глаз, казавшихся особенно глубокими, как всегда у людей с постоянной, невысказанной печалью, обозначились коричневые круги. Две глубокие морщины легли вдоль щек — а она и не замечала раньше этих морщин. Когда они появились? Да знает ли она вообще, что творится в душе матери? Хотя бы когда-нибудь спросила о том, что тревожит ее?

Полина Александровна по-своему расценила взгляд Майи и ответила на него подбадривающей улыбкой.

— Нет, нет... Ничего,— поспешно сказала Майя.— А ты... Ты сегодня плохо спала?

Позвонить Юре, сказать, что все отменяется. Или — переносится?

— Я, знаешь ли, всегда сплю неважно... Да ты пей, пока горячий,— словно извиняясь, быстро проговорила Полина Александровна. Она помедлила.— Пожалуй, сегодня позвоню в министерство, узнаю, что-то долго нет от них писем... Нет, нет, я уверена, все в порядке. Скорее всего, они в пути. Позвоню просто так. Мало ли что — изменились маршруты, новое задание...

Говорила так, словно убеждала себя сама. И ночь не спала. Вот откуда эти круги под глазами. И морщины. А вдруг и правда с ними что-то случилось? Позвонить Юре?

— Пойду к себе,— помолчав, сказала Майя.— Немного займусь.

Она встала, словно раздумывая, что ей делать.

— Да, совсем забыла (Майя была уже у порога, и Полина Александровна не видела ее лица)... Я тут пригласила одного товарища к обеду, так что не пугайся... Нет, ничего не нужно, что есть, то есть. А к чаю я кое-что купила, посмотри в шкафу.

Майя вышла. Как-то слишком поспешно. Будто убегала. От чего? От расспросов?

Полина Александровна допила свой кофе, посидела еще немного и, вздохнув, начала неторопливо мыть и убирать посуду.

## 2

Выйдя на улицу, Юра замер — такой ослепительный свет ударил в глаза. Он прикрыл лицо перчаткой и постоял немного, привыкая к этому сильному, ровному сиянию.

Кругом было бело. Снег лежал на земле, на крышах, на деревьях. Верхний тонкий слой изморози сверкал и искрился на солнце. Небо тоже сверкало, чистое и высокое, и в воздухе дрожали радужные блики. Ну и денек! Выпал снег, первый снег, а он и не заметил, когда это произошло,— полночи стучал на машинке, все шло хорошо, пока вдруг не застопорилось, и Юра почувствовал, что пора кончать. Но заснуть долго не мог, курил, старался думать о всякой всячине — о том, как отвертеться от командировки, где раздобыть деньжат до ближайшего гонорара. Но как Юра ни старался погрузиться в свои будничные заботы, одна мысль постоянно напоминала о себе: завтра я иду к ней. Завтра все окончательно решится. Войду в ее дом. Она мне откроет дверь, потом представит своей маме. Такая замечательная старушка, со следами былой красоты. И я все скажу — найду единственные, безошибочные слова.

Но как все это произойдет и что будет дальше — он уже не мог представить себе. Не мог — потому что это требовало напряжения, а все его силы сосредоточились на одном. Мысленно он видел Майю. Только ее. Смеющуюся. Встревоженную, когда какое-то облако находило на нее. Бегущую к нему. Сидящую напротив него за столом... Удивительно, в памяти возникали, казалось, давно забытые, но, наверно, самые лучшие минуты его жизни. Тогда он еще не знал Майи, но все равно именно в эти минуты она была с ним и разделяла его радость, потому что без нее все это просто не имело смысла, да и, вероятно, не вспомнилось бы.

Мы идем и идем по воде, а вода все не поднимается, и полоска песка сзади и люди там, на пляже, становятся все меньше. Горизонт в серовато-голубой дымке отдаляется, и от блеска воды рябит в глазах. Мы держимся за руки, потому что на дне попадаются камни. Майя смеется — просто так, от сияния воздуха, и теплого солнца, и от тихого ветра, который едва шевелит

волосы. Песок под ногами мягкий и прохладный. Когда Майя оступается, я сжимаю ее руку и смотрю на нее, у меня холодеет в груди от страха, что все это сейчас кончится...

— Дойдем до тех камней,— предлагаю я,— до самого горизонта. Там можно поплавать.

— До самого горизонта,— как эхо повторяет Майя.

Камни — далеко. Они еле видны, темные пятна среди серовато-белых бликов. Мы идем и идем, и все это не кончается.

— Господи,— говорит вдруг Майя,— я же грешница, за что мне такое?

Ну да — наверно, так она бы и сказала. И все было бы так. А тогда не было Майи, и до камней он дошел один и потом забыл об этом. Но теперь это будет. И будет Средняя Азия, и неправдоподобно синее, густое, высокое небо, и мавзолей Исмаила, весь из пенных каменных узоров, такой легкий, будто он остановился в полете над землей, и вечера вдвоем, когда он будет работать и чувствовать, как она что-то делает, ходит по квартире...

В нашей квартире, подумал Юра. Вот только комната, в которой он живет, для этого не годится. Запыленная. Загроможденная книгами,— чтобы найти ту, что нужна, надо потратить полдня. Полное запустение. И все — не так. Ни одной красивой вещи, которая радовала бы, чтобы от нее было светлее.

Юра посмотрел на небольшую картину, висевшую справа от письменного стола,— подарок знакомой художницы. Молнии на черном небе. Много разных молний — зеленых, красных, желтых, фиолетовых. Они сталкиваются, вспыхивают, гаснут.

Когда-то этот холст, грубо натянутый на подрамник (так он висит — без стекла и рамы), ему даже нравился. Неожиданной символикой, смелым сочетанием цвета.

— Живи с молниями,— полушутливо сказала художница, ставя подрамник на пол, против окна.

Теперь, под слоем пыли, краски поблекли и потускнели, молнии не сверкали и не гасли, и, может быть, поэтому весь замысел казался вымученным, претенциозным. Как он не замечал этого раньше?

А он сам — разве не придумывал себе то одно, то другое? Наверно, со всеми так — мечешься, что-то выдумываешь, пока не придет время, когда вдруг поймешь, что тебе нужно. Необходимо. Как глоток воды. И тогда все освещается по-другому — ясно, чисто, резко.

Юра снял картину и отнес ее в чулан. На том месте, где она висела, обозначился светлый прямоугольник. Ладно. Пусть так. Надо же с чего-то начинать.

Ну вот. А завтра я иду к ней, подумал Юра. Если, конечно, ничего сверхнеобыкновенного не случится. А если случится?

Заснул Юра под утро. И встал поздно. Долго мылся, одевался, перемерил все белые рубашки, какие были. Но все равно до обеда оставалась целая вечность. Время ползло, как скрипучая телега по степи, запряженная старой клячей. Смотреть на часы стало невыносимо. И Юра, назло времени, тоже стал еле двигаться, медленно курить, пуская замысловатые кольца дыма, лениво листать журналы; потом, все же посматривая на часы, затеял легкую приборочку на письменном столе... Наконец он дождался минуты, когда можно было выходить из дому.

...Теперь он стоял у подъезда и, жмурясь, прикрывал глаза перчаткой, смотрел на снег, на ребятишек, которые, визжа от восторга, барахтались в сугробах, таких невероятно белых и легких, словно там внутри был воздух. От солнца, голубовато-белого блеска и чуть колющего горло воздуха у него закружилась голова. Ну и денек — сколько таких дней прошло мимо него? Вечно в спешке, в редакционной суете. Командировка сокращается до минимума, работа над материалом — хватит и дня, ночь по своему усмотрению. Скорей, скорей. В номер, чтобы газета с этим материалом выступила раньше других. Скорей, скорей... А ему хотелось, как всем спецкорам, не торопясь поработать над статьей, очерком, найти неожиданный ход, отточить фразу, сказать то, что не говорили до него другие... Урывками, по ночам, в отпуске, в те редкие дни, когда голова была свободна от редакционных заданий, он писал рассказы, так, как хотелось для себя. Многое из написанного потом не нравилось и засовывалось подальше, помнились лишь эти часы лихорадочного возбуждения за столом. Все казалось в те дни ясным, резким, крупным, словно пододвинутым к нему.

Сейчас Юра вдруг снова подумал об этих рассказах — надо бы их перечитать, почистить, отобрать. Надо бы — да все нет времени. Да нет, чего там — дело не во времени. Просто он погряз в суете, в текучке. А ведь пора бы уже жить по-другому. Не мальчик, слава богу, за тридцать. Майя не знает, какой я тип, вдруг подумал Юра, а я толком даже не рассказал о себе — все отмалчивался... Но она должна знать все — и ту историю с фельетоном, и многое другое. Какой есть, такой есть.

С Юрой и раньше бывало, когда на него нападал стих саморазоблачения, но теперь он принялся за дело с какой-то особой, беспощадной яростью. Что-то менялось в нем, и он чувствовал, что у него хватит силы на все. И все, что предстоит сделать, удастся и получится, надо только захотеть. И с рассказами тоже. Отберу и покажу Петру Васильевичу, решил Юра. В конце концов, не съест его старик. Маститые — они тоже люди.

Пока он шел, уже не замечая ни дороги, ни снега, ни солнца, сама собой выработалась целая программа на ближайшие дни. Прежде всего: съездить к матери в Пензу. После смерти отца она жила одна, хворала и писала ему коротенькие письма, в которых изо всех сил старалась не показать, как ей одиноко. А он-то хорош — за последние полгода был на Байкале, в Астрахани, в Свердловске, а в Пензу не собрался. Не хватало времени. Был занят. Важные дела. Занятой человек.

Но теперь все будет по-другому.

— Мама, это Майя. Видишь, какая Майя?

Но прежде они пройдут по дорожке от калитки к крыльцу и веником отряхнут ноги от снега, и потом он нажмет кнопку звонка, который сам когда-то провел. И им откроет мать, потому что больше некому открыть. Она все поймет сразу, и будет суетиться, и тайком поглядывать на Майю, и называть ее на «вы», и не решится ее поцеловать.

А Майя будет открывать для себя этот дом на окраине Пензы, такой старый и маленький, где все сделано руками отца. И рассматривать фотографии на стенах — там вся родня, ближняя и дальняя, и все — почему-то с удивленными лицами. И пока мать будет хлопотать у стола, Майя начнет перебирать книги, разроз-

ненные тома старых и новых изданий по истории и всяческие исторические романы — любимое чтение отца. Он всегда читал за столом — окно было от него справа, и Юра, возвращаясь вечером домой, видел его склоненную голову, освещенную розоватым светом от абажура.

А ведь она, наверно, и не представляет себе, что бывают такие дома, с низенькими потолками и маленькими комнатами, с такой тишиной, и ковриками на крашеном полу, и самодельными приемниками, и самыми неожиданными книгами...

Юра проснулся, как ему показалось — от тишины. Так было тихо. Он подумал, что уже поздно, все ушли из дома, и торопливо оделся. Но будильник показывал без четверти пять. Юра вышел на крыльцо. Было светло и прохладно. И будто еще тише, чем в доме. С крыльца было видно, как над рекой клубился и рассеивался туман и сквозь него пробивались золотистые лучи.

Солнце только всходило, и белые облака тумана становились все тоньше, наливались голубоватым светом.

Юра пошел по дорожке, стараясь не задеть мокрые от росы, застывшие кусты сирени и ветки деревьев. Нагнулся, поднял камень и увидел замерзшую за ночь пчелу. Она отогревалась под первыми лучами и уже начала шевелиться. А навстречу ему, вся вытянувшись, покачивая рогами, ползла улитка. Она легко и ловко тащила свой панцирь. И так уверенно, так степенно шагала, покачивая рогами, будто шла в гости.

С аэродрома с ревом взлетел самолет. Сильно и плавно он вонзился в небо, сверкнув серебристым силуэтом. Юра осторожно за панцирь взял улитку, и она сразу спряталась — Юра даже не успел заметить, как это произошло. Он положил скорлупу на траву, но улитка и не думала показываться. Наверно, обиделась, что так грубо прервали ее прогулку.

Пискнула первая птичка, вторая... Пробежал ветер — зашумела листва. А солнце только поднималось — прошло всего несколько минут... И Юра вдруг почувствовал, какой долгий, большой день впереди...

...А ведь такое утро — это тоже его маленький дом с крашеными полами на окраине Пензы, и рассуждения отца о Сергии Радонежском и протопопе Аввакуме,

и родственники с удивленными лицами на фотографиях, и мать, которая при нем всю жизнь называла отца по имени и отчеству.

Поймет ли это Майя? Поймет ли этот дом и все, что он дал ему, или только увидит невзрачные окна с горшками герани, скрипучие половицы и выцветшие фотографии на стенах?

Хочу, чтобы ты была счастлива. Как просто. Чтобы ты была счастлива...

Юра идет, все убыстряя шаг, и неожиданно оказывается у ее дома.

Тяжелая, массивная дверь. Широкий лестничный пролет. Скоростной лифт. Но он ни к чему. Четыре этажа — пустяки и без лифта.

### 3

— Мам, это — Юра.

Он стоял в передней, высокий, худой, раскрасневшийся от мороза, и мял в руках шапку. Как только переступил порог, он сдернул ее с головы.

«Мама, это товарищ, о котором я тебе говорила. Из нашей группы. Мы решили позаниматься»— вот как должна была представить его Майя. А она сказала: это — Юра. Как будто два эти слова все объясняют.

В сущности, все просто, подумал Юра. Никакой торжественности. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Потом вас будут рассматривать. Вы из одной группы с Майей? Ах, вы уже кончили? Давно... А я полагала... Вы так молодо выглядите.

Замечательная старушка со следами былой красоты. Какой бред. У женщины, которая сказала — проходите, было усталое лицо с большими печальными глазами, седина...

— Ну, что же ты? Снимай пальто. Не могла дождаться.— Майя прижалась щекой к воротнику Юры, и все страхи его испарились.

— А я не буду искать слова,— сказал Юра.

— Какие слова?

— Просто скажу: я беру ее в жены и до конца дней своих буду беречь и защищать ее, ибо жизнь моя принадлежит ей. И еще скажу: слабость моя превратится в силу, робость в мужество, а сомнения в твердость, потому что она будет рядом со мной,— что-то сделалось

с голосом Юры, и он поспешил добавить:— Обязуюсь также чистить картошку, если потребуется, а то и вытирать посуду — иногда. Мыть, пожалуй, слишком. Вытирать. А теперь я готов разговаривать с тремя мамами сразу.

— Хватит и одной,— сказала Майя. Она даже не улыбнулась. Словно не слышала последних слов. Лицо ее было напряженным, будто она все еще прислушивалась к тому, что вырвалось у Юры,— «и до конца своих дней»... Как клятва. И вдруг опять ей стало страшно.— Ты придумал меня. Я не такая. Самая обыкновенная. Эгоистка. У меня есть только одно: ты...— Майя была готова невесть что наговорить на себя, но Юра прервал ее:

— Не надо.

— С мамой я сама. Ладно?— Майя помедлила.— Мне еще нужно рассказать тебе кое-что... Пойдем.

Они прошли через большую комнату и оказались в узком коридорчике. Майя открыла дверь:

— Вот и моя светелка.

Тахта, стол у окна, книги. Скорее кабинет, чем светелка. Только оглядевшись, Юра заметил в углу маленький туалетный столик с зеркалом.

— Когда папа был жив, это была комната Вальки. А я спала в большой. Потом Валька перешел в кабинет папы. А я — сюда. Так здесь все и осталось...

Майя замолчала, и Юра сказал:

— Расскажи о своем отце.

— Мне было двенадцать, когда отец погиб. Он был летчик-испытатель. Всю войну прошел, а погиб через пятнадцать лет после войны. Вот как бывает...

Юра ждал. Может быть, не следовало спрашивать об этом? Но Майя, словно угадав, о чем он подумал, сказала:

— Нет, нет. Ничего...

Она села рядом с ним и, как всегда немного снизу, чуть подняв голову, взглянула на него, потом взяла его руку:

— Тебе трудно понять, что значил отец для всех нас. И я даже не смогу объяснить... Хорошо помню этот день, такой тихий, солнечный. Мы с мамой шли с речки. Я разбила колено, было больно идти, и мы смеялись, когда я прыгала на одной ножке. А потом увидели у нашей калитки машину и двух мужчин. Мама подбе-

жала к ним и вдруг закричала и почему-то бросилась в дом.

Закрою глаза — и вижу этот день, облака над рекой, зеленую изгородь, распахнутую калитку, машину и как мама бежит в дом.

Еще помню его руки, когда он что-то мастерил, чинил мне игрушки, голос, а вот лицо не могу представить. И как потом ни ждала, отец ни разу не приснился...

— Мой отец был бухгалтер, а попросту, наверно, счетовод, тихий человек, большой любитель чтения,— сказал Юра, помолчав.— А на войне «языка» привел, получил медаль «За отвагу». Вернулся и стал работать на прежнем месте. Даже обидно было: как же так, пришел с войны победитель, честно воевал — и ничего, ровным счетом ничего в его жизни не изменилось! Отец посмеивался: ты чего хотел, чтобы я генералом стал? Мы просто сделали свое дело... Хотел бы я вот так, как отец,— неожиданно оборвал себя Юра,— только не получается. Да что там, раньше даже и не думал о таком. Все было ясно, выходило само собой — университет, газета, товарищи. Так, наверно, и не задумался бы — что к чему и что почем, пока не произошла одна история.

— История?— Майя прижалась щекой к плечу Юры, голос ее донесся словно издалека, так тихо она сказала:— Ты почти ничего не рассказывал о себе. Иногда мне кажется, знаю тебя всего, даже то, о чем ты подумаешь, а иногда...

— Что ж, это стоит того, чтобы рассказать. Я и сам хотел. Понимаешь, не случилось бы этого, было бы другое, похожее. А в общем, обыкновенная история. Случай из практики.

Юра замолчал.

— Ну, что же ты?— Майя совсем близко придвинулась к нему.— Только с самого начала. Чтобы я все поняла.

— Поймешь,— сказал Юра и усмехнулся.— Только и вправду надо с самого начала... Представь себе спецкора областной газеты, эдакий московский журналист сразу после университета.

— Представляю. И даже очень хорошо.

— Не совсем. Ну, во-первых, ему море по колено, потому что в любой момент может сорваться. Во-вторых, более или менее прилично пишет. Поднабрался

кое-чего в столице да в университете. В-третьих? Рубаха-парень. Ну и еще,— как говорят, острый газетчик. Печатается сколько хочет. А тут еще повезло, и его фельетоны наделали шуму в городе. Кого-то сняли, кому-то дали нагоняй. Словом, наш спецкор заработал репутацию бесстрашного воителя за правду, которого даже стали побаиваться...

Но вся штука в том, что ему действительно казалось, будто такой он и есть на самом деле.

До того дня.

Юра вполуха слушал человека, сидящего напротив него. Он лениво смотрел в окно на пыльную, пустую, раскаленную зноем улицу. Прошла женщина, придерживая платье и закрываясь другой рукой от вихря пыли, которую гнал ветер с реки.

Все, кто мог, ушли купаться и оставили Юру дежурить в редакции, благо в номере стоял его материал. Сколько времени ему еще торчать здесь? Номер вел сам редактор, человек, прямо скажем, въедливый, читающий каждый оттиск,— перспектива, следовательно, была не из радужных.

— Разве вы не понимаете, какое значение это имеет для него?— говорил посетитель.— Вы молодой человек, у вас все впереди, а он завершает жизнь.

Завершает жизнь — сильно сказано. Юра впервые за время разговора взглянул на этого человека. Лет шестьдесят, может, с хвостиком. Одет аккуратно, в темно-серый костюм, не без претензии на несколько старомодную элегантность. Белая рубашка. Бабочка, несмотря на жару. Худощавое лицо. Седина, правда, изрядно поредевшая...

Все ясно. Старый актер. Лев провинциальной сцены. Амплуа — благородный отец или старый честный специалист-интеллигент. В современных пьесах — ученый, понимающий стремление молодежи.

— Позвольте представиться еще раз,— сказал он, почувствовав, что наконец Юра проявляет подобие интереса к нему.— Вы были чем-то отвлечены. Я понимаю... Моя фамилия Ковецкий. Леонид Сергеевич.

Ну, конечно, так и есть. Знаменитый в Красногорске Ковецкий, недавно ушедший на пенсию. Тот самый, которого, как говорят старожилы, не раз приглашали

в Художественный театр, но он предпочел родной Красногорск.

— Я друг Ивана Павловича Замошкина, директора нашего театра. Не скрою, мне известно, что в редакции есть статья о нем. И я просил бы вас выслушать меня.

Ах вот оно что. Выслушать. Но дело-то ясное. Ваш друг Иван Павлович ухитрился получить всяческих дефицитных стройматериалов несколько больше, чем ему требовалось на ремонт театра. Остаток же — и довольно солидный — пошел на достройку дачи главного режиссера театра. Что и с полной очевидностью установлено работниками ОБХСС. А фельетон на сей счет (не статья, как вы изволили выразиться, а фельетон) вашего покорного слуги под названием «Крез на Парнасе» стоит в номере. И никакая сила его не снимет. Вот что следовало бы сказать обаятельному Ковецкому. Но Юра не сделал этого — не полагалось. Да и что-то в облике и поведении старца удерживало его от этих прямых, обидных слов. И еще — было жарко и душно, а такой разговор требовал сил.

Юра сказал: я вас слушаю.

Ветер за окном, кажется, улегся, но зато зной усилился. Сейчас бы кваску со льдом (квас со льдом он считал собственным изобретением, которым очень гордился).

— Дело в том,— продолжал Ковецкий,— что Иван Павлович не знал, куда пойдут излишки стройматериалов.

— Вот как?— искренне удивился Юра.— А сколько требуется этих самых стройматериалов для ремонта, он тоже не знал? Если не ошибаюсь, театр ремонтируется чуть ли не каждый год.— Старец просто начинал его забавлять. Неужели он думает, что газетчика можно провести такими штуками?

— Ивану Павловичу позвонило одно известное лицо из вышестоящей инстанции и попросило проставить в заявке именно эти цифры,— хорошо поставленный голос Ковецкого звучал ровно, ни тихо, ни громко. Как и требовалось в данном случае. В нем появилось даже что-то эпическое.— Да-с. В ответ же на протесты Ивана Павловича по поводу завышенных цифр ему было сказано, что это его не касается, так надо ради дела, оформление бумаг пусть его тоже не беспокоит. От него требуется заявка. Только заявка.

— Известное лицо из вышестоящей инстанции, разумеется, инкогнито, как в «Ревизоре»?— спросил Юра. Вот деталь, которая могла бы обогатить материал: к нам звонило высокопоставленное лицо, да еще инкогнито! Неплохо. Жаль, что он не знал этого раньше.

— Нет, не инкогнито,— зло сказал Ковецкий.— Его фамилия будет фигурировать в деле.

— Но доказательств тем не менее, что оно звонило, нет?

— Нет. Какие же могут быть доказательства?

— И это — все?— спросил Юра.

— А вам этого мало?— вдруг срывающимся голосом закричал Ковецкий.— Я по вашему лицу вижу, что вы не поверили ни одному моему слову. Вам легко допустить, что два человека с седой головой лгут! Откуда, откуда это недоверие, эта черствость души.— Ковецкий встал и, с треском отодвинув стул, пошел к двери. У порога остановился:— Неужели даже и сомнения у вас нет, а вдруг вы оклевещете честного человека? Почтенного, тридцать лет прослужившего в театре. У него дети взрослые. Внуки!

— Факты — упрямая вещь,— заметил Юра. Он с трудом сдержался, чтобы не сказать: отлично сыграно. Браво, браво.

— Разумеется, факты на вашей стороне. Вам лично ничего не угрожает.— Ковецкий овладел собой и вдруг проговорил с сожалением:— Эх, молодой человек, как же вы жизнь-то свою проживете? Плохо начинаете. Плохо.

Он вышел, тихо прикрыв дверь.

Что-то шевельнулось в душе Юры. А может, и в самом деле было так — приказали бедному директору, нажали, а сами в кусты? Допустим. Но Иван Павлович не мальчик. Тридцать лет работает в театре. Небось тертый калач. Знает, чем это пахнет. Сомнительно, чтобы он мог клюнуть на такую дешевку, даже если боялся ссориться с начальством. А с другой стороны — неопровержимые данные. Ребята из ОБХСС поработали как надо. Ничего не скажешь.

Так-то оно так... Но вдруг Ковецкий говорил правду? И был прямой приказ. Хотя и незаконный, но все-таки приказ. А сам директор в махинации не участвовал? В таком случае фельетон нужно было снять с номера, отложить, все начинать сначала.

Слишком хлопотно. Старик мог и сыграть ради друга. Играл же он Полония.

Вошла Лида, девятиклассница, работавшая летом курьером, и принесла свежую, влажную, с мажущейся краской полосу.

«Крез на Парнасе», с подзаголовком — фельетон, был разверстан высоким подвалом. Он стоял очень красиво, сразу бросался в глаза крупным заголовком и фамилией автора снизу. Ах эта фамилия — всего семь букв, как нот в гамме. А ведь из этих семи нот создаются симфонии. «Крез на Парнасе». Сенсация воскресного номера. Разговоров на неделю в целом городе. Звонки знакомых. Поздравления. Снять сейчас этот фельетон было просто глупо. А к тому же для этого потребовалось бы пройти через весьма неприятный разговор с главным. Так, так — ставите непроверенный материал? Ну что ж, снимем. Задержим газету. Но наперед будем знать...

Юра взял карандаш. Сейчас он подпишет — и все будет кончено. Леонид Сергеевич стоял у порога вполоборота к нему: плохо начинаете, молодой человек, плохо!

— Изыди. Сгинь, нечистая сила,— сказал Юра. Собственно, видения никакого не было. Это Юра сказал так, для порядка. Он еще успокоил себя: какой актер, как сыграл!

— А потом?— спросила Майя.

— Потом, когда фельетон был напечатан, Иван Павлович слег. Тут-то все и началось. Ко мне пришли его сыновья, один инженер, которого хорошо знали в городе, другой студент. Они требовали опровержения.

Дополнительного расследования потребовали почти все актеры театра, и было точно установлено — во всей этой истории (кроме его злополучной заявки, конечно) директор не принимал никакого участия. Он даже не знал, куда пошли излишки стройматериалов.

Видимо, Ковецкий был прав. И со временем я убедился в этом. Но в том-то и дело, что опровержения газета дать не могла. Факт оставался фактом — документ, подписанный директором, излишки, которые пошли на строительство частной дачи.

Я добился того, чтобы меня пустили в больницу к Ивану Павловичу, куда он попал после тяжелого сердечного приступа.

Не забуду его лицо, когда я вошел к нему в палату...

«А-а, это вы,— сказал он,— вот вы какой. В сыновья мне годитесь.— Он закрыл глаза и проговорил:— Что же вы сделали?— И опять повторил:— Что же вы сделали? Как же теперь? Я — обыкновенный человек,— сказал он потом,— есть люди с талантом, есть удачливые, деятельные, а у меня было только одно — честное имя...»

— Понимаешь,— медленно проговорил Юра,— он напомнил мне отца. Как и мой отец, он просто делал свое дело. А я зачеркнул всю его жизнь. Взял и зачеркнул. Одним махом. Из-за подписи под подвалом. Поздравлений. И самой обыкновенной трусости — испугался неприятного разговора с главным.

— Ты как Валька. Как мой Валька,— сказала Майя и коснулась пальцами его волос.— Послушай, Юра, а ты... Знаешь, может быть, сейчас я делаю то, что ты тогда, с этим фельетоном. Я ведь чужая невеста, и он будет несчастлив. Всю жизнь. Я знаю.

— Нет, это другое. Совсем другое,— сказал Юра.— Понимаешь, то, что тогда произошло, уже невозможно было поправить. И я должен жить с этим. Всю жизнь.

— И я тоже. Буду знать, что он несчастлив. Всегда буду знать. Ну, скажи, скажи — как мне поступить?

— Разве ты не решила?

— Решила. Но теперь, когда ты мне рассказал... Ты как Валька,— снова повторила она.— А если ты из-за этого переменишься ко мне?

— О чем ты говоришь? Все равно ты не смогла бы лгать. И все рухнуло бы, как только ты поняла бы себя.

— Теперь мне ничего не страшно,— сказала Майя.— Я тебя никому не отдам. Только уедем как можно скорей. Увези меня. Все равно куда. Обещаешь?

— И я тебя не отдам. И мы уедем.— У Юры перехватило дыхание от запаха ее волос, от звука голоса, оттого, что она была так близко.— Уедем хоть завтра. Куда хочешь — хоть к черту на рога.

...Теперь, сидя за столом в большой комнате напротив Полины Александровны и справа от Майи, Юра про себя повторял фразу, которую должен был сейчас сказать. Полина Александровна молчала. Свет из окна падал на ее лицо, оно казалось Юре замкнутым, отчужденным, и он все медлил. Молчание становилось тягостным, и Майя решилась.

— Знаешь, мама, лучше сразу. Мы с Юрой... Наверно, нам придется уехать...

— Да, да,— поспешил вмешаться Юра.— Мы уедем в Среднюю Азию, Самарканд, Хива, Бухара... Это совсем другой мир. Иногда кажется, что вот сейчас оживут древние караванные пути,— Юра словно подальше хотел отойти от этого слова «уедем»,— а в долинах — розы. В горах — звон ручьев, цветущие тюльпаны...

Что за чушь — тюльпаны, звон ручьев! Я люблю ее, и что бы ни происходило, она будет моей женой — вот что надо было сказать. Но что-то удержало его — нет, нет, не трусость, лицо Полины Александровны. Может быть, он почувствовал: сейчас нельзя, не время?

— Туристский сезон,— тихо проговорила Полина Александровна. Она попыталась улыбнуться. Но лучше бы не пыталась. В ее лице вдруг мелькнуло выражение резкой боли, такой резкой, что она не смогла сдержать ее и поспешила опустить голову.

У Майи все оборвалось, и это на мгновение мелькнувшее выражение вдруг отозвалось ярким и острым воспоминанием — далеким и, казалось, забытым... Удивительно, что мама так и сказала — туристский сезон — и попыталась улыбнуться. Но лучше бы не пыталась.

...Это было в Феодосии позапрошлым летом. Вместе с ребятами из своей группы она ждала автобуса, чтобы уехать на турбазу, в спортивный лагерь. Они стояли на самом солнцепеке и, как всегда, острили и смеялись. Рюкзаки сложили в кучу, и Борис уже бренчал на гитаре. Остановка была недалеко от рынка, мимо них, обливаясь потом, проходили люди с тяжелыми кошелками. А они пели свои песенки про костры, корабли, уходящие в неведомое; злых, бесстрашных, нежных капитанов; про ветер, который зовет в дорогу, и девушку, которая остается. Им было весело. Они пели и смеялись. Впереди были беззаботные дни, горы, море, ночные костры, крупные южные звезды, нависшие над головой,— им казалось, что все было создано здесь специально для них, веселых и бесшабашных туристов, и что все люди здесь разделяют их настроение, потому что дико и нелепо не радоваться солнцу, морю, своей силе и молодости.

Скоро должен был подойти автобус. Народу на остановке все прибывало. Здесь были старухи с темно-

коричневыми, словно высушенными солнцем, морщинистыми лицами, женщины в белых платках с детьми и полными тяжелыми сумками, но больше всего «работяг», которые ехали на фабрику во вторую смену.

«Эти птицы накличут нам бурю. Но не страшен нам злой ураган...»— запел Борис, и остальные поддержали его.

Они стояли и пели. Потом Майя увидела, как к остановке подошла молодая женщина, а за ней старик в чистенькой белой рубашке с галстуком, в голубоватой соломенной шляпе, какие продавались в Феодосии в каждой палатке ширпотреба. Старик бережно вел за руку девочку. Ему было трудно идти, но он крепился и, чтобы женщина не беспокоилась, даже наклонился к девочке и что-то говорил ей. Подошел автобус, и началась посадочная суета. Молодая женщина расцеловала старика и крикнула ему: «Папа, берегите себя». Старик приложил ладонь к уху, и она снова повторила: «Берегите себя, папа». Она еще что-то кричала, и старик кивал головой и все смотрел на свою внучку, гладил ее волосы и, видимо, все спрашивал, не хочет ли она чего. «Не беспокойтесь, папа»,— кричала дочка. А он все никак не мог выпустить руку своей внучки, смотрел на нее, будто хотел запомнить навсегда.

Наконец дочка решилась и потянула за руку девочку. Они вошли в автобус. Старик остался на остановке — он смотрел на них и улыбался. И лишь когда автобус тронулся, на лице его вдруг проступило выражение острой боли, но он продолжал махать им рукой.

«...Но не страшен нам злой ураган»,— неслось из автобуса.

«Нам, туристам, ничего не страшно»,— с неожиданной злостью подумала Майя.

— Полина Александровна...— начал Юра.

— Да, да, догадываюсь.— Полина Александровна уже справилась с собой, как будто и не было на ее лице выражения острой боли, и голос звучал ровно.— Догадываюсь,— повторила она и, повернувшись к Майе, сказала:— Знаешь, я все-таки позвонила туда, в управление. Странный был разговор. Толком они мне так ничего и не объяснили. Либо сами ничего не знают, либо не хотят говорить — и что-то там случилось. С Валей. Или с Севой.

## 4

Они решили не дожидаться весны, звона ручьев и красных тюльпанов в горах,— решили ехать на днях. Как только появятся Валька и Сева. Как только Майе можно будет оставить мать. Несколько дней, чтобы Юре взять отпуск, а ей договориться в деканате, а потом сразу уехать. И, как сказал Юра, переждать бурю в гавани. Он не хотел сказать ничего обидного. Но было именно так. Ей было страшно встретиться с Севой и потом находиться под одной крышей с Валькой и мамой или даже жить с ними в одном городе. Уехать — а там будь что будет.

В доме словно стало еще тише. Полина Александровна не заговаривала с Майей ни о Вальке с Севой, ни о Юре, не спрашивала, где он (Юра поехал к матери в Пензу на несколько дней),— может быть, надеялась, что Майя одумается, что это пройдет, как болезнь?

А Майя, набегавшись за день, приходила домой, садилась в свое кресло и думала, вспоминала. Днем она что-то делала (потому что должна была делать), слышала какие-то голоса; кому-то что-то говорила, потому что иначе было нельзя, и ждала той минуты, когда придет к себе в комнату, сядет в кресло. Останется одна. И будет думать о Юре. И никто не сумеет ей помешать.

Майя вспоминала улицы, по которым они ходили, никогда раньше она не знала, что в Москве так много неожиданных тупичков и маленьких, прихотливо изгибающихся переулков, кафе, где они сидели, то место на углу Зубовской площади, где встречались. Она без конца, без устали думала о нем, легко переносясь из прошлого в будущее. Там, в будущем, они бродили по лесу, бежали под дождем, накрывшись одним плащом, принимали друзей Юры.

И сейчас, погруженная в свои мысли, она не заметила, как вошла мать, зажгла свет, села на тахту.

— Ты что, мама?— спросила Майя, очнувшись.

Полина Александровна не отвечала и все смотрела на Майю, вероятно, она пришла что-то сказать, может быть, поговорить, но, почувствовав ее состояние, раздумала или не решилась.

— Ничего... Давай ужинать.

— Не хочется.

— Тогда ложись. Я укрою тебя.

Полина Александровна села у постели, погладила ее по голове:

— Ты заболела, это пройдет. Вот увидишь, пройдет. Только прошу тебя об одном — подожди.

Нет, мама никогда не поймет. Она жалеет их. Осуждает и жалеет. Но разве можно жалеть счастливого человека, даже когда ему так трудно, даже когда неизвестно, что впереди? Разве ей понять такое, когда на тебя нападает страх, что все это снится и сейчас кончится?

В полутьме, будто издалека, Майя видела лицо матери, смягченные линии, прикрытые глаза, тонкую худую шею — и она вдруг представилась Майе молодой, красивой, счастливой, какой она смутно помнила мать в детстве. Прямая, с пышными пепельными волосами, легко двигающаяся, смеющаяся. А ведь и мама была счастлива, и у нее все было, подумала Майя. Она взяла руку матери и сказала:

— Расскажи мне об отце...

Пальцы Полины Александровны чуть дрогнули. Она долго молчала, словно перебирала в памяти прошлое, потом сказала:

— Хорошо. Расскажу.

...Полина сидела на скамейке, в самом конце аллеи, которая вела к проходной. Там, за проходной, был другой мир — полетов, заданий, риска,— мир, недоступный для непосвященных. Она ждала уже долго, дольше, чем обычно. Отсюда ей было видно, как взлетали и уходили в прозрачную синеву самолеты, как они снижались, кружили над аэродромом, шли на посадку. В воздухе, то нарастая, то стихая, стоял звенящий гул, и казалось, листва на деревьях вздрагивала и осыпалась, когда все вокруг заполнялось ревом моторов. Но листья осыпались, потому что был август, сухой, почти безветренный, с чистым прохладным солнцем.

Только сейчас Полина подумала о том, что значит быть женой летчика — вот так ждать всю жизнь, и волноваться, и не знать ни минуты покоя, и не суметь помочь в трудную, может быть, последнюю минуту.

Костя появлялся всегда неожиданно, шумный, возбужденный после полетов,— пришелец оттуда, от него словно все еще пахло небом, и Полина никогда не знала, что он еще придумает в следующую минуту,— так радовался он всему: что она с ним и будет с ним до самого вечера, и солнцу, и дождю, и товарищам, когда

они все вдруг решали поехать куда-нибудь. Полине казалось, что время углублялось — бесконечно много вмещали в себя минуты и часы, когда Костя был с ней.

Полина ждала, смотрела на самолеты, идущие на посадку, пыталась угадать, какой Костин. Но самолеты садились, а Костя не появлялся.

Поднялся ветер. Гул моторов все чаще прерывался — полеты, видимо, заканчивались. Иногда становилось так тихо, что слышно было, как вздрагивала листва, успокаиваясь, когда ветер прекращался. Один самолет с ревом пронесся над аэродромом, круто взмыл, сделал круг, снова пошел на посадку. С земли взвилась красная ракета, запрещающая посадку, и самолет снова ушел вверх.

Теперь она неотступно следила за этим самолетом.

Летчик резко бросал его из стороны в сторону, круто набирал высоту, стремительно падал к земле.

Что это? Так надо или что-то произошло? Полина закрыла глаза, сосчитала до десяти, но самолет продолжал метаться — это было совсем непохоже на выполнение задания, во всех его движениях было что-то судорожное, тревожное.

Полине было страшно. Нет, это не Костя, успокаивала она себя, не Костя.

Господи, помоги ему, шептала она в следующую секунду. Что, что я должна сделать, чтобы помочь этому летчику? Кого молить?

Она не могла сказать, сколько времени так продолжалось — минута, секунда, час. А самолет снова пошел вверх — теперь ровно и плавно он набирал высоту.

Добился ли летчик, чего хотел, или там, в небесах, один на один со своей судьбой он должен был искать ответа — как поступить?

Неожиданно самолет появился с другой стороны. Медленно, осторожно он снижался, видимо шел на посадку.

И вдруг Полина услышала вой сирены — неужели санитарная машина мчалась к тому самолету?

Полина побежала к проходной. Молоденький солдат, как будто ничего не произошло, остановил ее.

— Там мой муж, Костя, пустите меня...— просила Полина. Она не помнила, что еще говорила этому солдату, почти мальчику, с суровым, нахмуренным лицом. А он, стараясь не смотреть ей в глаза, твердил одно и то же:

— Не положено. Не имею права. Не положено.

Но все-таки взял телефонную трубку, что-то спросил, что-то сказал и вдруг повернулся к ней, широко улыбаясь:

— Жив ваш муж. Жив-здоров. Сейчас выйдет.

Полина не помнила, как подхватил ее Костя, понес на руках по аллее, посадил на скамейку, ту самую, где она ждала его, сел рядом с ней и принялся вытирать слезы, а она и не замечала их.

— Ну что ты, глупая... Видишь, вот я. Собственной персоной. Жив и невредим.

— Не отпущу тебя больше. Не отпущу,— глотая слезы, говорила Полина.

— Ну конечно. На этом поставим точку. Будем ловить рыбу. Или разводить пчел. И пить медовуху. Я тебе покажу, как качают мед. Ты будешь качать мед и учить окрестных детей...

Понемногу успокаиваясь от звука его голоса, она спросила:

— А ты умеешь разводить пчел?

— Умею. У деда была маленькая пасека. Ты знаешь, когда качают мед, полагается всех угощать. Приходят косцы. Ребятишек — всех, сколько ни набежит. И каждому наливается по кружке пахнущего меда. А он жидкий и теплый, как парное молоко. Пей сколько хочешь!

— А я боялась пчел,— сказала Полина,— но теперь не буду.

— Теперь тебе нечего бояться, раз ты моя жена.

— Жена?

— Ты же сама сказала в проходной, что жена. Остается только пойти в загс. А то еще раздумаешь...

...Потом, когда они вышли из загса, Полина спросила:

— А где мы будем жить?

В самом деле, где? Костя жил в военном городке, в комнате вдвоем с товарищем, а Полина — в общежитии педагогического института.

— Комнату мне дадут,— сказал Костя,— а пока... Поехали гулять! Устроим свадьбу без гостей...

В тот день Полина так и не узнала от Кости, что же случилось с самолетом. Позже он рассказал, что-то заклинило, и шасси не выпускалось. Он пытался их раскачать и выбросить динамическими ударами, но ничего не получалось. И бензин был на исходе. Оставалось ли-

бо выбрасываться с парашютом, либо садиться «на пузо». Решил садиться.

— А это опасно?— спросила Полина.

— Как сказать... Если чуть не рассчитаешь угол, скорость, ветер и прочее — от самолета останутся щепочки. Но в общем — посадить-то можно...

Это он рассказал позже. А в тот день после ресторана они поехали в парк и катались на лодке, и Полина видела лицо Кости, когда он греб, взмокшие волосы, капельки пота на лбу и прищуренные от солнца глаза, и она ни о чем не думала, только хотела, чтобы лодка шла еще долго, и так же скрипели уключины, и пригревало солнце, и в воде отражались облака, и только смотрела, как Костя греб, обдавая ее холодными брызгами, когда срывалось весло. Потом они купались, гуляли по саду, и пили воду, и ели мороженое. И Костя читал стихи — те, что у всех на слуху, и самые неожиданные. И это был долгий день...

Уже светало, когда они остановились перед подъездом общежития, где жила Полина.

Костя обнял ее, близко заглянул в глаза:

— Даже не верится. Ты — моя жена...

— Будь осторожен там, в воздухе... Ладно? Обещаешь?— проговорила Полина.

— Обещаю,— засмеялся Костя.— Торжественно клянусь!

У Полины вдруг сжалось сердце — словно от предчувствия далекой беды. Она навсегда запомнила: зыбкий утренний свет начинающегося утра, тишину, четкий стук каблуков одинокого прохожего, смеющееся лицо Кости и его слова — торжественно клянусь!— как будто в эту минуту прочитала свою судьбу.

Мать уже давно ушла, но Майя не могла заснуть. Лежала с открытыми глазами, думала. Она словно ощутила шум и живые голоса того далекого времени. Они были другие. Гуляли до рассвета в свою первую ночь. Расставались и умели ждать. В них была какая-то особая сила.

И какая жизнь! Бессонные ночи, когда отец уезжал на испытания. Война. Годы войны. Тогда матери было двадцать пять — двадцать шесть. Всего на четыре года старше ее. А в ней есть ли эта сила?

Засыпая (или уже во сне?), Майя слышала какие-то приглушенные голоса, шаги. Поднялся ветер, ворвался в дом, двери захлопали и заскрипели. Над головой от удара молнии вспыхнул свет. Но это был мертвый огонь — он не горел, а светился холодным, белым светом.

Майе стало страшно. Она собрала все силы, чтобы проснуться, но не могла пошевелиться — таким холодом веяло от этого мертвого огня. Ей казалось, что она замерзает, дыхание останавливается. И вдруг — огонь погас. Она почувствовала тепло — и проснулась.

Было уже утро. Солнечный свет заливал комнату. За окном шумела улица. А в квартире стояла тишина.

## 5

Майя вышла из своей комнаты и остановилась — что-то неуловимо изменилось в квартире. Как будто все было на своих местах, как вчера, как всегда, и все-таки... Ну конечно. На столе лежала Валькина трубка — и воздух был уже другим. Ночью он курил, ходил по комнате, разговаривал с матерью,— значит, не во сне слышала шаги и голоса. У Майи заныло сердце — ну, вот оно, начинается. Только не отступать. Что бы там ни было — не отступать. И сказать все сразу. А потом они с Юрой уедут. Делайте что хотите, а они — уедут.

Полина Александровна хлопотала на кухне. Майя сразу ощутила: нет у матери того радостного возбуждения, которое она даже не пыталась скрывать, когда приезжал Валька.

— Доброе утро, мама. Валька приехал?

— Приехал.

— Ну вот. А ты беспокоилась.

Мать не ответила, а Майя не стала больше расспрашивать. Только сейчас она почувствовала, как ждала и как боялась встречи с Валькой. И — как ей не хватало его. Насколько было бы легче, если бы Валька мог понять. Но где уж ему — благородному рыцарю, следопыту-землепроходцу.

— Спит таежный зверь? Пойти разбудить?— сказала Майя.

— Не надо. Привет, первоклашка! Как ты тут?— Он стоял в дверях, широкоплечий, здоровенный, в своих

старых тренировочных брюках, небритый, со спутанными волосами.

Валька улыбался, но глаза его были озабоченные. Сухие, как отметила про себя Майя. И лицо осунувшееся. Он обнял ее, достал все-таки своими длинными ручищами, и взъерошил ей волосы.

Ну, самый подходящий момент. Надо сразу — потом будет труднее. Майя собрала все силы, все в ней напряглось, но голос прозвучал как обычно, пожалуй, только немного тише:

— А я, знаешь, замуж выхожу...

— Знаю.— Валька замялся.— Потерпи немного. Все уладится — вот увидишь.

«Что это он?— удивилась Майя.— Или мама ничего не сказала?» Она мягко отстранилась, села у окна и снова повторила:

— Я выхожу замуж. И мы с Юрой уезжаем.

А теперь можете меня убивать — Майя не произнесла этих слов, но их и не надо было произносить.

— Какой Юра?— нахмурился Валентин.— О чем ты?

— Почему ты не спрашиваешь о Севе?— вмешалась Полина Александровна.

— Мы с Юрой уезжаем. Уезжаем,— с каменным лицом повторила Майя.

Глаза у Валентина потемнели. Он, кажется, начинал понимать.

— Постой, постой, ты...

— Да,— сказала Майя.— Да.

И Валентин, никогда не выходивший из себя, вдруг закричал:

— Ты с ума сошла! Ты не смеешь, слышишь, не смеешь так поступать!— Он задохнулся.— Это подло!

Майя ждала всего — ледяного молчания, презрительных, обидных, как пощечина, слов, только не этого взрыва. Она закрыла глаза. Что ж, пусть так. Тем лучше. Конечно, она поступает подло. Что он еще мог сказать? Майя ощутила какую-то холодную пустоту внутри. Неважно, что она ответит. Все равно.

— Ты хочешь, чтобы все жили, как ты. А я не хочу.— Майя не слышала своего голоса.— Не хочу, понимаешь? Жить, как ты,— а по-другому подло? Ты счастлив? Тебе тридцать, а чего ты добился? Что ты сделал, что сумел? Исходил всю Сибирь и даже не защитил кандидатской. А все твои принципы.

— Замолчи! Стыдно слушать,— вырвалось у Полины Александровны.— Замолчи,— чуть слышно повторила она.

Но Майя, плохо понимая, что говорит, только чувствуя, что будет стыдиться своих слов, уже не могла остановиться:

— Ах, вот как — замолчать. Но не ты ли учила меня не бояться правды? Или к благородному Валентину это не относится?

— Разве ты забыла, Валя бросил аспирантуру после смерти отца. Тебе было двенадцать. А я — ты знаешь, что было со мной...— Полина Александровна тяжело опустилась на стул, закрыла лицо рукой.

— Ну конечно,— зло сказала Майя,— это я во всем виновата. Это я испортила карьеру Валентину. И его личную жизнь — тоже.

Она вдруг перехватила взгляд Валентина, устремленный на мать, и замолкла. От жалости к матери, от стыда и обиды у нее перехватило горло.

Валентин молчал. Он так и стоял в дверях, не шевельнувшись,— только прижал ладонь к лицу, чтобы не смотреть на Майю.

А у нее звенело в ушах и перед глазами плыли зеленые круги. Надо уйти. Встать — и уйти. Но не было сил. И все-таки заставила себя подняться, сделать шаг. Валентин не заметил ее движения. Теперь надо бы сказать — дай пройти. Сейчас она скажет. Еще минута.

— Пропусти меня,— сказала Майя. Теперь, когда она услышала свой голос, ей стало легче. Комок в горле как будто растаял.— Извини,— и еще раз повторила:— Извини. Все не так...

— Почему же? Вроде все правда. Все так и есть.— Валентин посторонился. Теперь Майя могла уйти, но она должна была еще что-то сказать. Просто еще два слова.

— Тут приходила Таня. Сидела у нас. Спрашивала о тебе. Позвони ей.

— Хорошо. Спасибо.

— Она долго сидела. Обо всем говорили.

Валентин промолчал. И Майя, будто угадав, о чем он думает, неожиданно для себя сказала:

— Я видела ее глаза, когда она спрашивала о тебе. Таня и сейчас любит тебя.

— У нее ребенок.— Валентину было трудно говорить, мог бы промолчать, но он все-таки ответил.— И она счастлива по-своему.

— По-своему... Не обманывай себя.— Майя остановилась, словно не решаясь досказать.— Она несчастлива. Из-за тебя.

— Федя, ее муж, мой товарищ...— Валентин оборвал себя. Что это он — оправдывается?

Нет, он не раскаивается. Не раскаивается ни в чем. И в том, что бросил аспирантуру, и в том, как они решили с Таней. Решили вместе. В те дни, вскоре после смерти отца.

Валентин никогда не думал, что так много людей знают отца. Он не слушал речи над могилой. Он стоял рядом с матерью, держал ее за руку и смотрел на ее застывшее лицо. Все эти страшные сутки мать не плакала, не говорила, не ела. Она сидела и безжизненными глазами смотрела в пространство. Все, что делалось в доме, словно не касалось ее. Когда ее о чем-то спрашивали, она кивала головой. Но Валентин чувствовал: время от времени мать ищет глазами его и Майю.

— Мы здесь, мама, с тобой,— говорила Майя.

Сейчас она стояла с другой стороны и, обняв мать за плечи, тихо плакала.

Кругом были лица, много лиц, но Валентин словно не видел их. Он смотрел на мать, даже не смотрел — прислушивался к ней, к тому, что у нее происходило в душе, чтобы вовремя помочь тем слабым силам, которые сопротивлялись отчаянию и горю. И только войдя в дом после кладбища, когда мать, обняв его, первый раз заплакала, Валентин почувствовал, что, вероятно, самое страшное, самое худшее позади.

В доме хлопотали женщины, жены друзей отца, они все сделали и все приготовили, что надо.

— Сядь на место отца,— тихо сказала мать. Первое, что она сказала за этот день.

Валентин сел во главе стола. Отсюда ему были видны все, или почти все,— народу было так много, что женщины все что-то подставляли и подставляли (стол занял всю комнату), но все равно всем не хватало места, и люди стояли и сидели кто где мог.

Теперь Валентин узнавал знакомые лица — товарищей отца, которые часто бывали у них в доме, и тех, ко-

го он видел редко. Были и совсем незнакомые люди, вероятно сугубо штатские, не имеющие отношения к авиации. Где-то в конце стола сидел пожилой человек, лысоватый, в чистой белой рубашке с темным галстуком, с усталым лицом. Он хмурился и молчал. Его, видно, никто не знал здесь. Была еще седая женщина в черном платье с молодым человеком, по-видимому сыном; какая-то старушка; парень с девушкой — она тихо плакала, вытирала слезы мокрым платком, и парню было неловко за нее.

Кто они, эти люди? В какой момент своей жизни они встретили отца и он помог им, принял участие в их судьбе? Отец никогда не жалел времени и душевных сил пригласить к себе, поговорить, куда-то поехать, чего-то добиваться, а потом встречаться — люди не уходили от него.

Кто-то сказал: у него всегда хватало времени быть человеком.

Лица людей, сидящих за столом, то неожиданно высвечивались, четко и резко, то расплывались. До сознания доходили какие-то слова, не их смысл, а интонация, как они говорились.

Только одно лицо — матери — было все время перед ним.

Фронтовые товарищи.

Один прилетел из Владивостока, другой из Ленинграда. Близкий друг отца — из Берлина. Они говорили о том, что было тогда. Только об этом. Когда отец был с ними и все они были молоды. А теперь их осталось мало. Из тех, с кем начинали в сорок втором, только трое. Они не могли примириться, что нет отца. Он как бы был с ними за этим столом, и они вместе вспоминали войну.

Когда начали расходиться, к Валентину подходили, что-то говорили или просто молча жали руку. Потом остались четверо — мать, ее сестра и они с Майей. Была бессонная ночь, долгие часы полусна-полузабытья — во всех комнатах горел свет...

Только через несколько дней Валентин сел за стол отца, чтобы прибрать его бумаги.

Он сидел за столом, где еще лежали трубки, оставленные отцом, пепел в пепельнице, спички. Журналы с закладками. Недочитанная книга, закрытая на странице с загнутым уголком. Где-то в дальнем углу ящика Валентин нашел пачку писем с фронта, которые мать

сохранила, еще какие-то письма, и среди них рисунок Майи, когда ей было семь лет,— большое желтое солнце, две девочки с косичками, а над ними дугой, до самого неба,— скакалки.

Дневники испытаний, которые отец вел для себя. Там почти не было технических записей, скорее наблюдения за собой, мысли, наспех занесенные в тетрадь после полетов.

Что остается после смерти человека? Бумаги, вещи, фотографии... И — пустота. Такая, что ее ничем не заполнишь. Наверно, это так: когда человек уходит — что-то меняется в мире. И ты чувствуешь, какие-то краски погасли, исчезли — им уже не ожить. Чего-то уже больше не увидишь, не услышишь, потому что не услышишь его голоса, слов, не увидишь глаз. А что-то, может быть самое главное, будет в тебе жить до конца.

...Они собирают с отцом чернику и все глубже уходят в лес. Валя не заметил, как они спустились в ложок, и им открылась поляна, заросшая островками мха. Мох был пушистый, нежно-зеленый и будто светился от заходящего солнца. Шагнешь — и провалишься. Валя остановился в нерешительности. Стояла тишина, щебет птиц доносился издалека, как будто сюда они боялись залетать. С другой стороны поляны тропинка чуть поднималась, снова начинался лес, бронзовые сосны, темные, заросшие до земли ели, и на пологом склоне выступали корни, причудливо изгибаясь, сплетаясь, словно застывшие змеи. И Вале показалось, что вот сейчас, прямо сейчас, он увидит избушку на курьих ножках.

— Ну,— сказал отец,— что будем делать?

— Пойдем домой.— Валя попятился. Ему стало страшно.— Как по-твоему,— чуть дрогнувшим голосом спросил он,— что там, вон за той елкой?

— Не знаю,— сказал отец.— Посмотрим?

— Лучше пойдем домой.

— Так не годится. Ты боишься и хочешь отступить.

— А ты не боишься?— спросил Валя.

— Как тебе сказать...

— Ага,— обрадовался Валя.— Ты большой и боишься. А я — маленький.

— Но это все равно,— ответил отец.— Если боишься, когда маленький, то будешь бояться всегда. Всю жизнь...

Валя задумался. Он не хотел бояться всегда, всю жизнь. Он хотел летать, как отец, или плавать по морям

в бурю — твердо он еще не решил. Но ступить на мох было страшно. Если провалишься? А вдруг это не корни, а змеи, и они оживут, когда он подойдет к ним?

— Ну,— сказал отец,— решай...

Валя побледнел и, закрыв глаза, осторожно поставил ногу на мох. Она чуть провалилась, но внизу была твердая земля. Еще один шаг. Еще. Он пошел, еще медленно, с опаской, но чувствуя, что самое трудное позади. А вот и склон. Теперь Валя хорошо видел, что это никакие не змеи. Корни, самые обыкновенные корни. В лесу таких много, и он не раз спотыкался о них. Он сбежал по тропинке. Ему казалось, теперь он все может, ничего не боится. И этого дерева, которое было всего лишь старой замшелой елью, а за ней стоял молодой дубок, такой веселый, с такой светлой молодой листвой!

Валя вернулся на тропинку, стал на пенек, махнул рукой отцу и закричал:

— Давай иди, не бойся! Здесь ничего нет!

Валя видел смеющееся лицо отца, когда он легко бежал к нему и потом схватил его и подбросил вверх:

— Молодец!

Почему-то особенно ясно ему запомнился бегущий к нему отец, освещенный вечерним золотистым солнцем, его смеющееся лицо.

Валентину казалось, отец никогда ничему не учил его. Просто рядом с отцом он сам все понимал по-другому — больше видел, и мир становился словно шире, глубже. Ему вспомнились «полуночные» разговоры с отцом на кухне, когда все спали,— обо всем. Потом, повзрослев, Валя проверял себя: если может легко рассказать отцу о том, что произошло и как он поступил, значит, он был прав. А если рассказывать было трудно, он старался сначала сам разобраться, понять и потом все-таки заставить себя поговорить с отцом. В том, что он стал геологом-разведчиком и полгода проводил в трудных маршрутах, вероятно, тоже сказалось влияние отца.

Все хорошее трудно. Всегда надо что-то преодолевать в себе. Но без этого — жизнь не в жизнь. Валентин не мог вспомнить, когда, по какому поводу отец сказал это. Наверно, в одном из «полуночных» разговоров на кухне.

Такая холодная пустота — ее ничем не заполнишь. А что-то, может быть самое главное, остается. И будет в тебе до конца.

Валентин почувствовал, как круто меняется его судьба. Надо быть с матерью. Заставить ее жить. И еще — Майя. Ей двенадцать...

«Тут приходила Таня. Я видела ее глаза, когда она спрашивала о тебе. Она и сейчас любит тебя».

«Не обманывай себя. Она несчастлива. Из-за тебя».

Майя давно уже ушла в свою комнату, а Валентин все стоял в дверях, и мать сидела за столиком, все так же закрыв лицо рукой.

Нет, он не мог поступить иначе. Федя, муж Тани, его друг. Сколько было пройдено вместе. Мерзли в одной палатке. Делили последние сухари. Выбирались вдвоем, когда одному было бы не выбраться. Они твердо знали, что сделает другой в любом, самом гиблом положении, и каждый из них верил другому, как самому себе. И все это зачеркнуть? На все наплевать? Что же тогда останется?

У Валентина кружилась голова, когда он думал о Тане. Был день, и была ночь — им казалось тогда, что весь мир для них, потому что они нашли друг друга. Но и в этот день, и в ту ночь вдруг что-то всплывало и вставало между ними, и слова, которые он хотел сказать, обрывались. И Валентин понял — так будет всегда. Есть такое, через которое перешагнуть нельзя, если хочешь остаться человеком.

У него хватило сил все сказать Тане. Она молчала, пока он говорил. Она все поняла и все-таки не могла примириться.

— У нас одна жизнь, пойми. Только одна.

— Да,— сказал Валентин,— только одна. Другой не будет.

Он сразу уехал тогда, и уже прошло два года, но будто и не было этих двух лет. И опять Таня приходила и спрашивала о нем...

Полина Александровна подняла голову:

— Надо сказать Майе о Севе.

— Конечно. Сегодня поговорю с ней.— Валентин подошел к столу и сел напротив матери.

— Что думаешь делать?— спросила она.

— Поеду к ребятам. В институт, в министерство. Надо посоветоваться. Дорог каждый день.

Если бы не это несчастье с Севой, он никогда бы не позволил себе так накричать на Майю. А тут все сошлось. Она вольна поступать как хочет. Но только пусть решает, когда узнает все.

Валентин поднялся:

— Надо ехать. Пойду одеваться.

— Поезжай,— сказала Полина Александровна.

## 6

Начинало светать, но Юра уже не спал. Он сидел у окна и смотрел на заснеженные поля, далекие мелькающие огоньки, редкие, покрытые снегом крыши домов, вдруг проступающие из мглы, и ему казалось, что конца нет этим синеватым снегам, и крышам, и огонькам, и застывшим безлюдным полустанкам.

Бесконечные три дня, которые он провел у матери в Пензе, и не видел Майи, и был далеко от нее, и писал ей письма,— показались ему целой вечностью. Три дня, а как будто какие-то события раскидали и разделили их, и вот он едет к ней и не знает, как она. И тревожно, будто что-то могло случиться. Все могло случиться. Неужели так будет всегда? Будет — не будет... Скорее бы увидеть ее, услышать голос. И больше не расставаться.

Похоже, поезд шел уже по Подмосковью. Попутчик Юры, Матвей Самойлович, давно собравший свой чемодан в портфель, сидел напротив за столиком и дремал, подперев лысую голову руками. Юре казалось, что он знаком с ним много лет и что все вчера вечером рассказанное Матвеем Самойловичем он уже слышал от него много раз. Как он восстанавливал шахты Донбасса после войны, как у него умерла жена, как он живет вдвоем с сыном, помощником кинорежиссера, и как сын отчитывает его за беспокойный характер.

Юра слушал его, кивал головой и думал о Майе. В какие-то минуты он ничего не слышал, потом голос Матвея Самойловича вдруг снова появлялся, и Юра ловил себя на мысли, что он не успел додумать что-то очень важное. Как войдет к ней в дом. Слова, которые ей скажет.

— Конечно, Саша зарабатывает. Но мне его деньги не нужны. Свою зарплату он кладет мне на столик у кровати, когда я сплю. На хозяйство. Но мне его деньги не нужны. Я кладу их на сберкнижку, на его

имя. Ему пригодятся. (Но почему, почему Майя не дала хотя бы телеграммы? Два слова. Просто чтобы была телеграмма. А еще лучше — одно.) Саша все никак не может жениться. Иногда не ночует дома. Разве это жизнь? А когда я говорю, он сердится. Но я не могу не говорить. У меня сердце болит. Такой характер. Хорошо. Я ничего не понимаю. Все преувеличиваю. Но разве это дело, когда человеку тридцать пять лет, а у него нет семьи, детей... Ну, скажите, разве это хорошо?

— Конечно, нехорошо,— отвечал Юра. (А вдруг получилось так, он уехал, а к матери пришло письмо от Майи?)

Кажется, он уже слышал, что у Сашки бывает молодая женщина, врач. Очень хорошая, симпатичная женщина, но, во-первых, она на целых четыре года старше Сашки, и потом, у нее ребенок... Про Ленинград тоже слышал. Там что ни дом — то история. Что ни дом — то музей. Юра ждал паузы. Как только будет возможность — он выйдет в тамбур. Там ветер, холодно и — никого.

Поезд набирал скорость. Еще час, полтора. В купе начали собираться, и Юра, воспользовавшись суматохой, вышел. Но и здесь, у окон, теснились люди. Ну, вот и тамбур. И — никого.

Мерно, однотонно стучат колеса. Протяжный гудок — проскочили какую-то станцию. Целых три дня он не видел Майи. Прошло три дня. В тамбур задувало морозным ветром и колючей снежной пылью. Прошло три дня, и вдруг мне показалось, что я забыл твое лицо... Вот как. Ну и ну. Давно с ним не случалось такого. Но мелодия уже появилась и тащила за собой. Прошло три дня, и вдруг мне показалось, что я забыл твое лицо. И голос твой...

Мимо прошел проводник, удивленно посмотрел на него. Стало холодно. И голос твой... Все, все забыл... Теперь Юра не мог вспомнить ее лицо. Оно виделось ему, но смутно, в отдалении, какие-то черты ускользали. И вдруг мне показалось... И голос твой и то, как ты смеялась...

Все сложилось, когда он шел в вагон. Отодвигались двери — сухим, металлическим звуком щелкали замки. Слышались голоса.

Прошло три дня, и вдруг мне показалось,
что я забыл твое лицо,

и голос твой, и то, как ты смеялась,
и тонких рук холодное кольцо.

Ну и ну. Но мелодия тащила его дальше. Все, все забыл, как будто смыло косым дождем минуты те... Юра вошел в купе и сел к окну. Его попутчики уже собрались. Они переговаривались односложными фразами, чуть напряженные, все как обычно, когда кончается дорога.

Матвей Самойлович молча смотрел в окно. «Беспокойный я человек. Все хожу, думаю — так или не так...» Увидев Юру, обрадовался:

— А я уже забеспокоился. Мало ли что — дорога...

Бедный Сашка, подумал Юра. Он словно впервые увидел лицо старика. Морщины. Седые, кустистые брови. И — грустные глаза. А ведь ему, наверно, и слова сказать не с кем. Как же так — жизнь прожил шумно, всегда окруженный людьми, ездил по стране, строил. А к старости — только Сашка... Вот и его мать так. Непросто устроена жизнь. Может, поэтому, когда люди находят друг друга, кажется, что все рухнет, если они будут не вместе. Прошло три дня, и вдруг мне показалось... Страшно даже это — три дня.

Поезд замедлил ход и вошел в сплетение путей — Москва.

— Придете к нам, посидим, поговорим,— сказал Матвей Самойлович,— у нас разные люди бывают. Придете?

— Обязательно.

Последние метры. Платформа. Пассажиры прильнули к окнам.

— Вот и приехали,— кто-нибудь да должен был это сказать.— Вот и Москва.

Вот и Москва. Такая же, как всегда. И толкотня на вокзале, и толпа на улицах, и здания на своих местах.

...Опустив монету в автомат, Юра перевел дыхание. У него вдруг заколотилось сердце. Длинные гудки. Длинные гудки. Никого? Ну да — еще очень рано. Юра поспешно повесил трубку.

Он вышел к Красным воротам, пересек Садовое кольцо и двинулся по Кировской. У автомата, на углу, остановился, посмотрел на часы. Восемь. Рано или не рано? Пожалуй, можно. Но все-таки для верности решил звонить из следующего. Автомат не работал, и Юра, все убыстряя шаг, дошел до Почтамта.

Длинные гудки. Подождем. Длинные гудки.

— Да,— трубку взяла Полина Александровна. А он был уверен, что Майя.— Да, да, слушаю,— нетерпеливо повторила она.

— Будьте любезны, Майю.

Почему он не поздоровался с Полиной Александровной? Как мальчишка. Но было уже поздно, и пауза затягивалась. Или это ему показалось?

— Майи нет дома,— голос прозвучал холодно. И снова — пауза.

— Передайте, пожалуйста, что звонил Юра.— Он замялся.— А когда она будет?

— Вероятно, вечером.— Там, на другом конце провода, щелкнул рычажок и раздались частые гудки.

Все. Разговор окончен. Скорее всего, Полина Александровна узнала его. Узнала — но не пожелала разговаривать. Как и тогда за обедом, когда он пытался все сказать, коротко и ясно, а получилась ерунда. Хорошо же он выглядит перед Полиной Александровной. А почему, собственно говоря, он должен хорошо выглядеть? Он врывался в чужую жизнь и знать ничего не хотел.

Впервые Юра подумал о Всеволоде и Валентине и о том, с какой тревогой Майя ждала их приезда. Он-то знать ничего не хотел. А для Майи все это было крушением прежнего. Крушением. И для нее, и для Полины Александровны. А вдруг они уже приехали, что-то изменилось, что-то произошло?

На какой-то миг Юре показалось, что Майя отдаляется; и то, что он стоит здесь, на Почтамте, с чемоданом у автомата, а час назад смотрел из окна поезда на бегущие поля, огни,— все это не реальность. Как в дурном сне. Но это были секунды. Он действительно стоял у телефонной будки с чемоданом. И звонил, а Майи не было дома. Но она существует, и она в Москве. И сегодня он увидит ее. Нельзя было уезжать. Он должен быть с ней. Что бы ни случилось — быть с ней.

Юра вышел на улицу. Шел мокрый снег. Не то снег, не то дождь. Сейчас он закинет домой чемодан и отправится на поиски Майи. Для начала — в университет.

## 7

До снега оставалось недели две, и Сева принял решение разделиться. Федючев вместе с рабочим и проводником обогнут падь с севера и обследуют восточный

склон Гольца. А они с другим рабочим пойдут южнее. Другого выхода нет. Если не разделиться, им не успеть — задание не выполнят, и год будет потерян. Тогда все насмарку, все эти четыре месяца скитаний по тайге, вымотавшие их до предела. Тем более что самое интересное и, как предполагал Сева, самое важное должно быть там — с востока и юга Гольца.

— Надо было думать раньше,— сказал Федючев.— Я предлагал сократить маршрут. На черта нам сдалась эта падь!— вдруг сорвался он на крик.— Мы не обязаны были там лазить! Как раз эти самые две недели.

Вот уже два дня, как Федючев был мрачен, раздражителен. Началось с того, что он ушиб ногу, когда они переходили через ручей, громко и длинно выругался, чем удивил проводника, и бросил вещмешок. Нога прошла, ушиб был не сильный, но Сева-то знал, стоило только раз сорваться, а там пойдет. Он посмотрел на осунувшееся, ожесточенное лицо Федючева с сухим, напряженным блеском в глазах и заколебался. Не нравился ему этот сухой блеск. Парень вымотался. Нервы на пределе. Но, черт возьми, не в первый же раз. Бывало и похуже. Надо только встряхнуться. Неужели не хватит его еще на две недели?

Федючев, словно угадав его мысли, усмехнулся:

— Прикидываешь? Дело не в этом.

— А в чем?

— В том, что мы не имеем права рисковать людьми. Продуктов в обрез. А если — задержка? Что тогда? А пока еще мы спокойно за неделю доберемся до Кедровки. Валька уже, наверное, ждет.

— Значит, все собаке под хвост?

— Мы не имеем права рисковать людьми,— упрямо повторил Федючев.— Я, во всяком случае, ответственность с себя снимаю.

— Ну что ж. Я вроде — старший,— сказал Сева,— мне и отвечать.

Они замолчали. Теперь, когда все стало ясно, говорить было не о чем.

Не думал Сева, что услышит такое от Федючева. Ну и черт с ним. Лишь бы дело сделал.

В палатке было тепло. С наветренной стороны уходил вверх склон Медвежьей горы (ее вершина действительно была похожа на медведя, стоящего на задних лапах), а кругом шумела тайга. Отсюда нетрудно добраться до Кедровки. Спуск займет не больше дня,

а там уже идти вдоль ручья до озера и затем прямо на юг. А им предстояло обойти Медвежью гору и потом подниматься по крутым скалам на Голец — с севера и с юга. Предстояло самое трудное.

...— Это был риск. Понимаешь?— Валентин хотел зажечь трубку, но не нашел спичек.

Они сидели в большой комнате — Майя на диване, а Валентин ходил и присаживался к столу. Темнело, и они зажгли, как всегда, только одну лампу над столом. Как все изменилось, сломалось, а здесь, в этой комнате, все оставалось по-прежнему.

— Возьми,— сказала Майя, протягивая коробок. Она вдруг словно увидела себя со стороны, на этом диване, с книгой, которую читала, время от времени отрываясь, чтобы вставить слово в общий разговор. И мать сидела в кресле и слушала, что говорит Валентин. И ее охватило странное чувство, будто все это происходит в прошлом. А то, что говорит Валентин,— из какой-то другой жизни, далекой от них...

— Да, риск,— продолжал Валентин.— Но на месте Севы я поступил бы точно так же. Другого выхода не было. Он не мог знать, что снег выпадет раньше на четыре дня. Они рассчитали с запасом. По всем приметам этого не должно было быть.

Снег выпал — а ночью заморозило. Спускаться стало отчаянно трудно. А они еще ослабли — продукты уже кончились.

Катастрофа произошла утром. Когда они спускались, сорвался рабочий и расшибся насмерть. Но они все-таки спустились вдвоем с проводником и дошли до ручья. Федючев решил, что им не выбраться, и оставил запись в дневнике. Он во всем обвинял Севу — и в том, что погиб рабочий, и что им не выбраться...

Там, у ручья, мы и нашли их.

Когда Федючев, уже в больнице, пришел в себя, от него потребовали объяснений в связи с гибелью рабочего. И он снова повторил все, что записал в дневнике. Началось следствие. У Севы взяли подписку о невыезде. И, наверное, скоро будет суд.

— Но что, что можно сделать?— спросила Майя. До нее словно только сейчас дошел весь смысл того, что рассказал Валентин. Как теперь Юра и я? И что теперь будет?— была первая мысль. Она устыдилась ее. Но снова, как будто помимо ее воли, вертелась и не уходи-

ла та же мысль, тот же вопрос: как же нам с Юрой теперь быть? Она не произнесла этого вслух. А может быть, и произнесла, потому что Валя посмотрел на нее с удивлением.

— Я получил характеристику для Севы — письмо из института,— сказал он.— Завтра мы вылетаем.

Вылетаем. Кто это «мы»? А может, он думает, что я должна лететь с ним? Но чем, чем я могу помочь?

— Чем я могу помочь?— вслух сказала Майя.

Кто-то позвонил, и Полина Александровна пошла открывать.

— Решай сама, как тебе поступить.— Валентин остановился перед Майей.— Решай сама,— повторил он,— но сначала прочти. Письмо от Севы.

По знакомому состоянию, охватившему ее, когда все напрягается, Майя почувствовала, что вошел Юра. Она быстро обернулась. Юра стоял на пороге, уже сняв пальто, и ждал, когда она подойдет к нему.

— Возьми письмо и прочти,— не обращая внимания на Юру, настойчиво повторил Валентин.

Майя, сжав письмо, подбежала к Юре:

— Тебя так долго не было. Так долго. Пойдем ко мне.

Юра успел сказать «добрый вечер», но ему никто не ответил. Когда они оказались в ее комнате, Майя прильнула к нему:

— Что бы ни случилось, мы уезжаем. Хорошо?

— Ну конечно, уезжаем. А здесь все так же. Значит, все так же.— Ему очень хотелось рассказать Майе, о чем он думал в Пензе и когда ехал в поезде сюда, и о Матвее Самойловиче, и еще о том, что его рассказы понравились старику, а он маститый, и теперь, можно считать, договор с издательством в кармане. Но всего было так много, что он не знал, с чего начать. Он смотрел на Майю, молчал, и все в нем звенело, и ему не верилось, что вот она стоит перед ним.

А когда они сели, как это бывает, заговорили о другом, односложными фразами, и замолкали надолго, и то, о чем хотел рассказать Юра, потеряло свою остроту, потускнело, отодвинулось: это уже было прошлое, и оно заслонилось тем, что они были вместе.

Майя машинально положила письмо рядом с собой и забыла о нем. Юра взял конверт.

— От Севы,— сказала Майя. Оживление ее погас-

ло. Тревожная тень пробежала по лицу. Нет, не уйти ей, не спрятаться от этого никуда.— От Севы,— повторила она.— Еще не успела прочитать. С ним несчастье случилось...

— Несчастье?

— Да.

Сбивчиво, как могла, она рассказала о том, что услышала от Валентина.

— Не успела прочитать?— переспросил Юра.

— Ну да. Валя только передал письмо, а тут ты пришел.

— Прочтем вместе?— предложил Юра.

— Не надо,— сказала Майя,— ну зачем?

Она и сама не знала, чего боялась. Не хотела, чтобы это коснулось Юры.

— У нас не будет секретов,— повторил Юра ее слова. Он все помнил, что она говорила.

— Прошу тебя, не надо,— теперь Майе начало казаться, что именно это письмо встанет между ней и Юрой.— Я суеверная дура. Я боюсь.

— Хорошо. Не надо,— сказал Юра.

— Не сердись. Просто он очень любит меня. И я знаю, что там написано. Не надо,— повторила Майя самой себе, словно забыв, что Юра здесь.

Лицо Майи отдалилось — не лицо, белое пятно с большими темными глазами. «Что это?»— подумал Юра. Но это была секунда, мгновение. Майя сидела рядом с ним, и он прекрасно видел в начинающихся сумерках ее бледное, напряженное лицо, сведенные брови, морщинку на лбу.

— Как же так,— сказал Юра,— по твоим словам получается, что он не виноват.

— Конечно, не виноват.

Юра не ответил, и Майя, разорвав конверт, начала читать письмо. Она поняла, что должна это сделать. Именно сейчас, когда Юра здесь. Она читала про себя, и у нее сжималось сердце. Сева писал, чтобы она не отчаивалась: все обойдется. Ему ничего не страшно, если он будет знать, что с ней все хорошо. А вообще-то дела складываются невесело — все может быть. И неизвестно — когда он ее увидит? Вторая половина письма, как Сева ни старался, чтобы она звучала бодро, все-таки перечеркивала его «все обойдется». Майя ясно почувствовала: может, и не обойдется. Все может быть. Сева не говорил прямо, чтобы она приехала, но, как бы меж-

ду прочим, он привел расчет времени на дорогу. Самолетом — два дня туда, и еще день, и столько же обратно.

Нет, не напрасно Майя боялась этого письма. Это как камень, который придавил ее. Она представила себе, как ему там тяжело, как одиноко. Как он ждет ее. Ну — хорошо: она поедет к нему. Но это будет обман. Ложь. Гадость. Она не сможет обманывать его там, когда останется с ним. Поехать — чтобы сказать? Разве это не хуже? Поехать, чтобы отнять у него все. Она-то знала, какой это удар был бы для Севы. Он все перенесет — не согнется. Все — кроме этого. Но раз так получилось, пусть и Юра прочтет. Как бы там ни было, пусть все знает.

— Прочти,— сказала Майя, протягивая письмо,— прошу тебя.

Чувствовал ли Юра, что происходит в душе Майи?

Она смотрела на его лицо, пока он читал письмо, и терялась в сомнениях — кажется, первый раз она не могла понять, что волнует его, о чем он думает. Рука Юры, которую она держала, была словно безжизненна. Эта рука ничего не говорила ей.

Юра молчал, задумавшись смотрел куда-то в одну точку. Майя и не заметила, когда он успел прочитать письмо.

— Что мне делать?— спросила она.— Научи. Как ты скажешь, так и будет.— Майя произнесла это спокойно, но Юра понял, чего стоил этот спокойный тон. Он обнял ее, и его снова, с прежней силой, охватило то чувство, когда время обрывается и исчезает реальность. Он смотрел на ее лицо, и ему казалось, что в нем открывается что-то новое, неизвестное ему. Может быть, Майя была и некрасива сейчас — как будто что-то опустилось в ее лице, и погас живой блеск глаз, и была она во всем домашнем, кое-как причесана, потому что не ждала его, и жила все эти дни в том состоянии подавленности, которое пригибает человека,— но именно сейчас она казалась особенно близкой. Впервые Юра подумал о том, что ведь были и, наверное, будут в ее жизни и болезни, и бессонные ночи, и трудные будни, заботы. И она будет нуждаться в его помощи и защите и никогда не даст почувствовать, что это так. Юра словно увидел ее совсем другой, и незнакомое, острое чувство жалости, нежности, страха за нее охватило его.

Майя чутьем поняла его состояние и крепко сжала его руку.

Стало совсем темно. Им не хотелось зажигать свет, говорить. Но и в эти минуты они не могли уйти от того, что произошло. Майя ждала ответа, она должна была знать, что же думает Юра. Она ждала и боялась, что он сейчас скажет: езжай.

— Не мне учить, пойми,— проговорил Юра.— Ты должна решить сама... Потому что...— Он не договорил, но Майя поняла: потому что это есть и никуда не уйдет и с этим тебе жить.

— Я не могу ехать. Не могу,— сказала Майя. Она остановилась, словно подыскивая аргументы (о самом главном Юре не нужно было говорить — он понимал это и сам).— И потом — это бесполезно. Что я могу сделать, как помочь? Мы должны уехать с тобой. Куда хочешь. Только скорей.

— Хорошо,— сказал Юра,— хорошо.— Ему вдруг показалось, что говорит не он, а кто-то другой.— А мы могли бы поговорить с твоим братом?

— Зачем?— удивилась Майя.

— Надо все-таки узнать, что и как.

— Ну что ж. Пойдем поговорим.— Майя встала, зажгла свет.

Юра сидел, прикрыв глаза. Лицо озабоченное, усталое. Как будто что-то погасло в нем. Таким Майя еще не видела его.

— Посмотри на меня,— сказала она.

Они встретились взглядом, его глаза сказали «да», но что-то было в них еще, она так и не поняла — что.

## 8

Раскрытый чемодан лежал на диване, вещи разбросаны по комнате, стулья сдвинуты. Во всей квартире — беспорядок.

Майя бродила по комнатам — хотела было помочь Вале собраться, но Полина Александровна довольно решительно отстранила ее. Майя только мешала: предлагала положить не то, складывала не так, а времени оставалось мало. Второй час, присаживаясь на несколько минут то за один стол, то за другой, она писала короткое письмо Севе (не написать было нельзя) и все зачеркивала и рвала листы, вырванные из ее конспектов.

Полина Александровна, как всегда в такие минуты, была собранна, спокойна, несуетлива. С того вечера, когда она пришла в комнату Майи и потом неожиданно рассказала об отце, они больше не говорили ни о Юре, ни о Севе. Не было и того, чего так боялась Майя,— неловкости от жалости и презрения, когда отводятся глаза или смотрят как бы сквозь тебя. Ни словом, ни взглядом Полина Александровна не выдала, что происходит в ее душе.

Теперь Валентин уезжал, все было ясно, и Майя была свободна.

Да, она была свободна. И они с Юрой уедут, и ничто, теперь уже ничто не помешает им.

— Ну, как там у тебя?— спросил Валентин.— Через пятнадцать минут надо идти.— Он закрывал чемодан и спросил не оборачиваясь.

— Не получается,— сказала Майя.— Не могу.

— Ну что ж, как хочешь.— Он поднялся и ногой отшвырнул стул.— Нет так нет...

За окном светило солнце, голубел кусок неба — не верилось, что зима. Валентин распахнул форточку, остановился у окна.

Полина Александровна положила рядом с чемоданом вещмешок, набитый до отказа. Майя поняла — для Севы. Господи, когда же все это кончится, подумала она. Мать, словно угадав ее мысль, сказала:

— Постарайся все-таки...

Встретив умоляющий взгляд Майи, повторила:

— Прошу тебя. Несколько слов. Об этом — не надо...— Ей, видно, трудно было сказать последнюю фразу, но все-таки сказала. Об этом не надо. Мама права. Она всегда права.

«Дорогой Сева»,— написала Майя и остановилась. Дорогой. Милый. Дорогой. Хороший. Если бы ты знал...

Она приписала еще несколько слов. Уверена, что все кончится благополучно. Не падай духом. Все кончится благополучно.

Она очень хотела, чтобы так и было.

— Присядем,— сказала Полина Александровна.— Пора.

Зазвонил телефон. Майя взяла трубку. «Это я,— услышала она голос Юры.— Не уходи. Еду к тебе. Я — мигом».

Майя не успела ответить — в трубке затрещало, послышались далекие, слабые гудки. Наверно, Юра гово-

рил из автомата. Позвонит еще? Но телефон молчал. Я — мигом. Что произошло? Ничего, успокоила она себя, ничего. Обычный звонок.

— Ну, пора,— поднялся Валентин.

— Я подожду Юру,— сказала Майя,— мы вас догоним.

Пока мать и Валя одевались в передней, Майя увидела из окна, как к дому подъехала машина. Юра вышел и что-то сказал шоферу. Машина осталась ждать.

— Мы вас догоним,— крикнула Майя.— Идите, а то опоздаете.

Закрылась дверь — Валя и мать ушли. Ну что он так долго? Майя отошла от окна, и раздался звонок.

Она бросилась открывать дверь. Юра шагнул за порог и обнял ее.

— Что случилось?— Майя ждала, что Юра ответит: ничего. Просто очень хотел тебя увидеть. Но он молчал. Потом чуть отстранил ее.

— Одевайся, Майечка, в машине все скажу.

— Но сначала заедем на аэродром. Проводим Валю.

— Хорошо,— согласился Юра.

Такси уже выехало на Ленинский проспект, а Юра все не начинал разговора.

— Не томи,— сказала Майя.

Сейчас он достанет билеты «Москва — Ташкент» или «Москва — Пенза». Все равно. Засмеется: лотерейные билеты на счастье. Вытащил один знакомый попугай. Верное дело. Не сомневайся.

— Знаешь...— Юра почувствовал, как все в ней напряглось, как она потянулась к нему, и замешкался...— Ты поймешь,— он передохнул,— уверен, поймешь... Я должен уехать туда. Сейчас.

У Майи все оборвалось, но она не хотела верить. Даже заставила себя улыбнуться:

— Вместе с Валей? На одном самолете?

Юра заговорил быстро, не выбирая слов, чтобы быстрее сказать:

— Я газетчик. Смогу все выяснить. Распутать. Помочь. За мной — большая газета. Помочь, понимаешь? Однажды я понял: когда-то приходит твой час, и ты должен сделать все, что можешь. Чего бы это ни стоило.— Он замолчал. Самое трудное было сказано.

Майя не отвечала, и Юра поспешил прибавить:

— У меня и командировка в кармане, и билет. Редакционное задание.

— Редакционное задание. Билет. Командировка,— с застывшим лицом повторила Майя.— Все как полагается.

— Через неделю, ну десять дней, я вернусь. Десять дней... И не заметишь...— Юра оборвал себя. Как мог он это сказать? Прошло три дня, и вдруг мне показалось...— Я не могу иначе...— вслух произнес Юра.

— Я с тобой,— сказала Майя.

Кажется, он ответил: не нужно, Майечка. Не надо. Она сама понимала — не надо. Но все сместилось, смешалось — и она уже плохо слышала, что говорил Юра, и не помнила своих слов.

Майя не помнила, как они оказались на аэродроме, прошли через зал, и она сидела где-то, пока Юра регистрировал свой билет. Потом они вышли на улицу, спустились по каменным ступеням и оказались у низенькой решетки. Она была серебристого цвета, вероятно, недавно покрашена. У прохода толпились люди. Когда они с Юрой подошли, увидели там Вальку и мать. Валька что-то говорил ей, но Майя видела только, как шевелятся его губы. Мать взяла его под руку. Потом все двинулись.

Юра обнял Майю:

— Скоро я приеду. Скоро. Все будет хорошо.— Она слышала его голос, но он доносился будто издалека.

Еще Майя почувствовала: Юра мягко освобождается от ее рук. Он отошел от нее, вернулся, прижал к себе ее лицо. Потом Майя видела, как Юра в толпе людей шел к самолету, оглядывался, махал рукой. Возле самолета она потеряла его. Опять увидела, когда он поднимался по трапу. Но, может быть, это был не Юра — самолет стоял далеко, и лица были не видны.

Отъехал трап. Заревели моторы. Самолет стал медленно разворачиваться. Майя смотрела, как он осторожно двигался и выруливал на взлетную полосу.

Начал падать редкий снег. Она почувствовала снежинки на лице. Солнце спряталось.

Взлетная полоса была очень далеко, и теперь самолет казался маленьким. Он остановился, замер и вдруг покатился — быстрее и быстрее.

У горизонта оторвался от земли и плавно пошел вверх, все уменьшаясь, пока совсем не исчез из виду.

*1971 г.*

# РАССКАЗЫ

## ПЕСНЯ ВЕЩЕЙ ПТИЦЫ

Это была обычная встреча.

Опираясь на перила, Валентин Николаевич медленно спускался вниз, а девушка вприпрыжку бежала вверх. Увидев его, она чуть замедлила свой бег, улыбнулась и помчалась еще быстрее. Он остановился, тоже кивнул ей. Потом двинулся дальше.

Так повелось: при встречах они не здоровались, а улыбались друг другу — может быть, потому, что она не знала его имени. А Валентин Николаевич помнил ее еще маленькой девочкой, которую звали, кажется, Леночкой.

Жили они на одной лестничной площадке, в смежных квартирах, и ему было хорошо слышно, как за стеной Леночка выводила свои гаммы. Сначала самые простые до-о, ре-е, ми-и... Туда, к верхнему до, и так же медленно, неуверенно обратно.

Потом — гаммы усложнились. Потом появились маленькие пьески, коротенькие и простодушные, вероятно старинных мастеров. Валентин Николаевич помнил одно имя: Рамо. Он не был музыкантом. Он работал начальником отдела труда и зарплаты в министерстве. Но ему казалось, что когда-то, очень давно, он уже слышал эти пьески, и они звучали прихотливо и изящно, даже изысканно... Леночка же играла их очень старательно и робко и, наверно, очень боялась сбиться со счета. А если сбивалась, обязательно начинала все сначала...

В жизни Валентина Николаевича ничего особенного не происходило. А рядом росла музыка — быстро или медленно, он не мог этого сказать. Мы ведь не замечаем, как меняется то, что окружает нас постоянно. Но однажды, в начале осени, встретив у подъезда худую, некрасивую, длинноногую девочку с черной нотной папкой в руках, Валентин Николаевич поразился: он с трудом узнал ее, так она изменилась за лето.

Да, время знало свое дело. То самое время, которое без отдыха ткет пряжу жизни и смерти. Поднимаясь по

лестнице, Валентин Николаевич слышал стремительные хроматические гаммы, изящные, отточенные пассажи, бурные каскады. Живой поток несся ему навстречу, и он останавливался, чтобы послушать. Моцарт, Бетховен, Бах, Шопен, Лист — он многое узнавал, и теперь ему чудился голос исповеди в давно знакомом. Признание в любви и взрывы отчаяния, торжество единения с миром и горькие упреки ему... Валентин Николаевич думал о том, что уже не одно поколение сменилось на земле с тех пор, как впервые обратились к миру те, кого называют Великими. И вот сейчас эта девочка, как множество других до нее, вслушивается в их голоса, всматривается в их лица.

Сегодня утром, увидев ее, легко и стремительно бегущую, словно летящую, вверх по лестнице, Валентин Николаевич подумал: а ведь она уже взрослая. Подумал и усмехнулся — что к этому добавить, кроме банального откровения: как летит время!

* * *

Вся семья в сборе — Екатерина Григорьевна, Петька, Оля. Они сидят за столом. В бокалах налито шампанское, и Екатерина Григорьевна осторожно разрезает торт, который принес Петька, или, как теперь его называют, Петр Валентинович.

Все хорошо, но что-то Валентину Николаевичу не нравится. Почему-то Петька и Оля молчат и с интересом смотрят, как орудует Катя. Ему не нравится смущенная физиономия Петра Валентиновича и взгляды, которыми они обмениваются с Олей.

Валентин Николаевич начинает догадываться, в чем дело, но не стоит поддаваться дурацкому предчувствию. Нет, не предчувствию, а уверенности: Оля бросает вопросительный взгляд на Петьку. Тот хмурится, молча кивает головой.

— А вы и не спрашиваете, Екатерина Григорьевна, почему у нас такое торжество?— Олечка произносит это, лукаво улыбаясь. Ее голос звучит оживленно, милое лицо с тонкой нежной кожей чуть розовеет, и только глубоко в глазах Валентин Николаевич ловит мелькнувшую тень.

— Не спрашиваю, милая. Все равно ты долго не вытерпишь и все скажешь,— отвечает Екатерина Григорьевна.

Она колдует над тортом. «Почему не спрашиваете,

Екатерина Григорьевна, почему вы не спрашиваете?— мысленно повторяет Валентин Николаевич.— А впрочем, зачем торопиться? Все равно ты, милая, долго не вытерпишь. И разве можно сейчас удивить Екатерину свет Григорьевну каким-нибудь новым торжеством?»

Все эти дни и недели, с тех пор как Петр привел в дом Олю, были постоянным торжеством Екатерины Григорьевны. Она торжествовала, потому что клеила новое гнездо. Просыпалась раньше всех, готовила завтрак, потом стучала «к ним» в комнату...

За столом хозяйничала Олечка. Екатерина Григорьевна только смотрела, как Олечка разливает кофе, как подкладывает в чашку мужа сахар (Оля считала, что работникам умственного труда сахар необходим в больших количествах, а ее муж, Петька, как-никак был инженером-конструктором), как готовила мужчинам бутерброды «с собой». Екатерина Григорьевна не могла сдержать улыбки, когда слышала Олин голос, ее смех...

Петр даже подтрунивал над матерью: и чего только ты нашла в этой девчонке? Право же, ничего особенного — с характером, любит пофорсить, вот разве что прилично ходит на лыжах. Нет, мама, я просто не понимаю тебя...

Петьке было приятно так шутить, но главного-то он действительно не понимал. А Валентин Николаевич понимал. Его Катя начинала вторую жизнь, которая дана человеку,— жизнь через других.

Но вот, кажется, Екатерина Григорьевна заканчивает свою артистическую работу. Сейчас она выпрямится и окинет всех победным взглядом. Тогда уже сказать будет невозможно, и Оля торопливо произносит:

— Сегодняшнее торжество по случаю того, что Петр Великий получил комнату. Мы уже смотрели. Прекрасная комната. На солнечной стороне.

Нож застывает в руке Екатерины Григорьевны, и все тоже застывают. Как в кинематографе, когда лента вдруг останавливается. Это длится секунду, может быть, две. Потом Екатерина Григорьевна еще ниже склоняется над тортом и продолжает свою работу — медленно и методично. Она ничего не говорит, только нож ее неторопливо двигается — к себе, от себя, медленно и методично.

Улыбка сползает с лица Оли, глаза гаснут — словно

кто-то взял да и одним махом стер оживление с ее лица.

— Ну получили, ну и что,— поспешно говорит Петька, слегка побледнев.— Ну и что такого? Мы же еще не решили, когда переезжать...

Оля облегченно вздыхает. Теперь, когда главное сказано и все пошло в прежнем ритме, ей уже не так страшно.

— Как не решили? Это же рядом с заводом,— говорит она Пете.— Сколько времени, сил ты сейчас тратишь на дорогу!

— Конечно, милая, конечно,— спокойно отзывается Екатерина Григорьевна.

Валентин Николаевич встает, выходит из комнаты. Он не может себе представить, как Катя выпрямится, какое у нее будет лицо. Он идет на кухню. Открывает горячую воду. Потом холодную.

— Катя!— кричит он.— Катя! Что у нас тут с кранами! Когда же, черт побери, починят краны?

Он слышит быстрые шаги,— как всегда, Катя спешит на его зов, готовая принять на себя все упреки, лишь бы в доме было все в порядке.

Позже, когда все разошлись и легли спать, Валентин Николаевич тоже прилег с книжкой. Он слышал, как ходила Катя из комнаты в кухню, что-то прибирала, готовила.

С давних пор, еще с юности, Валентин Николаевич привык обдумывать дневные происшествия ночью. Когда он лежал в постели с открытыми глазами, темнота помогала «видеть»— легче разматывался клубок впечатлений. И думалось как-то по-другому — углубленней, яснее. Валентин Николаевич отложил книгу и потянулся к выключателю.

Но темнота не дала ему ясности. Они хотят жить самостоятельно — что в этом плохого? Но почему Петька не предупредил, не подготовил мать? Ведь она только и жила тем, что они были рядом, что она могла слышать их голоса, и утром и вечером садиться за один стол и шептаться с Олей. Вот Петька и стал взрослым. Когда же это произошло? А что такое — взрослый? Когда человек находит свое место в жизни, не нуждается в чужой помощи, чувствует себя уверенным?

Всю жизнь они с Катей готовили Петьку именно к этому. Они старались уберегать его от ошибок. Они научили его быть честным и сильным, помогали найти

дело по душе. Им казалось — они научили его быть счастливым.

Но может ли счастливый человек причинить другому боль? А если Петька не понимает, если он еще «не взрослый»? И опять Валентин Николаевич вспомнил свою встречу на лестнице с этой девушкой, как она летела вверх и как улыбнулась ему. Остановилась — и улыбнулась.

Она, как и Петька, как и Оля, летела вверх: у нее было очень мало времени — только остановиться и улыбнуться. Она, как и Петька, как и Оля, торопится, потому что очень хочет быть счастливой. И наверно, еще не понимает, в чем счастье,— только предчувствует и ждет его. Они все очень торопятся — вот в чем штука, вот почему они бывают бессознательно жестокими.

* * *

Через несколько дней Оля с Петькой переехали. В квартире стало пусто. Екатерина Григорьевна ходила молчаливая, погруженная в свои мысли.

— Надо привыкнуть,— говорила она, отвечая Валентину Николаевичу.— Ты не беспокойся. Я привыкну. Я ведь не думала, что у нас будет так тихо...

Сколько раз за тридцать лет он слышал от нее: «Надо привыкнуть. Я привыкну».

Так она писала ему на фронт из Кирова, куда она уехала в сорок втором году и где ей с четырехлетним Петькой было и голодно, и холодно, и страшно от мысли, что он, Валя, может погибнуть; так говорила она и в сорок пятом, когда они вернулись в Москву, а квартиру уже заняли, и они временно жили в маленькой комнатке у ее сестры — шесть человек в четырнадцати метрах, а год был трудный, голодный.

Когда еще она говорила так? Валентин Николаевич не мог припомнить. В общем их жизнь сложилась неплохо и, вероятно, даже счастливо. Валентину Николаевичу вспомнилось не это «надо привыкнуть», а другое, которого было бесконечно больше, когда Катя одаривала всех своими лучами...

А вот теперь она опять твердит, убеждая себя,— я привыкну... Валентин Николаевич знал, что так и будет. Катя обязательно «привыкнет». Так уж она устроена. Ведь будет же у Петьки и Оли ребенок, мальчишка, например,— внук.

Тогда-то им без Кати не обойтись.

* * *

В эти дни в Москву уже пришла весна. По-городскому, по-московски — мягко ступая, ласково улыбаясь... Что бы там ни говорили, а весной, после долгой зимы, мир словно заново раскрывается. И сколько бы весен ты уже ни пережил — все равно ты ее чувствуешь как новую, неожиданную и таинственную; и все равно, хотя у тебя уже и седая голова и пошаливает сердце, ты чувствуешь, как прибавляются силы, потому что, будь тебе хоть сто лет, раз ты живешь, значит, и обновляешься вместе со всем и со всеми.

А теплое солнышко с каждым днем все щедрее заливало улицы, и небо было чистое и голубое, и в воздухе чувствовался почти не слышный в шуме города звон ручьев. Влажно блестели черные деревья, еще не успевшие обсохнуть после снега. И в людях, которые работали вместе с Валентином Николаевичем, тоже что-то неуловимо изменилось. Валентину Николаевичу не хотелось думать, что для него это последняя общая весна с людьми, с которыми столько лет они вместе работали. Летом он уходит на пенсию. Становится вольной птицей. Или говорят еще — вольный казак. Пожалуй, не стоило думать о том времени, когда он будет «вольный». В конце концов, это зависит только от него, и, может, с «хворью» как-нибудь обойдется. Но сегодня, с самого утра, он опять почувствовал себя неважнецки, так неважнецки, что понял: от положения «вольного казака» уже не уйти.

Часа два Валентин Николаевич просидел еще за своим столом, но потом все-таки решил отправиться домой и лечь. Пошел он обычным маршрутом — сначала вниз по переулочку, потом свернул на Лобковский, который вывел его к Чистым прудам.

Снег на бульваре растаял, только кое-где, в тени, лежали грязно-белые пятна. Кругом уже бурлили ручьи, и мальчишки пускали свои кораблики — чей скорей доплывет до старой, ветвистой липы с оголенными корнями, возле которых образовался тихий затон, великолепный открытый рейд для солидной флотилии.

Было интересно смотреть, как крутились и переворачивались на перекатах многомачтовые фрегаты, каравеллы, изящные бриги и как упрямо они пробивались к «большой воде». Валентин Николаевич выбрал себе

однопарусное суденышко и вместе с его капитаном — рыжим мальчишкой в лыжном костюме и зимней шапке — с замиранием сердца следил, как храбро борется маленькое суденышко с бушующей стихией.

Мальчишка этот, лет одиннадцати, видимо, был большой спец — его кораблик даже ни разу не перевернулся и, преодолев все опасности, первым пришел к дереву. Капитан осторожно взял свой парусник и небрежно сунул его в портфель. Как его ни просила целая ватага мальчишек повторить это плаванье — ничто не помогло. Капитан явно не хотел искушать судьбу. Посвистывая и помахивая портфелем, он двинулся домой.

Пошел за ним и Валентин Николаевич. Не дойдя до середины бульвара, почувствовал, что устал. Снова, как утром, странно заколотилось сердце и перед глазами поплыли зеленые круги. Валентин Николаевич присел на скамью. Через несколько минут ему стало легче, и он двинулся дальше.

Все так же светило солнышко, и на скамьях, возле детских колясок, переговаривались женщины, а возле ручьев шумели мальчишки и торопливо шли прохожие. Но теперь все это словно отдалилось — уменьшилось, потеряло очертания, живые краски, будто пожухло. Валентин Николаевич еще не испытывал такого, ему стало страшно — а вдруг не дойдет? Он почувствовал, как ноги тяжелеют и в то же время становятся мягкими. Пришлось опять сесть и сидеть, пока не рассеялся обволакивающий туман. Но как только встал, появилась уверенность: дойдет.

Вот и метро. Даже тихим ходом минут через десять он будет дома. И все же идти становилось все труднее. Это от воздуха — острого, холодноватого, пьянящего — и от весны.

В подъезде своего дома Валентину Николаевичу стало совсем худо. Кое-как он добрел до второго этажа, но силы уже кончились.

— Вам плохо?— услышал он голос над собой.— Давайте я вам помогу.

Валентин Николаевич поднял голову: это была она, его соседка. Наверно, она летела вверх и остановилась, чтобы улыбнуться ему, потом подошла и испугалась. Но теперь-то он уже дойдет — остался один этаж.

— Ничего, ничего... Мне уже лучше,— сказал Валентин Николаевич.— Вот только постою немного...

Ему действительно стало лучше. Девушка неловко взяла Валентина Николаевича под руку, и они потихонечку двинулись вверх.

— Как же вас зовут?— спросил Валентин Николаевич, когда они остановились вверху.

— Валя,— ответила девушка.

— Вот как. А я почему-то думал — Лена. Я вас давно помню, и мне, знаете, казалось, что всех девочек с косичками зовут Леночками.

Валя засмеялась, и Валентин Николаевич сказал:

— А меня зовут Валентин Николаевич. Как видите, мы с вами тезки...

Когда Валентин Николаевич лег, выпил капли Зеленина и почувствовал, что до следующего раза прошло, он подумал о том, что теперь при встречах Валя будет не только улыбаться, но и здороваться с ним. Может быть, даже и перекинутся словом. Жаль только, что они не поговорили и он так ничего не узнал о ней. Но что, собственно, он мог узнать.

* * *

Лето только начиналось. Валентин Николаевич подумывал об отъезде — на месяц-другой (теперь можно было захватить и сентябрь), но Катя не хотела ехать. Оля ждала ребенка, очень боялась, и Катя там, у них, дневала и ночевала. А ему часто ездить туда, к Петьке и Оле, было трудновато. Вот и получилось, что он оставался один. Но все-таки не совсем один: рядом, за стеной, была Валя и ее музыка.

Теперь, когда долгие дни он читал, ходил по комнатам, Валина музыка стала его постоянным спутником. Валя очень много занималась с самого утра и потом днем, иногда и вечером. И каждый раз это была другая музыка. Утром она упражнялась — ее пассажи, стремительные гаммы звучали холодно, обязательно, как ежедневная физзарядка. Днем она разучивала, учила, несколько раз повторяла одно и то же место, чего-то добивалась — словом, работала. А вечером — играла. Для себя. То, что хотелось...

Когда угасает день — и мысль углубляется... Должно быть, поэт прав. Такова власть вечера. А для Вали? Скорее всего, для нее вечер — это канун утра. Разве день угасает? Просто очень быстро кончается. Слишком быстро. Даже сделать ничего не успеваешь.

Конечно, к вечеру немного устаешь,— набегаешься за день — так бы она сказала...

Иногда, когда Валя играла, Валентин Николаевич пытался отгадать что. Это помогало убивать время. Он любил музыку и уж что, что, а интересные концерты в консерватории старался не пропускать. А теперь музыка была рядом. Очень близко. И совсем не такая, что звучала с эстрады. Другая — ошибающаяся, иногда неуверенная в себе, иногда тревожная...

По утрам Валентин Николаевич выходил пройтись, а днем с книгой в руках сидел у открытого окна. Окно выходило во двор. В центре двора зеленел скверик, а напротив окна высилась полукруглая арка. То был вход и выход со двора, ворота в страну, которая называлась дом № 31/2.

Под сводами арки люди обычно останавливались и разговаривали. Выходили со двора по-разному — кто торопливо, кто размеренно, мальчишки — бегом, девочки — вприпрыжку. А входили почти все медленно: спешить уже было некуда. Пройти же через двор, полный голосов нянь и малышей, ударов мяча, топота ног,— всегда интересно.

Двор — первая, самая главная зона дома и его суть: именно здесь, на асфальтовых дорожках, на скверике, на крутых коротких темноватых лестницах, ведущих в подвальные помещения, ощущается весь дом со всеми его заботами, интересами, характером жильцов и нравами. И чувствовать себя причастным к большому дому, к гомону и беготне ребят, даже если тебя ждет тихая квартира,— очень приятно. Уж он-то это знает: около четверти века каждый день входил он в эту арку, шел через скверик, где копались малыши, или в обход, по асфальтовой дорожке, искал взглядом Петьку... А потом, когда двор перестал быть Петькиным царством, узнавал таких же Петек в другом поколении мальчишек — бессменных хозяев двора...

Валентин Николаевич уже знал, когда возвращается Валя — примерно в одно и то же время, ближе к вечеру. Обычно она шла, как все, неторопливо и, если видела его в открытом окне, останавливалась и махала рукой.

Вскоре у нее начались экзамены — Валя училась на втором курсе консерватории,— и, возвращаясь домой, она показывала Валентину Николаевичу пальцами, сколько получила: пять, четыре, три...

Однажды Валя не подняла голову, не посмотрела на его окно: рядом с ней шел парень, высокий, стройный, темноволосый, в светлом плаще. Они прошли через двор к подъезду, потом вернулись, остановились под аркой и там долго разговаривали. Потом очень медленно снова пошли к подъезду.

Начало темнеть.

— Коля! Домой! Отец пришел,— крикнула женщина из окна этажом выше. Голос прозвучал протяжно и умиротворенно. Удивительно: все женщины созывают своих детей одинаково — спокойно и как-то горделиво. И все обязательно говорят (если могут это сказать) — отец пришел...

Сколько тысячелетий человечество вырабатывало этот клич к очагам? Ну, а Коля, конечно, не обратит внимания на призыв. По крайней мере, с первого раза. И правда, через несколько минут послышалось снова:

— Негодный мальчишка! Сколько раз тебе говорить! Ну, погоди же...

Темноволосый стройный парень в светлом плаще пересекал двор. А Валя, вероятно, стояла в подъезде и смотрела ему вслед. Парень шел через скверик — так короче. Оглянется? Нет, не оглянулся.

Теперь Валя, наверно, уже дома. Она подошла бы к окну, но ее окно выходит не на улицу, и Валя не сможет увидеть, как парень пересекает улицу.

Стало заметно темнее. А за стеной зазвучала вечерняя музыка. Валя играла. Для себя. Что-то знакомое. Очень знакомое, хотя и похожее на импровизацию — так легко и свободно двигалась мелодия, изгибаясь, и стремясь вверх, и еще вверх, и потом в сторону, чтобы не упасть, удержать высоту, чтобы был полет... И казалось, эти неожиданные изгибы и узоры, словно неразгаданные письмена, могли бы много рассказать, очень много...

Нет, конечно, это не импровизация. Форма совершенная — в красочной, роскошной мелодии, похожей на ветвистое дерево, в шумящей, переливающейся на солнце листве ни одного лишнего листочка, ни одной лишней нотки. Но что же это? Кто вот так до нее, до Вали, вопрошал судьбу?

Вдруг мелодия оборвалась. Тишина. Не пауза, а тишина глубокой сосредоточенности. Быть может, тишина ночного леса. И снова возникает мелодия, но уже совсем другая — неторопливая и размеренная, без сверка-

ющих красок, в теплых, мягких тонах, чуть приглушенная. Размышление, а может, воспоминание. А может быть, это и есть отгадка...

* * *

— Итак, мы едем в Сибирь. Целым курсом. На уборку хлеба.

Не дав Валентину Николаевичу вставить слово, Валя залпом выложила все подробности. Отправление — завтра. Сбор их группы — здесь, во дворе, в семь ноль-ноль. Конечный пункт назначения — Камень-на-Оби (название-то какое: Камень-на-Оби!). А маршрут! Поездом до Новосибирска, через Урал, через границу Азии и Европы, а оттуда, от Новосибирска, пароходом вверх по Оби до Камня. А уже там их распределят по совхозам Каменского района.

Валентин Николаевич достал географический атлас и нашел Камень-на-Оби — как раз на границе Алтайского края и Новосибирской области.

— Ну что ж, это будет интересное путешествие,— сказал он.— Чертовски интересное. Только что вы там будете делать?

— Хлеб убирать,— ответила Валя.— Для этого и едем.

Валя первый раз была у Валентина Николаевича — она забежала, чтобы сказать, что завтра в семь ноль-ноль уезжает на два месяца,— и теперь с любопытством оглядывала его комнату.

Книги. Еще книги. Какой-то особенный радиоприемник (это Петька, мой сын, соорудил — Валентин Николаевич следил за ее взглядом и сразу отвечал ей), портрет красивой женщины, написанный маслом, в строгой, классической манере (моя жена, Екатерина Григорьевна), большая фотография худощавого парня с озорными глазами — ну, а это сам Петька...

Валя оглядывалась. Она старалась понять чужую жизнь. Ведь чужой дом как целая страна: свой уклад, свои законы. Никогда раньше она не думала об этом, а теперь старалась понять — что-то узнавала, как будто видела все это раньше, очень давно, а что-то открывала для себя. Например, портрет этой красивой женщины с темными глубокими глазами — от него веяло чем-то неизменным, неуходящим... И Вале вдруг подумалось: пока этот портрет будет на месте и глаза этой

красивой, чуть улыбающейся женщины будут так легко, так хорошо смотреть на тебя — в этом доме ничего не изменится. Не может измениться. А сам Валентин Николаевич? Был ли он когда-нибудь другим, таким же молодым, как эта женщина?

Вале казалось — она знает Валентина Николаевича давно, очень давно, с самого детства, и всегда он был такой, чуть сгорбленный, седой, худощавый, нахохлившийся, как птица в дождь, но не страшный. Как добрый волшебник, который все знает, потому что живет уже тысячу лет...

— Тысячу лет...— вслух произнесла Валя.— Это много, тысячу лет?

— По-моему, даже день — много,— ответил Валентин Николаевич.

Он почувствовал что-то новое в ее настроении, какую-то тревогу и сразу вспомнил: ведь он хотел спросить у Вали, что она играла в тот вечер, когда во дворе впервые появился парень в светлом плаще. Но сейчас он решил, что спрашивать не будет.

Валентин Николаевич много раз видел родителей Вали, моложавых и одетых по моде. Они всегда торопились и были, по-видимому, целиком поглощены своей жизнью. Дружит ли Валя с ними?

А Валя все никак не могла наглядеться на портрет этой женщины с ласкающими глазами. Где она сейчас и почему Валентин Николаевич один? Странно: сколько времени они знают друг друга, а ни о чем не спрашивают. Может быть, так и полагается? И вдруг Валя подумала: а что будет с ним, с Валентином Николаевичем, когда она уедет?

Она впервые так подумала о своем отъезде — не о себе, не о том, что ее ждет, а о старике, который живет рядом с ней.

Вслух Валя сказала:

— Да, тысячу лет это, пожалуй, много, а два месяца — не очень. Они пройдут быстро, очень быстро, и я приеду.

— Конечно,— согласился с ней Валентин Николаевич,— они очень быстро пройдут.

— Ну, мне пора. Надо собираться.— Валя встала и протянула руку Валентину Николаевичу:— До свидания. Только не болейте тут без меня.

* * *

Разные дома просыпаются в разное время. Дом № 31/2 просыпался не раньше восьми, но сейчас, в семь ноль-ноль, во дворе было уже шумно. Валин дом лежал на пути к Казанскому вокзалу, и поэтому ребята решили собраться у нее во дворе.

Валентин Николаевич спустился вниз, но Валя еще не пришла, и он сел на свободную скамью. Ребята и девушки в тапочках и лыжных брюках целиком оккупировали скверик. Они стояли и сидели небольшими группами, громко переговаривались, перекидываясь остротами, пересмеиваясь,— словом, шумели вовсю. В несколько минут они ухитрились превратить скверик в некое подобие походного бивака, короткого привала на большом маршруте — рюкзаки как попало были брошены на землю; на скамейках валялись куртки, удочки, рыболовные принадлежности; кое-где, расстелив газету на скамейки, ребята быстро закусывали, в ход пошли припасы «на дорогу», аккуратно упакованные мамашами. Появились пустые банки, огрызки хлеба, яичная скорлупа.

Все шло своим чередом.

Но вот того темноволосого парня в светлом плаще среди ребят не было. Может, запаздывает?

Посидев немного, Валентин Николаевич встал, обогнул скверик, вышел на улицу. На углу остановился — минут на пять, не больше, и повернул обратно.

Парня нигде не было.

Когда Валентин Николаевич вернулся во двор, Валя, одетая, как и все девушки, в брюках и куртке, сидела на скамейке и старалась изо всех сил так же, как и все, громко говорить и смеяться. Она очень старалась. Ее мать, уже начавшая полнеть дама с красивым лицом, стояла рядом.

Валя бросилась к Валентину Николаевичу:

— Как хорошо, что вы пришли!

Она потащила его к ребятам и стала шутливо представлять Валентину Николаевичу своих товарищей. Последней протянула руку Валентину Николаевичу Валина мама, сказав ему что-то полагающееся в таких случаях.

А парень все не шел.

Вероятно, он был не с их курса, а может, и вообще не из консерватории. И, вероятно, никто из Валиных

друзей о нем ничего не знал, потому что, кажется, ребята уже никого не ждали. Просто Валя старалась, как могла, тянуть время и не смотреть в сторону арки.

— А что, други, кто знает, чего мы, собственно, ждем?— спросил высокий худощавый парень в очках с толстыми стеклами.— Той роковой минуты, когда уйдет поезд?— И вдруг, приложив ладони ко рту, протяжно крикнул:— По ко-о-оням!

Лицо у Вали дрогнуло, но она сразу взяла себя в руки: по коням так по коням...

Валентин Николаевич посмотрел туда, где арка. Пока разберут вещи и наденут рюкзаки, пройдет несколько минут — пять или десять, и мало ли что может случиться за эти минуты...

Но ничего не случилось. Валентин Николаевич, идя рядом с Валей, проводил ребят до угла и видел, как они переходили улицу и потом садились в троллейбус. Он видел Валину спину с туго набитым рюкзаком и очень хотел, чтобы тяжесть, которую Валя увозила с собой, не пригнула ее.

* * *

Вечером того же дня, дома, когда Валентин Николаевич читал какую-то книгу, он вдруг вспомнил, что именно играла Валя накануне своего отъезда. Конечно, это была «Песня вещей птицы» Шумана. Валентин Николаевич отложил книгу и задумался.

Ночью его разбудил телефонный звонок. Улыбаясь (Валентин Николаевич понял по голосу, что она улыбается), Катя сказала ему, что у Оли родилась девочка. Все прошло отлично. Оля чувствует себя прекрасно, и девочка чудесная, с синими-синими глазами, и вес замечательный — три восемьсот...

Катя помолчала (Валентин Николаевич понял, что пауза «артистическая», для эффекта) и, продолжая улыбаться, объявила: а назвали ее Валей, в честь его, деда. Ведь это же счастливый случай, что девочку можно назвать в честь деда!

— Запомни,— сказала Катя на прощанье,— что ты теперь дед!

Потом трубку взял Петька и почти слово в слово повторил то, что сказала мать, и про вес, и про синие-синие глаза, и про то, что девочку назвали Валей в честь его, деда...

На следующий день, ранним утром, Валентин Николаевич ехал на такси в больницу. Машина неторопливо катила по тихим, прохладным улицам с редкими прохожими, и Валентин Николаевич думал о том, что, быть может, ему повезет, его пустят туда, и он увидит Валю, которую назвали так в честь его, деда. И что очень скоро эта Валя будет хватать его за палец, улыбаться и тянуться к нему. А потом она, так же как та, другая Валя, сделает первый шаг, и упадет, и встанет, и начнет карабкаться вверх, со ступеньки на ступеньку, и научится сначала бегать, а потом — летать...

И когда-нибудь, хотя до той поры немало воды утечет, эта Валя с синими-синими глазами перед дальней дорогой станет так же вопрошать судьбу.

*1962 г.*

## ОДИН ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА

Поезд подходил к Москве.

— Порядочек,— твердил про себя Николай,— нормальный ход.

Он всегда говорил так, когда волновался. Сейчас он выйдет из вагона. Его встретит Рая, а с тем проклятым разговором покончено. В конце концов, прав он, Николай, а не начальник мехколонны. Что, Николаю больше всех надо, что ли? Он свое отработал. Согласно трудовому соглашению — на три года нанимался, три года и отработал. Все законно, чин чином. Вкалывал на совесть — тут уж ничего не скажешь. Зря фотокарточку не станут вешать на Доску почета. Пусть теперь другие узнают, с чем ее кушают, тайгу-матушку.

В сотый раз он говорил себе все это, как будто убеждал упрямого человека — несговорчивого, да еще с занудным характером. Николаю было очень важно убедить его — заставить замолчать он не мог. Этот невидимый, бесплотный человек изводил его всю дорогу, не давал покоя ни на минуту. Вот и сейчас, хотя и скоро Москва, он опять, не упуская ни одной подробности, повторял тот разговор с начальником мехколонны.

Чудной был разговор. Начальник мехколонны, когда Николай сказал, что уезжает, не поверил, рассмеялся: ладно, баки заливать сами умеем... Но, взглянув в лицо Николаю, вдруг скис: ты что, серьезно?

А Николай словно не слышал вопроса. Смотря в сторону, он все повторял: я — по закону. Не как другие. Отработал — и баста. По закону... будто не знал других слов.

Это «по закону» и сказало все. Яснее ясного. Начальник мехколонны круто повернулся — аж скрипнул снег — и пошел от него...

Нехороший получился разговор. Как-никак, а три года вместе жили, всякого хлебнули. Но ведь по закону, опять повторил Николай, словно отвечая тому, другому человеку,— по закону...

Уже кончились пригороды, и электровоз осторожно, словно боясь запутаться, входил в густую сеть привокзальных путей.

Николай торопливо надел кожанку и присел к столику, навалившись на него локтями и подавшись вперед, чтобы с перрона можно было его увидеть в окно.

Поезд двигался все тише. Лязгнули буфера, и волна дрожи прокатилась по всему составу. Прокатилась — и замерла в хвосте.

Николай выглянул в окно. Раи не было. Он подождал еще немного, потом поднялся, взял чемодан и не спеша двинулся к выходу. На перроне остановился.

Падал мелкий, мягкий снежок. Сквозь легкую белую завесу виднелся силуэт высотки у Красных ворот, а там, за вокзальным зданием, угадывалась Москва — припорошенная снегом, своя, обжитая, знакомая до мелочей, шумная, меняющаяся, а в чем-то неизменная — со своим воздухом, голосами. У Николая потеплело на сердце. Эх, шут с ними со всеми — а Москва вот она, Москва.

Он стоял и курил, поглядывая по сторонам. Люди понемногу разбредались. В конце концов, Рая могла и не получить телеграмму. Бывает же так. Или не смогла прийти: время дневное, не отпустили с работы. Ну, Алешка, понятное дело, в школе.

Так оно и есть, решил Николай и зашагал к выходу.

* * *

Просыпался Николай трудно, словно освобождаясь от тяжелого груза. Вот он ползет на своем самосвале в гору выше, выше. Надо остановиться, а он жмет на газ, и дорога все круче. Еще круче. Надо остановиться, но он чувствует: уберет газ — и тяжелая машина, грохоча и подпрыгивая на ухабах, неудержимо покатится вниз, а там — ни дна ни покрышки.

Николай заставляет себя проснуться. А может, он не спал? Перед ним, сначала будто в тумане, уголок стены — очень знакомый, и фотокарточка в рамке, и шкаф с зеркалом. Эх, неужто он и вправду дома! И сразу же вспомнилось, как он вошел в комнату и Раи не было, а на столе записка: вызвали на фабрику подменить Клаву (будто он знал, кто такая Клава), приду в восемь. Алеша в школе. Твоя Рая.

Твоя Рая. А он разделся, и стало ему так нехорошо (три года дома не был, а тут — Клава), что достал из чемодана бутылку. Поискал в буфете, чем закусить. Потом лег, опять выпил и прочитал записку. Почему-то не на вокзале, а здесь, дома, он почувствовал обиду, что не встретили. И Алешка не приходил, и опять все вспомнилось про этот разговор и как повернулся начальник мехколонны — аж снег заскрипел.

— Проснулся?— над ним наклонилась Рая и прижалась щекой к лицу и больше ничего не говорила. Николай несмело обнял ее, прижал к себе, но Рая мягко освободилась, и тут он увидел Алешку.

Алешка сидел за столом и смотрел на него. Большеголовый, кудлатый, с синими, как у Раи, глазами. Сын. Мужик.

— Ну, здравствуй, сынок,— сказал Николай,— смотри-ка как вымахал.

Алешка подошел, не зная, что ему делать. В глазах его стояла радость, удивление, любопытство.

— Ну, ну, не бойся, не кусаюсь,— сказал Николай и засмеялся.

А Рая — будто только этого и ждала — весело засуетилась, загремела посудой. Николай (вот она, эта минута!) неторопливо достал чемодан и начал выкладывать на стол дорогие закуски, консервы, шоколад, коньяк — все, чем удалось запастись в вагоне-ресторане.

— Вот,— поднял свою рюмку Николай, когда они уселись,— за то, чтобы всегда были вместе. Так бы жили — и баста!

Он выпил залпом и заблестевшими глазами оглядел жену и сына. Рая, положив вилку, как это она всегда делала, когда начинала разговор за столом, спросила:

— Что же ты, Коля, не написал, что приезжаешь? Мы телеграмму-то поздно получили.

— Да сам не знал, приеду ли. Не пускали, черти. Им ведь знаешь как — только вкалывай. А что человеку домой надо, на это наплевать.

— Кому им?— спросил Алеша.

— Как кому — начальству! Мы насыпь ссыпали, а за нами шли укладчики. Вот они и нажимали. А тут сроки, график, корреспонденты... А что человек по закону действует, как положено, в расчет не берется!— неожиданно раздражаясь, добавил Николай. Он пой-

мал удивленный взгляд Алешки и замолчал. Разве ему объяснишь? Да что мальцу объяснять.

— Я о твоей дороге в газетах читал,— сказал Алешка.— Дорога сквозь тайгу. Через горы, реки...

— Складно говоришь...— Николай как-то по-новому взглянул на сына,— а про батьку твоего, часом, не писали?

— Разве не знаешь?— удивилась Рая.— Мы тут все читали. Соседи приходили...

Рая достала из шкафа аккуратно сложенную вырезку из газеты, подклеенную на сгибе. Видно, много рук держало эту газету. Она самая. Все как было. Как Николай чуть не подох с голоду, когда в паводок размыло и унесло временный мост, будто щепочки. А он двое суток замерзал в тайге, пока его не нашел вертолет. А про чувства — черт его знает, какие были у него тогда чувства,— может, и такие, как описал корреспондент.

Николай вздохнул, налил себе и выпил не чокаясь. Снова налил и выпил. Вот оно как получается — другое им отсюда видно.

И вдруг обожгла мысль: а если знают, как он уехал? Но Николай сразу же отбросил ее — не могут знать. А хоть бы так — ведь все было по закону. По закону — да. А по совести? Да что они мне, судьи, что ли?— снова раздражаясь, подумал Николай. Газета газетой. А уехал, потому что хватит с него. Не Алешке судить. Ради него, ради семьи вытягивал он из себя жилы три года. И все-таки не мог заставить себя встретиться взглядом с Алешкой и не хотел больше говорить об этом. Пусть лучше расскажут сами, как жили тут без него...

Кто-то постучал. Потом в дверь просунулась рыжая голова.

— Заходи, Вася, заходи. Гостем будешь,— приветливо сказала Рая.— У нас праздник! Видишь, дядя Коля приехал.

Николай взглянул на улыбающуюся веснушчатую физиономию и помахал рукой:

— Давай, давай, рабочий класс, проходи.

Ваську, соседа по квартире, Николай устроил в свой таксомоторный парк, когда тот после десятилетки окончил трехмесячные курсы шоферов. Было это месяца за три до отъезда Николая в Сибирь. Паренек оказался смышленый, но доверить сразу ему машину не

решались. Начальство, зная Николаев характер, выискало возможность кое-что ему приплачивать, чтобы поднатаскал парня по мотору и ходовой части. Так и получилось — ученик, вроде как для дополнительного заработка. А раз так — занимался Николай на совесть: халтуры он не терпел ни в чем.

Сейчас Василий стоял рядом с ним (сесть он не решался), широко улыбаясь, тряс руку — видно, по-настоящему рад встрече, помнит науку, благодарен за нее, и оттого воспоминание о деньгах, перепавших за Василия, Николаю было неприятно.

А Василий успел рассказать, что заочно учится в институте, недавно получил второй шоферский класс, работа идет нормально.

— Ну конечно, разные бывают переплеты в нашей водительской жизни,— заметил он,— однако по сравнению с Сибирью все это детские игрушки... А про вас я читал. Герой вы, дядя Коля!

— Ну, я-то герой,— усмехнулся Николай,— а что же ты геройствовать не едешь? Или тебе Сибирь заказана по случаю морозов?

— Так ему учиться надо,— вмешалась Рая.— И не сбивай ты парня. У него дорога правильная. Все в свой черед.

— Добрая ты душа!— вздохнул Николай.— Только одно не разочла: если все учеными станут, кому ж тогда баранку крутить?

Эх, Сибирь... Герой он или кто, а что он там вкалывал на совесть — это уж точно. Все, конечно, законно. Он свое отработал. А все ж нехорошо получилось. Зачем полез в бутылку? Характер у тебя, Николай Степанович. Тебе все отдай, что положено. А там — хоть трава не расти. А трава, она растет...

— Кончу институт, поеду, куда пошлют. В Сибирь. Или еще куда. А морозов не боюсь. И работы никакой не боюсь.— Василий от растерянности сел на стул, поспешно подставленный ему Раей.

— Ты, Вася, кушай, кушай,— засуетилась Рая, пододвигая ему тарелку.

Василий молчал, и Николай примирительно добавил:

— Ну ладно. Прости, коли не так сказал. Ты, я знаю, парень стоящий. Давай-ка лучше выпьем.

Он налил Василию полную рюмку, кивнул головой: дескать, пей — и, усмехаясь одними глазами, смотрел,

как парень, морщась, осушил рюмку и поставил ее на стол.

— А теперь закуси. Так-то оно лучше пойдет!

Николай и сам был не рад такому обороту разговора. Он хотел, чтобы все радовались, чтобы море было разливанное и все видели, какой он есть человек. А Ваську он зря... Васька, конечно, ни Сибири, ни морозов не испугался. А когда поедет, почем платить будут — тоже не спросит. Это уж точно. Николай слишком хорошо знал таких ребят, чтобы ошибиться. Плевали они на рубли. У него самого были такие. Большинство таких. И что правда — то правда: эти ребята не подведут. Проверено. А как они чуют друг друга. Ему нужно пуд соли съесть с человеком, чтобы узнать, на что он годится. А эти только повстречаются — один из Калуги, другой рязанский, а уж нá тебе: друзья.

Николай только сейчас заметил, как Алешка подсел к Василию и они тихонько завели свой особый разговор. А ведь Алешка и Василий — одна косточка, вдруг подумалось Николаю, как он про дорогу-то сквозь тайгу говорил. Да не про дорогу — об отце... Парню шестнадцать. Какой вымахал. Уж небось и понятие о жизни имеет. Попробуй ему объясни...

Николай задумался и не заметил, как Василий вышел из комнаты, как Алешка взял книгу и, сев к окну, углубился в нее, как Рая, убрав со стола, начала стелить постели.

Стало тихо, лишь будильник на комоде мерно отсчитывал секунды. И почему-то никто не решался нарушить это как-то само собой воцарившееся молчание.

* * *

Николай проснулся, словно от толчка, и сразу же открыл глаза. Сквозь окно чуть просачивался тусклый, серый свет, и комната была залита полутьмой, с тенями и темными, почти черными углами. Он знал, что такое мутный рассвет с леденящим тоскливым ветром за стеной, и приучил себя не думать в эти минуты. Как проснешься, надо было вскакивать, умываться, двигаться, шуметь, будить ребят — и тогда не успеешь оглянуться, как ты уже в машине, за рулем, а там уж не до мыс лей...

Но сейчас вставать было ни к чему, не было ветра и мороза и ребят, в комнате было тепло, и тикали часы,

и под головой была чистая, белая, теплая подушка, и рядом Рая, и ее рука на его плече. Он только сейчас заметил, что ее рука на его плече. Такая легкая, совсем без тяжести — только тепло от нее. Николай вспомнил — и защемило сердце, так давно это было,— как, просыпаясь, чувствовал на своем плече Раину руку и боялся двинуться, чтобы не разбудить ее. И как, сдерживая дыхание, думал о Рае, восстанавливал в памяти, час за часом, прошедший день. Что говорила, когда провожала утром на работу, и как махала рукой, сначала с лестничной площадки, а потом из окна — будто он уходил не на день, а уезжал надолго. Чудно, но вспоминалось именно давнее — первые годы их самостоятельной жизни. Здесь, на Самотеке. Тогда им было море по колено — лишь бы вместе, лишь бы ему знать, что Рая ждет, что она всегда с ним.

Стало светать. Надо вставать, все равно больше не уснуть. Николай чуть подвинулся, и Рая сразу открыла глаза. Какое-то мгновенье в них еще стоял сон. Она глубоко вздохнула, положила руки под голову. Потом лицо ее собралось, между бровями обозначилась складка. Вроде бы вспомнила что-то. Или задумалась. О чем?

— Знаешь что,— сказал вдруг Николай,— давай сегодня махнем куда-нибудь, возьмем Алешку... Я ведь забыл, какая она, Москва.

— Сегодня воскресенье...— Рая приподнялась на локте и, глядя на Николая, чуть склонив голову, повторила:— И правда, Коля, ведь сегодня воскресенье...

Помедлив, Николай сказал:

— Значит, заметано.

За завтраком он уточнил свой план. Для начала махнут в центр, на улицу Горького, потом — площадь Свердлова. Зайдут в Мосторг. Пообедают где-нибудь. А там видно будет. Алешка молчал, а Рая все поддакивала Николаю. Для нее все было хорошо.

...Они пересекли Самотечную площадь, направились вниз по Цветному бульвару, к центру, мимо рынка, цирка, панорамного кинотеатра, где толпится народ, и вышли к Кузнецкому мосту. Традиционный воскресный маршрут, когда они с Раей заходили в магазины, присматривали, что купить, приценивались, хотя денег у них обычно не было. Впрочем, это больше огорчало продавцов, которые понапрасну тратили на них время. Рая же всегда умела радоваться всякой малости. И те-

перь, глядя сбоку на ее лицо с пробивающимися морщинками возле глаз, на истертый меховой воротник ее ношеного-переношеного пальто, Николай, кажется, впервые с такой остротой подумал о том, что не так-то легко все давалось ей. И то, что они с Алешкой, даже когда он сам мало зарабатывал, ни в чем не терпели недостатка, требовало от Раи всех ее сил и помыслов. Николай тихо сжал ее пальцы, и Рая, как всегда, чутко откликнулась — повернула к нему голову, улыбнулась.

На улице Горького Алеша потащил их в книжный магазин. Книгу он выбрал сразу же — видно, давно присматривался. Алешка был очень рад своей покупке — все перелистывал страницы, рассматривал картинки. Николай прочитал заглавие: «Телевидение? Это очень просто!» Прочитал — и усмехнулся. Просто. У них все просто. У таких, как Василий и Алешка.

Наконец они подошли к Мосторгу — главному пункту запланированного маршрута. Уж здесь-то Николай себя покажет. Чтобы знали, что такое — Сибирь. Во-первых, купят телевизор, Алешке — фотоаппарат, новое пальто Рае. Что захочет — за деньгами не постоит. О своих планах Николай нарочно не говорил. Чтобы получился эффект. Но странное дело — сейчас он не то чтобы потерял интерес к покупкам, но не было в нем той легкой радости, которую он так ясно представлял себе там, в Сибири. Телевидение. Это очень просто... Хорошо, конечно, купить. А можно и не покупать. Не в этом суть. Да, пожалуй, что так. Не в этом — а в чем?

В людском потоке их внесло в универмаг. На первом этаже Алеша потянул к спортивному отделу. И тут (надо же, не успел выйти из дому, а уже знакомого встретил) Николай увидел дядю Костю.

Дядя Костя работал механиком в том же таксомоторном парке, что и Николай. Еще до войны, когда Николай пришел туда, дядя Костя уже был ветераном, таким, как сейчас: седой, худощавый, сутулый, с большими темными узловатыми руками. И так же, как он Ваську, дядя Костя тогда учил его. Давно это было. Очень давно. А не забылось. Может, еще и потому, что Николай любил его.

Побаивался и любил. Дядя Костя никому не навязывался в друзья, не лез в душу, на собраниях выступал редко. Но оттого, что он работал рядом с тобой, что мог вмешаться в любое дело, как-то легче, спокойнее жилось. Перед взглядом его голубых, очень светлых,

старчески выцветших глаз нельзя было врать, «финтить», «крутить вола». Дядя Костя состоял в партии с 19-го года, его на пушку не возьмешь, и уж если что говорил — было по справедливости.

Рядом с дядей Костей стоял мальчишка лет двенадцати (внук, наверно) и, держа в руках лыжу, что-то горячо доказывал. Старик молчал и только покачивал головой. Потом вздохнул и махнул рукой: была не была! Ага, уговорил, значит. Парнишка-то, видно, хотел лыжи, какие подороже, а дядя Костя знал цену копеечке.

Если бы он мог сейчас подойти к ним и купить ради старика эти чертовы лыжи! Да попробуй-ка. Старик так шуганет, что не обрадуешься.

Но подойти-то ты можешь. Подойти. Поздороваться. Потом и по маленькой на радостях пропустить. Но Николай представил себе, как обрадуется дядя Костя встрече, что он скажет, как, смотря на него в упор, начнет расспрашивать про сибирскую жизнь,— представил это и опять вспомнил свой разговор с начальником мехколонны. Вспомнил — и сразу тот, другой человек, который не отставал от него, затеял свой прежний разговор.

Мог же Николай уехать, когда дорогу построят? Потому что там — тоже люди. Товарищи. Может, он их не увидит больше. Но прожитое — не зачеркнешь. Не забудешь. И законами не прикроешься.

Дядя Костя отдал чек и получил лыжи. Парень взял их и осторожно, будто стеклянные, понес к выходу. Николай увидел чуть сгорбленную спину дяди Кости, и вдруг сквозь гул голосов, шарканье ног, толкотню пробилась из какого-то далекого, казалось, навсегда забытого времени тишина того давнего начинающегося дня...

...Они шли с отцом на рыбалку по бледной от ночного мороза траве, и Николай, ежась от холода, старался не отстать. Сон еще не совсем отпустил его. Густой, влажный туман, закрывший дорогу, оставлял на лице капли, забирался под воротник. Николаю казалось — не будет конца этому пути сквозь мглу и притаившуюся тишину. Он не заметил, как они вышли к берегу. Поднялся ветер. Отец расстелил брезент, усадил его и пошел разжигать костер. Николай задремал — ему чудилось, что они все идут, а речка отодвигается, и было страшно оступиться, потому что по сторонам чернели ямы. И вдруг кто-то толкает его — он летит вниз. Ни-

колай поднимает голову и видит стоящего над ним отца.

— Проснись,— трясет его отец за плечо.— Проснись. Погляди.

Медленно, еще плохо соображая, он встает рядом с отцом. Окончательно проснувшись, оглядывается.

Из-за горизонта в белом накаленном кольце всходит красное солнце.

На той стороне реки, ближе к лесу, растекаясь в воздухе, клубятся у самой земли молочно-белые облака тумана.

И вдруг все словно застыло, остановилось, притаилось.

Только солнце медленно поднимается все выше, светлея и уменьшаясь. Над лесом оно становится розоватым и почти сливается с такой же розоватой полосой, которая тихо разливается по небу. А потом посветлело, и Николай увидел реку, кусты на том берегу, почти незаметное пламя костра недалеко от него.

— Запомнишь?— спросил отец и, не дожидаясь ответа, чуть согнувшись, пошел к воде.

Вот оно как. Оказывается, запомнил. Сгорбленная, как у отца, спина дяди Кости уже скрылась в толпе. Да мало ли что вспоминается, подумал Николай, памяти не прикажешь.

Но смутно он чувствовал — то далекое утро, когда они с отцом смотрели, как поднимается солнце, имеет какое-то отношение к спору о том, в чем же суть. Ему ведь тоже хотелось что-то показать, что-то объяснить Алешке в этой жизни. Встать рядом с ним и, не боясь его глаз, с чистой душой сказать: запомнишь?

Может, когда-нибудь он и скажет. Только не теперь. Пусть сегодня идет, как идет.

Пусть сегодня будет так.

А — завтра?

*1963 г.*

# ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Публикацию этих немногих страниц из дневника мне хотелось бы предварить несколькими замечаниями. Во-первых, я не могу сказать, что сам дневник предстает перед читателем в своем первозданном виде — кое-что пришлось опустить, кое-что слегка изменить, что, впрочем, никак не повлияло на существо рассказанной истории. Разумеется также, что изменены имена действующих лиц и некоторые второстепенные обстоятельства, сопутствующие событиям, о которых говорит Вика Колесникова.

Остается прибавить, что мне не удалось уговорить Вику включить сюда же, хотя бы выборочно, те места из дневника, где она высказывает свои мысли о прочитанном и увиденном — о поэзии, об искусстве, о людях, которые поразили ее воображение...

Очень жаль — это бы значительно обогатило представление читателей об авторе дневника. Но делать нечего. Как говорится, хозяин — барин.

И — последнее. По моей настоятельной просьбе Вика познакомила меня с Марией Игнатьевной — одним из главных действующих лиц этой истории. Некоторые наши беседы с Марией Игнатьевной я записал и кое-что сжато передаю здесь — то, что относится к делу.

Вот, пожалуй, и все. А теперь представим себе небольшой старинный городок, не очень далеко от Москвы, где течет неспешная жизнь, есть река и много тополей, а на окраинах сохранились тихие улицы с одноэтажными домами и перед ними палисадники, пестреющие яркими цветами.

* * *

Ее чай давно остыл, но рука еще машинально помешивает ложечкой в стакане. За окном шумит дождь. Тяжелые капли бьют в окно, и от этого тихая, чистая,

аккуратно прибранная комната кажется особенно уютной. В дальнем углу, за чертой освещенного круга, письменный стол. На нем стопки аккуратно сложенных книг, журналов. Взгляд Марии Игнатьевны устремлен туда, в этот темноватый угол...

Она сидит прямо, собранная, тщательно одетая,— кажется, совсем еще молодая, начинающая седеть женщина.

— Вот так все произошло... Теперь это прошлое. Ошибка исправлена. Выяснились недоразумения, распутан клубок стечения обстоятельств. Много людей вступились за правду и справедливость...

Она говорит медленно, спокойно, как бы раздумывая. И я понимаю — говорит для себя. Может быть, слишком спокойно. Но так ей легче...

— Да, все устроилось. Кирилл, как мы хотели, учится в университете. И моя жизнь течет по-прежнему. Но ночами, когда не идет сон, я все вспоминаю то лето, день за днем, хочу понять, когда, как, с чего все началось, ищу и не нахожу... И тогда мысленно возвращаюсь к тем далеким годам, когда отец Кирилла, оставив меня с двухлетним малышом, уехал в Москву.

Мне было тогда двадцать три...

У меня не было специальности, я жила интересами мужа. Он был талантлив, и я гордилась им. В том, что он должен был совершить, была бы и моя доля, мой труд.

Разное вспоминается с той поры... Кирилл родился, когда его отец кончал аспирантуру. Потом он защитил диссертацию и уехал в Москву — мы с Кириллом мешали ему целиком отдаться науке. Он писал мне, присылал деньги — они всегда для него мало значили.

...В ту ночь, когда он уезжал, шел дождь, бесконечный дождь, и отец Киры шутил — на счастье. Есть такая примета — дождь перед дорогой на счастье. Он говорил, что уезжает на год, но я знала — навсегда... А Кира плакал — очень хотел поехать с ним. А потом уснул, вот в этом кресле. Какая это была ночь... Кира спал, а я смотрела на него и думала, думала... Я не знала, как жить дальше, что делать... Не знаю, что было бы, если бы не Кира. Я нашла в себе силы жить — ради него.

Потом поступила на курсы бухгалтеров — до замужества я кончила почти три курса планово-экономического института. Я стала бухгалтером. Заочно окончила институт. Мне доверили большую работу.

...Кирилл уже учился в школе. Мы очень любили вечера, когда оставались дома. Бывало, уголком глаза я тихонько наблюдала, как он читает, подперев голову, иногда покусывая карандаш. Я видела его глаза, когда он поднимал голову от книги, его чистый лоб, и я верила, что он правдив, добр, талантлив. Мне казалось — моя жизнь оправдана.

В седьмом классе он увлекся математикой и физикой, побеждал в олимпиадах, начал переписываться с одним крупным ученым из Московского университета. В нашем небольшом городе о Кирилле заговорили. Даже в газете написали.

Потом появилась Вика, его одноклассница... Помню, как она первый раз пришла к нам сердитая, разгоряченная от спора (она и потом всегда препиралась с Кириллом по всякому поводу) и как потеплели ее глаза, когда она увидела нашу комнату, этот угол, где занимался Кирилл, его книги. И как Кирилл отозвал меня в сторону, шепотом, краснея и волнуясь, попросил меня приготовить что-нибудь к чаю...

Чем он жил тогда, что любил, к чему стремился? Я была уверена, что все знаю, что ни одна его мысль, ни одно настроение не ускользают от меня.

Времени — вот чего стало не хватать Кириллу. Ему так много нужно было успеть, узнать, освоить! Как жить, чтобы не терять попусту ни одной минуты? Попусту... Что это означало? Встречи с товарищами? Книги, если они не нужны ему как будущему ученому? Дважды он с восторгом прочитал статью крупного ученого, где говорилось о цене времени для ученого. Она утвердила его, развеяла сомнения. Все для науки, каждый день, каждый час — только тогда он сможет что-то сделать; чего-то добиться.

Добиться — мне не очень-то нравилось это слово. Оно слишком напоминало мне его отца. Но какой смысл Кирилл вкладывал в него? Я успокаивала себя: так ли уж худо, если мальчик в семнадцать хочет заявить о себе, ставит перед собой большую цель. Придет время, думала я, и Кириллу откроется и другая сторона

жизни, связанная с духовными исканиями, с моральной ответственностью перед людьми, обществом...

— Скажи мне,— спросила я его в один из вечеров, когда мы были с ним вдвоем,— а время, проведенное с друзьями, ты тоже считаешь потерянным?

— Да,— ответил он, не отрываясь от книги.

— А с Викой?

Кирилл поднял голову, словно услышал что-то неожиданное, помедлил и снова уткнулся в свои страницы.

— А со мной?— упрямо продолжала я допытываться.

— Это другое дело...— он сказал это неуверенно, очевидно чувствуя, как колеблется почва под его теорией...

Ну что ж, подумалось мне, вероятно, так устроена жизнь: когда мы молоды, мы, не раздумывая, берем все, что сделано до нас и для нас, и, лишь повзрослев, начинаем отдавать... И начинаем понимать, что жизнь другого человека — это целый мир, что, отгородившись от людей, мы теряем себя. Юность эгоистична, утешала я себя. И все же я чувствовала: в моих рассуждениях что-то не так, что-то не сходится. Ведь его товарищи жили не по-другому.

А Кирилл? Неужели наука для него — это он сам в науке?

После разговора с ним я впервые так прямо начала думать об этом. И чем больше я присматривалась к Кириллу, тем сильнее росла моя тревога. Я чувствовала: все, что находится за пределами его интересов, его мира математики и физики, просто перестает существовать для него, теряет всякий смысл.

Я ошибаюсь? Сужу слишком строго, слишком лично? Может быть. Но мне становится страшно, когда я думаю о том, что произошло. Как он будет жить дальше, чем будет мерить свои поступки?

Мария Игнатьевна замолкает, задумывается. И вдруг, словно стряхнув с себя оцепенение, неожиданно говорит, и в голосе ее звучит затаенная надежда:

— А может быть, это все-таки возрастное? Мальчишеская корь? Он «переболел»— и все пройдет... Бывает же всякое в этом возрасте, правда?

## ИЗ ДНЕВНИКА ВИКИ

*18 июня*

Итак, школа позади! И как будто судьба ждала этого момента, когда я сдала последний экзамен, произошло то, о чем боялась и думать... Я еще не могу разобраться в этом, не знаю, как теперь сложится моя жизнь. Попробую написать все, как было, хотя мне это очень трудно.

Мне было так хорошо, так радостно, когда я бежала вниз по лестнице, а Кир, как всегда, ждал меня в школьном садике. Он сдал экзамен утром, раньше всех, и ушел из школы. Потом из окна класса я видела, как он появился во дворе и затеял с малышами возню. А теперь он ждал меня, и будто что-то пело, звенело во мне, хотелось куда-то идти, бежать, все равно куда, лишь бы не сидеть на месте.

— Все в порядке?— спросил Кир и засмеялся, потому что спрашивать было не надо. Мы пошли к реке. День был чудесный — нежаркий, очень светлый, с белыми кучками облаков и глубоким-глубоким небом.

— Давай уплывем,— сказала я.— Далеко-далеко...

— На край света?— спросил Кирилл.

— Да.

— В Лапландию?

Я кивнула. Мне захотелось, чтобы сейчас началась сказка — Лапландия, Лапландия, гусиная страна! И пока Кир отвязывал лодку, я представила себе, как мы с ним плывем далеко, неизвестно куда, со всякими приключениями; и как Кир защищает меня...

Он греб, а я смотрела на воду, на серебряные блики, которые переливались и сверкали, как живые, а когда закрывала глаза, слышала скрип уключин, и плеск воды, и какие-то далекие голоса на берегу... Потом долго-долго смотрела на небо, и мне казалось, что я делаюсь все меньше и легче, еще чуть-чуть — и меня не останется совсем, только одно небо кругом.

Я сказала об этом Киру. Он усмехнулся...

— Типичные высказывания эмоцика.

— А кто такие «эмоцики»?— спросила я.— Такие допотопные чудища — вроде динозавров?

— Вот именно,— ответил Кир.— И, как динозавры, обреченные на вымирание. К примеру, твой Андерсен, Ганс Христиан. Мне искренне жаль его. Наверно, он был способен не только на свои красивые сказочки —

мог бы заняться чем-нибудь стоящим, а?— он усмехнулся.— Как думает комиссар?

Вот всегда он так — лишь бы позлить меня.

— Сколько лет я тебя знаю, Кир?— неожиданно спросила я.

— Пять, десять, тысячу,— ответил он.

— Ну вот. Целых тысячу, а все не могу понять, шутишь ты или вправду такой...

— А я хочу, чтобы ты поняла.— Кир произнес это так, что у меня все оборвалось.— Ведь ты для меня...

— Подожди. Не надо,— наверно, так я сказала ему, потому что у него вдруг пропал голос.— Скажи, когда я уйду. Ладно? Громко. На весь мир. И много раз...

Потом мы гуляли, пока не стало темно. И молчали. И только когда подошли к моему дому, Кир проговорил:

— Считай, что я это сказал. Много-много раз...

Он поцеловал меня, и я убежала.

*15 июля*

Сегодня снова открыла свою тетрадку. Хотела сказать — случайно, но это была бы неправда. Когда все хорошо и когда не происходит ничего особенного, я не могу и словечка написать. Сколько раз пробовала — не получалось. А эти три недели были, наверно, самыми лучшими в моей жизни! Мы с Киром виделись каждый день — ходили купаться, катались на лодке, уезжали с ребятами на 65-й километр за малиной... Об этом с того раза не было сказано ни слова. Но для чего слова? Когда я вижу его лицо, улыбку, слышу его голос — и все во мне звенит от одного его взгляда?

Через неделю Кир должен уехать в Москву — сдавать экзамены в университет. Его там уже знают как победителя заочной математической олимпиады. Даже письмо прислали — вроде приглашения, неофициального, конечно. А я остаюсь и буду поступать на медицинский. Встретимся зимой, в каникулы, и тогда... Но об этом я не хочу думать — ведь еще целая неделя!

Сейчас я была у Кира дома. Всю вторую половину дня он, как всегда, занимался. Когда я вошла в комнату, Мария Игнатьевна сидела за столом. Она подняла голову — и у меня сжалось сердце: такое было у нее лицо! Я бросилась к ней: что-нибудь случилось?

— У мамы неприятности,— сказал Кир.— Ревизия вскрыла какие-то махинации на складах горторга, и этим делом занялось ОБХСС.

— Ну и что?— спросила я.

— Да ведь мама бухгалтер — финансово-ответственное лицо.

— Ну и что?— снова вырвалось у меня. Я не могла понять, какая связь между махинациями на складе и Марией Игнатьевной.

— Вот и я говорю!— закричал Кир.— Все знают, что мама честный человек! Всем ясно, что ее провели какие-то проходимцы. Уверен, все скоро выяснится. Те, кому полагается, найдут концы, разберутся, и все встанет на свое место.

Мария Игнатьевна молчала. Она смотрела остановившимися глазами на меня, на Кира — и не видела нас. Никогда еще она не была в таком состоянии. Мне стало страшно.

— Как же быть, Кир? Что же делать?— спросила я, когда мы вышли с ним на улицу.

— А что мы можем сделать? Здесь нужны факты, а не эмоции... Одно я знаю: раз мама не виновата, значит, все будет в порядке.

Дома я пробовала читать, даже взяла Лермонтова, но не смогла понять ни одной строчки. У меня так и стояло перед глазами серое, с застывшим отчаянием и остановившимся взглядом лицо Марии Игнатьевны.

Если все так просто, как говорит Кир, почему же у нее было такое лицо? А может, он хотел уверить себя в том, в чем сам сомневается? Но — для чего?

*19 июля*

Мария Игнатьевна взяла себя в руки и держится хорошо. Она сказала, что теперь, когда началось следствие, ей стало легче. А о своем разговоре со следователем — ни слова. На все наши расспросы с Киром только и ответила: следователь — человек умный и хочет во всем объективно разобраться.

— А подписку о невыезде все-таки взял,— и горько усмехнулась.

— Формальность,— глухо сказал Кир,— служба такая.

*21 июля*

Вчера вечером рассказала все отцу. Он долго молчал, потом проговорил: не нравится мне эта подписка о невыезде. Потом раскурил свою трубку, спросил:

— А Кирилл что думает делать?

Я хотела сказать «ничего», но не смогла, только пожала плечами.

Отец не ответил. Он курил и смотрел, как у потолка растекается дым. И вдруг сказал:

— Ну а ты-то что?

Я ждала этого вопроса, но ответила так, будто только сейчас пришло мне в голову:

— А если мне пойти к следователю и рассказать все, что я знаю о Марии Игнатьевне? Она же честный, она... замечательный человек!

Я выпалила это одним духом, смотря в пол. А если отец просто-напросто высмеет меня, как несмышленую девчонку? И правда — что бы я ни говорила следователю, к тому делу это все равно не будет иметь ровно никакого отношения. Там нужны факты, а не эмоции...

Отец помедлил (я чувствовала — он пристально смотрит на меня) и наконец сказал негромко:

— Что же, дочка, действуй.

*23 июля*

Мне очень трудно писать — хоть бы забиться куда-нибудь в уголок и нареветься, как раньше, когда я была маленькой. Но не могу плакать. Только как-то холодно, пусто внутри. Хочу рассказать все, как было. Всю правду. Для себя. Может быть, потом когда-нибудь пойму, почему мне так тяжело...

Да, надо только написать все, как было,— будто я ни при чем и смотрю на это со стороны.

Так вот, на следующий день после разговора с отцом я пошла к следователю. Не буду описывать, чего стоило найти того, кто мне нужен. Это неважно. А страшно было только одну минуту, пока говорила, кто я и зачем пришла.

Следователь не удивился. Он усадил меня и, не перебивая, выслушал все, что я сказала. Потом начал спрашивать обо мне — о нашем классе, об учителях, о моих родителях. Он спрашивал, ходил по кабинету,

подолгу стоял у окна, снова ходил... Потом вдруг остановился около меня:

— Ну что же, Вика, ты правильно сделала, что пришла. Спасибо. А ведь трусила, наверно?

— Я вообще трусиха,— призналась я,— даже пиявок боюсь...

Он засмеялся и протянул мне руку:

— А к экзаменам готовиться надо, не то провалишься, год потеряешь. Обещаешь заниматься?

Теперь я понимаю, почему он говорил со мной так, как с маленькой. Заниматься. Провалишься. И — ни слова о Кире.

Я ответила:

— Попробую. А с Марией Игнатьевной очень опасно?

— Сказать по правде — опасно. И очень. Так все хитро сработано, что и концов не найдешь,— следователь вздохнул, нахмурился.— Все у них продумано, предусмотрено. Люди бывалые, с опытом... А ты все же постарайся взять себя в руки.

— Постараюсь.

Вот когда я по-настоящему поняла, в каком трудном положении оказалась Мария Игнатьевна. Я побежала к Киру. Он был один. На столе лежал открытый чемодан, учебники, мыльница. Кир молча протянул мне телеграмму.

Я машинально взяла ее, прочла, но ничего не могла понять.

— Из университета. Просят немедленно выехать,— сказал Кир,— меня зачислили сдавать в первый поток. Если опоздаю — все сорвется, и целый год к чертям. Ты понимаешь, что такое год.— Он говорил, будто забивал гвозди в железо, бил, а они не забивались, словно не мне говорил, а себе.— Да, знаю, что скажешь. Знаю. Но ведь все в конце концов устроится. Не сомневаюсь. Иначе не может быть. Ну ладно, хорошо. Предположим — я остаюсь. Что меняется? Да ровным счетом ничего!

— Ничего?

— Ну да — ничего. Ничего не изменится...

Он говорил, а я все пятилась и пятилась к двери, пока не оказалась на лестнице. Он кричал мне что-то вдогонку, но я сколько было силы бежала вниз и потом по улице...

Рано утром я пошла к Кириллу. Еле дождалась, по-

ка рассвело, пока на улицах появились первые прохожие. Могло же мне все это присниться? Могло же произойти какое-то дикое недоразумение? Ведь бывает же так, всякое бывает!

А потом мне вдруг пришло в голову — у Березовой поезд останавливается на две минуты. Это сорок километров от нашего города. Кирилл может сойти и добраться обратно на попутных машинах. Или пешком. Чемодан выбросить, чтоб не мешал. Если идти семь километров в час — к утру придешь...

Бывает же у людей такое. Как затмение. Когда не знаешь, что делаешь... А потом вдруг поймешь. Я бежала и надеялась — сейчас увижу Кира и даже не подам вида, что помню вчерашний разговор. Как будто ничего не было.

Дверь открыла Мария Игнатьевна.

— А-а, это ты, Вика,— медленно и очень спокойно сказала она.— А Кирилл вчера ночью уехал. Да, да, уехал.

Мне стало жутко от ее безжизненного голоса. Наверно, так говорят о смерти близкого человека.

Где мне взять силы, чтобы быть рядом с Марией Игнатьевной? Где мне взять силы, чтобы не вспоминать, что было у нас с Кириллом?

И как жить дальше?

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Множество вопросов у читателя, вероятно, вызовет чтение дневника Вики Колесниковой. И даже сейчас, год спустя после этого лета, я не смогу ответить на них. Впрочем, дело Марии Игнатьевны, как и следовало ожидать, закончилось благополучно. По этому поводу Кирилл писал матери из Москвы, что ни минуты не сомневался в исходе этой «идиотской истории». Он писал также, что много занимается, что ему очень интересно, и вообще — живет неплохо. О Вике в его письме не было ни слова.

Ну а Вика? Она действительно в тот год даже не пыталась поступать в институт, а в октябре начала работать в больнице.

Держится она спокойно, ровно, приветливо. Но иногда, разговаривая с ней, вы вдруг чувствуете, что

она уходит в себя, глаза становятся словно глубже и смотрят мимо вас. Так может продолжаться долго, пока вы снова не спросите ее о чем-нибудь. Мария Игнатьевна говорит, что это понемногу пройдет.

Недавно я снова побывал в этом городке, цвели тополя, и все было бело от тополиного пуха, как в то лето. Жаль, что не удалось повидать Вику — в этот день она дежурила в больнице.

*1966 г.*

## ДВОЕ

В Крыму была весна, они были вдвоем, и она не хотела ни о чем думать.

Кругом все цвело. Волны зелени полыхали красными, оранжевыми, сиреневыми пятнами. Силуэты далеких гор тонули в мерцающей розовато-фиолетовой дымке. Внизу сверкало синее-синее море. Подальше от берега оно светлело, голубело все больше и больше, а потом сливалось с небом. Линия горизонта была почти неразличима, но казалось — именно оттуда исходит это нестерпимо яркое сияние воздуха и света.

Она взглядывала на его лицо, когда они выходили из дома и останавливались, прежде чем спуститься вниз, и он, чувствуя это, сжимал ее руку. Они молчали, слова были не нужны. Она любила его лицо с резкими чертами, казавшееся замкнутым и преображающееся будто от внутреннего света, когда он смотрел на нее. Любила эту мгновенную перемену, любила в нем все — голос, руки, его жажду видеть, знать, которую чувствовала и в себе.

Она гнала мысли о том, что их ждет в Москве, а дни шли, и она уже не могла не считать — сколько осталось. И каждый раз, когда проходил еще день, с болью что-то рвалось в ней, будто уходил, отдалялся и он, и она не могла удержать его. Не могла даже крикнуть, пошевелиться, словно голос не слушался ее и немота отчаяния сковала движения.

А кругом было все то же: буйствовала весна, и горячее солнце заливало землю, и они гуляли, ездили и все боялись что-то упустить, чего-то не увидеть, не почувствовать.

Четыре, три, два...

Накануне ее отъезда они поехали в горы. Машина шла вверх, горы уже заслонили море, и тишина все больше заполняла пространство, и уже тянуло влажным холодом из ущелья. Она молчала и, положив ладонь сверху на его руку, все смотрела то на далекие си-

неватые вершины, то на бурые, красные обнажения в трещинах и расщелинах, все ближе подступавшие к дороге.

Когда они вышли из машины и остались одни, их ошеломила тишина. Они остановились, не решаясь идти дальше. Он обнял ее за плечи, и они долго стояли так, прислушиваясь, пока не почувствовали, что эта тишина уже вошла в них и подчинила себе. Она мягко качала их на своих волнах и несла куда-то, и не было берега, не было ничего, кроме этой тишины.

Они пошли вверх по дорожке, которая вела в ущелье, и услышали далекий рассыпающийся звон. Стало темнее — скальные выступы, нависшие над ними, закрыли небо. Потом они опять увидели облака, деревья на склоне и падающую, струящуюся по камням воду.

Они сели на камень у самой воды. И снова тишина подняла и понесла их. Неужели это кончится?— подумала она.

— Хорошо, что и берега нет,— сказал он.

Она положила голову ему на плечо, и он обнял ее, и пальцы сплелись, и она почувствовала себя маленькой, как всегда, когда он обнимал ее, и волны несли и качали их, и не было берега...

Облака закрыли солнце, потянуло холодом. Она подняла голову и вздохнула.

— Ты что?— спросил он.

Не думать, приказала она себе. Ну да, опять не думать, чтобы не испортить эту минуту, и еще одну, но ведь настанет и последняя. А она уже настала — вдруг с беспощадной ясностью пронзило ее,— потому что больше уже не повторится это. Им оставалось одно — он должен решить. Все оборвать, все сжечь, и уйти, и не оглянуться. У нее сжалось сердце от одной мысли, что он может быть с ней всегда. И она будет ждать его вечерами, и открывать ему дверь, и что-то поручать сделать для дома, их дома... И то, что открылось им, не кончится, и будет еще другое...

Горы, обступившие их, гряда за грядой, уходили вверх, и где-то очень далеко, над облаками, подернутые дымкой, синели самые высокие вершины.

Тишина шла оттуда, от этих гор, недоступных, немыслимо далеких.

А вблизи, за черным провалом, цепляясь за каменистый склон, стояли деревья. Ей отчетливо виделись

узловатые, в наростах корни, бронзовые стволы, ветви с темно-зеленой хвоей.

Отдаляясь, горы словно очищались от всего случайного.

«И мы сейчас так,— подумала она,— есть только мы. Вдвоем. А там...» Она закрыла глаза и снова услышала легкий звон разбивающейся о камень воды. А потом опять — тишину, и опять ощутила себя маленькой, и еще тесней прижалась к нему. Она не хотела отпускать эти минуты. Его пальцы коснулись ее волос, щеки, губ, и она подняла глаза. Никогда еще не видала она его лицо таким напряженным. Он почувствовал, что она смотрит на него, и повернулся к ней:

— Пойдем. Пора...

...В Москве он позвонил ей в тот же день, когда приехал. Они условились встретиться, но уже не было у нее того радостного возбуждения, когда она шла к нему, потому что опять они расстанутся, и опять она будет ждать, когда он позвонит, и когда позвонит еще, и не сможет ни о чем думать и будет ждать. Она чувствовала, что устала, у нее не было больше сил, то, что она пережила там, в горах, словно обескровило ее. Иногда со страхом она ощущала, как в душе поднимается незнакомое чувство к нему, и только встречи с ним возвращали ее к прежнему, и ей снова верилось, хотелось верить.

Однажды он позвонил ей, когда у нее были гости,— теперь он уже не знал, с кем она встречается,— и он почувствовал, что сейчас ей не до него.

— Повидаемся завтра?

— Посмотрим,— она помедлила,— позвони...

Голос был чужим, холодным, и он взорвался.

— Знаешь что,— сказала она,— может, нам отдохнуть друг от друга?

Он помедлил.

— Хорошо. Позвони сама. Когда захочешь.

Как просто он это сказал, как легко. Она ощутила холодную пустоту. Машинально положила трубку, долго стояла так. И вдруг спросила себя:

— Как же теперь?

* * *

Шли дни, он не видел ее, и были минуты, когда он не думал о ней, но смутно ощущал, как растет в нем чувство ожидания, как будто она была очень далеко, но

должна вернуться, приехать, и надо только дождаться. Он дождется — разве время может разлучить их? Было и другое: он знал, когда они встретятся, опять встанет между ними то же, и нужно будет решать, все равно решать, и никуда от этого не уйти, и он не торопил время, как будто набирался сил для этого решения, и еще, может быть, просто душа требовала отдыха.

Но наступил день, который он хорошо помнил,— день ее рождения. Он пошел давать телеграмму и долго не мог найти слов. Он часто мысленно разговаривал с ней, а теперь не находил слов, как будто потерял ее волну, и не знал, что сказать, чтобы она услышала его. Ему стало страшно — неужели и вправду время что-то изменило?

Она позвонила на следующий день. Все оборвалось у него, когда он услышал ее голос.

— Здравствуй, это — я. Ты думал, я исчезла совсем, навсегда?

— Нет, не думал.

Она поблагодарила за телеграмму и спросила:

— А как твои дела?— Спросила неуверенно. Так неуверенно, словно сомневалась, имеет ли на это право. А ведь она всегда была в курсе всех его дел.

Он подробно, как выученный урок, рассказал ей все и потом с непонятной ему самому тревогой спросил:

— А ты? Как ты? У тебя что-нибудь изменилось?

— Ничего.

— Так уж и ничего? — повторил он и вспомнил, как писал телеграмму и как долго не мог найти слов.

— Ничего...— повторила она и запнулась.

— Нам надо повидаться,— он не узнавал своего голоса,— прямо сейчас. Ты можешь?

Она помедлила, ему показалось, сейчас скажет: нет, не могу.

Но она ответила:

— Хорошо. Жди меня где всегда.

Он увидел ее издалека — тоненькую, в брюках и свитере, по моде, и снова почувствовал эту непонятную тревогу: что-то было не так, не так она стояла, не так ждала его.

— Ну, здравствуй,— сказала она, когда он подошел, и улыбнулась.

А он не верил, что видит ее, у него пересохло во рту, он только кивнул головой. Она засмеялась и взяла его под руку.

— Куда мы пойдем?

— Куда хочешь.

— Ох, опять решать мне. Надоело, устала.

— По тебе этого не заметно. Вид свежий, как будто вчера спустилась с гор. Юная альпинистка. Юная и прекрасная,— он снова не находил слов.

— Сплю хорошо. Ложусь в десять. Все хорошо.

И вдруг он прямо спросил:

— Что произошло?

— Ничего,— ответила она, но отвела глаза.

Он уже все понял, она не могла солгать ему — он это знал. У него все похолодело внутри, но он не мог, не хотел верить, пусть обманет его это проклятое знание, пусть, ведь так часто он ошибался, может же ошибиться и сейчас!

— Ты должна сказать правду, должна. Лучше правда — любая, чем это...— Он не помнил, что говорил еще.

И тогда она сказала:

— Да.

— Кто он?

Дом, у которого они стояли, покачнулся, потом он почувствовал на лице холод — дождь, догадался он. Ну да, ведь накрапывал дождь, а капли на лице, потому что он запрокинул голову. Но прошло мгновенье — он услышал ее ответ:

— Командировочный. Издалека. Приехал — уехал. И концы в воду. Он помог мне...— она не договорила.

— Помог?

— Да,— сказала она зло и вдруг сникла:— Я не могла, не могла быть одна...

— Откуда он взялся, этот твой спаситель? Откуда?!— наверно, он выкрикнул это слово, кто-то из прохожих оглянулся.

— Разве это важно... Пришел с друзьями в дом,— она почувствовала, что должна сказать все — сейчас. Сразу.

Действительно, разве это важно, подумал он, а что же важно? «Черт с ним, с этим командировочным. Что-то еще... Да, да, что-то еще я хотел спросить... Заезжий гастролер,— опять вернулась эта проклятая мысль,—

которому все равно. Приехал — уехал.— В этом было что-то постыдное, унизительное. Снова он почувствовал холод на лице.— Спокойно,— сказал он себе,— спокойно. Так и бывает. Именно так. Но что же я хотел еще спросить?»

Мысли его путались.

Она почувствовала его состояние и осторожно погладила по руке:

— Пойдем...

Сыпался мелкий дождь, улица была как в тумане. У метро они снова остановились. Как они оказались у этой станции, ее станции?

— Когда я с тобой, я другая,— тихо сказала она,— не маленькая, не приниженная. Люди, мир, искусство — все мое, и я с ними.

— Потому что это есть в тебе.

— Всю жизнь я искала, теперь я это понимаю. И нашла тебя. Себе на беду.

Он понял, как трудно ей было это сказать. Как ей трудно. Как отчаянно.

— Родная,— сказал он.— Все равно родная.

Правда ли это? Теперь он не знал. Она хотела что-то сказать, но вдруг оборвала себя на полуслове — лицо ее стало отрешенным, далеким. О чем она думает, куда ушла?

— Ну, пойдем,— теперь он коснулся ее плеча.

— Может, мне уехать?— сказала она.

— Куда?

— Туда. К нему.

— До этого дошло... Поезжай.

Она сказала — уехать. От меня. Или к нему? Не надо, оборвал он себя, не все ли теперь равно...

Они спустились по эскалатору, вышли на платформу. Подошел поезд.

— Я проеду с тобой остановку,— сказал он.

Они вошли в вагон и стали у противоположной двери. Она сжала его руку. Теперь лицо ее было близко, и глаза смотрели на него — она вернулась о т т у д а. Большие темные глаза с золотистой мерцающей глубиной, чуть скуластое, смуглое лицо с нежным овалом. Любимое лицо.

Поезд остановился.

— Тебе выходить,— сказала она.

— Ладно. Выйду на следующей.

И опять поезд остановился, как будто мгновенно проскочил прогон. И — опять.

— Ну, вот и все,— сказал он.

Она потянулась к нему, и он чуть повернул голову так, чтобы она прикоснулась губами к щеке.

— Еще,— сказала она, и он понял — это означало: теперь ты. Но он не мог поцеловать ее. Будто потянуло холодом, и он увидел ее в комнате, как, наклонясь, она зажигает свечу и потом идет навстречу, и лицо ее сияет радостью — или нет, не так. Это было затмение, отчаяние — это была не она. Что ж, так легче думать. Он бы понял это. Но он слишком хорошо знал ее — она не могла быть неискренней. Она искренна в каждом вздохе и не может быть другой. Ведь пришла же ей мысль — уехать к нему.

Он закрыл глаза. «Еще. Теперь ты». Он не мог поцеловать ее и снова, второй раз, чуть повернул голову, и она снова прикоснулась губами к его щеке.

Подул ветер, свежий ветер с залива, а горячее солнце било в глаза, и она вздохнула: как хорошо. Все для тебя, даже ветер. Для нас, сказала она, и коснулась щекой его плеча. Они прошли галерею дворца и теперь спускались вниз по широкой мраморной лестнице, и весь царскосельский парк лежал перед ними с тенистыми аллеями старых лип, и залитой солнцем лужайкой, и с тихой гладью пруда, с легкими мостиками и переходами и тенистыми уголками возле тропинок. И вдруг что-то словно остановило их. Им показалось: вот сейчас, в эту минуту, они ощутили то далекое время, когда здесь бродил кудрявый юноша, и в этой тишине звенели его стихи, и он вдруг задумывался и смотрел в одну точку, и стихал ветер, и останавливались облака,— ощутили, потому что были вместе.

Но, может, этого и не было — не было Ленинграда, и царскосельского парка, и лужайки, такой зеленой, что захотелось зарыться в эту траву, и старых лип с густой тенью, и не было Крыма, и тех минут, когда бьется одно сердце, ничего не было, он все придумал и ее придумал. Не была таинством близость с ней, ее руки, ее губы — целый мир, в котором только они вдвоем могли существовать, потому что сами создавали его. А теперь тайны не было — она разболтала ее первому встречному, все рассказала, все открыла, к чему они вместе шли так

долго, так осторожно, взяла да и выплеснула в окно живую воду, которую они собирали по капле.

— Ну, вот и все,— сказал он.

Она чуть прикрыла глаза, прощаясь.

Дверь вагона задвинулась, и он оказался на платформе.

Поезд тронулся, и он уже больше не мог видеть ее лица.

*1971 г.*

# ЖЕНА МУЗЫКАНТА

Вот уже который день мы с Володей мотались по степи. Все было хорошо, пока стояло вёдро. Но сегодня с утра пошел дождь — сначала небольшой и приятно освежающий, а потом все сильнее и сильнее. К вечеру дороги превратились в сплошное месиво грязи, и каждый метр давался нам с трудом. Мы измучились и проголодались.

Последние километры, оставшиеся до села, мы ехали в сгущавшихся сумерках под проливным дождем. Машину то и дело заносило, встряхивало на ухабах, и она все медленнее и медленнее продвигалась вперед.

Но наконец совсем близко показались темные пятна домов. В окнах то там, то здесь зажигались огни. Безошибочным чутьем определив, где правление колхоза, Володя остановил машину у высокого крытого крыльца.

Нам повезло: председатель колхоза был еще в конторе. Узнав, кто мы, он надвинул на свои широченные плечи брезентовый плащ и без дальних слов повел нас устраивать на ночлег.

Так я оказался в просторных сухих сенях. Не знаю, сколько времени я бы еще вытирал ноги, боясь ступить на чистый половичок, лежавший перед порогом, но спокойный, как мне показалось, чуточку насмешливый голос прервал мое занятие:

— Да вы не стесняйтесь, снимайте сапоги и проходите...

Я последовал этому доброму совету и шагнул за порог. Передо мной, улыбаясь, стояла молодая женщина.

Ее нельзя было назвать красавицей. Но что-то сразу же привлекало, невольно притягивало взгляд в ее смуглом, с неправильными чертами лице и прекрасных темно-синих глазах, смотрящих очень спокойно, я бы даже сказал, тихо. Стянутые в тугой узел на затылке темные волосы открывали чистый лоб, и это сообщало особенную строгость всему ее облику.

«У нее непременно должно быть старинное русское имя,— почему-то подумалось мне,— такое же строгое и степенное, как и она сама. Например, Марфа...»

Пригласив пройти к столу, она вышла, и я услышал, как в соседней комнате она заговорила спокойно и ласково, по-видимому обращаясь к ребенку.

Я огляделся. Вокруг было на редкость уютно и чисто. Возле стола, покрытого блестевшей клеенкой, у самой стены, так, что можно было дотянуться рукой, стояла этажерка с аккуратно поставленными книгами необычных форматов (как я потом понял, это были ноты); кровать в дальнем углу сверкала белоснежным покрывалом. На свежевыбеленных стенах — ни цветных сельскохозяйственных плакатов, ни плохих репродукций популярных картин, поэтому сразу же обращала на себя внимание висевшая над столом большая фотография в рамке под стеклом. С нее пытливо и чуть насмешливо, улыбаясь одними глазами, смотрел симпатичный молодой парень в военной форме с погонами лейтенанта.

Вошла хозяйка и поставила на стол сковородку с яичницей, молоко и хлеб.

— Муж мой это,— сказала она, проследив за моим взглядом,— как раз перед отправкой на фронт снимался...

Голос ее не дрогнул, в лице ничего не изменилось, но она тут же поспешно добавила:

— Да вы кушайте, кушайте. Если что понадобится, я в соседней комнате, а зовут меня Анна Сергеевна...

Все это было сказано ровно и приветливо. Вероятно, он жив, ее муж, но почему тогда висит эта одна-единственная фотография, скорей всего семнадцати-восемнадцатилетней давности?

А кто она сама, чем живет, что делает? Что скрыто за этой ровной, тихой приветливостью? Но я уже знал, что ни о чем не спрошу ее, да и она не начнет такого разговора.

Скоро хозяйка вернулась, ведя за руку светловолосую девочку лет двух-трех с большими голубыми глазами, в которых стояло то же выражение веселого любопытства, что и на фотографии у ее отца.

— Мам,— спросила девочка, искоса посматривая на меня,— а папа скоро придет?

— Скоро. Садись за стол и выпей молока.

Девочка уселась на стул, взяла двумя руками стакан и тяжело вздохнула.

— Мой папа музыкант, а ты кто?— спросила она.

— Олечка, нельзя же так,— засмеялась Анна Сергеевна,— видишь, дядя устал и ему не до тебя...

— А почему папы нет?— плаксиво протянула Олечка, которой сразу стало скучно от такого объяснения.

— А ведь и впрямь уже поздно,— забеспокоилась Анна Сергеевна.— Да и дождь не перестает... Сегодня в нашем клубе концерт, вот он и задерживается. Только пора бы уже прийти...

Она замолчала. Стало слышно, как в окна ровно и сильно бьет дождь, словно кто-то стучится — уверенно, настойчиво. Олечка тоже затихла и, подняв голову, расширенными глазами смотрела в окно, в темноту ночи.

Так мы и сидели все трое, не двигаясь, и не говоря ни слова, захваченные, завороженные этой таинственной песней дождя и ветра.

О чем думала, о чем замечталась в эти минуты Анна Сергеевна? Черты лица ее стали мягче и как-то обыкновенней, проще. От образа строгой, властной и волевой Марфы, который возник в моем воображении, не осталось и следа. Это была Анна, Аня, Анюта, милая и простая, которая, наверно, любила, напевая вместе с другими девчатами, идти босиком по колкой траве, метать сено и, быть может, с ним, лейтенантом, до зорьки стояла у околицы...

...Неожиданно звякнула щеколда, и в сенях послышались голоса. Анна Сергеевна медленно поднялась, словно стряхивая с себя оцепенение, и вдруг, подняв высоко дочку, радостно сказала:

— Ну, вот и наш папа! Пойдем скорее встречать.

Она быстро вышла в сени, и уже оттуда послышался ее голос:

— Подождите, девушки, хоть чаю выпейте...

— Да нет, Анна Сергеевна, спасибо. Мы пойдем,— вразнобой, весело ответили ей.

«Даже с провожатыми,— подумалось мне,— совсем как столичная знаменитость...»

Но уже через минуту горячий стыд обжег меня от этой мысли. В комнату вошел высокий светловолосый мужчина. Что-то необычное было в том, как он остановился и медленно повернулся ко мне.

И вдруг я понял: он слеп! Темные очки закрывали глаза. Все лицо от лба до подбородка перерезал шрам. Дочка уже сидела у него на руках. Осторожно ступая, он подошел к столу.

— А у нас гость,— сказала жена,— товарищ из газеты.

— Что ж, давайте знакомиться. Николай Меркушев.

Я назвал себя и пожал протянутую руку.

...Концерт, видимо, утомил его. Он откинулся на спинку стула и долго сидел молча.

— Голова болит?— заботливо спросила жена.

— Да нет. Совсем нет. Просто устал немного. А ты знаешь, наша песня прозвучала. Если бы ты слышала, как ее спели.

— Вы сами сочиняете?

— Немного...— И, предваряя мой вопрос, поспешно добавил:— А записывает моя жена, Анна Сергеевна. Она хоть музыке и не училась, а по теории поспорит с любым студентом консерватории. Если разбираетесь в этом деле, поговорите с ней.

К удовольствию хозяина я мог поддержать этот разговор. И действительно, Анна Сергеевна хоть кого могла удивить превосходной музыкальной памятью. С ней можно было свободно говорить о секвенциях или о движении мелодии по ступеням, о тональностях, модуляции и прочих премудростях, а уж учебник гармонии она и верно знала назубок!

...Странный был этот разговор: мы, как на экзамене, боясь ошибиться, вспоминали классические примеры различных гармонических решений, а Меркушев молчал, жадно вслушиваясь в нашу беседу.

Девочка уснула у него на коленях, и он, медленно и осторожно поглаживая ее волосы, сидел не шевелясь, изредка вставляя какое-нибудь слово.

— А ведь тебе пора отдыхать,— вдруг спохватилась Анна Сергеевна,— да и вы устали с дороги...

Но мы оба решительно запротестовали, и Анна Сергеевна, взяв дочку, вышла в другую комнату.

В окно по-прежнему барабанил дождь. Меркушев долго молчал. А потом как-то сам собой возник у нас разговор о далеких фронтовых годах. И то ли эти воспоминания так разволновали его, расположили к откровенности, к задушевной беседе, то ли так подействовало тепло семейного уюта после нелегкого трудового

дня — не знаю, но только далеко за полночь затянулся рассказ...

— Не знаю, как это назвать, по-моему, и слов таких на человеческом языке не существует, когда испытываешь не отчаяние, даже не безразличие,— нет, а просто чувствуешь вокруг себя пустоту, страшную, бесконечную... Ты живешь — ешь, спишь, передвигаешься, но тебя нет, это не ты, это какой-то механизм ест, пьет, спит и даже думает вместо тебя...

Вот так было со мной, когда я понял, что ранение принесло мне худшее: безвозвратную слепоту. Хотел ли я смерти? Наверное, да. Но, кажется, я ничего не хотел.

Тогда-то в госпитале и нашла меня моя жена...

Меркушев замолчал. Что было потом? Всего тремя словами можно ответить на это: она вернула его к жизни. Но попробуй пойми, какой силой, каким прозрением она выбрала, быть может, единственный путь спасения?

А Меркушев говорил о том, как она заставила его поступить в музыкальную школу по классу баяна и прошла с ним все — от первой и до последней нотки, как она записала его первую песню и как они приехали сюда, на целину, и поселились недалеко от ее родных мест. Ее всегда тянуло вернуться в степь... А здесь и началось то новое, что называется одним словом — целина!

— «Нет, не тихо ты должен жить, не на покое, в уголке,— говорила она мне,— а в самой середке, чтобы люди тебя знали, чтоб ты был им нужен!»

А я спорил с ней, понимаете — спорил! Разве нужны песни на целине, разве нужен на целине учитель музыки? Но Аня оказалась сильней. Она ведь у меня сильная. И ведь права она: целина — это жизнь, большая жизнь! А в жизни нужна и песня, и музыка, и красота...

Только здесь я понял, что нужен этим ребятам,— понимаете, нужен! И я к ним так привязался, что и не мыслю теперь жизни без них. А какие ребята, как тянутся они ко всему, что греет душу, с каким увлечением учатся находить в искусстве настоящее, искреннее, сильное... У нас ведь, знаете, не только хор да кружок по классу баяна. Мы еще организовали что-то вроде клуба любителей симфонической музыки...

И, помолчав немного, он медленно произнес:

— «Аня, Аня, жена музыканта. Помощница и друг». Да, так говорят... И говорят о ее красоте. А я другое знаю и другую ее красоту вижу...

...Когда я прилег, до рассвета оставалось часа два. Но сон не шел ко мне. В памяти все стояло иссеченное шрамом лицо Николая Меркушева, слышались его взволнованные слова, а то вдруг рядом с ним возникала она: то строгая, суровая Марфа, то милая Аня, Анюта, простая девушка и жена музыканта, красоту которой он, Меркушев, видит совсем не так, как все другие, зрячие.

*1956 г.*

## УВИДЕТЬ СИНЕЕ-СИНЕЕ МОРЕ

Ира Сангурова вышла на улицу со своей сослуживицей, Клавдией Васильевной, полной говорливой дамой, с которой они иногда вместе обедали. Клавдия Васильевна что-то такое рассказывала, но Ира не слушала, отвечала односложно, ради вежливости, и можно было подумать, что она чем-то расстроена или погружена в какие-то свои мысли. Но на самом деле никаких мыслей у нее не было, совершенно никаких, и за целый день не произошло ничего такого, что могло бы ее расстроить. Просто Ира очень устала. Руки и плечи слегка поламывало, внутри себя она ощущала пустоту. Это состояние — будто мешки на себе таскала — было знакомо и не пугало ее. Только бы добраться поскорее до дому, влезть в халат, домашние туфли, выпить крепкого чая.

Неожиданно и, кажется, невпопад Ира спросила:

— А сколько вам лет, Клавдия Васильевна?

Клавдия Васильевна замялась, Ира сказала:

— А мне тридцать.

Сказала — и опять замолчала, спрятав лицо в меховой воротник своей шубки.

На углу улицы распрощались — Клавдия Васильевна пошла направо, к Садовому кольцу, а Ира налево, к Никитским воротам. До дому ей было рукой подать — пройти от Никитской вниз всего одну остановку по Суворовскому бульвару. Еще не очень давно она так радовалась, когда устроилась редактором с приличной зарплатой в такое почтенное учреждение, да еще рядышком с домом, но радость быстро улетучилась, вернее, Ира привыкла к тому, что все у нее так хорошо и удачно складывалось, и уже не получала удовольствия от этой мысли. Даже квартира, на которую они с Андреем ухлопали столько сил, холили и лелеяли, вдруг перестала ее заботить. Хорошая квартира, с красивыми вещами, со вкусом обставленная — ну и прекрасно, не все же с нее пылинки сдувать. Ну постелет

она красный палас в спальне, ну сделает другой кафель в ванной — что от этого изменится?

А что, собственно, должно измениться?— вдруг спросила себя Ира. Да ничего. И не надо. Не век же ей в девчонках ходить. Все уже было: и любовь, такая, что сердце заходилось, и бездомность, и тревожное ощущение своей красоты и нежности, переполнявшей ее, и постоянное ожидание чего-то очень хорошего впереди,— все было, и все прошло, а теперь все стало на свои места — и слава богу! Так уж, наверно, жизнь устроена — всему свое время, и ей-то уж грех жаловаться, другие вон... Нет, с жиру это у нее, определенно с жиру. Дай бог, чтобы все шло, как идет. Лучше и не надо.

Ира вышла к Никитским воротам, на площадь, где дома, чуть расступившись, открывают небо, и впервые обратила внимание на то, что было светло, день еще не кончился, хотя шла она с работы. Неужели так прибавился день? А она и не замечала. Небо было еще зимнее — серое, вязкое, но в одном месте уже проглядывала бледная голубизна, и снег уже осел, грязный, пористый, наполовину съеденный дневным мартовским солнышком, и ветер был уже не колючий, обжигающий холодом, а порывистый, беспокойный, с запахом влаги и воли.

Подняв голову, Ира всем лицом, губами, лбом, щеками ощутила упругую свежесть этого ветра и, глотнув его, захлебнулась: на миг у нее оборвалось дыхание, но уже в следующую секунду, легко и свободно, она вздохнула снова, полной грудью, и еще, и еще. И удивительное дело — уходила усталость, и сердце забилось чаще, и вдруг совсем по-другому (или показалось, что по-другому?) она увидела запруженную машинами площадь, спешащих людей, часть бульвара с памятником Тимирязеву и около него детей, их мам и бабушек, которые никуда не спешили, и высокую девушку в дубленке и зеленой вязаной шапочке, стоявшую наискосок от памятника, на самом углу бульвара,— фокус был в том, что Ира увидела все это сразу, одновременно, и так отчетливо, резко, будто она неожиданно оказалась на какой-то особой точке, с которой открывался весь этот вид. И еще фокус был в том, что все это Ира мгновенно узнала: тускло-белый свет, тугой, горьковатый, влажный ветер, люди, вот так схваченные взглядом на ходу, застывшая девушка в зеленой вязаной шапочке; и она сама вместе с ними, со всеми, с этим

удивительным ощущением,— может, и вправду все это уже было, а сейчас повторилось?

Ира закрыла глаза, а когда открыла — все уже снова было как всегда, как обычно, само по себе и не имело к ней ни малейшего отношения, словно что-то оборвалось — так же неожиданно, как и возникло. Фокус кончился. И опять заныли плечи и руки, и ветер уже не казался тугим, с горьким, тревожным запахом воли,— ветер, наполняющий ее паруса, а просто от него мерзло лицо и всю обдавало сыростью. Поскорее бы добраться до дома. Поскорее бы. А этого фокуса, может, и совсем не было. И все-то ей чудится, и все-то ей больше всех надо. Да нет, пожалуй, уж и не надо,— ответила себе Ира. Вот сегодня на работе предлагали прекрасную французскую кофточку, и деньги были, и ей в самый раз, а она повертела, подумала и решила, что не стоит. Незачем. Ни к чему. А наверно, нужно было взять. Вдруг оказалась бы счастливой, как те туфли?

Ира любила рассказывать эту историю, с туфлями, как она их купила, выложив всю стипендию, а потом на целый месяц оставшись без копеечки (пришлось перебиваться хлебушком да чайком), и как именно в тот момент, когда торговая сделка состоялась, появился Андрей, как принц из сказки, и как с первого взгляда они влюбились друг в друга — туфли-то оказались счастливыми!

История эта уже начинала обрастать все новыми подробностями (ее, так сказать, канонический вариант еще не определился) и казалась теперь такой далекой, что становилась неким семейным преданием о романтических безумствах молодости,— тем самым преданием, которое придает дому основательность и глубину, вроде старинной вещицы из прошлого века, доставшейся по наследству от бабушки.

На другой стороне, за бульваром, темнели дома. Фонари еще не зажглись, и в сером свете все люди казались на одно лицо, вернее, у них не было лица, а было общее выражение — поскорее бы добраться до дому, добраться, добраться, до дому добраться...

Ира тоже мечтала об этом, и у нее, наверно, тоже было такое же выражение. Она ускорила шаг. Опять заныли плечи и спина. Как будто она и впрямь таскала мешки, а ведь на самом деле читала какие-то бумажки, что-то говорила по телефону, курила в коридоре, сидела просто так, смотрела в окно — и дня как не бывало.

А что от него осталось? Ломота в суставах да ощущение ватной пустоты во всем теле. А той минуты на Никитской площади, может, и не было. Почудилось, показалось. Добраться до дому. Добраться, добраться. До дому добраться. Вот и дом.

Ира вошла в подъезд. Поднялась на лифте до своего этажа. Остановилась у двери квартиры. Поставила сумку. Перевела дух. Позвонила — сильно, требовательно, как звонила только она.

— А у нас гость,— сказал Андрей, помогая Ире снять шубку.

— Какая радость,— ответила Ира.— Просто не знаю, куда деваться от счастья.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, все в порядке. Единственно, чего мне не хватало,— это гостя. А так все хорошо.

— Да не беспокойся, ничего не надо, никаких хлопот. Мы тут на кухне сами все уже сварганили. Запросто. По-студенчески. Поллитровочку раздавим за разговором — помаленьку, потихоньку, а ты, если не хочешь с нами, только покажись для порядка — и все. Хочешь — спать иди, хочешь — телевизор...— Андрей сыпал словами, суетился и находился в том состоянии легкого радостного возбуждения, в котором Ира давно его не видела.

Интересно, подумала Ира, что за птица такая этот гость, что муженек мой так пластается, интересно. В последнее время Андрей любил гостей только званых, vстоявшихся, прочных. А если уж из новых — то все оольше для дела, но таких на кухне не принимают. А этот свалился как снег на голову, к ночи, а хозяин и рад-радешенек. Интересно.

Не успела Ира глянуть на себя в зеркало, поправить волосы, как появился и сам гость. Поклонившись, представился:

— Меня зовут Борис.

— А меня Ирина,— она протянула руку, про себя удивившись той простоте и легкости, с какой это у нее получилось.

Гость улыбнулся (Ира мысленно все еще называла его «гость», хотя теперь никакой загадочности это слово уже не таило в себе) и проговорил:

— Извините за вторжение: чрезвычайное обстоятельство, мы с Андреем тысячу лет не виделись...

— Годочка четыре — это уж точно,— вставил Андрей.

— Что вы, что вы, я рада, очень рада,— сказала Ира,— тысяча лет — это срок!

Теперь, когда прошло первое легкое замешательство, Ира рассмотрела гостя получше. Среднего роста, суховатый, синий свитер явно великоват; лицо загорелое, худое, с двумя глубокими продольными морщинами; желтовато-карие глаза, крупный нос, крупный рот, скулы чуть выдаются; светлые прямые волосы то и дело сваливаются на лоб. Такие лица иной раз и называют открытыми, если бросается в глаза выражение некоей беззаботности, что имело место и в данном случае, но было в этом лице что-то и сверх того, сразу и не скажешь что... Может, живой, понимающий взгляд, быстрая, почти неуловимая изменчивость улыбки?

Войдя на кухню и увидев стол — начатую бутылку водки, открытую коробку консервов, кое-как нарезанную колбасу, Ира всплеснула руками:

— Мальчики, вы что — на вокзале? Не потерплю.

Борис с Андреем не успели опомниться, как стол стремительно, по волшебству, начал преображаться: один за другим появились огурчики, грибки, квашеная капуста, ветчина, фасоль под майонезом — и все это вместе с вилочками-тарелочками-ложечками... Андрей успевал только довольно похмыкивать, глядя, как его родная женушка разворачивает скатерть-самобранку.

— Итак, на чем мы остановились?— несколько надменно спросила Ира, закончив свою работу и усаживаясь.

— Мы остановились на том,— тотчас же откликнулся Борис, поднимаясь с полной рюмкой,— что собрались выпить за прекрасную хозяйку этого дома.— Чуть по-другому он добавил:— Прекрасную хозяйку. Прекрасную женщину.

— Даму, прекрасную во всех отношениях,— ухмыльнулся Андрей.

— Не обращайте внимания,— сказала Ира,— мужчина изволит шутить, а вы — продолжайте. Говорите, говорите!

Она, конечно, тоже изволила шутить, но в глазах ее светился неподдельный интерес и что-то еще; как показалось Борису, нечто очень пугливое и заманчивое, готовое мгновенно исчезнуть. Борис залпом выпил рюмку и поставил ее на стол.

— Я человек, можно сказать, восточный и могу говорить долго и красиво, но это мало что прибавило бы к сказанному.

Он не хотел принимать игру, если таковая предлагалась, и предпочел не заметить это нечто, пугливое и заманчивое, в ее глубоких темных глазах. А впрочем, все это — так, ерунда, от легкого подпития. Главное, что он здесь, с Андреем, и страшно рад этому, и у них еще куча времени, чтобы вспомнить и поговорить о том о сем, разузнать о ребятах. А глаза у нее удивительные — глубокие, без дна, и во всем облике, в выражении лица есть что-то притягательное, таинственное... Ну-ну, остановил себя Борис, не зарывайся, мальчик. Но Андрюха-то каков! Ай да Андрюха — какая подруга жизни!

— Вы сказали — восточный человек?— переспросила Ира.— Как это понимать? Бывший князь, ныне трудящийся Востока?

— Совершенно верно,— вмешался Андрей,— так надо и понимать. Как в воду смотришь. Борькин дядя — всесильний багдадский халиф. Заслуженный человек в республике. Кумир народа. С басмачами дрался. Вахшскую долину осваивал. А какой размах, какая щедрость! Какие дыни привозил! Какой плов сооружал! Да каждый его приезд в Москву был как майский день, именины сердца!

— Подожди, остановись!— взмолилась Ира, изумленная этим потоком красноречия.— Какой республики, какой дядя и кто это вы, для которых его приезд был майский день, именины сердца?

— Мы,— Андрей, видимо, решил, что ответа заслуживает только последний вопрос.— Мы — это наша Комната в общаге.— Слово «Комната» Андрей произнес с ударением и даже сделал после него по всем правилам ораторского искусства паузу.— Мы — это четыре красивых молодых человека — с современными духовными запросами, но со скромными, весьма скромными, возможностями для их реализации. И вдруг, как дар небес,— дядя! Что тогда начиналось! Боже мой, что начиналось! Плов, рестораны, женщины!

— Сочиняет?— улыбнулась Ира.

— Не без того,— ответил Борис.— Малость привирает. Но дядя у меня действительно имеется.

— За здоровье твоего дяди, достопочтенного Николая Ивановича, да продлит аллах его дни!— торжественно провозгласил Андрей.

Выпив до дна свою рюмку, Ира сказала:

— Дядя дядей, а...

Андрей перебил:

— Николай Иванович, без шуток, легендарный человек, и, знаешь, у каждого из нас с ним связана своя, особая история.

— Родителей у меня нет,— сказал Борис, угадав вопрос Иры,— мы — детдомовские. Мать умерла, когда мне было три года, отца вроде и совсем не было... Только дядя — он разыскал меня, когда я учился в школе. Но тогда я ни за что не хотел уезжать к нему в Душанбе. Потом — институт. А уж после института решил поехать. Он стал старый, все болеет, ты, Андрей, его и не узнаешь. Кроме меня, у него никого нет. Такие пироги...— Борис замолчал, но и не поднимая глаз чувствовал, Ира смотрит на него, ждет продолжения.— Странно, мать почти не помню,— он говорил медленно, по одному слову,— очень смутно то лицо, как в тумане, то руки, а во сне ясно вижу и знаю, что это мать...

Андрей снова налил, но тоста так и не произнес, видно раздумал в последний момент. Повернувшись к Ире, заметил:

— Между прочим, Борьку вместе со мной после института брали в наш НИИ, а он — Душанбе! Чудило ты, Боря, чудило. Сейчас бы, как я, кандидатскую защитил. Человеком бы стал. Борька ведь — голова! Лучше всех соображал.

Нет, не защитил бы, сказал себе Андрей, он и знать не знает, как это делается. И никогда не узнает.

— Макдональд тоже голова,— сказал Борис.

«А я бы так смогла?— подумала Ира.— Ради дяди уехать из Москвы, от хорошего места, от будущего... Так вот откуда у него загар — среднеазиатское солнце, пустыня, пески...»

Вслух она спросила:

— А на верблюдах вам доводилось ездить?

— Не доводилось,— пожал плечами Борис и поспешно добавил:— Да вы не огорчайтесь, верблюды у нас есть, и караваны ходят по Шелковому караванному пути — все как полагается на Востоке. И еще — чалма, чадра, паранджа...

— А с вами надо, оказывается, ухо востро держать, опасный вы человек.— Опять в ее глазах появился этот мерцающий таинственный огонек.

— А ты как думала?— поддержал своего друга Андрей.— Смотри. Комнату нашу не замай!

— Приезжайте, будут вам и верблюды,— миролюбиво улыбнулся Борис.

— Поздно,— отрезала Ира.— Теперь поздно.

— Приехать никогда не поздно.

А может, и верно: не поздно? Ира прикрыла глаза. Приехать никогда не поздно. Да нет, не к нему, поправила она себя, не к нему. Просто приехать. Ведь это никогда не поздно.

Андрей снова наполнил рюмки.

— За нашу Комнату. Ребята мы были — ничего. Прямо скажем — подходящие.— Он залпом опрокинул рюмку.— Не то что нынешнее племя.

— Пей, да закусывай.— Ира попыталась придать голосу жестковатость и по-хозяйски строго взглянула на любимого мужа. Но строгость ее мгновенно испарилась. Андрей был прямо неузнаваем. Лицо его размягчилось, но не опало, а подтянулось, помолодело; глаза, обычно холодноватые (Ира даже побаивалась его взгляда, когда они ссорились,— таким чужим, колючим он становился),— теперь эти глаза излучали теплоту, будто голубые льдинки, стоявшие в них, растаяли. Вот оно каким кажется ему сейчас, студенческое житье-бытье. А почему кажется? Была дружба, надежды, было все общее, было все чисто. Раньше Андрей любил рассказывать про свою Комнату. Упоминался (и, кажется, чаще других) некий Борис, а также его дядя Николай Иванович, багдадский халиф (теперь Ира вспомнила об этом), но она пропускала мимо ушей эти рассказы, не чувствовала в них соли, не понимала смысла. Не понимала — а может, не давала себе труда понять? Однажды, рассказывая какую-то очередную историю и посмеиваясь, Андрей случайно перехватил ее отчужденный взгляд — она думала о чем-то своем,— побледнел и оборвал себя на полуслове. С тех пор ни разу не заговаривал он о достославных героях своей общежитской Комнаты. Случай этот вскоре забылся, но что-то в их отношениях начало незаметно меняться — возможно, с тех самых пор...

И вот только сейчас, увидев преображенное, неузнаваемое лицо Андрея, Ира поняла, что значило для него то молодое, горячее, безоглядное время, эта их Комната, о которой теперь они слагают свою сагу и при этом, как водится, вовсю фантазируют. На какое-то

мгновение она почувствовала даже ревность к этой общежитской одиссее, но сразу же устыдилась: ревновать к прошлому? Глупость. Конечно, глупость. А все же интересно, что уж за такая особенная Комната была у них?

— Послушайте, мальчики, мне очень стыдно,— в подтверждение Ира даже смущенно опустила глаза,— но я не могу слабым своим умом охватить всей грандиозности этого понятия — Комната. Не могли бы вы снизойти и растолковать это популярно?

— Как! — вскричал Борис, грозно взглянув на Андрея.— Ты до сих пор не сделал этого?

— Пытался. Не получается.— Мгновенная тень пробежала по лицу Андрея, но он быстро справился с собой, попробовал отшутиться:— Я не популяризатор, я молодой талантливый ученый. Мыслю другими категориями. А вот у тебя получится. Ты демократичен, понимаешь психологию простых людей.

— Ну что ж.— Борис остановился. Пожалуй, зря он поддержал этот шутливый тон. Да и что тут скажешь?— Ну что ж,— снова повторил он.— Если коротко, совсем коротко, то у нас была идеальная Махалля.

— Махалля?— переспросила Ира.

— Вот видишь,— театрально-трагически произнес Андрей,— а ведь эта женщина окончила полиграфический институт. Редакторский факультет. Эта женщина — редактор. Ха-ха! Что поделаешь, так нынче учат! Придется тебе объяснить.— Андрей откинулся на спинку стула и замолчал в ожидании. Видно, ему и самому было интересно, что скажет Борис.

— Махалля — это очень просто.— Борис взял сигарету, не спеша размял ее, щелкнул зажигалкой, затянулся.

— Проще некуда,— заметил Андрей.

— Все?— наклонила голову Ира.

— Что еще можно сказать?— пожал плечами Борис.— Это обычай, распространенный в Средней Азии. Вот живут люди на одной улице, самые разные люди: рабочие, студенты, шоферы, инженеры, писатели, ученые, артисты и так далее. Это и есть Махалля. Вроде братства соседей. Любой человек в трудную минуту может обратиться за помощью к Махалле — и ему всегда помогут. Сделают все, что в силах человеческих, чтобы выручить из беды. Помогут и в горе и в радости. Махалля все может. Взять, к примеру, меня.

— Да, взять, к примеру, тебя,— повторил Андрей.

— Имею поручение от Махалли купить подарок молодым. Приеду — на свадьбе гулять будем. А какую свадьбу отгрохаем! Народу будет человек триста — не меньше. В нашей Махалле два народных артиста живут, небольшой эстрадный ансамбль, один писатель и одна балерина. Они, как вы понимаете, пригласят и своих коллег. Представляете, какой концерт развернется?

— А кто молодые?— спросила Ира.

— Она работает на ткацкой фабрике, а жених — шофер. Приезжайте, почетным гостем будете.

— Возьму да и приеду.

— Эх, тряхнуть бы нам стариной, а? Вот гульнули бы!— мечтательно проговорил Андрей.

— А что? Всего и надо-то сесть в самолет, а уж он довезет — не сомневайтесь.

— Так-то оно так. Да, понимаешь, дела. То-се...— Андрей вздохнул.— Дела, дела... Держат они, проклятые, не пускают... А про Махаллю ты здорово объяснил. Популярно, доходчиво и самую суть.— Он повернулся к Ире: — Вот такая и у нас была Махалля, Комната наша, только еще лучше, еще лучше,— повторил Андрей.— Уразумела?

— Уразумела.

— Ну и хорошо. Вот и выпьем за это самое.

— За что?— спросил Борис.

— Что уразумела,— ответила Ира.

— Все-таки жена у меня умница,— сказал Андрей. Выпив и поставив рюмку, он заметно оживился.— Ну, а ты-то как?— поблескивая глазами, снова заговорил он.— А то ходим вокруг да около, а до главного никак не доберемся. Как работа? Доходы и все прочее?

— Все прочее — нормально. Доходы — тоже.

— Махалля не даст пропасть,— сказала Ира.

— Во-во. А работа...— Борис помедлил.— Ты ведь знаешь, я занимаюсь проблемами сейсмоустойчивости.

— Слыхали.

— Ну вот. Кое-что удалось сделать. Были кое-какие идеи. А для нашей республики это дело сам понимаешь, как важно! Строят много, планируется еще больше.

— Кое-что, кое-какие... А на самом деле переворот в науке и технике, так?

— Переворот не переворот, а...

— Ясно,— сказал Андрей.— Диссертация-то хоть на мази?

— Пару статей напечатал. В общем, материалу хватает.

— Сподобился, напечатал. Эх ты, лудильщик! А ты сядь да напиши диссертацию-то, пока птички небесные не растащили ее всю по зернышку.

— Кстати о птичках,— вмешалась в разговор Ира.— Что это значит — лудильщик?

— Это такой дядя,— пояснил Андрей,— который лудит. Тебе знаком некий производственно-творческий процесс — лужение?

— Понятно,— сказала Ира.— Спасибо, родной. Теперь буду знать.

Андрей повернулся к Борису:

— Так как, договорились?

— Насчет диссертации? Ты уж извини. Пока недосуг. Руки не доходят. И ездить много приходится. Я у нас там вроде консультанта по этим вопросам,— голос у Бориса был и впрямь извиняющимся.

— Тоже мне консультант... Вроде, вроде,— передразнил Бориса Андрей.— Ладно. Черт с тобой. Ходи грязный. Для меня и так сойдет.— Андрей взял бутылку со стола, она оказалась пустой, отодвинул ее, не поворачиваясь протянул руку к подоконнику, достал другую бутылку, скрытую занавеской (лихо, подумал Борис, прием доведен до автоматизма), откупорил, налил.— Значит, за тебя. Лудильщик ты, лудильщик и есть.— Андрей одним глотком выпил, зацепил грибок, пожевал. Лицо его снова обмякло. Под глазами обозначились мешки.

Слишком много он стал пить в последнее время, подумала Ира. Слишком много. И, словно подхватив эту мысль и следующую за ней, Борис вдруг сказал:

— Слушай, Андрюха, а ты как, часом, не заржавел там в своем НИИ? Может, тебе встряхнуться надо?

— Встряхнуться? Это как понимать? Пойду к «Максиму» я, там ждут меня друзья... Или круиз совершить? Так мы с Ирен уже съездили. Дороговато, правда, но ничего, сдюжили.

— Не придуривайся.

— А что, собственно говоря, вы могли бы мне предложить, сэр?

— Ты сам себе предложи.

— От добра добра не ищут. Народная мудрость. Проверено веками. И потом — нынче ведь, знаешь, наука сама собой делается.

— Это что же: ты сам по себе, а наука сама по себе?

— Не совсем. Каждый на своем участке что-то мерекает, полегоньку да потихоньку, а все вместе, глядишь, и сотворили нечто. Понял? Ты вот говоришь — бросить, а меня, например, включили.

Борис не спросил, куда включили, а Ира сказала:

— Где уж нам наукой заниматься — дела, дела...

— Бунт на корабле?— усмехнулся Андрей. Он взглянул на нее — и опять в его глазах она ощутила те самые хорошо знакомые застывшие голубые льдинки.

Андрей перехватил взгляд Бориса, когда не глядя доставал новую бутылку, и понял, отчего Борис предложил ему «встряхнуться». Не бойтесь, не сопьюсь, мысленно сказал он. Мне это ни к чему. Мне делать дело надо. Эх вы! (Почему-то он объединил сейчас Иру и Бориса.) Если бы вы знали, что завтра будет! Ладно, ладно, оборвал он себя, об этом пока молчок. А то вдруг — сорвется? Сердце у него екнуло. В наше время всякое бывает. Охотников сбить его с копыт хоть отбавляй. Шутка ли — ученый секретарь головного института Академии наук СССР. И если уж начистоту — оснований для такого поста у него маловато. Даже в их НИИ есть ребята покрепче. Ну, это уж на чей вкус, утешил он себя. Голова у этих ребят хоть и соображает, а хватки такой, как у него, нет. Не зря уцепились за его кандидатуру. Значит, основания имеются. Пожалуй, «уцепились» сильно сказано, поправил он себя. Пришлось все-таки подсуетиться. Нашли возможным — это будет точней. Ладно, пусть так. Но все-таки — нашли возможным!

Андрею все еще не верилось, что ему осталось только сказать «да»— и он ученый секретарь. Позвонить — и сказать «да». А там уж и до докторской рукой подать. Так-то, други мои, так-то. Вот уж тогда я Бориса вытащу, подумал он, не дам ему закостенеть там в своих песках. Мысль эта понравилась ему. Обязательно вытащу! — повторил он. Как бог свят! Вот тогда и посмотрим, кто из нас заржавел! Так-то, други мои, так-то.

Андрей чуть было не сказал это вслух, будто ставил последнюю точку в споре с Ириной и Борисом. Да нет, не с ними — с самим собой. Пока он рассуждал, что-то ему мешало, какая-то заноза. Ощущение было похоже на зубную боль — то она проходила, а то, как сейчас, начинала ныть, свербить... Справиться с этим Андрею пока не удавалось — вот он и злился.

Первая волна опьянения у Андрея прошла, откатилась, наступила краткая полоса протрезвления — до следующей волны, но именно эти несколько минут, пока он снова не выпьет, были самыми неприятными для Иры. Отлив обнажал то, что было скрыто. Неудовлетворенность, которая исподтишка грызла Андрея, выходила наружу и выливалась на других — Андрей становился злым, язвительным; раздраженность словно обостряла его чутье и взгляд, безошибочно подмечающий слабости и недостатки людей, оказавшихся в эти минуты рядом с ним.

Ира внутренне сжалась, но, к ее удивлению, Андрей, помолчав, медленно произнес:

— Черт его знает... Надо подумать... Обещаю. На досуге.

В голосе его не чувствовалось ни раздражения, ни ехидства. Впрочем, что-то такое проскользнуло, но чуть-чуть, еле заметно. Что же происходит? Уж не присутствует ли она при великом событии — возвращении блудного сына в эту их Комнату? Похоже на то! Похоже-то похоже, но в жизни этого не бывает — в жизни ничто не повторяется, ничто. Уж она-то знает — сколько ждала, надеялась, что вернется прежнее, а не вернулось. Ждала нового — и ждать устала.

Тяжелы мы с Андреем на подъем, подумала Ира, тяжелы. Куда нам — от добра добра не ищут. А Борис молодец: уезжает, и приезжает, и опять уезжает. И диссертацию написать недосуг. А собираться ему, наверно, и не надо: взял портфель — и в путь. Ира отчетливо представила себе, как Борис бросает в портфель мыло, полотенце, зубную щетку, закрывает его и бегом летит вниз по лестнице на улицу, где его ждут. А там — дорога, новые люди, новые места. Горячее солнце, долины, пески... А ей на курорт собраться — целое дело. За неделю до отъезда носится по магазинам, нервничает, а в последний день выясняется, что самое нужное забыла купить. А ведь когда-то им с Андреем тоже было все в радость, все легко...

Самолет набрал высоту и теперь ровно летел по прямой. Неприятные ощущения, которые Ира испытала на взлете, прошли, и к ней снова вернулось слегка возбужденное радостное настроение. Стюардесса уже все сказала по радио про высоту, скорость, температуру

воздуха за бортом, сообщила маршрут и фамилию командира экипажа и в заключение пожелала приятного полета. У нее был милый звонкий голосок, а когда она разносила карамельки, Ира встретилась с ней глазами, и они улыбнулись друг другу. И улыбка у нее была славная. И все было так замечательно! Мерно и приглушенно гудели двигатели. За бортом, пронизанное солнцем, голубело безбрежное небо. Далеко внизу то тут, то там виднелись белые кучные облака причудливой формы, как острова, всплывшие из безмерных глубин,— не острова, атоллы, это слово подходило к ним больше. Земли не было видно, синевато-серые глубины, уходящие вниз от облаков, скрыли ее, и, может быть, земли и вообще не было, они летят уже целую вечность, и это счастливое состояние, когда они вдвоем с Андреем, а вокруг бесконечность, и есть настоящая жизнь, а то, что было там, на земле, лишь существовало как далекое, неведомо откуда пришедшее воспоминание?

Ира огляделась. Пассажиры устроились кому как было удобнее, лениво переговаривались, подремывали, листали журналы, и эта обыденность вернула ее к действительности, но ощущение легкости и радости не ушло. Когда все хорошо, и просыпаться хорошо.

Взгляд ее небрежно скользил по лицам и фигурам сидящих в креслах людей, но каким-то особым боковым зрением она видела приникшего к окошку Андрея, его затылок и щеку, а может, не видела, а угадывала, потому что касалась плечом его спины. Андрей был рядом. Он был рядом, и она могла что-нибудь сказать ему или дотронуться до его волос. Иногда она откидывала голову на спинку кресла и закрывала глаза, а потом опять рассеянно посматривала по сторонам. И как это иногда бывает, только в последний момент Ира увидела мужчину и женщину, сидящих к ней ближе всех, в том же первом ряду салона, через проход.

Собственно говоря, ничего особенного ни в них самих, ни в их поведении не было — они преспокойно играли в карты, в незабвенного подкидного дурачка, но Ире уже трудно было оторвать взгляд от этой пары. Он средних размеров, крепкий, хотя и полноватый, в модном синем батнике и легких серых брюках, блондинистый, слегка начинающий лысеть с макушки, с довольно правильными, несколько, правда, мелковатыми чертами лица, с чуть опущенными, будто в дреме, веками. Сидел полуобернувшись к своей спутнице, удобно

развалясь, держа карты в левой руке: ходил и брал карту из колоды неторопливо, размеренно, не меняя своей позы.

Она — в ярком цветном платье, с выкрашенными соломенными волосами, высокой прической, крупная, грудастая, с открытыми, круглыми загорелыми руками; лицо по-своему красивое, с приятным свежим золотистым загаром; нос разве что малость толстоват, но не очень, не очень; голубые фарфоровые глаза чуть навыкате, яркие полные губы сомкнуты и оттого кажутся слегка выпяченными. Она тоже играла с ленцой, но в ее движениях не было механистичности, как у ее партнера,— напротив, в них чувствовалась своеобразная пластика, эдакая вальяжность, по-видимому от полнейшей удовлетворенности, когда спешить некуда, а напрягаться, суетиться незачем, поскольку все идет само собой, не хуже, чем у людей. А что дело обстояло именно так — сомнений быть не могло. Напротив, вид их говорил о том, что все у них идет не только не хуже, а лучше, чем у людей. Вот и для курорта они приготовили все, что нужно, не упустив ни единой мелочи,— транзистор, термос, ракетки для бадминтона, сложенный втрое надувной резиновый матрац, ну и, конечно, карты. Вероятно, никто из пассажиров не имел такого полного комплекта, необходимого для полного отдыха в свое удовольствие. Правда, если присмотреться, кое-где из сумок торчали ракетки, но что-то не видно было рядом термоса; у кого-то имелся термос, но явно не хватало транзистора; было даже несколько матрацев в сочетании с транзистором, но отсутствовали ракетки и т.д. Может быть, именно потому, что у них все было, Он и Она так беззаботно предавались игре. Беззаботно-то беззаботно, но что-то было в их игре и необычное, завораживающее. Что именно? Сначала Ира не могла понять, но когда Она, задержав карту в воздухе, что-то спросила у проходящей мимо стюардессы, Иру осенило: да ведь они молчали! Молчали как рыбы. За все время, пока Ира наблюдала за ними, не обменялись ни единым словом. И лица их в продолжение всей игры оставались безоблачно-равнодушными.

Они играли. Ходили по очереди, крыли, принимали, брали из колоды новую карту — словом, делали все, что требует игра, но при этом не общались друг с другом. Для игры, оказывается, это вовсе не обязательно! Между ними была как бы глухая стена. А впрочем,

действительно, зачем разговаривать? Все, что может захотеться там, на юге,— под рукой. Чтобы размяться и помахать ракеткой или взять термос с чаем — не нужно слов.

Ира представила себе, как на пляже они часами играют в дурачка, а то и просто лежат без движения, загорают, рядом стоит транзистор и слышится песенка или последние известия, а потом, нажарившись, они по очереди (чтобы не сперли транзистор) идут в море... Кончится отпуск — вернутся в Москву, к своим трудам, загорелые, посвежевшие, еще более красивые.

Интересно, а чем они занимаются? Искоса, незаметно поглядывая на них, Ира начала перебирать. Он... Инженер? Военный? По хозяйственной части? Теплее... Некое административное лицо? Еще теплее. А сфера? Человек он тренированный — это ясно. Бывший спортсмен, а теперь тренер? Теплее, теплее... А может, и не тренер. Просто некое административное лицо, возможно, в спорте и, как таковое, ездит со спортивными делегациями по заграницам? Это уже горячо. Даже жарко. Полуопущенные, как в дреме, веки, ленивая поза... А если его задеть, что-нибудь у него взять или если он не получит свое, полагающееся ему? Глаза, наверно, сощурятся, и в них полыхнет холодный синий огонек, и он весь подберется, а губы будут улыбаться...

Ира передернула плечами. Лучше уж про нее. Она такая красивая, ухоженная, сытая. И неважно, где работает — в парикмахерской, магазине, ателье или в учреждении. Главное, что Он бережет ее, как куколку, и ей это нравится. И жизнь такая ей нравится. Только не дай бог толкнуть ее в автобусе, когда она, уставшая, едет с работы, или пройти впереди нее, если она стоит в очереди,— не дай бог!

Он и Она все играли, и выигрывал Он, потому что сдавала всегда Она, но это нисколько ее не огорчало, а его не радовало, так уж, видно, у них повелось, и оба они к этому привыкли. Ира посматривала на них, а боковым зрением видела приникшего к окошку Андрея, его затылок и щеку, а то и все лицо в профиль, когда он немного поворачивался, худющее-прехудющее лицо — Андрей отчаянно много работал весь год, днем в лаборатории, ночами писал свою диссертацию, а вечерами они мчались в театр или, как говорил Андрей, на посиделки. Такой уж был год — Андрей только-только начал работать в НИИ, вокруг него постоянно возникали

новые люди, было много встреч, шумных разговоров, было весело, бестолково, интересно. Ира удивлялась, как Андрея хватало на все. Удивлялась — а у самой было чувство, будто у них один, общий источник сил: когда Андрей выдыхается, она отдает ему свои. Ира понимала, как много она значила для Андрея, и была счастлива этим сознанием и своей любовью. А сейчас они летели к морю. Москва осталась где-то там, в другой жизни, впереди было море, и они вдвоем с Андреем, и снова новая жизнь.

Эти двое, Он и Она, все так же молча играли. Какое счастье, что у нее есть Андрей! Они играли, Андрей не отрываясь смотрел в окошко на блещущую синеву, на белые облака, как бы выплывающие из безмерных глубин, и она видела его худой, острый профиль и чувствовала плечом его спину.

— А ну-ка, Андрэ, поверни голову,— сказал Ира.

— Чего, чего?— не понял Андрей.

— Голову, говорю, поверни. Да не так. Вправо. Вот. Еще немного. Так хорошо. А теперь замри.

— Замечательный профиль,— заметил Борис.— Можно чеканить на монетах. Римский патриций времен упадка.

Ира вздохнула, как будто тонкая иголочка кольнула в сердце. У римского патриция времен упадка обозначился второй подбородочек, линия носа чуть смазалась, да и все лицо слегка пополнело, налилось сытостью. Ира прикрыла глаза и опять увидела приникшего к окошку самолета Андрея, его острый, худой профиль — она так ясно это увидела, что встряхнула головой и открыла глаза. Повернувшись к ней, Андрей смотрел на нее — взгляд его был трезвый, острый, словно он понял, о чем она думает, но хотел понять еще больше, проникнуть еще глубже, до самого конца. Ощущение это было так сильно, что Ира чуть было не спросила, помнит ли Андрей ту пару в самолете, Его и Ее, но вовремя спохватилась: Андрей, вероятно, даже их не заметил, все время смотрел в окно, а она не рассказала ему о них. Пожалуй, она не смогла бы объяснить, почему тогда эта пара, Он и Она, неожиданно помогла ей в полную меру осознать, как они с Андреем счастливы.

— Не нравлюсь?— спросил Андрей.

Голос его прозвучал спокойно и трезво, глаза чуть прищурились, а губы улыбались.

Ира почувствовала холодок. У нее так бывало всегда перед тем, как на что-то решиться. Сейчас она скажет, скажет — и все покатится в тартарары... Но холодок быстро прошел — как не бывало. Ира провела рукой по волосам Андрея:

— Не заводись. Не надо.

Сказала — и сама не узнала своего голоса, такой он был мягкий, столько в нем было надежды и просьбы. Она так хотела, чтобы все было хорошо. Очень хотела.

Андрей как-то сник, усмешка его пропала — он ведь тоже хотел, чтобы все было хорошо. Вот только все сразу не получается. Либо то, либо другое. Он не стал уточнять для себя, что значит т о, а что — д р у г о е. Это было слишком сложно. Да и ни к чему уточнять. В последнее время Андрей гнал от себя мысли подобного рода. Потом, говорил он себе, потом. Вот сделаю это — тогда и поговорим, сядем и поговорим, и все разрешится. Но за одним делом тотчас же возникало другое, за ним третье, и разговор все откладывался, и постепенно желание поговорить, выяснить стало гаснуть. Оказалось, что можно жить и так...

Неожиданно Андрей сказал:

— Никогда не женись, Боря, не советую. Маета. Одна маета...

Борис медлил с ответом. Ира внутренне напряглась в ожидании.

— Так-то оно так...— сказал Борис и опять помедлил.— А вот если бы мне встретилась такая женщина, я бы...

— Какая «такая»?— спросил Андрей.

— Такая, как я,— ответила Ира.— Вы это хотели сказать?

— Предположим.

— А как по-вашему, я очень красивая?

— Имеет место,— ответил Борис. Огонек, блеснувший в его глазах, не оставлял сомнений в искренности.

— Кто же спорит,— сказал Андрей, шутливо отодвинувшись и прищурив глаза, как бы любуясь Ирой.

— И влюбиться в меня можно?— допытывалась Ира.

— Так он уже влюбился,— усмехнулся Андрей,— разве не видишь?

— Влюбился, ну и что! Вот возьму и увезу. И следов не найдешь.

Борис хорохорился, но Ире показалось, что он смутился и хочет скрыть свое смущение.

— Ладно, мальчики, сеанс окончен,— проговорила она,— между прочим, два часа.

— Самое время начинать все сначала,— сказал Борис.

Андрей промолчал. Он сидел подперев подбородок, безучастно смотрел перед собой — вдруг отключился ни с того ни с сего.

— Пойду постелю.— Ира улыбнулась.— А вы тут поговорите про мою красоту.

Проходя в большую комнату, взглянула на себя в зеркало. Глаза были мерцающие, встревоженные, и лицо показалось ей тонким, одухотворенным. Ира замерла, всматриваясь,— и вдруг бросилась в комнату и прикрыла за собой дверь: ей почудилось, кто-то возник за спиной. С бьющимся сердцем прижалась спиной к двери, закрыла глаза. Сдерживая дыхание, прислушалась — в коридоре было тихо. Постояв немного и успокоившись, вышла в коридор. Из кухни доносились негромкие голоса Андрея и Бориса. Снова остановилась перед зеркалом — и опять увидела мерцающие глаза и бледное, похудевшее лицо. Что-то было в этом лице. Что-то было, какая-то тайна. А может, и не было никакой тайны, просто устала — вот и весь секрет? А насчет тайны — нафантазировала? Но знакомое чувство, вызывая тревожный холодок в груди, уже поднялось в ней, и это чувство говорило: ничего она не придумала — есть, есть в ее лице, глазах какая-то тайна, и в этой тайне заключена ее сила...

Ира вернулась на кухню притихшая, погруженная в себя. Молча села на свое место, стараясь не смотреть на Бориса и Андрея, чтобы не выдать своего открытия. Она еще не привыкла к новому состоянию и побаивалась его. Борис и Андрей о чем-то говорили. Как будто ничего не заметили. Но нет — кажется, Борис искоса бросил на нее вопрошающий взгляд, возможно что-то учуял. Ира усмехнулась — все равно не догадается. Она вдруг почувствовала, как тело ее наливается силой, спина выпрямляется, вытягивается шея. И как сегодня по дороге домой, глотнув весеннего ветра, она увидела совсем по-особенному, отчетливо и резко, Тверской бульвар с памятником Тимирязеву и разными

людьми, так сейчас необычайно четко и ясно представились ей сидящие рядом Борис и Андрей, кусок стола с тарелками и бутылками перед ними и в небольшом отдалении — угол голубой кафельной стены с холодильником. Фокус был в том, что взгляд Иры охватил одновременно все вместе и при этом ничего не упустил, вплоть до выражения лиц Бориса и Андрея.

— Хочу увидеть море,— сказала Ира тоном, не допускавшим возражений.— Синее-синее море.— Она остановилась, будто вспоминая.— Когда солнце, и нет горизонта, и море переходит в небо, а небо в море. И есть одно синее-синее море...

Мужчины, прервав разговор, как по команде повернулись к ней.

— Синее-синее море,— повторила Ира, подняв голову. Встретившись с ней взглядом, Борис отвел глаза. Андрей попытался усмехнуться по поводу странного выступления своей родной женушки, пробормотал:

— Ладно. Заметано. Будет тебе твое синее море...

Ира неожиданно рассмеялась:

— Спасибо, родной, спасибо, милый,— и без всякого перехода объявила:— Вам, Борис, постелено в кабинете кандидата наук...

Пока родной муж и его друг укладывались, Ира перемыла посуду и навела порядок на кухне. Когда собралась ложиться — в доме уже стояла полная тишина. Не зажигая света, Ира разделась и легла. На диване, у другой стены, темнела на подушке голова Андрея. Обычно во сне он ворочался, посапывал, а сейчас лежал тихо, не шелохнувшись, даже дыхания не слышалось. Ира с наслаждением вытянулась, закрыла глаза и сразу услышала тиканье будильника: тик-так, тик-так... Будто качались невидимые в темноте качели: вправо-влево, вправо-влево... «Что же теперь будет?— вдруг спросила себя Ира.— Ничего. Неужели ничего? А как же синее море? А Комната? А дорога в песках под горячим солнцем?»

Качели все качались: вправо-влево, вправо-влево... «Будет,— сказал кто-то.— Обязательно будет. Не может не быть». Ира вздохнула и почувствовала, что проваливается...

*1980 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ



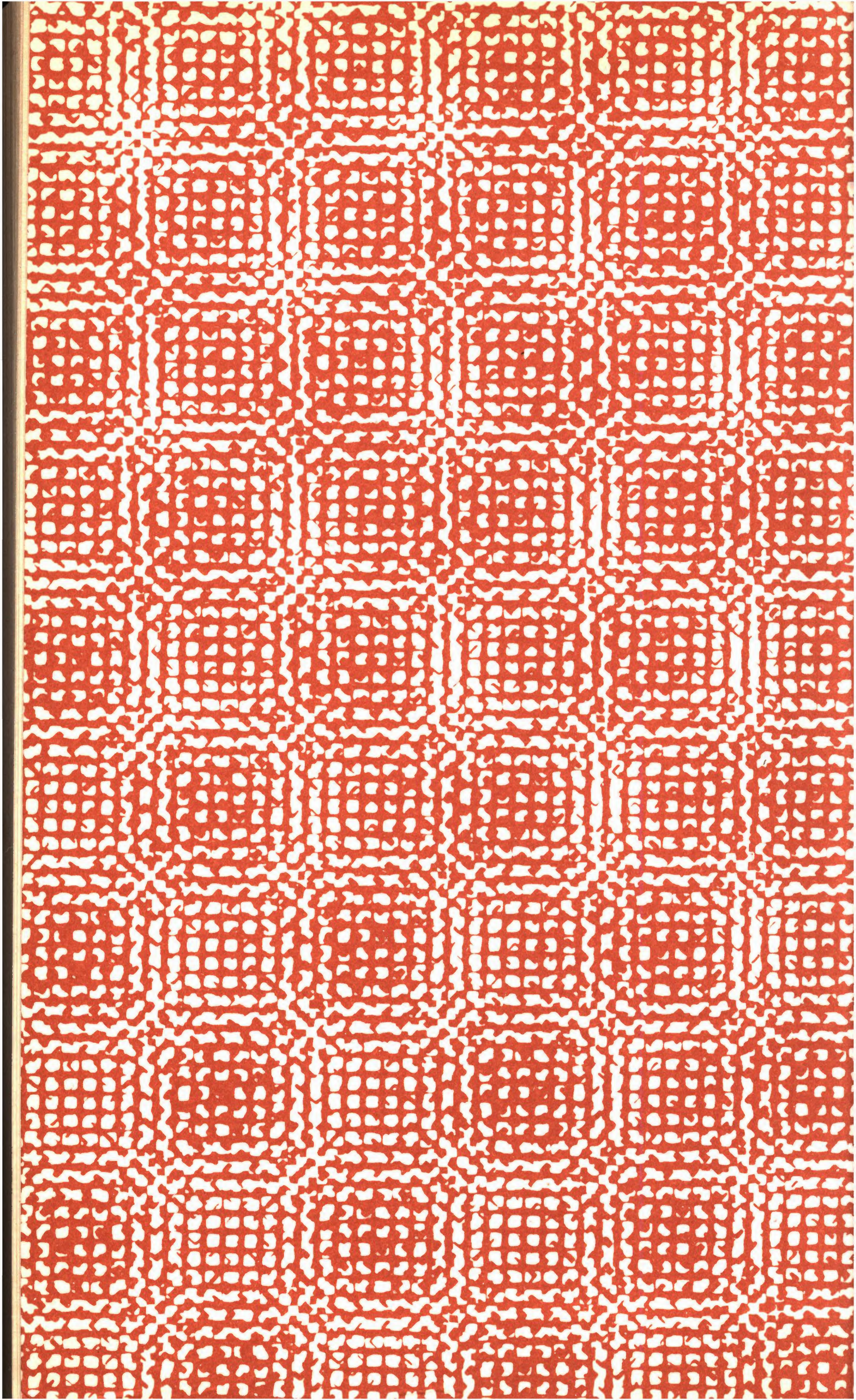
*Соломон Владимирович Смоляницкий*

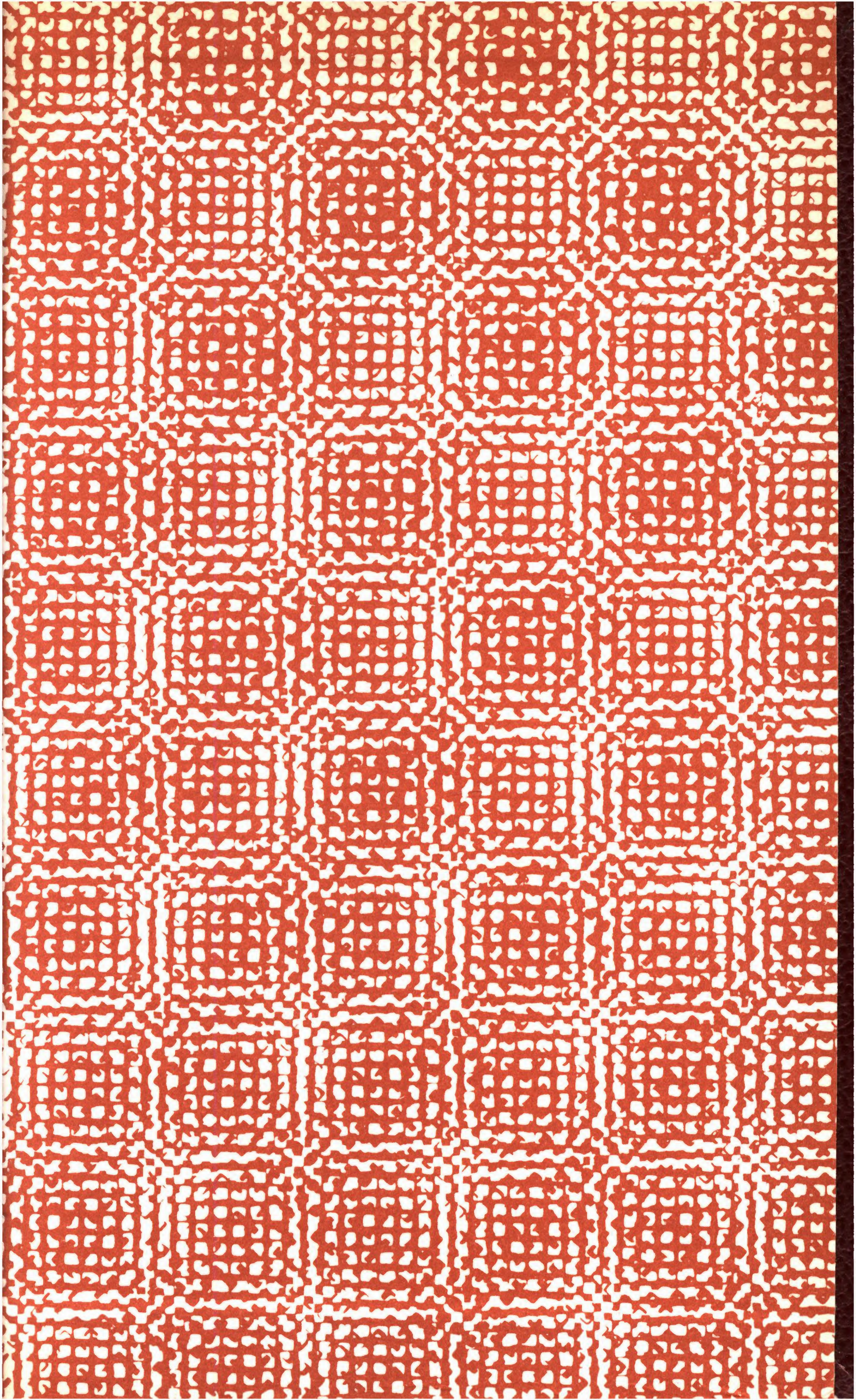
**ИЗБРАННОЕ**

М., «Советский писатель», 1988 г. 672 стр. План выпуска 1988 г. № 129. Редактор *В. С. Рогов.* Худож. редактор *Е. Ф. Капустин.* Технический редактор *М. А. Ульянова.* Корректор *Л. А. Розыбакиева.*

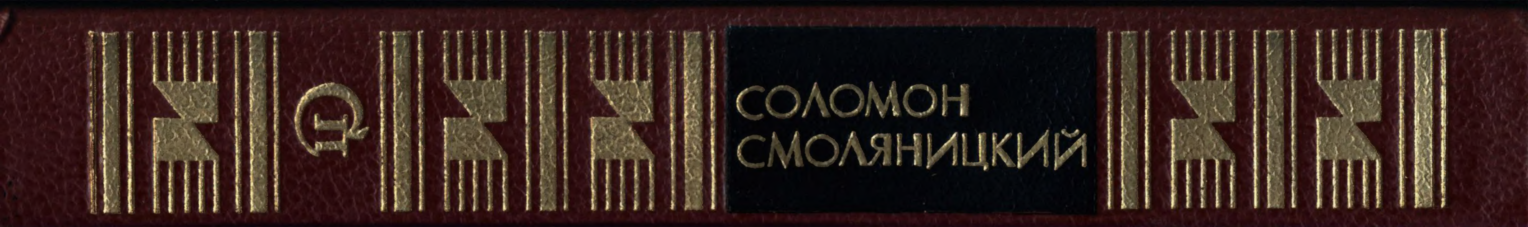
ИБ № 6666

Сдано в набор 29.09.87. Подписано к печати 01.03.88. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 35,28. Уч.-изд. л. 36,52. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1172. Цена 2 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.








СОЛОМОН
СМОЛЯНИЦКИЙ